ФЕДОР СОЛОГУБ

Федоръ Сологубъ.

2

Федоръ Сологубъ.

МЕЛКИЙ БЕС

ИЗ

Федор Сологуб

Собрание сочинений в шести томах

том второй

Федор Сологуб

Собрание сочинений

Мелкий бес

2

Роман
Рассказы
Сказочки
Статьи

Москва
НПК «Интелвак»
2001

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1
С 60

Составитель и автор примечаний *Т.Ф. Прокопов*

Художник *В.М. Мельников*

Руководитель проекта *В.Н. Кеменов*
Зам. руководителя проекта *И.И. Изюмов*

ISBN 5-93264-022-7
ISBN 5-93264-031-6 (т. 2)

МЕЛКИЙ БЕС

Роман

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Роман «Мелкий бес» начат в 1892 году, окончен в 1902 году. Первый раз напечатан в журнале «Вопросы жизни» за 1905 год, № 6—11, но без последних глав. В полном виде роман появился первый раз в издании «Шиповника» в марте 1907 года.

В печатных отзывах и в устных, которые мне пришлось выслушать, я заметил два противоположные мнения.

Одни думают, что автор, будучи очень плохим человеком, пожелал дать свой портрет и изобразил себя в образе учителя Передонова. Вследствие своей искренности автор не пожелал ничем себя оправдать и прикрасить и потому размазал свой лик самыми черными красками. Совершил он это удивительное предприятие для того, чтобы взойти на некую Голгофу и там для чего-то пострадать. Получился роман интересный и безопасный.

Интересный потому, что из него видно, какие на свете бывают нехорошие люди. Безопасный потому, что читатель может сказать: «Это не про меня писано».

Другие, не столь жестокие к автору, думают, что изображенная в романе передоновщина — явление довольно распространенное.

Некоторые думают даже, что каждый из нас, внимательно в себя всмотревшись, найдет в себе несомненные черты Передонова.

Из этих двух мнений я отдаю предпочтение тому, которое для меня более приятно, а именно второму. Я не был поставлен в необходимость сочинять и выдумывать из себя; все анекдотическое, бытовое и психологическое в моем романе основано на очень точных наблюдениях, и я имел для моего романа достаточно «натуры» вокруг себя. И если работа над романом была столь продолжительна, то лишь для того, чтобы случайное возвести к необходимому, чтобы там, где царствовала рассыпающая анекдоты Айса, воцарилась строгая Ананке.

Правда, люди любят, чтобы их любили. Им нравится, чтоб изображались возвышенные и благородные стороны души. Даже и в злодеях им хочется видеть проблески блага, «искру Божию», как выражались в старину. Потому им не верится, когда перед ними стоит изображение верное, точное, мрачное, злое. Хочется сказать:

— Это он о себе.

Нет, мои милые современники, это о вас я писал мой роман о Мелком Бесе и жуткой его Недотыкомке, об Ардалионе и Варваре Передоновых, Павле Володине, Дарье, Людмиле и Валерии Рутиловых, Александре Пыльникове и других О вас.

Этот роман — зеркало, сделанное искусно. Я шлифовал его долго, работая над ним усердно.

Ровна поверхность моего зеркала, и чист его состав. Многократно измеренное и тщательно проверенное, оно не имеет никакой кривизны.

Уродливое и прекрасное отражаются в нем одинаково точно

Январь 1908 года

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

Мне казалось когда-то, что карьера Передонова закончена и что уж не выйти ему из психиатрической лечебницы, куда его поместили после того, как он зарезал Володина. Но в последнее время до меня стали доходить слухи о том, что умоповреждение Передонова оказалось временным и не помешало ему через некоторое время очутиться на свободе, — слухи, конечно, маловероятные. Я упоминаю о них только потому, что в наши дни и невероятное случается. Я даже прочитал в одной газете, что я собираюсь написать вторую часть «Мелкого беса»

Я слышал, будто бы Варваре удалось убедить кого-то, что Передонов имел основание поступить так, как он поступил, — что Володин не раз произносил возмутительные слова и обнаруживал возмутительные намерения, — и что перед своею смертью он сказал нечто неслыханно дерзкое, что и повлекло роковую развязку. Этим рассказом Варвара, говорили мне, заинтересовала княгиню Волчанскую, и княгиня, которая раньше все забывала замолвить слово за Передонова, теперь будто бы приняла живое участие в его судьбе.

Что было с Передоновым по выходе его из лечебницы, об этом мои сведения неясны и противоречивы. Одни мне говорили, что Передонов поступил на службу в полицию, как ему и советовал Скучаев, и был советником губернского правления. Чем-то отличился в этой должности и делает хорошую карьеру.

От других же я слышал, что в полиции служил не Ардальон Борисович, а другой Передонов, родственник нашего. Самому же Ардальону Борисовичу на службу поступить не удалось или не захотелось, он занялся литературною критикою. В статьях его сказываются те черты, которые отличали его и раньше.

Этот слух кажется мне еще неправдоподобнее первого.

Впрочем, если мне удастся получить точные сведения о позднейшей деятельности Передонова, я расскажу об этом достаточно подробно.

Август 1909 г

ДИАЛОГ
(к седьмому изданию)

— Душа моя, чем ты так смущена?

— Ненавистью, которая окружает имя автора «Мелкого беса». Многие, такие различные в остальном, сошлись в этом.

— Прими смиренно злость и брань.

— Но разве этот наш труд не достоин того, чтобы нас благодарили? Откуда же ненависть?

— Эта ненависть подобна испугу. Ты слишком громко будишь совесть, ты слишком откровенна.

— Но разве нет пользы в моей правдивости?

— Ты ждешь комплиментов! Но ведь здесь не Париж

— О да, не Париж!

— Ты, душа моя, истинная парижанка, дитя европейской цивилизации. Ты пришла в нарядном платье и в легких сандалиях туда, где носят косоворотки и смазные сапоги. Не удивляйся же тому, что смазной сапог порою грубо наступит на твою нежную ногу. Его обладатель — честный малый

— Но такой угрюмый! И такой неловкий!

Май 1913

К СЕДЬМОМУ ИЗДАНИЮ

Внимательные читатели моего романа «Дым и пепел» (четвертая часть «Творимой легенды»), конечно, уже знают, какою дорогою идет теперь Ардальон Борисович.

Май 1913 г

Я сжечь ее хотел, колдунью злую.

I

После праздничной обедни прихожане расходились по домам. Иные останавливались в ограде, за белыми каменными стенами, под старыми липами и кленами, и разговаривали. Все принарядились по-праздничному, смотрели друг на друга приветливо, и казалось, что в этом городе живут мирно и дружно. И даже весело. Но все это только казалось.

Гимназический учитель Передонов, стоя в кругу своих приятелей, угрюмо посматривая на них маленькими, заплывшими глазами из-за очков в золотой оправе, говорил им:

— Сама княгиня Волчанская обещала Варе, уж это наверное. Как только, говорит, выйдете за него замуж, так я ему сейчас же и выхлопочу место инспектора.

— Да как же ты на Варваре Дмитриевне женишься? — спросил краснолицый Фаластов, — ведь она же тебе сестра! Разве новый закон вышел, что и на сестрах венчаться можно?

Все захохотали. Румяное, обыкновенно равнодушно-сонное лицо Передонова сделалось свирепым.

— Троюродная... — буркнул он, сердито глядя мимо собеседников.

— Да тебе самому княгиня обещала? — спросил щеголевато одетый, бледный и высокий Рутилов.

— Не мне, а Варе, — ответил Передонов.

— Ну вот, а ты и веришь, — оживленно говорил Рутилов. — Сказать все можно. А ты сам отчего к княгине не явился?

— Пойми, что мы пошли с Варей, да не застали княгини, всего на пять минут опоздали, — рассказывал Передонов, — она в деревню

уехала, вернется через три недели, а мне никак нельзя было ждать, сюда надо было ехать к экзаменам.

— Сомнительно что-то, — сказал Рутилов и засмеялся, показывая гниловатые зубы.

Передонов призадумался. Собеседники разошлись. Остался с ним один Рутилов.

— Конечно, — сказал Передонов, — я на всякой могу, на какой захочу. Не одна мне Варвара.

— Само собою, за тебя, Ардальон Борисыч, всякая пойдет, — подтвердил Рутилов.

Они вышли из ограды и медленно проходили по площади, немощеной и пыльной. Передонов сказал:

— Только вот княгиня как же? Она разозлится, если я Варвару брошу.

— Ну что ж княгиня! — сказал Рутилов. — Тебе с ней не котят крестить. Пусть бы она тебе место сначала дала, — окрутиться успеешь. А то как же так, зря, ничего не видя!

— Это верно... — раздумчиво согласился Передонов.

— Ты так Варваре и скажи, — уговаривал Рутилов. — Сперва место, а то, мол, я так не очень-то верю. Место получишь, а там и венчайся, с кем вздумаешь. Вот ты лучше из моих сестер возьми, — три, любую выбирай. Барышни образованные, умные, без лести сказать, не чета Варваре. Она им в подметки не годится.

— Ну, — промычал Передонов.

— Верно. Что твоя Варвара? Вот, понюхай.

Рутилов наклонился, оторвал шерстистый стебель белены, скомкал его вместе с листьями и грязно-белыми цветами и, растирая все это пальцами, поднес к носу Передонова. Тот поморщился от неприятного, тяжелого запаха. Рутилов говорил:

— Растереть да бросить, — вот и Варвара твоя. Она и мои сестры — это, брат, две большие разницы. Бойкие барышни, живые, — любую возьми, не даст заснуть. Да и молодые, — самая старшая втрое моложе твоей Варвары.

Все это Рутилов говорил, по обыкновению своему, быстро и весело, улыбаясь, — но он, высокий, узкогрудый, казался чахлым и хруп-

ким, и из-под шляпы его, новой и модной, как-то жалко торчали жидкие, коротко остриженные светлые волосы.

— Ну уж и втрое, — вяло возразил Передонов, снимая и протирая золотые очки.

— Да уж верно! — воскликнул Рутилов. — Смотри не зевай, пока я жив, а то они у меня тоже с гонором, — потом захочешь, да поздно будет. А только из них каждая за тебя с превеликим удовольствием пойдет.

— Да, в меня здесь все влюбляются, — с угрюмым самохвальством сказал Передонов.

— Ну вот видишь, вот ты и лови момент, — убеждал Рутилов.

— Мне бы, главное, не хотелось, чтобы она была сухопарая, — с тоскою в голосе сказал Передонов. — Жирненькую бы мне.

— Да уж на этот счет ты не беспокойся, — горячо говорил Рутилов. — Они и теперь барышни пухленькие, а если не совсем вошли в объем, так это только до поры до времени. Выйдут замуж, и они раздобреют, как старшая, — Лариса-то у нас, сам знаешь, какая кулебяка стала.

— Я бы женился, — сказал Передонов, — да боюсь, что Варя большой скандал устроит.

— Боишься скандала, так ты вот что сделай, — с хитрою улыбкою сказал Рутилов, — сегодня же венчайся, не то завтра: домой явишься с молодой женой, и вся недолга. Правда, хочешь, я это сварганю, завтра же вечером? С какою хочешь?

Передонов внезапно захохотал, отрывисто и громко.

— Ну, идет? по рукам, что ли? — спросил Рутилов.

Передонов так же внезапно перестал смеяться и угрюмо сказал, тихо, почти шепотом:

— Донесет, мерзавка.

— Ничего не донесет, нечего доносить, — убеждал Рутилов.

— Или отравит, — боязливо шептал Передонов.

— Да уж ты во всем на меня положись, — горячо уговаривал его Рутилов, — я все так тонко обстрою тебе...

— Я без приданого не женюсь, — сердито крикнул Передонов.

Рутилова нисколько не удивил новый скачок в мыслях угрюмого собеседника. Он возразил все с тем же одушевлением:

— Чудак, да разве они бесприданницы! Ну что же, идет, что ли? Ну, я побегу, все устрою. Только чур, никому ни гугу, слышишь, никому!

Он потряс руку Передонова и побежал от него. Передонов молча смотрел за ним. Барышни Рутиловы припомнились ему, веселые, насмешливые. Нескромная мысль выдавила на его губы поганое подобие улыбки, — оно появилось на миг и исчезло. Смутное беспокойство поднялось в нем.

«С княгиней-то как же? — подумал он. — За теми гроши, и протекции нет, а с Варварой в инспекторы попадешь, а потом и директором сделают».

Он посмотрел вслед суетливо убегающему Рутилову и злорадно подумал: «Пусть побегает».

И эта мысль доставила ему вялое и тусклое удовольствие. Но ему стало скучно оттого, что он один, — он надвинул шляпу на лоб, нахмурил светлые брови и торопливо отправился домой по немощеным, пустынным улицам, заросшим лежачею мшанкою с белыми цветами да жерухою, травою, затоптанною в грязи.

Кто-то позвал его тихим и быстрым голосом:

— Ардальон Борисыч, к нам зайдите.

Передонов поднял сумрачные глаза и сердито посмотрел за изгородь. В саду за калиткою стояла Наталья Афанасьевна Вершина, маленькая, худенькая, темнокожая женщина, вся в черном, чернобровая, черноглазая. Она курила папироску в черешневом, темном мундштуке и улыбалась слегка, словно знала такое, чего не говорят, но чему улыбаются. Не столько словами, сколько легкими, быстрыми движениями зазывала она Передонова в свой сад; открыла калитку, посторонилась, улыбалась просительно и вместе уверенно и показывала руками, — входи, мол, чего стоишь.

И вошел Передонов, подчиняясь ее словно ворожащим, беззвучным движениям. Но он сейчас же остановился на песчаной дорожке, где в глаза ему бросились обломки сухих веток, — и посмотрел на часы.

— Завтракать пора, — проворчал он.

Хотя часы служили ему давно, но он и теперь, как всегда при людях, с удовольствием глянул на их большие золотые крышки. Было без двадцати минут двенадцать. Передонов решил, что можно побыть немного. Угрюмо шел он за Вершиною по дорожкам, мимо опустелых кустов черной и красной смородины, малины, крыжовника.

Сад желтел и пестрел плодами да поздними цветами. Было тут много плодовых и простых деревьев да кустов: невысокие раскидистые яблони, круглолистые груши, липы, вишни с гладкими блестящими листьями, слива, жимолость. На бузиновых кустах краснели ягоды. Около забора густо цвела сибирская герань — мелкие бледно-розовые цветки с пурпуровыми жилками. Остропестро выставляло из-под кустов свои колючие пурпуровые головки. В стороне стоял деревянный дом, маленький, серенький, в одно жилье, с широкою обеденкою в сад. Он казался милым и уютным. А за ним виднелась часть огорода. Там качались сухие коробочки мака да бело-желтые крупные чепчики ромашки, желтые головки подсолнечника никли перед увяданием, и между полезными зелиями поднимались зонтики: белые у кокорыша и бледно-пурпуровые у цикутного аистника, цвели светло-желтые лютики да невысокие молочаи.

— У обедни были? — спросила Вершина.

— Был, — угрюмо ответил Передонов.

— Вот и Марта только что вернулась, — рассказывала Вершина. — Она часто в нашу церковь ходит. Уж я и то смеюсь: для кого это, говорю, вы, Марта, в нашу церковь ходите? Краснеет, молчит. Пойдемте, в беседке посидимте, — сказала она быстро и без всякого перехода от того, что говорила раньше.

Среди сада, в тени развесистых кленов, стояла старенькая, серенькая беседка, — три ступеньки вверх, обомшалый помост, низенькие стены, шесть точеных, пузатых столбов и шестискатная кровелька.

Марта сидела в беседке, еще принаряженная от обедни. На ней было светлое платье с бантиками, но оно к ней не шло. Короткие ру-

кава обнажали островатые красные локти, сильные и большие руки. Марта была, впрочем, недурна. Веснушки не портили ее. Она слыла даже за хорошенькую, особенно среди своих, поляков, — их жило здесь немало.

Марта набивала папиросы для Вершиной. Она нетерпеливо хотела, чтобы Передонов посмотрел на нее и пришел в восхищение. Это желание выдавало себя на ее простодушном лице выражением беспокойной приветливости. Впрочем, оно вытекало не из того, чтобы Марта была влюблена в Передонова: Вершина желала пристроить ее, семья была большая, — и Марте хотелось угодить Вершиной, у которой она жила несколько месяцев, со дня похорон старика мужа Вершиной, — угодить за себя и за брата-гимназиста, который тоже гостил здесь.

Вершина и Передонов вошли в беседку. Передонов сумрачно поздоровался с Мартою и сел — выбрал такое место, чтобы спину защищал от ветра столб и чтобы в уши не надуло сквозняком. Он посмотрел на Мартины желтые башмаки с розовыми помпончиками и подумал, что его ловят в женихи. Это он всегда думал, когда видел барышень, любезных с ним. Он замечал в Марте только недостатки — много веснушек, большие руки, — и с грубою кожею. Он знал, что ее отец, шляхтич, держал в аренде маленькую деревушку верстах в шести от города. Доходы малые, детей много: Марта кончила прогимназию, сын учился в гимназии, другие дети были еще меньше.

— Пивка позволите вам налить? — быстро спросила Вершина.

На столе стояли стаканы, две бутылки пива, мелкий сахар в жестяной коробке, ложечка мельхиоровая, замоченная пивом.

— Выпью, — отрывисто сказал Передонов.

Вершина посмотрела на Марту. Марта налила стакан, подвинула его Передонову, и при этом на ее лице играла странная улыбка, не то испуганная, не то радостная. Вершина сказала быстро, точно просыпала слова:

— Положите сахару в пиво.

Марта подвинула к Передонову жестянку с сахаром. Но Передонов досадливо сказал:

— Нет, это гадость — с сахаром.

— Что вы, вкусно, — однозвучно и быстро уронила Вершина.

— Очень вкусно, — сказала Марта.

— Гадость, — повторил Передонов и сердито поглядел на сахар.

— Как хотите, — сказала Вершина и тем же голосом, без остановки и перехода, заговорила о другом. — Черепнин мне надоедает, — сказала она и засмеялась.

Засмеялась и Марта. Передонов смотрел равнодушно: он не принимал никакого участия в чужих делах, — не любил людей, не думал о них иначе, как только в связи со своими выгодами и удовольствиями. Вершина самодовольно улыбнулась и сказала:

— Думает, что я выйду за него.

— Ужасно дерзкий, — сказала Марта, не потому, что думала это, а потому, что хотела угодить и польстить Вершиной.

— Вчера у окна подсматривал, — рассказывала Вершина. — Забрался в сад, когда мы ужинали. Кадка под окнами стояла, мы подставили под дождь, — целая натекла. Покрыта была доской, воды не видно, он влез на кадку, да и смотрит в окно. А у нас лампа горит, — он нас видит, а мы его не видим. Вдруг слышим шум. Испугались сначала, выбегаем. А это он провалился в воду. Однако вылез до нас, убежал весь мокрый, — по дорожке так мокрый след. Да мы и по спине узнали.

Марта смеялась тоненьким, радостным смехом, как смеются благонравные дети. Вершина рассказала все быстро и однообразно, словно высыпала, — как она и всегда говорила, — и разом замолчала, сидела и улыбалась краем рта, и оттого все ее смуглое и сухое лицо пошло в складки и черноватые от курева зубы слегка приоткрылись. Передонов подумал и вдруг захохотал. Он всегда не сразу отзывался на то, что казалось ему смешным, — медленны и тупы были его восприятия.

Вершина курила папиросу за папиросою. Она не могла жить без табачного дыма перед ее носом.

— Скоро соседями будем, — объявил Передонов.

Вершина бросила быстрый взгляд на Марту. Та слегка покраснела, с пугливым ожиданием посмотрела на Передонова и сейчас же опять отвела глаза в сад.

— Переезжаете? — спросила Вершина. — Отчего же?

— Далеко от гимназии, — объяснил Передонов.

Вершина недоверчиво улыбалась. Вернее, думала она, что он хочет быть поближе к Марте.

— Да ведь вы там уже давно живете, уже несколько лет, — сказала она.

— Да и хозяйка стерва, — сердито сказал Передонов.

— Будто? — недоверчиво спросила Вершина и криво улыбнулась.

Передонов немного оживился.

— Наклеила новые обои, да скверно, — рассказывал он. — Не подходит кусок к куску. Вдруг в столовой над дверью совсем другой узор, вся комната разводами да цветочками, а над дверью полосками да гвоздиками. И цвет совсем не тот. Мы было не заметили, да Фаластов пришел, смеется. И все смеются.

— Еще бы, такое безобразие, — согласилась Вершина.

— Только мы ей не говорим, что выедем, — сказал Передонов и при этом понизил голос. — Найдем квартиру и поедем, а ей не говорим.

— Само собой, — сказала Вершина.

— А то будет, пожалуй, скандалить, — говорил Передонов, и в глазах его отразилось пугливое беспокойство. — Да еще плати ей за месяц, за такую-то гадость.

Передонов захохотал от радости, что выедет и за квартиру не заплатит.

— Стребует, — заметила Вершина.

— Пусть требует, я не отдам, — сердито сказал Передонов. — Мы в Питер ездили, так не пользовались это время квартирою.

— Да ведь квартира-то за вами оставалась, — сказала Вершина.

— Что ж такое! Она должна ремонт делать, так разве мы обязаны платить за то время, пока не живем? И, главное, она ужасно дерзкая.

— Ну, хозяйка дерзкая оттого, что ваша... сестрица уж слишком пылкая особа, — сказала Вершина с легкою заминкою на слове «сестрица».

Передонов нахмурился и тупо глядел перед собою полусонными глазами. Вершина заговорила о другом. Передонов вытащил из кар-

мана карамельку, очистил ее от бумажки и принялся жевать. Случайно взглянул он на Марту и подумал, что она завидует и что ей тоже хочется карамельки.

«Дать ей или не давать? — думал Передонов. — Не стоит она. Или уж разве дать, — пусть не думают, что мне жалко. У меня много, — полны карманы».

И он вытащил горсть карамели.

— Нате, — сказал он и протянул леденцы сначала Вершиной, потом Марте, — хорошие бомбошки, дорогие, тридцать копеек за фунт плачены.

Они взяли по одной. Он сказал:

— Да вы больше берите. У меня много, и хорошие бомбошки, — я худого есть не стану.

— Благодарю вас, я не хочу больше, — сказала Вершина быстро и невыразительно.

И те же слова за нею повторила Марта, но как-то нерешительно. Передонов недоверчиво посмотрел на Марту и сказал:

— Ну как не хотеть! Нате.

И он взял из горсти одну карамельку себе, а остальные положил перед Мартою. Марта молча улыбнулась и наклонила голову.

«Невежа, — подумал Передонов, — не умеет поблагодарить хорошенько».

Он не знал, о чем говорить с Мартою. Она была ему нелюбопытна, как все предметы, с которыми не были кем-то установлены для него приятные или неприятные отношения.

Остальное пиво было вылито в стакан Передонову. Вершина глянула на Марту.

— Я принесу, — сказала Марта.

Она всегда без слов догадывалась, чего хочет Вершина.

— Пошлите Владю, он в саду, — сказала Вершина.

— Владислав! — крикнула Марта.

— Здесь, — отозвался мальчик так близко и так скоро, точно он подслушивал.

— Пива принеси, две бутылки, — сказала Марта, — в сенях, в ларе.

Скоро Владислав подбежал бесшумно к беседке, подал через окно Марте пиво и поклонился Передонову.

— Здравствуйте, — хмуро сказал Передонов, — пива сколько бутылок сегодня выдудили?

Владислав принужденно улыбнулся и сказал:

— Я не пью пива.

Это был мальчик лет четырнадцати, с веснушчатым, как у Марты, лицом, похожий на сестру, неловкий, мешкотный в движениях. Одет он был в блузу сурового полотна.

Марта шепотом заговорила с братом. Оба они смеялись. Передонов подозрительно посматривал на них. Когда при нем смеялись и он не знал о чем, он всегда предполагал, что это над ним смеются. Вершина забеспокоилась. Уже она хотела окликнуть Марту. Но сам Передонов спросил злым голосом:

— Чему смеетесь?

Марта вздрогнула, повернулась к нему и не знала, что сказать. Владислав улыбался, глядя на Передонова, и слегка краснел.

— Это невежливо, при гостях, — выговаривал Передонов. — Надо мной смеетесь? — спросил он.

Марта покраснела, Владислав испугался.

— Извините, — сказала Марта, — мы вовсе не над вами. Мы о своем.

— Секрет, — сердито сказал Передонов. — При гостях невежливо о секретах разговаривать.

— Да не то что секрет, — сказала Марта, — а мы тому, что Владя босиком и не может войти сюда, — стесняется.

Передонов успокоился, стал выдумывать шутки над Владею, потом угостил и его карамелькою.

— Марта, принесите мой черный платок, — сказала Вершина, — да загляните заодно в кухню, как там пирог.

Марта послушно вышла. Она поняла, что Вершина хочет говорить с Передоновым и была рада, ленивая, что не к спеху.

— А ты иди подальше, — сказала Вершина Владе, — нечего тебе тут болтаться.

Владя побежал, и слышно было, как песок шуршит под его ногами. Вершина осторожно и быстро посмотрела вбок на Передонова сквозь непрерывно испускаемый ею дым. Передонов сидел молча, глядел прямо перед собою затемненным взором и жевал карамельку. Ему было приятно, что те ушли, — а то, пожалуй, опять бы засмеялись. Хоть он и узнал наверное, что смеялись не над ним, но в нем осталась досада, — так после прикосновения жгучей крапивы долго остается и возрастает боль, хотя уже крапива и далече.

— Что вы не женитесь, — вдруг часто и быстро заговорила Вершина. — Чего еще ждете, Ардальон Борисыч! Варвара ваша вам не пара, извините, прямо скажу.

Передонов провел рукою по слегка растрепанным каштанового цвета волосам и с угрюмою важностью молвил:

— Здесь для меня и нет пары.

— Не скажите, — возразила Вершина и криво улыбнулась. — Здесь есть много лучше ее, и за вас всякая пойдет.

Она стряхнула пепел с папиросы решительным движением, словно поставила на чем-то утвердительный знак.

— Всякой мне не надо, — ответил Передонов.

— Не о всякой и речь, — быстро говорила Вершина. — Да вам ведь не за приданым гнаться, была бы девушка хорошая. Вы сами получаете достаточно, слава Богу.

— Нет, — возразил Передонов, — мне выгоднее на Варваре жениться. Ей княгиня протекцию обещала. Она даст мне хорошее место, — говорил Передонов с угрюмым одушевлением.

Вершина слегка улыбалась. Все ее морщинистое и темное, словно прокопченное табаком личико выражало снисходительную недоверчивость. Она спросила:

— Да вам она говорила это, княгиня-то?

С ударением на слове «вам».

— Не мне, а Варваре, — признался Передонов, — да это все равно.

— Уж слишком вы полагаетесь на слова вашей сестрицы, — злорадно говорила Вершина. — Ну а скажите, она много старше вас? Лет на пятнадцать? Или больше? Ведь ей под пятьдесят?

— Ну где там, — досадливо сказал Передонов, — тридцати еще нет.

Вершина засмеялась.

— Скажите пожалуйста, — с нескрываемою насмешкою в голосе сказала она, — а на вид она гораздо старше вас. Конечно, это не мое дело, а только со стороны жалко, что такой хороший молодой человек должен жить не так, как бы он заслуживал по своей красоте и душевным качествам.

Передонов самодовольно оглядывал себя. Но не было улыбки на его румяном лице, и казалось, что он обижен тем, что не все его понимают, как Вершина. А Вершина продолжала:

— Вы и без протекции далеко пойдете. Неужто не оценит начальство! Что ж вам за Варвару держаться! Да и не из Рутиловых же барышень вам жену брать: они — легкомысленные, а вам надо жену степенную. Вот бы взяли мою Марту.

Передонов посмотрел на часы.

— Пора домой, — сказал он и встал прощаться.

Вершина была уверена, что Передонов уходит потому, что она задела его за живое и что он из нерешительности только не хочет говорить теперь о Марте.

II

Варвара Дмитриевна Малошина, сожительница Передонова, ждала его, неряшливо одетая, но тщательно набеленная и нарумяненная.

Пеклись к завтраку пирожки с вареньем: Передонов их любил. Варвара бегала по кухне вперевалку, на высоких каблуках, и торопилась все к его приходу приготовить. Варвара боялась, что служанка — рябая, толстая девица Наталья — украдет пирожок, а то и больше. Потому Варвара не выходила из кухни и, по обыкновению, бранила служанку. На ее морщинистом лице, хранившем следы былой красивости, неизменно лежало брюзгливо-жадное выражение.

Как всегда при возвращении домой, Передонова охватили неудовольствие и тоска. Он вошел в столовую шумно, швырнул шляпу на подоконник, сел к столу и крикнул:

— Варя, подавай!

Варвара носила кушанья из кухни, проворно ковыляя в узких из щегольства башмаках, и прислуживала Передонову сама. Когда она принесла кофе, Передонов наклонился к дымящемуся стакану и понюхал. Варвара встревожилась и пугливо спросила его:

— Что ты, Ардальон Борисыч? Пахнет чем-нибудь кофе?

Передонов угрюмо взглянул на нее и сказал сердито:

— Нюхаю, не подсыпано ли яду.

— Да что ты, Ардальон Борисыч! — испуганно сказала Варвара. — Господь с тобой, с чего ты это выдумал?

— Омегу набуровила! — ворчал он.

— Что мне за корысть травить тебя, — убеждала Варвара, — полно тебе петрушку валять!

Передонов долго еще нюхал, наконец успокоился и сказал:

— Уж если есть яд, так тяжелый запах непременно услышишь, только поближе нюхнуть, в самый пар.

Он помолчал немного, и вдруг вымолвил злобно и насмешливо:

— Княгиня!

Варвара заволновалась.

— Что княгиня? Что такое княгиня?

— А то княгиня, — говорил Передонов, — нет, пусть она сперва даст место, а уж потом я и женюсь. Ты ей так и напиши.

— Ведь ты знаешь, Ардальон Борисыч, — заговорила Варвара убеждающим голосом, — что княгиня обещает, только когда я выйду замуж. А то ей за тебя неловко просить.

— Напиши, что мы уж повенчались, — быстро сказал Передонов, радуясь выдумке.

Варвара опешила было, но скоро нашлась и сказала:

— Что же врать, — ведь княгиня может справиться. Нет, ты лучше назначь день свадьбы. Да и платье пора шить.

— Какое платье? — угрюмо спросил Передонов.

— Да разве в этом затрапезе венчаться? — крикнула Варвара. — Давай же денег, Ардальон Борисыч, на платье-то.

— Себе в могилу готовишь? — злобно спросил Передонов.

— Скотина ты, Ардальон Борисыч! — укоризненно воскликнула Варвара.

Вдруг Передонову захотелось подразнить Варвару. Он спросил:

— Варвара, знаешь, где я был?

— Ну где? — беспокойно спросила Варвара.

— У Вершиной, — сказал он и захохотал.

— Нашел себе компанию, — злобно крикнула Варвара, — нечего сказать!

— Видел Марту, — продолжал Передонов.

— Вся в веснушках, — с возрастающею злобою говорила Варвара, — и рот до ушей, хоть лягушке пришей.

— Да уж красивее тебя, — сказал Передонов. — Вот возьму да и женюсь на ней.

— Женись только на ней, — закричала Варвара, красная и дрожащая от злости, — я ей глаза кислотой выжгу!

— Плевать я на тебя хочу, — спокойно сказал Передонов.

— Не проплюнешь! — кричала Варвара.

— А вот и проплюну, — сказал Передонов.

Встал и с тупым и равнодушным видом плюнул ей в лицо.

— Свинья! — сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил ее.

И принялась обтираться салфеткою. Передонов молчал. В последнее время он стал с Варварою грубее обыкновенного. Да и раньше он обходился с нею дурно. Ободренная его молчанием, она заговорила погромче:

— Право, свинья. Прямо в морду попал.

В передней послышался блеющий, словно бараний, голос.

— Не ори, — сказал Передонов, — гости.

— Ну, это Павлушка, — ухмыляясь, отвечала Варвара.

Вошел с радостным громким смехом Павел Васильевич Володин, молодой человек, весь, и лицом, и ухватками, удивительно похожий на барашка: волосы, как у барашка, курчавые, глаза выпуклые и тупые, — все как у веселого барашка, — глупый молодой человек. Он был столяр, обучался раньше в ремесленной школе, а теперь служил учителем ремесла в городском училище.

— Ардальон Борисыч, дружище! — радостно закричал он, — ты дома, кофеек распиваешь, а вот и я, тут как тут.

— Наташка, неси третью ложку! — крикнула Варвара.

Слышно было из кухни, как Наталья звенела единственною оставшеюся чайною ложкою: остальные были спрятаны.

— Ешь, Павлушка, — сказал Передонов, и видно было, что ему хочется накормить Володина. — А я, брат, уж теперь скоро в инспекторы пролезу, — Варе княгиня обещала.

Володин заликовал и захохотал.

— А, будущий инспектор кофеек распивает! — закричал он, хлопая Передонова по плечу.

— А ты думаешь, легко в инспекторы вылезть? Донесут, — и крышка.

— Да что доносить-то? — ухмыляясь, спросила Варвара.

— Мало ли что. Скажут, что я Писарева читал, — и ау!

— А вы, Ардальон Борисыч, этого Писарева на заднюю полочку, — посоветовал Володин, хихикая.

Передонов опасливо глянул на Володина и сказал:

— У меня, может быть, никогда и не было Писарева. Хочешь выпить, Павлушка?

Володин выпятил нижнюю губу, сделал значительное лицо знающего себе цену человека и сказал, по-бараньи наклоняя голову:

— Если за компанию, то я всегда готов выпить, а так ни-ни.

А Передонов тоже всегда готов был выпить. Выпили водки, закусили сладкими пирожками.

Вдруг Передонов плеснул остаток кофе из стакана на обои. Володин вытаращил свои бараньи глазки и огляделся с удивлением. Обои были испачканы, изодраны. Володин спросил:

— Что это у вас обои?

Передонов и Варвара захохотали.

— Назло хозяйке, — сказала Варвара. — Мы скоро выедем. Только вы не болтайте.

— Отлично! — крикнул Володин и радостно захохотал.

Передонов подошел к стене и принялся колотить по ней подошвами. Володин по его примеру тоже лягал стену. Передонов сказал:

— Мы всегда, когда едим, пакостим стены, — пусть помнит.

— Каких лепех насажали! — с восторгом восклицал Володин.

— Иришка-то как обалдеет, — сказала Варвара с сухим и злым смехом.

И все трое, стоя перед стеною, плевали на нее, рвали обои и колотили их сапогами. Потом, усталые и довольные, отошли.

Передонов нагнулся и поднял кота. Кот был толстый, белый, некрасивый. Передонов теребил его, — дергал за уши, за хвост, тряс за шею. Володин радостно хохотал и подсказывал Передонову, что еще можно сделать:

— Ардальон Борисыч, дунь ему в глаза! Погладь его против шерсти!

Кот фыркал и старался вырваться, но не смел показать когтей, — за это его жестоко били. Наконец забава Передонову наскучила, и он бросил кота.

— Слушай, Ардальон Борисыч, что я тебе хотел сказать, — заговорил Володин. — Всю дорогу думал, как бы не забыть, и чуть не забыл.

— Ну? — угрюмо спросил Передонов.

— Вот ты любишь сладкое, — радостно говорил Володин, — а я такое кушанье знаю, что ты пальчики оближешь.

— Я сам все вкусные кушанья знаю, — сказал Передонов.

Володин сделал обиженное лицо.

— Может быть, — сказал он, — вы, Ардальон Борисыч, знаете все вкусные кушанья, которые делают у вас на родине, но как же вы можете знать все вкусные кушанья, которые делаются у меня на родине, если вы никогда на моей родине не были?

И, довольный убедительностью своего возражения, Володин засмеялся, заблеял.

— На твоей родине дохлых кошек жрут, — сердито сказал Передонов.

— Позвольте, Ардальон Борисыч, — визгливым и смеющимся голосом говорил Володин, — это, может быть, на вашей родине изволят кушать дохлых кошечек, этого мы не будем касаться, а только ерлов вы никогда не кушали.

— Нет, не кушал, — признался Передонов.

— Что же это за кушанье такое? — спросила Варвара.

— А это вот что, — стал объяснять Володин, — знаете вы кутью?

— Ну кто кутьи не знает, — ухмыляясь, ответила Варвара.

— Так вот, пшенная кутья, с изюмцем, с сахарцем, с миндалем, — это и есть ерлы.

И Володин подробно рассказал, как варят на его родине ерлы. Передонов слушал тоскливо. Кутья, — что ж, его в покойники, что ли, хочет записать Павлушка?

Володин предложил:

— Если вы хотите, чтоб все было как следует, вы дайте мне материал, а я вам и сварю.

— Пусти козла в огород, — угрюмо сказал Передонов.

«Еще подсыплет чего-нибудь», — подумал он.

Володин опять обиделся.

— Если вы думаете, Ардальон Борисыч, что я у вас стяну сахарцу, так вы ошибаетесь, — мне вашего сахарцу не надо.

— Ну что там валять петрушку, — перебила Варвара. — Ведь вы знаете, у него всё привереды. Приходите и варите.

— Сам и есть будешь, — сказал Передонов.

— Это почему же? — дребезжащим от обиды голосом спросил Володин.

— Потому что гадость.

— Как вам угодно, Ардальон Борисыч, — пожимая плечами, сказал Володин, — а только я вам хотел угодить, а если вы не хотите, то как хотите.

— А как тебя генерал-то отбрил? — спросил Передонов.

— Какой генерал? — ответил вопросом Володин, и покраснел, и обиженно выпятил нижнюю губу.

— Да слышали, слышали, — говорил Передонов.

Варвара ухмылялась.

— Позвольте, Ардальон Борисыч, — горячо заговорил Володин, — вы слышали, да, может быть, недослышали. Я вам расскажу, как все это дело было.

— Ну рассказывай, — сказал Передонов.

— Это было дело третьего дня, — рассказывал Володин, — об эту самую пору. У нас в училище, как вам известно, производится в мастерской ремонт. И вот, изволите видеть, приходит Верига с нашим инспектором осматривать, а мы работаем в задней комнате. Хорошо. Я не касаюсь, зачем Верига пришел, что ему надо, — это не мое дело. Положим, я знаю, что он предводитель дворянства, а к нашему училищу касательства не имеет, — но я этого не трогаю. Приходит, — и пусть, мы им не мешаем, работаем себе помаленьку, — вдруг они к нам входят, и Верига, изволите видеть, в шапке.

— Это он тебе неуважение оказал, — угрюмо сказал Передонов.

— Изволите видеть, — обрадованно подхватил Володин, — и у нас образ висит, и мы сами без шапок, а он вдруг является этаким мамелюком. Я ему и изволил сказать, тихо, благородно: ваше превосходительство, говорю, потрудитесь вашу шапочку снять, потому, говорю, как здесь образ. Правильно ли я сказал? — спросил Володин и вопросительно вытаращил глаза.

— Ловко, Павлушка, — крикнул Передонов, — так ему и надо.

— Конечно, что им спускать, — поддержала и Варвара. — Молодец, Павел Васильевич.

Володин, с видом напрасно обиженного человека, продолжал:

— А он вдруг изволил мне сказать: всякий сверчок знай свой шесток. Повернулся и вышел. Вот как все дело было, и больше никаких.

Володин чувствовал себя все-таки героем. Передонов в утешение дал ему карамельку.

Пришла и еще гостья, Софья Ефимовна Преполовенская, жена лесничего, полная, с добродушно-хитрым лицом и плавными движениями. Ее посадили завтракать. Она лукаво спросила Володина:

— Что это вы, Павел Васильевич, так зачастили к Варваре Дмитриевне?

— Я не к Варваре Дмитриевне изволил прийти, — скромно ответил Володин, — а к Ардальону Борисычу.

— Уж не влюбились ли вы в кого-нибудь? — посмеиваясь, спрашивала Преполовенская.

Всем известно было, что Володин искал невесты с приданым, сватался ко многим и получал отказ. Шутка Преполовенской показалась ему неуместною. Дрожащим голосом, напоминая всею своею повадкою разобиженного баранчика, он сказал:

— Если я влюбился, Софья Ефимовна, то это ни до кого не касается, кроме меня самого и той особы, а вы таким манером выходите в сторонке.

Но Преполовенская не унималась.

— Смотрите, — говорила она, — влюбите вы в себя Варвару Дмитриевну, кто тогда Ардальону Борисычу сладкие пирожки станет печь?

Володин выпятил губы, поднял брови и уже не знал, что сказать.

— Да вы не робейте, Павел Васильевич, — продолжала Преполовенская, — чем вы не жених! и молоды, и красивы.

— Может быть, Варвара Дмитриевна и не захотят, — сказал Володин, хихикая.

— Ну как не захотят, — ответила Преполовенская, — уж больно вы скромны некстати.

— А может быть, и я не захочу, — сказал Володин, ломаясь. — Я, может быть, и не хочу на чужих сестрицах жениться. У меня, может быть, на родине своя двоюродная племянница растет.

Уже он начал верить, что Варвара не прочь за него выйти. Варвара сердилась. Она считала Володина дураком; да и получал он вчетверо меньше, чем Передонов. Преполовенской же хотелось женить Передонова на своей сестре, дебелой поповне. Поэтому она старалась поссорить Передонова с Варварой.

— Что вы меня сватаете, — досадливо сказала Варвара, — вот вы лучше вашу меньшуху за Павла Васильевича сватайте.

— Зачем же я стану его от вас отбивать! — шутливо возразила Преполовенская.

Шутки Преполовенской дали новый оборот медленным мыслям Передонова; да и ерлы крепко засели в его голове. С чего это Володин выдумал такое кушанье? Передонов не любил размышлять. В первую минуту он всегда верил тому, что ему скажут. Так поверил он и влюбленности Володина в Варвару. Он думал: вот окрутят с Варварой, а там,

как поедут на инспекторское место, отравят его в дороге ерлами и подменят Володиным: его похоронят как Володина, а Володин будет инспектором. Ловко придумали!

Вдруг в передней послышался шум. Передонов и Варвара испугались: Передонов неподвижно уставил на дверь прищуренные глаза, Варвара подкралась к двери в залу, едва приоткрыла ее, заглянула, потом так же тихо, на цыпочках, балансируя руками и растерянно улыбаясь, вернулась к столу. Из передней доносились визгливые крики и шум, словно там боролись. Варвара шептала:

— Ершиха — пьяная-распьяная, Наташка ее не пускает, а она в залу так и прет.

— Как же быть? — испуганно спросил Передонов.

— Надо перейти в залу, — решила Варвара, — чтоб она сюда не залезла.

Пошли в залу, а двери за собой плотно закрыли. Варвара вышла в прихожую со слабою надеждою задержать хозяйку или посадить ее в кухню. Но нахальная баба ворвалась-таки в залу. Она подбочась остановилась у порога и сыпала ругательные слова в виде общего приветствия. Передонов и Варвара суетились около нее и старались усадить ее на стул поближе к прихожей да подальше от столовой. Варвара вынесла ей из кухни на подносе водки, пива, пирожков. Но хозяйка не садилась, ничего не брала и рвалась в столовую, да только никак не могла признать, где дверь. Она была красная, растрепанная, грязная, и от нее далеко пахло водкою. Она кричала:

— Нет, ты меня за свой стол посади. Что ты мне выносишь на подносе! Я на скатертке хочу. Я — хозяйка, так ты меня почти. Ты не гляди, что я — пьяная. Зато я честная, я своему мужу жена.

Варвара, трусливо и нагло ухмыляясь, сказала:

— Да уж мы знаем.

Ершова подмигнула Варваре, хрипло захохотала и ухарски щелкнула пальцами. Она становилась все более дерзкою.

— Сестра! — кричала она, — знаем мы, какая ты есть сестра. А отчего к тебе директорша не ходит? а? что?

— Да ты не кричи, — сказала Варвара.

Но Ершова закричала еще громче:

— Как ты можешь мне указывать! Я в своем дому, что хочу, то и делаю. Захочу, — и сейчас вас выгоню вон, и чтобы духу вашего не пахло. Но только я к вам милостива. Живите, ничего, только чтоб не фордыбачить.

Меж тем Володин и Преполовенская скромненько посиживали у окна да помалкивали. Преполовенская легонечко усмехалась, посматривала искоса на буянку, а сама притворялась, что глядит на улицу. Володин сидел с обиженно-значительным выражением на лице.

Ершова на время пришла в благодушное настроение и дружелюбно сказала Варваре, пьяно и весело улыбаясь ей и похлопывая ее по плечу:

— Нет, ты меня послушай-ка, что я тебе скажу, — ты меня за свой стол посади да барского разговорцу мне поставь. Да поставь ты мне сладких жамочек, почти хозяйку домовую, так-то, милая ты моя девушка.

— Вот тебе пирожки, — сказала Варвара.

— Не хочу пирожков, хочу барских жамочек, — закричала Ершова, размахивая руками и блаженно улыбаясь, — скусные жамочки господа жрут, и-их скусные!

— Нет у меня никаких тебе жамочек, — отвечала Варвара, делаясь смелее оттого, что хозяйка становилась веселее, — вот, дают тебе пирожки, так и жри.

Вдруг Ершова разобрала, где дверь в столовую. Она неистово взревела:

— Дай дорогу, ехидина!

Оттолкнула Варвару и кинулась к двери. Ее не успели удержать. Наклонив голову, сжав кулаки, ворвалась она в столовую, с треском распахнув дверь. Там она остановилась близ порога, увидела испачканные обои и пронзительно засвистала. Она подбоченилась, лихо отставила ногу и неистово крикнула:

— А, так вы и в самом деле хотите съезжать!

— Что ты, Иринья Степановна, — дрожащим голосом говорила Варвара, — мы и не думаем, полно тебе петрушку валять.

— Мы никуда не уедем, — подтверждал Передонов, — нам и здесь хорошо.

Хозяйка не слушала, подступала к оторопелой Варваре и размахивала кулаками у ее лица. Передонов держался позади Варвары. Он бы и убежал, да любопытно было посмотреть, как хозяйка и Варвара подерутся.

— На одну ногу стану, за другую дерну, пополам разорву! — свирепо кричала Ершова.

— Да что ты, Иринья Степановна, — уговаривала Варвара, — перестань, — у нас гости.

— А подавай сюда гостей! — закричала Ершова, — гостей-то твоих мне и нужно!

Ершова, шатаясь, ринулась в залу и, вдруг переменив совершенно и речь, и все свое обращение, смиренно сказала Преполовенской, низко кланяясь ей, причем едва не свалилась на пол:

— Барыня милая, Софья Ефимовна, простите вы меня, бабу пьяную. А только что я вам сейчас скажу, послушайте-ка. Вот вы к ним ходите, а знаете, что она про вашу сестрицу говорит? И кому же? Мне, пьяной сапожнице! Зачем? Чтобы я всем рассказала, вот зачем!

Варвара багрово покраснела и сказала:

— Ничего я тебе не говорила.

— Ты не говорила? Ты, касть поганая? — закричала Ершова, подступая к Варваре со сжатыми кулаками.

— Ну замолчи, — смущенно пробормотала Варвара.

— Нет, не замолчу, — злорадно крикнула Ершова и опять обратилась к Преполовенской: — Что она с вашим мужем будто живет, ваша сестра, вот что она мне говорила, паскудная!

Софья сверкнула сердитыми и хитрыми глазами на Варвару, встала и сказала с притворным смехом:

— Благодарю покорно, не ожидала.

— Врешь! — злобно взвизгнула на Ершову Варвара.

Ершова сердито гукнула, топнула, и махнула рукою на Варвару, и сейчас же снова обратилась к Преполовенской:

— Да и барин-то про вас, матушка барыня, что говорит! Что вы будто раньше таскались, а потом замуж вышли! Вот они какие есть, самые мерзкие люди! Плюньте вы им в морды, барыня хорошая, ничем с такими расподлыми людишками вожжаться.

Преполовенская покраснела и молча пошла в прихожую. Передонов побежал за нею, оправдываясь:

— Она врет, вы ей не верьте. Я только раз сказал при ней, что вы — дура, да и то со злости, а больше, ей-Богу, ничего не говорил, — это она сама сочинила.

Преполовенская спокойно отвечала:

— Да что вы, Ардальон Борисыч! ведь я вижу, что она пьяная, сама не помнит, что мелет. Только зачем вы все это позволяете в своем доме?

— Вот поди знай, — ответил Передонов, — что с нею сделаешь!

Преполовенская, смущенная и сердитая, надевала кофту. Передонов не догадался помочь ей. Еще он бормотал что-то, но уже она не слушала его. Тогда Передонов вернулся в залу. Ершова принялась крикливо упрекать его. Варвара выбежала на крыльцо и утешала Преполовенскую:

— Ведь вы знаете, какой он дурак, — что говорит, сам не знает.

— Ну полноте, что вы беспокоитесь, — отвечала ей Преполовенская. — Мало ли что пьяная баба сболтнет.

Около дома, на дворе, куда выходило крыльцо, росла крапива, густая, высокая. Преполовенская слегка улыбнулась, и последняя тень неудовольствия сбежала с ее белого и полного лица. Она по-прежнему стала приветлива и любезна с Варварою. Обида будет отомщена и без ссоры. Вместе пошли они в сад пережидать хозяйкино нашествие.

Преполовенская все посматривала на крапиву, которая и в саду обильно росла вдоль заборов. Она сказала наконец:

— Крапивы-то у вас сколько. Вам она не нужна?

Варвара рассмеялась и ответила:

— Ну вот, на что мне она!

— Коли вам не жалко, надо у вас нарвать, а то у нас нету, — сказала Преполовенская.

— Да на что она вам? — с удивлением спросила Варвара.

— Да уж надо, — сказала Преполовенская, посмеиваясь.

— Душечка, скажите, на что? — взмолилась любопытная Варвара.

Преполовенская, наклонившись к Варварину уху, шепнула:

— Крапивой натирать — с тела не спадешь. От крапивы-то и моя Генечка такая толстуха.

Известно было, что Передонов отдает предпочтение жирным женщинам, а тощих порицает. Варвару сокрушало, что она тонка и все худеет. Как бы нагулять побольше жиру? — вот в чем была одна из главнейших ее забот. У всех спрашивала она: «Не знаете ли средства?» Теперь Преполовенская была уверена, что Варвара по ее указанию будет усердно натираться крапивою и так сама себя накажет.

III

Передонов и Ершова вышли на двор. Он бормотал:

— Вот поди ж ты.

Она кричала во все горло и была веселая. Они собирались плясать. Преполовенская и Варвара пробрались через кухню в горницы и сели у окна смотреть, что будет на дворе.

Передонов и Ершова обнялись и пустились в пляс по траве кругом груши. Лицо у Передонова по-прежнему оставалось тупым и не выражало ничего. Механически, как на неживом, прыгали на его носу золотые очки и короткие волосы на его голове. Ершова повизгивала, покрикивала, помахивала руками и вся шаталась. Она крикнула Варваре в окно:

— Эй ты, фря, выходи плясать! Ай гнушаешься нашей компанией?

Варвара отвернулась.

— Черт с тобой! Уморилась! — крикнула Ершова, повалилась на траву и увлекла с собою Передонова.

Они посидели обнявшись, потом опять заплясали. И так несколько раз повторялось: то попляшут, то отдохнут под грушею, на скамеечке или прямо на траве.

Володин искренно веселился, глядя из окна на пляшущих. Он хохотал, строил уморительные гримасы, корчился, сгибал колени вверх и вскрикивал:

— Эк их разбирает! Потеха!

— Стерва проклятая! — сердито сказала Варвара.

— Стерва, — согласился Володин, хохоча, — погоди ж, хозяюшка любезная, я тебе удружу. Давайте пачкать и в зале. Теперь уже все равно сегодня не вернется, упаточится там на травке, пойдет спать.

Он залился блеющим смехом и запрыгал бараном. Преполовенская подстрекала:

— Конечно, пачкайте, Павел Васильевич, что ей в зубы смотреть. Если и придет, так ей можно будет сказать, что это она сама с пьяных глаз так отделала.

Володин, прыгая и хохоча, побежал в залу и принялся шаркать подошвами по обоям.

— Варвара Дмитриевна, дайте веревочку, — закричал он.

Варвара, ковыляя, словно утка, пошла через залу в спальню и принесла оттуда конец веревки, измочаленный и узловатый. Володин сделал петлю, поставил среди залы стул и подвесил петлю на крюк для лампы.

— Это для хозяйки! — кричал он. — Чтоб было на чем повеситься со злости, когда вы уедете.

Обе дамы визжали от хохота.

— Дайте бумажки клочок! — кричал Володин, — и карандашик.

Варвара порылась еще в спальне и вынесла оттуда обрывок бумажки и карандаш. Володин написал: «Для хозяйки», — и прицепил бумажку к петле. Все это делал он с потешными ужимками. Потом он снова принялся неистово прыгать вдоль стен, попирая их подошвами и весь сотрясаясь при этом. Визгом его и блеющим хохотом был наполнен весь дом. Белый кот, испуганно прижав уши, выглядывал из спальни и, по-видимому, не знал, куда бы ему бежать.

Передонов отвязался наконец от Ершовой и возвратился домой один, — Ершова и точно утомилась и пошла домой спать. Володин встретил Передонова радостным хохотом и криком:

— И в зале напачкали! Ура!

— Ура! — закричал Передонов и захохотал громко и отрывисто, словно выпаливая свой смех.

Закричали «ура» и дамы. Началось общее веселье. Передонов крикнул:

— Павлушка, давай плясать!

— Давай, Ардальоша, — глупо хихикая, ответил Володин.

Они плясали под петлею и оба нелепо вскидывали ноги. Пол вздрагивал под тяжкими стопами Передонова.

— Расплясался Ардальон Борисыч, — заметила Преполовенская, легонечко улыбаясь.

— Уж и не говорите, у него все причуды, — ворчливо ответила Варвара, любуясь, однако, Передоновым.

Она искренно думала, что он красавец и молодец. Самые глупые поступки его казались ей подобающими. Он не был ей ни смешон, ни противен.

— Отпевайте хозяйку! — закричал Володин. — Давайте подушку!

— Чего ни придумают! — смеясь, говорила Варвара.

Она выкинула из спальни подушку в грязной ситцевой наволочке. Подушку положили на пол, за хозяйку, и стали ее отпевать дикими, визгливыми голосами. Потом позвали Наталью, заставили ее вертеть аристон, а сами, все четверо, танцевали кадриль, нелепо кривляясь и высоко вскидывая ноги.

После пляски Передонов расщедрился. Одушевление, тусклое и угрюмое, светилось на его заплывшем лице. Им овладела решимость, почти механическая, — может быть, следствие усиленной мышечной деятельности. Он вытащил бумажник, отсчитал несколько кредиток и, с лицом гордым и самохвальным, бросил их по направлению к Варваре.

— Бери, Варвара! — крикнул он, — шей себе подвенечное платье.

Кредитки разлетелись по полу. Варвара живо подобрала их. Она нисколько не обиделась на такой способ дарения. Преполовенская злобно думала: «Ну мы еще посмотрим, чья возьмет», — и ехидно улыбалась. Володин, конечно, не догадался помочь Варваре поднять деньги.

Скоро Преполовенская ушла. В сенях она встретилась с новою гостьею, Грушиною.

Марья Осиповна Грушина, молодая вдова, имела как-то преждевременно опустившуюся наружность. Она была тонка, — и сухая кожа ее вся покрылась морщинками, мелкими и словно запыленными. Лицо, не лишенное приятности, — а зубы грязные и черные. Руки тонкие, пальцы длинные и цепкие, под ногтями грязь. На беглый взгляд она не то чтоб казалась очень грязною, а производила такое впечатление, словно она никогда не моется, а только выколачивается вместе со своими платьями. Думалось, что если ударить по ней несколько раз камышовкою, то поднимется до самого неба пыльный столб. Одежда на ней висела мятыми складками, словно сейчас только вынутая из туго завязанного узла, где долго лежала скомканная. Жила Грушина пенсиею, мелким комиссионерством и отдачею денег под залог недвижимостей. Разговоры вела по преимуществу нескромные и привязывалась к мужчинам, желая найти жениха. В ее доме постоянно занимал комнату кто-нибудь из холостых чиновников.

Варвара встретила Грушину радостно: было до нее дело. Грушина и Варвара сейчас же принялись говорить о прислуге и зашептались. Любопытный Володин подсел к ним и слушал. Передонов угрюмо и одиноко сидел за столом и мял руками конец скатерти.

Варвара жаловалась Грушиной на свою Наталью. Грушина указала ей новую прислугу, Клавдию, и расхвалила ее. Решили ехать за нею сейчас же, на Самородину-речку, где она жила пока у акцизного чиновника, на днях получившего перевод в другой город. Варвару остановило только имя. Она с недоумением спросила:

— Клавдия? А ейкать-то ее как же я стану? Клашка, что ли?

Грушина посоветовала:

— А вы ее зовите Клавдюшкой.

Варваре это понравилось. Она повторяла:

— Клавдюшка, дюшка.

И смеялась скрипучим смехом. Надо заметить, что дюшками в нашем городе называют свиней. Володин захрюкал. Все захохотали.

— Дюшка, дюшенька, — лепетал меж приступами смеха Володин, корча глупое лицо и выпячивая губы.

И он хрюкал и дурачился до тех пор, пока ему не сказали, что он надоел. Тогда он отошел с обиженным лицом, сел рядом с Передоновым и, по-бараньи склонив свой крутой лоб, уставился на испачканную пятнами скатерть.

Заодно по дороге на Самородину-речку Варвара решила купить и материю для подвенечного платья. Она всегда ходила по магазинам вместе с Грушиною: та помогала ей сделать выбор и сторговаться.

Крадучись от Передонова, Варвара напихала Грушиной в глубокие карманы для ее детей разного кушанья, сладких пирожков, гостинцев. Грушина догадалась, что ее услуги сегодня на что-то очень понадобятся Варваре.

Узкие башмаки и высокие каблуки не давали Варваре много ходить. Она скоро уставала. Поэтому она чаще ездила на извозчиках, хотя больших расстояний в нашем городе не было. В последнее время она зачастила к Грушиной. Извозчики уж заприметили это; их и всех-то было десятка два. Сажая Варвару, уж и не спрашивали, куда везти.

Уселись на дрожки и поехали к господам, у которых жила Клавдия, осведомляться о ней. На улицах было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще вчера вечером. Дрожки только изредка продребезжат по каменной настилке и опять вязнут в липкой грязи на немощеных улицах. Зато Варварин голос дребезжал непрерывно, часто сопровождаемый сочувственною болтовнею Грушиной.

— Мой-то гусь опять был у Марфушки, — сказала Варвара.

Грушина ответила с сочувственною злостью:

— Это они его ловят. Еще бы, жених-то хоть куда, особенно ей-то, Марфушке. Ей такого и во сне не снилось.

— Уж не знаю, право, как и быть, — жаловалась Варвара, — ершистый такой стал, что просто страх. Поверите ли, голова кругом идет. Женится, а я на улицу ступай.

— Что вы, голубушка Варвара Дмитриевна, — утешала Грушина, — не думайте этого. Никогда он ни на ком, кроме вас, не женится. Он к вам привык.

— Уйдет иногда к ночи, а я заснуть не могу, — говорила Варвара. — Кто его знает, может быть, венчается где-нибудь. Иногда всю ночь промаешься. Все на него зарятся, — и рутиловские три кобылы, — ведь они всем на шею вешаются, — и Женька толсторожая.

И долго жаловалась Варвара, и по всему ее разговору Грушина видела, что у нее еще что-то есть, какая-то просьба, и заранее радовалась заработку. Клавдия понравилась. Жена акцизного ее хвалила. Ее наняли и велели приходить сегодня же вечером, так как акцизный уезжал сегодня.

Наконец приехали к Грушиной. Грушина жила в собственном домике, довольно неряшливо, с тремя малыми своими ребятишками, обтрепанными, грязными, глупыми и злыми, как ошпаренные собачонки. Откровенный разговор только теперь начался.

— Мой-то дурак Ардальошка, — заговорила Варвара, — требует, чтобы я опять княгине написала. А чего я ей попусту писать стану! Она и не ответит или ответит неладное. Знакомство-то не больно великое.

Княгиня Волчанская, у которой Варвара когда-то жила домашнею портнихою для простых работ, могла бы оказать Передонову покровительство: ее дочь была замужем за тайным советником Щепкиным, важною в учебном ведомстве особою. Она уже писала Варваре в ответ на ее просьбы в прошлом году, что не станет просить за Варварина жениха, а за мужа — другое дело, при случае можно будет попросить. То письмо Передонова не удовлетворило: там дана только неясная надежда, а не сказано прямо, что непременно княгиня выхлопочет Варварину мужу инспекторское место. Чтобы разъяснить это недоумение, ездили нынче в Петербург; Варвара сходила к княгине, потом повела к ней и Передонова, но нарочно оттянула это посещение, так что уже не застали княгиню: Варвара поняла, что княгиня в лучшем случае ограничится только советом повенчаться поскорее да несколькими неопределенными обещаниями при случае попросить, — обещаниями, которые были бы совсем недостаточны для Передонова. И Варвара решила не показывать княгиню Передонову.

— Уж я на вас, как на каменную гору, надеюсь, — сказала Варвара, — помогите мне, голубушка Марья Осиповна.

— Как же я могу помочь, душечка Варвара Дмитриевна? — спросила Грушина. — Уж вы знаете, я для вас все готова сделать, что только можно. Поворожить не хотите ли?

— Ну что ваша ворожка, знаю я, — сказала со смехом Варвара, — нет, вы мне иначе должны помочь.

— Как же? — с тревожно-радостным ожиданием спросила Грушина.

— Очень просто, — сказала, ухмыляясь, Варвара, — вы напишите письмо, будто бы от княгини, под ее руку, а я покажу Ардальону Борисычу.

— Ой, голубушка, что вы, как это можно! — заговорила Грушина, притворяясь испуганною, — как узнают все это дело, что мне тогда будет?

Варвара нисколько не смутилась ее ответом, вытащила из кармана измятое письмо и сказала:

— Вот я и письмо княгинино взяла вам для образца.

Грушина долго отнекивалась. Варвара ясно видела, что Грушина согласится, но что ей хочется получить за это побольше. А Варваре хотелось дать поменьше. И она осторожно увеличивала посулы, наобещала разных мелких подарков, шелковое старое платье, и наконец Грушина увидела, что уж больше Варвара ни за что не даст. Жалобные слова так и сыпались с Варварина языка. Грушина сделала вид, что соглашается только из жалости и взяла письмо.

IV

В бильярдной было дымно накурено. Передонов, Рутилов, Фаластов, Володин и Мурин, — помещик громадного роста, с глупою наружностью, владелец маленького имения, человек оборотливый и денежный, — все пятеро, окончив игру, собирались уходить.

Вечерело. На грязном дощатом столе возвышалось много опорожненных пивных бутылок. Игроки, много за игрою выпившие, раскраснелись и пьяно галдели. Рутилов один сохранял обычную чахлую бледность. Он и пил меньше других, да и после обильной выпивки только бы еще больше побледнел.

Грубые слова носились в воздухе. Никто на это не обижался: по дружбе.

Передонов проиграл, как почти всегда. Он плохо играл на бильярде. Но он сохранял на своем лице невозмутимую угрюмость и расплачивался с неохотою. Мурин громко крикнул:

— Пли!

И прицелился в Передонова кием. Передонов крикнул от страха и присел. В его голове мелькнула глупая мысль, что Мурин хочет его застрелить. Все захохотали. Передонов досадливо пробормотал:

— Терпеть не могу таких шуток.

Мурин уже раскаивался, что испугал Передонова: его сын учился в гимназии, и потому он считал своею обязанностью всячески угождать гимназическим учителям. Теперь он стал извиняться перед Передоновым и угощал его вином и сельтерскою. Передонов угрюмо сказал:

— У меня нервы немного расстроены. Я директором нашим недоволен.

— Проигрался будущий инспектор, — блеющим голосом закричал Володин, — жаль денежек!

— Несчастлив в игре, счастлив в любви, — сказал Рутилов, посмеиваясь и показывая гниловатые зубы.

Передонов и без того был не в духе из-за проигрыша и от испуга, да еще его принялись дразнить Варварою.

Он крикнул:

— Женюсь, а Варьку вон!

Приятели хохотали и подзадоривали:

— А вот и не посмеешь.

— А вот и посмею. Завтра же пойду свататься.

— Пари! идет? — предложил Фаластов, — на десять рублей.

Но Передонову жаль стало денег, — проиграешь, пожалуй, так платить придется. Он отвернулся и угрюмо отмалчивался.

У ворот из сада расстались и разошлись в разные стороны.

Передонов и Рутилов пошли вместе. Рутилов принялся уговаривать Передонова сейчас же венчаться на одной из его сестер.

— Я все наладил, не беспокойся, — твердил он.

— Оглашения не было, — отговаривался Передонов.

— Я все наладил, говорю тебе, — убеждал Рутилов. — Попа такого нашел: он знает, что вы не родня.

— Шаферов нет, — сказал Передонов.

— Ну вот, нет. Шаферов достанем сейчас же, пошлю за ними, они и приедут прямо в церковь. Или сам за ними заеду. А раньше нельзя было, сестрица твоя узнала бы и помешала.

Передонов замолчал и тоскливо озирался по сторонам, где темнели редкие, молчаливые дома за дремотными садишками да шаткими изгородями.

— Ты только постой у ворот, — убедительно говорил Рутилов, — я тебе любую выведу, которую хошь. Ну послушай, я тебе сейчас докажу. Ведь дважды два четыре, так или нет?

— Так, — отвечал Передонов.

— Ну вот, дважды два четыре, что тебе следует жениться на моей сестре.

Передонов был поражен.

«А ведь и правда, — подумал он, — конечно, дважды два четыре. — И он с уважением посмотрел на рассудительного Рутилова. — Придется венчаться! с ним не сговоришь». Приятели в это время подошли к рутиловскому дому и остановились у ворот.

— Нельзя же нахрапом, — сердито сказал Передонов.

— Чудак, ждут не дождутся, — воскликнул Рутилов.

— Да я-то, может быть, не хочу.

— Ну вот, не хочешь, чудород! Что ж, ты век бобылем жить станешь? — уверенно возразил Рутилов. — Или в монастырь собираешься? Или еще Варя не опротивела? Нет, ты подумай только, какую она рожу скорчит, если ты молодую жену приведешь.

Передонов отрывисто и коротко захохотал, но сейчас же опять нахмурился и сказал:

— Да и они, может быть, не хотят.

— Ну как не хотят, чудак! — отвечал Рутилов. — Уж я даю тебе слово.

— Они гордые, — придумывал Передонов.

— Да тебе-то что! еще лучше.

— Насмешницы.

— Да ведь не над тобой, — убеждал Рутилов.

— Почем я знаю!

— Да уж ты мне поверь, я тебя не обману. Они тебя уважают. Ведь ты не Павлушка какой-нибудь, чтоб над тобой смеяться.

— Да, поверь тебе, — недоверчиво сказал Передонов. — Нет, я хочу сам увериться, что они надо мной не смеются.

— Вот чудак, — с удивлением сказал Рутилов, — да как же они смеют смеяться? Ну как же ты, однако, хочешь увериться?

Передонов подумал и сказал:

— Пусть выйдут сейчас же на улицу.

— Ну ладно, это можно, — согласился Рутилов.

— Все трое, — продолжал Передонов.

— Ну ладно.

— И пусть каждая скажет, чем она мне угождать будет.

— Зачем же это? — с удивлением спросил Рутилов.

— Вот я и увижу, что они хотят, а то вы меня за нос поведете, — объяснил Передонов.

— Никто тебя за нос не поведет.

— Они надо мною, может быть, посмеяться хотят, — рассуждал Передонов, — а вот пусть выйдут, потом уж коли захотят смеяться, так и я буду над ними смеяться.

Рутилов подумал, передвинул шляпу на затылок и опять на лоб и наконец сказал:

— Ну погоди, пойду скажу им. Вот-то чудодей! Только ты во двор войди пока, а то еще кого-нибудь черт понесет по улице, увидят.

— Наплевать, — сказал Передонов, но все же вошел за Рутиловым в калитку.

Рутилов отправился в дом к сестрам, а Передонов остался ждать на дворе.

В гостиной, угловой к воротам горнице, сидели все четыре сестры, все на одно лицо, все похожие на брата, все миловидные, румяные,

веселые: замужняя Лариса, спокойная, приятная, полная, — вертлявая да быстрая Дарья, самая высокая и тонкая из сестер, — смешливая Людмила, — и Валерия, маленькая, нежная, хрупкая на вид. Они лакомились орехами да изюмом и, очевидно, чего-то ждали, а потому волновались и смеялись более обычного, вспоминали последние городские сплетни и осмеивали знакомых и незнакомых.

Уже с утра они были готовы ехать под венец. Оставалось только надеть приличное к венцу платье да приколоть фату и цветы. О Варваре сестры не вспоминали в своих разговорах, как будто ее и на свете нет. Но уже одно то, что они, беспощадные насмешницы, перемывая косточки всем, не обмолвились во весь день ни одним словечком только о Варваре, одно это доказывало, что неловкая мысль о ней гвоздем сидит в голове каждой из сестриц.

— Привел! — объявил Рутилов, входя в гостиную, — у ворот стоит.

Сестры взволнованно поднялись и все разом заговорили и засмеялись.

— Только есть закавычка, — сказал Рутилов, посмеиваясь.

— Что, что такое? — спросила Дарья.

Валерия досадливо нахмурила свои красивые, темные брови.

— Уж не знаю, говорить ли? — спросил Рутилов.

— Ну скорее, скорее! — торопила Дарья.

С некоторым смущением Рутилов рассказал о том, чего желает Передонов. Барышни подняли крик и взапуски принялись бранить Передонова. Но мало-помалу их негодующие крики заменились шутками и смехом. Дарья сделала угрюмо-ожидающее лицо и сказала:

— Вот он так стоит у ворот.

Вышло похоже и забавно.

Барышни стали выглядывать из окна к воротам. Дарья приоткрыла окно и крикнула:

— Ардальон Борисыч, а из окошка сказать можно?

Послышался угрюмый голос:

— Нельзя.

Дарья поспешно захлопнула окно. Сестры расхохотались звонко и неудержимо и убежали из гостиной в столовую, чтобы Передонов не услышал. В этом веселом семействе умели от самого сердитого

настроения переходить к смеху и шуткам, и веселое слово зачастую решало дело.

Передонов стоял и ждал. Ему было грустно и страшно. Подумывал он убежать, да не решился и на это. Откуда-то очень издалека доносилась музыка: должно быть, предводителева дочь играла на рояли. Слабые, нежные звуки лились в вечернем тихом, темном воздухе, наводили грусть, рождали сладкие мечты.

Сначала мечты Передонова приняли эротическое направление. Он представлял барышень Рутиловых в самых соблазнительных положениях. Но чем дольше продолжалось ожидание, тем больше Передонов испытывал раздражение, — зачем заставляют его ждать. И музыка, едва задев его мертвенно-грубые чувства, умерла для него.

А вокруг спустилась ночь, тихая, шуршащая зловещими подходами и пошептами. И еще темнее казалось везде оттого, что Передонов стоял в пространстве, освещенном лампою в гостиной, свет от которой двумя полосами ложился на двор, расширяясь к соседскому забору, за которым виднелись темные бревенчатые стены. В глубине двора подозрительно темнели и шептались о чем-то деревья рутиловского сада. На улицах по мосткам где-то недалеко долго слышались чьи-то замедленные, тяжелые шаги. Передонов начал уже бояться, что пока он тут стоит, на него нападут и ограбят, а то так и убьют. Он прижался к самой стене, в тень, чтобы его не видели, и робко ждал.

Но вот по освещенным полосам на дворе пробежали длинные тени, захлопали двери, послышались за дверью на крыльце голоса. Передонов оживился. «Идут!» — радостно подумал он, и приятные мечты о красотках-сестрицах опять лениво зашевелились в его голове, — паскудные детища его скудного воображения.

Сестры стояли в сенях. Рутилов вышел на двор к воротам и огляделся, не идет ли кто по улице. Никого не было ни видно, ни слышно.

— Никого нет, — громким шепотом сказал он сестрам в сложенные трубою руки.

Он остался сторожить на улице. Вместе с ним вышел на улицу и Передонов.

— Ну вот, сейчас они тебе скажут, — сказал Рутилов.

Передонов стоял у самой калитки и смотрел в щель меж калиткою и приворотным столбом. Лицо его было угрюмо и почти испуганно, — и всякие мечты и думы погасли в его голове и сменились тяжелым, беспредметным вожделением.

Дарья первая подошла к приотворенной калитке.

— Ну, чем же вам угодить? — спросила она.

Передонов угрюмо молчал. Дарья сказала:

— Я вам блины буду превкусные печь, горячие, — только не подавитесь.

Людмила из-за ее плеча крикнула:

— А я каждое утро буду по городу ходить, все сплетни собирать, а потом вам рассказывать. Превесело.

Между веселыми лицами двух сестер показалось на миг капризное, тонкое Валерочкино лицо, и послышался ее хрупкий голосок:

— А я ни за что не скажу, чем вам угожу, — догадывайтесь сами.

Сестры побежали, заливаясь хохотом. Голоса их и смех затихли за дверьми. Передонов отвернулся от калитки. Он был не совсем доволен. Он думал: болтнули что-то и ушли. Дали бы лучше записочки. Но уже поздно тут стоять и ждать.

— Ну, видел? — спросил Рутилов. — Которую же тебе?

Передонов погрузился в размышление. Конечно, сообразил он наконец, надо выбирать самую молоденькую. Что же ему на перестарке жениться!

— Веди Валерию, — решительно сказал он.

Рутилов отправился домой, а Передонов опять вошел во двор.

Людмила выглядывала тайком в окно, стараясь услышать, что говорят, но ничего не услышала. Вот прозвучали шаги по мосткам на дворе. Сестры притихли и сидели взволнованные и смущенные. Вошел Рутилов и объявил:

— Валерию выбрал. Ждет, — стоит у ворот.

Сестры зашумели, засмеялись. Валерия слегка побледнела.

— Вот, вот, — повторяла она, — очень я хочу, очень мне надо.

Ее руки дрожали. Ее стали наряжать, — все три сестры хлопотали около нее. Она, как всегда, жеманилась и медлила. Сестры ее торопили. Рутилов неустанно болтал, радостно и возбужденно. Ему нравилось, что все это дело он так ловко устроил.

— А извозчиков ты приготовил? — озабоченно спросила Дарья.

Рутилов отвечал с досадою:

— Да разве можно? Весь город сбежался бы. Варвара бы его за волосы оттащила к себе.

— Так как же мы?

— А так, до площади дойдем попарно, а там и наймем. Очень просто. Сперва ты с невестой да Лариса с женихом, — да и то не сразу, а то еще увидит кто в городе. А я с Людмилой за Фаластовым заеду, они вдвоем поедут, а я еще Володина прихвачу.

Передонов, оставшись один, погрузился в сладкие мечтания. Ему грезилась Валерия в обаянии брачной ночи, раздетая, стыдливая, но веселая. Вся тоненькая, субтильная.

Мечтал, а сам таскал из кармана завалявшиеся там карамельки и сосал их.

Потом пришло ему на память, что Валерия — кокетка. Ведь она, подумал он, потребует нарядов, обстановки. Уж тогда, пожалуй, деньги придется не откладывать каждый месяц, а и прикопленное растрачивать. А жена-то станет привередничать, а за кухней, пожалуй, и недоглядит. А еще на кухне подсыплют ему яду, — Варя со злости подкупит кухарку. Да и вообще, думал Передонов, уж слишком тонкая штучка — Валерия. К такой не знаешь, как и подступиться. Как ее обругаешь? Как ее толканешь? Как на нее плюнешь? Изойдет слезами, осрамит на весь город. Нет, страшно с нею связываться. Вот Людмила, так та проще. Не взять ли ее?

Передонов подошел к окну и стукнул палкою в раму. Через полминуты Рутилов высунулся из окна.

— Чего тебе? — спросил он с беспокойством.

— Передумал, — буркнул Передонов.

— Ну! — испуганно крикнул Рутилов.

— Веди Людмилу, — сказал Передонов.

Рутилов отошел от окна.

— Черт очкастый, — проворчал он и пошел к сестрам.

Валерия обрадовалась.

— Твое счастье, Людмила, — весело сказала она.

Людмила принялась хохотать, — упала в кресло, откинулась на спинку и хохотала, хохотала.

— Что ему сказать-то? — спрашивал Рутилов, — согласна, что ли?

Людмила от смеха не могла сказать ни слова и только махала руками.

— Да, согласна, конечно, — сказала за нее Дарья. — Скажи ему скорее, а то еще уйдет сдуру, не дождется.

Рутилов вышел в гостиную и сказал шепотом в окно:

— Погоди, сейчас будет готова.

— Да живее, — сердито сказал Передонов, — что там копаются!

Людмилу проворно наряжали. Минут через пять она была уже совсем готова.

Передонов думал о ней. Она веселая, сдобная. Только уж очень любит хохотать. Засмеет, пожалуй. Страшно. Дарья, хоть и бойкая, а все же посолиднее и потише. А тоже красивая. Лучше взять ее. Он опять стукнул в окно.

— Стучит опять, — сказала Лариса, — уж не за тобой ли, Дарья?

— Вот черт-то! — выругался Рутилов и побежал к окну.

— Чего еще? — сердитым шепотом спросил он, — опять передумал, что ли?

— Веди Дарью, — отвечал Передонов.

— Ну подожди, — свирепо прошептал Рутилов.

Передонов стоял и думал о Дарье, — и опять недолгое любование ею в воображении сменилось страхом. «Уж очень она быстрая и дерзкая. Затормошит. Да и чего тут стоять и ждать? — подумал он, — еще простудишься. Во рву на улице, в траве под забором, может быть, кто-нибудь прячется, вдруг выскочит и укокошит». И тоскливо стало Передонову. Ведь они бесприданницы, думал он. Протекции у них в учебном ведомстве нет. Варвара нажалуется княгине. А на Передонова и так директор зубы точит.

Досадно стало Передонову на самого себя. С чего он тут путается с Рутиловым? Словно Рутилов очаровал его. Да, может быть, и в самом деле очаровал его. Надо поскорее зачураться.

Передонов закружился на месте, плевал во все стороны и бормотал:

— Чур-чурашки, чурки-болвашки, буки-букашки, веди-таракашки. Чур меня. Чур меня. Чур, чур, чур. Чур-перечур-расчур.

На лице его изображалось строгое внимание, как при совершении важного обряда. И после этого необходимого действия он почувствовал себя в безопасности от рутиловского наваждения. Решительно застучал он палкою в окно, сердито бормоча:

— Донести бы, — заманивают. Нет, не хочу сегодня жениться, — объявил он высунувшемуся к нему Рутилову.

— Да что ты, Ардальон Борисыч, ведь уже все готово, — пытался убеждать Рутилов.

— Не хочу, — решительно сказал Передонов, — пойдем ко мне в карты играть.

— Вот черт-то! — выругался Рутилов. — Не хочет венчаться, струсил, — объявил он сестрам. — Но я еще уломаю дурака. Зовет к себе в карты играть.

Сестры закричали все разом, браня Передонова.

— И ты пойдешь к этому прохвосту? — с досадою спросила Валерия.

— Ну да, пойду и возьму с него штраф. И он еще от нас не уйдет, — говорил Рутилов, стараясь сохранить уверенный тон, но чувствуя себя очень неловко.

Досада на Передонова быстро заменилась у девиц смехом. Рутилов ушел. Сестры побежали к окнам.

— Ардальон Борисыч! — крикнула Дарья, — что ж вы такой нерешительный? Так нельзя.

— Кисляй Кисляевич! — с хохотом крикнула Людмила.

Передонову стало досадно. По его мнению, сестры должны бы плакать от печали, что он их отверг. «Притворяются!» — подумал он, молча уходя со двора. Девицы перебежали к окнам на улицу и кричали вслед Передонову насмешливые слова, пока он не скрылся в темноте.

V

Передонова томила тоска. Уже и карамелек не было в кармане, и это его опечалило и раздосадовало. Рутилов почти всю дорогу говорил один, — продолжал выхвалять сестер. Передонов только однажды вступил в разговор. Он сердито спросил:

— У быка есть рога?

— Ну есть, так что же из того? — сказал удивленный Рутилов.

— Ну а я не хочу быть быком, — объяснил Передонов.

Раздосадованный Рутилов сказал:

— Ты, Ардальон Борисыч, и не будешь никогда быком, потому что ты — форменная свинья.

— Врешь! — угрюмо сказал Передонов.

— Нет, не вру и могу доказать, — злорадно сказал Рутилов.

— Докажи, — потребовал Передонов.

— Погоди, докажу, — с тем же злорадством в голосе ответил Рутилов.

Оба замолчали. Передонов пугливо ждал, и томила его злость на Рутилова. Вдруг Рутилов спросил:

— Ардальон Борисыч, а у тебя есть пятачок?

— Есть, да тебе не дам, — злобно ответил Передонов.

Рутилов захохотал.

— Коли у тебя есть пятачок, так как же ты не свинья! — крикнул он радостно.

Передонов в ужасе хватился за нос.

— Врешь, какой у меня пятачок, у меня человечья харя, — бормотал он.

Рутилов хохотал. Передонов, сердито и трусливо посматривая на Рутилова, сказал:

— Ты меня сегодня нарочно над дурманом водил, да и одурманил, чтобы с сестрами окрутить. Мало мне одной ведьмы, на трех разом венчаться!

— Чудород, да как же я-то не одурманился? — спросил Рутилов.

— Ты средство знаешь, — говорил Передонов. — Ты, может быть, через рот дышал, а в нос не пускал или слова такие говорил, а я ниче-

го не знаю, как надо против волшебства. Я не чернокнижник. Пока не зачурался, все одурманенный стоял.

Рутилов хохотал.

— Как же ты чурался? — спрашивал он.

Но уже Передонов молчал.

— Что ты за Варвару так уцепился? — говорил Рутилов. — Ты думаешь, хорошо тебе будет, если ты через нее получишь место? Она тебя оседлает.

Это было непонятно Передонову.

Ведь она для себя старается, — думал он. — Ей самой будет лучше, когда он будет начальником и будет получать много денег. Значит, не он ей, а она ему должна быть благодарна. Да и во всяком случае с нею ему удобнее, чем с кем бы то ни было другим.

Передонов привык к Варваре. Его тянуло к ней, — может быть, вследствие приятной для него привычки издеваться над нею. Другую такую ведь и на заказ бы не найти.

Было уже поздно. У Передонова в квартире горели лампы, — окна ярко выделялись в уличной темноте. Вокруг чайного стола сидели гости, Грушина — она же теперь ежеденничала у Варвары, — Володин, Преполовенская, ее муж, Константин Петрович, высокий человек лет под сорок, матово-бледный, черноволосый и необычайно молчаливый. Варвара принарядилась, — надела белое платье. Пили чай, беседовали. Варвару, как всегда, беспокоило, что Передонов долго не возвращался. Володин с веселым блеющим хохотом рассказал, что Передонов пошел куда-то с Рутиловым. Это увеличило Варварино беспокойство.

Наконец явились Передонов с Рутиловым. Их встретили криком, смехом, глупыми, нескромными шутками.

— Варвара, а где же водка? — сердито крикнул Передонов.

Варвара метнулась из-за стола, виновато ухмыляясь, и быстро принесла водку в большом, грубо граненном графине.

— Выпьем, — угрюмо пригласил Передонов.

— Подожди, — сказала Варвара, — Клавдюшка закуску принесет. Копа, шевелись, — крикнула она в кухню.

Но уже Передонов разливал водку по рюмкам и бормотал:

— Чего ждать, время не ждет.

Выпили и закусили пирожками с черносмородинным вареньем. У Передонова, чтобы занимать гостей, только и было в запасе, что карты да водка. Так как за карты сесть еще нельзя было, — чай надо было пить, — то оставалась водка.

Меж тем принесли закуску, так что можно было и еще выпить. Клавдия, уходя, не затворила двери, и Передонов забеспокоился.

— Вечно двери настежь, — ворчал он.

Он боялся сквозняка, — простудиться можно. Поэтому в квартире всегда было душно и смрадно.

Преполовенская взяла яйцо.

— Хорошие яйца, — сказала она, — где вы их достаете?

Передонов сказал:

— Это еще что яйца, — а вот в нашем имении у отца курица по два крупных яйца в день круглый год несла.

— Что ж такое, — ответила Преполовенская, — эка невидаль, нашли чем хвастать! У нас в деревне была курица, несла в день по два яйца и по ложке масла.

— Да, да, и у нас тоже, — сказал Передонов, не замечая насмешки. — Если носят другие, так и она несла. У нас выдающаяся была.

Варвара засмеялась.

— Петрушку валяют, — сказала она.

— Уши вянут, такой вздор вы несете, — сказала Грушина.

Передонов свирепо посмотрел на нее и ответил с ожесточением:

— А коли вянут, оборвать их надо.

Грушина смутилась.

— Ну уж вы, Ардальон Борисыч, всегда такое скажете! — жалобно сказала она.

Остальные сочувственно смеялись. Володин, щуря глаза и потряхивая лбом, смешливо объяснял:

— Если у вас уши вянут, то вам их оборвать надо, а то нехорошо, коли они у вас завянут и так мотаться будут, туда-сюда, туда-сюда.

Володин показал пальцами, как будут мотаться вялые уши. Грушина прикрикнула на него:

— Ну уж вы, туда же, сами ничего придумать не умеете, на готовенькое прохаживаетесь!

Володин обиделся и сказал с достоинством:

— Я и сам могу, Марья Осиповна, а только как мы в компании приятно время проводим, то отчего же не поддержать чужую шутку! А если это вам не нравится, то как вам будет угодно, — как вы к нам изволите, так и мы к вам изволим.

— Резонно, Павел Васильевич, — со смехом одобрил его Рутилов.

— Уж Павел Васильевич за себя постоит, — с лукавою усмешкою сказала Переполовенская.

Варвара отрезала кусок булки и, заслушавшись затейливых речей Володина, держала нож в руке. Острие сверкало. Передонову стало страшно, — а ну как вдруг зарежет. Он крикнул:

— Варвара, положи нож!

Варвара вздрогнула.

— Чего кричишь, испугал! — сказала она и положила нож. — Ведь вы знаете, у него всё привереды, — объяснила она молчаливому Преполовенскому, видя, что он поглаживает бороду и собирается что-то сказать.

— Это бывает, — сладостным и грустным голосом заговорил Преполовенский, — у меня был один знакомый, так тот иголок боялся, все боялся, что его уколют и иголка уйдет во внутренности. И ужасно боялся, представьте, как увидит иголку...

И, раз начавши говорить, уже он не мог остановиться и все на разные лады пересказывал одно и то же, пока его не перебил кто-то, заговорив о другом. Тогда он опять погрузился в молчание.

Грушина перевела разговор на эротические темы. Она рассказала, как ее ревновал покойник муж и как она ему изменяла. Потом рассказала слышанную от столичного знакомого историю о любовнице некоего высокопоставленного лица, как она ехала по улице и встретила своего покровителя.

— Она ему и кричит: здравствуй, Жанчик! Это на улице-то! — рассказывала Грушина.

— А вот я на вас донесу, — сердито сказал Передонов, — разве можно про таких знатных лиц такие глупости болтать?

Грушина испуганно залепетала:

— Да ведь я что ж, — мне так рассказывали. За что купила, за то и продаю.

Передонов сердито молчал и пил чай с блюдечка, налегая на стол локтями. Он думал, что в доме будущего инспектора не подобает непочтительно говорить о вельможах. Он злился на Грушину. Еще досадовал его и был ему подозрителен Володин: что-то уж слишком часто называл он Передонова будущим инспектором. Один раз Передонов даже сказал Володину:

— Что, брат, завидно небось! Да, вот ты не будешь инспектором, а я буду.

На это Володин, придав своему лицу внушительное выражение, возразил:

— Всякому свое, Ардальон Борисыч, — вы в своем деле специалист, а я в своем.

— А Наташка-то наша, — сообщила Варвара, — от нас прямо к жандармскому поступила.

Передонов вздрогнул, и лицо его выразило ужас.

— Врешь? — вопросительно сказал он.

— Ну вот, чего мне врать, — ответила Варвара, — хоть сам поди к нему, спроси.

Это неприятное известие подтвердила и Грушина. Передонов был ошеломлен. Наскажет, чего и не было, а жандармский на ус намотает и, пожалуй, напишет в министерство. Это скверно.

В это самое время глаза Передонова остановились на полочке над комодом. Там стояло несколько переплетенных книг: тонкие — Писарева, и потолще — «Отечественные записки». Передонов побледнел и сказал:

— Книги-то эти надо спрятать, а то донесут.

Раньше эти книги Передонов держал на виду, чтобы показать, что у него свободные мнения, — хотя на самом деле он не имел ни мнений, ни даже охоты к размышлениям. И эти книги он только держал,

а не читал. Давно уже не прочел он ни одной книги, — говорил, что некогда, — газет не выписывал, новости узнавал из разговоров. Впрочем, и узнавать ему нечего было, — ничто во внешнем мире его не занимало. Над подписчиками на газеты он даже издевался как над расточителями денег и времени. Дорого, подумаешь, было для него его время!

Он пошел к полочке, бормоча:

— Уж у нас такой город — сейчас донесут. Помоги-ка, Павел Васильевич, — сказал он Володину.

Володин подошел к нему с серьезным и понимающим лицом и осторожно принимал книги, которые передавал ему Передонов. Себе взял Передонов пачку книг поменьше, Володину дал побольше и пошел в залу, а Володин за ним.

— Куда же вы их спрячете, Ардальон Борисыч? — спросил он.

— А вот увидишь, — с обычною угрюмостью ответил Передонов.

— Что же это вы потащили, Ардальон Борисыч? — спросила Преполовенская.

— Строжайше запрещенные книги, — ответил Передонов на ходу. — Донесут, коли увидят.

В зале Передонов присел на корточки перед печкою, свалил книги на железный лист, — и Володин сделал то же, — и принялся с усилием запихивать книгу за книгою в неширокое отверстие. Володин сидел на корточках рядом с ним, немного позади, и подавал ему книги, сохраняя глубокомысленное и понимающее выражение на своем бараньем лице с выпяченными из важности губами и склоненным от избытка понимания крутым лбом. Варвара заглядывала на них через дверь. Со смехом сказала она:

— Пошел валять петрушку!

Но Грушина остановила ее:

— Ой, голубушка Варвара Дмитриевна, вы так не говорите, — за это большие неприятности могут быть, коли узнают. Особенно если учитель. Начальство страсть как боится, что учителя мальчишек бунтовать научат.

Напились чаю и уселись играть в стуколку все семеро вокруг ломберного стола в зале. Передонов играл с азартом, но плохо. Каждое

двадцатое число ему приходилось уплачивать дань своим соучастникам в игре, особенно Преполовенскому; этот получал и за себя, и за жену. В выигрыше чаще всего были Преполовенские. У них были условленные знаки, — постукивание, покашливание, — посредством которых они обменивались известиями о своих картах. Сегодня Передонову сразу не повезло. Он спешил отыграться, а Володин медлил сдавать и тщательно уравнивал карты.

— Павлушка, сдавай, — нетерпеливо крикнул Передонов.

Володин, чувствуя себя в игре особою, равною всем остальным, сделал значительное лицо и спросил:

— То есть как это Павлушка? По дружбе или как?

— По дружбе, по дружбе, — небрежно ответил Передонов, — только сдавай скорее.

— Ну если по дружбе, то я рад, я очень рад, — говорил Володин с радостным и глупым смехом, сдавая карты, — ты хороший человек, Ардаша, и я тебя очень даже люблю. А если бы не по дружбе, то это был бы другой разговор. А если по дружбе, то я рад. Я тебе туза сдал за это, — сказал Володин и открыл козыря.

Туз, точно, оказался у Передонова, но не козырный, и подвел его под ремиз.

— Сдал! — сердито ворчал Передонов, — туз, да не тот. Под руку говоришь. Надо было козырного, а ты что сдал? На что мне тиковый пуз?

— На что тебе тиковый пуз, у тебя свое пузо растет, — подхватил со смехом Рутилов.

Володин заблеял и захихикал:

— Будущий инспектор язычком заплетается, — пуз, пуз, карапуз.

Рутилов непрерывно болтал, сплетничал, рассказывал анекдоты, иногда весьма щекотливого содержания. Чтобы подразнить Передонова, он стал уверять, что гимназисты плохо себя ведут, особенно те, которые живут на квартирах: курят, пьют водку, ухаживают за девицами. Передонов верил. И Грушина поддерживала. Ей эти рассказы доставляли особое удовольствие: она сама хотела было, после смерти мужа, держать у себя на квартире трех-

четырех гимназистов, но директор не разрешил ей, несмотря на ходатайство Передонова, — о Грушиной в городе была дурная слава. Теперь она принялась бранить хозяек тех квартир, где жили гимназисты.

— Они взятки дают директору, — заявила она.

— Хозяйки все стервы, — убежденно сказал Володин, — вот хоть моя. У нас с нею был такой уговор, когда я комнату нанимал, что она будет давать мне вечером три стакана молока. Хорошо, месяц, другой так мне и подавали.

— И ты не опился? — спросил Рутилов со смехом.

— Зачем же опиваться! — обиженно возразил Володин. — Молоко — полезный продукт. Я и привык три стакана выпивать на ночь. Вдруг вижу, приносят мне два стакана. Это, спрашиваю, почему же? Прислуга говорит, — Анна Михайловна, говорит, просят извинить, что коровка у них, говорит, нынче мало молока дает. А мне-то что за дело! Уговор дороже денег. У них совсем коровка не даст молочка, так мне и кушать не дадут? Ну, я говорю, если нет молока, то скажите Анне Михайловне, что я прошу дать мне стакан воды. Я привык кушать три стакана, мне двух стаканов мало.

— Павлушка у нас герой, — сказал Передонов. — Расскажи-ка, брат, как ты с генералом сцепился.

Володин охотно повторил рассказ. Но теперь его подняли на смех. Он обиженно выпятил нижнюю губу.

За ужином все напились допьяна, даже и женщины. Володин предложил еще попачкать стены. Все обрадовались: немедленно, еще не кончив есть, принялись за дело и неистово забавлялись. Плевали на обои, обливали их пивом, пускали в стены и в потолок бумажные стрелы, запачканные на концах маслом, лепили на потолок чертей из жеваного хлеба. Потом придумали рвать полоски из обоев на азарт, — кто длиннее вытянет. На этой игре Преполовенские еще выиграли рубля полтора.

Володин проиграл. От этого проигрыша и опьянения он внезапно загрустил и стал жаловаться на свою мать. Он сделал укоризненное лицо и, толкая зачем-то вниз рукою, говорил:

— И зачем она меня родила? И что она тогда думала? Какая моя теперь жизнь! Она мне не мать, а только родительница. Потому как настоящая мать заботится о своем детище, а моя только родила меня и отдала на казенное воспитание с самых малых лет.

— Зато вы обучились, вышли в люди, — сказала Преполовенская.

Володин уставился вниз лбом, покачивал головою и говорил:

— Нет, уж какая моя жизнь, — самая последняя жизнь. И зачем она меня родила? Что она тогда думала?

Вчерашние ерлы вдруг опять припомнились Передонову. «Вот, — думал он про Володина, — на свою мать жалуется, зачем она его родила, — не хочет быть Павлушкой. Видно, и в самом деле завидует. Может быть, уже и подумывает жениться на Варваре и влезть в мою шкуру», — думал Передонов и тоскливо смотрел на Володина.

Хоть бы женить его на ком-нибудь!

Ночью, в спальне, Варвара говорила Передонову:

— Ты думаешь, все эти девки, что за тобою вяжутся, молоденькие, так и хорошенькие? Они все дряни, я их всех красивее.

Она поспешно разделась и, нахально ухмыляясь, показывала Передонову свое слегка раскрашенное, стройное, красивое и гибкое тело.

Хотя Варвара шаталась от опьянения и лицо ее во всяком свежем человеке возбудило бы отвращение своим дрябло-похотливым выражением, но тело у нее было прекрасное, как тело у нежной нимфы, с приставленною к нему, силою каких-то презренных чар, головою увядающей блудницы. И это восхитительное тело для этих двух пьяных и грязных людишек являлось только источником низкого соблазна. Так это и часто бывает, — и воистину в нашем веке надлежит красоте быть попранной и поруганной.

Передонов угрюмо хохотал, глядя на свою голую подругу.

Всю эту ночь ему снились дамы всех мастей, голые и гнусные.

Варвара поверила, что натирание крапивою, которое она себе сделала по совету Преполовенской, ей помогло. Ей казалось, что она сразу начала полнеть. У всех знакомых она спрашивала:

— Правда, ведь я пополнела?

И она думала, что уж теперь непременно Передонов, увидев, как она полнеет, и получив к тому же поддельное письмо, женится на ней.

Далеко не так приятны были ожидания Передонова. Уже он давно убедился, что директор ему враждебен, — и на самом деле директор гимназии считал Передонова ленивым, неспособным учителем. Передонов думал, что директор приказывает ученикам его не почитать, — что было, понятно, вздорною выдумкою самого Передонова. Но это вселяло в Передонова уверенность, что надо от директора защищаться. Со злости на директора он не раз начинал поносить его в старших классах. Многим гимназистам такие разговоры нравились.

Теперь, когда Передонов захотел стать инспектором, директоровы неприязненные отношения к нему являлись особенно неприятными. Положим, если княгиня захочет, то ее протекция превозможет директоровы козни. Но все же они не безопасны.

И другие были в городе люди, — как заметил в последние дни Передонов, — которые враждебны ему и хотели бы помешать его назначению на инспекторскую должность. Вот Володин: недаром он все повторяет слова «будущий инспектор». Ведь бывали же случаи, что люди присваивали себе чужое имя и жили себе в свое удовольствие. Конечно, заменить самого Передонова Володину трудненько, — да ведь у дурака, такого, как Володин, могут быть самые нелепые затеи. Известно, злого человека надо всегда бояться. И еще Рутиловы, Вершина со своею Мартою, сослуживцы из зависти, — все рады ему повредить. А как повредить? Ясное дело, опорочат его в глазах у начальства, выставят человеком неблагонадежным.

Итак, у Передонова явились две заботы: доказать свою благонадежность и обезопасить себя от Володина, — женить его на богатой.

И вот однажды Передонов спросил Володина:

— Хочешь, к Адаменковой барышне тебя посватаю? Или все еще по Марте скучаешь? Целый месяц утешиться не можешь?

— Что ж мне по Марте скучать! — ответил Володин. — Я ей честь честью сделал предложение, а коли ежели она не хочет, то что

же мне! Я и другую найду, — разве уж для меня и невест не найдется? Да этого добра везде сколько угодно.

— Да, а вот Марта натянула тебе нос, — подразнил Передонов.

— Не знаю уж, какого жениха они ждут, — обидчиво сказал Володин, — хоть бы приданое большое было, а то ведь гроши дадут. Это она в тебя, Ардальон Борисыч, втюрилась.

Передонов посоветовал:

— А я бы на твоем месте ей ворота дегтем вымазал.

Володин захихикал, но сейчас же успокоился и сказал:

— Ежели поймают, так неприятность может выйти.

— Найми кого-нибудь, зачем самому, — сказал Передонов.

— И следует, ей-Богу, следует, — с одушевлением сказал Володин. — Потому как ежели она в законный брак не хочет вступать, а между прочим, к себе в окно молодых людей пускает, то уж это что ж! Уж это значит — ни стыда ни совести нет у человека.

VI

На другой день Передонов и Володин отправились к девице Адаменко. Володин принарядился, — надел новенький свой узенький сюртучок, чистую крахмальную рубашку, пестрый шейный платок, намазал волосы помадою, надушился, — и взыграл духом.

Надежда Васильевна Адаменко с братом жила в городе в собственном кирпичном красном домике; недалеко от города было у нее имение, отданное в аренду. В позапрошлом году кончила она учение в здешней гимназии, а ныне занималась тем, что лежала на кушетке, читала книжки всякого содержания да школила своего брата, одиннадцатилетнего гимназиста, который спасался от ее строгостей только сердитым заявлением:

— При маме лучше было. Мама в угол только зонтик ставила.

С Надеждою Васильевною жила ее тетка, существо безличное и дряхлое, не имевшее никакого голоса в домашних делах. Знакомства вела Надежда Васильевна со строгим разбором. Передонов бывал у нее редко, и только малое знакомство его с нею могло

быть причиною предположения, что эта барышня может выйти замуж за Володина.

Теперь она удивилась неожиданному посещению, но приняла незваных гостей любезно. Гостей надо было занимать, — и Надежде Васильевне казалось, что самый приятный и удобный разговор для учителя русского языка — разговор о состоянии учебного дела, о реформе гимназий, о воспитании детей, о литературе, о символизме, о русских журналах. Всех этих тем она коснулась, но не получала в ответ ничего, кроме озадачивших ее отповедей, обнаруживших, что ее гостям эти вопросы не любопытны. Она увидела, что возможен только один разговор — городские сплетни. Но Надежда Васильевна все-таки сделала еще одну попытку.

— А вы читали «Человек в футляре» Чехова? — спросила она. — Не правда ли, как метко?

Так как с этим вопросом она обратилась к Володину, то он приятно осклабился и спросил:

— Это что же, статья или роман?

— Рассказ, — объяснила Надежда Васильевна.

— Господина Чехова, вы изволили сказать? — осведомился Володин.

— Да, Чехова, — сказала Надежда Васильевна и усмехнулась.

— Это где же помещено? — продолжал любопытствовать Володин.

— В «Русской мысли», — ответила барышня любезно.

— В каком нумере? — допрашивал Володин.

— Не помню хорошенько, в каком-то летнем, — все так же любезно, но с некоторым удивлением ответила Надежда Васильевна.

Маленький гимназист высунулся из-за двери.

— Это в майской книжке было напечатано, — сказал он, придерживаясь рукою за дверь и обводя гостей и сестру веселыми синими глазами.

— Вам еще рано романы читать, — сердито сказал Передонов, — учиться надо, а не скабрезные истории читать.

Надежда Васильевна строго посмотрела на брата.

— Как это мило — за дверьми стоять и слушать, — сказала она и, подняв обе руки, сложила кончики мизинцев под прямым углом.

Гимназист нахмурился и скрылся. Он пошел в свою комнату, стал там в угол и принялся глядеть на часы; два мизинца углом — это знак стоять в углу десять минут. «Нет, — досадливо думал он, — при маме лучше было: мама только зонтик ставила в угол».

А в гостиной меж тем Володин утешал хозяйку обещанием достать непременно майский нумер «Русской мысли» и прочесть рассказ господина Чехова. Передонов слушал с выражением явной скуки на лице. Наконец он сказал:

— Я тоже не читал. Я не читаю пустяков. В повестях и романах все глупости пишут.

Надежда Васильевна любезно улыбнулась и сказала:

— Вы очень строго относитесь к современной литературе. Но пишутся же теперь и хорошие книги.

— Я все хорошие книги раньше прочел, — заявил Передонов. — Не стану же я читать того, что теперь сочиняют.

Володин смотрел на Передонова с уважением. Надежда Васильевна легонько вздохнула, и — делать нечего — принялась пустословить и сплетничать, как умела. Хоть и не люб ей был такой разговор, но она поддерживала его с ловкостью и веселостью бойкой и выдержанной девицы. Гости оживились. Ей было нестерпимо скучно, а они думали, что она с ними исключительно любезна, и приписывали это обаянию прелестной наружности Володина.

Когда они ушли, Передонов на улице поздравлял Володина с успехом. Володин радостно смеялся и прыгал. Он уже забыл всех отвергнувших его девиц.

— Не лягайся, — говорил ему Передонов, — распрыгался, как баран. Погоди еще, натянут тебе нос.

Но говорил он это в шутку, а сам вполне верил в успех задуманного сватовства.

Грушина чуть не каждый день забегала к Варваре, Варвара бывала у нее еще чаще, так что они почти и не расставались. Варвара волновалась, а Грушина медлила, — уверяла, что очень трудно скопировать буквы, чтобы вышло совсем похоже.

Передонов все еще не хотел назначить дня для свадьбы. Опять он требовал, чтобы ему сначала место дали инспекторское. Помня, как много у него готовых невест, он не раз, как и прошлою зимою, грозил Варваре:

— Вот сейчас пойду венчаться. Вернусь утром с женой, а тебя вон. Последний раз ночуешь.

И с этими словами уходил — играть на бильярде. Оттуда иногда к вечеру приходил домой, а чаще кутил в каком-нибудь грязном притоне с Рутиловым и Володиным. В такие ночи Варвара не могла заснуть. Поэтому она страдала мигренями. Хорошо еще, если он вернется в час, в два ночи, — тогда она вздохнет свободно. Если же он являлся только утром, то Варвара встречала день совсем больная.

Наконец Грушина изготовила письмо и показала его Варваре. Долго рассматривали, сличали с прошлогодним княгининым письмом. Грушина уверяла: похоже так, что сама княгиня не узнала бы подделки. Хоть на самом деле сходства было мало, но Варвара поверила. Да она же и понимала, что Передонов не мог помнить малознакомого ему почерка настолько точно, чтобы заметить подделку.

— Ну вот, — радостно сказала она, — наконец-то. А то я уже ждала, ждала, да и жданки потеряла. А только как же конверт, — если он спросит, что я скажу?

— Да уж конверта нельзя подделать, — штемпеля, — сказала Грушина, посмеиваясь, поглядывая на Варвару лукавыми, разными глазами: правый — побольше, левый — поменьше.

— Так как же?

— Душечка Варвара Дмитриевна, да вы скажите ему, что конверт в печку бросили. На что же вам конверт?

Варварины надежды оживились. Она говорила Грушиной:

— Только бы он женился, тогда уж я не стану для него бегать. Нет, я буду сидеть, а он пусть для меня побегает.

В субботу после обеда Передонов шел поиграть на бильярде. Мысли его были тяжелы и печальны. Он думал: «Скверно жить сре-

ди завистливых и враждебных людей. Но что же делать, — не могут же все быть инспекторами! Борьба за существование!»

На углу двух улиц он встретил жандармского штаб-офицера. Неприятная встреча!

Подполковник Николай Вадимович Рубовский, невысокий плотный человек с густыми бровями, веселыми серыми глазами и прихрамывающею походкою, отчего его шпоры неровно и звонко призвякивали, был весьма любезен и за то любим в обществе. Он знал всех людей в городе, все их дела и отношения, любил слушать сплетни, но сам был скромен и молчалив как могила и никому не делал ненужных неприятностей.

Остановились, поздоровались, побеседовали. Передонов насупился, оглянулся по сторонам и опасливо сказал:

— У вас, я слышал, наша Наташа живет, так вы ей не верьте, что она про меня говорит, это она врет.

— Я от прислуги сплетен не собираю, — с достоинством сказал Рубовский.

— Она — сама скверная, — продолжал Передонов, не обращая внимания на возражение Рубовского, — у нее любовник есть поляк; она, может быть, нарочно к вам и поступила, чтоб у вас что-нибудь стащить секретное.

— Пожалуйста, не беспокойтесь об этом, — сухо возразил подполковник, — у меня планы крепостей не хранятся.

Упоминание о крепостях озадачило Передонова. Ему казалось, что Рубовский намекает на то, что может посадить Передонова в крепость.

— Ну что крепость, — пробормотал он, — до этого далеко, а только вообще про меня всякие глупости говорят, так это все больше из зависти. Вы ничему такому не верьте. Это они доносят, чтоб от себя отвести подозрение, а я и сам могу донести.

Рубовский недоумевал.

— Уверяю вас, — сказал он, вздергивая плечами и бряцая шпорами, — я ни от кого не получал на вас доноса. Вам, видно, кто-нибудь в шутку погрозил, — да ведь мало ли что говорится иногда.

Передонов не верил. Он думал, что жандармский скрытничает, — и стало ему страшно.

Каждый раз, как Передонов проходил мимо вершинского сада, Вершина останавливала его и своими ворожащими движениями и словами заманивала в сад. И он входил, невольно подчиняясь ее тихой ворожбе. Может быть, ей скорее Рутиловых удалось бы достичь своей цели, — ведь Передонов одинаково далек был от всех людей, и почему бы ему было не связаться законным браком с Мартою? Но, видно, вязко было то болото, куда залез Передонов, и никакими чарами не удавалось перебултыхнуть его в другое.

Вот и теперь, когда, расставшись с Рубовским, Передонов шел мимо, Вершина, одетая, как всегда, вся в черном, заманила его.

— Марта и Владя домой на день едут, — сказала она, ласково глядя сквозь дым своей папироски на Передонова коричневыми глазами, — вот бы и вы с ними погостить в деревне, — за ними работник в тележке приехал.

— Тесно, — сказал Передонов угрюмо.

— Ну вот, тесно, — возразила Вершина, — отлично разместитесь. Да и потеснитесь, не беда, что ж, недалеко, шесть верст проехать.

В это время из дома выбежала Марта спросить что-то у Вершиной. Хлопоты перед отъездом немного расшевелили ее лень, и лицо ее было живее и веселее обычного. Опять, уже обе, стали звать Передонова в деревню.

— Разместитесь удобно, — уверяла Вершина, — вы с Мартой на заднем сиденье, а Владя с Игнатием на переднем. Вот посмотрите, и тележка на дворе.

Передонов вышел за Вершиною и Мартою во двор, где стояла тележка, а около нее возился, укладывая что-то, Владя. Тележка была поместительная. Но Передонов, угрюмо осмотрев ее, объявил:

— Не поеду. Тесно. Четверо, да еще вещи.

— Ну если вы думаете, что тесно, — сказала Вершина, — то Владя и пешком может идти.

— Конечно, — сказал Владя, улыбаясь сдержанно и ласково, — пешком дойду в полтора часа отлично. Вот сейчас зашагаю, так раньше вас буду.

Тогда Передонов объявил, что будет трясти, а он не любит тряски. Вернулись в беседку. Все уже было уложено, но работник Игнатий еще ел на кухне, насыщаясь неторопливо и основательно.

— Как учится Владя? — спросила Марта.

Другого разговора с Передоновым она не умела придумать, а уже Вершина не раз упрекала ее, что она не умеет занять Передонова.

— Плохо, — сказал Передонов, — ленится, ничего не слушает.

Вершина любила поворчать. Она стала выговаривать Владе. Владя краснел и улыбался, пожимался плечами, как от холода, и подымал, по своей привычке, одно плечо выше другого.

— Что же, только год начался, — сказал он, — я еще успею.

— С самого начала надо учиться, — тоном старшей, но слегка от этого краснея, сказала Марта.

— Да и шалит, — жаловался Передонов, — вчера так развозились, точно уличные мальчишки. Да и груб, мне дерзость сказал в четверг.

Владя вдруг вспыхнул и заговорил горячо, но не переставая улыбаться:

— Никакой дерзости, а я только правду сказал, что вы в других тетрадках ошибок по пяти прозевали, а у меня все подчеркнули и поставили два, а у меня лучше было написано, чем у тех, кому вы три поставили.

— И еще вы мне дерзость сказали, — настаивал Передонов.

— Никакой дерзости, а я только сказал, что инспектору скажу, — запальчиво говорил Владя, — что же мне зря двойку...

— Владя, не забывайся, — сердито сказала Вершина, — чем бы извиниться, а ты опять повторяешь.

Владя вдруг вспомнил, что Передонова нельзя раздражать, что он может стать Марте женихом. Он сильнее покраснел, в смущении передернул пояс на своей блузе и робко сказал:

— Извините. Я только хотел попросить, чтобы вы поправили.

— Молчи, молчи, пожалуйста, — прервала его Вершина, — терпеть не могу таких рассуждений, терпеть не могу, — повторила она и

еле заметно дрогнула всем своим сухоньким телом. — Тебе делают замечание, ты молчи.

И Вершина высыпала на Владю немало укоризненных слов, дымя папироскою и криво улыбаясь, как она всегда улыбалась, о чем бы ни шла речь.

— Надо будет отцу сказать, чтобы наказал тебя, — кончила она.

— Высечь надо, — решил Передонов и сердито посмотрел на обидевшего его Владю.

— Конечно, — подтвердила Вершина, — высечь надо.

— Высечь надо, — сказала и Марта и покраснела.

— Вот поеду сегодня к вашему отцу, — сказал Передонов, — и скажу, чтобы вас при мне высекли, да хорошенько.

Владя молчал, смотрел на своих мучителей, поеживался плечьми и улыбался сквозь слезы. Отец у него крут. Владя старался утешить себя, думая, что это — только угрозы. Неужели, думал он, в самом деле захотят испортить ему праздник? Ведь праздник — день особенный, отмеченный и радостный, и все праздничное совсем несоизмеримо со всем школьным, будничным.

А Передонову нравилось, когда мальчики плакали, — особенно если это он так сделал, что они плачут и винятся. Владино смущение, и сдержанные слезы на его глазах, и робкая, виноватая его улыбка — все это радовало Передонова. Он решил ехать с Мартою и Владею.

— Ну хорошо, я поеду с вами, — сказал он Марте.

Марта обрадовалась, но как-то испуганно. Конечно, она хотела, чтобы Передонов ехал с ними, — или, вернее, Вершина хотела этого за нее и приворожила ей своими быстрыми наговорами это желание. Но теперь, когда Передонов сказал, что едет, Марте стало неловко за Владю, — жалко его.

Жутко стало и Владе. Неужели это для него Передонов едет? Ему захотелось умилостивить Передонова. Он сказал:

— Если вы думаете, Ардальон Борисыч, что тесно будет, то я могу пешком пойти.

Передонов посмотрел на него подозрительно и сказал:

— Ну да, если вас отпустить одного, вы еще убежите куда-нибудь. Нет уж, мы вас лучше свезем к отцу, пусть он вам задаст.

Владя покраснел и вздохнул. Ему стало так неловко, и тоскливо, и досадно на этого мучительного и угрюмого человека. Чтобы все-таки смягчить Передонова, он решился устроить ему сиденье поудобнее.

— Ну уж я так сделаю, — сказал он, — что вам отлично будет сидеть.

И он поспешно отправился к тележке. Вершина посмотрела вслед за ним, криво улыбаясь и дымя, и сказала Передонову тихо:

— Они все боятся отца. Он у них очень строгий.

Марта покраснела.

Владя хотел было взять с собою в деревню удочку, новую, английскую, купленную на сбереженные деньги, хотел взять еще кое-что, да это все занимало бы в тележке немало места. И Владя унес обратно в дом все свои пожитки.

Было нежарко. Солнце склонялось. Дорога, омоченная утренним дождем, не пылила. Тележка ровно катилась по мелкому щебню, унося из города четырех седоков; сытая серая лошадка бежала, словно не замечая их тяжести, и ленивый, безмолвный работник Игнатий управлял ее бегом при помощи заметных лишь опытному взору движений вожжами.

Передонов сидел рядом с Мартою. Ему расчистили так много места, что Марте совсем неудобно было сидеть. Но он не замечал этого. А если бы и заметил, то подумал бы, что так и должно: ведь он гость.

Передонов чувствовал себя очень приятно. Он решил поговорить с Мартою любезно, пошутить, позабавить ее. Он начал так:

— Ну что, скоро бунтовать будете?

— Зачем бунтовать? — спросила Марта.

— Вы, поляки, ведь все бунтовать собираетесь, да только напрасно.

— Я и не думаю об этом, — сказала Марта, — да и никто у нас не хочет бунтовать.

— Ну да, это вы только так говорите, а вы русских ненавидите.

— И не думаем, — сказал Владя, повертываясь к Передонову с передней скамейки, где сидел рядом с Игнатием.

— Знаем мы, как вы не думаете. Только мы вам не отдадим вашей Польши. Мы вас завоевали. Мы вам сколько благодеяний сделали, да, видно, как волка ни корми, он все в лес смотрит.

Марта не возражала. Передонов помолчал немного и вдруг сказал:

— Поляки — безмозглые.

Марта покраснела.

— Всякие бывают и русские, и поляки, — сказала она.

— Нет, уж это так, это верно, — настаивал Передонов. — Поляки глупые. Только форсу задают. Вот жиды, — те умные.

— Жиды — плуты, а вовсе не умные, — сказал Владя.

— Нет, жиды — очень умный народ. Жид русского всегда надует, а русский жида никогда не надует.

— Да и не надо надувать, — сказал Владя, — разве в том только и ум, чтобы надувать да плутовать?

Передонов сердито глянул на Владю.

— А ум в том, чтобы учиться, — сказал он, — а вы не учитесь.

Владя вздохнул, и опять отвернулся, и стал смотреть на ровный бег лошади. А Передонов говорил:

— Жиды во всем умные, и в ученье, и во всем. Если бы жидов пускали в профессора, то все профессора из жидов были бы. А польки все неряхи.

Он посмотрел на Марту и, с удовольствием заметив, что она сильно покраснела, сказал из любезности:

— Да вы не думайте, я не про вас говорю. Я знаю, что вы будете хорошая хозяйка.

— Все польки — хорошие хозяйки, — ответила Марта.

— Ну да, — возразил Передонов, — хозяйки, сверху чисто, а юбки грязные. Ну да зато у вас Мицкевич был. Он выше нашего Пушкина. Он у меня на стене висит. Прежде там Пушкин висел, да я его в сортир вынес, — он камер-лакеем был.

— Ведь вы русский, — сказал Владя, — что ж вам наш Мицкевич? Пушкин — хороший, и Мицкевич — хороший.

— Мицкевич — выше, — повторил Передонов. — Русские — дурачье. Один самовар изобрели, а больше ничего.

Передонов посмотрел на Марту, сощурил глаза и сказал:

— У вас много веснушек. Это некрасиво.

— Что ж делать? — улыбаясь, промолвила Марта.

— И у меня веснушки, — сказал Владя, поворачиваясь на своем узеньком сиденье и задевая безмолвного Игнатия.

— Вы мальчик, — сказал Передонов, — это ничего, мужчине красота не нужна, а вот у вас, — продолжал он, оборачиваясь к Марте, — нехорошо. Этак вас никто и замуж не возьмет. Надо огуречным рассолом лицо мыть.

Марта поблагодарила за совет.

Владя, улыбаясь, смотрел на Передонова.

— Вы что улыбаетесь? — сказал Передонов, — вот погодите, приедем, так будет вам дера отличная.

Владя, повернувшись на своем месте, внимательно смотрел на Передонова, стараясь угадать, шутит ли он, говорит ли взаправду. А Передонов не выносил, когда на него пристально смотрели.

— Чего вы на меня глазеете? — грубо спросил он. — На мне узоров нет. Или вы сглазить меня хотите?

Владя испугался и отвел глаза.

— Извините, — сказал он робко, — я так, не нарочно.

— А вы разве верите в глаз? — спросила Марта.

— Сглазить нельзя, это суеверие, — сердито сказал Передонов, — а только ужасно невежливо уставиться и рассматривать.

Несколько минут продолжалось неловкое молчание.

— Ведь вы — бедные, — вдруг сказал Передонов.

— Да, небогатые, — ответила Марта, — да все-таки уж и не так бедны. У нас у всех есть кое-что отложено.

Передонов недоверчиво посмотрел на нее и сказал:

— Ну да, я знаю, что вы бедные. Босые ежеденком дома ходите.

— Мы это не от бедности, — живо сказал Владя.

— А что же, от богатства, что ли? — спросил Передонов и отрывисто захохотал.

— Вовсе не от бедности, — сказал Владя, краснея, — это для здоровья очень полезно, закаляет здоровье и приятно летом.

— Ну это вы врете, — грубо возразил Передонов. — Богатые босиком не ходят. У вашего отца много детей, а получает гроши. Сапог не накупишься.

VII

Варвара ничего не знала о том, куда отправился Передонов. Она провела жестоко беспокойную ночь.

Но и вернувшись утром в город, Передонов не пошел домой, а велел везти себя в церковь, — в это время начиналась обедня. Ему казалось теперь опасным не бывать часто в церкви, — еще донесут, пожалуй.

Встретив при входе в ограду миловидного маленького гимназиста с румяным, простодушным лицом и непорочными голубыми глазами, Передонов сказал:

— А, Машенька, здравствуй, раздевоня.

Миша Кудрявцев мучительно покраснел. Передонов уже несколько раз дразнил его, называя Машенькою, — Кудрявцев не понимал за что и не решался пожаловаться. Несколько товарищей, глупых малышей, толпившихся тут же, засмеялись на слова Передонова. Им тоже весело было дразнить Мишу.

Церковь во имя пророка Илии, старая, построенная еще при царе Михаиле, стояла на площади против гимназии. Поэтому по праздникам к обедне и всенощной гимназисты обязаны были сюда собираться и стоять с левой стороны, у придела святой Екатерины-великомученицы, рядами, — а сзади помещался один из помощников классных наставников, для надзора. Тут же рядом, поближе к середине храма, становились учителя гимназии, инспектор и директор, со своими семьями. Собирались обыкновенно почти все православные гимназисты, кроме немногих, которым разрешено было посещать свои приходские церкви с родителями.

Хор из гимназистов пел хорошо, и потому церковь посещалась первогильдейным купечеством, чиновниками и помещичьими семьями.

Простого народа бывало немного, тем более что обедню здесь служили, сообразно с желанием директора, позже, чем в других церквах.

Передонов стал на привычное свое место. Певчие отсюда все были ему видны. Щуря глаза, он смотрел на них и думал, что они стоят беспорядочно и что он подтянул бы их, если бы он был инспектором гимназии. Вот смуглый Крамаренко, маленький, тоненький, вертлявый, — все оборачивается то туда, то сюда, шепчет что-то, улыбается, — и никто-то его не уймет. Точно никому и дела нет.

«Безобразие, — думал Передонов, — эти певчие всегда негодяи; у черномазого мальчишки звонкий, чистый дискант, — так уж он думает, что и в церкви можно шептать и улыбаться».

И хмурился Передонов.

Рядом с ним стал пришедший попозже инспектор народных училищ, Сергей Потапович Богданов, старик с коричневым глупым лицом, на котором постоянно было такое выражение, как будто он хотел объяснить кому-то что-то такое, чего еще и сам никак не мог понять. Никого так легко нельзя было удивить или испугать, как Богданова: чуть услышит что-нибудь новое или тревожное, — и уже лоб его наморщивается от внутреннего болезненного усилия, и изо рта вылетают беспорядочные, смятенные восклицания.

Передонов наклонился к нему и сказал шепотом:

— У вас учительница одна в красной рубашке ходит.

Богданов испугался. Белая еретица его трусливо затряслась на подбородке.

— Что, что вы говорите? — сипло зашептал он, — кто, кто такая?

— Да вот горластая-то, толстуха-то эта, как ее, не знаю, — шептал Передонов.

— Горластая, горластая, — растерянно припоминал Богданов, — это Скобочкина, да?

— Ну да, — подтвердил Передонов.

— А, как же, как же так! — восклицал шепотом Богданов, — Скобочкина, в красной рубашке, а! Да вы сами видели?

— Видел, — да она, говорят, и в школе так щеголяет. А то и хуже бывает, — сарафан наденет, совсем как простая девка ходит.

— А, скажите! Надо, надо узнать. Так нельзя, нельзя. Уволить за это следует, уволить, — лепетал Богданов. — Она всегда такая была.

Обедня кончилась. Выходили из церкви. Передонов сказал Крамаренку:

— Ты, черныш-огарыш, зачем в церкви улыбался? Вот погоди, ужо отцу скажу.

Передонов говорил иногда «ты» гимназистам не из дворян; дворянам же он всегда говорил «вы». Он узнавал в канцелярии, кто какого сословия, и его память цепко держалась за эти различия.

Крамаренко посмотрел на Передонова с удивлением и молча пробежал мимо. Он принадлежал к числу тех гимназистов, которые находили Передонова грубым, глупым и несправедливым и за то ненавидели и презирали его. Таких было большинство. Передонов думал, что это — те, кого директор подговаривает против него, если не сам, то через сыновей.

К Передонову подошел — уже за оградою — Володин с радостным хихиканьем, — лицо, как у именинника, блаженное, котелок на затылке, тросточка наперехват.

— Знаешь, что я тебе скажу, Ардальон Борисыч, — зашептал он радостно, — я уговорил Черепнина, и он на днях вымажет Марте дегтем ворота.

Передонов помолчал, соображая что-то, и вдруг угрюмо захохотал. Володин так же быстро перестал осклабляться, принял скромный вид, поправил котелок и, поглядывая на небо и помахивая тросточкою, сказал:

— Хорошая погодка, — а к вечеру, пожалуй, дождик соберется. Ну и пусть дождичек, мы с будущим инспектором дома посидим.

— Не очень-то мне дома сидеть можно, — сказал Передонов, — у меня нынче дела, надо в город ходить.

Володин сделал понимающее лицо, хотя, конечно, не знал, какие это нашлись вдруг у Передонова дела. А Передонов думал, что ему необходимо будет сделать несколько визитов. Вчерашняя случайная встреча с жандармским офицером навела его на мысль, которая показалась ему весьма дельною: обойти всех значительных в городе

лиц и уверить их в своей благонадежности. Если это удастся, тогда, в случае чего, у Передонова найдутся заступники в городе, которые засвидетельствуют его правильный образ мыслей.

— Куда же вы, Ардальон Борисыч? — спросил Володин, видя, что Передонов сворачивает с того пути, по которому всегда возвращался, — разве вы не домой?

— Нет, я домой, — ответил Передонов, — только я нынче боюсь по той улице ходить.

— Почему же?

— Там дурману много растет, и запах тяжелый; это на меня сильно действует, одурманивает. У меня нынче нервы слабы. Все неприятности.

Володин опять придал своему лицу понимающее и сочувственное выражение.

По дороге Передонов сорвал несколько шишек от чертополоха и сунул их в карман.

— Это для чего же вы собираете? — осклабясь, спросил Володин.

— Для кота, — хмуро ответил Передонов.

— Лепить в шкуру будете? — деловито осведомился Володин.

— Да.

Володин захихикал.

— Вы без меня не начинайте, — сказал он, — занятно.

Передонов пригласил его зайти сейчас, но Володин сказал, что у него есть дело: он вдруг почувствовал, что как-то неприлично все не иметь дела; слова Передонова о своих делах подстрекали его, и он сообразил, что хорошо бы теперь самостоятельно зайти к барышне Адаменко и сказать ей, что у него есть новые и очень изящные рисунки для рамочек, так не хочет ли она посмотреть. Кстати, думал Володин, Надежда Васильевна угостит его кофейком.

Так Володин и сделал. И еще придумал одну замысловатую штуку: предложил Надежде Васильевне заниматься с ее братом ручным трудом. Надежда Васильевна подумала, что Володин нуждается в заработке, и немедленно согласилась. Условились заниматься три раза в неделю по два часа, за тридцать рублей в ме-

сяц. Володин был в восторге, — и денежки, и возможность частых встреч с Надеждою Васильевною.

Передонов вернулся домой мрачный, как всегда. Варвара, бледная от бессонной ночи, заворчала:

— Мог бы вчера сказать, что не придешь.

Передонов, дразня ее, рассказал, что ездил к Марте. Варвара молчала. У нее в руках было княгинино письмо. Хоть и поддельное, а все-таки...

За завтраком она сказала, ухмыляясь:

— Пока ты там вожжался с Марфушкой, здесь я без тебя ответ получила от княгини.

— А ты разве ей писала? — спросил Передонов.

Лицо его оживилось отблеском тусклого ожидания.

— Ну вот, валяет петрушку, — отвечала Варвара со смехом, — ведь сам же велел написать.

— Ну что же она пишет? — спросил Передонов тревожно.

— Вот письмо, читай сам.

Варвара порылась в карманах, словно искала засунутое куда-то письмо, потом достала его и подала Передонову. Он оставил еду и с жадностью накинулся на письмо. Прочел и обрадовался. Вот наконец ясное и положительное обещание. Никаких сомнений у него не явилось. Он наскоро кончил завтрак и пошел показывать письмо знакомым и приятелям.

Угрюмо-одушевленный, он быстро вошел в вершинский сад. Вершина, как почти всегда, стояла у калитки и курила. Она обрадовалась: раньше его надо было заманивать, теперь сам зашел. Вершина подумала: «Вот что значит проехался-то с барышней, побыл с нею, — вот и прибежал! Уж не хочет ли свататься?» — тревожно и радостно думала она.

Передонов тотчас разочаровал ее, — показал письмо.

— Вот вы все сомневались, — сказал он, — а вот сама княгиня пишет. Вот почитайте, сами увидите.

Вершина недоверчиво посмотрела на письмо, быстро несколько раз пыхнула на него табачным дымом, криво усмехнулась и спросила тихо и быстро:

— А где же конверт?

Передонов вдруг испугался. Он подумал, что Варвара могла и обмануть его письмом, — взяла да сама написала. Надо потребовать от нее конверт, как можно скорее.

— Я не знаю, — сказал он, — надо спросить.

Он поспешно простился с Вершиною и быстро пошел назад, к своему дому. Необходимо было как можно скорее удостовериться в происхождении этого письма, — внезапное сомнение так мучительно.

Вершина, стоя у калитки, смотрела за ним, криво улыбалась и торопливо дымила папироскою, словно спеша окончить к сроку заданный на сегодня урок.

С испуганным и отчаянным лицом Передонов прибежал домой и крикнул еще в передней голосом, хриплым от волнения:

— Варвара, где же конверт?

— Какой конверт? — спросила Варвара дрогнувшим голосом.

Она смотрела на Передонова нахально, но покраснела бы, если бы не была раскрашена.

— Конверт, от княгини, что письмо сегодня принесли, — объяснил Передонов, испуганно и злобно глядя на Варвару.

Варвара напряженно засмеялась.

— Вот, я сожгла, на что мне его? — сказала она. — Что же, собирать, что ли, конверты, коллекцию составлять? Так ведь денег за конверты не платят. Это только за бутылки в кабаке деньги назад дают.

Передонов, мрачный, ходил по горницам и ворчал:

— Княгини тоже бывают всякие. Знаем мы. Может быть, эта здесь живет княгиня.

Варвара притворялась, что не догадывается о его подозрениях, но жестоко трусила.

Когда к вечеру Передонов проходил мимо вершинского сада, Вершина остановила его.

— Нашли конверт? — спросила она.

— Да Варя говорит, что сожгла его, — ответил Передонов.

Вершина засмеялась, и белые тонкие облачка от табачного дыма заколебались перед нею в тихом и нежарком воздухе.

— Странно, — сказала она, — как это так ваша сестрица неосторожна, — деловое письмо, и вдруг без конверта! Все ж таки по штемпелю видно было бы, когда послали письмо и откуда.

Передонов жестоко досадовал. Напрасно Вершина звала его зайти в сад, напрасно обещала погадать на картах, — Передонов ушел.

Но все же он показывал приятелям это письмо и хвастался. И приятели верили.

А Передонов не знал, верить или не верить. На всякий случай решился он со вторника начать оправдательные свои посещения к значительным в городе особам. С понедельника нельзя, — тяжелый день.

VIII

Как только Передонов ушел играть на бильярде, Варвара поехала к Грушиной. Долго они толковали и наконец решили поправить дело вторым письмом. Варвара знала, что у Грушиной есть знакомые в Петербурге. При их посредстве нетрудно переслать туда и обратно письмо, которое изготовят здесь.

Грушина, как и первый раз, долго и притворно отказывалась.

— Ой, голубушка Варвара Дмитриевна, — говорила она, — я и от одного-то письма вся дрожу, все боюсь. Увижу пристава близко дома — так вся и сомлею, — думаю — за мной идут, в тюрьму сажать хотят.

Битый час уговаривала ее Варвара, насулила подарков, дала вперед немного денег. Наконец Грушина согласилась. Решили сделать так: сначала Варвара скажет, что написала княгине ответ, благодарность. Потом через несколько дней придет письмо, будто бы от княгини. В том письме еще определеннее будет написано, что есть места в виду, что если скоро повенчается, то теперь же можно будет одно из них выхлопотать Передонову. Это письмо напишет здесь Грушина, как и первое, — запечатают его, налепят марку в семь копеек, Грушина вложит его в письмо своей подруге, а та в Петербурге опустит его в почтовый ящик.

И вот Варвара и Грушина пошли в лавочку на самый дальний конец города и купили там пачку конвертов, узких, с цветным подбоем,

и цветной бумаги. Выбрали и бумагу, и конверты такие, каких не осталось больше в лавке, — предосторожность, придуманная Грушиною для сокрытия подделки. Узкие конверты выбрали для того, чтобы подделанное письмо легко входило в другое.

Вернувшись домой, к Грушиной, сочинили и письмо от княгини. Когда через два дня письмо было готово, его надушили шипром. Остальные конверты и бумагу сожгли, чтобы не осталось улик.

Грушина написала своей подруге, в какой именно день опустить письмо, — рассчитали, чтобы оно пришло в воскресенье: тогда почтальон принесет его при Передонове, и это будет лишним доказательством неподдельности письма.

Во вторник Передонов постарался пораньше вернуться из гимназии. Случай ему помог: последний урок его был в классе, дверь которого выходила в коридор близ того места, где висели часы и бодрствовал трезвонящий в положенные сроки сторож, бравый запасный унтер-офицер. Передонов послал сторожа в учительскую за классным журналом, а сам переставил часы на четверть часа вперед, — никто этого не заметил.

Дома Передонов отказался от завтрака и сказал, чтобы обед сделали позже, — ему-де нужно ходить по делам.

— Путают, путают, а я распутывай, — сердито сказал он, думая о кознях, которые строят ему враги.

Надел малоупотребляемый им фрак, в котором уже было ему тесно и неловко: тело с годами добрело, фрак садился. Досадовал, что нет ордена. У других есть, — даже у Фаластова из городского училища есть, — а у него нет. Все директоровы штуки: ни разу не хотел представить. Чины идут, этого директор не может отнять, — да что в них, коли никто не видит. Ну да вот при новой форме будет видно. Хорошо, что там погоны будут по чину, а не по классу должности. Это важно будет, — погоны, как у генерала, и одна большая звездочка. Сразу всякий увидит, что идет по улице статский советник.

«Надо поскорее заказать новую форму», — думал Передонов.

Он вышел на улицу и только тогда стал думать, с кого бы начать.

Кажется, самые необходимые в его положении люди — исправник и прокурор окружного суда. С них бы и следовало начать. Или с пред-

водителя дворянства. Но начинать с них Передонову стало страшно. Предводитель Верига — генерал, метит в губернаторы. Исправник, прокурор — это страшные представители полиции и суда.

Для начала, — думал Передонов, — надо выбрать начальство попроще и там осмотреться, принюхаться, — видно будет, как относятся к нему, что о нем говорят. Поэтому, — решил Передонов, — всего умнее начать с городского головы. Хотя он купец и учился всего только в уездном училище, но все же он везде бывает, и у него все бывают, и он пользуется в городе уважением, а в других городах, и даже в столице, у него есть знакомые, довольно важные.

И Передонов решительно направился к дому городского головы.

Погода стояла пасмурная. Листья с деревьев падали покорные, усталые. Передонову было немного страшно.

В доме у городского головы пахло недавно натертыми паркетными полами и еще чем-то, еле заметно, приятно-съестным. Было тихо и скучно. Дети хозяиновы, сын гимназист и девочка подросток, — «она у меня под гувернанткой ходит», — говорил отец, — чинно пребывали в своих покоях. Там было уютно, покойно и весело, окна смотрели в сад, мебель стояла удобная, игры разнообразные в горницах и в саду, детские звенели голоса.

В лицевых же на улицу покоях верхнего жилья, там, где принимались гости, все было вытянуто и жестко. Мебель красного дерева словно была увеличена во много раз по образцу игрушечной. Обыкновенным людям на ней сидеть было неудобно, — сядешь, словно на камень повалишься. А грузный хозяин — ничего, сядет, примнет себе место и сидит с удобством. Навещавший голову почасту архимандрит подгородного монастыря называл эти кресла и диваны душеспасительными, на что голова отвечал:

— Да, не люблю я этих дамских нежностей, как в ином доме, сядешь на пружины и затрясешься, — сам трясешься, и мебель трясется, — что тут хорошего? А впрочем, и доктора мягкой мебели не одобряют.

Городской голова, Яков Аникиевич Скучаев, встретил Передонова на пороге своей гостиной. Это был мужчина толстый, высокий, чер-

новолосый, коротко стриженный; держался он с достоинством и любезностью, не чуждой некоторой презрительности в отношении к людям малоденежным.

Усевшись торчком в широком кресле и ответив на первые любезные хозяиновы вопросы, Передонов сказал:

— А я к вам по делу.

— С удовольствием. Чем могу служить? — любезно осведомился хозяин.

В хитрых черных глазах его вспыхнул презрительный огонек. Он думал, что Передонов пришел просить денег в долг, и решил, что больше полутораста рублей не даст. Многие в городе чиновники должны были Скучаеву более или менее значительные суммы. Скучаев никогда не напоминал о возврате долга, но зато не оказывал дальнейшего кредита неисправным должникам. В первый же раз он давал охотно, по мере своей свободной наличности и состоятельности просителя.

— Вы, Яков Аникиевич, как городской голова первое лицо в городе, — сказал Передонов, — так мне надо поговорить с вами.

Скучаев принял важный вид и слегка поклонился, сидя в кресле.

— Про меня в городе всякий вздор мелют, — угрюмо говорил Передонов, — чего и не было, наплетут.

— На чужой роток не накинешь платок, — сказал хозяин, — а впрочем, в наших палестинах, известно, кумушкам что и делать, как не язычки чесать.

— Говорят, что я в церковь не хожу, а это неправда, — продолжал Передонов, — я хожу. А что на Ильин день не был, так у меня тогда живот болел, а то я всегда хожу.

— Это точно, — подтвердил хозяин, — это могу сказать, случалось вас видеть. А впрочем, ведь я не всегда в вашу церковь хожу. Я больше в монастырь езжу. Так уж это у нас в роду повелось.

— Всякий вздор мелют, — говорил Передонов. — Говорят, будто бы я гимназистам гадости рассказываю. А это вздор. Конечно, иногда расскажешь на уроке что-нибудь смешное, чтоб оживить. У вас самого сын гимназист. Ведь он вам ничего такого про меня не рассказывал?

— Это точно, — согласился Скучаев, — ничего такого не было. А впрочем, ведь они, мальчишки, прехитрый народ, — чего не надо, того и не скажут. Оно конечно, мой еще мал, сболтнул бы по глупости, однако ничего такого не сказывал.

— Ну а в старших классах они сами все знают, — сказал Передонов, — да я и там худых слов не говорю.

— Уж это такое дело, — отвечал Скучаев, — известно, гимназия не базарная площадь.

— А у нас уж такой народ, — жаловался Передонов, — того наблекочут, чего и не было. Так вот я к вам, — вы городской голова.

Скучаев был весьма польщен тем, что к нему пришли. Он не совсем понимал, для чего это и в чем тут дело, но из политики не показывал и вида, что не понимает.

— И еще про меня худо говорят, — продолжал Передонов, — что я с Варварой живу. Говорят, что она мне не сестра, а любовница. А она мне, ей-Богу, сестра, только дальняя, четвероюродная, на таких можно венчаться. Я с нею и повенчаюсь.

— Так-с, так-с, конечно, — сказал Скучаев, — а впрочем, венец делу конец.

— А раньше нельзя было, — говорил Передонов, — у меня важные причины были. Никак нельзя. А я бы давно повенчался. Уж вы мне поверьте.

Скучаев приосанился, нахмурился и, постукивая пальцами, пухлыми и белыми, по темной скатерти на столе, сказал:

— Я вам верю. Если так, то это, действительно, другой разговор. Теперь я вам верю. А то, признаться сказать, сомнительно было, как это вы с вашей, с позволения сказать, подругой не венчавшись живете. Оно сомнительно, знаете, потому, — ребятенки — острый народ; они перенимают, если что худое. Доброму их трудно научить, а худое само. Так оно, точно, сомнительно было. А впрочем, кому какое дело, — я так об этом сужу. А что вы пожаловали, так это мне лестно, потому что мы хоть и лыком шиты, дальше уездного училища свету не видали, ну а все-таки почтен доверием общества, третий срок головой хожу, так мое слово у господ горожан чего-нибудь да стоит.

Скучаев говорил и все больше запутывался в своих мыслях, и ему казалось, что никогда не кончится ползущая с его языка канитель. И он оборвал свою речь, и тоскливо подумал: «А впрочем, ровно бы из пустого в порожнее переливаем. Беда с этими учеными, — думал он, — не поймешь, чего он хочет. В книгах-то ему все ясно, ученому человеку, а вот из книги нос вытащит, так и завязнет и других завязит».

Он с тоскливым недоумением уставился на Передонова, острые глаза его потухли, тучное тело осунулось, и он казался уже не тем бодрым деятелем, как давеча, а просто глуповатым стариком.

Передонов тоже помолчал немного, как бы завороженный хозяиновыми словами, потом сказал, щуря глаза с неопределенно-хмурым выражением:

— Вы — городской голова, так вы можете сказать, что все это вздор.

— То есть это насчет чего же? — осторожно осведомился Скучаев.

— А вот, — объяснил Передонов, — если в округ донесут, что я в церковь не хожу или там другое что, так вот, если приедут и спрашивать будут.

— Это мы можем, — сказал голова, — это уж вы, во всяком случае, будьте благонадежны. Если что, так уж мы за вас постоим, — отчего же за хорошего человека слова не замолвить. Хоть адрес вам от думы поднесем, если понадобится. Это мы все можем. Или, примерно, звание почетного гражданина, — отчего же, понадобится, все можно.

— Так уж я буду на вас надеяться, — сказал Передонов угрюмо, как бы отвечая на что-то не совсем приятное для него, — а то директор все меня притесняет.

— С-с, скажите! — воскликнул Скучаев, с соболезнованием покачивая головою, — не иначе как так надо полагать, что по наговорам. Николай Власьевич, кажется, основательный господин, даром никого не обидит. Как же, по сыну вижу. Серьезный господин, строгий, поблажки не дает и различек не делает, одно слово, основательный господин. Не иначе что по наговорам. С чего же у вас с ним контры?

— Мы с ним во взглядах не сходимся, — объяснил Передонов. — И у меня в гимназии есть завистники. Все хотят быть инспекторами. А мне княгиня Волчанская обещала выхлопотать инспекторское место. Вот они и злятся от зависти.

— Так-с, так-с, — осторожно сказал Скучаев. — А впрочем, что же это мы сухопутный разговор делаем. Надо закусить да выпить.

Скучаев нажал пуговку электрического звонка около висячей лампы.

— Удобная штука, — сказал он Передонову. — А вам бы в другое ведомство перейти следовало. Вы нам, Дашенька, соберите, — сказал он вошедшей на звонок миловидной девице атлетического сложения, — закусочки какой-нибудь да кофейку, горяченького, понимаете?

— Слушаю, — ответила Дашенька, улыбаясь, и ушла, ступая удивительно, по ее сложению, легко.

— В другое ведомство, — опять обратился Скучаев к Передонову. — Хотя бы в духовное, например. Если взять духовный сан, то священник из вас вышел бы серьезный, обстоятельный. Я могу посодействовать. У меня есть преосвященные хорошие знакомые.

Скучаев назвал несколько епархиальных и викарных епископов.

— Нет, я не хочу в попы, — отвечал Передонов, — я ладану боюсь. Меня тошнит от ладана, и голова болит.

— В таком разе в полицию тоже хорошо, — советовал Скучаев. — Поступите, например, в становые. На вас, позвольте узнать, какой чин?

— Я статский советник, — важно сказал Передонов.

— Вот как! — воскликнул Скучаев, — скажите, какие вам большие чины дают. И это за то, что ребят обучаете? Скажите, что значит наука! А впрочем, хотя по нынешним временам иные господа нападают на науку, а без науки не проживешь. Вот я сам хоть только в уездном учился, а сына в университет направляю. Через гимназию, известно, почти силком ведешь, прутом, а там и сам пойдет. Я его, знаете, сечь никогда не секу, а только как заленится или так в чем проштрафится, возьму за плечи, поведу к окну, — там у нас в саду березы стоят. Покажу ему березу, — это, говорю, видишь? Вижу, папенька, вижу, говорит, больше не буду. И точно, помогает, заправится

мальчуган, будто его и на самом деле постегали. Ох, дети, дети! — вздыхая, закончил Скучаев.

У Скучаева Передонов просидел часа два. После делового разговора последовало обильное угощение.

Скучаев угощал, — как и все, что делал, — весьма степенно, словно важным делом занимался. Притом он старался делать это с какими-нибудь хитрыми коленцами. Подавали глинтвейн в больших стаканах, совсем как кофе, и хозяин называл его кофейком. Рюмки для водки подали с отбитыми и обточенными донышками, чтоб их нельзя было поставить на стол.

— Это у меня называется: налей да выпей, — объяснил хозяин.

Пришел еще купец Тишков, седой, низенький, веселый и молодцеватый, в длинном сюртуке и сапогах бутылками. Он пил много водки, говорил под рифму всякий вздор очень весело и быстро и, очевидно, был весьма доволен собою.

Передонов сообразил наконец, что пора идти домой, и стал прощаться.

— Не торопитесь, — говорил хозяин, — посидите.

— Посидите, компанию поддержите, — сказал Тишков.

— Нет, мне пора, — отвечал озабоченно Передонов.

— Ему пора, ждет сестра, — сказал Тишков и подмигнул Скучаеву.

— У меня дела, — сказал Передонов.

— У кого дела, тому от нас хвала, — немедленно же отвечал Тишков.

Скучаев проводил Передонова до передней. На прощанье обнялись и поцеловались. Передонов остался доволен этим посещением.

«Голова за меня», — уверенно думал он.

Вернувшись к Тишкову, Скучаев сказал:

— Зря болтают на человека.

— Зря болтают, правды не знают, — тотчас же подхватил Тишков, молодцевато наливая себе рюмку английской горькой.

Видно было, что он не думает о том, что ему говорят, а только ловит слова для рифмования.

— Он ничего, парень душевный, и выпить не дурак, — продолжал Скучаев, наливая и себе и не обращая внимания на рифмачество Тишкова.

— Если выпить не дурак, значит, парень так и сяк, — бойко крикнул Тишков и опрокинул рюмку в рот.

— А что с мамзелью вяжется, так это что же! — говорил Скучаев.

— От мамзели клопы в постели, — ответил Тишков.

— Кто Богу не грешен, царю не виноват!

— Все грешим, все любить хотим.

— А он хочет грех венцом прикрыть.

— Грех венцом прикроют, подерутся и завоют.

Так разговаривал Тишков всегда, если речь шла не о деле его собственном. Он бы смертельно надоел всем, но к нему привыкли и уже не замечали его бойко произносимых скороговорок; только на свежего человека иногда напустят его. Но Тишкову было все равно, слушают его или нет; он не мог не схватывать чужих слов для рифмачества и действовал с неуклонностью хитро придуманной машинки-докучалки. Долго глядя на его расторопные, отчетливые движения, можно было подумать, что это не живой человек, что он уже умер, или и не жил никогда, и ничего не видит в живом мире, и не слышит ничего, кроме звенящих мертво слов.

IX

На другой день Передонов пошел к прокурору Авиновицкому.

Опять была пасмурная погода. Ветер налетал порывами и нес по улицам пыльные вихри. Близился вечер, и все освещено было просеянным сквозь облачный туман, печальным, как бы не солнечным светом. Тоскою веяло затишье на улицах, и казалось, что ни к чему возникли эти жалкие здания, безнадежно-обветшалые, робко намекающие на таящуюся в их стенах нищую и скучную жизнь. Люди попадались, — и шли они медленно, словно ничто ни к чему их не побуждало, словно едва одолевали они клонящую их к успокоению дремоту. Только дети, вечные, неустанные сосуды Божьей радости

над землею, были живы, и бежали, и играли, — но уже и на них налегала косность, и какое-то безликое и незримое чудище, угнездясь за их плечьми, заглядывало порою глазами, полными угроз, на их внезапно тупеющие лица.

Среди этого томления на улицах и в домах, под этим отчуждением с неба, по нечистой и бессильной земле шел Передонов и томился неясными страхами, — и не было для него утешения в возвышенном и отрады в земном, — потому что и теперь, как всегда, смотрел он на мир мертвенными глазами, как некий демон, томящийся в мрачном одиночестве страхом и тоскою.

Его чувства были тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом. Все, доходящее до его сознания, претворялось в мерзость и грязь. В предметах ему бросались в глаза неисправности и радовали его. Когда он проходил мимо прямостоящего и чистого столба, ему хотелось покривить его или испакостить. Он смеялся от радости, когда при нем что-нибудь пачкали. Чисто вымытых гимназистов он презирал и преследовал. Он называл их ласкомойками. Неряхи были для него понятнее. У него не было любимых предметов, как не было любимых людей, — и потому природа могла только в одну сторону действовать на его чувства, только угнетать их. Также и встречи с людьми. Особенно с чужими и незнакомыми, которым нельзя сказать грубость. Быть счастливым для него значило ничего не делать и, замкнувшись от мира, ублажать свою утробу.

А вот теперь приходится поневоле, — думал он, — идти и объясняться. Какая тягость! Какая докука! И еще если бы можно было напакостить там, куда он идет, а то нет ему и этого утешения.

Прокуроров дом усилил и определил в Передонове его тягостные настроения в чувстве тоскливого страха. И точно, этот дом имел сердитый, злой вид. Высокая крыша хмуро опускалась над окнами, пригнетенными к земле. И дощатая обшивка, и крыша были когда-то выкрашены ярко и весело, но от времени и дождей окраска стала хмурою и серою. Ворота, громадные и тяжелые, выше самого дома, как бы приспособленные для отражения вражьих нападений, постоян-

но были на запоре. За ними гремела цепь, и глухим басом лаяла собака на каждого прохожего.

Кругом тянулись пустыри, огороды, кривились лачуги какие-то. Против прокуророва дома — длинная шестиугольная площадь, посредине углубленная, заросшая травою, вся немощеная. У самого дома торчал фонарный столб, единственный на всей площади.

Передонов медленно, неохотно поднялся по четырем пологим ступенькам на крыльцо, покрытое дощатою двускатною кровелькою, и взялся за почернелую медную ручку от звонка. Звонок раздался где-то близко, с резким и продолжительным дребезжанием. Невдолге послышались крадущиеся шаги. Кто-то подошел к двери на цыпочках и остановился там тихо-тихо. Должно быть, смотрел в какую-нибудь незаметную щель. Потом загремел железный крюк, дверь открылась, — на пороге стояла черноволосая, угрюмая, рябая девица с подозрительно озирающими все глазами.

— Вам кого? — спросила она.

Передонов сказал, что пришел к Александру Алексеевичу по делу. Девица его впустила. Переступая порог, Передонов зачурался про себя. И хорошо, что поспешил: не успел еще он снять пальто, как уже в гостиной послышался резкий, сердитый голос Авиновицкого. Голос у прокурора всегда был устрашающий, — иначе он и не говорил. Так и теперь, сердитым и бранчивым голосом он еще из гостиной кричал приветствие и выражение радости по тому поводу, что наконец-то Передонов собрался к нему.

Александр Алексеевич Авиновицкий был мужчина мрачной наружности, как бы уж от природы приспособленный для того, чтобы распекать и разносить. Человек несокрушимого здоровья, — он купался ото льда до льда, — казался он, однако, худощавым, так сильно зарос он бородою, черною, с синеватым отливом. Он на всех наводил если не страх, то чувство неловкости, потому что, не уставая, кого-нибудь громил, кому-нибудь грозил Сибирью да каторгою.

— Я по делу, — сказал Передонов смущенно.

— С повинной? человека убили? поджог устроили? почту ограбили? — сердито закричал Авиновицкий, пропуская Передонова

в зал. — Или сами стали жертвой преступления, что более чем возможно в нашем городе? Город у нас скверный, а полиция в нем еще хуже. Удивляюсь еще я, отчего на этой вот площади каждое утро мертвые тела не валяются. Ну-с, прошу садиться. Так какое же дело? преступник вы или жертва?

— Нет, — сказал Передонов, — я ничего такого не сделал. Это директор рад бы меня упечь, а я ничего такого.

— Так вы повинной не приносите? — спросил Авиновицкий.

— Нет, я ничего такого, — боязливо бормотал Передонов.

— Ну а если вы ничего такого, — со свирепыми ударениями на словах сказал прокурор, — так я вам предложу чего-нибудь этакого.

Он взял со стола колокольчик и позвонил. Никто не шел. Авиновицкий схватил колокольчик в обе руки, поднял неистовый трезвон, потом бросил колокольчик на пол, застучал ногами и закричал диким голосом:

— Маланья! Маланья! черти, дьяволы, лешие!

Послышались неторопливые шаги, вошел гимназист, сын Авиновицкого, черноволосый коренастый мальчик, лет тринадцати, с весьма уверенными и самостоятельными повадками. Он поклонился Передонову, поднял колокольчик, поставил его на стол и уже потом сказал спокойно:

— Маланья на огород пошла.

Авиновицкий мгновенно успокоился и, глядя на сына с нежностью, столь не идущею к его обросшему и сердитому лицу, сказал:

— Так ты, сынок, добеги до нее, скажи, чтоб она собрала нам выпить и закусить.

Мальчик неторопливо пошел из горницы. Отец смотрел за ним с горделивою и радостною улыбкою. Но уже когда мальчик был в дверях, Авиновицкий вдруг свирепо нахмурился и закричал страшным голосом так, что Передонов вздрогнул:

— Живо!

Гимназист побежал, и слышно стало, как захлопали стремительно открытые и с треском закрытые двери. Отец послушал, радостно улыбнулся толстыми, красными губами, потом опять заговорил сердитым голосом:

— Наследник. Хорош, а? Что из него будет, а? Как вы полагаете? Дураком может быть, но подлецом, трусом, тряпкой — никогда.

— Да, что ж, — пробормотал Передонов.

— Нынче люди пошли — пародия на человеческую породу, — гремел Авиновицкий. — Здоровье пошлостью считают. Немец фуфайку выдумал. Я бы этого немца в каторжные работы послал. Вдруг бы на моего Владимира фуфайку! Да он у меня в деревне все лето сапог ни разу не надел, а ему фуфайку! Да он у меня из бани на мороз нагишом выбежит да на снегу поваляется, а ему фуфайку. Сто плетей проклятому немцу!

От немца, выдумавшего фуфайку, перешел Авиновицкий к другим преступникам.

— Смертная казнь, милостивый государь, не варварство! — кричал он. — Наука признала, что есть врожденные преступники. Этим, батенька, все сказано. Их истреблять надо, а не кормить на государственный счет. Он злодей, а ему на всю жизнь обеспечен теплый угол в каторжной тюрьме. Он убил, поджег, растлил, а плательщик налогов отдувается своим карманом на его содержание. Нет-с, вешать много справедливее и дешевле.

В столовой накрыт был круглый стол белою, с красною каемкою скатертью, и на нем расставлены тарелки с жирными колбасами и другими снедями, солеными, копчеными, маринованными, и графины и бутылки разных калибров и форм со всякими водками, настойками и наливками. Все было по вкусу для Передонова, и даже некоторая неряшливость убранства была ему мила.

Хозяин продолжал громить. По поводу съестного обрушился на лавочников, а затем заговорил почему-то о наследственности.

— Наследственность великое дело! — свирепо кричал он. — Из мужиков в баре выводить — глупо, смешно, нерасчетливо и безнравственно. Земля скудеет, города наполняются золоторотцами, неурожаи, невежество, самоубийства, — это вам нравится? Учите мужика сколько хотите, но не давайте ему чинов за это. А то крестьянство теряет лучших членов и вечно останется чернью, быдлом, а дворян-

ство тоже терпит ущерб от прилива некультурных элементов. У себя в деревне он был лучше других, а в дворянское сословие он вносит что-то грубое, нерыцарское, неблагородное. На первом плане у него нажива, утробные интересы. Нет-с, батенька, касты были мудрое устройство.

— Да, вот и у нас в гимназии директор всякую шушеру пускает, — сердито сказал Передонов, — даже есть крестьянские дети, а мещан даже много.

— Хорошее дело, нечего сказать! — крикнул хозяин.

— Есть циркуляр, чтоб всякой швали не пускать, а он по-своему, — жаловался Передонов, — почти никому не отказывает. У нас, говорит, дешевая жизнь в городе, а гимназистов, говорит, и так мало. Что ж, что мало? И еще бы пусть было меньше. А то одних тетрадок не напоправляешься. Книги некогда прочесть. А они нарочно в сочинениях сомнительные слова пишут, — все с Гротом приходится справляться.

— Выпейте ерофеичу, — предложил Авиновицкий. — Какое же у вас до меня дело?

— У меня враги есть, — пробормотал Передонов, уныло рассматривая рюмку с желтою водкою, прежде чем выпить ее.

— Без врагов свинья жила, — отвечал Авиновицкий, — да и ту зарезали. Кушайте, хорошая была свинья.

Передонов взял кусок ветчины и сказал:

— Про меня распускают всякую ерунду.

— Да, уж могу сказать, по части сплетен хуже нет города! — свирепо закричал хозяин. — Уж и город' Какую гадость ни сделай, сейчас все свиньи о ней захрюкают.

— Мне княгиня Волчанская обещала инспекторское место выхлопотать, а тут вдруг болтают. Это мне повредить может. А все из зависти. Тоже и директор, распустил гимназию, — гимназисты, которые на квартирах живут, курят, пьют, ухаживают за гимназистками. Да и здешние такие есть. Сам распустил, а вот меня притесняет. Ему, может быть, наговорили про меня. А там и дальше пойдут наговаривать. До княгини дойдет.

Передонов длинно и нескладно рассказывал о своих опасениях. Авиновицкий слушал сердито и по временам восклицал гневно:

— Мерзавцы! Шельмецы! Иродовы дети!

— Какой же я нигилист? — говорил Передонов, — даже смешно. У меня есть фуражка с кокардою, а только я ее не всегда надеваю, — так и он шляпу носит. А что у меня Мицкевич висит, так я его за стихи повесил, а не за то, что он бунтовал. А я и не читал его «Колокола».

— Ну это вы из другой оперы хватили, — бесцеремонно сказал Авиновицкий. — «Колокол» Герцен издавал, а не Мицкевич.

— То другой «Колокол», — сказал Передонов, — Мицкевич тоже издавал «Колокол».

— Не знаю-с. Это вы напечатайте. Научное открытие. Прославитесь.

— Этого нельзя напечатать, — сердито сказал Передонов. — Мне нельзя запрещенные книги читать. Я и не читаю никогда. Я — патриот.

После долгих сетований, в которых изливался Передонов, Авиновицкий сообразил, что кто-то пытается шантажировать Передонова и с этою целью распускает о нем слухи с таким расчетом, чтобы запугать его и тем подготовить почву для внезапного требования денег. Что эти слухи не дошли до Авиновицкого, он объяснил себе тем, что шантажист ловко действует в самом близком к Передонову кругу, — ведь ему же и нужно воздействовать лишь на Передонова. Авиновицкий спросил:

— Кого подозреваете?

Передонов задумался. Случайно подвернулась на память Грушина, смутно припомнился недавний разговор с нею, когда он оборвал ее рассказ угрозою донести. Что это он погрозил доносом Грушиной, спуталось у него в голове в тусклое представление о доносе вообще. Он ли донесет, на него ли донесут, — было неясно, и Передонов не хотел сделать усилия припомнить точно, — ясно было одно, что Грушина — враг. И что хуже всего, она видела, куда он прятал Писарева. Надо будет перепрятать.

Передонов сказал:

— Вот Грушина тут есть такая.

— Знаю, шельма первостатейная, — кратко решил Авиновицкий.

— Она все к нам ходит, — жаловался Передонов, — и все вынюхивает. Она жадная, ей все давай. Может быть, она хочет, чтоб я ей деньгами заплатил, чтоб она не донесла, что у меня Писарев был. А может быть, она хочет за меня замуж. Но я не хочу платить, и у меня есть другая невеста, пусть доносит, я не виноват. А только мне неприятно, что выйдет история, и это может повредить моему назначению.

— Она известная шарлатанка, — сказал прокурор. — Она тут гаданьем занялась было, дураков морочила, да я сказал полиции, что это надо прекратить. На этот раз были умны, послушались.

— Она и теперь гадает, — сказал Передонов, — на картах мне раскидывала, все дальняя дорога выходила да казенное письмо.

— Она знает, кому что сказать. Вот погодите, она будет петли метать, а потом и пойдет деньги вымогать. Тогда вы прямо ко мне. Я ей всыплю сто горячих, — сказал Авиновицкий любимую свою поговорку.

Не следовало принимать ее буквально, — это обозначало просто изрядную головомойку.

Так обещал Авиновицкий свою защиту Передонову. Но Передонов ушел от него, волнуемый неопределенными страхами; их укрепили в нем громкие, грозные речи Авиновицкого.

Каждый день так делал Передонов по одному посещению перед обедом, — больше одного не успевал, потому что везде надо было вести обстоятельные объяснения. Вечером, по обыкновению, отправлялся играть на бильярде.

По-прежнему ворожащими зовами заманивала его Вершина, по-прежнему Рутилов выхвалял сестер. Дома Варвара уговаривала его скорее венчаться, — но никакого решения не принимал он. Конечно, думал он иногда, жениться бы на Варваре всего выгоднее, — ну а вдруг княгиня обманет? В городе станут смеяться, думал он, и это останавливало его.

Преследование невест, зависть товарищей, более сочиненная им самим, чем действительная, чьи-то подозреваемые им козни, — все

это делало его жизнь скучною и печальною, как эта погода, которая несколько дней подряд стояла хмурая и часто разрешалась медленными, скупыми, но долгими и холодными дождями. Скверно складывалась жизнь, чувствовал Передонов, — но он думал, что вот скоро сделается он инспектором, и тогда все переменится к лучшему.

X

В четверг Передонов отправился к предводителю дворянства.

Предводителев дом напоминал поместительную дачу где-нибудь в Павловске или в Царском Селе, дачу, вполне пригодную и для зимнего жилья. Не била в глаза роскошь, но новизна многих вещей казалась преувеличенно-излишнею.

Александр Михайлович Верига ждал Передонова в кабинете. Он сделал так, как будто торопится идти навстречу гостю и только случайно не успел встретить его раньше.

Верига держался необычайно прямо, даже и для отставного кавалериста. Говорили, что он носит корсет. Лицо, гладко выбритое, было однообразно румяно, как бы подкрашено. Голова острижена под самую низкостригущую машинку, — прием, удобный для смягчения плеши. Глаза серые, любезные и холодные. В обращении он был со всеми весьма любезен, во взглядах решителен и строг. Во всех движениях чувствовалась хорошая военная выправка, и замашки будущего губернатора иногда проглядывали.

Передонов объяснял ему, сидя против него у дубового резного стола:

— Вот обо мне всякие слухи ходят, так я как дворянин обращаюсь к вам. Про меня всякий вздор говорят, ваше превосходительство, чего и не было.

— Я ничего не слышал, — отвечал Верига и, выжидательно и любезно улыбаясь, упирал в Передонова серые внимательные глаза.

Передонов упорно смотрел в угол и говорил:

— Социалистом я никогда не был, а что там иной раз, бывало, скажешь лишнее, так ведь это в молодые годы кто не кипятится. А теперь я ничего такого не думаю.

— Так вы таки были большим либералом? — с любезною улыбкою спросил Верига. — Конституции желали, не правда ли? Все мы в молодости желали конституции. Не угодно ли?

Верига подвинул Передонову ящик с сигарами. Передонов побоялся взять и отказался; Верига закурил.

— Конечно, ваше превосходительство, — признался Передонов, — в университете и я, но только я и тогда хотел не такой конституции, как другие.

— А именно? — с оттенком приближающегося неудовольствия в голосе спросил Верига.

— А чтоб была конституция, но только без парламента, — объяснил Передонов, — а то в парламенте только дерутся.

Веригины серые глаза засветились тихим восторгом.

— Конституция без парламента! — мечтательно сказал он. — Это, знаете ли, практично.

— Но и то это давно было, — сказал Передонов, — а теперь я ничего.

И он с надеждою посмотрел на Веригу. Верига выпустил изо рта тоненькую струйку дыма, помолчал и сказал медленно:

— Вот вы — педагог, а мне приходится, по моему положению в уезде, иметь дело и со школами. С вашей точки зрения вы каким школам изволите отдавать предпочтение: церковно ли приходским или этим, так называемым земским?

Верига отряхнул пепел с сигары и прямо уставился в Передонова любезным, но слишком внимательным взором. Передонов нахмурился, глянул по углам и сказал:

— Земские школы надо подтянуть.

— Подтянуть, — неопределенным тоном повторил Верига, — так-с.

И он опустил глаза на свою тлеющую сигару, словно приготовляясь слушать долгие объяснения.

— Там учителя нигилисты, — говорил Передонов, — а учительницы в Бога не верят. Они в церкви стоят — и сморкаются.

Верига быстро глянул на Передонова, улыбнулся и сказал:

— Ну это, знаете ли, иногда необходимо.

— Да, но она точно в трубу, так что певчие смеются, — сердито говорил Передонов. — Это она нарочно. Это Скобочкина такая есть.

— Да, это нехорошо, — сказал Верига. — Но у Скобочкиной это больше от невоспитанности. Она девица вовсе без манер, но учительница усердная. Но, во всяком случае, это нехорошо. Надо ей сказать.

— Она и в красной рубахе ходит. А иногда так даже босая ходит и в сарафане. С мальчишками в козны играет. У них в школах очень вольно, — продолжал Передонов, — никакой дисциплины. Они совсем не хотят наказывать. А с мужицкими детьми так нельзя, как с дворянскими. Их стегать надо.

Верига спокойно посмотрел на Передонова, потом, как бы испытывая неловкость от услышанной им бестактности, опустил глаза и сказал холодным, почти губернаторским тоном:

— Должен сказать, что в учениках сельских школ я наблюдал многие хорошие качества. Несомненно, что в громадном большинстве случаев они вполне добросовестно относятся к своей работе. Конечно, как и везде у детей, бывают проступки. Вследствие неблаговоспитанности окружающей среды эти проступки могут принять там довольно грубые формы, тем более что в сельском населении России вообще мало развиты чувства долга и чести и уважение к чужой собственности. Школа обязана к таким проступкам относиться внимательно и строго. Если все меры внушения исчерпаны или если проступок велик, то, конечно, следовало бы, чтобы не увольнять мальчика, прибегать и к крайним мерам. Впрочем, это относится и ко всем детям, даже и к дворянским. Но я, вообще, согласен с вами в том, что в школах этого типа воспитание поставлено не совсем удовлетворительно. Госпожа Штевен в своей — весьма, кстати, интересной книге, — вы изволили читать?

— Нет, ваше превосходительство, — смущенно сказал Передонов, — мне все некогда было, много работы в гимназии. Но я прочту.

— Ну это не так необходимо, — с любезною улыбкою сказал Верига, словно разрешая Передонову не читать этой книги. — Да, так вот госпожа Штевен рассказывает с большим возмущением, как двух

ее учеников, парней лет по семнадцати, волостной суд приговорил к розгам. Они, видите ли, гордые, эти парни, — да мы, изволите ли видеть, намучились все, пока над ними тяготел позорный приговор, — его потом отменили. А я вам скажу, что на месте госпожи Штевен я постеснялся бы рассказывать на всю Россию об этом происшествии: ведь осудили-то их, можете себе представить, за кражу яблок. Прошу заметить, за кражу! А она еще пишет, что это ее самые хорошие ученики. А яблоки, однако, украли! Хорошо воспитание! Остается только откровенно признаться, что право собственности мы отрицаем.

Верига в волнении поднялся с места, сделал шага два, но тотчас же овладел собою и опять сел.

— Вот если я сделаюсь инспектором народных училищ, я иначе поведу дело, — сказал Передонов.

— А вы имеете в виду? — спросил Верига.

— Да, княгиня Волчанская мне обещала.

Верига сделал любезное лицо.

— Мне приятно будет вас поздравить. Не сомневаюсь, что в ваших руках дело выиграет.

— А вот тут, ваше превосходительство, в городе болтают всякие пустяки, — еще, может быть, кто-нибудь донесет в округ, помешают моему назначению, а я ничего такого.

— Кого же вы подозреваете в распространении ложных слухов? — спросил Верига.

Передонов растерялся и забормотал:

— Кого же подозревать? Я не знаю. Говорят. А я, собственно, потому, что это может мне повредить по службе.

Верига подумал, что ему и не надо знать, кто именно говорит: ведь он еще не губернатор. Он опять вступил в роль предводителя и произнес речь, которую Передонов выслушал, страшась и тоскуя:

— Я благодарю вас за доверие, которое вы оказали мне, прибегая к моему (Верига хотел сказать «покровительству», но воздержался) посредничеству между вами и обществом, в котором, по вашим сведениям, ходят неблагоприятные для вас слухи. До меня эти слухи не

дошли, и вы можете утешать себя тем, что распространяемые на ваш счет клеветы не осмеливаются подняться из низин городского общества и, так сказать, пресмыкаются во тьме и тайне. Но мне очень приятно, что вы, состоя на службе по назначению, однако столь высоко оцениваете одновременно и значение общественного мнения, и достоинство занимаемого вами положения в качестве воспитателя юношества, одного из тех, просвещенным попечениям которых мы, родители, доверяем драгоценнейшее наше достояние, наших детей, наследников нашего имени и нашего дела. Как чиновник вы имеете своего начальника в лице вашего достоуважаемого директора, но как член общества и дворянин вы всегда вправе рассчитывать на... содействие предводителя дворянства в вопросах, касающихся вашей чести, вашего человеческого и дворянского достоинства.

Продолжая говорить, Верига встал и, упруго упираясь в край стола пальцами правой руки, глядел на Передонова с тем безлично-любезным и внимательным выражением, с которым смотрят на толпу, произнося благосклонно-начальнические речи. Встал и Передонов и, сложа руки на животе, угрюмо смотрел на ковер под хозяиновыми ногами. Верига говорил:

— Я рад, что вы обратились ко мне, и потому, что в наше время особенно полезно членам первенствующего сословия всегда и везде прежде всего помнить, что они дворяне, дорожить принадлежностью к этому сословию, — не только правами, но и обязанностями, и честью дворянина. Дворяне в России, как вам, конечно, известно, сословие, по преимуществу, служилое. Строго говоря, все государственные должности, кроме самых низших, разумеется, должны находиться в дворянских руках. Нахождение разночинцев на государственной службе составляет, конечно, одну из причин таких нежелательных явлений, как то, которое возмутило ваше спокойствие. Клевета и кляуза — орудие людей низшей породы, не воспитанных в добрых дворянских традициях. Но я надеюсь, что общественное мнение выскажется ясно и громко в вашу пользу, и вы можете вполне рассчитывать на все мое содействие в этом отношении.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство, — сказал Передонов, — так уж я буду надеяться.

Верига любезно улыбнулся и не садился, давая понять, что разговор окончен. Сказав свою речь, он вдруг почувствовал, что это вышло вовсе некстати и что Передонов не кто иной, как трусливый искатель хорошего места, обивающий пороги в поисках покровительства. Он отпустил Передонова с холодным пренебрежением, которое привык чувствовать к нему за его непорядочную жизнь.

Одеваясь при помощи лакея в прихожей и слыша доносящиеся издали звуки рояли, Передонов думал, что в этом доме живут по-барски, гордые люди, высоко себя ставят. «В губернаторы метит», — с почтительным и завистливым удивлением думал Передонов.

На лестнице встретились ему возвращавшиеся с прогулки маленькие два предводителевы сына со своим наставником. Передонов посмотрел на них с сумрачным любопытством.

«Чистые какие, — думал он, — даже в ушах ни грязинки. И бойкие такие, а сами небось вышколенные, по струнке ходят. Пожалуй, — думал Передонов, — их никогда и не стегают».

И сердито посмотрел им вслед Передонов, а они быстро подымались по лестнице и весело разговаривали. И дивило Передонова, что наставник был с ними как равный, не хмурился и не кричал на них.

Когда Передонов вернулся домой, он застал Варвару в гостиной с книгою в руках, что бывало редко. Варвара читала поваренную книгу, — единственную, которую она иногда открывала. Книга была старая, трепаная, в черном переплете. Черный переплет бросился в глаза Передонову и привел его в уныние.

— Что ты читаешь, Варвара? — сердито спросил он.

— Что? Известно что, — поварскую книгу, — отвечала Варвара. — Мне пустяков некогда читать.

— Зачем поварская книга? — с ужасом спросил Передонов.

— Как зачем? Кушанье буду готовить, тебе же, ты все привередничаешь, — объясняла Варвара, усмехаючись горделиво и самодовольно.

— По черной книге я не стану есть! — решительно заявил Передонов, быстро выхватил из рук у Варвары книгу и унес ее в спальню.

Черная книга! Да еще по ней обеды готовить! — думал он со страхом. — Того только недоставало, чтобы его открыто пытались извести чернокнижием! Необходимо уничтожить эту страшную книгу, — думал он, не обращая внимания на дребезжащее Варварино ворчанье.

В пятницу Передонов был у председателя уездной земской управы.

В этом доме все говорило, что здесь хотят жить попросту, по-хорошему, и работать на общую пользу. В глаза метались многие вещи, напоминающие о деревенском и простом: кресло с дугою-спинкою и топориками-ручками, чернильницы в виде подковы, пепельница-лапоть. В зале много мерочек, — на окнах, на столах, на полу, — с образцами разного зерна, и кое-где куски «голодного» хлеба — скверные глыбы, похожие на торф. В гостиной рисунки и модели сельскохозяйственных машин. Кабинет загромождали шкапы с книгами о сельском хозяйстве и о школьном деле. На столе — бумаги, печатные отчеты, картонки с какими-то разной величины карточками. Много пыли и ни одной картины.

Хозяин, Иван Степанович Кириллов, очень беспокоился, — как бы, с одной стороны, быть любезным — европейски любезным, — но, с другой стороны, не уронить своего достоинства хозяина в уезде. Он весь был странный и противоречивый, как бы спаянный из двух половинок. По всей его обстановке было видно, что он много и с толком работает. А на него самого посмотришь, и кажется, что вся эта земская деятельность для него только лишь забава и ею занят он пока, а настоящие его заботы где-то впереди, куда порою устремлялись его бойкие, но как бы неживые, оловянного блеска глаза. Как будто кем-то вынута из него живая душа и положена в долгий ящик, а на место ее вставлена неживая, но сноровистая суетилка.

Он был невелик ростом, тонок, моложав, — так моложав и румян, что подчас казался мальчиком, приклеившим бороду и перенявшим от взрослых, довольно удачно, их повадки. Движения у него были отчетливые и быстрые. Здороваясь, он проворно кланялся, и шаркал, и скользил на подошвах щегольских башмачков. Одежду его хоте-

лось назвать костюмчиком: серенькая курточка, батистовая некрахмаленая сорочка с отложными воротничками, веревочный синий галстук, узенькие брючки, серые чулочки. И разговор его, всегда отменно вежливый, был тоже каким-то двояким: говорит себе степенно, — и вдруг детски простодушная улыбка, какая-нибудь мальчишеская ухватка, а через минуту, глядишь, опять уймется и скромничает.

Жена его, женщина тихая и степенная, казавшаяся старше мужа, несколько раз при Передонове входила в кабинет и каждый раз спрашивала у мужа каких-то точных сведений об уездных делах.

Хозяйство у них в городе шло запутанно, — постоянно приходили по делу и постоянно пили чай. И Передонову, едва он уселся, принесли стакан не очень теплого чая и булок на тарелке.

До Передонова уже сидел гость. Передонов его знал, — да и кто в нашем городе кого не знает? Все друг другу знакомы, — только иные раззнакомились, поссорясь.

То был земский врач Георгий Семенович Трепетов, маленький, — еще меньше Кириллова, — человек с прыщавым лицом, остреньким и незначительным. На нем были синие очки, и смотрел он всегда вниз или в сторону, как бы тяготясь смотреть на собеседника. Он был необыкновенно честен и никогда не поступился ни одною своею копейкою в чужую пользу. Всех находящихся на казенной службе он глубоко презирал: еще руку подаст при встрече, но от разговора упрямо уклонялся. За это он слыл светлою головою, — как и Кириллов, — хотя знал мало и лечил плохо. Все собирался опроститься, — и с этой целью присматривался, как мужики сморкаются, чешут затылки, утирают ладонью губы, — и сам наедине подражал им иногда, — но все откладывал опрощение до будущего лета.

Передонов и здесь повторил все привычные ему за последние дни пени на городские сплетни, на завистников, которые хотят помешать ему достигнуть инспекторского места. Кириллов сперва почувствовал себя польщенным этим обращением к нему. Он восклицал:

— Да, вот вы теперь видите, какова провинциальная среда? Я всегда говорил, что единственное спасение для мыслящих людей сплотиться, — и я радуюсь, что вы пришли к тому же убеждению.

Трепетов сердито и обиженно фыркнул. Кириллов посмотрел на него боязливо. Трепетов презрительно сказал:

— Мыслящие люди! — и опять фыркнул.

Потом, помолчав немного, заговорил тоненьким, обиженным голосом:

— Не знаю, могут ли мыслящие люди служить затхлому классицизму!

Кириллов нерешительно сказал:

— Но вы, Георгий Семенович, не берете в расчет, что не всегда от человека зависит избрать свою деятельность.

Трепетов презрительно фыркнул, чем окончательно сразил любезного Кириллова, и погрузился в глубокое молчание.

Кириллов обратился к Передонову. Услышав, что тот говорит об инспекторском месте, Кириллов забеспокоился. Ему показалось, что Передонов хочет быть инспектором в нашем уезде. А в уездном земстве назревало предположение учредить должность своего инспектора училищ, выбираемого земством и утверждаемого учебным начальством. Тогда инспектор Богданов, имевший в своем ведении школы трех уездов, переселился бы в один из соседних городов и школы нашего уезда перешли бы к новому инспектору. Для этой должности был у земцев на примете человек, наставник учительской семинарии в ближайшем городке Сафате.

— Там у меня есть протекция, — говорил Передонов, — а только вот здесь директор пакостит, да и другие тоже. Всякую ерунду распускают. Так уж в случае каких справок обо мне я вот вас предупреждаю, что это все вздор обо мне говорят. Вы этим господам не верьте.

Кириллов отвечал поспешно и бойко:

— Мне, Ардальон Борисыч, нет времени особенно углубляться в городские отношения и слухи, я по горло завален делом. Если бы жена не помогала, то я не знаю, как бы справился. Я нигде не бываю, никого не вижу, ничего не слышу. Но я вполне уверен, что все это, что о вас говорят, — я ничего не слышал, поверьте чести, — все это вздор, вполне верю. Но это место не от одного меня зависит.

— Вас могут спросить, — сказал Передонов.

Кириллов посмотрел на него с удивлением и сказал:

— Еще бы не спросили, конечно, спросят. Но дело в том, что мы имеем в виду...

В это время на пороге показалась госпожа Кириллова и сказала:

— Иван Степаныч, на минутку.

Муж вышел к ней. Она озабоченно зашептала:

— Я думаю, что этому субъекту лучше не говорить, что мы имеем в виду Красильникова. Этот субъект мне подозрителен, — он что-нибудь нагадит Красильникову.

— Ты думаешь? — проворно прошептал Кириллов. — Да, да, пожалуй. Так неприятно.

Он схватился за голову. Жена посмотрела на него с деловитым сочувствием и сказала:

— Лучше совсем ничего ему об этом не говорить, как будто и места нет.

— Да, да, ты права, — шептал Кириллов. — Но я побегу. Неловко.

Он побежал в кабинет и там стал усиленно шаркать и сыпать любезные слова Передонову.

— Так уж вы, если что... — начал Передонов.

— Будьте спокойны, будьте спокойны, буду иметь в виду, — быстро говорил Кириллов. — Мы это еще не вполне решили, этот вопрос.

Передонов не понимал, о каком вопросе говорит Кириллов, и чувствовал тоску и страх. А Кириллов говорил:

— Мы составляем школьную сеть. Из Петербурга выписали специалиста. Целое лето работали. Девятьсот рублей это нам обошлось. К земскому собранию готовим. Удивительно тщательная работа, — подсчитаны все расстояния, намечены все школьные пункты.

И Кириллов долго и подробно рассказывал о школьной сети, то есть о разделении уезда на такие мелкие участки, со школою в каждом, чтобы из каждого селения школа была недалеко. Передонов ничего не понимал и запутывался тугими мыслями в словесных петлях сети, которую бойко и ловко плел перед ним Кириллов.

Наконец он распрощался и ушел, безнадежно тоскуя. В этом доме, — думал он, — его не захотели ни понять, ни даже выслушать. Хозяин молол что-то непонятное, Трепетов почему-то сердито фыркал, хозяйка приходила, не любезничала и уходила, — странные люди живут в этом доме, — думал Передонов. Потерянный день!

XI

В субботу Передонов собрался идти к исправнику. «Этот хоть и не такая важная птица, как предводитель дворянства, — думал Передонов, — однако может навредить больше всех, а захочет, так он же может и помочь своим отзывом перед начальством. Полиция — важное дело».

Передонов вынул из картонки шапку с кокардою. Он решил, что отныне будет носить только ее. Хорошо директору носить шляпу, — он на хорошем счету у начальства, а Передонову еще надо добиться инспекторского места; нечего рассчитывать на протекцию, надо и самому во всем показывать себя с наилучшей стороны. Уже несколько дней назад, перед тем как начать свои походы по властям, он думал это, да только под руку попадалась шляпа. Теперь же Передонов устроился иначе: он шляпу швырнул на печь, — так-то вернее не попадется.

Варвары не было дома. Клавдия мыла полы в горницах. Передонов вошел в кухню вымыть руки. На столе увидел он сверток синей бумаги, и из него высыпалось несколько изюминок. Это был фунт изюма, купленный для булки к чаю, — ее пекли дома. Передонов принялся есть изюм, как он был, немытый и нечищеный, и съел весь фунт быстро и жадно, стоя у стола, озираясь на дверь, чтобы Клавдия не вошла невзначай. Потом он тщательно свернул толстую синюю обертку, под сюртуком вынес ее в переднюю и там положил в карман пальто, чтобы на улице выбросить и таким способом уничтожить следы.

Он ушел. А Клавдия скоро хватилась изюма, испугалась, принялась искать, — не нашла. Варвара вернулась, узнала о пропаже изю-

ма и накинулась на Клавдию с бранью: она была уверена, что Клавдия съела изюм.

На улице было ветрено и тихо. Лишь изредка набегали тучки. Лужи подсыхали. Небо бледно радовалось. Но тоскливо было на душе у Передонова.

По дороге он зашел к портному, поторопить его, — скорее бы шил заказанную третьего дня новую форму.

Проходя мимо церкви, Передонов снял шапку и трижды перекрестился, истово и широко, чтобы видели все, кто мог бы увидеть проходившего мимо церкви будущего инспектора. Прежде он этого не делал, но теперь надо держать ухо востро. Может быть, сзади идет себе тишком какой-нибудь соглядатай, или за углом, за деревом таится кто-нибудь и наблюдает.

Исправник жил на одной из дальних городских улиц. В воротах, распахнутых настежь, попался Передонову городовой, — встреча, наводившая в последние дни на Передонова уныние. На дворе видно было несколько мужиков, но не таких, как везде, — эти были какие-то особенные, необыкновенно смирные и молчаливые. Грязно было на дворе. Стояли телеги, покрытые рогожею.

В темных сенях попался Передонову еще один городовой, низенький, тощий человек вида исполнительного, но все же унылого. Он стоял неподвижно и держал под мышкой книгу в кожаном черном переплете. Отрепанная босая девица выбежала из боковой двери, стащила пальто с Передонова и провела его в гостиную, приговаривая:

— Пожалуйте, Семен Григорьевич сейчас выйдут.

В гостиной были низкие потолки. Они давили Передонова. Мебель тесно жалась к стенке. На полу лежали веревочные маты. Справа и слева из-за стены слышались шепоты и шорохи. Из дверей выглядывали бледные женщины и золотушные мальчики, все с жадными, блестящими глазами. Из шепота иногда выделялись вопросы и ответы погромче:

— Принес...

— Куда нести?

— Куда поставить прикажете?

— От Ермошкина, Сидор Петровича.

Скоро вышел исправник. Он застегивал мундирный сюртук и сладко улыбался.

— Извините, что задержал, — сказал он, пожимая руку Передонова обеими своими большими и загребистыми руками, — там разные посетители по делам. Служба наша такая, не терпит отлагательства.

Семен Григорьевич Миньчуков, мужчина длинный, плотный, черноволосый, с облезлыми посередине головы волосами, держался слегка сгибаясь, руки вниз, пальцы грабельками. Он часто улыбался с таким видом, точно сейчас съел что-то запрещенное, но приятное и теперь облизывался. Губы у него ярко-красные, толстые, нос мясистый, лицо вожделеющее, усердное и глупое.

Передонова смущало все, что он здесь видел и слышал. Он бормотал несвязные слова и, сидя на кресле, старался держать шапку так, чтобы исправник видел кокарду. Миньчуков сидел против него, по другую сторону стола, совершенно прямо, улыбался все так же сладко, а загребистые руки его тихонько двигались на коленях, сжимались и разжимались.

— Болтают невесть что, — говорил Передонов, — чего и не было. А я и сам могу донести. Я ничего такого, а за ними я знаю. Только я не хочу. Они за глаза всякую ерунду городят, а в глаза смеются. Согласитесь сами, в моем положении это щекотливо. У меня протекция, а они гадят. Они совершенно напрасно меня выслеживают, только время теряют, а меня стесняют. Куда ни пойдешь, а уж по всему городу известно. Так уж я надеюсь, что в случае чего вы меня поддержите.

— Как же, как же, помилуйте, с величайшим удовольствием, — сказал Миньчуков, простирая вперед свои широкие ладони, — конечно, мы, полиция, должны знать, если за кем есть что-нибудь неблагонадежное или нет.

— Мне, конечно, наплевать, — сердито сказал Передонов, — пусть бы болтали, да боюсь, что они мне нагадят в моей службе. Они хитрые. Вы не смотрите, что они все болтают, хоть, например, Рутилов.

А вы почем знаете, может, он под казначейство подкоп ведет. Так это с больной головы на здоровую.

Миньчукову показалось сначала, что Передонов подвыпил и мелет вздор. Потом, вслушавшись, он сообразил, что Передонов жалуется на кого-то, кто на него клевещет, и просит принять какие-нибудь меры.

— Молодые люди, — продолжал Передонов, думая о Володине, — а много о себе думают. Против других умышляют, а и сами-то нечисты. Молодые люди, известно, увлекаются. Иные и в полиции служат, а тоже туда же суются.

И он долго говорил о молодых людях, но почему-то не хотел назвать Володина. Про полицейских же молодых людей он сказал на всякий случай, чтобы Миньчуков понял, что у него и относительно служащих в полиции есть кое-какие неблагоприятные сведения. Миньчуков решил, что Передонов намекает на двух молодых чиновников полицейского управления: молоденькие, смешливые, ухаживают за барышнями. Смущение и явный страх Передонова заражали невольно и Миньчукова.

— Я буду следить,—сказал он озабоченно, на минуту призадумался и опять начал сладко улыбаться. — Два есть у меня молоденьких чиновничка, совсем еще желтогубые. Одного из них мамаша, поверите ли, в угол ставит, ей-Богу.

Передонов отрывисто захохотал.

Между тем Варвара побывала у Грушиной, где узнала поразившую ее новость.

— Душенька Варвара Дмитриевна, — торопливо заговорила Грушина, едва только Варвара переступила порог ее дома, — какую я вам новость скажу, вы просто ахнете.

— Ну какая там новость? — ухмыляясь, спросила Варвара.

— Нет, вы только подумайте, какие есть на свете низкие люди! На какие штуки идут, чтобы только достичь своей цели!

— Да в чем дело-то?

— Ну вот, постойте, я вам расскажу.

Но хитрая Грушина прежде начала угощать Варвару кофеем, потом погнала из дома на улицу своих ребятишек, причем старшая девочка заупрямилась и не хотела идти.

— Ах ты, негодная дрянь! — закричала на нее Грушина.

— Сама дрянь, — отвечала дерзкая девочка и затопала на мать ногами.

Грушина схватила девочку за волосы, выбросила из дому на двор и заперла дверь...

— Тварь капризная, — жаловалась она Варваре, — с этими детьми просто беда. Я одна, сладу нет никакого. Им бы отца надо было.

— Вот замуж выйдете, будет им отец, — сказала Варвара.

— Тоже какой еще попадется, голубушка Варвара Дмитриевна, — другой тиранить их начнет.

В это время девочка забежала с улицы, бросила в окно горсть песку и осыпала им голову и платье у матери. Грушина высунулась в окно и закричала:

— Я тебя, дрянь этакая, выдеру, — вот ты вернись домой, я тебе задам, дрянь паршивая!

— Сама дрянь, злая дура! — кричала на улице девочка, прыгала на одной ноге и показывала матери грязные кулачонки.

Грушина крикнула дочке:

— Погоди ты у меня!

И закрыла окно. Потом она села спокойно, как ни в чем не бывало, и заговорила:

— Новость-то я вам хотела рассказать, да уж не знаю. Вы, голубушка Варвара Дмитриевна, не тревожьтесь, они ничего не успеют.

— Да что такое? — испуганно спросила Варвара, и блюдце с кофе задрожало в ее руках.

— Знаете, нынче поступил в гимназию, прямо в пятый класс, один гимназист. Пыльников, будто бы из Рубани, потому что его тетка в нашем уезде имение купила.

— Ну знаю, — сказала Варвара, — видела, как же, еще они с теткой приходили, такой смазливенький, на девочку похож, и все краснеет.

— Голубушка Варвара Дмитриевна, как же ему не быть похожим на девочку, — ведь это и есть переодетая барышня!

— Да что вы! — воскликнула Варвара.

— Нарочно они так придумали, чтобы Ардальона Борисыча подловить, — говорила Грушина, торопясь, размахивая руками и радостно волнуясь оттого, что передает такое важное известие. — Видите ли, у этой барышни есть двоюродный брат, сирота, он и учился в Рубани, так мать-то этой барышни его из гимназии взяла, а по его бумагам барышня сюда и поступила. И вы заметьте, они его поместили на квартире, где других гимназистов нет, он там один, так что все шито-крыто, думали, останется.

— А вы как же узнали? — недоверчиво спросила Варвара.

— Голубушка Варвара Дмитриевна, слухом земля полнится. И так сразу стало подозрительно: все мальчики как мальчики, а этот тихоня, ходит как в воду опущенный. А по роже посмотреть, — молодец молодцом должен быть, румяный, грудастый. И такой скромный, товарищи замечают, — ему слово скажут, а он уж и краснеет. Они его и дразнят девчонкой. Только они думают, что это так, чтобы посмеяться, не знают, что это правда. И представьте, какие они хитрые, — ведь и хозяйка ничего не знает.

— Как же вы-то узнали? — повторила Варвара.

— Голубчик Варвара Дмитриевна, чего я не узнаю! Я всех в уезде знаю. Как же, ведь это всем известно, что у них еще мальчик дома живет, таких же лет, как этот. Отчего же они не отдали их вместе в гимназию? Говорят, что он летом болен был, так один год отдохнет, а потом опять поступит в гимназию. Но все это вздор, — это-то и есть гимназист. И опять же известно, что у них была барышня, а они говорят, что она замуж вышла и на Кавказ уехала. И опять врут, ничего она не уехала, а живет здесь под видом мальчика.

— Да какой же им расчет? — спросила Варвара.

— Как какой расчет! — оживленно говорила Грушина. — Подцепит какого-нибудь из учителей, мало ли у нас холостых, а то и так кого-нибудь. Под видом мальчика она может и на квартиру прийти, и мало ли что может.

Варвара сказала испуганно:

— Смазливая девчонка-то.

— Еще бы, писаная красавица, — согласилась Грушина, — это она только теперь стесняется, а погодите, попривыкнет, разойдется, так она тут всех в городе закружит. И представьте, какие они хитрые: я, как только узнала об этаких делах, сейчас же постаралась встретиться с его хозяйкой, — или с ее хозяйкой, — уж как и сказать-то, не знаешь.

— Чистый оборотень, тьфу, прости Господи! — сказала Варвара.

— Пошла я ко всенощной в их приход, к Пантелеймону, а она богомольная. Ольга Васильевна, говорю, отчего это у вас нынче только один гимназист живет? Ведь вам, говорю, с одним невыгодно. А она говорит: да на что, говорит, мне больше? суета с ними. Я и говорю: ведь вы, говорю, в прежние года все двух-трех держали. А она и говорит, — представьте, голубушка Варвара Дмитриевна! — да они, говорит, уж так и условились, чтобы Сашенька один у меня жил. Они, говорит, люди не бедные, заплатили побольше, а то они, говорит, боятся, что он с другими мальчиками избалуется. Каковы?

— Вот-то пройдохи! — злобно сказала Варвара. — Что ж, вы ей сказали, что это девчонка?

— Я ей говорю, — смотрите, говорю, Ольга Васильевна, не девчонку ли вам подсунули вместо мальчика.

— Ну а она что?

— Ну она думала, я шучу, смеется. Тогда я посерьезнее сказала, — голубушка Ольга Васильевна, говорю, знаете, ведь говорят, что это девчонка. Но только она не верит, — пустяки, говорит, какая же это девчонка, я ведь, говорит, не слепая...

Этот рассказ поразил Варвару. Она совершенно поверила, что все это так и есть и что на ее жениха готовится нападение еще с одной стороны. Надо было как-нибудь поскорее сорвать маску с переодетой барышни. Долго совещались они, как это сделать, но пока ничего не придумали.

Дома еще более расстроила Варвару пропажа изюма.

Когда Передонов вернулся домой. Варвара торопливо и взволнованно рассказала ему, что Клавдия куда-то дела фунт изюму и не признается.

— Да еще что выдумала, — раздраженно говорила Варвара, — это, говорит, может быть, барин скушали. Они, говорит, на кухню за чем-то выходили, когда я полы мыла, и долго, говорит, там пробыли.

— И вовсе не долго, — хмуро сказал Передонов, — я только руки помыл, а изюму я там и не видел.

— Клавдюшка, Клавдюшка! — закричала Варвара, — вот барин говорит, что он и не видел изюма, — значит, ты его и тогда уже припрятала куда-то.

Клавдия показала из кухни раскрасневшееся, опухшее от слез лицо.

— Не брала я вашего изюму, — прокричала она рыдающим голосом, — я вам его откуплю, только не брала я вашего изюму!

— И откупишь, и откупишь! — сердито закричала Варвара, — я тебя не обязана изюмом откармливать.

Передонов захохотал и крикнул:

— Дюшка фунт изюму оплела!

— Обидчики! — закричала Клавдия и хлопнула дверью.

За обедом Варвара не могла удержаться, чтобы не передать того, что слышала о Пыльникове. Она не думала, будет ли это для нее вредно или полезно, как отнесется к этому Передонов, — говорила просто со зла.

Передонов старался припомнить Пыльникова, да как-то все не мог ясно представить его себе. До сих пор он мало обращал внимания на этого нового ученика и презирал его за смазливость и чистоту, за то что он вел себя скромно, учился хорошо и был самым младшим по возрасту из учеников пятого класса. Теперь же Варварин рассказ зажег в нем блудливое любопытство. Нескромные мысли медленно зашевелились в его темной голове...

«Надо сходить ко всенощной, — подумал он, — посмотреть на эту переодетую девчонку».

Вдруг вбежала Клавдия, ликуя, бросила на стол смятую в комок синюю оберточную бумагу и закричала:

— Вот на меня говорили, что я изюм съела, а это что? Нужно очень мне ваш изюм, как же.

Передонов догадался в чем дело: он забыл выбросить на улице обертку, и теперь Клавдия нашла ее в пальто в кармане.

— Ах, черт! — воскликнул он.

— Что это, откуда? — закричала Варвара.

— У Ардальон Борисыча в кармане нашла, — злорадно отвечала Клавдия, — сами съели, а на меня поклеп взвели. Известно, Ардальон Борисыч большие сластуны, только чего ж на других валить, коли сами...

— Ну, поехала, — сердито сказал Передонов, — и все врешь. Ты мне подсунула, я не брал ничего.

— Чего мне подсовывать, что вы, Бог с вами, — растерянно сказала Клавдия.

— Как ты смела по карманам лазить! — закричала Варвара. — Ты там денег ищешь?

— Ничего я по карманам не лазаю, — грубо отвечала Клавдия. — Я взяла пальто почистить, все в грязи.

— А в карман зачем полезла?

— Да она сама из кармана вывалилась, что мне по карманам лазить, — оправдывалась Клавдия.

— Врешь, дюшка, — сказал Передонов.

— Какая я вам дюшка, чтой-то такое, насмешники этакие! — закричала Клавдия. — Черт с вами, откуплю вам ваш изюм, подавитесь вы им, — сами сожрали, а я откупай. Да и откуплю, — совести, видно, в вас нет, стыда в глазах нет, а еще господа называетесь!

Клавдия ушла в кухню, плача и ругаясь. Передонов отрывисто захохотал и сказал:

— Взъерепенилась как.

— И пусть откупает, — говорила Варвара, — им все спускать, так они все сожрать готовы, черти голодушные.

И долго потом они оба дразнили Клавдию тем, что она съела фунт изюма. Деньги за этот изюм вычли из ее жалованья и всем гостям рассказывали об этом изюме.

Кот, словно привлеченный криками, вышел из кухни, пробираясь вдоль стен, и сел около Передонова, глядя на него жадными и злыми глазами. Передонов нагнулся, чтобы его поймать. Кот яростно фыркнул, оцарапал руку Передонова, убежал и забился под шкап. Он выглядывал оттуда, и узкие зеленые зрачки его сверкали.

«Точно оборотень», — пугливо подумал Передонов.

Между тем Варвара, все думая о Пыльникове, заговорила:

— Чем бы по вечерам на бильярд ходить каждый вечер, сходил бы иногда к гимназистам на квартиры. Они знают, что учителя к ним редко заглядывают, а инспектора и раз в год не дождешься, так у них там всякое безобразие творится, и картеж, и пьянство. Да вот сходил бы к этой девчонке-то переодетой. Пойди попозже, как спать станут ложиться; мало ли как тогда можно будет ее уличить да сконфузить.

Передонов подумал и захохотал.

«Варвара — хитрая шельма, — подумал он, — она научит».

XII

Передонов отправился ко всенощной в гимназическую церковь. Там он стал сзади учеников и внимательно смотрел за тем, как они себя вели. Некоторые, показалось ему, шалили, толкались, шептались, смеялись. Он заметил их и постарался запомнить. Их было много, и он сетовал на себя, как это он не догадался взять из дома бумажку и карандашик, записывать. Ему стало грустно, что гимназисты так плохо себя ведут и никто на это не обращает внимания, хотя тут же в церкви стояли директор да инспектор со своими женами и детьми.

А на самом деле гимназисты стояли чинно и скромно, — иные крестились бессознательно, думая о чем-то постороннем храму, другие молились прилежно. Редко-редко кто шепнет что-нибудь соседу, — два-три слова, почти не поворачивая головы, — и тот отвечал так же коротко и тихо или даже одним только быстрым движением, взглядом, пожиманием плеч, улыбкою. Но эти маленькие движения, не замечаемые дежурившим помощником классных наставников, давали встревоженным, но тупым чувствам Передонова иллюзию большого беспорядка. Даже и в спокойном своем состоянии Передонов, как и все грубые люди, не мог точно оценить мелких явлений: он или не замечал их, или преувеличивал их

значение. Теперь же, когда он был возбужден ожиданиями и страхами, чувства его служили ему еще хуже, и мало-помалу вся действительность заволакивалась перед ним дымкою противных и злых иллюзий.

Да, впрочем, и раньше, что были гимназисты для Передонова? Не только ли аппаратом для растаскивания пером чернил по бумаге и для пересказа суконным языком того, что когда-то было сказано языком человечьим! Передонов во всю свою учительскую деятельность совершенно искренно не понимал и не думал о том, что гимназисты такие же люди, как и взрослые. Только бородатые гимназисты с пробудившимся влечением к женщинам вдруг становились в его глазах равными ему.

Постояв сзади и набравши достаточно грустных впечатлений, Передонов подвинулся вперед, к средним рядам. Там стоял, на самом конце ряда, справа, Саша Пыльников; он скромно молился и часто опускался на колени. Передонов посматривал на него, и особенно приятно ему было смотреть, когда Саша стоял на коленях, как наказанный, и смотрел вперед, к сияющим дверям алтарным с озабоченным и просительным выражением на лице, с мольбою и печалью в черных глазах, осененных длинными, до синевы черными ресницами. Смуглый, стройный, — что особенно было заметно, когда он стоял на коленях спокойно и прямо, как бы под чьим-то строго наблюдающим взором, — с высокою и широкою грудью, он казался Передонову совсем похожим на девочку.

Теперь Передонов окончательно решился сегодня же после всенощной идти к нему на квартиру.

Стали выходить из церкви. Заметили, что у Передонова не шляпа, как всегда прежде, а фуражка с кокардою. Рутилов спросил, смеясь:

— Что ты, Ардальон Борисыч, нынче с кокардой щеголяешь? Вот что значит в инспекторы-то метит человек.

— Вам теперь солдаты должны честь отдавать? — с деланным простодушием спросила Валерия.

— Ну вот, глупости какие! — сердито сказал Передонов.

— Ты ничего не понимаешь, Валерочка, — сказала Дарья, — какие же солдаты! Теперь только от гимназистов Ардальон Борисычу почтения гораздо больше будет, чем прежде.

Людмила хохотала. Передонов поспешил распрощаться с ними, чтобы избавиться от их насмешек.

К Пыльникову было еще рано, а домой не хотелось. Передонов пошел по темным улицам, придумывая, где бы провести час. Было много домов, во многих окнах горели огни, иногда из отворенных окон слышались голоса. По улицам шли расходившиеся из церкви, и слышно было, как отворялись и затворялись калитки и двери. Везде люди жили чужие, враждебные Передонову, и иные из них, может быть, и теперь злоумышляли против него. Может быть, уже кто-нибудь дивился, зачем это Передонов один в такой поздний час и куда это он идет. Казалось Передонову, что кто-то выслеживает его и крадется за ним. Тоскливо стало ему. Он пошел поспешно, без цели.

Он думал, что у каждого здесь дома есть свои покойники. И все, кто жил в этих старых домах лет пятьдесят тому назад, все умерли. Некоторых покойников еще он помнил.

Человек умрет, так и дом бы сжечь, — тоскливо думал Передонов, — а то страшно очень.

Ольга Васильевна Коковкина, у которой жил гимназист Саша Пыльников, была вдова казначея. Муж оставил ей пенсию и небольшой дом, в котором ей было так просторно, что она могла отделить еще и две-три комнаты для жильцов. Но она предпочла гимназистов. Повелось так, что к ней всегда помещали самых скромных мальчиков, которые учились исправно и кончали гимназию. На других же ученических квартирах значительная часть была таких, которые кочуют из одного учебного заведения в другое, да так и выходят недоучками.

Ольга Васильевна, худощавая старушка, высокая и прямая, с добродушным лицом, которому она, однако, старалась придавать строгое выражение, и Саша Пыльников, мальчик хорошо откормленный и строго выдержанный своею теткою, сидели за чайным столом. Сегодня была Сашина очередь ставить варенье, из деревни, и потому он чув-

ствовал себя хозяином, важно угощал Ольгу Васильевну, и черные глаза его ярко блестели.

Послышался звонок, и вслед за тем в столовой появился Передонов. Коковкина была удивлена столь поздним посещением.

— Вот я пришел посмотреть нашего гимназиста, — сказал он, — как он тут живет.

Коковкина угощала Передонова, но он отказался. Ему хотелось, чтобы они поскорее кончили пить чай и чтобы ему побыть одному с гимназистом. Выпили чай, перешли в Сашину комнату, а Коковкина не оставляла их и разговаривала без конца. Передонов угрюмо смотрел на Сашу, — а тот застенчиво молчал.

«Ничего не выйдет из этого посещения», — досадливо думал Передонов.

Служанка позвала зачем-то Коковкину. Она вышла. Саша тоскливо посмотрел за нею. Его глаза померкли, призакрылись ресницами, — и казалось, что эти ресницы, слишком длинные, бросают тень на все его лицо, смуглое и вдруг побледневшее. Ему неловко было при этом угрюмом человеке. Передонов сел рядом с ним, неловко обнял его рукою и, не меняя неподвижного выражения на лице, спросил:

— Что, Сашенька, хорошо ли Богу помолилась?

Саша стыдливо и испуганно глянул на Передонова, покраснел и промолчал.

— А? что? хорошо? — спрашивал Передонов.

— Хорошо, — сказал наконец Саша.

— Ишь ты, румянец какой на щечках, — сказал Передонов, — признавайтесь-ка, ведь вы девчонка? Шельма, девчонка!

— Нет, не девчонка, — сказал Саша и вдруг, сердясь на свою застенчивость, спросил зазвеневшим голосом: — Чем это я похож на девчонку? Это у вас гимназисты такие, придумали дразнить за то, что я дурных слов боюсь; я не привык их говорить, мне ни за что не сказать, да и зачем говорить гадости?

— Маменька накажет? — спросил Передонов.

— У меня нет матери, — сказал Саша, — мама давно умерла; у меня тетя.

— Что ж, тетя накажет?

— Конечно, накажет, коли я стану гадости говорить. Разве хорошо?

— А откуда тетя узнает?

— Да я и сам не хочу, — спокойно сказал Саша. — А тетя мало ли как может узнать. Может быть, я сам проговорюсь.

— А кто из ваших товарищей дурные слова говорит? — спросил Передонов.

Саша опять покраснел и молчал.

— Ну что ж, говорите, — настаивал Передонов, — вы обязаны сказать, нельзя покрывать.

— Никто не говорит, — смущенно сказал Саша.

— Вы же сами сейчас жаловались.

— Я не жаловался.

— Что ж вы отпираетесь? — сердито сказал Передонов.

Саша чувствовал себя пойманным в какой-то скверный капкан. Он сказал:

— Я только объяснил вам, почему меня некоторые товарищи дразнят девчонкой. А я не хочу на них фискалить.

— Вот как, это почему же? — со злобою спросил Передонов.

— Да нехорошо, — сказал Саша с досадливою усмешкою.

— Ну вот я директору скажу, так вас заставят, — злорадно сказал Передонов.

Саша смотрел на Передонова гневно загоревшимися глазами.

— Нет, вы, пожалуйста, не говорите, Ардальон Борисыч, — просил он.

И в срывающихся звуках его голоса было слышно, что он делает усилие просить, что ему хочется кричать дерзкие, угрожающие слова.

— Нет, скажу. Вот вы тогда увидите, как покрывать гадости. Вы должны были сами сразу пожаловаться. Вот погодите, вам достанется.

Саша встал и в замешательстве теребил пояс. Пришла Коковкина.

— Тихоня-то ваш, хорош, нечего сказать, — злобно сказал Передонов.

Коковкина испугалась. Она торопливо подошла к Саше, села рядом с ним, — от волнения у нее всегда подкашивались ноги, — и спросила боязливо:

— А что такое, Ардальон Борисыч? Что он сделал?

— Вот у него спросите, — с угрюмою злобою ответил Передонов.

— Что такое, Сашенька, в чем ты провинился? — спросила Коковкина, трогая Сашу за локоть.

— Я не знаю, — сказал Саша и заплакал.

— Да что такое, что с тобою, что ты плачешь? — спрашивала Коковкина.

Она положила руки на плечи мальчику, нагибала его к себе и не замечала, что ему неловко. А он стоял, склонясь, и закрывал глаза платком. Передонов объяснил:

— Его там, в гимназии, дурным словам учат, а он не хочет сказать кто. Он не должен укрывать. А то и сам учится гадостям, и других покрывает.

— Ах, Сашенька, Сашенька, как же это ты так! Разве можно? Да как тебе не стыдно! — растерянно говорила Коковкина, отпустив Сашу.

— Я ничего, — рыдая, ответил Саша, — я ничего не сделал худого. Они меня за то и дразнят, что я не могу худых слов говорить.

— Кто говорит худые слова? — опять спросил Передонов.

— Никто не говорит, — с отчаянием воскликнул Саша.

— Видите, как он лжет, — сказал Передонов, — его наказать надо хорошенько. Надо, чтоб он открыл, кто говорит гадости, а то на нашу гимназию нарекания пойдут, а мы ничего не можем сделать.

— Уж вы его извините, Ардальон Борисыч, — сказала Коковкина, — как же он скажет на товарищей? Ведь ему потом житья не дадут.

— Он обязан сказать, — сердито сказал Передонов, — от этого только польза будет. Мы примем меры к их исправлению.

— Да ведь они его бить будут? — нерешительно сказала Коковкина.

— Не посмеют. Если он трусит, пусть по секрету скажет.

— Ну, Сашенька, скажи по секрету. Никто не узнает, что ты сказал.

Саша молча плакал. Коковкина привлекла его к себе, обняла и долго шептала что-то на ухо. Он отрицательно качал головою.

— Не хочет, — сказала Коковкина.

— А вот розгой его пробрать, так заговорит, — свирепо сказал Передонов. — Принесите мне розгу, я его заставлю говорить.

— Ольга Васильевна, да за что же! — воскликнул Саша.

Коковкина встала и обняла его.

— Ну довольно реветь, — сказала она нежно и строго, — никто тебя не тронет.

— Как хотите, — сказал Передонов, — а только я тогда должен директору сказать. Я думал по-семейному, ему же лучше бы. Может быть, и ваш Сашенька прожженный. Еще мы не знаем, за что его дразнят девчонкой, — может быть, совсем за другое. Может быть, не его учат, а он других развращает.

Передонов сердито пошел из комнаты. За ним вышла и Коковкина. Она укоризненно сказала:

— Ардальон Борисыч, как же это вы так мальчика конфузите невесть за что! Хорошо, что он еще и не понимает ваших слов.

— Ну, прощайте, — сердито сказал Передонов, — а только я скажу директору. Это надо расследовать.

Он ушел. Коковкина пошла утешать Сашу. Саша грустно сидел у окна и смотрел на звездное небо. Уже спокойны и странно печальны были его черные глаза. Коковкина молча погладила его по голове.

— Я сам виноват, — сказал он, — проболтался, за что меня дразнят, а он и пристал. Он самый грубый. Его никто из гимназистов не любит.

На другой день Передонов и Варвара переезжали наконец на новую квартиру. Ершова стояла в воротах и свирепо ругалась с Варварою. Передонов прятался от нее за возами.

На новой квартире тотчас же отслужили молебен. Необходимо было, по расчетам Передонова, показать, что он — человек верующий. Во время молебна запах ладана, кружа ему голову, вызвал в нем смутное настроение, похожее на молитвенное.

Одно странное обстоятельство смутило его. Откуда-то прибежала удивительная тварь неопределенных очертаний, — маленькая, серая, юркая недотыкомка. Она посмеивалась, и дрожала, и вертелась вокруг Передонова. Когда же он протягивал к ней руку, она быстро ускользала, убегала за дверь или под шкап, а через минуту появлялась снова, и дрожала, и дразнилась, — серая, безликая, юркая.

Наконец, уже когда кончался молебен, Передонов догадался и зачурался шепотом. Недотыкомка зашипела тихо-тихо, сжалась в малый комок и укатилась за дверь. Передонов вздохнул облегченно.

«Да, хорошо, если она совсем укатилась. А может быть, она живет в этой квартире, где-нибудь под полом, и опять станет приходить и дразнить».

Тоскливо и холодно стало Передонову.

«И к чему вся эта нечисть на свете?» — подумал он.

Когда молебен кончился, когда гости разошлись, Передонов долго думал о том, где бы могла скрываться недотыкомка. Варвара ушла к Грушиной, а Передонов отправился на поиски и принялся перерывать ее вещи.

«Не в кармане ли унесла ее Варвара? — думал Передонов, — много ли ей надо места? Спрячется в карман и будет сидеть, пока срок не придет».

Одно Варварино платье привлекло внимание Передонова. Оно все было в сборках, бантиках, лентах, словно нарочно сшито, чтобы можно было спрятать кого-нибудь. Передонов долго рассматривал его, потом с усилием, при помощи ножа, вырвал, отчасти вырезал, карман, бросил его в печку, а затем принялся рвать и резать на мелкие куски все платье. В его голове бродили смутные, странные мысли, а на душе было безнадежно-тоскливо.

Скоро вернулась Варвара, — еще Передонов кромсал остатки платья. Она подумала, что он пьян, и принялась ругаться. Передонов слушал долго и наконец сказал:

— Чего лаешься, дура! Ты, может быть, черта в кармане носишь. Должен же я позаботиться, что тут делается.

Варвара опешила. Довольный произведенным впечатлением, он поспешил отыскать шапку и отправился играть на бильярде.

Варвара выбежала в переднюю и, пока Передонов надевал пальто, кричала:

— Это ты, может быть, черта в кармане носишь, а у меня нет никакого черта. Откуда я тебе черта возьму? Разве по заказу из Голландии тебе выписать!

Молоденький чиновник Черепнин, тот самый, о котором рассказывала Вершина, что он подсматривал в окно, начал было, когда Вершина овдовела, ухаживать за нею. Вершина не прочь была бы выйти замуж второй раз, но Черепнин казался ей слишком ничтожным. Черепнин озлобился. Он с радостью поддался на уговоры Володина вымазать дегтем ворота у Вершиной.

Согласился, а потом раздумье взяло. А ну как поймают? Неловко, все же чиновник. Он решил переложить это дело на других. Затратив четвертак на подкуп двух подростков-сорванцов, он обещал им еще по пятиалтынному, если они устроят это, — и в одну темную ночь дело было сделано.

Если бы кто-нибудь в доме Вершиной открыл окно после полуночи, то он услышал бы на улице легкий шорох босых ног на мостках, тихий шепот, еще какие-то мягкие звуки, похожие на то, словно обметали забор; потом легкое звяканье, быстрый топот тех же ног, все быстрее и быстрее, далекий хохот, тревожный лай собак.

Но никто не открыл окна. А утром... Калитка, забор около сада и около двора были исполосованы желтовато-коричневыми следами от дегтя. На воротах дегтем написаны были грубые слова. Прохожие ахали и смеялись, разнеслась молва, приходили любопытные.

Вершина ходила быстро в саду, курила, улыбалась еще кривее обычного и бормотала сердитые слова. Марта не выходила из дому и горько плакала. Служанка Марья пыталась смыть деготь и злобно переругивалась с глазевшими, галдевшими и хохотавшими любопытными.

Черепнин в тот же день рассказал Володину, кто это сделал. Володин немедленно же передал это Передонову. Оба они знали этих мальчишек, которые славились дерзкими шалостями.

Передонов, отправляясь на бильярд, зашел к Вершиной. Было пасмурно. Вершина и Марта сидели в гостиной.

— У вас ворота замазали дегтем, — сказал Передонов.

Марта покраснела. Вершина торопливо рассказала, как они встали и увидели, что на их забор смеются, и как Марья отмывала забор. Передонов сказал:

— Я знаю, кто это сделал.

Вершина в недоумении смотрела на Передонова.

— Как же это вы узнали? — спросила она.

— Да уж узнал.

— Кто же, скажите, — сердито спросила Марта.

Она сделалась совсем некрасивою, потому что у нее были теперь злые, заплаканные глаза с покрасневшими и распухшими веками. Передонов отвечал:

— Я скажу, конечно, для того и пришел. Этих мерзавцев надо проучить. Только вы должны обещать, что никому не скажете, от кого узнали.

— Да отчего же так, Ардальон Борисыч? — с удивлением спросила Вершина.

Передонов помолчал значительно, потом сказал в объяснение:

— Это такие озорники, что голову проломят, коли узнают, кто их выдал.

Вершина обещала молчать.

— И вы не говорите, что это я сказал, — обратился Передонов к Марте.

— Хорошо, я не скажу, — поспешно согласилась Марта, потому что хотелось поскорее узнать имена виновников.

Ей казалось, что их следовало подвергнуть мучительному и позорному наказанию.

— Нет, вы лучше побожитесь, — опасливо сказал Передонов.

— Ну вот ей-Богу, никому не скажу, — уверяла Марта, — вы только скажите поскорей.

А за дверью подслушивал Владя. Он рад был, что догадался не входить в гостиную: его не заставят дать обещание, и он может сказать кому угодно. И он улыбался от радости, что так отомстит Передонову.

— Я вчера в первом часу возвращался домой по вашей улице, — рассказывал Передонов, — вдруг слышу, около ваших ворот кто-то возится. Я сначала думал, что воры. Думаю, как мне быть. Вдруг слышу, побежали, и прямо на меня. Я к стенке прижался, они меня не видали, а я их узнал. У одного мазилка, у другого ведерко. Известные мерзавцы, слесаря Авдеева сыновья. Бегут, и один другому говорит: недаром ночь провели, говорит, пятьдесят пять копеечек заработали. Я было хотел хоть одного задержать, да побоялся, что харю измажут, да и на мне новое пальто было.

Едва Передонов ушел, Вершина отправилась к исправнику с жалобою.

Исправник Миньчуков послал городового за Авдеевым и его сыновьями.

Мальчики пришли смело, они думали, что их подозревают по прежним шалостям. Авдеев, унылый, длинный старик, был, наоборот, вполне уверен, что его сыновья опять сделали какую-нибудь пакость. Исправник рассказал Авдееву, в чем обвиняются его сыновья. Авдеев промолвил:

— Нет с ними моего сладу. Что хотите, то с ними и делайте, а я уж руки об них обколотил.

— Это не наше дело, — решительно заявил старший, вихрастый, рыжий мальчик Нил.

— На нас все валят, кто что ни сделает, — плаксиво сказал младший, такой же вихрастый, но белоголовый, Илья. — Что ж, раз нашалили, так теперь за все и отвечай.

Миньчуков сладко улыбнулся, покачал головою и сказал:

— А вы лучше признайтесь чистосердечно.

— Не в чем, — грубо сказал Нил.

— Не в чем? А пятьдесят пять копеек кто вам дал за работу, а?

И видя по минутному замешательству мальчиков, что они виноваты, Миньчуков сказал Вершиной:

— Да уж видно, что они.

Мальчики стали снова запираться. Их отвели в чулан — сечь. Не стерпевши боли, они повинились. Но и признавшись, не хотели было говорить, от кого получили за это деньги.

— Сами затеяли.

Их секли по очереди, не торопясь, пока они не сказали, что подкупил их Черепнин. Мальчиков отдали отцу.

Исправник сказал Вершиной:

— Ну вот, мы их наказали, то есть отец их наказал, а вы знаете, кто это вам сделал.

— Я этого Черепнину так не спущу, — говорила Вершина, — я на него в суд подам.

— Не советую, Наталья Афанасьевна, — кротко сказал Миньчуков, — лучше оставьте это.

— Как это спускать таким негодяям? да ни за что! — воскликнула Вершина.

— Главное, улик никаких, — спокойно сказал исправник.

— Как никаких, коли сами мальчики признались?

— Мало ли что признались, а перед судьей отопрутся, — там ведь их пороть не станут.

— Как же отопрутся? Городовые — свидетели, — сказала Вершина уже не так уверенно.

— Какие там свидетели? Коли шкуру драть с человека станут, так он во всем признается, чего и не было. Они, конечно, мерзавцы, им и досталось, ну а судом с них ничего не возьмете.

Миньчуков сладко улыбался и спокойно посматривал на Вершину.

Вершина ушла от исправника очень недовольная, но, подумав, согласилась, что Черепнина обвинять трудно и что из этого может выйти только лишняя огласка и срам.

XIII

К вечеру Передонов явился к директору, — поговорить по делу.

Директор, Николай Власьевич Хрипач, имел известное число правил, которые столь удобно прикладывались к жизни, что придерживаться их было нисколько не обременительно. По службе он спокойно исполнял все, что требовалось законами или распоряжениями начальства, а также правилами общепринятого умеренного либерализма.

Поэтому начальство, родители и ученики равно довольны были директором. Сомнительных случаев, нерешительности, колебаний он не знал, да и к чему они? всегда можно опереться или на постановление педагогического совета, или на предписание начальства. Столь же правилен и спокоен был он в личных сношениях. Самая наружность его являла вид добродушия и стойкости: небольшого роста, плотный, подвижной, с бойкими глазами и уверенною речью, он казался человеком, который недурно устроился и намерен устроиться еще лучше. В кабинете его на полках стояло много книг; из некоторых он делал выписки. Когда выписок накоплялось достаточно, он располагал их в порядке и пересказывал своими словами, — и вот составлялся учебник, печатался и расходился, не так, как расходятся книжки Ушинского или Евтушевского, но все-таки хорошо. Иногда он составлял, преимущественно по заграничным книжкам, компиляцию, почтенную и никому не нужную, и печатал ее в журнале, тоже почтенном и тоже никому не нужном. Детей у него было много, и все они, мальчики и девочки, уже обнаруживали зачатки разнообразных талантов: кто писал стихи, кто рисовал, кто делал быстрые успехи в музыке.

Передонов угрюмо говорил:

— Вот вы все на меня нападаете, Николай Власьевич. Вам на меня, может быть, клевещут, а я ничего такого не делаю.

— Извините, — прервал директор, — я не могу понять, о каких клеветах вы изволите упоминать. В деле управления вверенной мне гимназией я руководствуюсь собственными моими наблюдениями и смею надеяться, что моя служебная опытность достаточна для того, чтобы с должною правильностью оценивать то, что я вижу и слышу, тем более при том внимательном отношении к делу, которое я ставлю себе за непременное правило, — говорил Хрипач быстро и отчетливо, и голос его раздавался сухо и ясно, подобно треску, издаваемому цинковыми прутьями, когда их сгибают. — Что же касается моего личного о вас мнения, то я и ныне продолжаю думать, что в вашей служебной деятельности обнаруживаются досадные пробелы.

— Да, — угрюмо сказал Передонов, — вы взяли себе в голову, что я никуда не гожусь, а я постоянно о гимназии забочусь.

Хрипач с удивлением поднял брови и вопросительно поглядел на Передонова.

— Вы не замечаете, — продолжал Передонов, — что у нас в гимназии скандал может выйти, — и никто не замечает, один я уследил.

— Какой скандал? — с сухим смешком спросил Хрипач и проворно заходил по кабинету. — Вы меня интригуете, хотя, скажу откровенно, я мало верю в возможность скандала в нашей гимназии.

— Да, а вот вы не знаете, кого вы нынче приняли, — сказал Передонов с таким злорадством, что Хрипач приостановился и внимательно посмотрел на него.

— Все вновь принятые наперечет, — сухо сказал он. — Притом же принятые в первый класс, очевидно, не были еще исключены из другой гимназии, а единственный поступивший в пятый класс прибыл к нам с такими рекомендациями, которые исключают возможность нелестных предположений.

— Да, только его не к нам надо отдать, а в другое заведение, — угрюмо, словно нехотя, промолвил Передонов

— Объяснитесь, Ардальон Борисыч, прошу вас, — сказал Хрипач. — Надеюсь, вы не хотите сказать, что Пыльникова следует отправить в колонию для малолетних преступников.

— Нет, эту тварь надо отправить в пансион без древних языков, — злобно сказал Передонов, и глаза его сверкнули злостью.

Хрипач, засунув руки в карманы домашнего коротенького пиджака, смотрел на Передонова с необычайным удивлением.

— Какой пансион? — спросил он. — Известно ли вам, какие учреждения именуются таким образом? И если известно, то как решились вы сделать такое непристойное сопоставление?

Хрипач сильно покраснел, и голос его звучал еще суше и отчетливее. В другое время эти признаки директорова гнева приводили Передонова в замешательство. Но теперь он не смущался.

— Вы все думаете, что это мальчик, — сказал он, насмешливо щуря глаза, — а вот и не мальчик, а девчонка, да еще какая!

Хрипач коротко и сухо засмеялся, словно деланным смехом, звонким и отчетливым, — так он и всегда смеялся.

— Ха-ха-ха! — отчетливо делал он, кончая смеяться, сел в кресло и откинул голову, словно падая от смеха. — Удивили же вы меня, почтенный Ардальон Борисыч! ха-ха-ха! Скажите мне, будьте любезны, на чем вы основываете ваше предположение, если посылки, которые вас привели к этому заключению, не составляют вашей тайны! ха-ха-ха!

Передонов рассказал все, что слышал от Варвары, и уже заодно распространился о дурных качествах Коковкиной. Хрипач слушал, по временам разражаясь сухим, отчетливым смехом.

— У вас, любезный Ардальон Борисыч, зашалило воображение, — сказал он, встал и похлопал Передонова по рукаву. — У многих из моих уважаемых товарищей, как и у меня, есть свои дети, мы все не первый год живем, и неужели вы думаете, что могли принять за мальчика переодетую девочку?

— Вот вы так к этому относитесь, а если что-нибудь выйдет, то кто же будет виноват? — спросил Передонов.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Хрипач, — каких же последствий вы опасаетесь?

— В гимназии разврат начнется, — сказал Передонов.

Хрипач нахмурился и сказал:

— Вы слишком далеко заходите. Все, что вы мне до сих пор сказали, не дает мне ни малейшего повода разделять ваши подозрения.

В этот же вечер Передонов поспешно обошел всех сослуживцев, от инспектора до помощников классных наставников, и всем рассказывал, что Пыльников — переодетая барышня. Все смеялись и не верили, но многие, когда он уходил, впадали в сомнение. Учительские жены, так те почти все поверили сразу.

На другое утро уже многие пришли на уроки с мыслью, что Передонов, может быть, и прав. Открыто этого не говорили, но уже и не спорили с Передоновым, и ограничивались нерешительными и двусмысленными ответами: каждый боялся, что его сочтут глупым, если он станет спорить, а вдруг окажется, что это — правда. Многим хотелось бы услышать, что говорит об этом директор, — но директор,

сверх обыкновения, вовсе не выходил сегодня из своей квартиры, только прошел, сильно запоздав, на свой единственный в тот день урок в шестом классе, просидел там лишних пять минут и ушел прямо к себе, никому не показавшись.

Наконец перед четвертым уроком седой законоучитель и еще двое учителей пошли в кабинет к директору под предлогом какого-то дела, и батюшка осторожно завел речь о Пыльникове. Но директор засмеялся так уверенно и простодушно, что все трое разом прониклись уверенностью, что все это вздор. А директор быстро перешел на другие темы, рассказал свежую городскую новость, пожаловался на сильнейшую головную боль и сказал, что, кажется, придется пригласить почтеннейшего Евгения Ивановича — гимназического врача. Затем в очень добродушном тоне он рассказал, что сегодня урок еще усилил его головную боль, так как случилось, что в соседнем классе был Передонов, и гимназисты там почему-то часто и необычайно громко смеялись. Засмеявшись своим сухим смехом, Хрипач сказал:

— В этом году судьба ко мне немилосердна, — три раза в неделю приходится сидеть рядом с классом, где занимается Ардальон Борисыч, и, представьте, постоянно хохот, да еще какой. Казалось бы, Ардальон Борисыч человек не смешливый, а какую постоянно возбуждает веселость!

И, не дав никому сказать что-нибудь на это, Хрипач быстро перешел еще раз к другой теме.

А на уроках у Передонова в последнее время действительно много смеялись, — и не потому, чтобы это ему нравилось. Напротив, детский смех раздражал Передонова. Но он не мог удержаться, чтобы не говорить чего-нибудь лишнего, непристойного: то расскажет глупый анекдот, то примется дразнить кого-нибудь посмирнее. Всегда в классе находилось несколько таких, которые рады были случаю произвести беспорядок, — и при каждой выходке Передонова подымали неистовый хохот.

К концу уроков Хрипач послал за врачом, а сам взял шляпу и отправился в сад, что лежал меж гимназиею и берегом реки. Сад был обширный и тенистый. Маленькие гимназисты любили его. Они в нем

широко разбегались на переменах. Поэтому помощники классных наставников не любили этого сада. Они боялись, что с мальчиками что-нибудь случится. А Хрипач требовал, чтобы мальчики бывали там на переменах. Это было нужно ему для красоты в отчетах.

Проходя по коридору, Хрипач приостановился у открытой двери в гимнастический зал, постоял, опустив голову, и вошел. По его невеселому лицу и медленной походке уже все знали, что у него болит голова.

Собирался на гимнастику пятый класс. Построились в одну шеренгу, и учитель гимнастики, поручик местного резервного батальона, собирался что-то скомандовать, но, увидев директора, пошел к нему навстречу. Директор пожал ему руку, рассеянно поглядел на гимназистов и спросил:

— Довольны вы ими? Как они, стараются? Не утомляются?

Поручик глубоко презирал в душе гимназистов, у которых, по его мнению, не было и не могло быть военной выправки. Если бы это были кадеты, то он прямо сказал бы, что о них думает. Но об этих увальнях не стоило говорить неприятной правды человеку, от которого зависели его уроки.

И он сказал, приятно улыбаясь тонкими губами и глядя на директора ласково и весело:

— О да, славные ребята.

Директор сделал несколько шагов вдоль фронта, повернул к выходу и вдруг остановился, словно вспомнив что-то.

— А нашим новым учеником вы довольны? Как он, старается? Не утомляется? — спросил он лениво и хмуро и взялся рукою за лоб.

Поручик, для разнообразия и думая, что ведь это чужой, со стороны, гимназист, сказал:

— Несколько вял, да, скоро устает.

Но директор уже не слушал его и выходил из зала.

Внешний воздух, по-видимому, мало освежил Хрипача. Через полчаса он вернулся и опять, постояв у двери с полминуты, зашел на урок. Шли упражнения на снарядах. Два-три незанятых пока гимназиста, не замечая директора, стояли прислонясь к стене, пользуясь тем, что поручик не смотрел на них. Хрипач подошел к ним.

— А, Пыльников, — сказал он, — зачем же вы легли на стену?

Саша ярко покраснел, вытянулся и молчал.

— Если вы так утомляетесь, то вам, может быть, вредна гимнастика? — строго спросил Хрипач.

— Виноват, я не устал, — испуганно сказал Саша.

— Одно из двух, — продолжал Хрипач, — или не посещать уроков гимнастики, или... Впрочем, зайдите ко мне после уроков.

Он поспешно ушел, а Саша стоял, смущенный, испуганный.

— Влетел! — говорили ему товарищи, — он тебя до вечера будет отчитывать.

Хрипач любил делать продолжительные выговоры, и гимназисты пуще всего боялись его приглашений.

После уроков Саша робко отправился к директору. Хрипач принял его немедленно. Он быстро подошел, словно подкатился на коротких ногах к Саше, придвинулся к нему близко и, внимательно глядя прямо в глаза, спросил:

— Вас, Пыльников, в самом деле утомляют уроки гимнастики? Вы на вид довольно здоровый мальчик, но «наружность иногда обманчива бывает». У вас нет какой-нибудь болезни? Может быть, вам вредно заниматься гимнастикой?

— Нет, Николай Власьевич, я здоров, — отвечал Саша, весь красный от смущения.

— Однако, — возразил Хрипач, — и Алексей Алексеевич жалуется на вашу вялость и на то, что вы скоро устаете, и я заметил сегодня на уроке, что у вас утомленный вид. Или я ошибся, может быть?

Саша не знал, куда ему скрыть свои глаза от пронизывающего взора Хрипача. Он растерянно бормотал:

— Извините, я не буду, я так, просто поленился стоять. Я, право, здоров. Я буду усердно заниматься гимнастикой.

Вдруг, совсем неожиданно для себя, он заплакал.

— Вот видите, — сказал Хрипач, — вы, очевидно, утомлены: вы плачете, как будто я сделал вам суровый выговор. Успокойтесь.

Он положил руку на Сашино плечо и сказал:

— Я позвал вас не для нотаций, а чтобы разъяснить... Да вы сядьте, Пыльников, я вижу, вы устали.

Саша поспешно вытер платком мокрые глаза и сказал:

— Я совсем не устал.

— Сядьте, сядьте, — повторил Хрипач и подвинул Саше стул.

— Право же, я не устал, Николай Власьевич, — уверял Саша.

Хрипач взял его за плечи, посадил, сам сел против него и сказал:

— Поговоримте спокойно, Пыльников. Вы и сами можете не знать действительного состояния вашего здоровья: вы — мальчик старательный и хороший во всех отношениях, поэтому для меня вполне понятно, что вы не хотели просить увольнения от уроков гимнастики. Кстати, я просил сегодня Евгения Ивановича прийти ко мне, так как и сам чувствую себя дурно. Вот он кстати и вас посмотрит. Надеюсь, вы ничего не имеете против этого?

Хрипач посмотрел на часы и, не дожидаясь ответа, заговорил с Сашей о том, как он провел лето.

Скоро явился Евгений Иванович Суровцев, гимназический врач, человек маленький, черный, юркий, любитель разговоров о политике и о новостях. Знаний больших у него не было, но он внимательно относился к больным, лекарствам предпочитал диету и гигиену и потому лечил успешно.

Саше велели раздеться, Суровцев внимательно рассмотрел его и не нашел никакого порока, а Хрипач убедился, что Саша вовсе не барышня. Хотя он и раньше был в этом уверен, но считал полезным, чтобы впоследствии, если придется отписываться на запросы округа, врач гимназии имел возможность удостоверить это без лишних справок.

Отпуская Сашу, Хрипач сказал ему ласково:

— Теперь, когда мы знаем, что вы здоровы, я скажу Алексею Алексеевичу, чтобы он не давал вам никакой пощады.

Передонов не сомневался, что раскрытие в одном из гимназистов девочки обратит внимание начальства и что кроме повышения ему дадут и орден. Это поощряло его бдительно смотреть за поведением

гимназистов. К тому же погода несколько дней подряд стояла пасмурная и холодная, на бильярд собирались плохо, — оставалось ходить по городу и посещать ученические квартиры, и даже тех гимназистов, которые жили при родителях.

Передонов выбирал родителей, что попроще: придет, нажалуется на мальчика, того высекут, — и Передонов доволен. Так нажаловался он прежде всего на Иосифа Крамаренка его отцу, державшему в городе пивной завод, — сказал, что Иосиф шалит в церкви. Отец поверил и наказал сына. Потом та же участь постигла еще нескольких других. К тем, которые, по мнению Передонова, стали бы заступаться за сыновей, он и не ходил: еще пожалуются в округ.

Каждый день посещал он хоть одну ученическую квартиру. Там он вел себя по-начальнически: распекал, распоряжался, угрожал. Но там гимназисты чувствовали себя самостоятельнее и порою дерзили Передонову. Впрочем, Флавицкая, дама энергичная, высокая и звонкоголосая, по желанию Передонова, высекла больно своего маленького постояльца, Владимира Бультякова.

В классах на следующий день Передонов рассказывал о своих подвигах. Фамилий не называл, но жертвы его сами выдавали себя своим смущением.

XIV

Слухи о том, что Пыльников — переодетая барышня, быстро разнеслись по городу. Из первых узнали Рутиловы. Людмила, любопытная, всегда старалась все новое увидеть своими глазами. Она зажглась жгучим любопытством к Пыльникову. Конечно, ей надо посмотреть на ряженую плутовку. Она же и знакома с Коковкиною. И вот как-то раз к вечеру Людмила сказала сестрам:

— Пойду посмотреть эту барышню.

— Глазопялка! — сердито крикнула Дарья.

— Нарядилась, — отметила Валерия, сдержанно усмехаясь.

Им было досадно, что не они выдумали: втроем неловко идти. Людмила оделась несколько наряднее обычного, — зачем, и сама не

знала. Впрочем, она любила наряжаться и одевалась откровеннее сестер: руки да плеча поголее, юбка покороче, башмаки полегче, чулки потоньше, попрозрачнее, тельного цвета. Дома ей нравилось побыть в одной юбке и босиком и надеть башмаки на босые ноги, — притом рубашка и юбка у нее всегда были слишком нарядны.

Погода стояла холодная, ветреная, облетелые листья плавали по рябым лужам. Людмила шла быстро и под своею тонкою накидкою почти не чувствовала холода.

Коковкина с Сашею пили чай. Зоркими глазами оглядела их Людмила, — ничего, сидят скромненько, чай пьют, булки едят и разговаривают. Людмила поцеловалась с хозяйкою и сказала:

— Я к вам по делу, милая Ольга Васильевна. Но это потом, а пока вы меня чайком согрейте. Ай, какой у вас юноша сидит!

Саша покраснел, неловко поклонился, Коковкина назвала его гостье. Людмила уселась за стол и принялась оживленно рассказывать новости. Горожане любили принимать ее за то, что она все знала и умела рассказывать мило и скромно. Коковкина, домоседка, была ей непритворно рада и радушно угощала. Людмила весело болтала, смеялась, вскакивала с места передразнить кого-нибудь, задевала Сашу. Она сказала:

— Вам скучно, голубушка, — что вы все дома с этим кисленьким гимназистиком сидите, вы бы хоть к нам когда-нибудь заглянули.

— Ну где уж мне, — отвечала Коковкина, — стара я уже стала в гости ходить.

— Какие там гости! — ласково возражала Людмила, — придите и сидите, как у себя дома, вот и все. Этого младенца пеленать не надо.

Саша сделал обиженное лицо и покраснел.

— Углан какой! — задорно сказала Людмила и принялась толкать Сашу. — А вы побеседуйте с гостьей.

— Он еще маленький, — сказала Коковкина, — он у меня скромный.

Людмила с усмешкою глянула на нее и сказала:

— Я тоже скромная.

Саша засмеялся и простодушно возразил:

— Вот еще, вы разве скромная?

Людмила захохотала. Смех ее был, как всегда, словно сплетен со сладостными и страстными веселиями. Смеясь, она сильно краснела, глаза становились у нее шаловливыми, виноватыми, и взор их убегал от собеседников. Саша смутился, спохватился, начал оправдываться:

— Да нет же, я ведь хотел сказать, что вы бойкая, а не скромная, а не то, что вы нескромная.

Но чувствуя, что на словах это не выходит так ясно, как вышло бы на письме, он смешался и покраснел.

— Какие он дерзости говорит! — хохоча и краснея, кричала Людмила, — это просто прелесть что такое!

— Законфузили вы совсем моего Сашеньку, — сказала Коковкина, одинаково ласково посматривая и на Людмилу, и на Сашу.

Людмила, изогнувшись кошачьим движением, погладила Сашу по голове. Он засмеялся застенчиво и звонко, увернулся из-под ее руки и убежал к себе в комнату.

— Голубушка, сосватайте мне жениха, — сразу же, без всякого перехода, заговорила Людмила.

— Ну вот, какая я сваха! — с улыбкою отвечала Коковкина, но по лицу ее было видно, что она с наслаждением взялась бы за сватовство.

— Чем же вы не сваха, право? — возразила Людмила, — да и я чем не невеста? Меня вам не стыдно сватать.

Людмила подперла руками бока и приплясывала перед хозяйкою.

— Да ну вас! — сказала Коковкина, — ветреница вы этакая.

Людмила заговорила, смеясь:

— Хоть от нечего делать займитесь.

— Какого же вам жениха-то надо? — улыбаючись, спросила Коковкина.

— Пусть он будет, — будет брюнет, — голубушка, непременно брюнет, — быстро заговорила Людмила. — Глубокий брюнет. Глубокий, как яма. И вот вам образчик, — как ваш гимназист, — такие же чтобы черные были брови, и очи с поволокой, и волосы черные с си-

ним отливом, и ресницы густые, густые, синевато-черные ресницы. Он у вас красавец, — право, красавец! Вот вы мне такого.

Скоро Людмила собралась уходить. Уже стало темнеть. Саша пошел провожать.

— Только до извозчика! — нежным голосом просила Людмила и смотрела на Сашу, виновато краснея, ласковыми глазами.

На улице Людмила опять стала бойкою и принялась допрашивать Сашу:

— Ну что же, вы все уроки учите? Книжки-то читаете какие-нибудь?

— Читаю и книжки, — отвечал Саша, — я люблю читать.

— Сказки Андерсена?

— Ничего не сказки, а всякие книги. Я историю люблю да стихи.

— То-то, стихи. А какой у вас любимый поэт? — строго спросила Людмила.

— Надсон, конечно, — ответил Саша с глубоким убеждением в невозможности иного ответа.

— То-то, — поощрительно сказала Людмила. — Я тоже Надсона люблю, но только утром, а вечером я, миленький, наряжаться люблю. А вы что любите делать?

Саша глянул на нее ласковыми черными глазами, — и они вдруг стали влажными, — и тихонько сказал:

— Я люблю ласкаться.

— Ишь ты, какой нежный, — сказала Людмила и обняла его за плечи, — ласкаться любишь. А полоскаться любите?

Саша хихикнул. Людмила допрашивала:

— В теплой водице?

— И в теплой, и в холодной, — стыдливо сказал мальчик.

— А мыло вы какое любите?

— Глицериновое.

— А виноград любите?

Саша засмеялся.

— Какая вы! Ведь это — разное, а вы те же слова говорите. Только меня вы не подденете.

— Вот еще, нужно мне вас поддевать! — посмеиваясь, сказала Людмила.

— Да уж я знаю, что вы — пересмешница.

— Откуда это вы взяли?

— Да все говорят, — сказал Саша.

— Скажите, сплетник какой! — притворно строго сказала Людмила.

Саша покраснел.

— Ну вот и извозчик. Извозчик! — крикнула Людмила.

— Извозчик! — крикнул и Саша.

Извозчик, дребезжа неуклюжими дрожками, подкатил.

Людмила сказала ему, куда ехать. Он подумал и потребовал сорок копеек. Людмила сказала:

— Что ты, голубчик, далеко ли? Да ты дороги не знаешь.

— Сколько же дадите? — спросил извозчик.

— Да возьми любую половину.

Саша засмеялся.

— Веселая барышня, — осклабясь, сказал извозчик, — прибавьте хоть пятачок.

— Спасибо, что проводили, миленький, — сказала Людмила, крепко пожала Сашину руку и села на дрожки.

Саша побежал домой, весело думая о веселой девице.

Людмила веселая вернулась домой, улыбаясь и о чем-то забавном мечтая. Сестры ждали ее. Они сидели в столовой за круглым столом, освещенным висячею лампою. На белой скатерти веселою казалась коричневая бутылка с копенгагенскою шери-бренди, и светло поблескивали облипшие сладким края у ее горлышка. Ее окружали тарелки с яблоками, орехами и халвою.

Дарья была под хмельком; красная, растрепанная, полуодетая, она громко пела. Людмила услышала уже предпоследний куплет знакомой песенки:

Где делось платье, где свирель?
Нагой нагу влечет на мель
Страх гонит стыд, стыд гонит страх,
Пастушка вопиет в слезах
«Забудь, что видел ты!»

Была и Лариса тут, — нарядная, спокойно-веселая, она ела яблоко, отрезая ножичком по ломтику, и посмеивалась.

— Ну что, — спросила она, — видела?

Дарья примолкла и смотрела на Людмилу. Валерия оперлась на локоток, отставила мизинчик и наклонила голову, подражая улыбкою Ларисе. Но она тоненькая, хрупкая, и улыбка у нее беспокойная. Людмила налила в рюмку вишнево-красный ликер и сказала:

— Глупости! Мальчишка самый настоящий, — и пресимпатичный. Глубокий брюнет, глаза блестят, а сам маленький и невинный.

И вдруг она звонко захохотала. На нее глядючи, и сестры засмеялись.

— А, да что говорить, все это ерунда передоновская, — сказала Дарья, махнула рукою и призадумалась минутку, опершись локтями на стол и склонив голову. — Спеть лучше, — сказала она и запела пронзительно-громко.

В ее визгах звучало напряженно-угрюмое одушевление. Если бы мертвеца выпустили из могилы с тем, чтобы он все время пел, так запело бы то навьё. А уж сестры давно привыкли к хмельному Дарьиному горланенью и порою подпевали ей нарочито визгливыми голосами.

— Вот-то развылась, — сказала Людмила, усмехаючись.

Не то чтобы ей не нравилось, а лучше бы хотелось рассказывать, а чтобы сестры слушали. Дарья сердито крикнула, прервав песню на полуслове:

— Тебе-то что, я ведь тебе не мешаю!

И немедленно снова запела с того же самого места. Лариса ласково сказала:

— Пусть поет.

Мне мокротно, молоденьке,
Нигде места не найду, —

визгливо пела Дарья, искажая звуки и вставляя слоги, как делают простонародные певцы для пущей трогательности. Выходило примерно этак:

— А-е-ех мне-э ды ма-а-екро-о-ты-на-а ма-а-ла-а-е-де-е-ни-ке-е-а-е-эх.

При этом растягивались особенно неприятно те звуки, на которые ударение не падает. Впечатление достигалось в превосходной степени: тоску смертную нагнало бы это пение на свежего слушателя...

О смертная тоска, оглашающая поля и веси, широкие родные просторы! Тоска, воплощенная в диком галдении, тоска, гнусным пламенем пожирающая живое слово, низводящая когда-то живую песню к безумному вою! О смертная тоска! О милая, старая русская песня, или и подлинно ты умираешь?..

Вдруг Дарья вскочила, подбоченилась и принялась выкрикивать веселую частушку, с плясом и прищелкиванием пальцами:

Уходи-тка, парень, прочь, —
Я разбойницкая дочь
Наплевать, что ты пригож, —
Я всажу те в брюхо нож
Мне не надо мужика, —
Полюблю я босяка

Дарья пела и плясала, и глаза ее, неподвижные на лице, вращались за ее кружением, подобно кругам мертвой луны. Людмила громко хохотала, — и сердце у нее легонько замирало и теснилось, не то от веселой радости, не то от вишнево-сладкой, страшной шери-бренди. Валерия смеялась тихо, стеклянно-звенящим смехом, и завистливо смотрела на сестер: ей бы хотелось такого же веселия, но было почему-то невесело, — она думала, что она последняя, «поскребыш», а потому слабая и несчастливая. И она смеялась, точно сейчас заплачет.

Лариса глянула на нее, подмигнула ей, — и Валерии вдруг стало весело и забавно. Лариса поднялась, пошевелила плечьми, — и вмиг все четыре сестры закружились в неистовом радении, внезапно объятые шальною пошавою, горланя за Дарьею глупые слова новых да новых частушек, одна другой нелепее и бойчее. Сестры были молоды, красивы, голоса их звучали звонко и дико, — ведьмы на Лысой горе позавидовали бы этому хороводу.

Всю ночь Людмиле снились такие знойные, африканские сны!

То грезилось ей, что лежит она в душно натопленной горнице, и одеяло сползает с нее и обнажает ее горячее тело, — и вот чешуйчатый, кольчатый змей вполз в ее опочивальню и поднимается, ползет по дереву, по ветвям ее нагих, прекрасных ног...

Потом приснилось ей озеро в жаркий летний вечер, под тяжко надвигающимися грозовыми тучами, — и она лежит на берегу, нагая, с золотым гладким венцом на лбу. Пахло теплою застоявшеюся водою, и тиною, и изнывающею от зноя травою, — а по воде, темной и зловеще спокойной, плыл белый лебедь, сильный, царственно величавый. Он шумно бил по воде крыльями, и, громко шипя, приблизился, обнял ее, — стало сладко, томно и жутко...

И у змея, и у лебедя наклонялось над Людмилою Сашино лицо, до синевы бледное, с темными загадочно-печальными глазами, — и синевато-черные ресницы, ревниво закрывая их чарующий взор, опускались тяжело, страшно.

Потом приснилась Людмиле великолепная палата с низкими, грузными сводами, — и толпились в ней нагие, сильные, прекрасные отроки, — а краше всех был Саша.

Она сидела высоко, и нагие отроки перед нею поочередно бичевали друг друга. И когда положили на пол Сашу, головою к Людмиле, и бичевали его, а он звонко смеялся и плакал, — она хохотала, как иногда хохочут во сне, когда вдруг усиленно забьется сердце, — смеются долго, неудержимо, смехом самозабвения и смерти.

Утром после всех этих снов Людмила почувствовала, что страстно влюблена в Сашу. Нетерпеливое желание увидеть его охватило Людмилу, — но ей досадно было думать, что она увидит его одетого. Как глупо, что мальчишки не ходят обнаженные! Или хоть босые, как летние уличные мальчишки, на которых Людмила любила смотреть за то, что они ходят босиком, иной раз высоко обнажая ноги.

«Точно стыдно иметь тело, — думала Людмила, — что даже мальчишки прячут его».

XV

Володин исправно ходил к Адаменкам на уроки. Мечты его о том, что барышня станет его угощать кофейком, не осуществились. Его каждый раз провожали прямо в покойчик, назначенный для ручного труда. Миша обыкновенно уже стоял в сером холщовом переднике у верстака, приготовив потребное для урока. Все, что Володин приказывал, он исполнял послушно, но без охоты. Чтобы поменьше работать, Миша старался втянуть Володина в разговор. Володин хотел быть добросовестным и не поддавался. Он говорил:

— Вы, Мишенька, извольте сначала делом заняться два часика, а уж потом, если угодно, потолкуем. Тогда сколько угодно, а теперь ни-ни, потому что прежде всего дело.

Миша легонько вздыхал и принимался за дело, но по окончании урока у него уже не являлось желания потолковать: он говорил, что некогда, что много задано. Иногда на урок приходила и Надежда Васильевна посмотреть, как Миша занимается. Миша заметил, — и пользовался этим, — что при ней Володин легче поддается на разговоры. Однако Надежда Васильевна, как только увидит, что Миша не работает, немедленно замечает ему:

— Миша, не изображай лентяя!

А сама уходит, сказавши Володину:

— Извините, я вам помешала. Он у меня такой, что не прочь и полениться, если ему дать волю.

Володин сначала был смущен таким поведением Надежды Васильевны. Потом подумал, что она стесняется угощать его кофейком, — боится, как бы сплетен не вышло. Потом сообразил, что она могла бы вовсе не приходить к нему на уроки, однако приходит, — не оттого ли, что ей приятно видеть Володина? И то истолковывал Володин в свою пользу, что Надежда Васильевна так с первого слова охотно согласилась, чтобы Володин давал уроки, и не торговалась.

В таких мыслях утверждали его и Передонов с Варварою.

— Ясно, что она в тебя влюблена, — говорил Передонов.

— И какого еще ей жениха надо! — прибавляла Варвара.

Володин делал скромное лицо и радовался своим успехам.

Однажды Передонов сказал ему:

— Жених, а трепаный галстук носишь.

— Я еще не жених, Ардаша, — рассудительно отвечал Володин, весь, однако, трепеща от радости, — а галстук я могу купить новый.

— Ты себе фигурный купи, — советовал Передонов, — чтоб видели, что в тебе любовь играет.

— Красный галстук, — сказала Варвара, — да попышнее, и булавку. Можно дешево булавку купить, и с камнем, — шик будет.

Передонов подумал, что у Володина, пожалуй, и денег столько нет. Или поскупится, купит простенький, черный. И это будет скверно, думал Передонов: Адаменко — барышня светская, если идти к ней свататься в кой-каком галстуке, то она может обидеться и откажет. Передонов сказал:

— Зачем дешево покупать? Ты, Павлуша, на галстук выиграл у меня. Сколько я тебе должен, рубль сорок?

— Сорок копеечек — это верно, — сказал Володин, осклабясь и кривляясь, — только не рублик, а два рублика.

Передонов и сам знал, что два рубля, но ему приятнее было бы заплатить только рубль. Он сказал:

— Врешь, какие два рубля!

— Вот Варвара Дмитриевна свидетельница, — уверял Володин.

Варвара сказала, ухмыляясь:

— Уж плати, Ардальон Борисыч, коли проиграл, — и я помню, что два сорок.

Передонов подумал, что Варвара заступается за Володина, значит, передается на его сторону. Он насупился, достал из кошелька деньги и сказал:

— Ну ладно, пусть два сорок, я не разорюсь. Ты бедный человек, Павлушка, ну вот тебе, возьми.

Володин взял деньги, сосчитал, потом сделал обиженное лицо, наклонил крутой лоб, выпятил нижнюю губу и промолвил блеющим и дребезжащим голосом:

— Вы, Ардальон Борисыч, изволите быть мне должны, так и надо платить, а что я изволю быть бедным, так уж это сюда совсем не идет. И я еще ни у кого на хлеб не прошу, а вы знаете, что беден только бес, который хлебца не ест, а как я еще хлебец кушаю, и даже с маслицем, значит, я не беден.

И совсем утешился, закраснел от радости, что так удачно ответил, и принялся смеяться, выкручивая губы.

Наконец Передонов и Володин решили идти свататься. Оба облеклись в большой наряд и имели торжественный и более обыкновенного глупый вид. Передонов надел белый шейный платок, Володин — пестрый, красный с зелеными полосками. Передонов рассуждал так:

— Я сватать иду, моя роль солидная, и случай выдающийся, мне надо в белом галстуке быть, а ты жених, тебе надо пламенные чувства показать.

Напряженно-торжественные, поместились Передонов и Володин в гостиной у Адаменко: Передонов на диване, Володин в кресле. Надежда Васильевна с удивлением смотрела на гостей. Гости беседовали о погоде и о новостях с видом людей, пришедших по щекотливому делу и не знающих, как приступить к нему. Наконец Передонов откашлялся, нахмурился и сказал:

— Надежда Васильевна, мы по делу.

— По делу, — сказал и Володин, сделал значительное лицо и выпятил губы.

— Вот об нем, — сказал Передонов и показал на Володина большим пальцем.

— Вот обо мне, — подтвердил и Володин и тоже показал большим пальцем на себя, на грудь.

Надежда Васильевна улыбнулась

— Прошу вас, — сказала она.

— Я за него буду говорить, — сказал Передонов, — он скромный, не решается сам. А он человек достойный, непьющий, добрый. Он мало получает, но это наплевать. Ведь кому что надо, кому деньги, а кому человек. Ну что ж ты молчишь, — обратился он к Володину, — скажи что-нибудь.

Володин склонил голову и произнес дрожащим голосом, как баран проблеял:

— Конечно, я небольшое жалованье получаю, но у меня всегда будет кусок хлебца. Конечно, я в университете не был, но живу, как дай Бог всякому, и ничего худого за собой не знаю, — а впрочем, кому как угодно судить. А я, что ж, собою доволен.

Он развел руками, наклонил лоб, словно собрался бодаться, и умолк.

— Так вот, — сказал Передонов, — он человек молодой, ему так жить не следует. Ему надо жениться. Все ж таки женатому лучше.

— Если жена соответствует, то чего лучше, — подтвердил Володин.

— А вы, — продолжал Передонов, — девица. Вам тоже надо замуж.

За дверью послышался легкий шорох, заглушенные, короткие звуки, как будто кто-то вздыхал или смеялся, закрывая рот. Надежда Васильевна строго посмотрела на дверь и сказала холодно:

— Вы слишком ко мне заботливы, — с досадливым ударением на слове «слишком».

— Вам не надо богатого мужа, — говорил Передонов, — вы сама богатая. Вам надо такого, чтобы вас любил и угождал во всем. И вы его знаете, могли понять. Он к вам неравнодушен, вы к нему, может быть, тоже. Так вот, у меня купец, а у вас товар. То есть вы сами товар.

Надежда Васильевна краснела и кусала губы, чтоб удержаться от смеха. За дверью продолжали раздаваться те же звуки. Володин скромно потупил глаза. Ему казалось, что дело идет на лад.

— Какой говар? — осторожно спросила Надежда Васильевна. — Извините, я не понимаю.

— Ну как не понимаете! — недоверчиво сказал Передонов. — Ну я прямо скажу: Павел Васильевич просит у вас руки и сердца. И я за него прошу.

За дверью что-то упало на пол и каталось, фыркая и вздыхая. Надежда Васильевна, краснея от сдержанного смеха, смотрела на гостей. Предложение Володина казалось ей смешною дерзостью.

— Да, — сказал Володин, — Надежда Васильевна, я прошу у вас руки и сердца.

Он покраснел, встал, сильно шаркнул ногою по ковру, поклонился и быстро сел. Потом опять встал, приложил руку к сердцу и сказал, умильно глядя на барышню:

— Надежда Васильевна, позвольте объясниться! Так как я вас даже очень люблю, то неужели же вы не захотите соответствовать?

Он ринулся вперед, опустился перед Надеждою Васильевною на колено и поцеловал ее руку.

— Надежда Васильевна, поверьте! Клянусь! — воскликнул он, поднял руку вверх и со всего размаху ударил ею себя в грудь, так что гулкий звук отдался далече.

— Что вы, пожалуйста, встаньте! — смущенно сказала Надежда Васильевна, — к чему это?

Володин встал и с обиженным лицом вернулся к своему месту. Там он прижал обе руки к груди и опять воскликнул:

— Надежда Васильевна, вы мне поверьте! По гроб, от всей души.

— Извините, — сказала Надежда Васильевна, — я, право, не могу. Я должна воспитывать брата, — вот и он плачет там за дверью.

— Что ж воспитывать брата! — обиженно выпячивая губы, сказал Володин, — это не мешает, кажется.

— Нет, во всяком случае, это его касается, — сказала Надежда Васильевна, поспешно подымаясь, — надо его спросить. Подождите.

Она проворно выбежала из гостиной, шелестя светло-желтым платьем, за дверью схватила Мишу за плечо, добежала с ним до его горницы, и там, стоя у двери, запыхавшись от бега и от подавленного смеха, сказала срывающимся голосом:

— Совсем, совсем бесполезно просить, чтобы не подслушивал. Неужели необходимо прибегнуть к самым строгим мерам?

Миша, обняв ее у пояса и прижимаясь к ней головою, хохотал, сотрясаясь от хохота и от старания заглушить его. Сестра втолкнула Мишу в его горницу, села на стул у двери и засмеялась.

— Слышал, что он выдумал, твой Павел Васильевич? — спросила она. — Иди со мною в гостиную, да смеяться не смей. Я у тебя спрошу при них, а ты не смей соглашаться. Понял?

— Угу! — промычал Миша и засунул в рот конец платка, чтобы не смеяться, что, однако, мало помогало.

— Закрой глаза платком, когда смеяться захочется, — посоветовала сестра и опять повела его за плечо в гостиную.

Там она посадила его на кресло, а сама поместилась на стуле рядом. Володин смотрел обиженно, склонив голову, как барашек.

— Вот, — сказала Надежда Васильевна, показывая на брата, — едва слезы уняла, бедный мальчик! Я ему вместо матери, и вдруг он думает, что я его оставлю.

Миша закрыл лицо платком. Все тело его тряслось. Чтобы скрыть смех, он протяжно заныл:

— У-у-у.

Надежда Васильевна обняла его, незаметно ущипнула за руку и сказала:

— Ну не плачь, миленький, не плачь.

Мише стало так неожиданно больно, что на глазах показались слезы. Он опустил платок и сердито посмотрел на сестру.

«А вдруг, — подумал Передонов, — мальчишка разозлится и начнет кусаться; людская слюна, говорят, ядовита».

Он подвинулся к Володину, чтобы в случае опасности спрятаться за него. Надежда Васильевна сказала брату:

— Павел Васильевич просит моей руки.

— Руки и сердца, — поправил Передонов.

— И сердца, — скромно, но с достоинством сказал Володин.

Миша закрылся платком и, всхлипывая от сдержанного смеха, сказал:

— Нет, ты за него не выходи, а то как же я буду?

Володин заговорил дребезжащим от обиды и волнения голосом:

— Меня удивляет, Надежда Васильевна, что вы спрашиваетесь у вашего братца, который к тому же изволит быть еще мальчиком. Если бы он даже изволил быть взрослым юношей, то и в таком слу-

чае вы могли бы сами. А теперь как вы у него спрашиваетесь, Надежда Васильевна, это меня очень удивляет и даже поражает.

— У мальчишек спрашиваться, мне это даже смешно, — угрюмо сказал Передонов.

— У кого же мне спрашиваться? Тете все равно, а ведь его я должна воспитывать, так как же я выйду за вас замуж? Вы, может быть, станете с ним жестоко обращаться. Не правда ли, Мишка, ведь ты боишься его жестокостей?

— Нет, Надя, — сказал Миша, выглядывая одним глазом из-за своего платка, — я не боюсь его жестокостей, где ж ему! а я боюсь, что Павел Васильевич меня избалует и не даст тебе ставить меня в угол.

— Поверьте, Надежда Васильевна, — сказал Володин, прижимая руки к сердцу, — я не избалую Мишеньку. Я так думаю, что зачем мальчика баловать! Сыт, одет, обут, а баловать ни-ни. Я его тоже могу в угол ставить, а совсем не то, чтоб баловать. Я даже больше могу. Так как вы девица, то есть барышня, то вам, конечно, неудобно, а я и прутиком могу.

— Оба в угол будете ставить, — плаксиво сказал Миша, закрывшись опять платком, — вот вы какие, да еще прутиком, нет, это мне невыгодно. Нет, ты, Надя, не смей выходить за него.

— Ну вот, вы слышите, я решительно не могу, — сказала Надежда Васильевна.

— Мне очень странно, Надежда Васильевна, что вы так поступаете, — сказал Володин. — Я к вам со всем расположением и, можно сказать, пламенно, а вы, между прочим, из-за братца. Если вы теперь из-за братца, другая изволит из-за сестрицы, третья из-за племянника, а там и еще из-за кого-нибудь из родственников, и все так не будут выходить замуж, — этак и род людской совсем прекратится.

— Об этом не беспокойтесь, Павел Васильевич, — сказала Надежда Васильевна, — пока еще такой опасности свету не грозит. Я не хочу выйти замуж без Мишина согласия, а он, вы слышали, не согласен. Да и понятно, вы его с первого слова сечь обещаетесь. Этак вы и меня поколотите.

— Помилуйте, Надежда Васильевна, да неужели же вы думаете, что я себе позволю такое невежество! — отчаянно воскликнул Володин.

Надежда Васильевна улыбнулась.

— Я и сама не чувствую желания выходить замуж, — сказала она.

— Вы, может быть, хотите в монашки идти? — обиженным голосом спросил Володин.

— К толстовцам в их секту, — поправил Передонов, — землю навозить.

— Зачем же мне идти куда-нибудь? — строго спросила Надежда Васильевна, вставая со своего места, — мне и здесь хорошо.

Володин тоже встал, обиженно выпятил губы и сказал:

— После этого, если Мишенька показывает ко мне такие чувства, а вы его, оказывается, что спрашиваете, то это выходит, что я должен и от уроков отказаться, потому что как же я теперь стану ходить, если Мишенька ко мне этак?

— Нет, зачем же? — возразила Надежда Васильевна, — это совсем особое дело.

Передонов подумал, что следует еще попытаться уговаривать барышню: может быть, и согласится. Он сказал ей сумрачно:

— Вы, Надежда Васильевна, подумайте хорошенько. Что ж так-то, с бухты-барахты? Он хороший человек. Он — мой друг.

— Нет, — сказала Надежда Васильевна, — что ж тут думать! Благодарю очень Павла Васильевича за честь, но не могу.

Передонов сердито посмотрел на Володина и встал. Он подумал, что Володин — дурак: не сумел влюбить в себя барышню.

Володин стоял у своего кресла, склонив голову. Он спросил укоризненно:

— Так значит, окончательно, Надежда Васильевна? Эх! Коли так, — сказал он, махнув рукою, — ну так давай вам Бог всего хорошего, Надежда Васильевна. Значит, уж такая моя горемычная судьба. Эх! Любил парень девицу, а она не любила. Видит Бог! Ну что ж, поплачу, да и все.

— Хорошим человеком пренебрегаете, а тоже еще какой попадется, — наставительно сказал Передонов.

— Эх! — еще раз воскликнул Володин и пошел было к дверям.

Но вдруг решил быть великодушным и вернулся, — проститься за руку с барышнею и даже с обидчиком Мишею.

На улице Передонов сердито ворчал. Володин всю дорогу обиженным скрипучим голосом рассуждал, словно блеял.

— Зачем от уроков отказывался? — ворчал Передонов. — Богач какой!

— Я, Ардальон Борисыч, только сказал, что если так, то я должен отказаться, а она мне изволила сказать, что не надо отказываться, а как я ничего не изволил ответить, то вышло, что она меня упросила. А уж теперь это от меня зависит, — хочу — откажусь, хочу — буду ходить.

— Чего отказываться? — сказал Передонов. — Ходи, как ни в чем не бывало.

«Пусть хоть здесь попользуется, — думал Передонов, — все меньше завидовать будет».

Тоскливо было на душе у Передонова. Володин все не пристроен, — смотри за ним в оба, не снюхался бы с Варварою. Еще, может быть, и Адаменко станет на него злиться, зачем сватал Володина. У нее есть родня в Петербурге: напишет и, пожалуй, навредит.

И погода была неприятная. Небо хмурилось, носились вороны и каркали. Над самою головою Передонова каркали они, точно дразнили и пророчили еще новые, еще худшие неприятности. Передонов окутал шею шарфом и думал, что в такую погоду и простудиться нетрудно.

— Какие это цветы, Павлуша? — спросил он, показывая Володину на желтые цветочки у забора в чьем-то саду.

— Это лютики, Ардаша, — печально отвечал Володин.

Таких цветов, вспомнил Передонов, много в их саду. И какое у них страшное название! Может быть, они ядовиты. Вот возьмет их Варвара, нарвет целый пук, заварит вместо чаю, да и отравит его, — потом, уж когда бумага придет, — отравит, чтоб подменить его Володиным. Может быть, уж они условились. Недаром же он знает, как называется этот цветок.

А Володин говорил:

— Бог ей судья! За что она меня обидела? Она ждет аристократа, а она не думает, что аристократы тоже всякие бывают, — с иным наплачется; а простой хороший человек ее бы мог сделать счастливою. А я вот схожу в церковь, поставлю свечку за ее здоровье, помолюсь: дай Бог, чтоб ей муж достался пьяница, чтоб он ее колотил, чтоб он промотался и ее по миру пустил. Вот тогда она обо мне воспомянет, да уж поздно будет. Станет кулаком слезы утирать, скажет: дура я была, что Павлу Васильевичу отказала, бить меня было некому, хороший был человек.

Растроганный своими словами, Володин прослезился и вытирал руками слезы на своих бараньих, выпуклых глазах.

— А ты ей ночью стекла побей, — посоветовал Передонов.

— Ну Бог с нею, — печально сказал Володин, — еще поймают. Нет, а мальчишка-то каков! Господи Боже мой, что я ему сделал, что он вздумал мне вредить? Уж я ли не старался для него, а он, изволите видеть, какую мне подпустил интригу. Что это за ребенок такой, что из него выйдет, помилуйте скажите?

— Да, — сердито сказал Передонов, — с мальчишкой не мог потягаться. Эх ты, жених!

— Что ж такое, — возразил Володин, — конечно, жених. Я и другую найду. Пусть она не думает, что об ней плакать будут.

— Эх ты, жених! — дразнил его Передонов. — Еще галстук надел. Где уж тебе с суконным рылом в калашный ряд. Жених!

— Ну я жених, а ты, Ардаша, сват, — рассудительно сказал Володин. — Ты сам обнадежил меня, а и не сумел высватать. Эх ты, сват!

И они усердно принялись дразнить один другого, длинно перекоряясь с таким видом, словно совещались о деле.

Проводив гостей, Надежда Васильевна вернулась в гостиную. Миша лежал на диване и хохотал. Сестра за плечо стащила его с дивана и сказала:

— А ты забыл, что подслушивать не следует.

Она подняла руки и хотела сложить мизинчики, но вдруг засмеялась, и мизинчики не сходились. Миша бросился к ней, — они обнялись и долго смеялись.

— А все-таки, — сказала она, — за подслушивание в угол.

— Ну не надо, — сказал Миша, — я тебя от жениха избавил, ты мне еще должна быть благодарна.

— Кто кого еще избавил! Слышал, как тебя собирались прутиком постегивать? Отправляйся в угол.

— Ну так я лучше здесь постою, — сказал Миша.

Он опустился на колени у сестриных ног и положил голову на ее колени. Она ласкала и щекотала его. Миша смеялся, ползая коленями по полу. Вдруг сестра отстранила его и пересела на диван. Миша остался один. Он постоял немного на коленях, вопросительно глядя на сестру. Она уселась поудобнее, взяла книгу, — словно читать, — а сама посматривала на брата.

— Ну я уж и устал, — жалобно сказал он.

— Я не держу, ты сам стал, — улыбаясь из-за книги, ответила сестра.

— Ну ведь я наказан, отпусти, — просил Миша.

— Разве я тебя ставила на колени? — притворно-равнодушным голосом спросила Надежда Васильевна, — что ж ты ко мне пристаешь!

— Я не встану, пока не простишь.

Надежда Васильевна засмеялась, отложила книгу и потянула к себе Мишу за плечо. Он взвизгнул и бросился ее обнимать, восклицая:

— Павлушина невеста!

XVI

Черноглазый мальчишка заполнил все Людмилины помыслы. Она часто заговаривала о нем со своими и со знакомыми, иногда совсем некстати. Почти каждую ночь видела она его во сне, иногда скромного и обыкновенного, но чаще в дикой или волшебной обстановке. Рассказы об этих снах стали у нее столь обычными, что уже сестры

скоро начали сами спрашивать ее, что ни утро, как ей Саша приснился нынче. Мечты о нем занимали все ее досуги.

В воскресенье Людмила уговорила сестер зазвать Коковкину от обедни и задержать подольше. Ей хотелось застать Сашу одного. Сама же она в церковь не пошла. Учила сестер:

— Скажите ей про меня: проспала.

Сестры смеялись над ее затеею, но, конечно, согласились. Они очень дружно жили. Да им же и на руку, — займется Людмила мальчишкою, им оставит настоящих женихов. И они сделали, как обещали, — зазвали Коковкину от обедни.

Тем временем Людмила совсем собралась идти, принарядилась весело, красиво, надушилась мягкою, тихою Аткинсоновою серингою, положила в белую, бисером шитую сумочку неначатый флакон с духами и маленький распылитель и притаилась у окна, за занавескою, в гостиной, чтобы из этой засады увидеть вовремя, идет ли Коковкина. Духи взять с собою она придумала еще раньше, — надушить гимназиста, чтобы он не пахнул своею противною латынью, чернилами да мальчишеством. Людмила любила духи, выписывала их из Петербурга и много изводила их. Любила ароматные цветы. Ее горница всегда благоухала чем-нибудь, — цветами, духами, сосною, свежими по весне ветвями березы.

Вот и сестры, и Коковкина с ними. Людмила радостно побежала через кухню, через огород в калитку, переулочком, чтобы не попасться Коковкиной на глаза. Она весело улыбалась, быстро шла к дому Коковкиной и шаловливо помахивала белою сумочкою и белым зонтиком. Теплый осенний день радовал ее, и казалось, что она несет с собою и распространяет вокруг себя свойственный ей дух веселости.

У Коковкиной служанка сказала ей, что барыни дома нет. Людмила шумливо смеялась и шутила с краснощекою девицею, отворившею ей дверь.

— А ты, может быть, обманываешь меня, — говорила она, — может быть, твоя барыня от меня прячется.

— Гы-гы, что ей прятаться! — со смехом отвечала служанка, — идите сами в горницы, поглядите, коли не верите.

Людмила заглянула в гостиную и шаловливо крикнула:

— А кто тут есть жив человек? А, гимназист!

Саша выглянул из своей горницы, увидел Людмилу, обрадовался, и от его радостных глаз Людмиле стало еще веселее. Она спросила:

— А где же Ольга Васильевна?

— Дома нет, — ответил Саша. — Еще не приходила. Из церкви куда-нибудь пошла. Вот я вернулся, а ее нет еще.

Людмила притворилась, что удивлена. Она помахивала зонтиком и досадливо говорила:

— Как же так, уж все из церкви пришли. Все дома сидит, а тут наткася, и нету. Это вы, юный классик, так буяните, что старушке дома не усидеть?

Саша молча улыбался. Его радовал Людмилин голос, Людмилин звонкий смех. Он придумывал, как бы половче вызваться проводить ее, — еще побыть с нею хоть несколько минут, посмотреть да послушать.

Но Людмила не думала уходить. Она посмотрела на Сашу с лукавою усмешкою и сказала:

— Что же вы не просите меня посидеть, любезный молодой человек? Поди-ка, я устала! Дайте отдохнуть хоть чуть.

И она вошла в гостиную, смеючись, ласкаючи Сашу быстрыми, нежными глазами. Саша смутился, покраснел, обрадовался, — побудет с ним!

— Хотите, я вас душить буду? — живо спросила Людмила, — хотите?

— Вот вы какая! — сказал Саша, — уж сразу и задушить! за что такая жестокость?

Людмила звонко захохотала и откинулась на спинку кресла.

— Задушить! — восклицала она, — глупый! совсем не так понял. Я не руками вас душить хочу, а духами.

Саша сказал смешливо:

— А, духами! ну это еще куда ни шло.

Людмила вынула из сумочки распылитель, повертела перед Сашиными глазами красивый сосудик темно-красного с золотыми

узорами стекла, с гуттаперчевым шариком и с бронзовым набором и сказала:

— Видите, купила вчера новый пульверизатор, да так и забыла его в сумочке.

Потом вынула большой флакон с духами, с темным и пестрым ярлыком, — парижская Герленова Рао-Rosa. Саша сказал:

— Сумочка-то у вас глубокая какая!

Людмила весело ответила:

— Ну не ждите больше ничего, пряничков вам не принесла.

— Пряничков, — смешливо повторил Саша.

Он с любопытством смотрел, как Людмила откупоривала духи, и спросил:

— А как же вы их туда нальете без воронки?

Людмила весело сказала:

— А воронку-то уж вы мне дадите.

— Да у меня нет, — смущенно сказал Саша.

— Да уж как хотите, а воронку мне подайте, — смеючись, настаивала Людмила.

— Я бы у Маланьи взял, да у нее в керосине, — сказал Саша.

Людмила весело расхохоталась.

— Ах вы, недогадливый молодой человек! Дайте бумажки клочок, коли не жалко, — вот и воронка.

— Ах, в самом деле! — радостно воскликнул Саша, — ведь можно из бумаги свернуть. Сейчас принесу.

Саша побежал в свою горницу.

— Из тетрадки можно? — крикнул он оттуда.

— Да все равно, — весело откликнулась Людмила, — хоть из книжки рвите, из латинской грамматики, — мне не жалко.

Саша засмеялся и крикнул:

— Нет, уж я лучше из тетрадки.

Он отыскал чистую тетрадь, вырвал средний лист и хотел бежать в гостиную, — но уже Людмила стояла на пороге.

— К тебе, хозяин, можно? — спросила она шаловливо.

— Пожалуйста, очень рад! — весело крикнул Саша.

Людмила села к его столу, свернула из бумаги воронку и с деловито-озабоченным лицом принялась переливать духи из флакона в распылитель. Бумажная воронка внизу и сбоку, где текла струя, промокла и потемнела. Благовонная жидкость застаивалась в воронке и стекала вниз медленно. Повеяло теплое, сладкое благоухание от розы, смешанной с резким спиртным запахом. Людмила вылила в распылитель половину духов из флакона и сказала:

— Ну вот и довольно.

И принялась завинчивать распылитель. Потом скомкала влажную бумажку и потерла ее между ладонями.

— Понюхай, — сказала она Саше и поднесла к его лицу ладонь.

Саша нагнулся, призакрыл глаза и понюхал. Людмила засмеялась, легонько хлопнула его ладонью по губам и удержала руку на его рте. Саша зарделся и поцеловал ее теплую, благоухающую ладонь нежным прикосновением дрогнувших губ. Людмила вздохнула, разнеженное выражение пробежало по ее миловидному лицу и опять заменилось привычным выражением счастливой веселости. Она сказала:

— Ну теперь только держись, как я тебя опрыскаю!

И сжала гуттаперчевый шарик. Благовонная пыль брызнула, дробясь и расширяясь в воздухе, на Сашину блузу. Саша смеялся и повертывался послушно, когда Людмила его поталкивала.

— Хорошо пахнет, а? — спросила она.

— Очень мило, — весело ответил Саша. — А как они называются?

— Вот еще, младенец! Прочти на флаконе и узнаешь, — поддразнивающим голосом сказала она.

Саша прочел и сказал:

— То-то розовым маслицем попахивает.

— Маслицем! — укоризненно сказала Людмила и легонько хлопнула Сашу по спине.

Саша засмеялся, взвизгивая и высовывая свернутый трубочкою кончик языка. Людмила встала и перебирала Сашины учебники да тетрадки.

— Можно посмотреть? — спросила она.

— Сделайте одолжение, — сказал Саша.

— Где же тут твои единицы да нули, показывай.

— У меня таких прелестей не бывало пока, — возразил Саша обидчиво.

— Ну это ты врешь, — решительно сказала Людмила, — уж у вас положение такое — колы получать. Припрятал, поди.

Саша молча улыбался.

— Латынь да греки, — сказала Людмила, — то-то они вам надоели.

— Нет, что ж, — отвечал Саша, но видно было, что уже один разговор об учебниках наводит на него привычную скуку. — Скучновато зубрить, — признался он, — да ничего, у меня память хорошая. Вот только задачи решать — это я люблю.

— Приходи ко мне завтра после обеда, — сказала Людмила.

— Благодарю вас, приду, — краснея, сказал Саша.

Ему стало приятно, что Людмила пригласила его. Людмила спрашивала:

— Знаешь, где я живу? Придешь?

— Знаю. Ладно, приду, — радостно говорил Саша.

— Да непременно приходи, — повторила Людмила строго, — ждать буду, слышишь!

— А коли уроков много будет? — сказал Саша, больше из добросовестности, чем на самом деле думая из-за уроков не прийти.

— Ну вот, пустяки, все же приходи, — настаивала Людмила, — авось на кол не посадят.

— А зачем? — посмеиваясь, спросил Саша.

— Да уж так надо. Приходи, кое-что тебе скажу, кое-что покажу, — говорила Людмила, подпрыгивая и напевая, подергивая юбочку, отставляя розовые пальчики, — приходи, миленький, серебряный, позолоченный.

Саша засмеялся.

— А вы сегодня скажите, — попросил он.

— Сегодня нельзя. Да и как сказать тебе сегодня? Ты завтра тогда и не придешь, скажешь, незачем.

— Ну ладно, приду непременно, если пустят.

— Вот еще, конечно, пустят! Нешто вас на цепочке держат.

Прощаясь, Людмила поцеловала Сашу в лоб и подняла руку к Сашиным губам, — пришлось поцеловать. И Саше приятно было еще раз поцеловать белую, нежную руку, — и словно стыдно. Как не покраснеть! А Людмила, уходя, улыбалась лукаво да нежно. И несколько раз обернулась.

«Какая она милая!» — думал Саша.

Остался один.

«Как она скоро ушла! — думал он. — Вдруг собралась и не дала опомниться, и уже нет ее. Побыла бы еще хоть немного!» — думал Саша, и ему стало стыдно, как это он забыл вызваться проводить ее.

«Пройтись бы немного еще с нею! — мечтал Саша. — Разве догнать? Далеко ли она ушла? Побежать скорее, догонишь живо.

Смеяться, пожалуй, будет? — думал Саша. — А может быть, еще помешаешь ей».

Так и не решился бежать за нею. Стало как-то скучно да неловко. На губах еще нежное ощущение от поцелуя замирало, и на лбу горел ее поцелуй.

«Как она нежно целует! — мечтательно вспоминал Саша. — Точно милая сестрица».

Сашины щеки горели. Сладостно было и стыдно. Неясные мечты рождались.

«Если бы она была сестрою! — разнеженно мечтал Саша, — и можно было бы прийти к ней, обнять, сказать ласковое слово. Звать ее: Людмилочка, миленькая! Или еще каким-нибудь, совсем особенным именем — Буба или Стрекоза. И чтоб она откликалась. То-то радость была бы. Но вот, — печально думал Саша, — она чужая». Милая, но чужая. Пришла и ушла, и уже о нем, поди, и не думает. Только оставила сладкое благоухание сиренью да розою, и ощущение от двух нежных поцелуев, — и неясное волнение в душе, рождающее сладкую мечту, как волна Афродиту.

Скоро вернулась Коковкина.

— Фу ты, как пахнет сильно! — сказала она.

Саша покраснел.

— Была Людмилочка, — сказал он, — да вас не застала, посидела, меня надушила и ушла.

— Нежности какие! — с удивлением сказала старуха, — уж и Людмилочка.

Саша засмеялся смущенно и убежал к себе. А Коковкина думала, что уж очень они, сестрицы Рутиловы, веселые да ласковые девицы, — и старого и малого своею ласкою прельстят.

На другой день с утра Саше весело было думать, что его пригласили. Дома он с нетерпением ждал обеда. После обеда, весь красный от смущения, попросил у Коковкиной позволения уйти до семи часов к Рутиловым. Коковкина удивилась, но отпустила. Саша побежал веселый, тщательно причесавшись и даже припомадившись. Он радовался и слегка волновался, как перед чем-то и значительным, и милым. И ему приятно было думать, что вот он придет, поцелует Людмилину руку, и она его поцелует в лоб, — и потом, когда он будет уходить, опять такие же поцелуи. Сладостно мечталась ему Людмилина белая, нежная рука.

Сашу встретили еще в передней все три сестры. Они же любили сидеть у окна, глядючи на улицу, а потому завидели его издали. Веселые, нарядные, звонко щебечущие, окружили они его буйною вьюгою веселья, — и ему сразу стало приятно и легко с ними.

— Вот он, молодой таинственный человек! — радостно воскликнула Людмила.

Саша поцеловал ей руку и сделал это ловко и с большим удовольствием. Поцеловал уж заодно руки и Дарье с Валериею, — нельзя же их обойти, — и нашел, что это тоже весьма приятно. Тем более что они все три поцеловали его в щеку, — Дарья звонко, но равнодушно, как доску, — Валерия нежно, — опустила глаза, — лукавые глазки, — легонько хихикнула и тихохонько прикоснулась легкими, радостными губами, — как нежный цвет яблони, благоуханный, упал на щеку, — а Людмила чмокнула радостно, весело и крепко.

— Это — мой гость, — решительно объявила она, взяла Сашу за плечи и повела к себе.

Дарья сейчас же и рассердилась.

— А твой, так и целуйся с ним! — сердито крикнула она. — Нашла сокровище! Никто не отнимет.

Валерия ничего не сказала, только усмехнулась, — очень любопытно с мальчишкою разговаривать! Что он понимает?

В Людмилиной горнице было просторно, весело и светло от двух больших окон в сад, слегка призадернутых легким желтоватым тюлем. Пахло сладко. Все вещи стояли нарядные и светлые. Стулья и кресла были обиты золотисто-желтою тканью с белым, едва различаемым узором. Виднелись разнообразные скляночки с духами, с душистыми водами, баночки, коробочки, веера и несколько русских и французских книжек.

— А я тебя сегодня ночью во сне видела, — хохоча, рассказывала Людмила, — ты будто бы у городского моста плавал, а я на мосту сидела и тебя на удочку выудила.

— И в баночку положили? — смешливо спросил Саша.

— Зачем в баночку?

— А куда же?

— Куда? Нарвала за уши да назад в речку кинула.

И Людмила звонко и долго хохотала.

— Ишь вы какая! — сказал Саша. — А что вы мне сегодня хотели сказать?

Людмила смеялась и не отвечала.

— Обманули, видно, — догадался Саша. — А еще обещали показать что-то, — укоризненно сказал он.

— Я тебе покажу! хочешь есть? — спросила Людмила.

— Я обедал, — сказал Саша. — Экая вы обманщица!

— Нужно очень мне тебя обманывать. Да никак от тебя помадой разит? — вдруг спросила Людмила.

Саша покраснел.

— Терпеть не могу помады! — досадливо говорила Людмила. — Барышня помаженая!

Она провела рукою по его волосам, замаслила руку и хлопнула его ладонью по щеке.

— Пожалуйста, не смей помадиться! — сказала она.

Саша смутился.

— Ну ладно, не буду, — сказал он. — Строгости какие! Душитесь же вы духами!

— То духи, а то помада, глупый! нашел сравнить, — убеждающим голосом сказала Людмила. — Я никогда не помажусь. Зачем волосы склеивать! Духи совсем не то. Дай-ка я тебя надушу. Желаешь? Сиренькой надушу, — желаешь?

— Желаю, — сказал Саша, улыбаясь.

Ему приятно было думать, что он принесет домой аромат и опять удивит Коковкину.

— Кто желает? — переспросила Людмила, взяла в руки скляночку с серингою и вопросительно и лукаво смотрела на Сашу.

— Я желаю, — повторил Саша.

— Ты же лаешь? лаешь? вот как! лаешь! — весело дразнилась Людмила.

Саша и Людмила весело хохотали.

— Уж не боишься, что задушу? — спросила Людмила, — помнишь, как вчера струсил?

— И ничего не струсил, — вспыхнув, горячо отвечал Саша.

Людмила, посмеиваясь и дразня мальчика, принялась душить его серингою. Саша поблагодарил и опять поцеловал ей руку.

— И, пожалуйста, остригись! — строго сказала Людмила, — что хорошего локоны носить, лошадей прическою пугать.

— Ну ладно, остригусь, — согласился Саша, — ужасные строгости! У меня еще коротенькие волосы, в полдюйма, еще инспектор ничего мне о волосах не говорил.

— Я люблю остриженных молодых людей, заметь это, — важно сказала Людмила и погрозила ему пальцем. — И я тебе не инспектор, меня надо слушаться.

С тех пор Людмила повадилась все чаще ходить к Коковкиной, для Саши. Она старалась, особенно вначале, приходить, когда Коковкина не бывала дома. Иногда пускалась даже на хитрости, — выманивала старуху из дому. Дарья сказала ей однажды:

— Эх ты, трусиха! Старухи боишься. А ты при ней приди, да его и уведи, — погулять.

Людмила послушалась, — и уже стала приходить когда попало. Если заставала Коковкину дома, то, посидев с нею недолго, уводила Сашу погулять, но при этом задерживала его только на короткое время.

Людмила и Саша быстро подружились, — нежною, но беспокойною дружбою. Сама того не замечая, уже Людмила будила в Саше преждевременные, пока еще неясные, стремления да желания. Саша часто целовал Людмилины руки, — тонкие, гибкие пясти, покрытые нежною, упругою кожею, — сквозь ее желтовато-розовую ткань просвечивали извилистые синие жилки. И выше, — длинные, стройные, — до самого локтя легко было целовать, отодвигая широкие рукава.

Саша иногда скрывал от Коковкиной, что приходила Людмила. Не солжет, только промолчит. Да и как бы солгать, — могла же сказать и служанка. И молчать-то о Людмилиных посещениях нелегко было Саше: Людмилин смех так и раял в ушах. Хотелось поговорить о ней. А сказать — неловко с чего-то.

Саша быстро подружился и с другими сестрами. Всем им целовал руки и даже скоро стал девиц называть Дашенька, Людмилочка да Валерочка.

XVII

Людмила, встретив Сашу днем на улице, сказала ему:

— Завтра у директорши старшая дочка именинница, — твоя старушка пойдет?

— Не знаю, — сказал Саша.

И уже радостная надежда шевельнулась в его душе, и даже не столько надежда, сколько желание: Коковкина уйдет, а Людмила как раз в это время придет и побудет с ним. Вечером он напомнил Коковкиной о завтрашних именинах.

— Чуть не забыла, — сказала Коковкина. — Схожу. Девушка-то она такая милая.

И впрямь, когда Саша вернулся из гимназии, Коковкина ушла к Хрипачам. Сашу радовала мысль, что на этот раз он помог удалить Коковкину из дому. Уже он был уверен, что Людмила найдет время прийти.

Так и сталось, — Людмила пришла. Она поцеловала Сашу в щеку, дала ему поцеловать руку и весело засмеялась, а он зарделся. От Людмилиных одежд веял аромат влажный, сладкий, цветочный, — розирис, — плотский и сладострастный ирис, растворенный в сладко-мечтающих розах. Людмила принесла узенькую коробку в тонкой бумаге, сквозь которую просвечивал желтоватый рисунок. Села, положила коробку к себе на колени и лукаво поглядела на Сашу.

— Финики любишь? — спросила она.

— Уважаю, — сказал Саша со смешливою гримаскою.

— Ну вот я тебя и угощу, — важно сказала Людмила.

Она развязала коробку и сказала:

— Ешь!

Сама вынимала из коробки по ягодке, вкладывала их Саше в рот и после каждой заставляла целовать ей руку. Саша сказал:

— Да у меня губы стали сладкие.

— Что за беда, что сладкие, целуй себе на здоровье, — весело ответила Людмила, — я не обижусь.

— Уж лучше же я вам сразу отцелую, — сказал Саша, смеючись.

И потянулся было сам за ягодою.

— Обманешь, обманешь! — закричала Людмила, проворно захлопнула коробку и ударила Сашу по пальцам.

— Ну вот еще, я — честный, уж я-то не обману, — уверял Саша.

— Нет, нет, не поверю, — твердила Людмила.

— Ну хотите, вперед отцелую? — предложил Саша.

— Вот это похоже на дело, — радостно сказала Людмила, — целуй.

Она протянула Саше руку. Саша взял ее тонкие, длинные пальцы, поцеловал один раз и спросил с лукавою усмешкою, не выпуская ее руки:

— А вы не обманете, Людмилочка?

— А нешто я нечестная! — весело ответила Людмила, — небось не обману, целуй без сомнения.

Саша склонился над ее рукою и стал быстро целовать ее; ровно покрывал руку поцелуями и звучно чмокал широко раскрываемыми губами, и ему было приятно, что так много можно нацеловать. Людмила внимательно считала поцелуи. Насчитала десять и сказала:

— Тебе неловко стоя-то на ногах, нагибаться надо.

— Ну так я удобнее устроюсь, — сказал Саша.

Стал на колени и с усердием продолжал целовать. Саша любил поесть. Ему нравилось, что Людмила угощает его сладким. За это он еще нежнее любил ее.

Людмила обрызгала Сашу приторно-пахучими духами. И удивил Сашу их запах, сладкий, но странный, кружащий, туманно-светлый, как золотящаяся ранняя, но грешная заря за белою мглою. Саша сказал:

— Какие духи странные!

— А ты на руку попробуй, — посоветовала Людмила.

И дала ему четырехугольную с округленными ребрами некрасивую баночку. Саша поглядел на свет, — ярко-желтая, веселая жидкость. Крупный, пестрый ярлык, французская надпись, — цикламен от Пивера. Саша взялся за плоскую стеклянную пробку, вытащил ее, понюхал духи. Потом сделал так, как любила делать Людмила, — ладонь наложил на горлышко флакона, быстро его опрокинул и опять повернул на дно, растер на ладони пролившиеся капли цикламена и внимательно понюхал ладонь, — спирт улетучился, остался чистый аромат. Людмила смотрела на него с волнующим ее ожиданием. Саша нерешительно сказал:

— Клопом засахаренным пахнет немножко.

— Ну, ну, не ври, пожалуйста, — досадливо сказала Людмила.

Она также взяла духов на руку и понюхала. Саша повторил:

— Правда клопом.

Людмила вдруг вспыхнула, да так, что слезинки блеснули на глазах, ударила Сашу по щеке и крикнула:

— Ах ты, злой мальчишка! вот тебе за клопа!

— Здорово ляснула! — сказал Саша, засмеялся и поцеловал Людмилину руку. — Что же вы так сердитесь, голубушка Людмилочка! Ну, чем же, по-вашему, он пахнет?

Он не рассердился на удар, — совсем был очарован Людмилою.

— Чем? — спросила Людмила и схватила Сашино ухо, — а вот чем, я тебе сейчас скажу, только ухо надеру сначала.

— Ой, ой, ой, Людмилочка, миленькая, не буду! — морщась от боли и сгибаясь, говорил Саша.

Людмила выпустила покрасневшее ухо, нежно привлекла Сашу к себе, посадила его на колени и сказала:

— Слушай, — три духа живут в цикламене, — сладкою амброзиею пахнет бедный цветок — это для рабочих пчел. Ведь ты знаешь, по-русски его дряквою зовут.

— Дряква, — смеючись, повторил Саша, — смешное имечко.

— Не смейся, пострел, — сказала Людмила, взяла его за другое ухо и продолжала: — Сладкая амброзия, и над нею гудят пчелы, это — его радость. И еще он пахнет нежною ванилью, и уже это не для пчел, а для того, о ком мечтают, и это — его желание, — цветок и золотое солнце над ним. И третий его дух, он пахнет нежным, сладким телом для того, кто любит, и это — его любовь, — бедный цветок и полдневный тяжелый зной. Пчела, солнце, зной, — понимаешь, мой светик?

Саша молча кивнул головою. Его смуглое лицо пылало, и длинные темные ресницы трепетали. Людмила мечтательно глядела вдаль, раскрасневшаяся, и говорила:

— Он радует, нежный и солнечный цикламен, он влечет к желаниям, от которых сладко и стыдно, он волнует кровь. Понимаешь, мое солнышко, когда сладко, и радостно, и больно, и хочется плакать? Понимаешь? вот он какой.

Долгим поцелуем прильнула она к Сашиным губам.

Людмила задумчиво смотрела перед собою. Вдруг лукавая усмешка скользнула по ее губам. Она легонько оттолкнула Сашу и спросила:

— Ты розы любишь?

Саша вздохнул, открыл глаза, улыбнулся сладко и тихо шепнул:

— Люблю.

— Большие? — спросила Людмила.

— Да всякие, и большие, и маленькие, — бойко сказал Саша и встал с ее колен ловким мальчишеским движением.

— И розочки любишь? — нежно спросила Людмила, и звонкий ее голос вздрагивал от скрытого смеха.

— Люблю, — быстро ответил Саша.

Людмила захохотала и покраснела.

— Глупый, розочки любишь, да посечь некому, — воскликнула она.

Оба хохотали и краснели.

Невинные по необходимости возбуждения составляли для Людмилы главную прелесть их связи. Они волновали — и далеки были от грубых, отвратительных достижений.

Заспорили, кто сильнее. Людмила сказала:

— Ну пусть ты и сильнее, так что ж? Дело в ловкости.

— Я и ловкий, — хвастался Саша.

— Туда же, ловкий! — дразнящим голосом вскрикнула Людмила.

Долго еще спорили. Наконец Людмила предложила:

— Ну давай бороться.

Саша засмеялся и задорно сказал:

— Где же вам справиться со мною!

Людмила принялась щекотать его.

— А, вы так! — с хохотом крикнул он, вывернулся и обхватил ее вокруг стана.

Началась возня. Людмила сразу же увидела, что Саша сильнее. Силою не взять, так она, хитрая, улучила удобную минуту, подшибла Сашу под ногу, — он упал, да и Людмилу увлек за собою. Впрочем, Людмила ловко извернулась и прижала его к полу. Саша отчаянно кричал:

— Так нечестно!

Людмила стала коленями ему на живот и руками прижала его к полу. Саша отчаянно выбивался. Людмила опять принялась щекотать его. Сашин звонкий хохот смешался с ее хохотом. Хохот заставил ее выпустить Сашу. Она, хохоча, упала на пол. Саша вскочил на ноги. Он был красен и раздосадован.

— Русалка! — крикнул он.

А русалка лежала на полу и хохотала.

Людмила посадила Сашу себе на колени. Усталые после борьбы, они весело и близко смотрели друг другу в глаза и улыбались.

— Я для вас тяжелый, — сказал Саша, — колени вам намну, вы меня лучше спустите.

— Ничего, сиди знай, — ласково ответила Людмила. — Ведь ты сам говорил, что ласкаться любишь.

Она погладила его по голове. Он нежно прижался к ней. Она сказала:

— А уж и красив ты, Саша.

Саша покраснел, засмеялся.

— Тоже придумаете! — сказал он.

Разговоры и мысли о красоте в применении к нему как-то смутили его; он еще никогда не любопытствовал узнать, красивым или уродом кажется он людям.

Людмила щипнула Сашину щеку. Саша улыбнулся. Щека покраснела пятном. Это было красиво. Людмила щипнула и за другую щеку. Саша не сопротивлялся. Он только взял ее руку, поцеловал и сказал:

— Будет вам щипаться, ведь и мне больно, да и вы свои пальчики намозолите.

— Туда же, — протянула Людмила, — больно, а сам какой комплиментщик стал.

— Мне некогда, много уроков. Приласкайте меня еще немножко, на счастье, чтобы греку ответить на пять.

— Выпроваживаешь! — сказала Людмила.

Схватила его за руку и подняла рукав выше локтя.

— Нахлопать хотите? — спросил Саша, смущенно и виновато краснея.

Но Людмила залюбовалась его рукою, повертела ее и так, и этак.

— Руки-то у тебя какие красивые! — громко и радостно сказала она и вдруг поцеловала около локтя.

Саша зарделся, рванул руку, — но Людмила удержала ее и поцеловала еще несколько раз. Саша притих, потупился, и странное выраже-

ние легло на его ярких, полуулыбающихся губах, — и под навесом густых ресниц знойные щеки его начали бледнеть.

Попрощались. Саша проводил Людмилу до калитки. Пошел бы и дальше, да не велела. Он остановился у калитки и сказал:

— Ходи, милая, почаще, носи пряничков послаще.

Первый раз сказанное — ты — прозвучало Людмиле нежною лаской. Она порывисто обняла, поцеловала Сашу и убежала. Саша стоял как оглушенный.

Саша обещал прийти. Назначенный час прошел — Саши не было. Людмила нетерпеливо ждала, — металась, томилась, смотрела в окно. Шаги заслышит на улице — высунется. Сестры посмеивались. Она сердито и взволнованно говорила:

— А ну вас! Отстаньте.

Потом бурно набрасывалась на них с упреками, зачем смеются. И уже видно стало, что Саша не придет. Людмила заплакала от досады и огорчения.

— Ой-ёй-ёчиньки! Охти мнечиньки! — дразнила ее Дарья.

Людмила, всхлипывая, тихонько говорила, — в порыве горя забывая сердиться на то, что ее дразнят:

— Старая карга противная не пустила его, под юбкой держит, чтоб он греков учил.

Дарья с грубоватым сочувствием сказала:

— Да и он-то пентюх, уйти не умеет.

— С малюсеньким связалась, — презрительно молвила Валерия.

Обе сестры, хоть и посмеивались, сочувствовали Людмиле. Они же все любили одна другую, любили нежно, но несильно: поверхностна нежная любовь! Дарья сказала:

— Охота плакать, из-за молокососа глаза ермолить. Вот-то уж можно сказать, черт с младенцем связался.

— Кто это черт? — запальчиво крикнула Людмила и вся багрово покраснела.

— Да ты, матушка, — спокойно ответила Дарья, — даром что молодая, а только...

Дарья не договорила и пронзительно засвистала.

— Глупости! — сказала Людмила странно-звенящим голосом.

Странная, жестокая улыбка сквозь слезы озарила ее лицо, как ярко пылающий луч на закате сквозь последнее падение усталого дождя.

Дарья спросила досадливо:

— Да что в нем интересного, скажи, пожалуйста?

Людмила все с тою же удивительною улыбкою задумчиво и медленно ответила:

— Какой он красавец! И сколько в нем есть неистраченных возможностей!

— Ну это дешево стоит, — решительно сказала Дарья. — Это у всех мальчишек есть.

— Нет, не дешево, — с досадою ответила Людмила. — Есть поганые.

— А он чистый? — спросила Валерия; так пренебрежительно протянула «чистый».

— Много ты понимаешь! — крикнула Людмила, но сейчас же опять заговорила тихо и мечтательно: — Он невинный.

— Еще бы! — насмешливо сказала Дарья.

— Самый лучший возраст для мальчиков, — говорила Людмила, — четырнадцать-пятнадцать лет. Еще он ничего не может и не понимает по-настоящему, а уже все предчувствует, решительно все. И нет бороды противной.

— Большое удовольствие! — с презрительною ужимкою сказала Валерия.

Она была грустна. Ей казалось, что она — маленькая, слабая, хрупкая, и она завидовала сестрам, — Дарьину веселому смеху и даже Людмилину плачу. Людмила сказала опять:

— Ничего вы не понимаете. Я вовсе не так его люблю, как вы думаете. Любить мальчика лучше, чем влюбиться в пошлую физиономию с усиками. Я его невинно люблю. Мне от него ничего не надо.

— Не надо, так чего ж ты его теребишь? — грубо возразила Дарья.

Людмила покраснела, и виноватое выражение тяжело легло на ее лице. Дарье стало жалко, она подошла к Людмиле, обняла ее и сказала:

— Ну не дуйся, ведь мы не со зла говорим.

Людмила опять заплакала, приникла к Дарьину плечу и горестно сказала:

— Я знаю, что уж тут не на что мне надеяться, но хоть бы немножко приласкал он меня, хоть бы как-нибудь.

— Ну что, тоска! — досадливо сказала Дарья, отошла от Людмилы, подперлась руками в бока и звонко запела:

Я вечор сваво милова
Оставляла ночевать

Валерия заливалась звонким, хрупким смехом. И у Людмилы глаза стали веселы и блудливы. Она порывисто прошла в свою комнату, обрызгала себя корилопсисом, — и запах пряный, сладкий, блудливый охватил ее вкрадчивым соблазном. Она вышла на улицу нарядная, взволнованная, и нескромною прелестью соблазна веяло от нее.

«Может быть, и встречу», — думала она.

И встретила.

— Хорош! — укоризненно и радостно крикнула она.

Саша и смутился, и обрадовался.

— Некогда было, — смущенно сказал он, — все же уроки, все учить надо, правда некогда.

— Врешь, миленький, — пойдем-ка сейчас.

Он отнекивался, смеючись, но видно было, что и рад тому, что Людмила его уводит. И Людмила привела его домой.

— Привела! — с торжеством крикнула она сестрам и за плечо отвела Сашу к себе.

— Погоди, сейчас я с тобою разделаюсь, — погрозила она и заложила дверь на задвижку, — вот теперь никто за тебя не заступится.

Саша, заложив руки за пояс, неловко стоял посреди ее горницы, — ему было жутко и любо. Пахло какими-то новыми духами, празднич-

но, сладко, но что-то в этом запахе задевало, бередило нервы, как прикосновение радостных, юрких, шероховатых змеек.

XVIII

Передонов возращался с одной из ученических квартир. Внезапно он был застигнут мелким дождем. Стал соображать, куда бы зайти, чтобы не гноить на дожде нового шелкового зонтика. Через дорогу, на каменном двухэтажном особнячке, увидел он вывеску: «Контора нотариуса Гудаевского». Сын нотариуса учился во втором классе гимназии. Передонов решился войти. Заодно нажалуется на гимназиста.

И отца, и мать застал он дома. Встретили его суетливо. Так и все здесь делалось.

Николай Михайлович Гудаевский был человек невысокий, плотный, черноволосый, плешивый, с длинною бородою. Движения его всегда были стремительны и неожиданны; он словно не ходил, а носился, коротенький, как воробей, и никогда нельзя было узнать по его лицу и положению, что он сделает в следующую минуту. Среди делового разговора он внезапно выкинет коленце, которое не столько насмешит, сколько приведет в недоумение своею беспричинностью. Дома или в гостях он сидит-сидит и вдруг вскочит, и без всякой видимой надобности быстро зашагает по горнице, крикнет, стукнет. На улице идет-идет и вдруг остановится, присядет или сделает выпад или другое гимнастическое упражнение и потом идет дальше. На совершаемых или свидетельствуемых у него актах Гудаевский любил делать смешные пометки, например вместо того, чтобы написать о Иване Иваныче Иванове, живущем на Московской площади, в доме Ермиловой, он писал о Иване Иваныче Иванове, что живет на базарной площади, в том квартале, где нельзя дышать от зловония, и т.д., упоминал даже иногда о числе кур и гусей у этого человека, подпись которого он свидетельствует.

Юлия Гудаевская, страстная, жестоко-сентиментальная, длинная, тонкая, сухая, странно — при несходстве фигур — походила на

мужа ухватками: такие же порывистые движения, такая же совершенная несоразмерность с движениями других. Одевалась она пестро и молодо и при быстрых движениях своих постоянно развевалась во все стороны длинными разноцветными лентами, которыми любила украшать в изобилии и свой наряд, и свою прическу.

Антоша, тоненький, юркий мальчик, вежливо шаркнул. Передонова усадили в гостиной, и он немедленно начал жаловаться на Антошу: ленив, невнимателен, в классе не слушает, разговаривает и смеется, на переменах шалит. Антоша удивился, — он не знал, что окажется таким плохим, — и принялся горячо оправдываться. Родители оба взволновались.

— Позвольте, — кричал отец, — скажите мне, в чем же именно состоят его шалости?

— Ника, не защищай его, — кричала мать, — он не должен шалить.

— Да что он нашалил? — допрашивал отец, бегая, словно катаясь, на коротеньких ножках.

— Вообще шалит, возится, дерется, — угрюмо говорил Передонов, — постоянно шалит.

— Я не дерусь, — жалобно восклицал Антоша, — у кого хотите спросите, я ни с кем никогда не дрался.

— Никому проходу не дает, — сказал Передонов.

— Хорошо-с, я сам пойду в гимназию, я узнаю от инспектора, — решительно сказал Гудаевский.

— Ника, Ника, отчего ты не веришь! — кричала Юлия, — ты хочешь, чтобы Антоша негодяем вышел? Его высечь надо.

— Вздор! вздор! — кричал отец.

— Высеку, непременно высеку! — закричала мать, схватила сына за плечо и потащила его в кухню, — Антоша, — кричала она, — пойдем, миленький, я тебя высеку.

— Не дам! — закричал отец, вырывая сына.

Мать не уступала, Антоша отчаянно кричал, родители толкались.

— Помогите мне, Ардальон Борисыч, — закричала Юлия, — подержите этого изверга, пока я разделаюсь с Антошей.

Передонов пошел на помощь. Но Гудаевский вырвал сына, сильно оттолкнул жену, подскочил к Передонову и грозно закричал:

— Не лезьте! Две собаки грызутся, третья не приставай! Да я вас!

Красный, растрепанный, потный, он потрясал в воздухе кулаком. Передонов попятился, бормоча невнятные слова. Юлия бегала вокруг мужа, стараясь ухватить Антошу; отец прятал его за себя, таская его за руку то вправо, то влево; глаза у Юлии сверкали, и она кричала:

— Разбойником вырастет! В тюрьме насидится! В каторгу попадет!

— Типун тебе на язык! — кричал Гудаевский. — Молчи, дура злая!

— А, тиран! — взвизгнула Юлия, подскочила к мужу, ударила его кулаком в спину и порывисто бросилась из гостиной.

Гудаевский сжал кулаки и подскочил к Передонову.

— Вы смутьянить пришли, — закричал он. — Шалит Антоша? Вы врете, ничего он не шалит. Если бы он шалил, я бы и без вас это знал, а с вами я и говорить не хочу. Вы по городу ходите, дураков обманываете, мальчишек стегаете, диплом получить хотите на стегальных дел мастера. А здесь не на такого напали. Милостивый государь, прошу вас удалиться!

Говоря это, он подскакивал к Передонову и оттеснял его в угол. Передонов испугался и рад был бы убежать, да Гудаевский в пылу раздражения не заметил, что загородил выход. Антоша схватил отца сзади за фалды сюртука и тянул его к себе. Отец сердито цыкнул на него и лягнулся. Антоша проворно отскочил в сторону, но не выпустил отцова сюртука.

— Цыц! — крикнул Гудаевский. — Антоша, не забывайся.

— Папочка, — закричал Антоша, продолжая тянуть отца назад, — ты мешаешь Ардальону Борисычу пройти.

Гудаевский быстро отскочил назад, — Антоша едва успел увернуться.

— Извините, — сказал Гудаевский и показал на дверь, — выход здесь, а задерживать не смею.

Передонов поспешно пошел из гостиной. Гудаевский сложил ему из своих пальцев длинный нос, потом поддал в воздухе коленом, словно выталкивал гостя. Антоша захихикал. Гудаевский сердито прикрикнул на него:

— Антоша, не забывайся! Смотри, завтра поеду в гимназию, и если это окажется правда, отдам тебя матери на исправление.

— Я не шалил, он врет, — жалобно и пискливо сказал Антоша.

— Антоша, не забывайся! — крикнул отец. — Не «врет» надо сказать, — «ошибается». Только маленькие врут, взрослые изволят ошибаться.

Меж тем Передонов выбрался в полутемную прихожую, отыскал кое-как пальто и стал его надевать. От страха и волнения он не попадал в рукава. Никто не пришел ему помочь. Вдруг откуда-то из боковой двери выбежала Юлия, шелестя развевающимися лентами и горячо зашептала что-то, махая руками и прыгая на цыпочках. Передонов не сразу ее понял.

— Я так вам благодарна, — наконец расслышал он, — это так благородно с вашей стороны, так благородно, такое участие. Все люди такие равнодушные, а вы вошли в положение бедной матери. Так трудно воспитывать детей, так трудно, вы не можете себе представить. У меня двое, и то голова кругом идет. Мой муж — тиран, он ужасный, ужасный человек, не правда ли? вы сами видели.

— Да, — пробормотал Передонов, — ваш муж, как же это он, так нельзя, я забочусь, а он...

— Ах, не говорите, — шептала Юлия, — ужасный человек. Он меня в гроб вгонит, и рад будет, и будет развращать моих детей, моего миленького Антошу. Но я — мать, я не дам, я все-таки высеку.

— Не даст, — сказал Передонов и мотнул головою по направлению к горницам.

— Когда он уйдет в клуб. Не возьмет же он Антошу с собой! Он уйдет, а я до тех пор молчать буду, как будто согласилась с ним, а как только он уйдет, я его и высеку, а вы мне поможете. Ведь вы мне поможете, не правда ли?

Передонов подумал и сказал:

— Хорошо, только как же я узнаю?

— Я пришлю за вами, я пришлю, — радостно зашептала Юлия. — Вы ждите, — как только он уйдет в клуб, так я и пришлю за вами.

Вечером Передонову принесли записку от Гудаевской. Он прочел:

Достоуважаемый Ардальон Борисыч!

Муж ушел в клуб, и теперь я свободна от его варварства до часу ночи Сделайте Ваше одолжение, пожалуйте поскорее ко мне для содействия над преступным сыном Я сознаю, что надо изгонять из него пороки, пока мал, а после поздно будет

Искренно уважающая Вас Юлия Гудаевская

P S Пожалуйста, приходите поскорее, а то Антоша ляжет спать, так его придется будить

Передонов поспешно оделся, закутал горло шарфом и отправился.

— Куда ты, Ардальон Борисыч, на ночь глядя собрался? — спросила Варвара.

— По делу, — угрюмо отвечал Передонов, торопливо уходя.

Варвара подумала с тоскою, что опять ей не спать долго. Хоть бы поскорее заставить его повенчаться! Вот-то можно будет спать и ночью, и днем, — вот-то будет блаженство!

На улице сомнения овладели Передоновым. А что если это ловушка? А вдруг окажется, что Гудаевский дома, и его схватят и начнут бить? Не вернуться ли лучше назад?

«Нет, надо дойти до их дома, — а там видно будет».

Ночь, тихая, прохладная, темная, обступала со всех сторон и заставляла замедлять шаги. Свежие веяния доносились с недалеких полей. В траве у заборов подымались легкие шорохи и шумы, и вокруг все казалось подозрительным и странным, — может быть, кто-нибудь крался сзади и следил. Все предметы за тьмою странно и неожиданно таились, словно в них просыпалась иная, ночная жизнь, непонятная для человека и враждебная ему. Передонов тихо шел по улицам и бормотал: «Ничего не выследишь. Не на худое иду. Я, брат, о пользе службы забочусь. Так-то».

Наконец он добрался до жилища Гудаевских. Огонь виден был только в одном окне на улицу, остальные четыре были темны. Передонов поднялся на крыльцо тихохонько, постоял, прильнул ухом к двери и послушал, — все было тихо. Он слегка дернул медную ручку звонка, — раздался далекий, слабый, дребезжащий звук. Но,

как он ни был слаб, он испугал Передонова, как будто за этим звуком должны были проснуться и устремиться к этим дверям все враждебные силы. Передонов быстро сбежал с крыльца и прижался к стенке, притаясь за столбиком.

Прошли короткие мгновения. Сердце у Передонова замирало и тяжко колотилось.

Послышались легкие шаги, стук отворенной двери, — Юлия выглянула на улицу, сверкая в темноте черными, страстными глазами.

— Кто тут? — громким шепотом спросила она.

Передонов немного отделился от стены и, заглядывая снизу в узкое отверстие двери, где было темно и тихо, спросил, тоже шепотом, — и голос его дрожал:

— Ушел Николай Михайлович?

— Ушел, ушел, — радостно зашептала и закивала Юлия.

Робко озираясь, Передонов вошел за нею в темные сени.

— Извините, — шептала Юлия, — я без огня, а то еще кто увидит, будут болтать.

Она шла впереди Передонова по лестнице, в коридор, где висела маленькая лампочка, бросая тусклый свет на верхние ступеньки. Юлия радостно и тихо смеялась, и ленты ее зыбко дрожали от ее смеха.

— Ушел, — радостно шепнула она, оглянулась и окинула Передонова страстно-горящими глазами. — Уж я боялась, что останется сегодня дома, так развоевался. Да не мог вытерпеть без винта. Я и прислугу отправила, — одна Лизина нянька осталась, — а то еще нам помешают. Ведь нынче люди, знаете, какие.

От Юлии веяло жаром, и вся она была жаркая, сухая, как лучина. Она иногда хватала Передонова за рукав, и от этих быстрых сухих прикосновений словно быстрые сухие огоньки пробегали по всему его телу. Тихохонько, на цыпочках, прошли они по коридору, мимо нескольких запертых дверей, и остановились у последней, — у двери в детскую...

Передонов оставил Юлию в полночь, уже когда она ждала, что скоро вернется муж. Он шел по темным улицам угрюмый и пасмур-

ный. Ему казалось, что кто-то все стоял около дома и теперь следит за ним. Он бормотал:

— Я по службе ходил. Я не виноват. Она сама захотела. Ты меня не подденешь, не на такого напал.

Варвара еще не спала, когда он вернулся. Карты лежали перед нею.

Передонову казалось, что кто-то мог забраться, когда он входил. Может быть, сама Варвара впустила врага. Передонов сказал:

— Я буду спать, а ты колдовать на картах станешь. Подавай сюда карты, а то околдуешь меня.

Он отнял карты и спрятал себе под подушку. Варвара ухмылялась и говорила:

— Петрушку валяешь. Я и колдовать-то не умею, очень мне надо.

Его досадовало и страшило, что она ухмыляется: значит, думал он, она и без карт может. Вот под кроватью кот жмется и сверкает зелеными глазами, — на его шерсти можно колдовать, гладя кота впотьмах, чтобы сыпались искры. Вот под комодом мелькает опять серая недотыкомка, — не Варвара ли ее подсвистывает по ночам тихим свистом, похожим на храп?

Гадкий и страшный приснился Передонову сон: пришел Пыльников, стал на пороге, манил и улыбался. Словно кто-то повлек Передонова к нему, и Пыльников повел его по темным, грязным улицам, а кот бежал рядом и светил зелеными зрачками...

XIX

Странности в поведении Передонова все более день ото дня беспокоили Хрипача. Он посоветовался с гимназическим врачом, не сошел ли Передонов с ума. Врач со смехом ответил, что Передонову сходить не с чего, а просто дурит по глупости. Поступали и жалобы. Начала Адаменко: она прислала директору тетрадь ее брата с единицею за хорошо исполненную работу.

Директор во время одной из перемен пригласил к себе Передонова.

«А право, похож на помешанного», — подумал Хрипач, увидев следы смятения и ужаса на тупом, сумрачном лице Передонова.

— Я имею к вам претензию, — заговорил Хрипач сухою скороговоркою. — Каждый раз, как мне приходится давать урок рядом с вами, у меня голова буквально трещит, — такой хохот подымается в вашем классе. Не могу ли я вас просить давать уроки не столь веселого содержания? «Шутить и все шутить, — как вас на это станет?»

— Я не виноват, — сердито сказал Передонов, — они сами смеются. Да и нельзя же все о букве «Ѣ» да о сатирах Кантемира говорить, иногда и скажешь что-нибудь, а они сейчас зубы скалят. Распущены очень. Подтянуть их надо.

— Желательно, и даже необходимо, чтобы работа в классе имела серьезный характер, — сухо сказал Хрипач. — И еще одно.

Хрипач показал Передонову две тетради и сказал:

— Вот две тетради по вашему предмету, обе учеников одного класса, Адаменка и моего сына. Мне пришлось их сравнить, и я принужден сделать вывод о вашем не вполне внимательном отношении к делу. Последняя работа Адаменка, исполненная весьма удовлетворительно, оценена единицею, тогда как работа моего сына, написанная хуже, заслужила четверку. Очевидно, что вы ошиблись, балл одного ученика поставили другому, и наоборот. Хотя человеку свойственно ошибаться, но все же прошу вас избегать подобных ошибок. Они возбуждают совершенно основательное неудовольствие родителей и самих учащихся.

Передонов пробормотал что-то невнятное.

В классах он со злости усиленно принялся дразнить маленьких, наказанных на днях по его жалобам. Особенно напал он на Крамаренка. Тот молчал, бледнел под своим темным загаром, и глаза его сверкали.

Выйдя из гимназии, Крамаренко в этот день не торопился домой. Он постоял у ворот, поглядывая на подъезд. Когда вышел Передонов, Крамаренко пошел за ним в некотором отдалении, пережидая редких прохожих.

Передонов шел медленно. Хмурая погода наводила на него тоску. Его лицо в последние дни принимало все более тупое выражение. Взгляд

или был остановлен на чем-то далеком, или странно блуждал. Казалось, что он постоянно всматривается за предмет. От этого предметы в его глазах раздваивались, млели, мережили.

Кого же он высматривал? Доносчиков. Они прятались за все предметы, шушукались, смеялись. Враги наслали на Передонова целую армию доносчиков. Иногда Передонов старался быстро накрыть их. Но они всегда успевали вовремя убежать, — словно сквозь землю провалятся...

Передонов услышал за собой быстрые и смелые шаги по мосткам, испуганно оглянулся, — Крамаренко поравнялся с ним и смотрел на него горящими глазами решительно и злобно, бледный, тонкий, как маленький дикарь, готовый броситься на врага. Этот взгляд пугал Передонова.

«А вдруг укусит?» — подумал он.

Пошел поскорее, — Крамаренко не отставал; пошел потише, — и Крамаренко замедлил шаги. Передонов остановился и сердито сказал:

— Чего толкаешься, черныш драный! Вот сейчас к отцу отведу.

Крамаренко тоже остановился, все продолжая смотреть на Передонова. Теперь они стали один против другого на шатких мостках пустынной улицы, у серого, безучастного ко всему живому, забора. Крамаренко, весь дрожа, шипящим голосом сказал:

— Подлец!

Усмехнулся, повернулся, чтобы уходить. Сделал шага три, приостановился, оглянулся, повторил погромче:

— Этакий подлец! Гадина!

Плюнул и пошел. Передонов угрюмо посмотрел за ним и тоже отправился домой. Смутные, боязливые мысли медленно чередовались в его голове.

Вершина окликнула его. Она стояла за решеткою своего сада, у калитки, укутанная в большой черный платок, и курила. Передонов не сразу признал Вершину. В ее фигуре пригрезилось ему что-то зловещее, — черная колдунья стояла, распускала чарующий дым, ворожила. Он плюнул, зачурался. Вершина засмеялась и спросила:

— Что это вы, Ардальон Борисыч?

Передонов тупо посмотрел на нее и наконец сказал:

— А, это — вы! А я вас и не узнал.

— Это — хорошая примета. Значит, я скоро буду богатой, — сказала Вершина.

Передонову это не понравилось: разбогатеть-то ему самому хотелось бы.

— Ну да, — сердито сказал он, — чего вам богатеть! Будет с вас и того, что есть.

— А вот я двести тысяч выиграю, — криво улыбаясь, сказала Вершина.

— Нет, это я выиграю двести тысяч, — спорил Передонов.

— Я — в один тираж, вы — в другой, — сказала Вершина.

— Ну это вы врете, — грубо сказал Передонов. — Это не бывает, в одном городе два выигрыша. Говорят вам, я выиграю.

Вершина заметила, что он сердится. Перестала спорить. Открыла калитку и, заманивая Передонова, сказала:

— Что ж мы тут стоим? Зайдите, пожалуйста, у нас Мурин.

Имя Мурина напомнило Передонову приятное для него, — выпивку, закуску. Он вошел.

В темноватой из-за деревьев гостиной сидели Марта с красным, завязанным бантом платочком на шее и с повеселевшими глазами, — Мурин, больше обыкновенного растрепанный и чем-то словно обрадованный, — и возрастный гимназист Виткевич: он ухаживал за Вершиною, думал, что она в него влюблена, и мечтал оставить гимназию, жениться на Вершиной и заняться хозяйством в ее именьице.

Мурин поднялся навстречу входившему Передонову с преувеличенно радостными восклицаниями, лицо его сделалось еще слаще, глазки замаслились, — и все это не шло к его дюжей фигуре и взлохмаченным волосам, в которых виднелись даже кое-где былинки сена.

— Дела обтяпываю, — громко и сипло заговорил он, — у меня везде дела, а вот, кстати, милые хозяйки и чайком побаловали.

— Ну да, дела, — сердито отвечал Передонов, — какие у вас дела! Вы не служите, а так деньги наживаете. Это вот у меня дела.

— Что ж, дела — это и есть чужие деньги, — с громким хохотом возразил Мурин.

Вершина криво улыбалась и усаживала Передонова к столу. На круглом преддиванном столе тесно стояли стаканы и чашки с чаем, ром, варенье из куманики, серебряная сквозная крытая вязаною салфеточкою корзинка со сладкими булками и домашними миндальными пряничками.

От стакана Мурина сильно пахло ромом, а Виткевич положил себе на стеклянное блюдечко в виде раковины много варенья. Марта с видимым удовольствием ела маленькими кусочками сладкую булку. Вершина угощала и Передонова, — он отказался от чая.

«Еще отравят, — подумал он. — Отравить-то всегда легче, — сам выпьешь и не заметишь, яд сладкий бывает, а домой придешь и ноги протянешь».

И ему было досадно, зачем для Мурина поставили варенье, а когда он пришел, то для него не хотят принести новой банки с вареньем получше. Не одна у них куманика, — много всякого варенья наварили.

А Вершина, точно, ухаживала за Муриным. Видя, что на Передонова мало надежды, она подыскивала Марте и других женихов. Теперь она приманивала Мурина. Полуодичавший в гоньбе за трудно дававшимися барышами, помещик охотно шел на приманку: Марта ему нравилась.

Марта была рада, — ведь это была ее постоянная мечта, что вот найдется ей жених, и она выйдет замуж, и у нее будет хорошее хозяйство и дом — полная чаша. И она смотрела на Мурина влюбленными глазами. Сорокалетний громадный мужчина с грубым голосом и с простоватым выражением в лице и в каждом движении казался ей образцом мужской силы, молодечества, красоты и доброты.

Передонов заметил влюбленные взгляды, которыми обменивались Мурин и Марта, — заметил потому, что ожидал от Марты преклонения перед ним самим. Он сердито сказал Мурину:

— Точно жених сидишь, вся физиономия сияет.

— Это я от радости, — возбужденным, веселым голосом сказал Мурин, — что вот дело мое хорошо обделал.

Он подмигнул хозяйкам. Они обе радостно улыбались. Передонов сердито спросил, презрительно щуря глаза:

— Невесту, что ли, нашел? Приданого много дают?

Мурин говорил, как будто и не слышал этих вопросов:

— Вот Наталья Афанасьевна, дай ей Бог всего хорошего, моего Ванюшку согласилась у себя поместить. Он будет тут жить как у Христа за пазухой, и мое сердце будет спокойно, что не избалуется.

— Будет шалить вместе с Владей, — угрюмо сказал Передонов, — еще дом сожгут.

— Не посмеет! — решительно крикнул Мурин. — Вы, матушка Наталья Афанасьевна, за это не беспокойтесь: он у вас по струнке будет ходить.

Вершина, чтобы прекратить этот разговор, сказала, криво улыбаясь:

— Что-то мне кисленького захотелось.

— Не хотите ли брусники с яблоками? Я принесу, — сказала Марта, быстро вставая с места.

— Пожалуй, принесите.

Марта побежала из комнаты. Вершина даже не посмотрела за нею, — она привыкла принимать спокойно Мартины угождения, как нечто должное. Она сидела покойно и глубоко на диване, пускала синие дымные клубы и сравнивала мужчин, которые разговаривали, Передонов — сердито и вяло, Мурин — весело и оживленно.

Мурин нравился ей гораздо больше. У него добродушное лицо, а Передонов и улыбаться не умеет. Нравился ей Мурин всем, — большой, толстый, привлекательный, говорит приятным низким голосом и к ней очень почтителен. Вершина даже подумывала порой, не повернуть ли дело так, чтобы Мурин посватался не к Марте, а к ней. Но она всегда кончала свои размышления тем, что великодушно уступала его Марте.

«За меня, — думала она, — всякий посватается, раз что я с деньгами, и я могу выбрать кого захочу. Вот хоть этого юношу возьму», — думала она и не без удовольствия останавливала свой взор на зеленоватом, нахальном, но все-таки красивом лице Виткевича, который говорил мало, ел много, посматривал на Вершину и нагло при этом улыбался.

Марта принесла в глиняной чашечке бруснику с яблоками и принялась рассказывать, что нынче ночью видела во сне, как она была в подружках на свадьбе и ела ананасы и блины с медом, в одном блине нашла бумажку сто рублей, и как от нее деньги отняли, и как она плакала. Так в слезах и проснулась.

— Надо было потихоньку спрятать, чтоб никто не видал, — сердито сказал Передонов, — а то вы и во сне не сумели денег удержать, какая ж вы хозяйка!

— Ну, этих денег нечего жалеть, — сказала Вершина, — во сне мало ли что увидишь.

— А мне так страсть как жалко этих денег, — простодушно сказала Марта, — целых сто рублей!

На глазах у нее навернулись слезы, и она принужденно засмеялась, чтобы не заплакать. Мурин суетливо полез в карман, восклицая:

— Матушка Марта Станиславовна, да вы не жалейте, мы сейчас это поправим!

Он достал из бумажника сторублевку, положил ее перед Мартою на стол, хлопнул по ней ладонью и крикнул:

— Извольте! Уж эту никто не отнимет.

Марта обрадовалась было, но потом ярко покраснела и смущенно сказала:

— Ах, что это вы, Владимир Иванович, разве я к тому! Я не возьму, что это вы, право!

— Нет, уж не извольте обижать, — сказал Мурин, посмеиваясь и не убирая денег, — пусть уж, значит, сон в руку будет.

— Да нет, как же, мне стыдно, я ни за что не возьму, — отнекивалась Марта, жадными глазами посматривая на сторублевку.

— Чего кобянитесь, коли дают, — сказал Виткевич, — вот ведь счастье людям валится само в руки, — сказал он с завистливым вздохом.

Мурин стал перед Мартою и воскликнул убеждающим голосом:

— Матушка Марта Станиславовна, верьте слову, я от всей души, — берите, пожалуйста! А коли даром не хотите, так это за то, чтобы вы за моим Ванюшкой посмотрели. То, что мы сговорились с Натальей

Афанасьевной, то так и будет, а это, значит, вам, — за посмотренье, значит.

— Да как же так, это очень много, — нерешительно сказала Марта.

— За первые полгода, — сказал Мурин и поклонился Марте в пояс, — уж не обидьте, возьмите и уж будьте вы моему Ванюшке заместо старшей сестрицы.

— Ну что же, Марта, берите, — сказала Вершина, — благодарите Владимира Иваныча.

Марта, стыдливо и радостно краснея, взяла деньги. Мурин принялся горячо ее благодарить.

— Сватайся сразу, дешевле будет, — с яростью сказал Передонов, — ишь как разгрибанился!

Виткевич захохотал, а остальные сделали вид, что не слышали. Вершина начала было рассказывать свой сон, — Передонов не дослушал и стал прощаться. Мурин пригласил его к себе на вечер.

— Ко всенощной надо, — сказал Передонов.

— Что это Ардальон Борисыч какое к церкви получил усердие, — с сухим и быстрым смешком сказала Вершина.

— Я всегда, — отвечал он, — я в Бога верую, не так, как другие. Может быть, я один в гимназии такой. За то меня и преследуют. Директор безбожник.

— Когда будет свободно, сами назначьте, — сказал Мурин.

Передонов сказал, сердито комкая фуражку:

— Мне по гостям некогда ходить.

Но сейчас же вспомнил, что Мурин вкусно кормит и хорошо поит, и сказал:

— Ну в понедельник я могу прийти.

Мурин пришел в восторг и стал было звать Вершину и Марту. Но Передонов сказал:

— Нет, дам не надо. А то напьешься да еще ляпнешь что-нибудь без предварительной цензуры, так при дамах неудобно.

Когда Передонов ушел, Вершина, усмехаясь, сказала:

— Чудит Ардальон Борисыч. Очень уж ему инспектором хочется быть, а Варвара его, должно быть, за нос водит. Вот он и куролесит.

Владя, — он при Передонове прятался, — вышел и сказал со злорадною усмешкою:

— А слесарята узнали от кого-то, что это Передонов их выдал.

— Они ему стекла побьют! — с радостным хохотом воскликнул Виткевич.

На улице все казалось Передонову враждебным и зловещим. Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова. Этот баран был так похож на Володина, что Передонов испугался. Он думал, что, может быть, Володин оборачивается бараном, чтобы следить.

«Почем мы знаем, — думал он, — может быть, это и можно; наука еще не дошла, а может быть, кто-нибудь и знает. Ведь вот французы — ученый народ, а у них в Париже завелись волшебники да маги», — думал Передонов. И страшно ему стало. «Еще лягаться начнет этот баран», — думал он.

Баран заблеял, и это было похоже на смех у Володина, резкий, пронзительный, неприятный.

Встретился опять жандармский офицер. Передонов подошел к нему и шепотом сказал:

— Вы послеживайте за Адаменко. Она переписывается с социалистами, да она и сама такая.

Рубовский молча и с удивлением посмотрел на него. Передонов пошел дальше и думал тоскливо: «Что это он все попадается? Все следит за мной и городовых везде наставил».

Грязные улицы, пасмурное небо, жалкие домишки, оборванные, вялые дети, — ото всего веяло тоскою, одичалостью, неизбывною печалью.

«Это — нехороший город, — думал Передонов, — и люди здесь злые, скверные; поскорее бы уехать в другой город, где все учителя будут кланяться низенько, а все школьники будут бояться и шептать в страхе: инспектор идет. Да, начальникам совсем иначе живется на свете».

— Господин инспектор второго района Рубанской губернии, — бормотал он себе под нос, — его высокородие, статский советник Пере-

донов. Вот как! Знай наших! Его превосходительство, господин директор народных училищ Рубанской губернии, действительный статский советник Передонов. Шапки долой! В отставку подавайте! Вон! Я вас подтяну!

Лицо у Передонова делалось надменным: он получал уже в своем скудном воображении долю власти.

Когда Передонов пришел домой, он услышал, еще снимая пальто, доносившиеся из столовой резкие звуки, — это смеялся Володин. Сердце у Передонова упало.

«Успел уже и сюда прибежать, — подумал он, — может быть, сговариваются с Варварой, как бы меня околпачить. Потому и смеется, — рад, что Варвара с ним заодно».

Тоскливый, злой вошел он в столовую. Уже было накрыто к обеду. Варвара с озабоченным лицом встретила Передонова.

— Ардальон Борисыч! — воскликнула она, — у нас-то какое приключение! Кот сбежал.

— Ну! — крикнул Передонов с выражением ужаса на лице. — Зачем же вы его отпустили?

— Что же мне, за хвост его к юбке пришить? — досадливо спросила Варвара.

Володин хихикнул. Передонов думал, что кот отправился, может быть, к жандармскому и там вымурлычет все, что знает о Передонове и о том, куда и зачем Передонов ходил по ночам, — все откроет, да еще и того примяукает, чего и не было. Беды! Передонов сел на стул у стола, опустил голову и, комкая конец у скатерти, погрузился в грустные размышления.

— Это уж завсегда коты изволят на старую квартиру сбегать, — сказал Володин, — потому как кошки к месту привыкают, а не к хозяину. Кошку надо закружить, как переносить на новую квартиру, и дороги ей не показывать, а то непременно убежит.

Передонов слушал с утешением.

— Так ты думаешь, Павлуша, что он на старую квартиру сбежал? — спросил он.

— Беспременно так, Ардаша, — отвечал Володин.

Передонов встал и крикнул:

— Ну так выпьем, Павлушка!

Володин захихикал.

— Это можно, Ардаша, — сказал он, — выпить завсегда даже очень можно.

— А кота достать надо оттуда! — решил Передонов.

— Сокровище! — ухмыляясь, отвечала Варвара, — вот после обеда пошлю Клавдюшку.

Сели обедать. Володин был весел, болтал и смеялся. Смех его звучал для Передонова, как блеянье того барана на улице.

«И чего он злоумышляет? — думал Передонов, — много ли ему надо?»

И подумал Передонов, что, может быть, удастся задобрить Володина.

— Слушай, Павлуша, — сказал он, — если ты не станешь мне вредить, то я тебе буду леденцов покупать по фунту в неделю, самый первый сорт, — соси себе за мое здоровье.

Володин засмеялся, но тотчас же сделал обиженное лицо и сказал:

— Я, Ардальон Борисыч, вам вредить не согласен, а только мне леденцов не надо, потому как я их не люблю.

Передонов приуныл. Варвара, ухмыляючись, сказала:

— Полно тебе петрушку валять, Ардальон Борисыч. Чем он тебе может навредить?

— Напакостить всякий дурак может, — уныло сказал Передонов.

Володин обиженно выпятил губы, покачал головою и сказал:

— Если вы, Ардальон Борисыч, так обо мне понимаете, то одно только могу сказать: благодарю покорно. Если вы обо мне так, то что же я после этого должен делать? Как это я должен понимать, в каком смысле?

— Выпей водки, Павлушка, и мне налей, — сказал Передонов.

— Вы на него не смотрите, Павел Васильевич, — утешала Володина Варвара, — он ведь это так говорит, душа не знает, что язык болтает.

Володин замолчал и, храня обиженный вид, принялся наливать водку из графина в рюмки. Варвара сказала, ухмыляясь:

— Как же это, Ардальон Борисыч, ты не боишься от него водку пить? Ведь он ее, может быть, наговорил, — вот он что-то губами разводит.

На лице у Передонова изобразился ужас. Он схватил налитую Володиным рюмку, выплеснул из нее водку на пол и закричал:

— Чур меня, чур, чур, чур! Заговор на заговорщика, — злому языку сохнуть, черному глазу лопнуть. Ему карачун, меня чур-перечур.

Потом повернулся к Володину с озлобленным лицом, показал кукиш и сказал:

— На-тка, выкуси. Ты хитер, а я похитрее.

Варвара хохотала. Володин обиженным дребезжащим голосом говорил, словно блеял:

— Это вот вы, Ардальон Борисыч, всякие волшебные слова знаете и произносите, а я никогда не изволил магией заниматься. Я вам ни водки, ни чего другого не согласен наговаривать, а это, может быть, вы от меня моих невест отколдовываете.

— Вывез! — сердито сказал Передонов, — мне не надо твоих невест, я могу и почище взять.

— Вы моему глазу лопнуть наговорили, — продолжал Володин, — только смотрите, как бы у вас раньше очки не лопнули.

Передонов схватился испуганно за очки.

— Что мелешь! — проворчал он, — язык-то у тебя, как помело.

Варвара опасливо посмотрела на Володина и сказала сердито:

— Не ехидничайте, Павел Васильевич, кушайте себе суп, а то простынет. Ишь, ехидник какой!

Она подумала, что, пожалуй, и кстати зачурался Ардальон Борисыч. Володин принялся есть суп. Все помолчали немного, и потом Володин обиженным голосом сказал:

— Недаром я сегодня во снях видел, что меня медом мазали. Помазали вы меня, Ардальон Борисыч.

— Еще не так бы вас надо помазать, — сердито сказала Варвара.

— За что же? позвольте узнать. Кажется, я ничего такого, — говорил Володин.

— За то, что язык у вас скверный, — объяснила Варвара. — Нельзя всего болтать, что вздумаете, — в какой час молвится.

XX

Вечером Передонов пошел в клуб, — позвали играть в карты. Был там и нотариус Гудаевский. Передонов испугался, когда увидел его. Но Гудаевский вел себя мирно, и Передонов успокоился.

Играли долго, пили много. Поздно ночью в буфете Гудаевский внезапно подскочил к Передонову, без всяких объяснений ударил его по лицу несколько раз, разбил ему очки и проворно удалился из клуба. Передонов не оказал никакого сопротивления, притворился пьяным, повалился на пол и захрапел. Его растолкали и выпроводили домой.

На другой день об этой драке говорили по всему городу.

В этот вечер Варвара нашла случай украсть у Передонова первое поддельное письмо. Это было ей необходимо, по требованию Грушиной, чтобы впоследствии, при сравнении двух подделок, не оказалось разницы. Передонов носил это письмо с собою, но сегодня как-то случайно оставил его дома: переодеваясь из вицмундира в сюртук, вынул его из кармана, сунул под учебник на комоде, да там и забыл. Варвара сожгла его на свечке у Грушиной.

Когда, поздно ночью, Передонов вернулся и Варвара увидела его разбитые очки, он сказал ей, что они сами лопнули. Она поверила и решила, что виною тому злой язык у Володина. Поверил в злой язык и сам Передонов. Впрочем, на другой день Грушина подробно рассказала Варваре о драке в клубе.

Утром, одеваясь, Передонов хватился письма, нигде не нашел и ужаснулся. Он закричал диким голосом:

— Варвара, где письмо?

Варвара смешалась.

— Какое письмо? — спросила она, глядя на Передонова испуганными, злыми глазами.

— Княгинино! — кричал Передонов.

Варвара кое-как собралась с духом. Нахально ухмыляясь, она сказала:

— А я почем знаю, где оно! Бросил, должно быть, в ненужные бумаги, а Клавдюшка и сожгла. Ищи у себя, коли еще оно цело.

Передонов ушел в гимназию в мрачном настроении. Вчерашние неприятности припомнились ему. Он думал о Крамаренке: как этот скверный мальчишка решился назвать его подлецом? Значит, он не боится Передонова. Уж не знает ли он чего-нибудь о Передонове? Знает и хочет донести.

В классе Крамаренко смотрел на Передонова в упор и улыбался, и это еще более страшило Передонова.

В третью перемену Передонова опять пригласили к директору. Он пошел, смутно предчувствуя что-то неприятное.

Со всех сторон до Хрипача доносились слухи о подвигах Передонова. Сегодня утром ему рассказали о вчерашнем происшествии в клубе. Вчера же после уроков к нему явился Володя Бультяков, на днях наказанный своею хозяйкою по жалобе Передонова. Опасаясь вторичного посещения его с такими же последствиями, мальчик пожаловался директору.

Сухим, резким голосом Хрипач передал Передонову дошедшие до него слухи, — из достоверных источников, прибавил он, — о том, что Передонов ходит на квартиры к ученикам, сообщает их родителям или воспитателям неточные сведения об успехах и поведении их детей и требует, чтобы мальчиков секли, вследствие чего происходят иногда крупные неприятности с родителями, как, например, вчера в клубе с нотариусом Гудаевским.

Передонов слушал озлобленно, трусливо. Хрипач замолчал.

— Что ж такое, — сердито сказал Передонов, — он дерется, а разве это позволяется? Он не имел никакого права мне в рожу заехать. Он в церковь не ходит, в обезьяну верует и сына в ту же секту совращает. На него надо донести, — он социалист.

Хрипач внимательно посмотрел на Передонова и сказал внушительно:

— Все это не наше дело, и я совершенно не понимаю, что вы разумеете под оригинальным выражением «верует в обезьяну». По моему мнению, не следовало бы обогащать историю религий вновь изобретаемыми культами. Относительно же нанесенного вам оскорбления вам следовало бы привлечь его к суду. А самое лучшее было бы для вас — оставить нашу гимназию. Это был бы наилучший исход и для вас лично, и для гимназии.

— Я инспектором буду, — сердито возразил Передонов.

— До тех же пор, — продолжал Хрипач, — вам следует воздержаться от этих странных прогулок. Согласитесь сами, что такое поведение неприлично педагогу и роняет достоинство учителя в глазах учеников. Ходить по домам сечь мальчиков, — это, согласитесь сами...

Хрипач не кончил и пожал плечами.

— Что ж такое, — опять возразил Передонов, — я для их же пользы.

— Пожалуйста, не будем спорить, — резко прервал Хрипач, — я самым решительным образом требую от вас, чтоб это больше не повторялось.

Передонов сердито смотрел на директора.

Сегодня вечером решили справлять новоселье. Позвали всех своих знакомых. Передонов ходил по комнатам и посматривал, все ли в порядке, нет ли где чего такого, о чем могут донести. Он думал: «Что ж, кажется, все хорошо, — запрещенных книжек не видно, лампадки теплятся, царские портреты висят на стене, на почетном месте».

Вдруг Мицкевич со стены подмигнул Передонову.

«Подведет», — испуганно подумал Передонов, быстро снял портрет и потащил его в отхожее место, чтобы заменить им Пушкина, а Пушкина повесить сюда.

«Все-таки Пушкин — придворный человек», — думал он, вешая его на стену в столовой.

Потом припомнил он, что вечером будут играть, и решил осмотреть карты. Он взял распечатанную колоду, которая только однажды была в употреблении, и принялся перебирать карты, словно отыскивая в них что-то. Лица у фигур ему не нравились: глазастые такие.

В последнее время за игрою ему все казалось, что карты ухмыляются, как Варвара. Даже какая-нибудь пиковая шестерка являла нахальный вид и непристойно вихлялась.

Передонов собрал все карты, какие были, и остриями ножниц проколол глаза фигурам, чтобы они не подсматривали. Сначала сделал он это с играными картами, а потом распечатал и новые колоды. Все это проделывал он с оглядкою, словно боялся, что его накроют. К счастью его, Варвара занялась в кухне и не заглядывала в горницы, — да и как ей было уйти от такого изобилия съестных припасов: как раз Клавдия чем-нибудь попользуется. Когда ей что-нибудь надобилось в горницах, она посылала туда Клавдию. Каждый раз, когда Клавдия входила, Передонов вздрагивал, прятал ножницы в карман и притворялся, что раскладывает пасьянс.

Меж тем как Передонов таким образом лишал королей и дам возможности досаждать ему подсматриваниями, надвигалась на него неприятность с другой стороны. Ту шляпу, которую на прежней квартире Передонов забросил на печку, чтоб она не попадалась под руку, нашла Ершова. Домекнулась она, что неспроста оставлена шляпа: ненавистники — ее съехавшие жильцы, и очень может быть, — думала Ершова, — что они со зла на нее наколдовали в шляпу что-нибудь такое, отчего квартиру никто не станет снимать. В страхе и в досаде понесла она шляпу знахарке. Та осмотрела шляпу, таинственно и сурово пошептала над нею, поплевала на все четыре стороны и сказала Ершовой:

— Они тебе напакостили, а ты им отпакости. Сильный колдун ворожил, да я хитрее, я напротив его тебе так выворожу, что его самого скорежит.

И она еще долго ворожила над шляпою и, получив от Ершовой щедрые дары, велела ей отдать шляпу рыжему парню, чтоб он отнес шляпу Передонову, отдал ее первому, кого встретит, а сам бежал бы без оглядки.

Случилось так, что первый рыжий парень, встреченный Ершовою, был один из слесарят, злобившихся на Передонова за раскрытие ночной проказы. Он с удовольствием взялся за пятак исполнить поруче-

ние и по дороге от себя усердно наплевал в шляпу. В квартире у Передонова, встретив в темных сенцах самое Варвару, он сунул ей шляпу и убежал так проворно, что Варвара не успела его разглядеть.

И вот, едва успел Передонов ослепить последнего валета, как вошла в горницу Варвара, удивленная и даже испуганная, и сказала дрожащим от волнения голосом:

— Ардальон Борисыч, посмотри, что это такое.

Передонов взглянул и замер от ужаса. Та самая шляпа, от которой он было отделался, теперь была в Варвариных руках, помятая, запыленная, едва хранящая следы былого великолепия. Он спросил, задыхаясь от ужаса:

— Откуда, откуда это?

Варвара испуганным голосом рассказала, как получила эту шляпу от юркого мальчишки, который словно из-под земли вырос перед нею и опять словно сквозь землю провалился. Она сказала:

— Это — никто, как Ершиха. Это она тебе наколдовала в шляпу, уж это непременно.

Передонов бормотал что-то неразборчивое, и зубы его стучали от страха. Мрачные опасения и предчувствия томили его. Он ходил, хмурясь, а серая недотыкомка бегала под стульями и хихикала.

Гости собрались рано. Нанесли на новоселье много пирогов, яблок и груш. Варвара принимала все это с радостью, только из приличия приговаривала:

— Ну к чему это вы? Напрасно беспокоились.

Но если ей казалось, что принесли дешевое или плохое, то она сердилась. Не нравилось ей тоже, если двое гостей приносили одинаковое.

Не теряя времени, сели за карты. Играли в стуколку, на двух столах.

— Ах, батюшки! — воскликнула Грушина, — что это король-то у меня слепой!

— Да и у меня дама безглазая, — всмотревшись в свои карты, сказала Преполовенская, — да и валет тоже.

Гости со смехом принялись рассматривать карты. Преполовенский заговорил:

— То-то я смотрю, что такое, шершавые карты, — а это вот отчего. А я все щупаю, — что такое, думаю, шершавая какая рубашка, а это, выходит, от этих дырочек. То-то она, рубашка-то, и шершавая.

Все смеялись, один только Передонов был угрюм. Варвара, ухмыляясь, говорила:

— Ведь вы знаете, мой Ардальон Борисыч все чудит, все придумывает разные штуки.

— Да зачем ты это? — с громким хохотом спрашивал Рутилов.

— Что им глаза? — угрюмо сказал Передонов, — им не надо смотреть.

Все хохотали, а Передонов оставался угрюм и молчалив. Ему казалось, что ослепленные фигуры кривляются, ухмыляются и подмигивают ему зияющими дырками в своих глазах.

«Может быть, — думал Передонов, — они теперь изловчились носом смотреть».

Как почти всегда, ему не везло, и на лицах у королей, дам и валетов чудилось ему выражение насмешки и злобы; пиковая дама даже зубами скрипела, очевидно, злобясь на то, что ее ослепили. Наконец после одного крупного ремиза Передонов схватил колоду карт и с яростью принялся рвать ее в клочья. Гости хохотали. Варвара, ухмыляясь, говорила:

— Уж он у меня всегда такой, — выпьет, да и начнет чудить.

— С пьяных глаз, значит? — язвительно сказала Преполовенская. — Слышите, Ардальон Борисыч, как ваша сестрица о вас понимает?

Варвара покраснела и сказала сердито:

— Что вы к словам цепляетесь?

Преполовенская улыбалась и молчала.

Взамен разорванной взяли новую колоду карт и продолжали игру.

Вдруг послышался грохот, — разбилось оконное стекло, камень упал на пол, близ стола, где сидел Передонов. Под окном слышен был тихий говор, смех, потом быстрый, удаляющийся топот. Все в переполохе вскочили с мест; женщины, как водится, завизжали. Подняли камень, рассматривали его испуганно, к окну никто не решался подойти, — сперва выслали на улицу Клавдию и только тогда, когда она донесла, что на улице пусто, стали рассматривать разбитое стекло.

Володин сообразил, что это бросили камень гимназисты. Догадка показалась правдоподобною, и все значительно поглядели на Передонова. Передонов хмурился и бормотал что-то невнятное. Гости заговорили о том, какие дерзкие и распущенные есть мальчишки.

Были же это, конечно, не гимназисты, а слесарята.

— Это директор подговорил гимназистов, — вдруг заявил Передонов, — он ко мне все придирается, не знает, чем доехать, так вот придумал.

— Эку штуку вывез! — с хохотом закричал Рутилов.

Все захохотали, только Грушина сказала:

— А что вы думаете, он такой ядовитый человек, от него все можно ожидать. Он не сам, он сторонкой, через сыновей шепнет.

— Это ничего, что аристократы, — обиженным голосом заблеял Володин, — от аристократов всего можно ждать.

Многие из гостей подумали, что, пожалуй, и правда, и перестали смеяться.

— Незадача тебе на стекло, Ардальон Борисыч, — сказал Рутилов, — то очки разбили, то окно высадили.

Это возбудило новый приступ смеха.

— Стекла бьют, — долго жить, — со сдержанною улыбкою сказала Преполовенская.

Когда Передонов и Варвара собрались спать, Передонову казалось, что у Варвары что-то злое на уме; он отобрал от нее ножи и вилки и спрятал их под постелью. Он лепетал коснеющим языком:

— Я тебя знаю: ты, как только за меня замуж выйдешь, так на меня и донесешь, чтобы от меня отделаться. Будешь пенсию получать, а меня в Петропавловке на мельнице смелют.

Ночью Передонов бредил. Неясные, страшные ходили бесшумно фигуры — короли, валеты, помахивая своими палицами. Они шептались, старались спрятаться от Передонова и тихонько лезли к нему под подушку. Но скоро они сделались смелее и заходили, забегали, завозились вокруг Передонова, повсюду, — по полу, по кровати, по подушкам. Они шушукались, дразнили Передонова, казали ему языки, корчили перед ним

страшные рожи, безобразно растягивая рты. Передонов видел, что они все маленькие и проказливые, что они его не убьют, а только издеваются над ним, предвещая недоброе. Но ему было страшно, — он то бормотал какие-то заклинания, отрывки слышанных им в детстве заговоров, то принимался бранить их и гнать их от себя, махал руками и кричал сиплым голосом.

Варвара проснулась и сердито спросила:

— Что ты орешь, Ардальон Борисыч? спать не даешь.

— Пиковая дама все ко мне лезет, в тиковом капоте, — пробормотал Передонов.

Варвара встала и, ворча и чертыхаясь, принялась отпаивать Передонова какими-то каплями.

В местном губернском листке появилась статейка о том, будто бы в нашем городе некая госпожа К. сечет живущих у нее на квартире маленьких гимназистов, сыновей лучших местных дворянских семей. Нотариус Гудаевский носился с этим известием по всему городу и негодовал.

И разные другие нелепые слухи ходили по городу о здешней гимназии: говорили о переодетой гимназистом барышне, потом имя Пыльникова стали понемногу соединять с Людмилиным. Товарищи начали дразнить Сашу любовью к Людмиле. Сперва он легко относился к этим шуточкам, потом начал по временам вспыхивать и заступаться за Людмилу, уверяя, что ничего такого не было и нет.

И от этого ему стыдно стало ходить к Людмиле, но и сильнее тянуло пойти: смешанные, жгучие чувства стыда и влечения волновали его и туманно-страстными видениями наполняли его воображение.

XXI

В воскресенье, когда Передонов и Варвара завтракали, в переднюю кто-то вошел. Варвара, крадучись по привычке, подошла к двери и взглянула в нее. Так же тихонько вернувшись к столу, она прошептала:

— Почтальон. Надо ему водки дать, — опять письмо принес.

Передонов молча кивнул головою, — что ж, ему не жалко рюмки водки. Варвара крикнула:

— Почтальон, иди сюда!

Письмоносец вошел в горницу. Он рылся в сумке и притворялся, что ищет письмо. Варвара налила в большую рюмку водки и отрезала кусок пирога. Письмоносец посматривал на ее действия с вожделением. Меж тем Передонов все думал, на кого похож почтарь. Наконец он вспомнил, — это же ведь тот рыжий, прыщеватый хлап, что недавно подвел его под такой крупный ремиз.

«Опять, пожалуй, подведет», — тоскливо подумал Передонов и показал письмоносцу кукиш в кармане.

Рыжий хлап подал письмо Варваре.

— Вам-с, — почтительно сказал он, поблагодарил за водку, выпил, крякнул, захватил пирог и вышел.

Варвара повертела в руках письмо и, не распечатывая, протянула его Передонову.

— На, прочти; кажется, опять от княгини, — сказала она, ухмыляясь, — расписалась, а толку мало. Чем писать, дала бы место.

У Передонова задрожали руки. Он разорвал оболочку и быстро прочел письмо. Потом вскочил с места, замахал письмом и завопил:

— Ура! три инспекторских места, любое можно выбирать. Ура, Варвара, наша взяла!

Он заплясал и закружился по горнице. С неподвижно-красным лицом и с тупыми глазами он казался странно-большою, заведенною в пляс куклою. Варвара ухмылялась и радостно глядела на него. Он крикнул:

— Ну теперь решено, Варвара, — венчаемся.

Он схватил Варвару за плечи и принялся вертеть ее вокруг стола, топоча ногами.

— Русскую, Варвара! — закричал он.

Варвара подбоченилась и поплыла. Передонов плясал перед нею вприсядку.

Вошел Володин и радостно заблеял:

— Будущий инспектор трепака откалывает!

— Пляши, Павлушка! — закричал Передонов.

Клавдия выглядывала из-за двери. Володин крикнул ей, хохоча и ломаясь:

— Пляши, Клавдюша, и ты! Все вместе! Распотешим будущего инспектора!

Клавдия завизжала и поплыла, пошевеливая плечами. Володин лихо завертелся перед нею, — приседал, повертывался, подскакивал, хлопал в ладоши. Особенно лихо выходило у него, когда он подымал колено и под коленом ударял в ладоши. Пол ходенем ходил под их каблуками. Клавдия радовалась тому, что у нее такой ловкий молодец.

Устали, сели за стол, а Клавдия убежала с веселым хохотом в кухню. Выпили водки, пива, побили бутылки и стаканы, кричали, хохотали, махали руками, обнимались и целовались. Потом Передонов и Володин побежали в Летний сад, — Передонов спешил похвастаться письмом.

В бильярдной застали обычную компанию. Передонов показал приятелям письмо. Оно произвело большое впечатление. Все доверчиво осматривали его. Рутилов бледнел и, бормоча что-то, брызгался слюною.

— При мне почтальон принес! — восклицал Передонов. — Сам я и распечатывал. Уж тут, значит, без обмана.

И приятели смотрели на него с уважением. Письмо от княгини!

Из Летнего сада Передонов стремительно пошел к Вершиной. Он шел быстро и ровно, однообразно махал руками, бормотал что-то; на лице его, казалось, не было никакого выражения, — как у заведенной куклы, было оно неподвижно, — и только какой-то жадный огонь мертво мерцал в глазах.

День выдался ясный, жаркий. Марта сидела в беседке. Она вязала чулок. Мысли ее были смутны и набожны. Сначала она думала о грехах, потом направила мысли свои к более приятному и стала размышлять о добродетелях. Думы ее начали обволакиваться дремою и стали образны, и по мере того, как уничтожалась их выража-

емая словами вразумительность, увеличивалась ясность их мечтательных очертаний. Добродетели предстали перед нею как большие, красивые куклы в белых платьях, сияющие, благоуханные. Они обещали ей награды, в руках их звенели ключи, на головах развевались венчальные покрывала.

Между ними одна была странная и не похожая на других. Она ничего не обещала, но глядела укоризненно, и губы ее двигались с беззвучною угрозою; казалось, что если она скажет слово, то станет страшно. Марта догадалась, что это совесть. Она была вся в черном, эта странная, жуткая посетительница, с черными глазами, с черными волосами, — и вот она заговорила о чем-то, быстро, часто, отчетливо. Она стала совсем похожа на Вершину. Марта встрепенулась, ответила что-то на ее вопрос, ответила почти бессознательно, — и опять дрема одолела Марту.

Совесть ли, Вершина ли сидела против нее и говорила что-то скоро и отчетливо, но непонятно и курила чем-то чужепахучим, — решительная, тихая, требующая, чтобы все было, как она хочет. Марта хотела посмотреть прямо в глаза этой докучной посетительнице, но почему-то не могла, — та странно улыбалась, ворчала, и глаза ее убегали куда-то и останавливались на далеких, неведомых предметах, на которые Марте страшно было глядеть...

Громкий разговор разбудил Марту. В беседке стоял Передонов и громко говорил, здороваясь с Вершиною. Марта испуганно озиралась. Сердце у нее стучало, а глаза еще слипались, и мысли еще путались. Где же совесть? Или ее и не было? И не следовало ей здесь быть?

— А вы дрыхнули тут, — сказал ей Передонов, — храпели во все носовые завертки. Теперь вы сосна.

Марта не поняла его каламбура, но улыбалась, догадываясь по улыбке на губах у Вершиной, что говорится что-то, что надо принимать за смешное.

— Вас бы надо Софьей назвать, — продолжал Передонов.

— Почему же? — спросила Марта.

— А потому, что вы — соня, а не Марфа.

Передонов сел на скамейку рядом с Мартою и сказал:

— А у меня новость, очень важная.

— Какая же у вас новость, поделитесь с нами, — сказала Вершина, и Марта тотчас позавидовала ей, что она таким большим количеством слов сумела выразить простой вопрос: какая новость?

— Угадайте, — угрюмо-торжественно сказал Передонов.

— Где же мне угадать, какая у вас новость, — ответила Вершина, — вы так скажите, вот мы и будем знать вашу новость.

Передонову было неприятно, что не хотят разгадать его новость. Он замолчал и сидел, неловко сгорбившись, тупой и тяжелый, и неподвижно смотрел перед собою. Вершина курила и криво улыбалась, показывая свои темно-желтые зубы.

— Чем так-то угадывать ваши новости, — сказала она, помолчав немного, — давайте я вам на картах погадаю. Марта, принесите из комнат карты.

Марта встала, но Передонов сердито остановил ее:

— Сидите, не надо, я не хочу. Гадайте сами себе, а меня оставьте. Уж меня теперь на свой копыл не перегадаете. Вот я вам покажу штуку, так вы рты разинете.

Передонов проворно вынул из кармана бумажник, достал из него письмо в оболочке и показал Вершиной, не выпуская из рук.

— Видите, — сказал он, — конверт. А вот и письмо.

Он вынул письмо и прочитал его медленно, с тупым выражением удовольствованной злости в глазах. Вершина опешила. Она до последней минуты не верила в княгиню, но теперь она поняла, что дело с Мартою окончательно проиграно. Досадливо, криво усмехнулась она и сказала:

— Ну что ж, ваше счастье.

Марта сидела с удивленным и испуганным лицом и растерянно улыбалась.

— Что, взяли? — сказал Передонов злорадно. — Вы меня дураком считали, а я-то поумнее вас выхожу. Вот про конверт говорили, — а вот вам и конверт. Нет, уж мое дело верное.

Он стукнул кулаком по столу, несильно и негромко, — и движение его, и звук его слов оставались как-то странно равнодушными, словно он был чужой и далекий своим делам.

Вершина и Марта переглянулись с брезгливо-недоумевающим видом.

— Что переглядываетесь! — грубо сказал Передонов, — нечего переглядываться: теперь уж кончено, женюсь на Варваре. Многие тут барышеньки меня ловили.

Вершина послала Марту за папиросами, — и Марта радостно выбежала из беседки. На песчаных дорожках, пестревших увядшими листьями, ей стало свободно и легко. Она встретила около дома босого Владю, — и ей стало еще веселее и радостнее.

— Женится на Варваре, решено, — оживленно сказала она, понижая голос и увлекая брата в дом.

Между тем Передонов, не дожидаясь Марты, внезапно стал прощаться.

— Мне некогда, — сказал он, — жениться — не лапти ковырять.

Вершина его не удерживала и распрощалась с ним холодно. Она была в жестокой досаде: все еще была до этого времени слабая надежда пристроить Марту за Передонова, а себе взять Мурина, — и вот теперь последняя надежда исчезла. И досталось же за это сегодня Марте! Пришлось поплакать.

Передонов вышел от Вершиной и задумал закурить. Он внезапно увидел городового, — тот стоял себе на углу и лущил подсолнечниковые семечки. Передонов почувствовал тоску.

«Опять соглядатай, — подумал он, — так и смотрят, к чему бы придраться».

Он не посмел закурить вынутой папиросы, подошел к городовому и робко спросил:

— Господин городовой, здесь можно курить?

Городовой сделал под козырек и почтительно осведомился:

— То есть, ваше высокородие, это насчет чего?

— Папиросочку, — пояснил Передонов, — вот одну папиросочку можно выкурить?

— Насчет этого никакого приказания не было, — уклончиво отвечал городовой.

— Не было? — переспросил Передонов с печалью в голосе.

— Никак нет, не было. Так что господа, которые курят, это не велено останавливать, а чтобы разрешение вышло, об этом не могу знать.

— Если не было, так я и не стану, — сказал покорно Передонов. — Я — благонамеренный. Я даже брошу папироску. Ведь я статский советник.

Передонов скомкал папироску, бросил ее на землю и, уже опасаясь, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего, поспешно пошел домой. Городовой посмотрел за ним с недоумением, наконец решил, что у барина «залито на вчерашние дрожжи», и, успокоенный этим, снова принялся за мирное лущение семечек.

— Улица торчком встала, — пробормотал Передонов.

Улица поднималась на невысокий холм, и за ним снова был спуск, и перегиб улицы меж двух лачуг рисовался на синем, вечереющем, печальном небе. Тихая область бедной жизни замкнулась в себе, и тяжко грустила, и томилась. Деревья свешивали ветки через заборы, и заглядывали, и мешали идти, и шепот их был насмешливый и угрожающий. Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова.

Вдруг из-за угла послышался блеющий смех, выдвинулся Володин и подошел здороваться. Передонов смотрел на него мрачно и думал о баране, который сейчас стоял, и вдруг его нет.

«Это, — думал он, — конечно, Володин оборачивается бараном. Недаром же он так похож на барана, и не разобрать, смеется ли он или блеет».

Эти мысли так заняли его, что он совсем не слышал, что говорил, здороваясь, Володин.

— Что лягаешься, Павлушка? — тоскливо сказал он.

Володин осклабился, заблеял и возразил:

— Я не лягаюсь, Ардальон Борисыч, а здороваюсь с вами за руку. Это, может быть, у вас на родине руками лягаются, а у меня на родине ногами лягаются, да и то не люди, а, с позволения сказать, лошадки.

— Еще боднешь, пожалуй, — проворчал Передонов.

Володин обиделся и дребезжащим голосом сказал:

— У меня, Ардальон Борисыч, еще рога не выросли, а это, может быть, у вас рога вырастут раньше, чем у меня.

— Язык у тебя длинный, мелет, что не надо, — сердито сказал Передонов.

— Если вы так, Ардальон Борисыч, — немедленно возразил Володин, — то я могу и помолчать.

И лицо его сделалось совсем прискорбным, и губы его совсем выпятились; однако он шел рядом с Передоновым, — он еще не обедал и рассчитывал сегодня пообедать у Передонова: утром, на радостях, звали.

Дома ждала Передонова важная новость. Еще в передней можно было догадаться, что случилось необычное, — в горницах слышалась возня, испуганные восклицания. Передонов подумал, — не все готово к обеду: увидели — он идет, испугались, торопятся. Ему стало приятно, — как его боятся! Но оказалось, что произошло другое. Варвара выбежала в прихожую и закричала:

— Кота вернули!

Испуганная, она не сразу заметила Володина. Наряд ее был, по обыкновению, неряшлив, — засаленная блуза над серою, грязною юбкою, истоптанные туфли. Волосы нечесаные, растрепанные. Взволнованно говорила она Передонову:

— Иришка-то! со злобы еще новую штуку выкинула. Опять мальчишка прибежал, принес кота и бросил, а у кота на хвосте гремушки, — так и гремят. Кот забился под диван и не выходит.

Передонову стало страшно.

— Что же теперь делать? — спросил он.

— Павел Васильевич, — попросила Варвара, — вы помоложе, турните его из-под дивана.

— Турнем, турнем, — хихикая, сказал Володин и пошел в залу.

Кота кое-как вытащили и сняли у него с хвоста гремушки. Передонов отыскал репейниковые шишки и снова принялся лепить их в кота. Кот яростно зафыркал и убежал в кухню. Передонов, усталый от возни с котом, уселся в своем обычном положении, — локти на ручки кресла, пальцы скрещены, нога на ногу, лицо неподвижное, угрюмое.

Второе княгинино письмо Передонов берег усерднее, чем первое: носил его всегда при себе в бумажнике, но всем показывал и принимал при этом таинственный вид. Он зорко смотрел, не хочет ли кто-нибудь отнять это письмо, не давал его никому в руки и после каждого показывания прятал в бумажник, бумажник засовывал в сюртук, в боковой карман, сюртук застегивал и строго, значительно смотрел на собеседников.

— Что ты с ним так носишься? — иногда со смехом спрашивал Рутилов.

— На всякий случай, — угрюмо объяснял Передонов, — кто вас знает! Еще стянете.

— Чистая Сибирь у тебя это дело, — говорил Рутилов, хохотал и хлопал по плечу Передонова.

Но Передонов сохранял невозмутимую важность. Вообще, он в последнее время важничал больше обыкновенного. Он часто хвастал:

— Вот я буду инспектором. Вы тут киснуть будете, а у меня под началом два уезда будут. А то и три. Ого-го!

Он совсем уверился, что в самом скором времени получит инспекторское место. Учителю Фаластову он не раз говорил:

— Я, брат, и тебя вытащу.

И учитель Фаластов сделался очень почтительным в обращении с Передоновым.

XXII

Передонов стал часто ходить в церковь. Он становился на видное место и то крестился чаще, чем следовало, то вдруг столбенел и тупо смотрел перед собою. Какие-то соглядатаи, казалось ему, прятались за столбами, выглядывали оттуда, старались его рассмешить. Но он не поддавался.

Смех — тихий смешок, хихиканье да шептанье девиц Рутиловых звучали в ушах у Передонова, разрастаясь порою до пределов необычайных, — точно прямо в уши ему смеялись лукавые девы, чтобы рассмешить — и погубить его. Но Передонов не поддавался.

Порою, меж клубами ладанного дыма, являлась недотыкомка, дымная, синеватая; глазки блестели огоньками, она с легким звяканьем носилась иногда по воздуху, но недолго, а все больше каталась в ногах у прихожан, издевалась над Передоновым и навязчиво мучила. Она, конечно, хотела напугать Передонова, чтобы он ушел из церкви до конца обедни. Но он понимал ее коварный замысел — и не поддавался.

Церковная служба, — не в словах и обрядах, а в самом внутреннем движении своем столь близкая такому множеству людей, — Передонову была непонятна. Поэтому страшила. Каждения ужасали его, как неведомые чары.

«Чего размахался?» — думал он.

Одеяния священнослужителей казались ему грубыми, досадно пестрыми тряпками, — и когда он глядел на облаченного священника, он злобился, и хотелось ему изорвать ризы, изломать сосуды. Церковные обряды и таинства представлялись ему злым колдовством, направленным к порабощению простого народа.

«Просвирку в вино накрошил, — думал он сердито про священника, — вино дешевенькое, народ морочат, чтобы им побольше денег за требы носили».

Таинство вечного претворения бессильного вещества в расторгающую узы смерти силу было перед ним навек занавешено. Ходячий труп! Нелепое совмещение неверия в живого Бога и Христа его с верою в колдовство!

Стали выходить из церкви. Сельский учитель Мачигин, простоватый молодой человек, подстал к девицам, улыбался и бойко беседовал. Передонов подумал, что неприлично ему при будущем инспекторе так вольно держаться. На Мачигине была соломенная шляпа. Но Передонов вспомнил, что как-то летом, за городом, он видел его в форменной фуражке с кокардою. Передонов решил пожаловаться. Кстати, инспектор Богданов был тут же. Передонов подошел к нему и сказал:

— А ваш-то Мачигин шапку с кокардой носит. Забарничал.

Богданов испугался, задрожал, затряс своею серенькою еретицею.

— Не имеет права, никакого права не имеет, — озабоченно говорил он, мигая красными глазками.

— Не имеет права, а носит, — жаловался Передонов. — Их подтянуть надо, я вам давно говорил. А то всякий мужик сиволапый кокарду носить будет, так это что же будет!

Богданов, уже и раньше напуганный Передоновым, пуще перетревожился.

— Как же это он смеет, а? — плачевно говорил он. — Я его сейчас же позову, сейчас же, и строжайше запрещу.

Он распрощался с Передоновым и торопливо затрусил к своему дому.

Володин шел рядом с Передоновым и укоризненно-блеющим голосом говорил:

— Носит кокарду. Скажите помилуйте! Разве он чины получает? Как же это можно!

— Тебе тоже нельзя носить кокарду, — сказал Передонов.

— Нельзя, — и не надо, — возразил Володин. — А только я тоже иногда надеваю кокарду, — но ведь только я знаю, где можно и когда. Пойду себе за город, да там и надену. И мне удовольствие, и никто не запретит. А мужичок встретится, — все-таки почтения больше.

— Тебе, Павлушка, кокарда не к рылу, — сказал Передонов. — И ты от меня отстань: ты меня запылил своими копытами.

Володин обиженно умолк, но шел рядом. Передонов сказал озабоченно:

— Вот еще на Рутиловых девок надо бы донести. Они в церковь только болтать да смеяться ходят. Намажутся, нарядятся, да и пойдут. А сами ладан крадут да из него духи делают, — от них всегда вонько пахнет.

— Скажите помилуйте! — качая головою и тараща тупые глаза, говорил Володин.

По земле быстро ползла тень от тучи и наводила на Передонова страх. В клубах пыли по ветру мелькала иногда серая недотыкомка. Шевелилась ли трава по ветру, а уже Передонову казалось, что серая недотыкомка бегала по ней и кусала ее, насыщаясь.

«Зачем трава в городе? — думал он. — Беспорядок! Выполоть ее надо».

Ветка на дереве зашевелилась, съежилась, почернела, закаркала и полетела вдаль. Передонов дрогнул, дико крикнул и побежал домой. Володин трусил за ним озабоченно, с недоумевающим выражением в вытаращенных глазах, придерживая на голове котелок и помахивая тросточкою.

Богданов в тот же день призвал Мачигина. Перед входом в инспекторскую квартиру Мачигин стал на улице спиною к солнцу, снял шляпу и причесался на тень пятернею.

— Как же это вы, юноша, а? что это вы такое выдумали, а? — напустился Богданов на Мачигина.

— В чем дело? — развязно спросил Мачигин, поигрывая соломенною шляпою и пошаливая левою ножкою.

Богданов его не посадил, ибо намеревался распечь.

— Как же это, как же это вы, юноша, кокарду носите, а? как это вы решили посягнуть, а? — спрашивал он, напуская на себя строгость и усиленно потрясая серенькою своею еретицею.

Мачигин покраснел, но бойко ответил:

— Что ж такое, разве же я не вправе?

— Да разве же вы чиновник, а? чиновник? — заволновался Богданов, — какой вы чиновник, а? азбучный регистратор, а?

— Знак учительского звания, — бойко сказал Мачигин и внезапно сладко улыбнулся, вспомнив о важности своего учительского звания.

— Носите палочку в руках, палочку, вот вам и знак учительского звания, — посоветовал Богданов, покачивая головою.

— Помилуйте, Сергей Потапыч, — с обидою в голосе сказал Мачигин, — что же палочка! Палочку всякий может, а кокарда для престижа.

— Для какого престижа, а? для какого, какого престижа? — накинулся на юношу Богданов, — какой вам нужен престиж, а? Вы разве начальник?

— Помилуйте, Сергей Потапыч, — рассудительно доказывал Мачигин, — в крестьянском малокультурном сословии это сразу возбуждает прилив почтения, — сейгод гораздо ниже кланяются.

Мачигин самодовольно погладил рыженькие усики.

— Да нельзя, юноша, никак нельзя, — скорбно покачивая головою, сказал Богданов.

— Помилуйте, Сергей Потапыч, учитель без кокарды все равно что британский лев без хвоста, — уверял Мачигин, — одна карикатура.

— При чем тут хвост, а? какой тут хвост, а? — с волнением заговорил Богданов. — Куда вы в политику заехали, а? Разве это ваше дело о политике рассуждать, а? Нет, уж вы, юноша, кокарду снимите, сделайте божескую милость. Нельзя, как же можно, сохрани Бог, мало ли кто может узнать!

Мачигин пожал плечами, хотел еще что-то возразить, но Богданов перебил его, — в его голове мелькнула блистательная, по его разумению, мысль.

— Ведь вот вы ко мне без кокарды пришли, а, без кокарды? сами чувствуете, что нельзя.

Мачигин замялся было, но нашел и на этот раз возражение:

— Так как мы сельские учителя, то нам и нужна сельская привилегия, а в городе мы состоим зауряд-интеллигентами.

— Нет, уж вы, юноша, знайте, — сердито сказал Богданов, — что это нельзя, и если я еще услышу, тогда мы вас уволим.

Грушина время от времени устраивала вечеринки для молодых людей, из числа которых надеялась выудить мужа. Для отвода глаз приглашала и семейных знакомых.

Вот была такая вечеринка. Гости собрались рано.

На стенах в гостиной у Грушиной висели картинки, закрытые плотною кисеею. Впрочем, неприличного в них ничего не было. Когда Грушина подымала, с лукавою и нескромною усмешечкою, кисейные занавесочки, гости любовались голыми бабами, написанными плохо.

— Что же это баба кривая? — угрюмо сказал Передонов.

— Ничего не кривая, — горячо заступилась Грушина за картинку, — это она изогнулась так.

— Кривая, — повторил Передонов. — И глаза разные, как у вас.

— Ну, много вы понимаете! — обиженно сказала Грушина, — эти картинки очень хорошие и дорогие. Художникам без таких нельзя.

Передонов внезапно захохотал: он вспомнил совет, данный им на днях Владе.

— Чего вы заржали? — спросила Грушина.

— Нартанович, гимназист, своей сестре Марфе платье подпалит, — объяснил он, — я ему посоветовал это сделать.

— Станет он палить, нашли дурака! — возразила Грушина.

— Конечно, станет, — уверенно сказал Передонов, — братья с сестрами всегда ссорятся. Когда я маленьким был, так всегда своим сестрам пакостил, — маленьких бил, а старшим одежду портил.

— Не все же ссорятся, — сказал Рутилов, — вот я с сестрами не ссорюсь.

— Что ж ты с ними, целуешься, что ли? — спросил Передонов.

— Ты, Ардальон Борисыч, свинья и подлец, и я тебе оплеуху дам, — очень спокойно сказал Рутилов.

— Ну, я не люблю таких шуток, — ответил Передонов и отодвинулся от Рутилова.

«А то еще, — думал он, — и в самом деле даст, — что-то зловещее у него лицо».

— У нее, — продолжал он о Марте, — только и есть одно платье, черное.

— Вершина ей новое сошьет, — с завистливою злостью сказала Варвара. — К свадьбе все приданое сделает. Красавица, инда лошади жахаются, — проворчала она тихо и злорадно посмотрела на Мурина.

— Пора и вам венчаться, — сказала Преполовенская. — Чего ждете, Ардальон Борисыч?

Преполовенские уже видели, что после второго письма Передонов твердо решил жениться на Варваре. Они и сами поверили письму.

Стали говорить, что всегда были за Варвару. Ссориться с Передоновым им не было расчета, — выгодно с ним играть в карты. А Геня, делать нечего, пусть подождет, — другого жениха придется поискать.

Преполовенский заговорил:

— Конечно, венчаться вам надо: и доброе дело сделаете, да и княгине угодите; княгине приятно будет, что вы женитесь, так что вы и ей угодите, и доброе дело сделаете, вот и хорошо будет, а то так-то что же, а тут все же доброе дело сделаете, да и княгине приятно.

— Вот и я то же говорю, — сказала Преполовенская.

А Преполовенский не мог остановиться, и, видя, что от него уже все отходят, сел рядом с молодым чиновником, и принялся ему растолковывать то же самое.

— Я решился венчаться, — сказал Передонов, — только мы с Варварой не знаем, как надо венчаться. Что-то надо сделать, а я и не знаю что.

— Вот, дело нехитрое, — сказала Преполовенская, — да если хотите, мы с мужем вам все устроим, вы только сидите и ни о чем не думайте.

— Хорошо, — сказал Передонов, — я согласен. Только чтобы все было хорошо и прилично. Мне денег не жалко.

— Уж все будет хорошо, не беспокойтесь, — уверяла Преполовенская.

Передонов продолжал ставить свои условия:

— Другие из скупости покупают тонкие обручальные кольца, серебряные вызолоченные, а я так не хочу, а чтоб были настоящие золотые. И я даже хочу вместо обручальных колец заказать обручальные браслеты, — это и дороже, и важнее.

Все засмеялись.

— Нельзя браслеты, — сказала Преполовенская, легонько усмехаясь, — кольца надо.

— Отчего нельзя? — с досадою спросил Передонов.

— Да уж так, не делают.

— А может быть, и делают, — недоверчиво сказал Передонов. — Это еще я у попа спрошу. Он лучше знает.

Рутилов, хихикая, советовал:

— Уж ты лучше, Ардальон Борисыч, обручальные пояса закажи.

— Ну на это у меня и денег не хватит, — ответил Передонов, не замечая насмешки, — я не банкир. А только я на днях во сне видел, что венчаюсь, а на мне атласный фрак, и у нас с Варварою золотые браслеты. А сзади два директора стоят, над нами венцы держат и аллилую поют.

— Я сегодня тоже интересный сон видел, — объявил Володин, — а к чему он, не знаю. Сижу это я будто на троне, в золотой короне, а передо мною травка, а на травке барашки, все барашки, все барашки, бе-бе-бе. Так вот все барашки ходят, и так головой делают, и все этак бе-бе-бе.

Володин прохаживался по комнатам, тряс лбом, выпячивал губы и блеял. Гости смеялись. Володин сел на место, блаженно глядел на всех, щуря глаза от удовольствия, и смеялся тоже бараньим, блеющим смехом.

— Ну что же дальше? — спросила Грушина, подмигивая гостям.

— Ну и все барашки, все барашки, а тут я и проснулся, — кончил Володин.

— Барану и сны бараньи, — ворчал Передонов, — важное кушанье — бараний царь.

— А я сон видела, — с нахальною усмешкою сказала Варвара, — так его при мужчинах нельзя рассказывать, — ужо вам одной расскажу.

— Ах, матушка Варвара Дмитриевна, вот-то, в одно слово, и у меня то же, — хихикая и подмигивая всем, отвечала Грушина.

— Расскажите, мы — мужчины скромные, вроде дам, — сказал Рутилов.

И прочие мужчины просили Варвару и Грушину рассказать сны. Но те переглядывались, погано смеялись и не рассказывали.

Сели играть в карты. Рутилов уверял, что Передонов отлично играет. Передонов верил. Но сегодня, как и всегда, он проигрывал. Рутилов был в выигрыше. От этого он пришел в большую радость и говорил оживленнее обыкновенного.

Передонова дразнила недотыкомка. Она пряталась где-то близко, — покажется иногда, высунется из-за стола или из-за чьей-нибудь спины и спрячется. Казалось, она ждала чего-то. Было страшно. Самый вид карт страшил Передонова. Дамы — по две вместе.

«А где же третья?» — думал Передонов.

Он тупо разглядывал пиковую даму, потом повернул ее другою стороною, — третья, может быть, спряталась за рубашкою.

Рутилов сказал:

— Ардальон Борисыч своей даме за рубашку смотрит.

Все захохотали.

Между тем в стороне два молоденьких полицейских чиновника сели играть в дурачки. Партии разыгрывались у них живо. Выигравший хохотал от радости и показывал другому длинный нос. Проигравший сердился.

Запахло съестным. Грушина позвала гостей в столовую. Все пошли, толкаясь и жеманясь. Расселись кое-как.

— Кушайте, господа, — угощала Грушина. — Ешьте, дружки, набивайте брюшки по самые ушки.

— Пирог ешь — хозяйку тешь, — кричал радостно Мурин.

Ему было весело смотреть на водку и думать, что он в выигрыше.

Усерднее всех угощались Володин и два молоденьких чиновника, — они выбирали кусочки получше и подороже и с жадностью пожирали икру. Грушина сказала, принужденно смеясь:

— Павел-то Васильевич, пьян, да призорок, через хлеб да за пирог.

Нешто она для него икру покупала! И, под предлогом угостить дам, она отставила от него все, что было получше. Но Володин не унывал и довольствовался тем, что осталось: он успел съесть много хорошего с самого начала, и теперь ему было все равно.

Передонов смотрел на жующих, и ему казалось, что все смеются над ним. С чего? над чем? Он с остервенением ел все, что попадалось, ел неряшливо и жадно.

После ужина опять играли. Но скоро Передонову надоело. Он бросил карты и сказал:

— Ну вас к черту! не везет! Надоело! Варвара, пойдем домой.

И другие гости поднялись за ним.

В передней Володин увидел, что у Передонова новая тросточка. Осклабясь, он поворачивал ее перед собою и спрашивал:

— Ардаша, отчего же тут пальчики калачиком свернуты? Что же это обозначает?

Передонов сердито взял у него из рук тросточку, приблизил ее набалдашником, с кукишем из черного дерева, к носу Володина и сказал:

— Шиш тебе с маслом.

Володин сделал обиженное лицо.

— Позвольте, Ардальон Борисыч, — сказал он, — я с маслом хлебец изволю кушать, а шиша с маслом я не хочу кушать.

Передонов, не слушая его, заботливо кутал шею шарфом и застегивал пальто на все пуговицы. Рутилов говорил со смехом:

— Чего ты кутаешься, Ардальон Борисыч? Тепло.

— Здоровье всего дороже, — ответил Передонов.

На улице было тихо, — улица улеглась во мраке и тихонько похрапывала. Темно было, тоскливо и сыро. На небе бродили тяжелые тучи. Передонов ворчал:

— Напустили темени, а к чему?

Он теперь не боялся, — шел с Варварою, а не один.

Скоро пошел дождь, мелкий, быстрый, продолжительный. Все стало тихо, — и только дождь болтал что-то навязчиво и скоро, захлебываясь, — невнятные, скучные, тоскливые речи.

Передонов чувствовал в природе отражения своей тоски, своего страха под личиною ее враждебности к нему, — той же внутренней и недоступной внешним определениям жизни во всей природе, жизни, которая одна только и создает истинные отношения, глубокие и несомненные, между человеком и природою, этой жизни он не чувствовал. Потому-то вся природа казалась ему проникнутою мелкими человеческими чувствами. Ослепленный обольщениями личности и отдельного бытия, он не понимал дионисических, стихийных восторгов, ликующих и вопиющих в природе. Он был слеп и жалок, как многие из нас.

XXIII

Преполовенские взяли на себя устройство венчания. Венчаться решили в деревне, верстах в шести от города: Варваре неловко было идти под венец в городе после того, как прожили столько лет, выдавая себя за родных. День, назначенный для венчания, скрыли: Преполовенские распустили слух, что венчаться будут в пятницу, а на самом деле свадьба была в среду днем. Это сделали, чтобы не наехали любопытные из города. Варвара не раз повторяла Передонову:

— Ты, Ардальон Борисыч, не проговорись, когда венец-то будет, а то еще помешают.

Деньги на расход по свадьбе Передонов выдавал неохотно, с издевательствами над Варварою. Иногда он приносил свою палку с набалдашником-кукишем и говорил Варваре:

— Поцелуй мой кукиш, дам денег, не поцелуешь — не дам.

Варвара целовала кукиш.

— Что же такое, губы не треснут, — говорила она.

Срок свадьбы таили до самого назначенного дня даже от шаферов, чтобы не проболтались. Сперва позвали в шаферы Рутилова и Володина, — оба охотно согласились: Рутилов ожидал забавного анекдота, Володину было лестно играть такую значительную роль при таком выдающемся событии в жизни такого почтенного лица. Потом Передонов сообразил, что ему мало одного шафера. Он сказал:

— Тебе, Варвара, одного будет, а мне двух надо, мне одного мало, — надо мной трудно венец держать, я — большой человек.

И Передонов пригласил вторым шафером Фаластова. Варвара ворчала:

— Куда его, к черту, два есть, чего еще?

— У него очки золотые, важнее с ним, — сказал Передонов.

Утром в день свадьбы Передонов помылся теплою водою, как всегда, чтобы не застудить себя, и затем потребовал румян, объясняя:

— Мне надо теперь каждый день подкрашиваться, а то еще подумают — дряхлый, и не назначат инспектором.

Варваре жаль было своих румян, но пришлось уступить, — и Передонов подкрасил себе щеки. Он бормотал: «Сам Верига красится, чтобы моложе быть. Не могу же я с белыми щеками венчаться».

Затем, запершись в спальне, он решил наметить себя, чтобы Володин не мог подменить его собою. На груди, на животе, на локтях, еще на разных местах намазал он чернилами букву «П».

«Надо было бы наметить и Володина, да как его наметишь? Увидит — сотрет», — тоскливо думал Передонов.

Затем пришла ему в голову мысль, что не худо бы надеть корсет, а то за старика примут, если невзначай согнешься. Он потребовал от Варвары корсет. Но Варварины корсеты оказались ему тесны, — ни один не сходился.

— Надо было раньше купить, — сердито ворчал он. — Ничего не подумают.

— Да кто же мужчины носит корсет, — возражала Варвара, — никто не носит.

— Верига носит, — сказал Передонов.

— Так Верига — старик, а ты, Ардальон Борисыч, слава Богу, мужчина в соку.

Передонов самодовольно улыбнулся, посмотрел в зеркало и сказал:

— Конечно, я еще лет полтораста проживу.

Кот чихнул под кроватью. Варвара сказала, ухмыляясь:

— Вот и кот чихает, — значит, верно.

Но Передонов вдруг нахмурился. Кот уже стал ему страшен, и чиханье его показалось ему злою хитростью.

«Начихает тут чего не надо», — подумал он, полез под кровать и принялся гнать кота. Кот дико мяукал, прижимался к стене и вдруг, с громким и резким мяуканьем, шмыгнул меж рук у Передонова и выскочил из горницы.

— Черт голландский! — сердито обругал его Передонов.

— Черт и есть, — поддакивала Варвара, — совсем одичал кот, погладить не дается, ровно в него черт вселился.

Преполовенские послали за шаферами с раннего утра. Часам к десяти все собрались у Передонова. Пришли Грушина и Софья с мужем.

Подали водку и закуску. Передонов ел мало и тоскливо думал, чем бы ему отличить себя еще больше от Володина.

«Барашком завился», — злобно думал он и вдруг сообразил, что ведь и он может причесаться по-особенному. Он встал из-за стола и сказал:

— Вы тут ешьте и пейте, мне не жалко, а я пойду к парикмахеру, причешусь по-испански.

— Как же это по-испански? — спросил Рутилов.

— А вот увидишь.

Когда Передонов ушел стричься, Варвара сказала:

— Все придумки разные придумывает. Черти ему все мерещатся. Поменьше бы сивухи трескал, опитоха проклятый!

Преполовенская сказала с хитрою усмешечкою:

— Вот повенчаетесь, Ардальон Борисыч получит место и успокоится.

Грушина хихикала. Ее веселила таинственность этого венчания и подстрекала жажда устроить какое-нибудь позорище, да так, чтобы самой не быть замешанною. Она под рукою шепнула вчера вечером некоторым из своих друзей о часе и месте венчания. Сегодня рано утром она зазвала к себе младшего слесаренка, дала ему пятачок и подговорила к вечеру ждать за городом проезда новобрачных и накидать в их повозку сору да бумажек. Слесаренок радостно согласился и дал клятвенное обещание не выдавать. Грушина напомнила ему:

— А Черепнина-то выдали, как вас пороть стали.

— Дураки мы были, — сказал слесаренок, — а теперь хоть пусть повесят, все равно.

И слесаренок, в подтверждение своей клятвы, съел горсточку земли. За это Грушина прибавила ему еще три копейки.

В парикмахерской Передонов потребовал самого хозяина. Хозяин, молодой человек, окончивший недавно городское училище и почитывавший книги из земской библиотеки, кончал стричь какого-то незнакомого Передонову помещика. Скоро кончил и подошел к Передонову.

— Сперва его отпусти, — сердито сказал Передонов.

Помещик расплатился и ушел. Передонов уселся перед зеркалом.

— Мне постричься и прическу надо сделать, — сказал он. — У меня сегодня важное дело есть, совсем особенное, — так ты мне сделай прическу по-испански.

Стоявший у двери мальчик-ученик смешливо фыркнул. Хозяин строго посмотрел на него. По-испански стричь ему не приходилось, и он не знал, что это за прическа испанская и есть ли такая прическа. Но если господин требует, то, надо полагать, он знает, чего хочет. Молодой парикмахер не пожелал обнаружить своего невежества. Он почтительно сказал:

— Из ваших волос, господин, никак нельзя-с.

— Это почему нельзя? — обиженно спросил Передонов.

— Вашим волосам плохое питание, — объяснил парикмахер.

— Что же, мне их пивом поливать, что ли? — проворчал Передонов.

— Помилуйте, зачем же пивом! — любезно улыбаясь, отвечал парикмахер, — а только возьмите то, что если постричь сколько-нибудь и притом же так как у вас на голове уже солидность обозначается, то никак не хватит на испанскую прическу.

Передонов чувствовал себя сраженным невозможностью остричься по-испански. Он уныло сказал:

— Ну стриги как хочешь.

«Уж не подговорили ли этого парикмахера, — думал он, — чтобы не стричь на отличку. Не надо было говорить дома». Очевидно, что пока Передонов шел чинно и степенно по улицам, Володин барашком побежал задворками и снюхался с парикмахером.

— Прикажете спрыснуть? — спросил парикмахер, окончив свое дело.

— Спрысни меня резедой, да побольше, — потребовал Передонов, — а то обчекрыжил кое-как, хоть резедой сдобри.

— Резеды, извините, не держим, — смущенно сказал парикмахер, — не угодно ли опопонаксом?

— Ничего-то ты не можешь как следует, — горестно сказал Передонов, — уж прыскай, что есть.

Он в досаде возвращался домой. День стоял ветреный. Ворота от ветра хлопали, зевали и смеялись. Передонов смотрел на них тоскливо. Как тут ехать? Но уже все делалось само собой.

Поданы были три тарантаса, — надо было садиться и ехать, а то повозки привлекут внимание, — соберутся любопытные, приедут и прибегут смотреть на свадьбу. Разместились и поехали: Передонов с Варварой, Преполовенские с Рутиловым, Грушина с остальными шаферами.

На площади поднялась пыль. Стучали, — слышалось Передонову, — топоры. Еле видная сквозь пыль, подымалась, росла деревянная стена. Рубили крепость. Мелькали мужики в красных рубахах, свирепые и молчаливые.

Тарантасы пронеслись мимо, — страшное видение мелькнуло и скрылось. Передонов оглядывался в ужасе, но уже ничего не было видно, — и никому не решился он сказать о своем видении.

Всю дорогу грусть томила Передонова. Враждебно все смотрело на него, все веяло угрожающими приметами. Небо нахмурилось. Ветер дул навстречу и вздыхал о чем-то. Деревья не хотели давать тени, — всю себе забрали. Зато поднималась пыль длинною полупрозрачно-серою змеею. Солнце с чего-то пряталось за тучи, — подсматривало, что ли?

Дорога шла мажарами, — неожиданные из-за невысоких холмов вставали кусты, рощи, поляны, ручьи под гулкими деревянными мостами-трубами.

— Глаз-птица пролетела, — угрюмо сказал Передонов, всматриваясь в белесовато-туманную даль небес. — Один глаз и два крыла, а больше ничего и нету.

Варвара ухмылялась. Она думала, что Передонов пьян с утра. Но она не спорила с ним, а то еще, — думала она, — рассердится и не пойдет под венец.

В церкви уже стояли в уголке, прячась за колонною, все четыре сестры Рутиловы. Передонов их не видел сначала, но потом, уже во время самого венчания, когда они вышли из своей засады и подвинулись вперед, — он увидел их и испугался. Впрочем, они ничего худого

не сделали, не потребовали, — чего он боялся сперва, — чтобы он Варвару прогнал, а взял одну из них, — а только все время смеялись. И смех их, сначала тихий, все громче и злее отдавался в его ушах, как смех неукротимых фурий.

Посторонних в церкви почти не было, — только две-три старушки пришли откуда-то. И хорошо: Передонов вел себя глупо и странно. Он зевал, бормотал, толкал Варвару, жаловался, что воняет ладаном, воском, мужичьем.

— Твои сестры все смеются, — бормотал он, обернувшись к Рутилову, — печенку смехом просверлят.

Кроме того, тревожила его недотыкомка. Она была грязная и пыльная и все пряталась под ризу к священнику.

И Варваре, и Грушиной церковные обряды казались смешными. Обе беспрестанно хихикали. Слова о том, что жена должна прилепиться к своему мужу, вызвали у них особенную веселость. Рутилов тоже хихикал, — он считал своей обязанностью всегда и везде смешить дам. Володин же вел себя степенно и крестился, сохраняя на лице глубокомысленное выражение. Он не связывал с церковными обрядами никакого иного представления, кроме того, что все это установлено, подлежит исполнению и что исполнение всех обрядов ведет к некоторому внутреннему удобству: сходил в праздник в церковь, помолился, — и прав, нагрешил, покаялся, — и опять прав. Хорошо и удобно, — тем удобнее, что вне церкви обо всем церковном не надо было и думать, а руководиться следовало совсем иными житейскими правилами.

Только что кончилось венчанье, не успели еще выйти из церкви, — вдруг неожиданность. В церковь шумно ввалилась пьяная компания — Мурин со своими приятелями.

Мурин, растрепанный и серый, как всегда, облапил Передонова и закричал:

— От нас, брат, не скроешь! Такие приятели, водой не разольешь, а он, штукарь, скрыл.

Слышались восклицания:

— Злодей, не позвал!

— А мы тут как тут!

— Да, мы таки зазнали!

Вновь прибывшие обнимали и поздравляли Передонова. Мурин говорил:

— По пьяному делу заблудились немножко, а то бы мы к началу потрафили.

Передонов хмуро смотрел и не отвечал на поздравления. Злоба и страх томили его.

«Везде выследят», — тоскливо думал он.

— Вы бы лбы перекрестили, — сказал он злобно, — а то, может быть, вы злоумышляете.

Гости крестились, хохотали, кощунствовали. Особенно отличались молоденькие чиновнички. Дьякон укоризненно унимал их.

Среди гостей был один, с рыжими усами, молодой человек, которого даже и не знал Передонов. Необычайно похож на кота. Не их ли это кот обернулся человеком? Недаром этот молодой человек все фыркает, — не забыл кошачьих ухваток.

— Кто вам сказал? — злобно спрашивала новых гостей Варвара.

— Добрые люди, молодайка, — отвечал Мурин, — а кто, уж мы и позабыли.

Грушина вертелась и подмигивала. Новые гости посмеивались, но ее не выдали. Мурин говорил:

— Уж как хошь, Ардальон Борисыч, а мы все к тебе, а ты нам шампанею ставь, не будь жомой. Как же можно, такие приятели, водой не разольешь, а ты тишком удумал.

Когда Передоновы возвращались из-под венца, солнце заходило, а небо все было в огне и в золоте. Но не нравилось это Передонову. Он бормотал:

— Наляпали золота кусками, аж отваливается. Где это видано, чтобы столько тратить!

Слесарята встретили их за городом с толпою других уличных мальчишек, бежали и гукали. Передонов дрожал от страха. Варвара ругалась, плевала на мальчишек, казала им кукиши. Гости и шафера хохотали.

Приехали. Вся компания ввалилась к Передоновым с гамом, гвалтом и свистом. Пили шампанское, потом принялись за водку и сели играть в карты. Пьянствовали всю ночь. Варвара напилась, плясала и ликовала. Ликовал и Передонов, — его таки не подменили. С Варварой гости, как всегда, обращались цинично и неуважительно; ей казалось это в порядке вещей.

После свадьбы в житье-бытье у Передоновых мало что изменилось. Только обращение Варвары с мужем становилось увереннее и независимее. Она как будто поменьше бегала перед мужем, — но все еще, по закоренелой привычке, побаивалась его. Передонов, тоже по привычке, по-прежнему покрикивал на нее, даже иногда поколачивал. Но уже и он чуял ее большую в своем положении уверенность. И это наводило на него тоску. Ему казалось, что если она не как прежде боится его, то это потому, что она укрепилась в своем преступном замысле отделаться от него и подменить его Володиным.

«Надо быть настороже», — думал он.

А Варвара торжествовала. Она, вместе с мужем, делала визиты городским дамам, даже и малознакомым. При этом она проявляла смешную гордость и неумелость. Везде ее принимали, хотя во многих домах с удивлением. Для визитов Варвара заблаговременно заказала шляпу лучшей местной модистке. Яркие цветы, крупные, насаженные в изобилии, восторгали Варвару.

Свои визиты Передоновы начали с директорши. Потом поехали к жене предводителя дворянства.

В тот день, когда Передоновы собрались делать визиты, — что у Рутиловых, конечно, было заранее известно, — сестры отправились к Варваре Николаевне Хрипач, из любопытства посмотреть, как-то Варвара поведет себя здесь. Скоро пришли и Передоновы. Варвара сделала реверанс директорше и больше обыкновенного дребезжащим голосом сказала:

— Вот и мы к вам. Прошу любить и жаловать.

— Очень рада, — с принуждением ответила директорша и усадила Варвару на диван.

Варвара с видимым удовольствием села на отведенное место, широко раскинула свое шумящее зеленое платье и заговорила, стараясь развязностью скрыть смущение:

— Все мамзелью была, а вот и мадамой стала. Мы с вами тезки, — я Варвара, и вы Варвара, — а не были знакомы домами. Пока мамзелью была, все больше дома сидела, — да что ж все за печкой сидеть! Теперь мы с Ардальон Борисычем будем открыто жить. Милости просим, — мы к вами, вы к нами, мусью к мусьи, мадам к мадами.

— Только вам здесь, кажется, недолго придется жить, — сказала директорша, — ваш муж, я слышала, переводится.

— Да, вот скоро бумага придет, мы и поедем, — ответила Варвара. — А пока бумага не пришла, надо еще и здесь пожить, покрасоваться.

Варвара и сама надеялась на инспекторское место. После свадьбы она написала княгине письмо. Ответа еще не получила. Решила еще написать к Новому году.

Людмила сказала:

— А уж мы думали, что вы, Ардальон Борисыч, на барышне Пыльниковой женитесь.

— Ну да, — сердито сказал Передонов, — что ж мне на всякой жениться, — мне протекция нужна.

— А все-таки, как же это с m-lle Пыльниковой у вас разошлось? — дразнила Людмила. — Ведь вы за нею ухаживали? Она вам отказала?

— Я еще ее выведу на чистую воду, — ворчал угрюмо Передонов.

— Это — idee fixe Ардальон Борисыча, — с сухим смешком сказал директор.

XXIV

Кот у Передонова дичал, фыркал, не шел по зову, — совсем отбился от рук. Страшен он стал Передонову. Иногда Передонов чурался от кота.

«Да поможет ли это? — думал он. — Сильное электричество у этого кота в шерсти, вот в чем беда».

Однажды он придумал: остричь бы кота надо. Вздумано — сделано. Варвары не было дома, — она пошла к Грушиной, опустив в карман бутылочку с вишневою наливкою, — помешать некому. Передонов привязал кота на веревку, — ошейник сделал из носового платка, — и повел в парикмахерскую. Кот дико мяукал, метался, упирался. Иногда в отчаянии бросался он на Передонова, — но Передонов отстранял его палкою. Мальчишки толпою бежали сзади, гукали, хохотали. Прохожие останавливались. Из окон выглядывали на шум. Передонов угрюмо тянул кота за веревку, ничем не смущаясь.

Привел-таки — и сказал парикмахеру:

— Хозяин, кота побрей, да поглаже.

Мальчишки толпились у дверей снаружи, хохотали, кривлялись. Парикмахер обиделся, покраснел. Он сказал слегка дрожащим голосом:

— Извините, господин, мы этакими делами не занимаемся. И даже не приходилось видеть бритых котов. Это, должно быть, самая последняя мода, до нас еще не дошла.

Передонов слушал его в тупом недоумении. Он крикнул:

— Скажи — не умею, шарлатан.

И ушел, таща неистово мяукавшего кота. Дорогою он думал тоскливо, что везде, всегда, все над ним только смеются, никто не хочет ему помочь. Тоска теснила его грудь.

Передонов с Володиным и Рутиловым пришли в сад играть на бильярде. Смущенный маркер объявил им:

— Нельзя-с играть сегодня, господа.

— Это почему? — злобно спросил Передонов, — нам, да нельзя!

— Так как, извините, а только что шаров нету, — сказал маркер.

— Проворонил, ворона, — послышался из-за перегородки грозный окрик буфетного содержателя.

Маркер вздрогнул, шевельнул вдруг покрасневшими ушами, — какое-то словно заячье движение, — и шепнул:

— Украли-с.

Передонов крикнул испуганно:

— Ну! кто украл?

— Неизвестно-с, — доложил маркер. — Ровно как никого не было, а вдруг глядь, и шаров нету-с.

Рутилов хихикал и восклицал:

— Вот так анекдот!

Володин сделал обиженное лицо и выговаривал маркеру:

— Если у вас изволят шарики воровать, а вы изволите в это время быть в другом месте, а шарики брошены, то вам надо было загодя другие шарики завести, чтобы нам было чем играть. Мы шли, хотели поиграть, а если шариков нету, то как же мы можем играть?

— Не скули, Павлушка, — сказал Передонов, — без тебя тошно. Ищи, маркер, шары, нам непременно надо играть, а пока тащи пару пива.

Принялись пить пиво. Но было скучно. Шары так и не находились. Ругались меж собою, бранили маркера. Тот чувствовал себя виноватым и отмалчивался.

В этой краже усмотрел Передонов новую вражью каверзу.

«Зачем?» — думал он тоскливо и не понимал. Он пошел в сад, сел на скамеечку над прудом, — здесь еще он никогда не сиживал, — и тупо уставился на затянутую зеленью воду. Володин сел рядом с ним, разделял его грусть и бараньими глазами глядел на тот же пруд.

— Зачем тут грязное зеркало, Павлушка? — спросил Передонов и ткнул палкою по направлению к пруду.

Володин осклабился и ответил:

— Это не зеркало, Ардаша, это — пруд. А так как ветерка теперь нет, то в нем деревья и отражаются, вот оно и показывает, будто зеркало.

Передонов поднял глаза. За прудом забор отделял сад от улицы. Передонов спросил:

— А кот на заборе зачем?

Володин посмотрел туда же и сказал, хихикая:

— Был, да весь вышел.

Кота и не было, — померещился он Передонову, — кот с широко-зелеными глазами, хитрый, неутомимый враг.

Передонов опять стал думать о шарах. Кому они нужны? Недотыкомка, что ли, их пожрала? «То-то ее сегодня и не видно, — думал Передонов. — Нажралась, да и завалилась куда-нибудь, спит теперь, поди».

Передонов уныло побрел домой.

Запад потухал. Тучка бродила по небу, блуждала, подкрадывалась, — мягкая обувь у туч, — подсматривала. На ее темных краях загадочно улыбался темный отблеск. Над речкою, что текла меж садом и городом, тени домов да кустов колебались, шептались, искали кого-то.

А на земле, в этом темном и вечно враждебном городе, все люди встречались злые, насмешливые. Все смешивалось в общем недоброжелательстве к Передонову, собаки хохотали над ним, люди облаивали его.

Городские дамы начали отдавать Варваре визиты. Некоторые с радостным любопытством поспешили уже на второй, на третий день посмотреть, какова-то Варвара дома. Другие промедлили неделю и больше. А иные и вовсе не пришли, — не была, например, Вершина.

Передоновы ожидали каждый день ответных визитов с трепетным нетерпением; пересчитывали, кто еще не был. Особенно нетерпеливо ждали директора с женою. Ждали и волновались непомерно, — а вдруг Хрипачи не приедут.

Прошла неделя. Хрипачей еще не было. Варвара начала злиться и ругаться. Передонова же повергло это ожидание в нарочито угнетенное состояние. Глаза у Передонова стали совсем бессмысленными; словно они потухали, и казалось иногда, что это — глаза мертвого человека. Нелепые страхи мучили его. Без всякой видимой причины он начинал вдруг бояться тех или других предметов. С чего-то пришла ему в голову и томила несколько дней мысль, что его зарежут; он боялся всего острого и припрятал ножи да вилки.

«Может быть, — думал он, — они наговорены да нашептаны. Как раз и сам на нож нарежешься».

— Зачем ножи? — сказал он Варваре. — Едят же китайцы палочками.

Целую неделю из-за этого не жарили мяса, довольствовались щами да кашею.

Варвара, мстя Передонову за испытанные до свадьбы страхи, иногда поддакивала ему и утверждала его этим в убеждении, что его причуды недаром. Она говаривала ему, что у него много врагов, да и както ему не завидовать? Не раз говорила она, дразня Передонова, что уж наверное на него донесли, обнесли его перед начальством, да и перед княгинею. И радовалась, что он, видимо, трусил.

Передонову казалось ясным, что княгиня им недовольна. Разве она не могла прислать ему на свадьбу образа или калача? Он думал: надо заслужить ее милость, да чем? Ложью, что ли? Оклеветать когонибудь, насплетничать, донести. Все дамы любят сплетни, — так вот бы на Варвару сплести что-нибудь веселое да нескромное и написать княгине. Она посмеется, а ему даст место.

Но не сумел Передонов написать такое письмо, да и страшно ему стало, — писать к самой княгине. А потом он и забыл об этой затее.

Своих обычных гостей Передонов угощал водкою да самым дешевым портвейном. А для директора купил мадеры в три рубля. Это вино Передонов считал чрезвычайно дорогим, хранил его в спальне, а гостям только показывал и говорил:

— Для директора.

Сидели раз у Передонова Рутилов да Володин. Передонов показал им мадеру.

— Что снаружи смотреть, — невкусно! — сказал Рутилов, хихикая. — Ты нас угости дорогой-то мадеркой.

— Ишь ты, чего захотел! — сердито отвечал Передонов. — А что же я директору подам?

— Директор водки рюмку выпьет, — сказал Рутилов.

— Директору нельзя водку пить, директору мадера полагается, — рассудительно говорил Передонов.

— А если он водку любит? — настаивал Рутилов.

— Ну вот еще, генерал водку любить не станет, — уверенно сказал Передонов.

— А ты нас все-таки угости, — приставал Рутилов.

Но Передонов поспешно унес бутылку, и слышно было, как звенел замок у шкапика, в котором он спрятал вино. Вернувшись к гостям, он, чтобы переменить разговор, стал говорить о княгине. Он угрюмо сказал:

— Княгиня! на базаре гнилыми яблоками торговала да князя и обольстила.

Рутилов захохотал и крикнул:

— Да разве князья по базарам ходят?

— Да уж она сумела приманить, — сказал Передонов.

— Сочиняешь ты, Ардальон Борисыч, небылицу в лицах, — спорил Рутилов, — княгиня — знатная дама.

Передонов смотрел на него злобно и думал: «Заступается, — с княгинею, видно, заодно. Княгиня его, видно, околдовала, даром что далеко живет».

А недотыкомка юлила вокруг, беззвучно смеялась и вся сотрясалась от смеха. Она напоминала Передонову о разных страшных обстоятельствах. Он боязливо озирался и шептал:

— В каждом городе есть тайный жандармский унтер-офицер. Он в штатском, иногда служит, или торгует, или там еще что делает, а ночью, когда все спят, наденет голубой мундир, да и шасть к жандармскому офицеру.

— А зачем же мундир? — деловито осведомился Володин.

— К начальству нельзя без мундира, высекут, — объяснил Передонов.

Володин захихикал. Передонов наклонился к нему поближе и зашептал:

— Иногда он даже оборотнем живет. Ты думаешь, это просто кот, ан врешь! это жандарм бегает. От кота никто не таится, а он все и подслушивает.

Наконец, недели через полторы, директорша отдала визит Варваре. Приехала с мужем, в будень, в четыре часа, нарядная, любезная, благоухающая сладкою фиалкою, — и совсем неожиданно для Передоновых: те ждали Хрипачей почему-то в праздник, да пораньше. Переполошились. Варвара была в кухне, полуодетая, грязная. Она

метнулась одеваться, а Передонов принимал гостей и казался только что разбуженным.

— Варвара сейчас, — бормотал он, — она одевается. Она стряпала. У нас прислуга новая, не умеет по-нашему, дура набитая.

Скоро вышла и Варвара, с красным, испуганным лицом, кое-как одетая. Она сунула гостям потную, грязноватую руку и дрожащим от волнения голосом заговорила:

— Уж извините, что заставила ждать, — не знали, что вы в будни пожалуете.

— Я редко выезжаю в праздник, — сказала госпожа Хрипач, — пьяные на улицах. Пусть прислуга имеет себе этот день.

Разговор кое-как завязался, и любезность директорши немного ободрила Варвару. Директорша обошлась с Варварою слегка презрительно, но ласково, — как с раскаявшеюся грешницею, которую надо приласкать, но о которую все еще можно запачкаться. Она сделала Варваре несколько наставлений, как бы мимоходом, — об одежде, обстановке.

Варвара старалась угодить директорше, и дрожь испуга не оставляла ее красных рук и потрескавшихся губ. Директоршу это стесняло. Она старалась быть еще любезнее, но невольная гадливость одолевала ее. Всем своим обращением она давала понять Варваре, что близкое знакомство между ними не установится. Но так как делалось это совсем любезно, то Варвара не поняла и возмнила, что они с директоршею будут большими приятельницами.

Хрипач имел вид человека, который попал не в свое место, но ловко и мужественно скрывает это. От мадеры он отказался: он не привык в этот час пить вино. Разговаривал о городских новостях, о предстоящих переменах в составе окружного суда. Но слишком заметно было, что он и Передонов вращаются в здешнем обществе в различных кругах.

Сидели недолго. Варвара обрадовалась, когда они ушли: и были, и ушли скоро. Она радостно говорила, снова раздеваясь:

— Ну слава Богу, ушли. А то я и не знала, что и говорить-то с ними. Что значит, как мало-то знакомые люди, — не знаешь, с какой стороны к ним и подъехать.

Вдруг она вспомнила, что Хрипачи, прощаясь, не звали их бывать у себя. Это ее смутило сначала, но потом она смекнула:

— Карточку пришлют, с расписанием, когда ходить. У этих господ на все свое время. Вот теперь бы мне надо по-французски насобачиться, а то я по-французски ни бе ни ме.

Возвращаясь домой, директорша сказала мужу:

— Она — жалкая и безнадежно низменная; с нею никак невозможно быть в равных отношениях. В ней ничто не корреспондирует ее положению.

Хрипач ответил:

— Она вполне корреспондирует мужу. Жду с нетерпением, когда его от нас возьмут.

После свадьбы Варвара, с радости, стала выпивать, — особенно часто с Грушиною. Раз, под хмельком, когда у нее сидела Преполовенская, Варвара проболталась о письме. Всего не рассказала, а намекнула довольно ясно.

Хитрой Софье и того было довольно, — ее вдруг словно осенило. «И как сразу не догадаться было!» — мысленно пеняла она себе. По секрету рассказала она про подделку писем Вершиной, — и от той пошло по всему городу.

Преполовенская при встречах с Передоновым не могла не посмеяться над его доверчивостью. Она говорила:

— Уж очень вы просты, Ардальон Борисыч.

— Вовсе я не прост, — отвечал он, — я кандидат университета.

— Вот и кандидат, а уж кто захочет, тот сумеет вас обмишулить.

— Я сам всякого обмишулю, — спорил Передонов.

Преполовенская хитро улыбалась и отходила. Передонов тупо недоумевал, с чего это она? Со зла! — думал он, — все-то ему враги.

И он показывал вслед ей кукиш.

«Ничего не возьмешь», — думал он, утешая себя. Но страх томил.

Этих намеков Преполовенской казалось мало. Сказать же ему ясными словами всю правду она не хотела. Зачем ссориться с Варва-

рою? Время от времени она посылала Передонову анонимные письма, где намеки были яснее. Но Передонов понял их превратно.

Софья писала ему однажды: «Та княгиня, что вам писала письма, поищите, не здесь ли живет».

Передонов подумал, что, верно, княгиня сама приехала сюда за ним следить. Видно, думал он, втюрилась в меня, хочет отбить у Варвары.

И ужасали, и сердили эти письма Передонова. Он приступал к Варваре:

— Где княгиня? Говорят, она сюда приехала.

Варвара, мстя за прежнее, мучила его недомолвками, издевочками, трусливыми, злыми изворотами. Нагло ухмыляясь, она говорила неверным голосом, как говорят, когда заведомо лгут, без надежды на доверие:

— Почем же я знаю, где живет теперь княгиня!

— Врешь, знаешь! — в ужасе говорил Передонов.

Он не понимал, чему надо верить, — смыслу ли ее слов или выдающему ложь звуку ее голоса, — и это, как все для него непонятное, наводило на него ужас. Варвара возражала:

— Ну вот еще! может быть, и уехала куда из Питера, — она ведь у меня не спрашивается.

— А может быть, и в самом деле сюда приехала? — робко спрашивал Передонов.

— Может быть, и сюда приехала, — поддразнивающим голосом говорила Варвара. — В тебя втюрилась, приехала полюбоваться.

Передонов восклицал:

— Врешь! да неужто втюрилась?

Варвара злорадно смеялась.

С тех пор Передонов стал внимательно смотреть, не увидит ли где княгини. Иногда ему казалось, что она заглядывает в окошко, в дверь, подслушивает, шушукается с Варварою.

Время шло, а выжидаемая день за днем бумага о назначении инспектором все не приходила. И частных сведений о месте никаких не было. Справиться у самой княгини Передонов не смел, — Варвара

постоянно пугала его тем, что она знатная. И ему казалось, что если бы он сам вздумал к ней писать, то вышли бы очень большие неприятности. Он не знал, что именно могли с ним сделать по княгининой жалобе, но это-то и было особенно страшно. Варвара говорила:

— Разве не знаешь аристократов? Жди, — сами сделают что надо. А напоминать будешь — обидятся, хуже будет. У них гонору-то сколько! они гордые, они любят, чтобы им верили.

И Передонов пока еще верил. Но злобился на княгиню. Иногда думал он даже, что и княгиня доносит на него, чтобы избавиться от своих обещаний. Или потому доносит, что злится: он повенчался с Варварою, а княгиня сама в него влюблена. Потому, думал он, она и окружила его соглядатаями, которые всюду следят за ним, обступили его так, что уж ему нет ни воздуха, ни света. Недаром она знатная. Все может, что захочет.

Со злости он лгал на княгиню несообразные вещи. Рассказывал Рутилову да Володину, что был прежде ее любовником и она ему платила большие деньги.

— Только я их пропил. Куда мне их, к дьяволу! Она еще мне обещала пенсию по гроб жизни платить, да надула.

— А ты бы брал? — хихикая, спросил Рутилов.

Передонов промолчал, не понял вопроса, а Володин ответил за него солидно и рассудительно:

— Отчего же не брать, если она богатая. Она изволила пользоваться удовольствиями, так должна и платить за это.

— Добро бы красавица! — тоскливо говорил Передонов, — рябая, курносая. Только что платила хорошо, а то бы и плюнуть на нее, чертовку, не захотел. Она должна исполнить мою просьбу.

— Да ты врешь, Ардальон Борисыч, — сказал Рутилов.

— Ну вот, вру. А что она платила-то мне, даром, что ли? Она ревнует к Варваре, потому мне и места не дает так долго.

Передонов не испытывал стыда, когда рассказывал, будто бы княгиня платила ему. Володин был доверчивым слушателем и не замечал нелепостей и противоречий в его рассказах. Рутилов возражал, но

думал, что без огня дыма не бывает: что-то, думал он, было между Передоновым и княгинею.

— Она старее поповой собаки, — говорил Передонов убежденно, как нечто дельное. — Только вы смотрите никому не болтайте, — до нее дойдет — худо будет. Она мажется и поросячью молодость себе в жилы пускает. И не узнаешь, что старая. А уж ей сто лет.

Володин качал головою и причмокивал. Он всему верил.

Случилось, что на другой день после такого разговора Передонову пришлось в одном классе читать крыловскую басню «Лжец». И несколько дней подряд с тех пор он боялся ходить через мост, — брал лодку и переезжал, — а мост, пожалуй, еще провалится. Он объяснил Володину:

— Про княгиню я правду говорил, только вдруг он не поверит, да и провалится, к черту.

XXV

Слухи о поддельных письмах расходились по городу. Разговоры об этом занимали горожан и радовали. Почти все хвалили Варвару и радовались тому, что Передонов одурачен. И все те, кто видел письма, в голос уверяли, что догадались сразу.

Особенно велико было злорадство в доме у Вершиной: Марта, хотя и выходила за Мурина, все же была отвергнута Передоновым; Вершина хотела бы взять Мурина себе, а должна была уступить его Марте; Владя имел свои ощутительные причины ненавидеть Передонова и радоваться его неудаче. Хотя и досадно ему было, что Передонов еще остается в гимназии, но эту досаду перевешивала радость, что Передонову нос. К тому же в последние дни между гимназистами держался упорный слух, будто директор донес попечителю учебного округа, что Передонов сошел с ума, и будто скоро пришлют его свидетельствовать и затем уберут из гимназии.

При встречах с Варварою знакомые, с грубыми шутками, с наглым подмигиванием, заговаривали более или менее прямо об ее проделке. Она ухмылялась нахально, не подтверждала, но и не спорила.

Иные намекали Грушиной, что знают об ее участии в подделке. Она испугалась и пришла к Варваре с упреками, зачем разболтала. Варвара сказала ей, ухмыляясь:

— Что вы петрушку валяете, я никому и не думала говорить.

— От кого же все узнали? — запальчиво спросила Грушина. — Я-то уж никому не скажу, не такая дура.

— И я никому не говорила, — нагло утверждала Варвара.

— Вы мне письмо отдайте, — потребовала Грушина, — а то начнет разбирать, так и по почерку признает, что поддельное.

— Ну и пусть узнает! — сказала досадливо Варвара, — стану я на дурака смотреть.

Грушина сверкала своими разными глазами и кричала:

— Вам хорошо говорить, вы свое получили, а меня из-за вас в тюрьму посадят! Нет, уж как хотите, а письмо мне отдайте. А то ведь и развенчать можно.

— Ну уж это ах оставьте, — нагло подбочась, отвечала Варвара, — уж теперь хоть на площади публикуй, венец не свалится.

— Ничего не «оставьте»! — кричала Грушина, — такого нет закона — обманом венчать. Если Ардальон Борисыч все дело по начальству пустит, до сената, так и разведут.

Варвара испугалась и сказала:

— Да чего злитесь, — достану вам письмо. Нечего бояться, — я вас не выдам. Разве я такая скотина? Душа-то и у меня есть.

— Ну какая там душа! — грубо сказала Грушина, — что у пса, что у человека, один пар, а души нет. Пока жил, пота и был.

Варвара решилась украсть письмо, хоть это было и трудно. Грушина торопила. Одна была надежда — вытащить письмо у Передонова, когда он будет пьян. А пил он много. Нередко и в гимназию являлся навеселе и вел речи бесстыдные, вселявшие отвращение даже в самых злых мальчишках.

Однажды Передонов вернулся из бильярдной пьянее обыкновенного: спрыскивали новые шары. Но с бумажником все не расставался, — кое-как раздевшись, сунул его себе под подушку.

Он спал беспокойно, но крепко и бредил, и слова его в бреду все были о чем-то страшном и безобразном. На Варвару они наводили жуткий страх.

— Ну да ничего, — подбадривала она себя, — только бы не проснулся.

Она пыталась разбудить его, потолкала, — он что-то пробормотал, громко чертыхнулся, но не проснулся. Варвара зажгла свечку и поставила ее так, чтобы свет не падал в глаза Передонову. Цепенея от страха, она встала с постели и осторожно полезла под подушку к Передонову. Бумажник лежал близко, но долго выскальзывал из-под пальцев. Свеча горела тускло. Огонь ее колебался. По стенам, по кровати пробегали боязливые тени, — шмыгали злые чертики. Воздух был душен и неподвижен. Пахло перегорелою водкою. Храп и пьяный бред наполняли всю спальню. Вся горница была как овеществленный бред.

Трепетными руками вынула Варвара письмо и сунула бумажник на прежнее место.

Утром Передонов хватился письма, не нашел его, испугался и закричал:

— Где письмо, Варя?

Варвара, жестоко труся, но скрывая это, сказала:

— Почем же я знаю, Ардальон Борисыч? Ты всем показываешь, вот, должно быть, где-нибудь и выронил. Или вытащили. Друзей-то приятелей у тебя много, с которыми ты по ночам бражничаешь.

Передонов думал, что письмо украли его враги, всего скорее Володин. Теперь Володин держит письмо, а потом заберет в свои когти и все бумаги, и назначение и поедет в инспекторы, а Передонов останется здесь горьким босяком.

Передонов решил защищаться. Он каждый день составлял по доносу на своих врагов: Вершину, Рутиловых, Володина, сослуживцев, которые, казалось ему, метили на то же самое место. По вечерам он относил эти доносы к Рубовскому.

Жандармский офицер жил на видном месте, на площади, близ гимназии. Из окон своих многие примечали, как Передонов входил к жан-

дармскому через ворота. А Передонов думал, — никому невдомек. Ведь он же недаром носит доносы по вечерам и с черного хода, через кухню. Бумагу он держал под полою. Сразу было заметно, что он держит что-то. Если приходилось вынуть руку, поздороваться, он прихватывал бумагу под пальто левою рукою и думал, что никто не может догадаться. Встречные если спрашивали его, куда идет, он им лгал весьма неискусно, но сам был доволен своими неловкими выдумками.

Рубовскому он объяснял:

— Все предатели. Прикидываются друзьями, хотят вернее обмануть. А того и не думают, что я обо всех их знаю такого, что им и в Сибири места мало.

Рубовский слушал его молча. Первый донос, явно нелепый, он переслал директору, так делал и с некоторыми другими. Иные оставлял, на случай чего. Директор написал попечителю, что Передонов обнаруживает явные признаки душевного угнетения.

Дома Передонов постоянно слышал шорохи, непрерывные, докучливые, насмешливые. Он тоскливо говорил Варваре:

— Кто-то там на цыпочках ходит, соглядатаи везде у нас толкутся. Ты, Варька, меня не бережешь.

Варвара не понимала, что значит бред Передонова. То издевалась, то трусила. Говорила злобно и трусливо:

— С пьяных глаз невесть что мерещится.

Дверь в переднюю казалась Передонову особенно подозрительною. Она не затворялась плотно. Щель между ее половинами намекала на что-то, таящееся вне. Не валет ли там подсматривает? Чей-то глаз сверкал, злой и острый.

Кот следил повсюду за Передоновым широко-зелеными глазами. Иногда он подмигивал, иногда страшно мяукал. Видно было сразу, что он хочет подловить в чем-то Передонова, да только не может и потому злится. Передонов отплевывался от него, но кот не отставал.

Недотыкомка бегала под стульями и по углам и повизгивала. Она была грязная, вонючая, противная, страшная. Уже ясно было, что

она враждебна Передонову и прикатилась именно для него, а что раньше никогда и нигде не было ее. Сделали ее — и наговорили. И вот живет она, ему на страх и на погибель, волшебная, многовидная, — следит за ним, обманывает, смеется, — то по полу катается, то прикинется тряпкою, лентою, веткою, флагом, тучкою, собачкою, столбом пыли на улице и везде ползет и бежит за Передоновым, — измаяла, истомила его зыбкою своею пляскою. Хоть бы кто-нибудь избавил, словом каким или ударом наотмашь. Да нет здесь друзей, никто не придет спасать, надо самому исхитриться, пока не погубила его ехидная.

Передонов придумал средство: намазал весь пол клеем, чтобы недотыкомка прилипла. Прилипали подошвы у сапог да подолы у Варвариных платьев, а недотыкомка каталась свободно и визгливо хохотала. Варвара злобно ругалась.

Над Передоновым неотступно господствовали навязчивые представления о преследовании и ужасали его. Он все более погружался в мир диких грез. Это отразилось и на его лице: оно стало неподвижною маскою ужаса.

Уже по вечерам нынче Передонов не ходил играть на бильярде. После обеда он запирался в спальне, дверь загромождал вещами, — стул на стол, — старательно заграждался крестами и чураньем и садился писать доносы на всех, кого только вспомнит. Писал доносы не только на людей, но и на карточных дам. Напишет — и сейчас несет жандармскому офицеру. И так проводил он каждый вечер.

Везде перед глазами у Передонова ходили карточные фигуры, как живые, — короли, крали, хлапы. Ходили даже мелкие карты. Это — люди со светлыми пуговицами: гимназисты, городовые. Туз — толстый, с выпяченным пузом, почти одно только пузо. Иногда карты обращались в людей знакомых. Смешивались живые люди и эти странные оборотни.

Передонов был уверен, что за дверью стоит и ждет валет и что у валета есть какая-то сила и власть, — вроде как у городового, —

может куда-то отвести, в какой-то страшный участок. А под столом сидела недотыкомка. И Передонов боялся заглянуть под стол или за дверь.

Вертлявые мальчишки-восьмерки дразнили Передонова, — это были оборотни-гимназисты. Они поднимали ноги странным, неживым движением, как ножки у циркуля, но только ноги у них были косматые, с копытцами. Вместо хвостов у них росли розги, мальчишки помахивали ими со свистом и сами взвизгивали при каждом взмахе. Недотыкомка из-под стола хрюкала, смеючись на забавы этих восьмерок. Передонов со злобою думал, что к какому-нибудь начальнику недотыкомка не посмела бы забраться. «Не пустят небось, — завистливо думал он, — лакеи швабрами заколошматят».

Наконец Передонов не вытерпел ее злобного, нахально-визгливого смеха. Он принес из кухни топор и разрубил стол, под которым недотыкомка пряталась. Недотыкомка пискнула жалобно и злобно, метнулась из-под стола и укатилась. Передонов дрогнул. «Укусит!» — подумал он, завизжал от ужаса и присел. Но недотыкомка скрылась мирно. Ненадолго...

Иногда Передонов брал карты и со свирепым лицом раскалывал перочинным ножиком головы карточным фигурам. Особенно дамам. Режучи королей, он озирался, чтобы не увидели и не обвинили в политическом преступлении. Но и такие расправы помогали ненадолго. Приходили гости, покупались карты, и в новые карты вселялись опять злые соглядатаи.

Уже Передонов начал считать себя тайным преступником. Он вообразил, что еще со студенческих лет состоит под полицейским надзором. Потому-то, соображал он, за ним и следят. Это и ужасало, и надмевало его.

Ветер шевелил обои. Они шуршали тихим, зловещим шелестом, и легкие полутени скользили по их пестрым узорам. «Соглядатай прячется там, за этими обоями, — думал Передонов. — Злые люди! — думал он, тоскуя, — недаром они наложили обои на стену так неровно, так плохо, что за них мог влезть и прятаться злодей, изворотливый, плоский и терпеливый. Ведь были и раньше такие примеры».

Смутные воспоминания шевельнулись в его голове. Кто-то прятался за обоями, кого-то закололи не то кинжалом, не то шилом. Передонов купил шило. И когда он вернулся домой, обои шевельнулись неровно и тревожно, — соглядатай чуял опасность и хотел бы, может быть, проползти куда-нибудь подальше. Мрак метнулся, прыгнул на потолок и оттуда угрожал и кривлялся.

Злоба закипела в Передонове. Он стремительно ударил шилом в обои. Содрогание пробежало по стене, Передонов, торжествуя, завыл и принялся плясать, потрясая шилом. Вошла Варвара.

— Что ты пляшешь один, Ардальон Борисыч? — спросила она, ухмыляясь, как всегда, тупо и нахально.

— Клопа убил, — угрюмо объяснил Передонов.

Глаза его сверкали диким торжеством. Одно только было нехорошо: скверно пахло. Гнил и вонял за обоями заколотый соглядатай. Ужас и торжество сотрясали Передонова: убил врага! Ожесточилось сердце его до конца в этом убийстве. Несовершенное убийство, — но для Передонова оно было что убийство совершенное. Безумный ужас в нем выковал готовность к преступлению, — и несознаваемое, темное, таящееся в низших областях душевной жизни представление будущего убийства, томительный зуд к убийству, состояние первобытной озлобленности угнетало его порочную волю. Еще скованное, — много поколений легло на древнего Каина, — оно находило себе удовлетворение и в том, что он ломал и портил вещи, рубил топором, резал ножом, срубал деревья в саду, чтобы не выглядывал из-за них соглядатай. И в разрушении вещей веселился древний демон, дух довременного смешения, дряхлый хаос, между тем как дикие глаза безумного человека отражали ужас, подобный ужасам предсмертных чудовищных мук.

И все те же и те же иллюзии повторялись и мучили его. Варвара, тешась над Передоновым, иногда подкрадывалась к дверям той горницы, где сидел Передонов, и оттуда говорила чужими голосами. Он ужасался, подходил тихонько, чтобы поймать врага, — и находил Варвару.

— С кем ты тут шушукалась? — тоскливо спрашивал он.

Варвара ухмылялась и отвечала:

— Да тебе, Ардальон Борисыч, кажется.

— Не все же кажется, — тоскливо бормотал Передонов, — есть же и правда на свете.

Да, ведь и Передонов стремился к истине, по общему закону всякой сознательной жизни, и это стремление томило его. Он и сам не сознавал, что тоже, как и все люди, стремится к истине, и потому смутно было его беспокойство. Он не мог найти для себя истины, и запутался, и погибал.

Уже и знакомые стали дразнить Передонова обманом. С обычною в нашем городе грубостью к слабым говорили об этом обмане при нем. Преполовенская с лукавою усмешечкою спрашивала:

— Что же это вы, Ардальон Борисыч, все еще на ваше инспекторское место не едете?

Варвара за него отвечала Преполовенской со сдержанною злобою:

— Вот получим бумагу и поедем.

На Передонова эти вопросы нагоняли тоску. «Как же я могу жить, если мне не дают места?» — думал он.

Он замышлял все новые планы защиты от врагов. Украл из кухни топор и припрятал его под кроватью. Купил шведский нож и всегда носил его с собою в кармане. Постоянно замыкался. На ночь ставил капканы вокруг дома, да и в горницах, а потом осматривал их. Эти капканы были, конечно, сооружены так, что никто в них не мог попасться: они ущемляли, но не удерживали, и с ними можно было уйти. У Передонова не было ни технических познаний, ни сметливости. Видя каждое утро, что никто не попался, Передонов думал, что его враги испортили капканы. Это его опять страшило.

Особенно внимательно Передонов следил за Володиным. Нередко он приходил к Володину, когда знал, что того нет дома, — и шарил, не захвачены ли им какие-нибудь бумаги.

Передонов начал догадываться, чего хочет княгиня, — чтобы он опять полюбил ее. Ему отвратительна она, дряхлая. «Ведь ей полтора-

ста лет, — злобно думал он. — Да, старая, — думал он, — зато вот какая сильная». И отвращение сплеталось с прельщением. Чуть тепленькая, трупцем попахивает, представлял себе Передонов и замирал от дикого сладострастия.

«Может быть, можно с нею сойтись, и она смилуется. Не написать ли ей письмо?»

И на этот раз Передонов, недолго думая, сочинил письмо к княгине. Он писал:

Я люблю Вас, потому что Вы холодная и далекая. Варвара потеет, с нею жарко спать, несет, как из печки Я хочу иметь любовницу холодную и далекую Приезжайте и соответствуйте

Написал, послал — и раскаялся. «Что-то из этого выйдет? Может быть, нельзя было писать, — думал он, — надо было ждать, когда княгиня сама приедет».

Так случайно вышло это письмо, как и многое Передонов случайно делал, — как труп, движимый внешними силами, и как будто этим силам нет охоты долго возиться с ним: поиграет одна, да и бросит другой.

Скоро недотыкомка опять появилась, — она подолгу каталась вокруг Передонова, как на аркане, и все дразнила его. И уже она была беззвучна и смеялась только дрожью всего тела. Но она вспыхивала тускло-золотыми искрами, злая, бесстыжая, — грозила и горела нестерпимым торжеством. И кот грозил Передонову, сверкал глазами и мяукал дерзко и грозно.

«Чему они радуются?» — тоскливо подумал Передонов и вдруг понял, что конец приближается, что княгиня уже здесь, близко, совсем близко. Быть может, в этой колоде карт.

Да, несомненно, она — пиковая или червонная дама. Может быть, она прячется и в другой колоде или за другими картами, а какая она — неизвестно. Беда в том, что Передонов никогда ее не видел. Спросить у Варвары, — не стоит, — соврет.

Наконец Передонов придумал сжечь всю колоду. Пусть все горят. Если они лезут ему назло в карты, так сами будут виноваты.

Передонов улучил время, когда Варвары не было и печка в зале топилась, — и бросил карты, целую игру, в печку.

С треском развернулись невиданные, бледно-красные цветы, — и горели, обугливаясь по краям. Передонов смотрел в ужасе на эти пламенные цветы.

Карты коробились, перегибались, двигались, словно хотели выскочить из печки. Передонов схватил кочергу и колотил по картам. Посыпались во все стороны мелкие, яркие искры, — и вдруг, в ярком и злом смятении искр, поднялась из огня княгиня, маленькая, пепельно-серая женщина, вся осыпанная потухающими огоньками: она пронзительно вопила тонким голоском, шипела и плевала на огонь.

Передонов повалился навзничь и завыл от ужаса. Мрак обнял его, щекотал и смеялся воркочущими голосами.

XXVI

Саша был очарован Людмилою, но что-то мешало ему говорить о ней с Коковкиною. Словно стыдился. И уже стал иногда бояться ее приходов. Сердце его замирало и брови невольно хмурились, когда он увидит под окном ее быстро мелькавшую розово-желтую шляпу. А все-таки ждал ее с тревогою и с нетерпением, — тосковал, если она долго не приходила. Противоречивые чувства смешались в его душе, чувства темные, неясные, — порочные, потому что ранние, — и сладкие, потому что порочные.

Людмила не была ни вчера, ни сегодня. Саша истомился ожиданием и уже перестал ждать. И вдруг она пришла. Он засиял, бросился целовать ее руки.

— Ну, провалились, — выговаривал он ей ворчливо, — двое суток вас не видать.

Она смеялась и радовалась, и сладкий, томный и пряный запах японской функии разливался от нее, словно струился от ее темно-русых кудрей.

Людмила и Саша пошли гулять за город. Звали Коковкину, — не пошла.

— Где уж мне, старухе, гулять! — сказала она, — только вам ноги путать буду. Уж гуляйте одни.

— А мы шалить будем, — смеялась Людмила.

Теплый воздух, грустный, неподвижный, ласкал и напоминал о невозвратном. Солнце, как больное, тускло горело и багровело на бледном, усталом небе. Сухие листья на темной земле покорные лежали, мертвые.

Людмила и Саша спустились в овраг. Там было прохладно, свежо, почти сыро, — изнеженная осенняя усталость царила между его отененными склонами.

Людмила шла впереди. Она приподняла юбку. Открылись маленькие башмаки и чулки тельного цвета. Саша смотрел вниз, чтобы ему не запнуться за корни, и увидел чулки. Ему показалось, что башмаки надеты без чулок. Стыдливое и страстное чувство поднялось в нем. Он зарделся. Голова закружилась. «Упасть бы, словно невзначай, к ее ногам, — мечтал он, — стащить бы ее башмак, поцеловать бы нежную ногу».

Людмила словно почуяла на себе Сашин жаркий взор, его нетерпеливое желание. Она, смеючись, повернулась к Саше, спросила:

— На мои чулки смотришь?

— Нет, я так, — смущенно бормотал Саша.

— Ах, у меня такие чулки, — хохоча и не слушая его, говорила Людмила, — ужасно какие! Можно подумать, что я на босые ноги башмаки надела, — совсем тельного цвета. Не правда ли, ужасно смешные чулки?

Она повернулась к Саше лицом и приподняла край платья.

— Смешные? — спросила она.

— Нет, красивые, — сказал Саша, красный от смущения.

Людмила с притворным удивлением приподняла брови и воскликнула:

— Скажите пожалуйста, туда же — красоту разбирать!

Людмила засмеялась и пошла дальше. Саша, сгорая от смущения, неловко брел за нею и поминутно спотыкался. Перебрались через овраг. Сели на сломанный ветром березовый ствол. Людмила сказала:

— А песку-то сколько набилось в башмаки, — идти не могу.

Она сняла башмаки, вытряхнула песок, лукаво глянула на Сашу.

— Красивая ножка? — спросила она.

Саша покраснел пуще и уже не знал, что сказать. Людмила стащила чулки.

— Беленькие ножки? — спросила она опять, странно и лукаво улыбаясь. — На колени! целуй! — строго сказала она, и победительная жестокость легла на ее лицо.

Саша проворно опустился на колени и поцеловал Людмилины ноги.

— А без чулок приятнее, — сказала Людмила, спрятала чулки в карман и всунула ноги в башмаки.

И лицо ее стало опять спокойно и весело, словно Саша и не склонялся сейчас перед нею, нагие лобзая у нее стопы. Саша спросил:

— Милая, а ты не простудишься?

Нежно и трепетно звучал его голос. Людмила засмеялась.

— Вот еще, — я привыкла, — я не такая неженка.

Однажды Людмила пришла под вечер к Коковкиной и позвала Сашу:

— Пойдем ко мне новую полочку вешать.

Саша любил вбивать гвозди и как-то обещал Людмиле помочь ей в устройстве ее обстановки. И теперь согласился, радуясь, что есть невинный предлог идти с Людмилою и к Людмиле. И невинный, кисленький запах extra-muguet *, веявший от зеленоватого Людмилина платья, нежно успокаивал его.

Для работы Людмила переоделась за ширмою и вышла к Саше в короткой, нарядной юбочке, с открытыми руками, надушенная сладкою, томною, пряною японскою функией.

— Ишь ты, какая нарядная! — сказал Саша.

— Ну да, нарядная. Видишь, — сказала Людмила, усмехаясь, — босые ноги, — выговорила она эти слова со стыдливо-задорною растяжечкою.

---

* Жасминовые духи экстра (*фр*)

Саша пожал плечьми и сказал:

— Уж ты всегда нарядная. Ну что ж, начнемте вбивать. Гвоздики-то у вас есть? — спросил он озабоченно.

— Погоди немножечко, — ответила Людмила, — посиди со мною хоть чуть, а то словно только по делу и ходишь, а уж со мною и поговорить скучно.

Саша покраснел и сказал нежно:

— Милая Людмилочка, да я с вами сколько хотите сидел бы, пока бы не прогнали, а только уроки учить надо.

Людмила легонько вздохнула и медленно промолвила:

— Ты все хорошаешь, Саша.

Саша зарделся, засмеялся, высовывая трубочкою кончик языка.

— Придумаете тоже, — сказал он, — нешто я барышня, чего мне хорошать!

— Лицо прекрасное, а то-то тело! Покажь хоть до пояса, — ласкаясь к Саше, просила Людмила и обняла его за плечо.

— Ну вот еще, выдумали! — стыдливо и досадливо сказал Саша.

— А что ж такое? — беспечным голосом спросила Людмила, — что у тебя за тайны!

— Еще войдет кто, — сказал Саша.

— Кому входить? — так же легко и беззаботно сказала Людмила. — Да мы дверь запрем, вот никому и не попасть.

Людмила проворно подошла к двери и заперла ее на задвижку. Саша догадался, что Людмила не шутит. Он сказал, весь рдея, так что капельки пота выступили на лбу:

— Ну не надо, Людмилочка.

— Глупый, отчего не надо? — убеждающим голосом спросила Людмила.

Она притянула к себе Сашу и принялась расстегивать его блузу. Саша отбивался, цепляясь за ее руки. Лицо его сделалось испуганным, — и, подобный испугу, стыд охватил его. И от этого он словно вдруг ослабел. Людмила сдвинула брови и решительно раздевала его. Сняла пояс, кое-как стащила блузу. Саша отбивался все отчаяннее. Они возились, кружились по горнице, натыкались на столы и стулья.

16 Ф Сологуб, т. 2

Пряное благоухание веяло от Людмилы, опьяняло Сашу и обессиливало его.

Быстрым толчком в грудь Людмила повалила Сашу на диван. От рубашки, которую она рванула, отскочила пуговица. Людмила быстро оголила Сашино плечо и принялась выдергивать руку из рукава. Отбиваясь, Саша невзначай ударил Людмилу ладонью по щеке. Не хотел, конечно, ударить, но удар упал на Людмилину щеку с размаху, сильный да звонкий. Людмила дрогнула, пошатнулась, зарделась кровавым румянцем, но не выпустила Сашу из рук.

— Злой мальчишка, драться! — задыхающимся голосом крикнула она.

Саша смутился жестоко, опустил руки и виновато глядел на оттиснувшиеся по левой Людмилиной щеке беловатые полоски, следы от его пальцев. Людмила воспользовалась его замешательством. Она быстро спустила у него рубашку с обоих плеч на локти. Саша опомнился, рванулся от нее, но вышло еще хуже, — Людмила проворно сдернула рукава с его рук, — рубашка опустилась к поясу. Саша почувствовал холод и новый приступ стыда, ясного и беспощадного, кружащего голову. Теперь Саша был открыт до пояса. Людмила крепко держала его за руку и дрожащею рукою похлопывала по его голой спине, заглядывала в его потупленные, странно-мерцающие под синевато-черными ресницами глаза.

И вдруг эти ресницы дрогнули, лицо перекосилось жалкою детскою гримасою, — и он заплакал, внезапно, навзрыд.

— Озорница! — рыдающим голосом крикнул он, — пустите!

— Занюнил! младенец! — сердито и смущенно сказала Людмила и оттолкнула его.

Саша отвернулся, вытирая ладонями слезы. Ему стало стыдно, что он плакал. Он старался удержаться. Людмила жадно глядела на его обнаженную спину.

«Сколько прелести в мире! — думала она. — Люди закрывают от себя столько красоты, — зачем?»

Саша, стыдливо ежась голыми плечьми, попытался надеть рубашку, но она только комкалась, трещала под его дрожащими руками, и ни-

как было не всунуть руки в рукава. Саша схватился за блузу, — пусть уж рубашка так пока остается.

— Ах, за вашу собственность испугались. Не украду! — сказала Людмила злым, звенящим от слез голосом.

Она порывисто бросила ему пояс и отвернулась к окну. Закутанный в серую блузу, очень он ей нужен, скверный мальчишка, жеманник противный.

Саша быстро надел блузу, кое-как оправил рубашку и посмотрел на Людмилу опасливо, нерешительно и стыдливо. Он увидел, что она вытирает щеки руками, робко подошел к ней и заглянул ей в лицо, — и слезы, которые текли по ее щекам, вдруг отравили его нежною к ней жалостью, — и ему уже не было ни стыдно, ни досадно.

— Что же вы плачете, милая Людмилочка? — тихонько спросил он.

И вдруг зарделся, — вспомнил свой удар.

— Я вас ударил, простите. Ведь я же не нарочно, — робко сказал он.

— Растаешь, что ли, глупый мальчишка, коли с голыми плечьми посидишь? — сказала Людмила жалующимся голосом. — Загоришь, боишься. Красота и невинность с тебя слиняют.

— Да зачем тебе это, Людмилочка? — со стыдливою ужимкою спросил Саша.

— Зачем? — страстно заговорила Людмила. — Люблю красоту. Язычница я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, есть душа, не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем, как русалка, как тучка под солнцем растаю. Я тело люблю, сильное, ловкое, голое, которое может наслаждаться.

— Да и страдать ведь может, — тихо сказал Саша.

— И страдать, и это хорошо, — страстно шептала Людмила. — Сладко и когда больно, — только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу и красоту телесную.

— Да ведь стыдно же без одежды? — робко сказал Саша.

Людмила порывисто бросилась перед ним на колени. Задыхаясь, целуя его руки, шептала:

— Милый, кумир мой, отрок богоравный, на одну минуту, только дай мне на одну минуту полюбоваться твоими плечиками.

Саша вздохнул, опустил глаза, покраснел и неловко снял блузу. Людмила горячими руками схватила его, осыпала поцелуями его вздрагивавшие от стыда плечи.

— Вот какой я послушливый! — сказал Саша, насильно улыбаясь, чтобы шуткою прогнать смущение.

Людмила торопливо целовала Сашины руки от плеч до пальцев, — и Саша не отнимал их, взволнованный, погруженный в страстные и жестокие мечты. Обожанием были согреты Людмилины поцелуи, — и уже словно не мальчика, словно отрока-бога лобзали ее горячие губы в трепетном и таинственном служении расцветающей Плоти.

А Дарья и Валерия стояли за дверью, и поочередно, толкаясь от нетерпения, смотрели в замочную скважину, и замирали от страстного и жгучего волнения.

— Пора же и одеваться, — сказал наконец Саша.

Людмила вздохнула и с тем же благоговейным выражением в глазах надела на него рубашку и блузу, прислуживая ему почтительно и осторожно.

— Так ты язычница? — с недоумением спросил Саша.

Людмила весело засмеялась.

— А ты? — спросила она.

— Ну вот еще! — ответил Саша уверенно, — я весь катехизис твердо знаю.

Людмила хохотала. Саша, глядючи на нее, улыбнулся и спросил:

— Коли ты язычница, зачем же ты в церковь ходишь?

Людмила перестала смеяться, призадумалась.

— Что ж, — сказала она, — надо же молиться. Помолиться, поплакать, свечку поставить, подать помянуть. И я люблю все это, свечки, лампадки, ладан, ризы, пение, — если певчие хорошие, — образа, у них оклады, ленты. Да, все это такое прекрасное. И еще люблю... Его... знаешь... Распятого...

Людмила проговорила последние слова совсем тихо, почти шепотом, покраснела, как виноватая, и опустила глаза.

— Знаешь, приснится иногда, — Он на кресте, и на теле кровавые капельки.

С тех пор Людмила не раз, уведя Сашу в свой покой, принималась расстегивать его курточку. Сперва он стыдился до слез, но скоро привык. И уже смотрел ясно и спокойно, как Людмила опускала его рубашку, обнажала его плечи, ласкала и хлопала по спине. И уже наконец сам принимался раздеваться.

И Людмиле приятно было держать его, полуголого, у себя на коленях, обнявши, целуя.

Саша был один дома. Людмила вспомнилась ему и его голые плечи под ее жаркими взорами.

«И чего она хочет?» — подумал он. И вдруг багряно покраснел, и больно-больно забилось сердце. Буйная веселость охватила его. Он несколько раз перекувыркнулся, повалился на пол, прыгал на мебель, — тысячи безумных движений бросали его из одного угла в другой, и веселый, ясный хохот его разносился по дому.

Коковкина вернулась в это время домой, заслышала необычайный шум и вошла в Сашину горницу. В недоумении она стала на пороге и качала головою.

— Что это ты беснуешься, Сашенька! — сказала она, — диви бы с товарищами, а то один бесишься. Постыдись, батюшка, — не маленький.

Саша стоял, и от смущения у него словно отнимались руки, тяжелые, неловкие, — а все его тело еще дрожало от возбуждения.

Однажды Коковкина застала Людмилу у себя, — она кормила Сашу конфектами.

— Баловница вы, — ласково сказала Коковкина, — сладенькое-то он у меня любит.

— Да, а вот он меня озорницей зовет, — пожаловалась Людмила.

— Ай, Сашенька, разве можно! — с ласковым укором сказала Коковкина. — Да за что же это ты?

— Да она меня тормошит, — запинаясь, сказал Саша.

Он сердито глядел на Людмилу и багряно краснел. Людмила хохотала.

— Сплетница, — шепнул ей Саша.

— Как же можно, Сашенька, грубить! — выговаривала Коковкина. — Нельзя грубить!

Саша поглядел на Людмилу, усмехаючись, и тихо промолвил:

— Ну больше не буду.

Теперь уже каждый раз, как Саша приходил, Людмила запиралась с ним и принималась его раздевать да наряжать в разные наряды. Смехом и шутками наряжался сладкий их стыд. Иногда Людмила затягивала Сашу в корсет и одевала в свое платье. При декольтированном корсаже голые Сашины руки, полные и нежно-округленные, и его круглые плечи казались очень красивыми. У него кожа была желтоватого, но, что редко бывает, ровного, нежного цвета. Юбка, башмаки, чулки Людмилины, все Саше оказалось впору, и все шло к нему. Надев на себя весь дамский наряд, Саша послушно сидел и обмахивался веером. В этом наряде он и в самом деле был похож на девочку и старался вести себя как девочка. Одно только было неудобство — стриженые Сашины волосы. Надевать парик или привязанную косу на Сашину голову Людмила не хотела, — противно.

Людмила учила Сашу делать реверансы. Неловко и застенчиво приседал он вначале. Но в нем была грация, хотя и смешанная с мальчишескою угловатостью. Краснея и смеясь, он прилежно учился делать реверансы и кокетничал напропалую.

Иногда Людмила брала его руки, обнаженные и стройные, и целовала их. Саша не сопротивлялся и, смеючись, смотрел на Людмилу. Иногда он сам подставлял руки к ее губам и говорил:

— Целуй!

Но лучше нравились ему и ей иные наряды, которые шила сама Людмила: одежда рыбака с голыми ногами, хитон афинского голоногого мальчика.

Нарядит его Людмила и любуется. А сама побледнеет, печальная станет.

Саша сидел на Людмилиной постели, перебирал складки хитона и болтал голыми ногами. Людмила стояла перед ним и смотрела на него с выражением счастия и недоумения.

— Какая ты глупая! — сказал Саша.

— В моей глупости так много счастия! — лепетала бледная Людмила, плача и целуя Сашины руки.

— Отчего же ты заплакала? — улыбаясь беспечно, спросил Саша.

— Мое сердце ужалено радостью. Грудь мою пронзили семь мечей счастья, — как мне не плакать.

— Дурочка ты, право, дурочка! — смеючись, сказал Саша.

— А ты умный! — с внезапною досадою ответила Людмила, вытерла слезы и вздохнула. — Пойми, глупый, — заговорила она тихим убеждающим голосом, — только в безумии счастье и мудрость.

— Ну да! — недоверчиво сказал Саша.

— Надо забыть, забыться и тогда все поймешь, — шептала Людмила. — По-твоему как, мудрые люди думают?

— А то как же?

— Они так знают. Им сразу дано: только взглянет, и уже все ему открыто...

Осенний тихо длился вечер. Чуть слышный из-за окна доносился изредка шелест, когда ветер на лету качал ветки у деревьев. Саша и Людмила были одни. Людмила нарядила его голоногим рыбаком — синяя одежда из тонкого полотна, — уложила на низком ложе и села на пол у его голых ног, босая, в одной рубашке. И одежду, и Сашино тело облила она духами, — густой, травянистый и ломкий у них был запах, как неподвижный дух замкнутой в горах странноцветущей долины.

На Людмилиной шее блестели яркие крупные бусы, золотые узорные браслеты звенели на руках. Ирисом пахло ее тело, — запах душный, плотский, раздражающий, навевающий дремоту и лень, насыщенный испарениями медленных вод. Она томилась, и вздыхала, и глядела на его смуглое лицо, на его иссиня-черные ресницы и полуночные глаза. Она положила голову на его голые колени, и ее светлые

кудри ласкали его смуглую кожу. Она целовала Сашино тело, и от аромата, странного и сильного, смешанного с запахом молодой кожи, кружилась ее голова.

Саша лежал и улыбался тихою, неверною улыбкою. Неясное в нем зарождалось желание и сладко томило его. И когда Людмила целовала его колени и стопы, нежные поцелуи возбуждали томные, полусонные мечтания. Хотелось что-то сделать ей, милое или больное, нежное или стыдное, — но что? Целовать ее ноги? Или бить ее, долго, сильно, длинными гибкими ветвями? Чтобы она смеялась от радости или кричала от боли? И то, и другое, может быть, желанно ей, но мало. Что же ей надо? Вот они полуобнаженные оба, и с их освобожденною плотью связано желание и хранительный стыд, — но в чем же это таинство плоти? И как принести свою кровь и свое тело в сладостную жертву ее желаниям, своему стыду?

А Людмила томилась и металась у его ног, бледнея от невозможных желаний, то пылая, то холодея. Она страстно шептала:

— Я ли не красавица! У меня ли глаза не жгучие! У меня ли не пышные волосы! Ласкай же меня! Приласкай же меня! Сорви с меня запястья, отстегни мое ожерелье!

Саше стало страшно, и невозможные желания мучительно томили его.

XXVII

Передонов проснулся под утро. Кто-то смотрел на него громадными, мутными, четырехугольными глазами. Уж не Пыльников ли это? Передонов подошел к окну и облил зловещий призрак.

На всем были чары и кудеса. Визжала дикая недотыкомка, злобно и коварно смотрели на Передонова и люди, и скоты. Все было ему враждебно, он был один против всех.

В гимназии на уроках Передонов злословил своих сослуживцев, директора, родителей учеников. Гимназисты слушали с недоумением. Иные, хамоватые по природе, находились, что, подлаживаясь к Передонову, выражали ему свое сочувствие. Другие же сурово мол-

чали или, когда Передонов задевал их родителей, горячо вступались. На таких Передонов смотрел угрюмо и боязливо и отходил от них, бормоча что-то.

На иных уроках Передонов потешал гимназистов нелепыми толкованиями.

Читали раз пушкинские стихи:

Встает заря во мгле холодной,
На нивах шум работ умолк,
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк

— Постойте, — сказал Передонов, — это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят: волк с волчихою голодной. Волк сытый, а она голодная. Жена всегда после мужа должна есть. Жена во всем должна подчиняться мужу.

Пыльников был веселый, он улыбался и смотрел на Передонова обманчиво чистыми, черными, бездонными глазами. Сашино лицо мучило и соблазняло Передонова. Чаровал его проклятый мальчишка своею коварною улыбкою.

Да и мальчишка ли? Или, может быть, их два: брат и сестра. И не разобрать, кто где. Или даже, может быть, он умеет переворачиваться из мальчишки в девчонку. Недаром он всегда такой чистенький, — переворачиваясь, в разных волшебных водицах всполаскивается, — иначе ведь нельзя, не обернешься. И духами всегда от него пахнет.

— Чем это вы надушились, Пыльников? — спросил Передонов, — пачкулями, что ли?

Мальчики засмеялись. Саша обидчиво покраснел и промолчал.

Чистого желания нравиться, быть не противным Передонов не понимал. Всякое такое проявление, хотя бы со стороны мальчика, он считал охотою на себя. Кто принарядился, тот, значит, и замышляет прельстить Передонова. Иначе зачем рядиться? Нарядность и чистота были для Передонова противны, духи казались ему зловонны; всяким духам предпочитал он запах унавоженного поля, по-

лезный, по его мнению, для здоровья. Наряжаться, чиститься, мыться, — на все это нужно время и труд; а мысль о труде наводила на Передонова тоску и страх. Хорошо бы ничего не делать, есть, пить, спать, да и только!

Товарищи дразнили Сашу, что он надушился «пачкулями» и что Людмилочка в него влюблена. Он вспыхивал и горячо возражал: ничего, мол, не влюблена, — все это, мол, выдумки Передонова; он-де сватался к Людмилочке, а Людмилочка ему нос натянула, вот он на нее и сердится, и распускает про нее нехорошие слухи. Товарищи ему верили, — Передонов, известно, — но дразнить не переставали: дразнить так приятно.

Передонов упрямо говорил всем о развращенности Пыльникова.

— С Людмилкой спутался, — говорил он. — Так усердно целуются, что она одного приготовишку родила, теперь другого носит.

Про любовь Людмилы к гимназисту заговорили в городе весьма преувеличенно, с глупыми, непристойными подробностями. Но мало кто верил: Передонов пересолил. Однако любители подразнить, — их же в нашем городе достаточно много, — спрашивали у Людмилы:

— Что это вы в мальчишку втюрились? Для взрослых кавалеров это обидно.

Людмила смеялась и говорила:

— Глупости!

Горожане посматривали на Сашу с поганым любопытством. Вдова генерала Полуянова, богатая дама из купчих, справлялась о его возрасте и нашла, что он еще слишком мал, но что года через два можно будет его позвать и заняться его развитием.

Саша уже начал и упрекать иногда Людмилу, что его за нее дразнят. Даже иногда, случалось, и поколачивал, на что Людмила только звонко хохотала.

Однако, чтобы положить конец глупым сплетням и выгородить Людмилу из неприятной истории, все Рутиловы и многочисленные их друзья, родственники и свойственники усердно действовали против Передонова и доказывали, что все эти рассказы — фантазия безум-

ного человека. Дикие поступки Передонова заставляли многих верить таким объяснениям.

В то же время полетели доносы на Передонова к попечителю учебного округа. Из округа прислали запрос директору. Хрипач сослался на свои прежние донесения и прибавил, что дальнейшее пребывание Передонова в гимназии становится положительно опасным, так как его душевная болезнь заметно прогрессирует.

Уже Передонов был весь во власти диких представлений. Призраки заслонили от него мир. Глаза его, безумные, тупые, блуждали, не останавливаясь на предметах, словно ему всегда хотелось заглянуть дальше их, по ту сторону предметного мира, и он искал каких-то просветов.

Оставаясь один, он разговаривал сам с собою, выкрикивал кому-то бессмысленные угрозы:

— Убью! зарежу! законопачу!

А Варвара слушала и ухмылялась. «Побесись!» — думала она злорадно. Ей казалось, что это только злость: догадывается, что его обманули, и злится. С ума не сойдет, — сходить дураку не с чего. А если и сойдет, — что же, безумие веселит глупых!

— Знаете, Ардальон Борисыч, — сказал однажды Хрипач, — вы имеете очень нездоровый вид.

— У меня голова болит, — угрюмо сказал Передонов.

— Знаете ли, почтеннейший, — осторожным голосом продолжал директор, — я бы вам советовал не ходить пока в гимназию. Полечиться бы вам, позаботиться о ваших нервах, которые у вас, по-видимому, довольно-таки расстроены.

«Не ходить в гимназию! Конечно, — думал Передонов, — это самое лучшее. Как раньше я не догадался! Сказаться больным, посидеть дома, посмотреть, что из этого выйдет».

— Да, да, не буду ходить, я болен, — радостно говорил он Хрипачу.

Директор тем временем еще раз писал в округ и со дня на день ждал назначения врачей для освидетельствования. Но чиновники не торопились. На то они и чиновники.

Передонов не ходил в гимназию и тоже чего-то ждал. В последние дни он все льнул к Володину. Страшно было выпустить его с глаз, — не навредил бы. Уже с утра, как только проснется, Передонов с тоскою вспоминал Володина: где-то он теперь? что-то он делает? Иногда Володин мерещился ему: облака плыли по небу, как стадо баранов, и между ними бегал Володин с котелком на голове, с блеющим смехом; в дыме, вылетающем из труб, иногда быстро проносился он же, уродливо кривляясь и прыгая в воздухе.

Володин думал и всем с гордостью рассказывал, что Передонов его очень полюбил, — просто жить без него не может.

— Варвара его надула, — говорил Володин, — а он видит, что один я ему верный друг, он ко мне и вяжется.

Выйдет Передонов из дому, проведать Володина, а уж тот идет ему навстречу, в котелке, с тросточкою, весело подпрыгивает, радостно заливается блеющим смехом.

— Чего ты все в котелке? — спросил его однажды Передонов.

— Отчего же мне, Ардальон Борисыч, не носить котелка? — весело и рассудительно ответил Володин, — скромно и прилично. Фуражечку с кокардою мне не полагается, а цилиндр носить, — так это пусть аристократы упражняются, нам это не подходит.

— Ты в котелке сваришься, — угрюмо сказал Передонов.

Володин захихикал. Пошли к Передонову.

— Шагать-то сколько надо, — сердито сказал Передонов.

— Это полезно, Ардальон Борисыч, промоциониться, — убеждал Володин, — поработаешь, погуляешь, покушаешь, здоров будешь.

— Ну да, — возражал Передонов, — ты думаешь, через двести или через триста лет люди будут работать?

— А то как же? Не поработаешь, так и хлебца не покушаешь. Хлебец за денежки дают, а денежки заработать надо.

— Я и не хочу хлеба.

— И булочки, и пирожков не будет, — хихикая, говорил Володин, — и водочки не на что купить будет, и наливочки сделать будет не из чего.

— Нет, люди сами работать не будут, — сказал Передонов, — на все машины будут, — повертел ручкой, как аристон, и готово... Да и вертеть долго скучно.

Володин призадумался, склонил голову, выпятил губы и сказал задумчиво:

— Да, это очень хорошо будет. Только нас тогда уже не будет.

Передонов посмотрел на него злобно и проворчал:

— Это тебя не будет, а я доживу.

— Дай вам Бог, — весело сказал Володин, — двести лет прожить да триста на карачках проползать.

Уже Передонов и не зачурался, — будь что будет. Он всех одолеет, надо только смотреть в оба и не поддаваться.

Дома, сидя в столовой и выпивая с Володиным, Передонов рассказывал ему про княгиню. Княгиня, в представлении Передонова, что ни день дряхлела и становилась ужаснее: желтая, морщинистая, согбенная, клыкастая, злая, — неотступно мерещилась она Передонову.

— Ей двести лет, — говорил Передонов и странно и тоскливо глядел перед собою. — И она хочет, чтобы я опять с нею снюхался. До тех пор и места не хочет дать.

— Скажите, чего захотела! — покачивая головою, говорил Володин. — Старбень этакая!

Передонов бредил убийством. Он говорил Володину, свирепо хмуря брови:

— Там у меня за обоями уже один запрятан. Вот ужо другого под пол заколочу.

Но Володин не пугался и хихикал.

— Вонь слышишь из-за обоев? — спросил Передонов.

— Нет, не слышу, — хихикая и ломаясь, говорил Володин.

— Нос у тебя заложило, — сказал Передонов, — недаром у тебя нос покраснел. Гниет там, за обоями.

— Клоп! — крикнула Варвара и захохотала.

Передонов смотрел тупо и важно.

Передонов, все более погружаясь в свое помешательство, уже стал писать доносы на карточные фигуры, на недотыкомку, на барана, что он, баран, самозванец, выдал себя за Володина, метит на высокую должность поступить, а сам просто баран; на лесоистребителей, — всю березу вырубили, париться нечем и воспитывать детей трудно, а осину оставили, а на что нужна осина?

Встречаясь на улице с гимназистами, Передонов ужасал младших и смешил старших бесстыдными и нелепыми словами. Старшие ходили за ним толпою, разбегаясь, когда завидят кого-нибудь из учителей, младшие сами бежали от него.

Во всем чары да кудеса мерещились Передонову, галлюцинации его ужасали, исторгая из его груди безумный вой и визги. Недотыкомка являлась ему то кровавою, то пламенною, она стонала и ревела, и рев ее ломил голову Передонову нестерпимою болью. Кот вырастал до страшных размеров, стучал сапогами и прикидывался рыжим рослым усачом.

XXVIII

Саша ушел после обеда и не вернулся к назначенному времени, к семи часам. Коковкина обеспокоилась: не дай Бог, попадется кому из учителей на улице в непоказанное время. Накажут, да и ей неловко. У нее всегда жили мальчики скромные, по ночам не шатались. Коковкина пошла искать Сашу. Известно, куда же, как не к Рутиловым.

Как на грех, Людмила сегодня забыла дверь замкнуть. Коковкина вошла и что же увидела? Саша стоит перед зеркалом в женском платье и обмахивается веером. Людмила хохочет и расправляет ленты у его яркоцветного пояса.

— Ах, Господи, Твоя воля! — в ужасе воскликнула Коковкина, — что же это такое! Я беспокоюсь, ищу, а он тут комедию ломает. Срам какой, в юбку вырядился! Да и вам-то, Людмила Платоновна, как не стыдно!

Людмила в первую минуту смутилась от неожиданности, но быстро нашлась. С веселым смехом, обняв и усаживая в кресло Коковкину, рассказала она ей тут же сочиненную небылицу:

— Мы хотим домашний спектакль поставить, — я мальчишкой буду, а он девицей, и это будет ужасно забавно.

Саша стоял весь красный, испуганный, со слезами на глазах.

— Вот еще глупости! — сердито говорила Коковкина, — ему надо уроки учить, а не спектакли разыгрывать. Что выдумали! Изволь одеться сейчас же, Александр, и марш со мною домой.

Людмила смеялась звонко и весело, целовала Коковкину, — и старуха думала, что веселая девица ребячлива, как дитя, а Саша по глупости все ее затеи рад исполнить. Веселый Людмилин смех казал этот случай простою детскою шалостью, за которую только пожурить хорошенько. И она ворчала, делая сердитое лицо, но уже сердце у нее было спокойно.

Саша проворно переоделся за ширмою, где стояла Людмилина кровать. Коковкина увела его и всю дорогу бранила. Саша, пристыженный и испуганный, уж и не оправдывался. «Что-то еще дома будет?» — боязливо думал он.

А дома Коковкина в первый раз поступила с ним строго: велела ему стать на колени. Но едва постоял Саша несколько минут, как уже она, разжалобленная его виноватым лицом и безмолвными слезами, отпустила его. Сказала ворчливо:

— Щеголь этакий, за версту духами пахнет!

Саша ловко шаркнул, поцеловал ей руку, — и вежливость наказанного мальчика еще больше тронула ее.

А меж тем над Сашею собиралась гроза. Варвара и Грушина сочинили и послали Хрипачу безымянное письмо о том, что гимназист Пыльников увлечен девицею Рутиловою, проводит у нее целые вечера и предается разврату. Хрипач припомнил один недавний разговор. На днях на вечере у предводителя дворянства кто-то бросил никем не поднятый намек на девицу, влюбившуюся в подростка. Разговор тотчас же перешел на другие предметы: при Хрипаче все, по безмолвному согласию привыкших к хорошему обществу людей, сочли это весьма неловкою темою для беседы и сделали вид, что разговор неудобен при дамах и что самый предмет ничтожен и маловероятен.

Хрипач все это, конечно, заметил, но он не был столь простодушен, чтобы кого-нибудь спрашивать. Он был вполне уверен, что все узнает скоро, что все известия доходят сами, тем или другим путем, но всегда достаточно своевременно. Вот это письмо и была жданная весть.

Хрипач ни на минуту не поверил в развращенность Пыльникова и в то, что его знакомство с Людмилою имеет непристойные стороны. Это, — думал он, — идет все от той же глупой выдумки Передонова и питается завистливою злобою Грушиной. Но это письмо, — думал он, — показывает, что ходят нежелательные слухи, которые могут бросить тень на достоинство вверенной ему гимназии. И потому надобно принять меры.

Прежде всего Хрипач пригласил Коковкину, чтобы переговорить с нею о тех обстоятельствах, которые могли способствовать возникновению нежелательных толков.

Коковкина уже знала, в чем дело. Ей сообщили даже еще проще, чем директору. Грушина выждала ее на улице, завязала разговор и рассказала, что Людмила уже вконец развратила Сашу. Коковкина была поражена. Дома она осыпала Сашу упреками. Ей было тем более досадно, что все происходило почти на ее глазах и Саша ходил к Рутиловым с ее ведома. Саша притворился, что ничего не понимает и спросил:

— Да что же я худого сделал?

Коковкина замялась.

— Как что худого? А сам ты не знаешь? А давно ли я тебя застала в юбке? Забыл, срамник этакий?

— Застали, ну что ж тут особенно худого? так ведь и наказали за то! И что ж такое, точно я краденую юбку надел!

— Скажите пожалуйста, как рассуждает! — говорила растерянно Коковкина. — Наказала я тебя, да, видно, мало.

— Ну еще накажите, — строптиво, с видом несправедливо обижаемого, сказал Саша. — Сами тогда простили, а теперь мало. А я ведь вас тогда не просил прощать, — стоял бы на коленях хоть весь вечер. А то что ж все попрекать!

— Да уж и в городе, батюшка, про тебя с твоей Людмилочкой говорят, — сказала Коковкина.

— А что говорят-то? — невинно-любопытствующим голосом спросил Саша.

Коковкина опять замялась.

— Что говорят, — известно что! Сам знаешь, что про вас сказать можно. Хорошего-то мало скажут. Шалишь ты много со своею Людмилочкою, вот что говорят.

— Ну я не буду шалить, — обещал Саша так спокойно, как будто разговор шел об игре в пятнашки.

Он делал невинное лицо, а на душе у него было тяжело. Он выспрашивал Коковкину, что же говорят, и боялся услышать какие-нибудь грубые слова. Что могут говорить о них? Людмилочкина горница окнами в сад, с улицы ее не видно, да и Людмилочка спускает занавески. А если кто подсмотрел, то как об этом могут говорить? Может быть, досадные, оскорбительные слова? Или так говорят, только о том, что он часто ходит?

И вот на другой день Коковкина получила приглашение к директору. Оно совсем растревожило старуху. Она уже и не говорила ничего Саше, собралась тихонько и к назначенному часу отправилась. Хрипач любезно и мягко сообщил ей о полученном им письме. Она заплакала.

— Успокойтесь, мы вас не виним, — говорил Хрипач, — мы вас хорошо знаем. Конечно, вам придется последить за ним построже. А теперь вы мне только расскажите, что там на самом деле было.

От директора Коковкина пришла с новыми упреками Саше.

— Тете напишу, — сказала она, плача.

— Я ни в чем не виноват, пусть тетя приедет, я не боюсь, — говорил Саша и тоже плакал.

На другой день Хрипач пригласил к себе Сашу и спросил его сухо и строго:

— Я желаю знать, какие вы завели знакомства в городе.

Саша смотрел на директора лживо-невинными и спокойными глазами.

— Какие же знакомства? — сказал он, — Ольга Васильевна знает, я только к товарищам хожу да к Рутиловым.

— Да, вот именно, — продолжал свой допрос Хрипач, — что вы делаете у Рутиловых?

— Ничего особенного, так, — с тем же невинным видом ответил Саша, — главным образом мы читаем. Барышни Рутиловы стихи очень любят. И я всегда к семи часам бываю дома.

— Может быть, и не всегда? — спросил Хрипач, устремляя на Сашу взор, который постарался сделать проницательным.

— Да, один раз опоздал, — со спокойною откровенностью невинного мальчика сказал Саша, — да и то мне досталось от Ольги Васильевны, и потом я не опаздывал.

Хрипач помолчал. Спокойные Сашины ответы ставили его в тупик. Во всяком случае, надо сделать наставление, выговор, но как и за что? Чтобы не внушить мальчику дурных мыслей, которых у него раньше (верил Хрипач) не было, — и чтобы не обидеть мальчика, — и чтобы сделать все к устранению тех неприятностей, которые могут случиться в будущем из-за этого знакомства. Хрипач подумал, что дело педагога — трудное и ответственное дело, особенно если имеешь честь начальствовать над учебным заведением. Трудное, ответственное дело педагога! Это банальное определение окрылило застывшие было мысли у Хрипача. Он принялся говорить, — скоро, отчетливо и незанимательно. Саша слушал из пятого в десятое:

— ...Первая обязанность ваша как ученика — учиться... нельзя увлекаться обществом, хотя бы и весьма приятным и вполне безукоризненным... во всяком случае, следует сказать, что общество мальчиков вашего возраста для вас гораздо полезнее... Надо дорожить репутацией и своею, и учебного заведения... Наконец, — скажу вам прямо, — я имею основания предполагать, что ваши отношения к барышням имеют характер вольности, недопустимой в вашем возрасте и совсем не согласной с общепринятыми правилами приличия.

Саша заплакал. Ему стало жаль, что о милой Людмилочке могут думать и говорить как об особе, с которою можно вести себя вольно и неприлично.

— Честное слово, ничего худого не было, — уверял он, — мы только читали, гуляли, играли, — ну бегали, — больше никаких вольностей.

Хрипач похлопал его по плечу и сказал голосом, которому постарался придать сердечность, а все же сухим:

— Послушайте, Пыльников...

(Что бы ему назвать когда мальчика Сашею! Не форменно, и нет еще на то министерского циркуляра?)

— Я вам верю, что ничего худого не было, но все-таки вы лучше прекратите эти частые посещения. Поверьте мне, так будет лучше. Это говорит вам не только ваш наставник и начальник, но и ваш друг.

Саше осталось только поклониться, поблагодарить, а затем пришлось послушаться. И стал Саша забегать к Людмиле только урывками, минут на пять, на десять, — а все же старался побывать каждый день. Досадно было, что приходилось видеться урывками, — и Саша вымещал досаду на самой Людмиле. Уже он частенько называл ее Людмилкой, дурищею, ослицею силоамскою, поколачивал ее. А Людмила на все это только хохотала.

Разнесся по городу слух, что актеры здешнего театра устраивают в общественном собрании маскарад с призами за лучшие наряды, женские и мужские. О призах пошли преувеличенные слухи. Говорили, — дадут корову даме, велосипед мужчине. Эти слухи волновали горожан. Каждому хотелось выиграть: вещи такие солидные. Поспешно шили наряды. Тратились, не жалея. Скрывали придуманные наряды и от ближайших друзей, чтобы кто не похитил блистательной мысли.

Когда появилось печатное объявление о маскараде, — громадные афиши, расклеенные на заборах и разосланные именитым гражданам, — оказалось, что дадут вовсе не корову и не велосипед, а только веер даме и альбом мужчине. Это всех готовившихся к маскараду разочаровало и раздосадовало. Стали роптать. Говорили:

— Стоило тратиться!

— Это просто насмешка — такие призы.

— Должны были сразу объявить.

— Это только у нас возможно поступать так с публикой.

Но все же приготовления продолжались: какой ни будь приз, а получить его лестно.

Дарью и Людмилу приз не занимал, ни сначала, ни после. Нужна им корова! Невидаль — веер! Да и кто будет присуждать призы? Какой у них, у судей, вкус! Но обе сестры увлеклись Людмилиною мечтою послать в маскарад Сашу в женском платье, обмануть таким способом весь город и устроить так, чтобы приз дали ему. И Валерия делала вид, что согласна. Завистливая и слабая, как дитя, она досадовала, — Людмилочкин дружок, не к ней же ведь ходит, — но спорить с двумя старшими сестрами она не решалась. Только сказала с презрительною усмешечкою:

— Он не посмеет.

— Ну вот, — решительно сказала Дарья, — мы сделаем так, что никто не узнает.

И когда сестры рассказали Саше про свою затею и сказала ему Людмилочка: «Мы тебя нарядим японкою», — Саша запрыгал и завизжал от восторга. Там будь что будет, — и особенно если никто не узнает, — а только он согласен, — еще бы не согласен! — ведь это же ужасно весело всех одурачить.

Тотчас же решили, что Сашу надо нарядить гейшею. Сестры держали свою затею в строжайшей тайне, — не сказали даже ни Ларисе, ни брату. Костюм для гейши Людмила смастерила сама по ярлыку от корилопсиса: платье желтого шелка на красном атласе, длинное и широкое; на платье шитый пестрый узор, — крупные цветы причудливых очертаний. Сами же девицы смастерили веер из тонкой японской бумаги с рисунками, на бамбуковых палочках, и зонтик из тонкого розового шелка, на бамбуковой же ручке. На ноги — розовые чулки и деревянные башмачки скамеечками. И маску для гейши раскрасила искусница Людмила: желтоватое, но милое худенькое лицо с неподвижною легкою улыбкою, косо прорезанные глаза, узкий и маленький рот. Только парик пришлось выписать из Петербурга, — черный, с гладкими, причесанными волосами.

Чтобы примерить костюм, надо было время, а Саша мог забегать только урывочками, да и то не каждый день. Но нашлись. Саша убежал ночью, уже когда Коковкина спала, через окно. Сошло благополучно.

Собралась и Варвара в маскарад. Купила маску с глупою рожею, а за костюмом дело не стало, — нарядилась кухаркою. Повесила к поясу уполовник, на голову вздела белый чепец, руки открыла выше локтя и густо их нарумянила, — кухарка же прямо от плиты, — и костюм готов. Дадут приз — хорошо, не дадут — не надобно.

Грушина придумала одеться Дианою. Варвара засмеялась и спросила:

— Что ж, вы и ошейник наденете?

— Зачем мне ошейник? — с удивлением спросила Грушина.

— Да как же, — объяснила Варвара, — собакой Дианкой вырядиться вздумали.

— Ну вот придумали! — ответила Грушина со смехом, — вовсе не Дианкой, а богиней Дианой.

Одевались на маскарад Варвара и Грушина вместе у Грушиной. Наряд у Грушиной вышел чересчур легок: голые руки и плечи, голая спина, голая грудь, ноги в легоньких туфельках, без чулок, голые до колен, и легкая одежда из белого полотна с красною обшивкою, прямо на голое тело, — одежда коротенькая, но зато широкая, со множеством складок. Варвара сказала, ухмыляясь:

— Головато.

Грушина отвечала, нахально подмигивая:

— Зато все мужчинки так за мной и потянутся.

— А что же складок так много? — спросила Варвара.

— Конфет напихать можно для моих чертенят, — объяснила Грушина.

Все так смело открытое у Грушиной было красиво, — но какие противоречия! На коже — блошьи укусы, ухватки грубы, слова нестерпимой пошлости. Снова поруганная телесная красота.

Передонов думал, что маскарад затеяли нарочно, чтобы его на чем-нибудь изловить. А все-таки он пошел туда, — неряженый, в сюртуке. Чтобы видеть самому, какие злоумышления затеваются.

Мысль о маскараде несколько дней тешила Сашу. Но потом сомнения стали одолевать его. Как урваться из дому? И особенно

теперь, после этих неприятностей. Беда, если узнают в гимназии, как раз исключат.

Недавно классный наставник, — молодой человек до того либеральный, что не мог называть кота Ваською, а говорил: кот Василий, — заметил Саше весьма значительно при выдаче отметок:

— Смотрите, Пыльников, надо делом заниматься.

— Да у меня же нет двоек, — беспечно возразил Саша.

А сердце у него упало, — что еще скажет? Нет, ничего, промолчал, только посмотрел строго.

В день маскарада Саше казалось, что он и не решится поехать. Страшно. Вот только одно, — готовый наряд у Рутиловых, — нешто ему пропадать? И все мечты и труды даром? Да ведь Людмилочка заплачет. Нет, надо идти.

Только приобретенная в последние недели привычка скрытничать помогла Саше не выдать Коковкиной своего волнения. К счастью, старуха рано ложится спать. И Саша лег рано, — для отвода глаз разделся, положил верхнюю одежду на стул у дверей и поставил за дверь сапоги.

Оставалось только уйти, — самое трудное. Уж путь намечен был заранее, через окно, как тогда для примерки. Саша надел светлую летнюю блузу, — она висела в шкапу в его горнице, — домашние легкие башмаки и осторожно вылез из окна на улицу, улучив минуту, когда нигде поблизости не было слышно голосов и шагов. Моросил мелкий дождик, было грязно, холодно, темно. Но Саше все казалось, что его узнают. Он снял фуражку, башмаки, бросил их обратно в свою горницу, подвернул одежду и побежал вприпрыжку босиком по скользким от дождя и шатким мосткам. В темноте лицо плохо видно, особенно у бегущего, и примут, кто встретит, за простого мальчишку, посланного в лавочку.

Валерия и Людмила сшили для себя незамысловатые, но живописные наряды: цыганкою нарядилась Людмила, испанкою — Валерия. На Людмиле — яркие красные лохмотья из шелка и бархата, на Валерии, тоненькой и хрупкой, черный шелк, кружева, в руке — черный кружевной

веер. Дарья себе нового наряда не шила, — от прошлого года остался костюм турчанки, она его и надела, — решительно сказала:

— Не стоит выдумывать!

Когда прибежал Саша, все три девицы принялись его обряжать. Больше всего беспокоил Сашу парик.

— А ну как свалится! — опасливо повторял он.

Наконец укрепили парик лентами, связанными под подбородком.

XXIX

Маскарад был устроен в общественном собрании, — каменное, в два жилья, здание казарменного вида, окрашенное в ярко-красный цвет, на базарной площади. Устраивал маскарад Громов-Чистопольский, антрепренер и актер здешнего городского театра.

На подъезде, обтянутом коленкоровым навесом, горели шкалики. Толпа на улице встречала приезжающих и приходящих на маскарад критическими замечаниями, по большей части неодобрительными, тем более что на улице, под верхнею одеждою гостей, костюмы были почти не видны, и толпа судила преимущественно по наитию. Городовые на улице охраняли порядок с достаточным усердием, а в зале были в качестве гостей исправник и становой пристав.

Каждый посетитель при входе получал два билетика: один, розовый, для лучшего женского наряда, другой, зеленый, для мужского. Надо было их отдать достойным. Иные осведомлялись:

— А себе можно взять?

Вначале кассир в недоумении спрашивал:

— Зачем себе?

— А если, по-моему, мой костюм самый хороший, — отвечал посетитель.

Потом кассир уже не удивлялся таким вопросам, а говорил с саркастическою улыбкою (насмешливый был молодой человек):

— Сделайте ваше одолжение. Хоть оба себе оставьте.

В залах было грязновато, и уже с самого начала толпа казалась в значительной части пьяною. В тесных покоях с закоптелы-

ми стенами и потолками горели кривые люстры; они казались громадными, тяжелыми, отнимающими много воздуха. Полинялые занавесы у дверей имели такой вид, что противно было задеть их. То здесь, то там собирались толпы, слышались восклицания и смех, — это ходили за наряженными в привлекавшие общее внимание костюмы.

Нотариус Гудаевский изображал дикого американца: в волосах петушьи перья, маска медно-красная с зелеными нелепыми разводами, кожаная куртка, клетчатый плед через плечо и кожаные высокие сапоги с зелеными кисточками. Он махал руками, прыгал и ходил гимнастическим шагом, вынося далеко вперед сильно согнутое голое колено. Жена его нарядилась колосом. На ней было пестрое платье из зеленых и желтых лоскутьев; во все стороны торчали натыканные повсюду колосья. Они всех задевали и кололи. Ее дергали и ощипывали. Она злобно ругалась.

— Царапаться буду! — визжала она.

Кругом хохотали. Кто-то спрашивал:

— Откуда она столько колосьев набрала?

— С лета запасла, — отвечали ему, — каждый день в поле воровать ходила.

Несколько безусых чиновничков, влюбленных в Гудаевскую и потому извещенных ею заранее о том, что у ней будет надето, сопровождали ее. Они собирали для нее билетики, — чуть не насильно, с грубостями. У иных, не особенно смелых, просто отымали.

Были и другие ряженые дамы, усердно собиравшие билетики через своих кавалеров. Иные смотрели жадно на неотданные билетики и выпрашивали. Им отвечали дерзостями.

Унылая дама, наряженная ночью, — синий костюм со стеклянною звездочкою и бумажною луною на лбу, — робко сказала Мурину:

— Дайте мне ваш билетик.

Мурин грубо ответил:

— Что за ты! Билетик тебе! Рылом не вышла!

Ночь проворчала что-то сердитое и отошла. Ей бы хотелось хоть дома показать два-три билетика, что вот, мол, и ей давали. Тщетны бывают скромные мечты.

Учительница Скобочкина нарядилась медведицею, то есть попросту накинула на плечи медвежью шкуру, а голову медведя положила на свою, как шлем, сверх обыкновенной полумаски. Это было в общем безобразно, но все ж таки шло к ее дюжему сложению и зычному голосу. Медведица ходила тяжкими шагами и рявкала на весь зал, так что огни в люстрах дрожали. Многим нравилась медведица. Ей дали немало билетов. Но она не сумела их сохранить сама, а догадливого спутника, как у других, ей не нашлось; больше половины билетов у нее раскрали, когда ее подпоили купчики, — они сочувствовали проявленной ею способности изображать медвежьи ухватки. В толпе кричали:

— Поглядите-ка, медведица водку дует!

Скобочкина не решалась отказываться от водки. Ей казалось, что медведица должна пить водку, если ей подносят.

Выделялся ростом и дородством некто, одетый древним германцем. Многим нравилось, что он такой дюжий и что руки видны, могучие руки, с превосходно развитыми мускулами. За ним ходили преимущественно дамы, и вокруг него слышался ласковый и хвалебный шепот. В древнем германце узнавали актера Бенгальского. Бенгальский в нашем городе был любим. За то многие давали ему билеты. Многие рассуждали так:

— Уж если приз не мне достанется, то пусть лучше актеру (или актрисе). А то, если из наших, хвастовством замучат.

Имел успех и наряд у Грушиной, — успех скандала. Мужчины за нею ходили густою толпою, хохотали, делали нескромные замечания. Дамы отвертывались, возмущались. Наконец исправник подошел к Грушиной и, сладко облизываясь, произнес:

— Сударыня, прикрыться надо.

— А что же такое? У меня ничего неприличного не видно, — бойко ответила Грушина.

— Сударыня, дамы обижаются, — сказал Миньчуков.

— Наплевать мне на ваших дам! — закричала Грушина.

— Нет уж, сударыня, — просил Миньчуков, — вы хоть носовым платочком грудку да спинку потрудитесь покрыть.

— А коли я платок засморкала? — с наглым смехом возразила Грушина.

Но Миньчуков настаивал:

— Уж как вам угодно, сударыня, а только если не прикроетесь, удалить придется.

Ругаясь и плюясь, Грушина отправилась в уборную и там, при помощи горничной, расправила складки своего платья на грудь и спину. Возвратясь в зал, хотя и в более скромном виде, она все же усердно искала себе поклонников. Она грубо заигрывала со всеми мужчинами. Потом, когда их внимание было отвлечено в другую сторону, она отправилась в буфетную воровать сласти. Скоро вернулась она в зал, показала Володину пару персиков, нагло ухмыльнулась и сказала:

— Сама промыслила.

И тотчас персики скрылись в складках ее костюма. Володин радостно осклабился.

— Ну! — сказал он, — пойду и я, коли так.

Скоро Грушина напилась и вела себя буйно, — кричала, махала руками, плевалась.

— Веселая дама Дианка! — говорили про нее.

Таков-то был маскарад, куда повлекли взбалмошные девицы легкомысленного гимназиста. Усевшись на двух извозчиках, три сестры с Сашею поехали уже довольно поздно, — опоздали из-за него. Их появление в зале было замечено. Гейша в особенности нравилась многим. Слух пронесся, что гейшею наряжена Каштанова, актриса, любимая мужскою частью здешнего общества. И потому Саше давали много билетиков. А Каштанова вовсе и не была в маскараде, — у нее накануне опасно заболел маленький сын.

Саша, опьяненный новым положением, кокетничал напропалую. Чем больше в маленькую гейшину руку всовывали билетиков, тем веселее и задорнее блистали из узких прорезов в маске глаза у кокетливой японки. Гейша приседала, поднимала тоненькие пальчики, хихикала задушенным голосом, помахивала веером, похлопывала им по плечу того или другого мужчину, и потом закрывалась веером, и по-

минутно распускала свой розовый зонтик. Нехитрые приемы, впрочем, достаточные для обольщения всех, поклоняющихся актрисе Каштановой.

— Я билетик свой отдам прелестнейшей из дам, — сказал Тишков и подал с молодцеватым поклоном билетик гейше.

Уже он много выпил и был красен; его неподвижно улыбающееся лицо и неповоротливый стан делали его похожим на куклу. И все рифмовал.

Валерия смотрела на Сашины успехи и досадливо завидовала; уже теперь ей хотелось, чтобы ее узнали, чтобы ее наряд и ее тонкая, стройная фигура понравились толпе и чтобы ей дали приз. И сейчас же с досадою вспомнила она, что это никак невозможно: все три сестры условились добиваться билетиков только для гейши, а себе если и получат, то передать их все-таки своей японке.

В зале танцевали. Володин, быстро охмелев, пустился вприсядку. Полицейские остановили его. Он сказал весело-послушно:

— Ну если нельзя, то я и не буду.

Но по примеру его пустившиеся откалывать трепака два мещанина не пожелали покориться.

— По какому праву? за свой полтинник! — восклицали они и были выведены.

Володин провожал их, кривляясь, осклабясь, и приплясывал.

Девицы Рутиловы поспешили отыскать Передонова, чтобы поиздеваться над ним. Он сидел один, у окна, и смотрел на толпу блуждающими глазами. Все люди и предметы являлись ему бессмысленными, разрозненными, но равно враждебными. Людмила, цыганкою, подошла к нему и сказала измененным гортанным голосом:

— Барин мой милый, дай я тебе погадаю.

— Пошла к черту! — крикнул Передонов.

Внезапное цыганкино появление испугало его.

— Барин хороший, золотой мой барин, дай мне руку. По лицу вижу, — богатый будешь, большой начальник будешь, — канючила Людмила и взяла-таки руку Передонова.

— Ну смотри, да только хорошо гадай, — проворчал Передонов.

— Ай, барин мой бриллиантовый, — гадала Людмила, — врагов у тебя много, донесут на тебя, плакать будешь, умрешь под забором.

— Ах ты, стерва! — закричал Передонов и вырвал руку.

Людмила проворно юркнула в толпу. На смену ей пришла Валерия, — села рядом с Передоновым и зашептала ему нежно:

Я испанка молодая.
Я люблю таких мужчин,
А жена твоя — худая,
Мой прелестный господин

— Врешь, дура, — ворчал Передонов.

Валерия шептала:

Жарче дня и слаще ночи
Мой севильский поцелуй, —
А жене ты прямо в очи
Очень глупые наплюй
У тебя жена — Варвара,
Ты красавец, Ардальон
Вы с Варварою не пара, —
Ты умен, как Соломон

— Это ты верно говоришь, — сказал Передонов, — только как же я ей в глаза плюну? Она княгине пожалуется, и мне места не дадут.

— А на что тебе место? Ты и без места хорош, — сказала Валерия.

— Ну да, как же я могу жить, если мне не дадут места, — уныло сказал Передонов.

Дарья всунула в руку Володину письмо, заклеенное розовою облаткою. С радостным блеяньем распечатал его Володин, прочел, призадумался, — и возгордился, и словно смутился чем-то. Было написано коротко и ясно:

Приходи, миленький, на свидание со мною завтра в одиннадцать часов ночи в Солдатскую баню.

Вся чужая Ж

Володин письму поверил, но вот вопрос — стоит ли идти? И кто такая эта Ж.? Какая-нибудь Женя? Или это фамилия начинается с буквы «Ж»?

Володин показал письмо Рутилову.

— Иди, конечно, иди! — подбивал Рутилов, — посмотри, что из этого выйдет. Может быть, это богатая невеста влюбилась в тебя, а родители препятствуют, так вот она и хочет с тобою объясниться.

Но Володин подумал, подумал, да и решил, что не стоит идти. Он важно говорил:

— Вешаются мне на шею, но я таких развратных не хочу.

Он боялся, что его там поколотят: Солдатская баня находилась в глухом месте, на городской окраине.

Уже когда толпа во всех помещениях в клубе теснилась густая, крикливая, преувеличенно веселая, в зале у входных дверей послышался шум, хохот, одобрительные возгласы. Все потеснились в ту сторону. Передавали друг другу, что пришла ужасно оригинальная маска. Человек тощий, длинный, в заплатанном, засаленном халате, с веником под мышкою, с шайкою в руке, пробирался в толпу. На нем была картонная маска, — глупое лицо с узенькою бороденкою, с бачками, а на голове фуражка с гражданскою круглою кокардою. Он повторял удивленным голосом:

— Мне сказали, что здесь маскарад, а здесь и не моются.

И уныло помахивал шайкою. Толпа ходила за ним, ахая и простодушно восхищаясь его замысловатою выдумкою.

— Приз, поди, получит, — завистливо говорил Володин.

Завидовал же он, как и многие, как-то бездумно, непосредственно, — ведь сам-то он был не наряжен, чего бы, кажись, завидовать? А вот Мачигин, так тот был в необычайном восторге: кокарда особенно восхищала его. Он радостно хохотал, хлопал в ладоши и говорил знакомым и незнакомым:

— Хорошая критика! Эти чинуши много важничают, кокарды любят носить, мундиры, вот им критику и подпустили, — очень ловко.

Когда стало жарко, чиновник в халате принялся обмахиваться веником, восклицая:

— Вот так банька!

Окружающие радостно хохотали. В шайку сыпались билеты.

Передонов смотрел на веющий в толпе веник. Он казался ему недотыкомкою.

«Позеленела, шельма», — в ужасе думал он.

XXX

Наконец начался счет полученным за наряды билетикам. Клубские старшины составили комитет. У дверей в судейскую комнату собралась напряженно ожидавшая толпа. В клубе на короткое время стало тихо и скучно. Музыка не играла. Гости притихли. Передонову стало жутко. Но скоро в толпе начались разговоры, нетерпеливый ропот, шум. Кто-то уверял, что оба приза достанутся актерам.

— Вот вы увидите, — слышался чей-то раздраженный, шипящий голос.

Многие поверили. Толпа волновалась. Получившие мало билетиков уже были озлоблены этим. Получившие много волновались ожиданием возможной несправедливости.

Вдруг тонко и нервно звякнул колокольчик. Вышли судьи: Верига, Авиновицкий, Кириллов и другие старшины. Смятение волною пробежало в зале, — и вдруг все затихли. Авиновицкий зычным голосом произнес на весь зал:

— Приз, альбом, за лучший мужской костюм присужден, по большинству полученных билетиков, господину в костюме древнего германца.

Авиновицкий высоко поднял альбом и сердито смотрел на столпившихся гостей. Рослый германец стал пробираться через толпу. На него глядели враждебно. Даже не давали дороги.

— Не толкайтесь, пожалуйста! — плачущим голосом закричала унылая дама в синем костюме, со стеклянною звездочкою и бумажною луною на лбу, ночь.

— Приз дали, так уж и вообразил о себе, что дамы перед ним расстилаться должны, — послышался из толпы злобно шипящий голос.

— Коли сами не пускаете, — со сдержанною досадою ответил германец.

Наконец он кое-как добрался до судей и взял альбом из Веригиных рук. Музыка заиграла туш. Но звуки музыки покрылись бесчинным шумом. Посыпались ругательные слова. Германца окружили, дергали его и кричали:

— Снимите маску!

Германец молчал. Пробиться через толпу ему бы ничего не стоило, — но он, очевидно, стеснялся пустить в ход свою силу. Гудаевский схватился за альбом, и в то же время кто-то быстро сорвал с германца маску. В толпе завопили:

— Актер и есть!

Предположения оправдались: это был актер Бенгальский. Он сердито крикнул:

— Ну актер, так что же из того! Ведь вы же сами давали билеты!

В ответ раздались озлобленные крики:

— Подсыпать-то можно.

— Билеты вы ведь печатали.

— Столько и публики нет, сколько билетов роздано.

— Он полсотни билетов в кармане принес!

Бенгальский побагровел и закричал:

— Это подло, так говорить. Проверяйте, кому угодно, — по числу посетителей можно проверить.

Меж тем Верига говорил ближайшим к нему:

— Господа, успокойтесь, никакого обмана нет, ручаюсь за это: число билетов проверено по входным.

Кое-как старшины с помощью немногих благоразумных гостей утишили толпу. Да и всем стало любопытно, кому дадут веер. Верига объявил:

— Господа, наибольшее число билетиков за дамский костюм получено дамою в костюме гейши, которой и присужден приз, веер. Гейша, пожалуйте сюда, веер ваш. Господа, покорнейше прошу вас, будьте любезны, дорогу гейше.

Музыка вторично заиграла туш. Испуганная гейша рада была бы убежать. Но ее подтолкнули, пропустили, вывели вперед. Верига, с любезною улыбкою, вручил ей веер. Что-то пестрое и нарядное мелькнуло в отуманенных страхом и смущением Сашиных глазах. Надо благодарить, — подумал он. Сказалась привычная вежливость благовоспитанного мальчика. Гейша присела, сказала что-то невнятное, хихикнула, подняла пальчики, — и опять в зале поднялся неистовый гвалт, послышались свистки, ругань. Все стремительно двинулись к гейше. Свирепый, ощетинившийся колос кричал:

— Приседай, подлянка! приседай!

Гейша бросилась к дверям, но ее не пустили. В толпе, волновавшейся вокруг гейши, слышались злые крики:

— Заставьте ее снять маску!

— Маску долой!

— Лови ее, держи!

— Срывайте с нее!

— Отымите веер!

Колос кричала:

— Знаете ли вы, кому приз? Актрисе Каштановой. Она чужого мужа отбила, а ей — приз! Честным дамам не дают, а подлячке дали!

И она бросилась на гейшу, пронзительно визжала и сжимала сухие кулачки. За нею и другие, — больше из ее кавалеров. Гейша отчаянно отбивалась. Началась дикая травля. Веер сломали, вырвали, бросили на пол, топтали. Толпа с гейшею в середине бешено металась по зале, сбивая с ног наблюдателей. Ни Рутиловы, ни старшины не могли пробиться к гейше. Гейша, юркая, сильная, визжала пронзительно, царапалась и кусалась. Маску она крепко придерживала то правою, то левою рукою.

— Бить их всех надо! — визжала какая-то озлобленная дамочка.

Пьяная Грушина, прячась за другими, науськивала Володина и других своих знакомых.

— Щиплите ее, щиплите, подлянку! — кричала она.

Мачигин, держась за нос, — капала кровь, — выскочил из толпы и жаловался:

— Прямо в нос кулаком двинула.

Какой-то свирепый молодой человек вцепился зубами в гейшин рукав и разорвал его до половины. Гейша вскрикнула:

— Спасите!

И другие начали рвать ее наряд. Кое-где обнажилось тело. Дарья и Людмила отчаянно толкались, стараясь протиснуться к гейше, но напрасно. Володин с таким усердием дергал гейшу, и визжал, и так кривлялся, что даже мешал другим, менее его пьяным и более озлобленным; он же старался не со злости, а из веселости, воображая, что разыгрывается очень потешная забава. Он оторвал начисто рукав от гейшина платья и повязал себе им голову.

— Пригодится! — визгливо кричал он, гримасничал и хохотал.

Выбравшись из толпы, где показалось ему тесно, он дурачился на просторе и с диким визгом плясал над обломками от веера. Некому было унять его. Передонов смотрел на него с ужасом и думал: «Пляшет, радуется чему-то. Так-то он и на моей могиле спляшет».

Наконец гейша вырвалась, — обступившие ее мужчины не устояли против ее проворных кулаков да острых зубов. Гейша метнулась из зала. В коридоре колос опять накинулась на японку и захватила ее за платье. Гейша вырвалась было, но уже ее опять окружили. Возобновилась травля.

— За уши, за уши дерут, — закричал кто-то.

Какая-то дамочка ухватила гейшу за ухо и трепала ее, испуская громкие торжествующие крики. Гейша завизжала и кое-как вырвалась, ударив кулаком злую дамочку.

Наконец Бенгальский, который тем временем успел переодеться в обыкновенное платье, пробился через толпу к гейше. Он взял дрожащую японку к себе на руки, закрыл ее своим громадным телом и руками, насколько мог, и быстро понес, ловко раздвигая толпу локтями и ногами. В толпе кричали:

— Негодяй, подлец!

Бенгальского дергали, колотили в спину. Он кричал:

— Я не позволю с женщины сорвать маску; что хотите делайте, не позволю.

Так через весь коридор он пронес гейшу. Коридор оканчивался узкою дверью в столовую. Здесь Вериге удалось ненадолго задержать толпу. С решимостью военного он стал перед дверью, заслонил ее собою и сказал:

— Господа, вы не пойдете дальше.

Гудаевская, шурша остатками растрепанных колосьев, наскакивала на Веригу, показывала ему кулачки, визжала пронзительно:

— Отойдите, пропустите.

Но внушительно-холодное у генерала лицо и его решительные серые глаза воздерживали ее от действий. Она в бессильном бешенстве закричала на мужа:

— Взял бы да и дал бы ей оплеуху, — чего зевал, фалалей!

— Неудобно было зайти, — оправдывался индеец, бестолково махая руками, — Павлушка под локтем вертелся.

— Павлушке бы в зубы, ей в ухо, чего церемонился! — кричала Гудаевская.

Толпа напирала на Веригу. Слышалась площадная брань. Верига спокойно стоял пред дверью и уговаривал ближайших прекратить бесчинство. Кухонный мальчик приотворил дверь сзади Вериги и шепнул:

— Уехали-с, ваше превосходительство.

Верига отошел. Толпа ворвалась в столовую, потом в кухню, — искали гейшу, но уже не нашли. Бенгальский бегом пронес гейшу через столовую в кухню. Она спокойно лежала на его руках и молчала. Бенгальскому казалось, что он слышит сильный перебой гейшина сердца. На ее голых руках, крепко сжавшихся, он заметил несколько царапинок и около локтя синевато-желтое пятно от ушиба. Взволнованным голосом Бенгальский сказал толпившейся на кухне челяди:

— Живее пальто, халат, простыню, что-нибудь, — надо барыню спасать.

Чье-то пальто наброшено на Сашины плечи, кое-как закутал Бенгальский японку, — и по узкой, еле освещенной керосиновыми чадящими лампами лестнице вынес ее на двор, — и через калитку в переулок.

— Снимите маску, в маске хуже узнают, теперь все равно темно, — довольно непоследовательно говорил он, — я никому не скажу.

Любопытно ему было. Он-то наверное знал, что это не Каштанова, — но кто же это? Японка послушалась. Бенгальский увидел незнакомое смуглое лицо, на котором испуг преодолевался выражением радости от избегнутой опасности. Задорные, уже веселые глаза остановились на актеровом лице.

— Как вас благодарить! — сказала гейша звучным голосом. — Что бы со мною было, если бы вы меня не вытащили!

«Баба не трус, интересный бабец! — подумал актер, — но кто она?» Видно, из приезжих: здешних дам Бенгальский знал. Он тихо сказал Саше:

— Надо вас поскорее домой доставить. Скажите мне ваш адрес, я возьму извозчика.

Японкино лицо снова омрачилось испугом.

— Никак нельзя, никак нельзя! — залепетала она, — я одна дойду, вы меня оставьте.

— Ну как вы там дойдете по такой слякоти на ваших деревяшках, — надо извозчика, — уверенно возразил актер.

— Нет, я добегу, — ради Бога, отпустите, — умоляла гейша.

— Клянусь честью, никому не скажу, — уверял Бенгальский. — Я не могу вас отпустить, вы простудитесь. Я взял вас на свою ответственность и не могу. И скорее скажите, — они могут и здесь вас вздуть. Ведь вы же видели, это совсем дикие люди. Они на все способны.

Гейша задрожала. Быстрые слезы вдруг покатились из ее глаз. Всхлипывая, она сказала:

— Ужасно, ужасно злые люди! Отвезите меня пока к Рутиловым, я у них переночую.

Бенгальский крикнул извозчика. Сели и поехали. Актер всматривался в смуглое гейшино лицо. Оно казалось ему странным. Гейша отвертывалась. Смутная догадка мелькнула в нем. Вспомнились городские толки о Рутиловых, о Людмиле и об ее гимназисте.

— Эге, да ты — мальчишка! — сказал он шепотом, чтобы не слышал извозчик.

— Ради Бога, — бледный от ужаса, взмолился Саша.

И его смуглые руки в умоляющем движении протянулись из-под кое-как надетого пальто к Бенгальскому. Бенгальский тихонько засмеялся и так же тихо сказал:

— Да уж не скажу никому, не бойся. Мое дело — тебя доставить на место, а больше я ничего не знаю. Однако ты — отчаянный. А дома не узнают?

— Если вы не проболтаетесь, никто не узнает, — просительно-нежным голосом сказал Саша.

— На меня положись, во мне как в могиле, — ответил актер. — Сам был мальчишкою, штуки выкидывал.

Уж скандал в клубе начал затихать, — но вечер завершился новою бедою. Пока в коридоре травили гейшу, пламенная недотыкомка, прыгая по люстрам, смеялась и навязчиво подсказывала Передонову, что надо зажечь спичку и напустить ее, недотыкомку огненную, но несвободную, на эти тусклые, грязные стены, и тогда, насытясь истреблением, пожрав это здание, где совершаются такие страшные и непонятные дела, она оставит Передонова в покое. И не мог Передонов противиться ее настойчивому внушению. Он вошел в маленькую гостиную, что была рядом с танцевальным залом. Никого в ней не было. Передонов осмотрелся, зажег спичку, поднес ее к оконному занавесу снизу, у самого пола, и подождал, пока занавес загорелся. Огненная недотыкомка юркою змейкою поползла по занавесу, тихонько и радостно взвизгивая. Передонов вышел из гостиной и затворил за собою дверь. Никто не заметил поджога.

Пожар увидели уже с улицы, когда вся горница была в огне. Пламя распространялось быстро. Люди спаслись, — но дом сгорел.

На другой день в городе только и говорили, что о вчерашнем скандале с гейшею да о пожаре. Бенгальский сдержал слово и никому не сказал, что гейшею был наряжен мальчик.

А Саша еще ночью, переодевшись у Рутиловых и обратившись опять в простого, босого мальчика, убежал домой, влез в окно и спокойно уснул. В городе, кишащем сплетнями, в городе, где все обо всех знали, ночное Сашино похождение так и осталось тайною. Надолго, конечно, не навсегда.

XXXI

Екатерина Ивановна Пыльникова, Сашина тетка и воспитательница, сразу получила два письма о Саше, — от директора и от Коковкиной. Эти письма страшно встревожили ее. В осеннюю распутицу, бросив все свои дела, поспешно выехала она из деревни в наш город. Саша встретил тетю с радостью, — он любил ее. Тетя везла большую на него в своем сердце грозу. Но он так радостно бросился ей на шею, так расцеловал ее руки, что она не нашла в первую минуту строгого тона.

— Милая тетечка, какая ты добрая, что приехала! — говорил Саша и радостно глядел на ее полное, румяное лицо с добрыми ямочками на щеках и с деловито-строгими карими глазами.

— Погоди радоваться, еще я тебя приструню, — неопределенным голосом сказала тетя.

— Это ничего, — беспечно сказал Саша, — приструнь, было бы только за что, а все же ты меня ужасти как обрадовала.

— Ужасти! — повторила тетя недовольным голосом, — вот про тебя ужасти я узнала.

Саша поднял брови и посмотрел на тетю невинными, непонимающими глазами. Он пожаловался:

— Тут учитель один, Передонов, придумал, будто я девочка, привязался ко мне, — а потом директор мне голову намылил, зачем я с барышнями Рутиловыми познакомился. Точно я к ним воровать хожу. А какое им дело?

«Совсем тот же ребенок, что и был, — в недоумении думала тетя. — Или уж он так испорчен, что обманывает даже лицом?»

Она затворилась с Коковкиной и долго беседовала с нею. Вышла от нее печальная. Потом поехала к директору. Вернулась со-

всем расстроенная. Обрушились на Сашу тяжелые тетины упреки. Саша плакал, но уверял с жаром, что все это выдумки, что никаких вольностей с барышнями он себе никогда не позволял. Тетя не верила. Бранила, бранила, заплакала, погрозила высечь Сашу, больно высечь, сейчас же, — сегодня же, вот только еще сперва увидит этих девиц. Саша рыдал и продолжал уверять, что ровно ничего худого не было, что все это ужасно преувеличено и сочинено.

Тетя, сердитая, заплаканная, отправилась к Рутиловым.

Ожидая в гостиной у Рутиловых, Екатерина Ивановна волновалась. Ей хотелось сразу обрушиться на сестер с самыми жестокими упреками, и уже укоризненные, злые слова были у нее готовы, — но мирная, красивая их гостиная внушала ей, мимо ее желаний, спокойные мысли и утишала ее досаду. Начатое и оставленное здесь вышиванье, кипсеки, гравюры на стенах, тщательно выхоженные растения у окон, и нигде нет пыли, и еще какое-то особое настроение семейственности, нечто такое, чего не бывает в непорядочных домах и что всегда оценивается хозяйками, — неужели в этой обстановке могло совершиться какое-то обольщение ее скромного мальчика заботливыми молодыми хозяйками этой гостиной? Какими-то ужасно нелепыми показались Екатерине Ивановне все те предположения, которые она читала и слушала о Саше, — и, наоборот, такими правдоподобными представлялись ей Сашины объяснения о том, что он делал у девиц Рутиловых: читали, разговаривали, шутили, смеялись, играли, — хотели домашний спектакль устроить, да Ольга Васильевна не позволила.

А три сестры порядком струхнули. Они еще не знали, осталось ли тайною Сашино ряженье. Но их ведь было трое, и все они дружно одна за другую. Это сделало их более храбрыми. Они все три собрались у Людмилы и шепотом совещались. Валерия сказала:

— Надо же идти к ней, — невежливо. Ждет.

— Ничего, пусть простынет немного, — беспечно ответила Дарья, — а то она уж очень сердито на нас напустится.

Все сестры надушились сладко-влажным клематитом, — вышли спокойные, веселые, миловидные, нарядные, как всегда, — наполнили гостиную своим милым лепетом, приветливостью и веселостью. Екатерина Ивановна была сразу очарована их милым и приличным видом. «Нашли распутниц!» — подумала она досадливо о гимназических педагогах. А потом подумала, что они, может быть, напускают на себя скромный вид. Решилась не поддаваться их чарам.

— Простите, сударыни, мне надо с вами серьезно объясниться, — сказала она, стараясь придать своему голосу деловитую сухость.

Сестры ее усаживали и весело болтали.

— Которая же из вас?.. — нерешительно начала Екатерина Ивановна.

Людмила сказала весело и с таким видом, как будто она, любезная хозяйка, выводит из затруднения гостью:

— Это все больше я с вашим племянничком возилась. У нас с ним оказались во многом одинаковые взгляды и вкусы.

— Он очень милый мальчик, ваш племянник, — сказала Дарья, словно уверенная, что ее похвала осчастливит гостью.

— Право, милый, и такой забавливый, — сказала Людмила.

Екатерина Ивановна чувствовала себя все более неловко. Она вдруг поняла, что у нее нет никаких значительных поводов к упрекам. И уже она начала на это сердиться, — и последние Людмилины слова дали ей возможность высказать свою досаду. Она заговорила сердито:

— Вам забава, а ему...

Но Дарья перебила ее и сказала сочувствующим голосом:

— Ах, уж мы видим, что до вас дошли эти глупые передоновские выдумки. Но ведь вы знаете, — он совсем сумасшедший. Его директор и в гимназию не пускает. Только ждут психиатра для освидетельствования, и тогда его выставят из гимназии.

— Но позвольте, — перебила ее в свою очередь Екатерина Ивановна, все более раздражаясь, — меня интересует не этот учитель, а мой племянник. Я слышала, что вы, — извините, пожалуйста, — его развращаете.

И, бросивши сгоряча сестрам это решительное слово, Екатерина Ивановна сразу же подумала, что она зашла слишком далеко. Сестры переглянулись с видом столь хорошо разыгранного недоумения и возмущения, что и не одна только Екатерина Ивановна была бы обманута, — покраснели, воскликнули все разом:

— Вот мило!

— Ужасно!

— Новости!

— Сударыня, — холодно сказала Дарья, — вы совсем не выбираете выражений. Прежде чем говорить грубые слова, надо узнать, насколько они уместны.

— Ах, это так понятно! — живо заговорила Людмила с видом обиженной, но простившей свою обиду милой девицы, — он же вам не чужой. Конечно, вас не могут не волновать все эти глупые сплетни. Нам и со стороны было его жалко, потому мы его и приласкали. А в нашем городе сейчас из всего сделают преступление. Здесь, если бы вы знали, такие ужасные, ужасные люди!

— Ужасные люди! — тихо повторила Валерия звонким, хрупким голосом и вся дрогнула, словно прикоснулась к чему-то нечистому.

— Да вы его спросите самого, — сказала Дарья, — вы на него посмотрите: ведь он еще ужасный ребенок. Это вы, может быть, привыкли к его простодушию, а со стороны виднее, что он совсем, совсем неиспорченный мальчик.

Сестры лгали так уверенно и спокойно, что им нельзя было не верить. Что же, ведь ложь и часто бывает правдоподобнее правды. Почти всегда. Правда же, конечно, неправдоподобна.

— Конечно, это — правда, что он у нас бывал слишком часто, — сказала Дарья. — Но мы его больше и на порог не пустим, если вы так хотите.

— И я сама сегодня же схожу к Хрипачу, — сказала Людмила. — Что это он выдумал? Да неужели он сам верит в такую нелепость?

— Нет, он, кажется, и сам не верит, — призналась Екатерина Ивановна, — а только он говорит, что ходят разные дурные слухи.

— Ну вот, видите! — радостно воскликнула Людмила, — он, конечно, и сам не верит. Из-за чего же весь этот шум?

Веселый Людмилин голос обольщал Екатерину Ивановну. Она думала: «Да что же на самом-то деле случилось? Ведь и директор говорит, что он ничему этому не верит».

Сестры еще долго наперебой щебетали, убеждая Екатерину Ивановну в совершенной невинности их знакомства с Сашею. Для большей убедительности они принялись было рассказывать с большою подробностью, что именно и когда они делали с Сашею, — но при этом перечне скоро сбились, — это же все такие невинные, простые вещи, что просто и помнить их нет возможности. И Екатерина Ивановна наконец вполне поверила в то, что ее Саша и милые девицы Рутиловы явились невинными жертвами глупой клеветы.

Прощаясь, Екатерина Ивановна ласково расцеловалась с сестрами и сказала им:

— Вы — милые, простые девушки. Я думала сначала, что вы, — простите за грубое слово, — хабалки.

Сестры весело смеялись. Людмила говорила:

— Нет, мы только веселые и с острыми язычками, за это нас и недолюбливают иные здешние гуси.

Вернувшись от Рутиловых, тетя ничего не сказала Саше. А он встретил ее перепуганный, смущенный и посматривал на нее осторожно и внимательно. Тетя пошла к Коковкиной. Проговорили долго, наконец тетя решила: «Схожу еще к директору».

В тот же день Людмила отправилась к Хрипачу. Посидела в гостиной с Варварою Николаевною, потом объявила, что она по делу к Николаю Власьевичу.

В кабинете у Хрипача произошел оживленный разговор, — не потому, собственно, что собеседникам надо было многое сказать друг другу, а потому, что оба любили поговорить. И они осыпали один другого быстрыми речами: Хрипач — своею сухою, трескучею скороговоркою, Людмила — звонким, нежным лепетаньем. Плавно, с неотразимою убедительностью неправды, полился на Хрипача

ее полулживый рассказ об отношениях к Саше Пыльникову. Главное ее побуждение было, конечно, сочувствие к мальчику, оскорбленному таким грубым подозрением, — желание заменить Саше отсутствующую семью, — и, наконец, он и сам такой славный, веселый и простодушный мальчик. Людмила даже заплакала, и быстрые маленькие слезинки удивительно красиво покатились по ее розовым щекам, на ее смущенно улыбающиеся губы.

— Правда, я его полюбила, как брата. Он славный и добрый, он так ценит ласку, он целовал мои руки.

— Это, конечно, очень мило с вашей стороны, — говорил несколько смущенный Хрипач, — и делает честь вашим добрым чувствам, но вы напрасно принимаете так близко к сердцу тот простой факт, что я счел долгом уведомить родственников мальчика относительно дошедших до меня слухов.

Людмила, не слушая его, продолжала лепетать, переходя уже в тон кроткого упрека:

— Что же тут худого, скажите, пожалуйста, что мы приняли участие в мальчике, на которого напал этот ваш грубый, сумасшедший Передонов, — и когда его уберут из нашего города! И разве же вы сами не видите, что этот ваш Пыльников совсем еще дитя, — ну право, совсем дитя!

Всплеснула маленькими красивыми руками, брякнула золотым браслетиком, засмеялась нежно, словно заплакала, достала платочек, — вытереть слезы, — и нежным ароматом повеяло на Хрипача. И Хрипачу вдруг захотелось сказать, что она «прелестна, как ангел небесный» и что весь этот прискорбный инцидент «не стоит одного мгновенья ее печали дорогой». Но он воздержался.

И журчал, и журчал нежный, быстрый Людмилочкин лепет, и развеивал дымом химерическое здание передоновской лжи. Только сравнить, — безумный, грубый, грязный Передонов, — и веселая, светлая, нарядная, благоуханная Людмилочка. Говорит ли совершенную Людмила правду или привирает, — это Хрипачу было все равно, — но он чувствовал, что не поверить Людмилочке, заспорить с нею, допустить какие-нибудь последствия, хоть бы взыскания с Пыльни-

кова, — значило бы попасться впросак и осрамиться на весь учебный округ. Тем более что это связано с делом Передонова, которого, конечно, признают ненормальным. И Хрипач, любезно улыбаясь, говорил Людмиле:

— Мне очень жаль, что это вас так взволновало. Я ни одной минуты не позволил себе иметь какие бы то ни было дурные мысли относительно вашего знакомства с Пыльниковым. Я очень высоко ценю те добрые и милые побуждения, которые двигали вашими поступками, — и ни одной минуты я не смотрел на ходившие в городе и дошедшие до меня слухи иначе, как на глупую и безумную клевету, которая меня глубоко возмущала. Я обязан был уведомить госпожу Пыльникову, тем более что до нее могли дойти еще более искаженные сообщения, — но я не имел в виду чем-нибудь обеспокоить вас и не думал, что госпожа Пыльникова обратится к вам с упреками.

— Ну с госпожой-то Пыльниковой мы мирно сговорились, — весело сказала Людмила, — а вот вы на Сашу не нападайте из-за нас. Если уж наш дом такой опасный для гимназистов, то мы его, если хотите, и пускать не будем.

— Вы к нему очень добры, — неопределенно сказал Хрипач. — Мы ничего не можем иметь против того, чтобы он в свободное время, с разрешения своей тетки, посещал своих знакомых. Мы далеки от намерения обратить ученические квартиры в места какого-то заключения. Впрочем, пока не разрешится история с господином Передоновым, лучше будет, если Пыльников посидит дома.

Скоро уверенная ложь Рутиловых и Сашина была подкреплена страшным событием в доме Передоновых. Оно окончательно убедило горожан в том, что все толки о Саше и девицах Рутиловых — бред сумасшедшего.

XXXII

Был пасмурный, холодный день. Передонов возвращался от Володина. Тоска томила его. Вершина заманила Передонова к себе в сад.

Он покорился опять ее ворожащему зову. Вдвоем прошли в беседку, по мокрым дорожкам, покрытым палыми, истлевающими, темными листьями. Унылою пахло сыростью в беседке. Из-за голых деревьев виден был дом с закрытыми окнами.

— Я хочу открыть вам правду, — бормотала Вершина, быстро взглядывая на Передонова и опять отводя в сторону черные глаза.

Она была закутана в черную кофту, повязана черным платком и посинелыми от холода губами, сжимая черный мундштук, пускала густыми тучами черный дым.

— Наплевать мне на вашу правду, — ответил Передонов, — в высокой степени наплевать.

Вершина криво усмехнулась и возразила:

— Не скажите! Мне вас ужасно жалко, — вас обманули.

Злорадство слышалось в ее голосе. Злые слова сыпались с ее языка. Она говорила:

— Вы понадеялись на протекцию, но только вы слишком доверчиво поступили. Вас обманули, а вы так легко поверили. Письмо-то написать всякому легко. Вы должны были знать, с кем имеете дело. Ваша супруга — особа неразборчивая.

Передонов с трудом понимал бормочущую речь Вершиной; сквозь ее околичности еле проглядывал для него смысл. Вершина боялась говорить громко и ясно: сказать громко — кто-нибудь услышит, передадут Варваре, могут выйти неприятности, Варвара не постеснится сделать скандал; сказать ясно — сам Передонов озлится; пожалуй, еще прибьет. Намекнуть бы, чтобы он сам догадался. Но Передонов не догадывался. Ведь и раньше, случалось, говорили ему в глаза, что он обманут, а он никак не мог домекнуться, что письма подделаны, и все думал, что обманывает его сама княгиня, — за нос водит.

Наконец Вершина сказала прямо:

— Письма-то, вы думаете, княгиня писала? Да теперь уже весь город знает, что их Грушина сфабриковала, по заказу вашей супруги; а княгиня и не знает ничего. Кого хотите спросите, все знают, — они сами проболтались. А потом Варвара Дмитриевна и письма у вас утащила и сожгла, чтобы улики не было.

Тяжкие, темные мысли ворочались в мозгу Передонова. Он понимал одно, что его обманули. Но что княгиня будто бы не знает, — нет, она-то знает. Недаром она из огня живая вышла.

— Вы врете про княгиню, — сказал он, — я княгиню жег, да не дожег: отплевалась.

Вдруг бешеная ярость охватила Передонова. Обманули! Он свирепо ударил кулаком по столу, сорвался с места и, не прощаясь с Вершиною, быстро пошел домой.

Вершина радостно смотрела за ним, и черные дымные тучи быстро вылетали из ее темного рта, и неслись, и рвались по ветру.

Передонова сжигала ярость. Но когда он увидел Варвару, мучительный страх обнял его и не дал ему сказать ни слова.

На другой день Передонов с утра приготовил нож, небольшой, садовый, в кожаных ножнах, — и бережно носил его в кармане. Целое утро, — вплоть до раннего своего обеда, — просидел он у Володина. Глядел на его работу, делал нелепые замечания. Володин был попрежнему рад, что Передонов с ним водится, а его глупости казались ему забавными.

Недотыкомка весь день юлила вокруг Передонова. Не дала заснуть после обеда. Вконец измучила. Когда, уже к вечеру, он начал было засыпать, его разбудила невесть откуда взявшаяся шальная баба. Курносая, безобразная, она подошла к его постели и забормотала:

— Квасок затереть, пироги свалять, жареное зажарить.

Щеки у нее были темные, а зубы блестели.

— Пошла к черту! — крикнул Передонов.

Курносая баба скрылась, словно ее и не бывало.

Настал вечер. Тоскливый ветер выл в трубе. Медленный дождь тихо, настойчиво стучал в окошки. За окнами было совсем черно. У Передоновых был Володин, — Передонов еще утром позвал его пить чай.

— Никого не пускать. Слышишь, Клавдюшка? — закричал Передонов.

Варвара ухмылялась. Передонов бормотал:

— Бабы какие-то шляются тут. Надо смотреть. Одна ко мне в спальню затесалась, наниматься в кухарки. А на что мне курносая кухарка?

Володин смеялся, словно блеял, и говорил:

— Бабы по улице изволят ходить, а к нам они никакого касательства не имеют, и мы их к себе за стол не пустим.

Сели за стол втроем. Принялись пить водку и закусывать пирожками. Больше пили, чем ели. Передонов был мрачен. Уже все было для него как бред, бессмысленно, несвязно и внезапно. Голова болела мучительно. Одно представление настойчиво повторялось, — о Володине как о враге. Оно чередовалось с тяжкими приступами навязчивой мысли: надо убить Павлушку, пока не поздно. И тогда все хитрости вражьи откроются. А Володин быстро пьянел и молол что-то бессвязное, на потеху Варваре. Передонов был тревожен. Он бормотал:

— Кто-то идет. Никого не пускайте. Скажите, что я молиться уехал, в Тараканий монастырь.

Он боялся, что гости помешают. Володин и Варвара забавлялись, — думали, что он только пьян. Подмигивали друг другу, уходили поодиночке, стучали в дверь, говорили разными голосами:

— Генерал Передонов дома?

— Генералу Передонову бриллиантовая звезда.

Но на звезду не польстился сегодня Передонов. Кричал:

— Не пускать! Гоните их в шею. Пусть утром принесут. Теперь не время.

Нет, — думал он, — сегодня-то и надо крепиться. Сегодня все обнаружится, а пока еще враги готовы много ему наслать всякой всячины, чтобы вернее погубить.

— Ну мы их прогнали, завтра утром принесут, — сказал Володин, снова усаживаясь за стол.

Передонов уставился на него мутными глазами и спросил:

— Друг ли ты мне или враг?

— Друг, друг, Ардаша! — отвечал Володин.

— Друг сердечный, таракан запечный, — сказала Варвара.

— Не таракан, а баран, — поправил Передонов. — Ну, мы с тобой, Павлуша, будем пить, только вдвоем. И ты, Варвара, пей, — вместе выпьем, вдвоем.

Володин, хихикая, сказал:

— Ежели и Варвара Дмитриевна с нами выпьет, то уж это не вдвоем выходит, а втроем.

— Вдвоем, — угрюмо повторил Передонов.

— Муж да жена — одна сатана, — сказала Варвара и захохотала.

Володин до самой последней минуты не подозревал, что Передонов хочет его зарезать. Он блеял, дурачился, говорил глупости, смешил Варвару. А Передонов весь вечер помнил о своем ноже. Когда Володин или Варвара подходили с той стороны, где спрятан был нож, Передонов свирепо кричал, чтобы отошли. Иногда он показывал на карман и говорил:

— Тут, брат, у меня есть такая штучка, что ты, Павлушка, крякнешь.

Варвара и Володин смеялись.

— Крякнуть, Ардаша, я завсегда могу, — говорил Володин, — кря, кря. Очень даже просто.

Красный, осоловелый от водки, Володин крякал и выпячивал губы. Он становился все нахальнее с Передоновым.

— Околпачили тебя, Ардаша, — сказал он с презрительным сожалением.

— Я тебя околпачу! — свирепо зарычал Передонов.

Володин показался ему страшным, угрожающим. Надо было защищаться. Передонов быстро выхватил нож, бросился на Володина и резнул его по горлу. Кровь хлынула ручьем.

Передонов испугался. Нож выпал из его рук. Володин все блеял и старался схватиться руками за горло. Видно было, что он смертельно испуган, слабеет и не доносит рук до горла. Вдруг он помертвел и повалился на Передонова. Прерывистый раздался визг, — точно он захлебнулся, — и стих. Завизжал в ужасе и Передонов, а за ним Варвара.

Передонов оттолкнул Володина. Володин грузно свалился на пол.

Он хрипел, двигался ногами и скоро умер. Открытые глаза его стекленели, уставленные прямо вверх. Кот вышел из соседней горницы, нюхал кровь и злобно мяукал. Варвара стояла как оцепенелая. На шум прибежала Клавдия.

— Батюшки, зарезали! — завопила она.

Варвара очнулась и с визгом выбежала из столовой вместе с Клавдиею.

Весть о событии быстро разнеслась. Соседи собирались на улице, на дворе. Кто посмелее, прошли в дом. В столовую долго не решались войти. Заглядывали, шептались. Передонов безумными глазами смотрел на труп, слушал шепоты за дверью... Тупая тоска томила его. Мыслей не было.

Наконец осмелились, вошли, — Передонов сидел понуро и бормотал что-то несвязное и бессмысленное.

ДНИ ПЕЧАЛИ

Рассказы

Елкич

Январский рассказ

I

Елка, елка, не сердись
Елкич, елкич, не бранись,
Мне постели не топчи,
Сядь на елку и молчи.

Вера Алексеевна прислушалась. В скучной темноте зимнего рассвета из детской доносилось тихое пение, — кто-то тоненьким голоском тянул песенку со странными словами. На лице Веры Алексеевны выразилась озабоченность. Она тихо подошла к дверям детской. Пение замолкло на минуту. Потом тоненький голос опять затянул, отчетливо выговаривая тихие и странные слова и придавая им трогательное и жалобное выражение:

Мама елку принесла
Елка елкичу мила.
Елка выросла в лесу.
Елкич с шишкой на носу

Вера Алексеевна, сохраняя на лице все то же озабоченное выражение, осторожно потянула к себе дверь детской. Старший мальчик, Дима, еще спал, приткнувшись носом к подушке и мерно дыша открытым ртом. Младший, Сима, худенький, черноволосый и черноглазый мальчик, сидел на постели, охватив колени руками, смотрел горящими в темноте глазами в темный угол, покачивался и напевал. Вера Алексеевна позвала тихонько, чтобы не испугать его:

— Симочка.

Сима не услышал. Продолжал свою песенку, и звуки ее казались все более хрупкими и печальными:

Елкич миленький, лесной!
Уходил бы ты домой
Елку ты не спасешь,
С нами сам пропадешь

Вера Алексеевна подошла к постели мальчика. Нарочно стучала каблучками своих туфель. Сима повернул к ней лицо.

— Симочка, что ты поешь спозаранку? Дай Диме спать.

Дима проснулся. Пухлый, румяный, лежал на спине и сердито смотрел на мать.

Сима сказал печальным и хрупким голосом:

— Елкич-то, вот бедненький! Каково ему теперь! Елку срубили, — где он теперь жить будет? Пустят ли его на другую елку? И как он туда доберется? Мама, как он теперь будет?

— Что ты говоришь, Симочка? — недовольным голосом заговорила мама. — Какой еще елкич тебе приснился? И как можно петь в постели! Всех разбудил.

Дима, который, вставая, всегда бывал груб, сказал хриплым и сердитым голосом:

— Пришла! Кому мешает. Усмирение с помощью родительских шлепков.

— Дима, не груби, — строго сказала мама. — Шлепков пока еще никому не было, ты их не хочешь ли?

— Попробуй, — все так же сердито отвечал Дима, — я ведь и зареветь могу.

Мама спокойно сказала:

— Ну, миленький, меня ревом не испугаешь.

Подошла к Диме, сняла с него одеяло, приподняла Диму за плечи, наклонилась к нему и шепнула:

— Разговори Симу, — ему опять что-то снится нескладное.

Дима был польщен. Сразу стал очень любезен. Поцеловал обе мамины руки. Поздравил с праздником. Шепнул:

— Трудно. Теперь он все будет рассказывать.

Тоненький голосок за ними опять затянул свою нескончаемую песенку:

Елкич в елке мирно жил,
Елкич елку сторожил
Злой приехал мужичок,
Елку в город уволок

Мама вздрогнула и короткое время стояла, как испуганная. Потом решительно подошла к Симе. Взяла его за плечо. Сказала решительно и строго:

— Симочка, не дури. Какой елкич? Что за вздор!

— А он, елкич, такой маленький, — заговорил тоненьким и возбужденным голоском Сима, — маленький, маленький, с новорожденный пальчик. И весь зелененький, и смолкой от него пахнет, а сам он такой шершавенький. И брови зелененькие. И все ходит, и все ворчит: «Разве моя елка для вас выросла? она сама для себя выросла!»

— Это, Сима, тебе приснилось, — сказала мама. — Проснулся, так нечего в постели сидеть, — одевайся проворно. Дима, одеваться! И не дурить. Смотрите вы оба у меня.

И мама ушла из детской спальни. Она знала, что надо бы остаться сколько-нибудь еще с мальчиками, — но ей было так некогда. Эти праздники в городе, — их положительно не видишь, вздохнуть некогда. Столько разных выездов и приемов, положительно какая-то неприятная праздничная повинность. И так много расходов, и так много домашних хлопот, суетни, неурядиц, неудовольствий, — с мужем, с детьми, с прислугою. Право, быть хозяйкою дома при современном строе жизни становится уже очень тяжело. Видно, и нам скоро придется ступить на ту же дорогу, по которой идут хозяйки в Северной Америке.

Такими соображениями утешая или, вернее, расстраивая себя, мама пошла в столовую, где уже ее ждали. Проходя мимо больших зеркал в гостиной, она с удовольствием, как всегда, кинула быстрый взгляд на отраженное в зеркалах прекрасное, еще такое

молодое лицо и на стройную фигуру в домашнем, совершенно простом, но очень изящном и, что самое важное, очень идущем к лицу наряде.

II

А мальчики, оставшись одни, немедля заговорили о бедном елкиче, который так тоскует о своей загубленной елке и не может утешиться.

Маленький, зелененький, шершавенький, с зелеными бровями и зелеными ресницами, он все ходит по комнатам, и ходит, и ворчит. Никто его не видит, кроме маленького Симочки.

И ходит, и ворчит, и жалуется, и наводит тоску на Симу.

Ворчит:

— Разве она для вас в лесу выросла? Разве вы сделали ее? Зачем вы ее зарубили?

Сима оправдывается:

— Милый елкич, да ведь нам зато как весело-то было! Ты подумай только, как свечки зажгли на елочке, вот-то весело стало! Разве ты этого не понимаешь? ведь ты же сам видел, — свечки на елочке, и золотой дождь, и блестки, — так все и горит, и блестит, и переливается. Еще мне-то что, я ведь не первую елку справляю, — а вот самые маленькие и еще вот швейцаровы дети, — ведь им это какой праздник! Что же ты сердишься так, милый елкич?

И с тоскою прислушивался к тому, что ему ответит елкич. И уже заранее знал, что елкич не поверит его словам, что нельзя никакими словами утешить елкича, у которого зарубили его родную елку.

— Она у меня одна была, — ворчит елкич.

И ноет, и скулит тоненьким голоском. И только Сима слышит его.

— Какую власть взяли! — ворчит елкич. — Взяли мою елку, привезли, веселитесь. Если вам нужно вокруг елки плясать, ехали бы в лес сами. В лесу хорошо. А то срубили, погубили.

Ноет, скулит.

III

Сима наконец приступил к своему старшему брату, студенту.

— Кира, елкич-то все тоскует. Он, елкич-то, все ходит, и на домашних сердито смотрит, и все скулит таким тоненьким голоском. Какой он бедный!

— Результат чтения фантастических произведений, — проворчал студент.

— Нет, Кира, ты скажи, вот он жалуется, что елка не для нас выросла, а вот ее для нас срубили. Как же это так? ведь она, и в самом деле, — для себя? И каждый для себя. А то ведь этак каждого придут, и возьмут, и сделают что хотят.

Студент выслушал хмуро. Сказал:

— Елка — дерево. Ее можно срубить. А вот относительно нас с тобою, тут действительно дело обстоит неладно. Человек есть автономная личность, не правда ли?

Сима утвердительно кивнул головою. Кира продолжал:

— Ну и вот, приходят агенты власти, и берут тебя, и ведут, куда ты не хочешь, и заставляют делать то, что несвойственно твоей натуре. Ты говоришь: я для себя вырос. Тебе отвечают: нет, брат, шалишь, ты вырос церкви и отечеству всему на пользу, а раз на пользу, так мы тебя и используем. Так-то, брат, в общем хозяйстве все на пользу идет, ничто даром не пропадает.

— Это очень нехорошо, — убежденно сказал Сима.

— Хорошего действительно мало, — согласился студент, — но уж таков социальный строй. Служи другим, коли хочешь, чтобы тебе служили.

— Тогда я не хочу, — печально сказал Сима, — если надо заставлять и мучить, тогда я не хочу.

— Ну, брат, об этом нас с тобой не спросят, — сказал студент.

Затянулся папиросою. Видно было, что ему очень приятно курить и чувствовать себя дома на положении взрослого. Покровительственно посмотрел на Симу. Похлопал его по плечу. Сказал:

— Ты — забавный мальчуган. Все фантазируешь. Пожалуй, вырастешь, так поэтом будешь.

Сима помолчал, вздохнул и сказал, краснея и потупясь:

— Елкича жалко. Как он теперь будет?

IV

Сима проснулся ночью. Услышал опять, как елкич ходит, скулит тоненьким голоском и ворчит. И домашние шепчутся с ним, стараются его утешить.

Тоненький голосок из угла говорит:

— Мы тебя не гоним. Будь с нами. У нас хорошо. Светики перебегают. Пылиночки кружатся. Очень хорошо.

— Насмотрелся я, — ворчит елкич. — Мне здесь у вас не нравится. Хозяева у вас нехорошо живут.

— Нам нет никакого дела до хозяев, — отвечает домашний. — Мы сами по себе, они сами по себе, — мы им не мешаем, они на нас не обращают внимания. Только Сима за нами иногда смотрит, да это не беда, — он еще маленький, и он так и не вырастет, — он к нам уйдет. Он для нас почти свой, — а до других нет дела.

— Нет, — ворчит елкич, — не нравится, да и не нравится мне у вас. Что хотите, а не нравится. Кровью тут у вас пахнет, а я этого запаха не люблю.

— А у вас в лесу разве ничем таким не пахнет? — с досадою и насмешкою спрашивает домашний.

Но елкич не отвечает — и ворчит себе свое:

— И не нравится, и не нравится. Рубят, бьют, а для чего — и сами не знают.

Сима приподнялся на локте и тихонько, чтобы не разбудить Димы, шепнул:

— Миленький елкич, почему же тебе у нас не нравится? Мы все — добрые.

Стало очень тихо. Домашние молчали и чутко ждали, что ответит елкич. Помолчал елкич. Сказал сердито:

— Иди завтра на улицу, — сам увидишь.

Домашние засмеялись, зашушукались. Симе стало тоскливо.

— Что же я увижу? — спросил он. — Милый елкич, ты иди со мною и покажи.

— Покажу, покажу, — ответил елкич.

Пискливый голос его казался злым и угрожающим, но Сима не боялся этого: он знал, что елкич тоскует по своей елке, и не может утешиться, и потому такой сердитый.

— Покажу, — повторял елкич, — будешь доволен мною.

Домашние тихонько шушукались и смеялись тоненькими, шелестинными голосками, и не понять было Симе, добрые они или злые, смеются ли они от злости или от милой веселости. Жутко было Симе, и, чтобы подбодриться, он опять шепотом спросил елкича:

— Милый елкич, когда же ты мне покажешь? Утром? Правда? Когда мы пойдем гулять с фрейлейн Эмилиею? да?

— Да, да, — ворчал елкич. — Утром так утром.

И шелестинные расстилались по всем углам смешки и шепотки.

И опять спросил Сима:

— Милый елкич, ты ведь маленький, как же ты с нами пойдешь? Фрейлейн Эмилия как зашагает, так только поспевай. Она говорит: моцион надо делать весело. Так как же ты?

— Ничего, — сердитым голосом сказал елкич, — уж я от вас не отстану. Я к тебе в карман сяду.

Шелестинные шушукались, смеялись голосочки во всех уголочках. И под шелестинный смех заснул Сима.

V

Утром мальчики, как всегда, пошли гулять с фрейлейн Эмилиею. Но неспокойно и страшно было на улицах. Шли толпы. Слышались злые слова. И вдруг раздались вдали резкие звуки рожка.

Старший Симочкин брат пробежал мимо.

— Фрейлейн, — крикнул он на ходу, — ведите детей домой.

Но уже фрейлейн и сама ухватила обоих мальчиков за руки и бросилась бежать в переулок, дальше от толпы, от веселого рожка.

— Елкич, елкич, — кричал Сима, — что же ты мне покажешь?

— Беги за братом, — быстро шептал елкич, — брось немку, беги за братом. Его сейчас убьют.

Сима громко закричал и рванулся от фрейлейн Эмилии.

— Сима, Сима, ради Бога, куда вы? — кричала испуганная фрейлейн, пытаясь поймать Симу.

Но Сима убежал в толпу. Скрылся за народом. Фрейлейн растерянно металась, не зная, что делать. Дима плакал. Кругом бежали какие-то испуганные, плохо одетые люди. Кричали что-то.

Сима догнал брата.

— Кира, пойдем вместе, — кричал он.

Студент испуганно глянул на мальчика и побледнел.

— Зачем ты здесь? где фрейлейн?

Опять в ясном и морозном воздухе весело и звонко зарокотали звуки рожка. Нестройный гам поднялся в ответ этим звукам. Вдруг все побежали. Перед Симою и студентом стало пусто и светло. Стройный ряд наклонившихся штыков вдруг дрогнул и задымился. Сима в страхе отвернулся. Страшный треск пронизал, казалось, все его тело. Земля заколебалась, поднялась, камни под снегом холодной мостовой прижались к Симочкину лицу. Короткий миг было очень больно. И потом стало легко и приятно. Раскинув на снегу маленькие, помертвелые руки, Сима шепнул:

— Елкич миленький.

И затих.

Два Готика

I

Летняя ночь достигла успокоенного своего срока. Оба мальчика, Готик и Лютик, гимназисты, тихо спали.

Внезапно что-то разбудило Готика. Какой-то робкий шорох за дверью. Готик открыл глаза, встрепенулся, — и сна как не бывало.

Было почти совсем светло. Тихо, светло — и странно. Белая летняя ночь, северная ночь, вливалась тихим и ровным светом в незавешанное окно. Тихо на своей кровати дышал спящий Лютик, повернувшись к стене, так что виден был его гладко остриженный затылок.

Готик потянулся, встал на колени на своей постели и посмотрел к окну.

Виднелось за окном бледное небо, деревья. Белый прозрачный пар, еле видимый за деревьями, означал место реки. Деревья стояли, совсем не двигаясь, и чутко слушали, как журчала река, быстрая и мелкая, переливаясь по камням. Да еще слышались чьи-то легкие шаги.

Готик спрыгнул с постели. Бодрая готовность встретить что-то необычное схватила его, — унаследованная от незапамятных предков ночная отвага опасных приключений. Подбежал к окну.

Сердце его вдруг замерло, остановилось на краткий, неощутимо-краткий миг и забилось быстро-быстро. И увидел он в саду себя самого, тут же, под окном.

Белая блуза, ременный пояс, гимназическая фуражка в белом чехле, его сапоги с заплаткою на левом, черные брюки, — еще незачиненная прореха слева внизу, — все это в миг приметили и признали зоркие Готины глаза.

Другой Готик тихонько крался из сада. Он пригибался, прячась за кусты, — вот шмыгнул за калитку, — исчез за деревьями, на тропинке, что круто спускалась к реке.

Готик выглянул за дверь. Там всегда оставляли мальчики свою одежду и обувь, чтобы утром служанка Настя почистила. Теперь Лютины все вещи на месте, — Готиных не было.

Готик закрыл дверь, на себя глянул — и в непобедимом обаянии сонливости не узнал себя. Его мысли заволакивались дремою. В теле было покойно и словно пусто. Он легко и слабо удивился.

— Куда же это я иду? — подумал он.

Вдруг сон опять одолел его. Даже не помнил, как забрался под одеяло. Крепко спал до позднего утра, пока не разбудил шаловливый Лютик.

II

Утром отрывочные воспоминания томили Готика.

Что-то было ночью. Не то во сне, не то въявь. Или мечталось.

Шумливый и шаловливый, слишком дневной, Лютик шалил, как всегда, приставал, надоедал, и мешал вспомнить, и шутил, шутил и смеялся, смеялся и шутил бесконечно.

Но Готик все же мало-помалу припомнил, куда и зачем ходил он, второй, ночной Готик, в то время, пока первый, обыкновенный и всегдашний, лежал в постели тяжелым, бессмысленно дышащим телом.

III

В замке тихом и волшебном, там, вдали, за очарованною рощею, обитает нежная царевна Селенита, легкий призрак летних снов.

Дивный замок Селениты весь пронизан лунным светом.

Отуманенною дорогою, по долине, где мечтают полуночные цветы, Готик проходил тихонько, легкою тенью, еле слышный, еле видный, до травы едва касаясь. И пришел к царевне дивной, к милой Селените.

Тихая музыка еле слышно доносилась издалека. Лунная царевна Селенита нежною улыбкою встретила Готика.

Ее голос звенел, как струя в ручье.

Как струя в ручье, как нежный звон свирели, звучал тихий голос царевны Селениты.

Вся она была нежная, воздушная и такая легкая, что казалась прозрачною.

Звезды горели не то на ее зеленовато-белой одежде, не то за нею и просвечивали сквозь ее тело.

И улыбалась, и чаровала. И говорила нежным свирельным голосом, и ароматы струились, сплетались с журчанием ее свирельной речи.

IV

А Лютик надоедал шутками, — бесконечными, скучными, назойливыми.

«И все-то Лютик каламбурит! — досадливо думал Готик. — Как ему не надоест! Не диво, что мама на него сердится».

В самом деле, это ужасно надоедливо.

Что ему ни скажи, сейчас же начинается выворачивание и пригонка слов.

А вот отцу это почему-то очень нравится. Отец и сам веселый. Он часто поощрительно говорит Лютику:

— Ну-тка, Илютка, вальни хорошенько.

И Лютик старается, придумывает.

Глупо.

И до того это навязчиво, что Готик иногда и сам начинал каламбурить.

Тогда Лютик восторженно визжал, кричал и прыгал:

— Да он совсем стал, как я, так что и не различишь, кто это, — он или я, — он — Илия или я — Илия.

И так приставал к Готику:

— Ты — Илия, или я — Илия, — что тот начинал сердиться не на шутку.

До драки доходило порою дело. Мальчишки!

V

Людмила Яковлевна, Лютина и Готина мать, сегодня утром поднялась рано против обыкновения.

Встала вместе с мужем, — он уезжал в город на службу.

В другие дни она вставала уже после его ухода, когда и мальчики подымались.

Проводила мужа до калитки, пришла в кухню, видит: уже плита растоплена жарко, — а вовсе и не надо так рано, — и Готина одежда сушится на веревке у огня, — совсем вся мокрая, — и сапоги в грязи.

Людмила Яковлевна встревожилась.

— Что это такое, Настя? — спросила она.

— Загваздал чегой-то Готик и сапоги, и одежду, — со смехом сказала Настя.

— Да ведь вечером все на нем было сухое, — тревожно говорила Людмила Яковлевна.

— Да уж не знаю, где они загваздались.

Настя смеялась как-то странно, — не то лукаво, не то смущенно. От этого Людмиле Яковлевне стало жутко.

— Ты знаешь что-нибудь? — пугливо спросила она.

— Да нет, барыня, право, нет. Что мне знать-то? — отговаривалась Настя.

— Готик ходил куда-нибудь?

— Не знаю, барыня. Право, не знаю.

VI

Когда мальчики пили утренний чай, Людмила Яковлевна спросила:

— Готик, куда ты бегал ночью?

Готик покраснел и сказал:

— Никуда не бегал. Я спал.

Но сказал так, словно виноватый, — неуверенно, с запинкою.

— У тебя сапоги мокрые, — сказала Людмила Яковлевна.

— Не знаю, я спал, — повторил Готик.

— Готик сегодня вежливый, — сказал Лютик, — ес-ер прибавляет: я-с, говорит, пал, — а куда пал, не говорит.

— Вовсе не остроумно, — сказала Людмила Яковлевна досадливо.

Она больше не спрашивала Готика.

Но весь день провела в жестокой тревоге.

Ждала мужа.

VII

А Готик мечтал о лунной царевне, милой Селениточке.

— Она Селениточка.

— А на селе ниточка, — дразнил кто-то Лютиным голосом.

И мечты о раздвоении весь день сладко волновали его.

Он думал: «Как хорошо, что есть иная жизнь, ночная, дивная, похожая на сказку, другая, кроме этой дневной, грубой, солнечной, скучной!

Как хорошо, что можно переселиться в другое тело, раздвоить свою душу, иметь свою тайну!

Таить от всех.

И никто никогда не узнает.

Ночью все иное.

Дневные спят, лежат неподвижными телами, — и тогда исходят иные, внутренние, которых днем мы не знаем».

VIII

Готик стоял на берегу реки, смотрел на воду, как она все бежит, журчит, и мечтал о Селените, как она улыбается и говорит.

Подошел Лютик.

— Готик, — сказал он, — ты грамматику забыл.

— Отстань, — досадливо ответил Готик.

— Правда. Ну вот я тебе докажу: у свиньи хвостик, а у лошади?

— Хвост, — ответил Готик.

— У стола ножки, а у тебя? — допрашивал Лютик.

— Ноги.

— Мальчик читает книжку, а студент?

— Книгу.

— Ванечка надел рубашку, а Иван?

— Рубаху.

— Ванька надел сорочку, а Иван?

— Сороку, — с размаху ответил Готик.

Засмеялись оба.

XI

Когда отец, всегда веселый и говорливый, — в него был Лютик, — возвращался из города со службы, Людмила Яковлевна вышла ему

навстречу на станцию, что редко делала в другие дни. По дороге домой она озабоченно говорила:

— Можешь себе представить, Александр Андреевич, Готик нынче ночью куда-то бегал, а куда не говорит. Говорит, что спал. Как хочешь, Саша...

И она заплакала.

Александр Андреевич посвистал, махнул рукой.

— Глупости! — сказал он сиповатым голосом. — Куда ему бегать? Какая-нибудь глупая фантазия. Просто на реку ходил.

— Это меня так беспокоит, — упавшим голосом сказала Людмила Яковлевна.

— Глупости! — повторил Александр Андреевич. — И не говорит, куда ходил?

— Да не говорит же, — плачевно сказала Людмила Яковлевна.

— А вот я его спрошу хорошенько, так скажет, — сердито сказал отец.

Было жарко, и ему было досадно, что надо сердиться, чего он не любил.

X

За обедом разговор шел беспокойный и неровный. И отец, и мать значительно и внимательно поглядывали на мальчиков. Людмила Яковлевна несколько раз заговаривала о дачных ворах. О том, что Настя иногда забывает запереть двери. Что воры легко могут влезть и в окно, если оно не закрыто на задвижку.

Готику было неловко и тоскливо.

Лютик один был весел и шутил, как всегда.

— За Настасьей всегда надо смотреть, чтобы двери затворяла, — ворчал Александр Андреевич.

— На то она и Настя ж, чтобы держать двери настежь, — сказал Лютик.

Но, к удивлению обоих мальчиков, отец сердито сказал:

— Заткнись. Ничего нет смешного.

Лютик смешливо посмотрел на отца и мать. «Что они дуются? — подумал он. — Уж не поругались ли дорогою?»

И подумал, что надо пошутить о чем-нибудь постороннем, не домашнем. Припомнив один из намеднишних разговоров с одним из своих бесчисленных знакомых, смешливо фыркнул и сказал:

— Готик, треугольник нарисован, а в нем глаз. Угадай, что такое.

— Ну кто этого не знает! — сказал Готик. — Всевидящее око.

— Вот и не угадал. Николай Алексеевич мне рассказывал, что это он в одной церкви видел, в деревне, — такое изображение на стене сделано, и подпись: глаз вопиющего в пустыне.

Все засмеялись.

— Это ты сам сочинил? — недоверчиво спросил отец.

— Ну вот, спроси сам у Николая Алексеевича, — уверял Лютик.

Отец вдруг опять нахмурился.

— Вот за вами нужен глаз да глаз, — сурово сказал он.

Помолчали.

Лютик спросил:

— Готик, как зовут предводителя современных Гвельфов?

Готик подумал.

— Ну, это просто, — сказал он.

— А ну скажи!

— Того.

— Молодец!

— Объясни, — хмуро сказал отец.

— Очень просто, — сказал Готик, — если есть Гвельфы, то есть и Гибелинги... А Лютик уж конечно от слова гибель это слово произведет. Русские моряки довели свой флот до гибели, вот они и Гибелинги.

— Ерунда, — сказал отец.

Но засмеялся.

— Целый месяц сочинял, — сказал он.

— Ничего не месяц, — краснея сказал Лютик. — А зато я ни разу не сказал, что Того — не того. Сколько стишков было на эту глупость.

— Ну так ты на генерала Ноги что-то глупое придумал. Ну-тка, — оживился отец.

— Ну, это просто, у японцев есть ноги, они войдут в Порт-Артур.

Посмеялись, — и опять отец хмуро сказал:

— Иные ноги туда бегают, куда и не надо.

Неловкое молчание опять прервал Лютик.

— Готик, тебе все Настя положила? — спросил он.

— Все, отвяжись.

— И нож да вилка есть?

— Есть, отстань.

— Нож давилка есть, а нож резалка есть?

— Не ерунди! — крикнул Готик.

— Придумываешь пустяки, — сердито сказал отец. — Никакой связи нет в твоих дурачествах.

Лютик, не смущаясь, ответил:

— Вот то-то и весело, что нет связи. Не связано, свободно. А где логическая связь, там тоска, тощища. Тоска — таскать все от причины к следствию. А вот так-то лучше, как хочу, так и верчу. Когда рассуждаю дельно, то чувствую тосчищу, словно таз чищу, никому не нужный таз.

— Старо, брат, — сказал отец. — Это еще когда я учился, у нас был учитель, который любил мудреные диктовки давать. Вот в таком же роде была одна диктовка: «Таз куя, сказал кузнец, тоскуя: «Задам же людям таску я, за то, что я тоскую».

Мальчики смеялись.

XI

Наконец Александр Андреевич спросил, собравши все силы своей строгости:

— Ты куда это, Георгий, нынче ночью бегал?

Готик покраснел. Теребя салфетку, сказал жалующимся голосом:

— Да никуда, папа, право. Это мама, я не знаю почему, думает. Это она потому, что сапоги сырые. Ну что ж, — вчера сыро же вечером было. Ну мы возле реки ходили. Ну по воде.

— Ночью не сметь уходить! — строго сказал Александр Андреевич.

— Ну не буду уходить, — хмуро ответил Готик.

— И, пожалуйста, не нукай, — раздражаясь, говорил отец. — Дурацкие привычки. Будешь бегать, розгами выдеру.

Готик обидчиво покраснел и тихо промолвил:

— Это из мрачных времен дикого средневековья.

Отец засмеялся.

— Поговори ты у меня! — погрозил он полушутя-полусердито.

Лютик сказал весело:

— Нас драть нельзя, а то мы забастуем.

— Стачку устроим, — поддержал Готик.

— Обоих и выдеру, — дразнил отец.

— А мы обструкцию устроим, — кричал Лютик.

— Подадим тебе петицию.

— Или побежите в полицию?

— Ну уж нет, на это я не согласен, — живо ответил Лютик, — хоть пополам перепори, а к городовым не пойду.

Настя переменила блюдо. Заслушалась, локтем задела стакан, — стакан скатился на пол. Не разбился, упал счастливо.

— Настя, вы со стола сталкан сталкали, — сказал Лютик.

— Надсмешники! — крикнула Настя и с хохотом убежала.

Подали рисовую кашу.

— Готик, да неужели ты и кашу станешь есть? — спросил Лютик.

— Ну да, и кашу стану есть, — с досадой сказал Готик, — тебе одному, что ли?

— Смотри, — остерегающим голосом говорил Лютик, — и каши поешь, икать станешь.

— Отстань, — кричал Готик, и сердясь, и хохоча. — Какой ты дурак! Все глупости придумываешь.

XII

После обеда Александр Андреевич никуда не пошел. Он долго сидел в беседке у забора, глядя на реку, и курил. Потом пошел к жене.

— Знаешь, Люба, — сказал он тихо, — это начинает меня беспокоить.

Людмила Яковлевна заплакала.

— Ну, ну, не плачь, мы это узнаем, — говорил Александр Андреевич, — но куда он мог бегать?

— Так легко утонуть, — всхлипывая, говорила Людмила Яковлевна. — Каждый год кто-нибудь тонет.

XIII

За вечерним чаем опять говорили о том, что надо запирать на ночь двери. Насте напоминали. Мальчикам и отец, и мать повторяли, — окон открытыми не держать.

На днях где-то по соседству обворовали две дачи, — украли только что выстиранное белье и все, что было на леднике.

Вспоминали сегодня этот случай.

Лютик говорил с досадою:

— Мама повестку получила, что нас сегодня обокрадут.

XIV

Вечером после чая, когда уже мальчики пошли спать, Людмила Яковлевна и Александр Андреевич опять, в спальне, заговорили о ночном приключении. Затворились, чтобы кто не вошел из мальчиков. Говорили тихонько.

Людмила Яковлевна сидела на стуле около кровати и причесывалась на ночь. Александр Андрееевич стоял перед нею, нерешительно почесывая бритые щеки.

Тускло горела свеча.

— Ты спрячь его сапоги, — посоветовал Александр Андреевич.

— Он Лютины наденет, — тоскливо ответила Людмила Яковлевна.

— Ну и Лютины спрячь.

— Этим разве удержишь, — уныло сказала Людмила Яковлевна. — Он и босиком убежит, — что ему! Уж коли повадился.

— А надо поймать, — досадливо сказал Александр Андреевич.

— Да, поймаешь!

— Ну не поймаем, так по следам уличим и проследим, куда он ходил.

— Ну где в траве следы видеть! — безнадежно сказала Людмила Яковлевна.

— Не все трава.

— Все-таки спрячу, — сказала Людмила Яковлевна.

Пошла в переднюю. Потихоньку.

— Ты тут останься, — шепнула она мужу, — настучишь сапогами, а я в туфлях.

XV

Мальчики улеглись. Настроенные разговорами на тревожный лад, они замкнулись в своей горнице.

Лютик как лег, так и заснул.

Готик укладывался медленно. Прислушивался.

Где-то недалеко играли и пели. Под нежный перезвон переливных звуков начал засыпать и Готик. Сладостное обнимало его предчувствие милого сна.

Вдруг, заслышав легкий шорох под своею дверью, Готик встрепенулся.

Полежал, вслушиваясь.

Было не то радостно, не то страшно. Жуткое ожидание.

Слышно было, что кто-то шевелился за дверью, и чьи-то легкие за дверью движения словно отдавались в Готином сердце, волнуя кровь.

Потрогали дверную ручку.

Дверь зашаталась, слегка колотясь о задвижку, но не поддалась.

Ушли тихонько.

Готик лежал и чутко вслушивался.

XVI

Людмила Яковлевна принесла в спальню Лютины и Готины сапоги.

— Заперлись, — шепотом сказала она. — По всему видно, что опять собирается идти. Сегодня, может быть, оба отправятся. Пусть босиком по сырой земле прогуляются.

— Одежда? — спросил отец.

— Костюмы на месте. Да это что, — эти сорванцы и нагишом убегут, коли очень захочется.

— Надо подождать. Из окна видно будет. Или в саду побыть?

— А если они через двор побегут?

Остались ждать в спальне.

XVII

Опять услышал Готик, что кто-то подошел к двери.

И опять слышал он шорох, долгий, осторожный, — словно кто-то шарил по полу, искал чего-то.

Толкнулись в дверь. Досадливый шепот... Удаляющиеся легкие шаги...

Скрипнула где-то дверь, ступеньки зашатались.

Готик еще полежал. Прислушался. Тихо.

Вдруг вскочил. Сердце сильно билось. Подбежал к двери, приоткрыл, выглянул, — никого.

Готик глянул на стулья, где лежала одежда. Только Лютина одежда, — Готиной нет. И сапог нет, ни Готиных, ни Лютиных.

«Стащили, — подумал Готик, — и одежду, и сапоги».

Он вошел в комнату, подбежал к окну.

Опять по той же дорожке, что и вчера, пробирался мальчик, так же прячась. Сегодня он был босой.

Готик слабо удивился.

Подумал стыдливо: «Как же я приду к милой Селениточке босиком?»

И вдруг опять неодолимая сонливость потянула его к постели.

Заснул.

И снова призрачные сны ему снились.

XVIII

Снилось Готику, что он идет к Селените. Его ногам сыро, ему неловко, что он босой. Но он не может и не хочет остановиться. Неведомая сила влечет его.

Чудные цветы на мирных полянах легонько покачивали милые и нежные головки, орошенные душистою росою, и улыбались луне невиданною на земле улыбкою.

Лунный свет в чертоге милой Селениты разливался, отражаясь зеркалами дивных стен, и томил, и чаровал.

Вот и Селенита. Милая, как и вчера. Милая, милая. Ножки у нее белые, необутые, как у Готика, — чтобы не было Готику стыдно.

Зеленоватые на ней одежды при каждом движении развеваются тихо. Слова у нее звенят, как музыка, и сладостно-нежен шорох ее шагов, ее развевающихся одежд.

И радостная сияет на ее лице улыбка, — но эта радость растворена в дивной печали.

И от этой радости, и от этой печали кружится голова и на глазах закипают слезы.

Селенита прильнула к Готику и обняла его, и в легком кружении понеслись они над озаренными луною полянами, едва касаясь ногами нежных трав. И было радостно и томно.

XIX

В спальне шептались, строя предположения о том, куда мог ходить Готик.

Вдруг услышали шорох. Притихли, прислушались. Скрипела дверь.

Людмила Яковлевна тихо вышла из спальни. Пошел за нею и Александр Андреевич, держа в руке свечу. Остановились у дверей, где спали мальчики.

— Нет одежды! — испуганным шепотом сказала Людмила Яковлевна. — Убежал!

— Хорошо, что один, — проворчал Александр Андреевич.

Быстро пошли в сад.

Вдруг на их глазах из кустов выбежал мальчик и проворно шмыгнул в калитку.

Александр Андреевич побежал за ним.

XX

Людмила Яковлевна стояла у калитки и тревожно смотрела на росистые кусты и на туманную реку.

Скоро Александр Андреевич вернулся, тяжело и неровно дыша.

— Не догнал. Юркнул куда-то, — ворчал он.

— Что же теперь делать? — спросила Людмила Яковлевна.

— Надо подождать. Посидим. Вернется же, — досадливо бормотал отец.

Пошли в дом. Людмила Яковлевна сказала:

— Ты бы прошел к мельнице.

— Куда я пойду! — сердито ответил Александр Андреевич. — За мальчишкой гоняться! Тут мест много.

XXI

Александр Андреевич прикорнул в гостиной в кресле и скоро заснул. Спит себе, похрапывает.

Людмила Яковлевна, досадуя на мужа, думала: «Ему все равно. Сердце не болит. Спит спокойно в такую минуту. Другой бы всю окрестность выбегал. Мало ли что может случиться».

Она вышла на балкон. Села, прячась за кумачовым его пологом, чтобы ее не видно было из сада.

Призадумалась. О Готике, о Лютике. Сознание подернулось тонкою дремою.

Уже светало.

Вдруг что-то мелькнуло светлое среди темной зелени, там, за кустами сада, по дороге.

Людмила Яковлевна вскочила, точно от внезапного толчка.

«Это Готик пробежал домой», — подумала она.

Не видела ясно, но была уверена, что это Готик. И уже представилось ей, что она видела ясно его лицо.

Людмила Яковлевна задрожала, схватилась руками за грудь. Ей стало страшно. Почему-то не пришло в голову бежать Готику навстречу.

Кинулась будить мужа. Шепотом окликнула его. Потом принялась расталкивать.

Едва разбудила. Разоспался, бормотал что-то. Вдруг очнулся. Услышал взволнованный женин шепот:

— Готик, Готик!

Испугался. Показалось, что с Готиком несчастие. Вскочил.

— Что с ним? — спросил он дрожащим голосом.

Жена зашикала на него:

— Ш-ш! Тише.

Потащила за рукав.

Оба побежали в сад, оба испуганные.

Видели, что кто-то мелькнул в задние двери, где вход в кухню. Очевидно, заметил, что за ним бегут, — принялся раздеваться на бегу.

Они оба бросились за ним. Не догнали.

В передней Готины одежды были кое-как брошены, — на стул, на пол, как пришлось.

Вошли к мальчикам.

И Готик, и Лютик спали. У Готика одеяло сбилось к ногам.

— Притворяется, — сердито и громко сказал отец.

Его страх прошел и заменился злостью.

Сердился на Готика за то, что из-за него пережил минуту глупого страха, когда так больно и тяжко стучит и колотится сердце.

— Вставай-ка, путешественник, — сердито крикнул он, сильно шлепая Готика по спине.

Готик вскочил. Быстро проснулся, — а глаза еще тяжелые. Испуг, смущение.

«Неужели узнали? — тревожная мелькнула в его голове мысль. — Но как же узнали? И что теперь будет?»

Проснулся и Лютик. Он громко зевал и жалобным, тоненьким голосом говорил:

— Что это такое! большие маленьким спать не дают.

Вдруг догадался, что случилось что-то любопытное. Сел на постели, позевал, потянулся. Встал, завернулся в одеяло. Приготовился смотреть, что еще будет.

— С чего будили? с чего б удили? — бормотал он по привычке.

И отец, и мать сердились, волновались, — и этим совсем запугали Готика. Спрашивали Готика оба сразу.

— Где ты сейчас был?

— Куда ты бегал?

— Откуда ты пришел?

— Говори, зачем ты уходил?

Готик сел на кровати и заплакал.

— Ничего я не знаю, — тихо и горестно сказал он.

Отец схватил Готика за плечи и сердито тряхнул.

— Нет, ты отвечай, — крикнул он. — Москва слезам не верит.

Готик встал. Судорожно зевнул. Принялся тереть глаза.

Не знал, что делать и что говорить. Было тяжело и тоскливо.

А отец допрашивал:

— Говори, где ты бегал?

— Я спал, — со слезами сказал Готик.

— А, спал! Ну хорошо, сейчас мы увидим, как ты спал. Пойдем-ка, брат, в сад.

Потащили Готика в сад неодетого. Пошел и Лютик, кутаясь в одеяло.

— Вот здесь он бежал, я видела, — показывала Людмила Яковлевна. — Постойте, вот и следы его на дорожке. Готик, ставь ноги в след.

— И вовсе не мой след, — сказал Готик. — Громадные лапы. У меня таких никогда не было.

И в самом деле, следы не сходились.

И отец, и мать были смущены.

— Приснилось, что ли, тебе? — сердито бормотал Александр Андреевич.

Лютик хохотал и прыгал, путаясь в длинных складках в своем одеяле.

Готик радостно смеялся.

«Не попался! не узнали! не поймали!» — радостно думал он.

— Чей же это, однако, след? — с недоумением говорил Александр Андреевич. — Ведь значит, тут проходил кто-то.

Оглянулся на дом, смутно догадываясь. Из кухни выглядывала Настя.

— А она тут что делает? — шепотом спросил Александр Андреевич.

— Что вы, Настя, уже встали? — спросила Людмила Яковлевна. — Это не ее ли штуки? — тихо сказала она мужу.

Александр Андреевич посвистал.

— Понятно, это она бегала. Маскарад устроила.

— Идите-ка сюда, — позвала Людмила Яковлевна. — Чьи это здесь следы? Кто тут сейчас бежал?

Настя засмеялась.

— Да уж что, барыня, — сказала она, — видно, нечего скрывать. Я бегала в Готином костюмчике.

— А зачем вы маскарад такой устраивали?

— Да чтоб по соседству не приметили, да и от вас пряталась. А там на мосту у нас балы были, танцы, парни, девушки, очень весело.

— Ну, нам такой веселой прислуги не надо, — решил Александр Андреевич. — Утром расчет получите, да и с Богом.

XXII

Так это не Готик уходил к Селените, — это в его одежде бегала Настя. Как глупо!

Как жаль ночного, несбыточного сна!

Ночной милой жизни, и Селениты, и всего, чего нет и не было!

Все таинственное объяснилось так просто и пошло.

Готику стало тоскливо.

Он опять заплакал.

Отец взял его на руки и отнес в спальню, утешая обещанием купить велосипед.

А Лютику было смешно. Он дурачился и хохотал.

— Ну спите, спите, дети! — сказал Александр Андреевич.

И все опять в своих спальнях.

Спать!

Прощай, иная, неведомая, тайная жизнь. Надо жить дневными скучными переживаниями и, когда придет ночь, спать бессмысленно и тяжело.

Тела и душа

Сидели двое, после обеда, и разговаривали.

Так начинаются многие рассказы. Нет никакой причины не начать точно так же и этот рассказ.

Был ясный весенний день. Кабинет любезного хозяина, в его городской квартире, выходил окнами на шумную и людную улицу. Это не мешает заметить теперь же.

Хозяин был человек, давно и широко известный своею кипучею и успешною деятельностью. Гость его был во всех отношениях поплоше. Хозяина звали Георгий Алексеевич Радугин, гостя — Иван Иваныч Скворцов. Хозяин — инженер, гость — чиновник не из самых маленьких.

Хозяин сидел в кресле, слегка, но очень комфортабельно развалясь, и курил сигару очень дорогую и очень, на свежего человека, скверную. Был рад тому, что его сигара такая крепкая и такая вонючая и что от нее такой синий, медленно плывущий в воздухе, кружащий голову дым и такое резкое ощущение на языке. Гость посиживал на другом кресле, радостно ощущал приятную мягкость и удобную широкость кресла, покуривал сигару, данную гостеприимным хозяином, и с большим уважением поглядывал на хозяина. Сигара ему совсем не нравилась, — он предпочитал немецкие, дешевые и слащавые сигарки, свернутые, может быть, из новгородской капусты, но имеющие вид настоящих гаванских вонючек.

Такова ситуация. Разговор же состоял в том преимущественно, что гость удивлялся хозяину, хвалил его и льстил ему, а хозяин слегка хвастался, как человек, привыкший к тому, чтобы ему все удивлялись и чтобы его все хвалили.

Скворцов уже не в первый раз говорил:

— Как вы успеваете? Ей-Богу, удивительно и даже поразительно, особенно в наш век, когда все жалуются и никто не хочет ничего делать. И как вы находите время на все ваши дела и предприятия? Право, можно подумать, что вы никогда не спите. Да что! Для другого и двадцати четырех часов в сутки было бы мало, чтобы все это сде-

лать, — а вы как-то успеваете. Да еще везде бываете и всем интересуетесь. Ей-Богу, поразительно.

Говорилось все это, конечно, довольно гнусным тенорком, почти фальцетом. Люди, не слишком преуспевшие в жизни, не имеют никаких оснований обладать другим голосом. Так бывает во всех рассказах, за исключением тех случаев, когда в расчеты автора входит — поразить читателя контрастом, совершенно неожиданным. Но так как соль этого рассказа совсем иная, то в отношении голосов, фигур и всего прочего во внешних проявлениях действующих лиц не допущено автором отступлений от тех порядков, которые соблюдаются во всех повествованиях.

Поэтому для внимательного читателя почти не надо говорить о том, что хозяин, Радугин, говорил приятным, слегка сиповатым басом и обладал весьма представительною внешностью.

Итак, Радугин на излияния своего гостя отвечал приятным басом, любезно улыбаясь:

— Это вовсе не так удивительно, как вам кажется, милейший Иван Иваныч.

По внезапно вспыхнувшим в его глазах лукавым и бойким огонькам сразу стало понятно, что он расположен к некоторой откровенности. Оттого ли, что дело было после обеда, или оттого, что Скворцов оказал Радугину довольно крупную услугу. Скворцов вообще мог быть весьма полезен Радугину, — так сложились их деловые отношения и такова была служебная обстановка Скворцова. В благодарность за последнее устроенное Скворцовым дело Радугин сегодня угощал его обедом.

Скворцов, радостно чувствуя, что хозяин расположен к откровенности, продолжал изливаться в выражениях удивления. Он думал, что откровенность Радугина влечет за собою новое, приятное в смысле личных выгод дело. Да и вообще откровенность знаменует собою дружеские отношения, а быть на короткой ноге с самим Радугиным, конечно, для всякого в положении Скворцова лестно.

Радугин посмотрел в окно. Засмеялся чему-то. Встал и подошел к окну, — и синее облачко табачного дыма красиво потянулось за ним.

Радугин позвал гостя:

— Иван Иваныч, подойдите-ка сюда, посмотрите-ка на эти две лестницы.

Иван Иваныч, заранее на всякий случай улыбаясь, подошел к окну, глянул туда, куда показывал ему хозяин, и опять перевел глаза на Радугина с выражением заинтересованности и вопроса.

Радугин спросил:

— Как вы думаете, Иван Иваныч, кто из этих двух молодцов раньше доберется до верху, красный или черный?

Скворцов быстро глянул в окно, опять повернулся, из вежливости и чтобы не заставлять ждать ответа, к Радугину и сказал:

— Понятно, красный раньше доберется, — он выше, а лезут они оба с одинаковым усердием.

Радугин самодовольно захохотал, как человек, хитро подловивший в чем-то другого. Тогда Скворцов поглядел на улицу повнимательнее и засмеялся тоже. К стене противоположного дома приставлена была лестница, и взбирался на нее зачем-то рабочий, молодой парень в красной рубашке. А на стену дома падала тень от лестницы, и казалось при первом беглом взгляде, что две лестницы поставлены и что всходят по ним два человека, один в красной рубашке и другой в черной.

— Обман зрения удивительный, — говорил Скворцов и вежливо смеялся тем тоненьким гаденьким смешком, какой бывает только у маленьких человечков, когда они смеются сами над собою, чтобы угодить кому-нибудь большому и сильному.

Радугин отошел от окна, уселся опять поудобнее и сказал наставительно, с горы опыта и житейской мудрости:

— То-то вот обман зрения. Иногда обман зрения, иногда обман слуха, а иногда, глядишь, и кое-что более существенное навернется. Так-то вот и с моими заместителями.

Скворцов сторожко встрепенулся. Радугин помолчал, значительно и внимательно посмотрел на Скворцова и, видя, что интерес его весьма возбужден, самодовольно улыбнулся и продолжал:

— Никому я до сей поры об этих моих заместителях не рассказывал. А вот вам первому расскажу. Если вам не скучно послушать.

— Помилуйте, что вы говорите, — забеспокоился Скворцов, — я с величайшим вниманием и интересом выслушаю. Мне очень лестно, что вы меня удостаиваете вашей откровенности. Помилуйте, за счастие почитаю.

Даже покраснел от страха, что его может счесть Радугин не желающим выслушать.

— Хочется почему-то вам рассказать, — говорил Радугин, и видно было по его уверенному лицу и неторопливым движениям, что он и не ожидал иного ответа. — Правда, не без задней мысли. Да вот вы сами увидите сейчас, в чем тут дело.

Скворцов радостно захихикал, всею фигурою выражая готовность слушать с усердием и великим даже удовольствием.

— Вы думаете, я много работаю? — спросил Радугин, и хитрая усмешечка пробежала под его коротко подстриженными седеющими усами.

— Хе-хе-хе, шутить изволите! — весело ответил Скворцов. — Уж ежели вы не много работаете, то кто же тогда и работает!

— Да, вот все так думают, — продолжал Радугин, — а ничуть не бывало. Моя работоспособность — самая ординарная. Правда, что я не лентяй. И делаю я, точно, много. Так много, что и вы не поверите. Да и никто. Больше делаю, чем об этом знают мои друзья и недруги. Да-с, гораздо побольше. И делаю все это я не сам, а при помощи таких особых, запасных человечков. Как это вам понравится?

— Запасных? — робко спросил Скворцов.

Его лукавые, серые глазенки воровато шмыгнули по всем углам просторного кабинета и опять уставились на хозяина с тревожным выражением любопытства и непонимания.

Радугин помолчал. Нахмурился. Внимательно посмотрел на Скворцова. Видно было, что раздумывает снова, стоит ли говорить совсем откровенно. Наконец решился. Уверенно усмехнулся. Бросил остаток сигары. Заговорил тоном рассказа, с приемами человека, привыкшего говорить, и чтобы его слушали, — и Скворцов уселся поудобнее и спокойнее, видя, что предстоит выслушать целую историю.

— Давно это самое дело у меня началось, еще когда я совсем зеленым мальчишкой был, — рассказывал Радугин. — Шел мне тогда пятнадцатый год. Жили мы летом в нашем имении, в Нижегородской губернии. Житье мне в то лето было совсем не привольное, потому что приставлен был ко мне некий изрядно-таки нескладный и непокладливый студент. А приставлен ко мне он был по той горестной для меня причине, что предстояла мне осенью переэкзаменовка.

— Невесело, — участливо вздохнул Скворцов.

— Да-с, весьма невесело, — согласился Радугин. — Вырвешься когда на волю, только о том и думаешь, как бы удрать подальше от моего ментора, — осточертел он мне невообразимо. Вот однажды, в жаркий день, забрался я в лес, в самую чащу. Уселся там на краю какого-то нелепого и невзрачного оврага. Там, в поле, жарища нестерпимая, — а здесь, в лесной тиши, очень приятно, — прохладно, и так смолкой попахивает, а внизу, в овраге, какие-то цветочки, метелки белые, на вид некрасивые, а туда же, пахнут довольно приятно. Сижу, глазею, то помечтаю, а то больше предаюсь грустным размышлениям о невеселых моих обстоятельствах. Отдыха настоящего за лето нет, а между тем скоро и осень настанет, и опять начнется несносное хождение в эту треклятую гимназию и постылый зубреж. Как вспомнишь какую-нибудь учительскую физиономию, так в жар и холод от отвращения кинет.

— Да-с, по большей части несимпатичный народ, — поддакнул Скворцов.

Радугин лениво и слегка насмешливо глянул на Скворцова и продолжал рассказывать:

— Вдруг, — можете себе представить! — вижу перед собою лесного человека. Никогда раньше мне никакая чертовщина не являлась, а тут вдруг — извольте радоваться!

— От жары, надо полагать, — робко вставил Скворцов.

— Ну уж не знаю, от жары ли, от чего ли другого, — с некоторым неудовольствием ответил Радугин, — да и какая там в лесу жара! Это в поле точно было жарко, а там, я вам уже говорил, было довольно прохладно. Конечно, тепло, но не настолько все-таки, чтобы мере-

щиться невесть что стало. Как бы то ни было, сидит этакая противоестественная образина, — маленький такой, весь вершка в три. Весь зеленый. Сидит на каком-то сучке, хвостиком потряхивает и посмеивается. Рот до ушей, уши болтаются, — красавец, нечего сказать. И так я тогда растужился да размечтался, что нисколько не был удивлен появлением этой хари богомерзкой. И даже, — представьте! — говорю ему: «Хоть бы ты, немытька, мне помог». А он мне отвечает: «Что ж, помогу».

— Скажите! — с удивлением воскликнул Скворцов.

Радугин продолжал:

— Ну, слово за словом, разговорились мы с ним. Он мне и говорит: «Ты сам ничего не делай, ни уроков сам трудных не учи, ни работ не пиши. А есть такие ненужные людишки, которыми можно овладеть. Они на вид как будто и настоящие люди, и все у них на своем месте, и они все как все делают, а по-настоящему-то их и нет вовсе. Так, видимость только одна, а человека нет. Ни души у него, ни воли, ничего нет. Сам для себя он не нужен, а всю работу человеческую он может сделать почти как настоящий человек. Только надо его наставить, завести, как машину, а уж он пойдет и сделает все, что тебе надо». Я его, понятно, спрашиваю: «Голубчик немытька, да научи, как же это сделать, будь благодетель». А он говорит: «Для этого я дам тебе такой талисман». Сбегал куда-то очень проворно и принес мне вот эту штучку, которую я с тех пор храню, как зеницу ока. Показать?

— Пожалуйста, покажите, это так интересно, — попросил Скворцов, улыбаясь нерешительно и не зная, очевидно, как относиться к словам хозяина, принять ли их в шутку или всерьез.

— А вы не боитесь? — спросил Радугин.

Его лицо вдруг сделалось строгим и значительным. Скворцов почувствовал себя почему-то неловко. Неуверенным голосом сказал он:

— Нет, чего же мне бояться. Пожалуйста, покажите.

Радугин опять усмехнулся. На этот раз жесткая и невеселая была у него улыбка. Тоном странной угрозы он сказал:

— Ну смотрите, да только уж потом на меня не пеняйте, — сами захотели.

Не спеша вынул он из бокового кармана своей домашней инженерной тужурки небольшую записную книжку, медленно развернул ее и вытащил из ее кармашка маленький, плотной бумаги конвертик. Глаза Скворцова с жадным любопытством приковались к белым и пухлым рукам хозяина. Радугин раскрыл конверт, не торопясь, слегка тряхнул его над столом, и из конверта выпал на стол небольшой, плотный, побуревший от времени, но еще совершенно целый лист какого-то дерева.

— Вот полюбуйтесь, — сказал Радугин, взял лист осторожно, двумя пальцами, и повертел его перед глазами Скворцова.

— Только-то? — радостно и удивленно спросил Скворцов. — Ну, это — предмет, не наводящий большого страха. А я, признаться, ожидал чего-нибудь неестественного.

Радугин осторожно вложил лист в конверт и, неторопливо убирая его на прежнее место, сказал холодно:

— Очень рад, что это вас не пугает. Но только, милейший Иван Иваныч, я должен вам сказать, что у меня было вот какое условие с лесным человечком: всякий, а также и всякая, кто увидит этот листок, с того самого момента поступает в полное мое распоряжение. Такое условие, и изменить я не в силах.

Скворцов пробормотал смущенно:

— То есть как же это? Что же это значит, я не совсем понимаю.

И вдруг он почувствовал во всем своем теле странную слабость и безволие. Руки его бессильно упали, голова поникла, и все мысли, казалось, в один миг вылетели.

Над ним звучал холодный и спокойный голос Радугина:

— Милейший Иван Иваныч, ни своей души, ни своей воли у вас никогда не было, и вы только по недоразумению, впрочем, довольно распространенному, считали себя настоящим и полным человком. Вам казалось, что вы поступаете по сознательным и разумным мотивам, что вы можете любить и ненавидеть, желать, стремиться, добиваться, радоваться и печалиться, строить свое благополучие и быть чьею-то опорою и надеждою. Ничего этого на самом деле не было, да и не могло быть. Вы жили, — если жили, — и двигались, — если двига-

лись, — привычкою, наследственностью, культурою, случайными, живыми или мертвыми волями разных людей и случайными сцеплениями разных обстоятельств, но своей воли, своей жизни, своего пафоса в вас никогда не было. Над низменным планом вашего существования никогда не трепетали в вольном полете орлиные крылья восторга и дерзновения. Вот тайными чарами лесного бытия, волшебною волею первозданной природы я изъемлю вас из этого круговорота пошлой жизни и беру в мое обладание, чтобы ваш человекообразный и в общем довольно остроумно устроенный организм послужил настоящему человеческому деланию. Вот и все. Что вы на это можете возразить?

Скворцов молчал. Лицо его ничего не выражало. Весь он был похож в эти минуты на очень хорошо сделанную куклу.

Радугин постоял немного около него. Усмехнулся. Тихо сказал:

— Замечательное отсутствие какого бы то ни было сопротивления. Первый раз приходится встречать такую совершенную пассивность.

Потом еще поближе подвинулся к Скворцову. Сказал громко и решительно:

— Ну, милейший, дайте-ка я обревизую ваш умственный и нравственный багаж. Что-то там у вас находится за вашею первою оболочкою?

Наклонился к Скворцову. Сказал совсем тихо какое-то невнятное слово. Точно легкое синеватое облачко перебежало от Радугина к Скворцову, изо рта в рот. И в тот же момент неожиданная и странная перемена произошла с обоими.

Радугин вдруг словно померк, осунулся, вялою походкою вернулся к своему креслу, повалился в него и безжизненно замер, и лицо его стало тускло и безвыразительно. Скворцов же вдруг встрепенулся. Встал, очень быстро, как внезапно разбуженный чем-то бесконечно радостным. Засмеялся. Быстро заходил, почти забегал по кабинету. Лицо его стало веселым и оживленным. Все более быстрые движения и быстрая смена выражений на его лице показывали, что в нем происходит очень энергичная внутренняя работа. Но он почти ничего

не говорил. Только несколько раз с его губ сорвались краткие слова справочного характера:

— В истекшем 1905 году.

— За номером 12557.

— Этот циркуляр издан еще при Петре Ивановиче.

Потом захохотал, — и смех его совсем не был похож на тот гаденький смешок, которым смеялся он раньше, — хохотал так самоуверенно и самодовольно, что хоть бы и Радугину впору. Бросился в свое кресло и вдруг застыл в прежнем безжизненном положении, и лицо его опять стало тупым и безвыразительным, как у куклы.

В тот же миг легкое облачко, струистое, синевато-серое, пронеслось, как и в первый раз, между двумя собеседниками, только на этот раз в обратном направлении, и Радугин оживился. Открыл глаза, потянулся, встал, посмотрел с презрением на Скворцова и досадливо проворчал:

— Вот-то дубина стоеросовая! Из этого болвана немного пользы выскребешь. Чинодрал на редкость чистого типа. Впрочем, в свое время пригодится.

Потом подошел к Скворцову и сказал погромче:

— Ну-с, милейший Иван Иваныч, просыпайтесь, вернитесь пока к вашей обманчиво самостоятельной жизни. Морочьте себя и других довольно неудачною подделкою под настоящего человека с живою душою. Я побывал в вашей коже, и, когда мне понадобится механизм вашего тела, я вас возьму и сделаю вами что-нибудь, может быть, и дельное. Проснитесь.

Наклонился к лицу Скворцова и опять сказал какое-то невнятное слово.

Скворцов открыл глаза. Смущенно улыбнулся, точно его застали в чем-нибудь нехорошем. Забормотал:

— Никак я заснул?

— Был грех! — со смехом ответил Радугин. — Кажется, всхрапнули немножко. Приятный сон видели, надо полагать?

Скворцов нерешительно говорил:

— Да, что-то снилось, только все забыл, что видел.

Радугин насмешливо улыбнулся. Сказал загадочно:

— Вспомните в свое время.

Посмотрел прямо в глаза Скворцова, подумал: «Пора тебе и уходить».

И Скворцов, словно угадывая мысль хозяина, стал прощаться. Радугин его не удерживал.

Страна, где воцарился зверь

На полуистлевших от времени листах папируса начертано много сказаний о делах и людях, давно отошедших в неизменную вечность. И вот одно из них. Оно несвободно от неясностей, причина которых, по всей вероятности, в том, что от целой рукописи сохранились лишь обрывки, и смысл целого пришлось восстановлять, пользуясь аналогиями. Самое название страны неведомо нам, и конец рассказа не сохранился. В тех частях истории, которые носят фантастический характер, не совсем ясно, говорит ли древний летописец иносказательно или и сам верит рассказу о чудесном превращении жестокого юноши.

Надлежало выбрать царя. И старейшины решили предоставить выбор судьбе. Пред наступлением ночи вынесено было за городские ворота золотое, драгоценными изумрудами и сапфирами украшенное яйцо и положено при дороге в траву. Кто придет из чужой страны, издалека, и поднимет затаенное в траве золотое яйцо, тот и будет царем в городе. Был ли таков обычай того места, или на этот раз особые гадания указали старейшинам города такой способ выбора, — не знаю. Но, по соображению некоторых обстоятельств события, предпочитаю второе объяснение.

Блистающий и светлый взошел над страною пламенеющий в небе Дракон, которому люди дают имя дневного светила, красного солнца, — блистающий и светлый, как и надлежало быть тому дню, когда великий воцарился над тою страною владыка. Старейшины вышли к городским воротам, а за ними и весь народ, — и все в благоговейном молчании

ждали, кого укажет им судьба в цари. И долго дорога была безмолвна и пустынна, словно совещались великие боги или демоны той страны и колебались долго, на ком им остановить свой чудесный выбор. И наконец решили.

По дороге, приближаясь к городу, шли два отрока, едва прикрытые грубыми и рваными одеждами. Один из них был смугл, тонок и черноволос; на голове другого вились рыжие кудри, сиявшие золотом в златопламенных взорах воздымавшегося на гору небес Змия. Тело рыжего отрока было оливкового цвета, щеки его пламенели румянцем, и глаза горели ненасытным желанием. Впрочем, лица обоих отроков были так сходны, как будто смуглое лицо одного отразилось в дивно пламеневшем зеркале и возник из-за чародейного стекла румяный и златоволосый двойник.

Весело разговаривая друг с другом и беспечно смеясь, отроки уже миновали затаенное в траве золотое яйцо. И приближались к городским воротам.

Гулкий тысячеустный ропот толпы вдруг остановил их. Испуганные и смущенные, стояли отроки у края пыльной дороги и озирались вокруг, стараясь понять, на что смотрит и дивится все это шумное множество. Смуглый отрок первый увидел яйцо. И подошел к нему.

— Смотри, Метейя, какая красивая в траве лежит игрушка, — сказал он своему другу.

И поднял яйцо. Рыжеволосый Метейя подбежал к нему и, с жадностью простирая к смуглому отроку руки, воскликнул просящим голосом:

— О, миленький Кения, отдай, отдай мне это золотое яичко! Дай, дай мне его.

Засмеялся Кения и отдал яйцо Метейе, говоря:

— На, возьми. Пусть оно будет твоим, если так тебе его захотелось.

И зарадовался Метейя. Подбрасывал яичко и любовался переливною игрою многоценных камней на нем.

Тогда вышли из ворот старейшины городские, и поклонились отроку Метейе, держащему в руках золотое яйцо, и нарекли его царем того города.

Возник было в народе спор, кому быть царем. Некоторые легкомысленные юноши говорили, что на черноокого Кению надлежит возложить царскую диадему. Говорили:

— Черноокий отрок поднял яйцо наше и потом по своей воле дал его рыжему и жадному мальчишке. Черноокому и прекрасному Кении надо быть нашим царем, он щедр и великодушен, как и подобает быть царю.

И прекрасные девы, подстрекая к непокорству любезных им юношей, шептали:

— Золотую диадему на смоляно-черные волосы Кении возложить, — как это будет красиво!

Но старые люди говорили:

— Царь не тот, который отдает, а тот, который требует и берет. Владыка нужен городу, а не мягкосердечный отрок с женственною душою.

И когда немногие приверженцы Кении вздумали упорствовать и длить бесполезные, но смущающие толпу споры, их связали, обезглавили и тела их сожгли.

Так воцарился в той стране Метейя. Сказал вельможам:

— С другом моим Кениею шли мы долгим и трудным путем. Черные очи милого моего друга приметили в густой траве мое царское яйцо. Верным и преданным другом моим был и пребудет Кения, и место его да поставится самое первое, по правой стороне от моего царского, блистающего и украшенного ложа. На друга моего Кению самые богатые и красивые, какие только найдутся в городе, наденьте одежды и на руку ему дайте самое дорогое и красивое кольцо.

И сделали так, как повелел царь Метейя. По правой стороне от царя сидел отрок Кения, но не возгордился. Черные глаза его мерцали, как две погасшие, но все еще прекрасные звезды. Уста его алели, как две розы, как две яркие розы, над которыми рыдает соловей. И золотое кольцо с алмазом сверкало на его руке, как вечерняя звезда на багроводымном небе заката. И были глаза его без сияния, уста его без улыбки, и руки его не радовались.

Черными и спокойными смотрел он на царя Метейю глазами, и стало грустно царю Метейе, и однажды спросил царь Метейя друга своего Кению:

— Милый друг мой Кения, не завидуешь ли ты мне?

Кения склонил низко голову, как надлежит делать тем, к кому обращено царское высокое слово, и сказал спокойно:

— Великий царь, я тебе не завидую.

Царь нахмурился и спросил снова:

— Милый Кения, не хочешь ли ты быть царем?

И ответил Кения:

— Я не хочу быть царем.

— Кения, ты, может быть, думаешь, — продолжал спрашивать царь, — что ты поднял яйцо и потому имешь право быть царем?

— Я поднял мое яйцо, — спокойно ответил Кения, — и подарил его тебе, царь. Теперь ты можешь владеть им и царствовать спокойно, — никто не отнимет его от тебя.

Замолчал царь Метейя и не знал, что еще спросить. Но черная досада томила царское сердце. И склонился к царю старейший и хитрейший из вельмож, седобородый Сальха, и стал шептать царю в уши злые и коварные речи.

— Великий царь, сокровище и утешение наше, — шептал Сальха, — твой друг Кения, которого за его красоту так похваляют неразумные юноши и любострастные девы, тот Кения, которого ты, по своей царской милости, возвел на высочайшее место и посадил по правую сторону от твоего пресветлого царского ложа, — он легкомысленно и дерзко называет своим яйцо, которое было у тебя в солнечно пламенеющих перстах в то время, когда мы вышли из-за городской ограды и, преклонившись пред твоим величием и твоею дивною красотою, нарекли тебя нашим владыкою. Своим называет он яйцо, которое могущественные боги этой страны вложили в твои державные руки.

Царь Метейя покраснел от гнева, и глаза его засверкали нестерпимым пламенем. Гневные обратил он взоры на друга своего Кению, но не смутился смуглый, черноокий отрок и пребывал безмолвным, неподвижным и спокойным, как черная ночь без зарниц и без звезд.

И приблизился к царю Метейе другой вельможа, творящий в той стране верховный суд, мудрый и злой Ханна, преклонился пред царем

и стал шептать ему в уши столь же злые и коварные речи, как и речи коварного Сальхи.

— Великий царь, красотою своею затмевающий прекраснейшие светила небесные, светлым разумом своим и дивными доблестями превзошедший мудрейших и славнейших в стране нашей и в иных ближних и дальних странах, — так шептал царю злой Ханна, — друг твой Кения, возведенный тобою и щедро награжденный за ничтожную услугу, дерзает думать, а может быть, даже и говорить, что он лучше тебя, потому что он отдал тебе твое царское яйцо и таким образом превзошел тебя в щедрости и великодушии. Друг твой готов стать твоим врагом, великий государь. Воистину, жестокого достоин наказания тот, кто злоумышляет против великого нашего царя.

Дрожа от гнева, сжимая царский посох в трепетных руках, густо покрытых рыжими волосами, царь Метейя спросил друга своего Кению:

— Скажи мне, Кения, кого из нас двоих считаешь ты лучшим и более достойным почитания?

— Великий царь, — спокойно ответил Кения, — люди почитают тебя как своего владыку и поклоняются тебе, и я с ними. Я — твой верный слуга и раб и пребуду тебе неизменно верным и послушным.

В гневе царь Метейя встал и воскликнул:

— Боги возвели меня на царский престол, потому что я лучше всех людей в этой стране и во всех других и лучше тебя.

И ответил Кения:

— Царь, ты и я — отроки, ничего еще не совершившие на земле, достойного похвалы или порицания. Кто из нас лучше другого, никто этого не знает и не скажет.

— Так, — удивляясь дерзости своего друга, тихо сказал царь Метейя, — и в самом деле не думаешь ли ты, что ты лучше меня, своего царя и владыки?

— Великий царь, — возразил Кения, — я этого не думаю. Я думаю, что мы оба одинаковы. Недаром выросли мы вместе и так похожи один на другого лицом. Когда на румяной заре утренней или при багряно-красном небе заката я наклоняюсь к ручью, чтобы утолить мою жажду, мне кажется, что твое, о царь, лицо с приветливою улыб-

кою наклоняется ко мне и твои губы тянутся навстречу моим для сладостного братского целования. Различаясь от меня цветом волос и кожи, пламенея румянцем, который у меня скрыт под смуглым цветом моего тела, ты так похож на меня, как будто отраженное в пламенеющем зеркале мое изображение. Ты прекрасен, как я, и так же, как я, щедр, милостив и великодушен.

И тогда все вельможи подняли шумный, негодующий крик, обвиняя Кению в том, что он осмелился приравнять себя к великому владыке. Яростью наполнилось сердце царя Метейи, и он приказал нещадно бичевать друга своего Кению смолистыми, гибкими плетьми.

Когда голый и связанный лежал перед царем Кения, стеня и вопя от нестерпимой боли, и багровыми полосами покрывалось его стройное, прекрасное тело, и горячие капли его крови брызгали в лицо царю Метейе, в это время свирепая радость истязаний вошла в сердце юного царя, — и он громко смеялся и радовался воплям и мучениям друга своего Кении. И все множество предстоящих смеялось вместе с ним.

Возопил тогда Кения:

— О великий царь, вспомни, что это я поднял и отдал тебе твое царское яйцо, — вспомни и сжалься надо мною!

В ответ ему закричал диким, громким голосом разъяренный царь:

— Помню, Кения, все помню, — и чтобы ты вперед не величался предо мною, вот, повелеваю верным слугам моим засечь тебя до смерти.

Исполняя повеление царя, били черноокого Кению до тех пор, пока не затихли его стоны, — и потом вынесли его тело, и бросили у порога царского чертога.

С того дня ненасытною жестокостью напиталось сердце царя Метейи, и радостны стали ему вопли истязуемых. Всякого, кто говорил слова сожаления о милом отроке Кении или слова укоризны жестокому и неблагодарному царю, всякого приказывал он приводить к подножию его престола и мучить до смерти. И веселился.

Потом, пресыщенный зрелищем изуродованных тел, опьяненный запахом горячей, изобильно пролитой крови, упивался он винами и забавлялся с плясуньями, очаровательницами змей, гадательницами и други-

ми распутными женами и девами. Вельможи и старейшины городские не останавливали его и пировали с ним вместе, радуясь, что царь не вникает в дела правления и не препятствует им, алчным и жестокосердным, обогащаться на счет вдов, сирот и голодающих от неурожая. Развратные сыновья вельмож пировали с царем и забавляли его своим бесстыдством.

Настали тогда в стране той дни великого плача и смятения. Жены, девы и юноши тайно сходились в лесах по ночам, сожигали богам многие многоценные жертвы и страшными чарами вызывали и заклинали умерщвленного отрока Кению. И возник из могильного мрака умерщвленный жестокими черноокий отрок.

Однажды, когда царь пировал с своими вельможами и неразумными юношами, пришел к нему Кения. И ужаснулись пирующие.

На вечернем небе догорала быстрая заря. Долины полны были мглистым туманом. Совсем белая на молочно-алом зареве заката светилась первая звезда, — и откинулась вдруг тяжелая завеса царской двери, и темный на светлом зареве зари явился и стал черноокий, черноволосый, весь смуглый, в белой короткой одежде, обнажавшей прекрасные руки и ноги, Кения. Кто-то, бессмысленно-пьяный, еще горланил, повалясь щекою на стол, — но безмолвием и ужасом зачарованы были обращенные на Кению взоры пировавших. Звякнула о кипарисные доски пола выпавшая из чьей-то руки золотая чаша и покатилась тихо, дугообразный чертя по полу путь, между царем и Кениею, и темная, багряная, как кровь, струя вина коснулась нагих ног восставшего из могильного мрака отрока.

Тихо подошел Кения к царю и сел рядом с ним, по правую сторону, на то место, где сидел раньше и куда еще никого не посадил царь.

Царь спросил, трепеща от страха и от гнева:

— Ты жив, Кения?

И ответил ему Кения:

— Я встал и пришел к тебе. Некогда вместе с тобою шел я в этот город, и были мы оба радостны и невинны. Потом, отдав тебе мое яйцо, рядом с тобою сидел я, незнающий и простодушный. Но вот ярость высокой царской власти распалила твое сердце и разделила

нас, и тяжкие по твоей воле перенес я муки. Ныне пришел я к тебе знающий, и мудрый, и наделенный силою, которой у тебя нет, хотя ты и царь великой страны. Я поднял многоценное яйцо, положенное благими и мудрыми и охраняемое неразумными и злыми. Оно мое, и мое все то, что соединено с его обладанием. Но ныне, изведав, как ярит человека высокая власть, я, Кения, тот, на кого дивно похож лицом царь Метейя, я не хочу быть царем. Да не будет, о великий царь, между нами предмета разделения и раздора. Поделимся мирно, — ты оставь себе многоценные изумруды и сапфиры царской власти, а мне отдай тяжелое золото, моими руками поднятое, моею кровью омытое.

Дикий гнев зажег царские взоры, — и возопил царь:

— Крамольную слышу речь, мятежный вижу взор непокорного раба. Где же вы, мои верные слуги? Возьмите мятежника, многими измучьте его муками, бейте его перед очами моими, бейте его гибкими смолистыми плетьями и кнутами из воловьей кожи, залейте его горло растопленным свинцом, вырвите его черные колдовские глаза.

Так все сделали, как повелел жестокосердно усердным рабам их жестокий царь. Страшным голосом вопил истязуемый отрок. Выше перистых облаков возносились его пронзительные вопли. Выше небес возлетали бы они, если бы над землею простирались небеса.

Замучили до смерти, выволокли изуродованный труп за городскую ограду и бросили на гноище. А вдалеке в это время, чуя свежую кровь, выли трусливые шакалы.

Пели в царском чертоге хриплыми с перепоя голосами веселые и непристойные песни. Плясали перед царем голые блудницы. Царь хохотал и тонким хлыстом подстегивал плясуний, чтобы вертелись проворнее. Полупритворные визги голых блудниц радовали его.

И опять длились дни жестокостей и злодеяний. И опять в глухих лесах заклинали страшными ночными чарами замученного отрока. И опять возник Кения, и опять пришел в царский чертог. Изрубили его на куски и бросили его собакам.

И когда опять пришел Кения, сожгли его вместе с тысячью плакавших о нем юношей и дев. Всех загнали в один дом, обложили его сухим хворостом, облили хворост смолою и зажгли. Радостно-яркое

высоко взметнулось пламя, обливая багровою кровью ночные облака, и дикий вопль тысячи сожигаемых разносился далече окрест, пугая свирепых тигров, рыщущих в прибрежных тростниках в поисках за живою добычею. А люди, угождая свирепому своему владыке, плясали вокруг объятого пламенем дома.

Но опять пришел Кения. И ужаснулся разъяренный царь. Спросил непрестанно восстающего отрока:

— Или бесконечными хочешь ты сделать твои и мои муки?

Улыбаясь, возразил Кения:

— Твоя воля, великий царь. Отдай мне мое золото и будешь покоен.

— Не отдам, — возопил царь, — снова и снова предам тебя несказанным мучениям, доколе не утомишься страданиями, доколе не уйдешь в вечную тьму!

— Царь Метейя, — возразил Кения, — уже не могу я сойти с того круга непрестанных возвращений к тебе, на который поставили меня верховные силы. Или отдай мне золото моего яйца, или своими зубами загрызи меня, пожри меня, как дикий зверь пожирает добычу, которую подстережет в пустынном месте. И станешь тогда зверем, но зато победишь меня, и к тебе, зверю, уже я не приду никогда.

Поник головою царь Метейя. Долго думал. Наконец сказал:

— Да будет так. Я — царь, и мне надлежит победить тебя, какою бы то ни было ценою. Лучше быть зверем, побеждающим и торжествующим, чем человеком, который уступает и отдает свое.

Засмеялся черноокий Кения. Тогда дивное превращение в один миг свершилось с царем. Все тело его покрылось густою рыжею шерстью, такого же цвета, какими были у Метейи волосы. Гибким, как у бенгальского тигра, стало тело Метейи, опустилось на четвереньки, — взметнулся внезапно выросший напряженный хвост, — острые когти явились на руках и на ногах, обратившихся в огромные, страшные лапы. Прекрасная страшно изменилась голова: челюсти стали огромны, и ужасные во рту засверкали клыки, белые, изогнутые, острые. Зеленые огни зажглись в округлившихся глазах Метейи. Яростно вопиющий голос царя Метейи стал рыканием дикого зверя, наводящим ужас на отважнейших мужей. Проворным, могучим прыжком бросился обращенный в зверя

Метейя на Кению и, радостно мурлыча и ворча, стал пожирать его сладкую плоть, дробя зубами его кости, и трепетно прядали косматые звериные уши, внимая последним воплям Кении.

Пожрал друга своего царь Метейя, обратившийся в зверя. Вельможи и старейшины радовались и славили царя Метейю. Говорили они, упоенные злобною радостью:

— Дивное чудо сотворили великие боги в знак милости к нашей стране. Возлюбленному царю нашему Метейе дали они грозный облик зверя, чтобы его страшные когти и могучие челюсти сокрушали кости его врагов, как хрупкий, хрустящий тростник.

И водили зверя по улицам, на страх трепещущим врагам. Блистающею диадемою увенчана была голова зверя, алмазное ожерелье висело на его шее, яркие яхонты и блистающие изумруды сверкали в рыжей звериной шерсти. Благоуханными цветами нагие девы осыпали путь зверя, — и облит был жаркою кровью его страшный след. Народ повергался ниц перед высоким зверем, и зверь выбирал себе добычу среди покорно склоненных и нежные пожирал тела юношей и дев.

Темен конец повествования. Дева с горящим углем в груди (может быть, следует читать «дева с пламенным сердцем») умертвит зверя, — так обещали ночные гадания в тайном лесу. Но был ли умерщвлен зверь? Освободились ли из-под ужасной власти свирепого зверя трепетавшие перед ним люди? Неведомою осталась судьба страны, где воцарился зверь, и самое имя страны поглощено забвением.

В толпе

I

Древний и славный город Мстиславль справлял семисотлетие со дня своего основания.

Это был город богатый, — промышленный и торговый. В нем самом и в его окрестностях понастроено было много фабрик и заводов, из которых иные славились на всю Россию. Население быстро возрастало, особенно в последние годы, и достигло внушительной цифры.

Стояло много войска. Много жило рабочих, торговцев и чиновников, студентов и литераторов.

Думцы решили праздновать на славу день основания города. Пригласили властей, позвали Париж и Лондон, а также Чухлому, и Медынь, и еще некоторые города, но с очень строгим выбором.

— Знаете, чтобы не лезли всякие, — объяснял городской голова, молодой человек купеческого происхождения и европейского образования, известный тонкою галантерейностью своего обхождения.

Потом как-то вспомнили, что надо же позвать также Москву и Вену. И этим двум городам послали приглашения, но когда уже оставалось до праздника всего только две недели.

Литераторы и студенты упрекали голову в такой неуместной забывчивости. Голова смущенно оправдывался:

— Захлопотался. Совсем из ума вон. Так много дела, — вы не поверите. Редко и дома ночую: все комиссия за комиссией.

Москва не обиделась, — свои, мол, люди, сочтемся, — и поспешила прислать депутацию с адресом. Веселая же Вена ограничилась открыткою с поздравлением. Открытка была художественно разрисована: голый мальчик в цилиндре сидел верхом на бочке и держал в поднятой руке бокал с пивом. Пиво пышно пенилось, мальчик весело и плутовато улыбался. Он был круглолицый и румяный, и члены городской управы нашли, что улыбка его вполне прилична торжеству, — веселая, добронемецкая. И весь рисунок нашли очень стильным. Только не совсем согласны были в определении его стиля: одни говорили «модерн», другие — «рококо».

В городе немощеном, пыльном, грязном и темном, — в городе, где было много уличных скверных мальчишек и мало школ, — в городе, где бедные женщины, случалось, рожали на улицах, — в городе, где ломали старые стены знаменитой в истории крепости, чтобы добыть кирпича на постройку новых домов, — в городе, где по ночам на людных улицах бушевали хулиганы, а на окраинах беспрепятственно обворовывались жилища обывателей под громкие звуки трещоток в руках дремотных ночных сторожей, — в этом полудиком городе для съехавшихся отовсюду почетных гостей и властей устраивались тор-

жества и пиршества, никому не нужные, и щедро тратили на эту пустую и глупую затею деньги, которых не хватало на школы и больницы.

И для простого народа, — нельзя же и без него обойтись, — готовились увеселения на городском выгоне, в местности, именуемой почему-то Опалихою. Строились балаганы, — один для народной драмы, другой для феерии, третий для цирка, — ставились американские горы, качели, мачты для лазания на приз. Скоморошьему деду купили новую бороду, кудельную, и обошлась она городу дороже шелковой, — уж очень художественно сделана.

Для раздачи народу изготовили подарки. Предполагали давать каждому кружку с городским гербом и узелок: платок с видом Мстиславля, и в нем пряники да орехи. И таких кружек да платков с пряниками и орехами наготовили много тысяч. Заготовляли заблаговременно, — а потому пряники стали ко дню праздника черствые, а орехи — гнилые.

За неделю до дня, назначенного для народного праздника, на Опалихе поставили столы, и пивные буфеты, и две эстрады, — платную для публики и другую для почетных приглашенных.

Между буфетами оставили узкие проходы, чтобы за подарками к столам подходили по очереди и по одному человеку. Так придумал голова, для вящего порядка. Он был умный и рассудительный молодой человек.

Накануне праздника привезли подарки, сложили их в сарай и заперли.

Народ, заслышав про увеселения и про подарки, толпами шел со всех сторон к древнему и славному городу Мстиславлю, крестясь издали на золотые маковки его многочисленных церквей. Говорили, что подарки-то подарками, а что кроме того будут еще на Опалихе бить фонтаны из водки и пить водки можно будет сколько хочешь.

— Хоть опейся.

Многие приходили издалеча. И заране. Уже накануне праздника на городских улицах шлялось много дальних пришельцев. Больше всего было крестьян, много было и фабричных рабочих. Были и мещане из соседних городов. Приходили, а кто и приезжал.

И вот уже несколько дней продолжалось празднование в городе. Веяли флаги на домах, висели гирлянды из зелени. Служились молеб-

ствия. Сделали парад войскам. Потом смотр пожарной команде. На торговой площади был базар, веселый и шумный.

Наехало много знатных посетителей, своих и заграничных, лиц чиновных и сановных и много любопытных туристов. Местные жители толпами выходили на улицы и глазели на приезжих гостей. Знатные иностранцы были предметом особого внимания, не очень, впрочем, дружелюбного. Старались и нажиться: квартиры, пища, товары — все вздорожало.

Настал канун народного праздника. Город, как и все эти дни, горел праздничными огнями. В городском театре был назначен парадный спектакль, а после него — большой бал в губернаторском доме.

А толпа валила на Опалиху. И надзора за нею не было. Раздача подарков назначена была с десяти часов утра, и городское начальство было уверено, что раньше раннего утра никто не пойдет на Опалиху. Но раньше раннего утра была ночь, и еще раньше был вечер. И с вечера стала толпа собираться на Опалиху, так что к полуночи перед сараями, отделявшими площадь народного гулянья от городского выгона, стало тесно, шумно и тревожно.

Говорили, что собралось несколько сот тысяч. Даже полмиллиона.

II

На Никольской площади у самого обрыва стоял домик Удоевых. Над обрывом разбит был сад, и из него открывался великолепный вид на нижние части города, Заречье и Торговый конец, и на окрестности.

С высоты все очищалось и казалось маленьким, красивым и нарядным. Мелкая, грязная Сафат-река отсюда являлась узкою лентою переменчивой окраски. Дома и торговые ряды стояли игрушечные, экипажи и люди двигались мирно, тихо, бесшумно и бесцельно, пыль вздымалась легкая, еле видная, и тяжкие ломовые грохоты доносились наверх едва слышною музыкою подземелья.

Против дома Удоевых, через площадь — казначейство, окрашенное охрою унылое двухэтажное здание. Там служил глава семьи, статский советник Матвей Федорович Удоев.

Забор около дома Удоевых был серенький и прочный, беседка в саду стояла такая милая и уютная, сирень благоухала, плодовые деревья и ягодные кусты обещали что-то радостное и сладостное, — хозяйственно, основательно устроилась семья старого и почтенного чиновника.

Дети Удоева, пятнадцатилетний гимназист Леша и его две сестры, Надя и Катя, девицы двадцати и восемнадцати лет, тоже собрались идти на Опалиху, на праздник. Оттого они были так веселы и так радостно волновались.

Леша был белый, смешливый и прилежный мальчик. Особых, ярких примет он не имел: учителя в гимназии часто смешивали его с другим, тоже белолицым и скромным гимназистом. Девицы тоже были скромные, веселые и добрые. Старшая, Надя, была поживее, непоседлива и порою даже шаловлива. Младшая, Катя, была совсем тихоня, любила помолиться, особенно в монастыре, и очень легко переходила от смеха к слезам и от плача к смеху, — и обидеть ее было легко, и утешить, и насмешить — не трудно.

И мальчику, и девицам очень хотелось достать по кружке. Они еще заране выпросились у родителей — идти на Опалиху.

Отпускали их на Опалиху неохотно. Мать ворчала. Отец молчал. Ему было все равно. Впрочем, тоже не нравилось.

Матвей Федорович Удоев был молчаливый, высокий, рябой и равнодушный человек. Пил водку, но в умеренном количестве и почти никогда не спорил с домашними. Домашняя жизнь шла мимо него. Как и вся жизнь...

Проходила мимо, как облака, пролетающие и тающие на пронизанном солнечными светами небе... Мимо, как неутомимо шагающий странник мимо ненужных ему зданий... Как ветер, веющий из страны далекой... Мимо, мимо, все мимо...

III

Леша и обе сестры стояли у ворот и смотрели на прохожих. Было шумно и людно. Шли люди, нарядившиеся, и видно, что чужие. Шли

больше в одну сторону, — к Опалихе. Гул среди толпы наводил на детей смутную тревогу.

Подошли соседи, Шуткины: молодой человек, мальчик и две девушки. Перебросились несколькими незначительными словами, как часто встречающиеся и привыкшие друг к другу люди.

— Идете? — спросил старший Шуткин.

— Идем, утром! — ответил ему Леша.

Надя и Катя молча улыбнулись, радостно и слегка смущенно. Шуткины чему-то засмеялись. Переглянулись. Пошли к себе домой.

— Они хотят раньше нас идти, — догадалась Надя.

— Ну и пусть, — сказала Катя и опечалилась.

Дом Шуткиных стоял рядом с усадьбою Удоевых. Выделялся своим неряшливым и ветхим видом.

Молодые Шуткины были все порядочные сорванцы и шалопаи. Пускались иногда на дерзкие шалости. Подбивали порой и детей Удоевых на шалости, и нередко довольно крупные.

Шуткины были смуглые, черноволосые, как цыганы. Старший брат служил письмоводителем у мирового судьи. Лихо играл на балалайке. Сестры, Елена и Наталья, любили петь и плясать. Делали это с большим одушевлением. Младший брат Костя был отчаянный озорник. Учился в городском училище. Не раз грозили выгнать его оттуда. Пока еще держался кое-как.

Удоевы вернулись домой. Было неловкое и тревожное настроение. Не сиделось на месте.

Уже решили идти рано утром. Но сборы начались с раннего вечера. И чем ниже клонилось усталое солнце, тем сильнее нарастало беспокойство и нетерпение детей. Все выбегали к воротам, посмотреть, послушать, поболтать с соседями, с прохожими.

Больше всех беспокоилась Надя. Она очень боялась, что опоздают. Досадливо говорила брату и сестре:

— Вы проспите, непременно проспите, уж я это предчувствую.

И нервно поламывала тонкие, хрупкие пальцы, что у нее всегда служило признаком сильной взволнованности.

В ответ ей Катя спокойно улыбалась и уверенно говорила:

— Ничего, не опоздаем.

— Надо же и спать, — лениво сказал Леша.

И вдруг ему стало лень, и он подумал, что неприятно и не к чему рано вставать, и не захотелось идти. Надя быстро и горячо возражала:

— Вот еще! спать. Ничего не надо спать. Я совсем сегодня не буду спать.

— И ужинать не будешь? — поддразнивающим голосом спрашивал Леша.

И вдруг всем им стало казаться, что нарочно долго не дают ужина, и забеспокоились. Часто смотрели на часы. Приставали к отцу.

Надя ворчала:

— Что это, сегодня, как нарочно, часы у нас отстают. Ужинать давно пора. Этак немудрено и проспать завтра, если за полночь ужинать не дают.

Отец угрюмо говорил:

— Ну чего пристаете? То один, то другой.

И смотрел на детей неразличающим взором, словно он видел в них только то, что их трое. Равнодушно вынимал часы и показывал. Было еще совсем рано. Никогда так рано не собирались ужинать.

Между тем в дом к Удоевым с разных сторон приходили вести о том, что на Опалиху уже собираются, — идут толпами, — что там уже толпа, — целый лагерь, с ночлегами и чуть ли даже не с палатками.

И уже начали догадываться дети, что утром поздно будет идти на Опалиху, — уже тогда не добраться будет. И от этого настроение в доме Удоевых делалось тревожным не в меру.

Мимо дома Удоевых шли. Все больше и больше народа проходило. В толпе были и плохо одетые. Было много мальчишек. Было шумно, весело и празднично.

IV

У ворот дома Удоевых остановилось несколько человек. Слышался оживленный говор, спор, смех.

Леша и сестры опять выбежали за ворота.

Стояли кучкою несколько мужиков и баб. С ними несколько мещан из здешних. Разговаривали громко, недружелюбным тоном, словно переругивались.

Пожилая бойкая мещанка с остреньким и хитрым лицом, одетая в ситцевое платье, яркое от праздничной нарядности и шумящее от накрахмаленной новизны, с розовым платочком на масляно причесанной голове, говорила высокому, степенному крестьянину:

— Да вы бы на постоялом остановились.

Старик крестьянин отвечал неторопливо и вдумчиво, словно подыскивая точные слова для выражения значительной и глубокой мысли:

— Дерут больно ваши дворники. Дерут, слышь. Никак, значит, ты с ними не сообразишься. Обрадовались. Креста на вороту нет у людей. Дорвались, слышь, до добычи. Дерут больно. Разбогатеть, знатко, охота.

Добродушный паренек, белолицый и светлоголовый, с вечною улыбкою на пухлых губах и с кроткими ясно-голубыми глазами, сказал:

— Есть добрые люди, что и даром пускают.

На него все посмотрели насмешливо. Заговорили:

— Есть, да не здесь.

— Поищи-ка таких, да и нам скажи.

Смеялись, почему-то злорадно, хотя, по-видимому, для злорадства не было никакого основания. Паренек ухмылялся, поглядывал вокруг невинными глазами и уверял:

— А меня пустили. Правда. Одна тут пустила.

— Гладок ты больно, — сказал рыжий и корявый мужик.

Подошли две сестры Шуткины, Елена и Наталья, во всем похожие очень одна на другую, так что странно было смотреть, что одна из них рыжая, а другая черноволосая, и их старший брат. Слушали и лукаво улыбались, и почему-то казалось сегодня, что улыбки у них скверные и сами они нечистые.

Подмигивая сестрам Удоевым, старший Шуткин сказал:

— Рано вставать будете завтра?

— Да, — живо заговорил Леша, — встанем пораньше, до восхода, раньше всех придем.

И вдруг вспомнил, что никак невозможно прийти раньше всех, и стало досадно.

— Ну да, встанете, где вам! — сказал Шуткин.

Сестры его смеялись нагло и лукаво. И непонятно было, зачем и чему они смеются. Старший Шуткин сказал:

— Что рано ходить! Это выйдет, как мы в прошлом году в монастырь ходили к заутрене.

— Вот-то была потеха! — с хохотом крикнула Елена.

И видно было, что и ей, и ее рыжей сестре все равно было, над чем смеяться, и вовсе не казалось странным и непристойным издеваться над собою же.

Шуткин рассказывал:

— Это еще в прошлом году было. Легли мы рано, без огня. Выспались, встали. Часов у нас в те времена не было, они в ученье залежались по той простой причине, что у нас тогда было превышение расходов над доходами и была необходимость прибегнуть к выпуску облигаций внешнего двенадцатипроцентного займа. Ну вот, мы и пошли. Пошли, пошли, да и пришли. Видим, еще заперто все. Думаем, еще рано пришли. Сели мы на скамейку у врат обители святой. Сторож к нам подошел, спрашивает этак с довольно натуральным удивлением: «Вы что тут расселись? Ай дома, — говорит, — скучно стало?» А мы говорим ему очень даже непринужденно, — к заутрене, говорим, пришли; монахи-то ваши, говорим, разоспались сегодня. А он нам: «Эк вас, — говорит, — принесло ни свет ни заря! — да ведь еще только одиннадцать часов недавно било. Неужели, — говорит, — дожидаться будете? Пошли бы, — говорит, — домой». Ну мы послушались разумного совета, пошли себе к дому. Было смеху.

И Шуткины, и Удоевы смеялись.

В это время прибежал, запыхавшийся и потный, младший Шуткин, Костя. Радостно кричал:

— Я уже слетал на Опалиху.

— Ну что? как? — спрашивали его и свои, и Удоевы.

Костя с радостным хохотом говорил:

— Мужичья привалило видимо-невидимо. Все поле чисто запрудили.

— Вот чудаки-то! — с досадливым смехом сказал Леша, — ведь в десять часов раздача начнется, а они с вечера пошли.

Старший Шуткин засмеялся, подмигнул сестрам.

— Кто вам это сказал? — крикнул он. — Начало в два часа будет, чтобы заморские гости успели посмотреть. Они рано не привыкли ложиться. И встают поздно.

— Нет, это неправда, в десять начало, — горячо возражал Леша.

— Нет, в два, в два, — в голос закричали все Шуткины.

И по их наглому смеху и переглядыванию сразу было видно, что они лгут.

— Ну я сейчас верно узнаю, — сказал Леша.

Сбегал к секретарю городской управы, — его дом был недалеко. Вернулся ликующий. Кричал издали:

— В десять.

Шуткины посмеивались и уже не спорили.

— Да это вы нарочно придумали, — сказал Леша, — чтобы уйти пораньше, без нас. Ишь вы какие!

Оживленно пробежал гимназист Пахомов, тонкий и вертлявый мальчик. Наскоро поздоровался с Удоевыми. Шуткины смотрели на него недружелюбно.

— Ну что, идете? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал:

— Мы с вечера. Многие с вечера идут.

Торопливо простился. Глянул на Шуткиных, хотел было поклониться, но передумал и убежал. Шуткины злобно смотрели за ним. Смеялись. Удоевым неприятно-странен казался их смех, — к чему он?

— Чистоплюйчик! — презрительно сказал Костя.

Елена злобно и громко сказала:

— Хвастунишка. Где ему! Врет.

Вечер был такой тихий и прекрасный, что ненужно-грубые слова Шуткиных звучали особенно режущим разладом.

Солнце только что зашло. На облаках еще отражался пламенный отблеск его прощальных, его багряно-мертвых лучей.

Такой прекрасный, такой мирный был вечер... А жгучий яд мертвого Змия еще струился над землею.

V

Удоевы вернулись домой. Было жутко и неловко, и не знали, что с собою делать. Из-за всякого пустяка вспыхивали ссоры и споры. Непоседливость обуяла всех.

И Леша сделался вдруг беспокойным и тревожным, как Надя.

— Придем к шапочному разбору, — громко и досадливо сказал он.

Как часто бывает, эти незначительные слова решили дело. Надя сказала:

— Так пойдемте лучше с вечера.

И с нею все согласились и вдруг зарадовались.

Весь вдруг покраснев, Леша кричал:

— Конечно, уж если идти, так теперь. Побежали все трое к отцу, — спрашиваться.

— Мы передумали, пойдем с вечера! — кричала Надя, вертясь перед отцом.

Отец угрюмо молчал.

— Ночь-то одну не поспать, — не беда, — говорил Леша, словно стараясь убедить в чем-то отца.

Но отец продолжал молчать, и лицо его было по-прежнему неподвижно-угрюмо.

Дети оставили его. Побежали к матери. Мать заворчала.

— Папа позволил, — кричал Леша.

И сестры смеялись и болтали весело, звонко.

С радостным визгом бегали все трое по дому, по саду. Торопили ужин.

Вспомнили о Шуткиных. Почему-то досадно было воспоминание о них. Леша сказал сестрам:

— Только Шуткиным ни гугу.

Сестры согласились.

— Само собою, — сказала Надя, — ну их!

Катя нахмурилась, протянула:

— Такие противные!

И сейчас опять радостно засмеялась.

За ужином дети ели торопливо, и не хотелось есть, и досадно было, что старики так копаются, как будто и нет ничего особенного.

Когда уже кончали ужин, отец вдруг уставился на детей и долго смотрел на них, так долго, что они присмирели под его угрюмо-равнодушным взглядом, и наконец сказал:

— С пьяными толкаться, — большое удовольствие.

Надя быстро покраснела и принялась уверять:

— Да нет пьяных. Никаких нигде нет пьяных. Право, даже странно, а только около нашего дома сегодня весь день совсем не видно было пьяных. Так что даже удивительно.

Катя весело засмеялась и сказала:

— Только о подарках и думают и пить не хотят. Не до того.

Наконец кончился ужин.

Побежали — одеваться. Девицы хотели было принарядиться по-праздничному. Но мать решительно восстала.

— Куда? зачем? с мужиками толкаться? — сердито говорила она.

И видно было по всей ее внезапно насторожившейся фигуре и по ее серому, незначительному лицу, что она ни за что не допустит порчи праздничного платья.

Пришлось девицам надеть наряд попроще.

Наконец выбрались из дому. Побежали по крутому съезду к реке. И вдруг, едва спустились, увидели Шуткиных.

Пришлось идти вместе. Было досадно.

Досадно было и Шуткиным. Ни те ни другие не придут раньше. Потерян случай похвастаться, подразнить.

Шуткины придумывали разные насмешки над Удоевыми. Несколько раз по дороге чуть не поссорились.

Вечер был как день, оживленный и шумный.

Над городом тихо мерцали звезды, как всегда, такие далекие, такие незаметные для рассеянного взгляда и такие близкие, когда вглядишься в их голубые околицы.

Ясное бледное небо быстро темнело, и радостно было смотреть на неизменно совершающееся в нем таинство открывающей далекие миры ночи.

В монастыре звонили, — отходила всенощная. Светлые и печальные звуки медленно разливались по земле. Слушая их, хотелось петь, и плакать, и идти куда-то.

И небо заслушалось, заслушалось медного светлого плача, — нежное, умиленное небо. Заслушались, тая, и тихие тучки, заслушались медного гулкого плача, — тихие, легкие тучки.

И воздух струился разнеженно-тепел, как от множества радостных дыханий.

Приникла и к детям умиленная нежность высокого неба и тихо тающих тучек. И вдруг все окрест, и колокольный плач, и небо, и люди, — на миг все затлелось и стало музыкою.

Все стало музыкою на миг, — но отгорел миг, и стали снова предметы и обманы предметного мира.

Дети торопились из города, туда, на долину Опалихи.

А в городе людно было и шумно, и казалось, что весело. Над домами веяли флаги. На улицах горели праздничные огни, — и от этого кое-где пахло противным салом.

Толпы ходили по улицам, по съездам, по набережной реки Сафат. Шныряли и смеялись в толпе дети. И все было звонко и весело, как в сказке и как не бывает в жизни, обычной и серой. И от этого, вся насквозь закутанная общим гулом, людская молвь казалась звучащею и вдруг сбыточною.

Проезжали экипажи с почетными гостями, и улыбались толпе любезные лица важных господ и госпож.

Слышался из экипажей тихий, невнятный, чуждый говор и легкий смех.

Враждебными глазами глядели на проезжающих богатых господ Шуткины. И злые, и глупые у них рождались мысли.

И уже когда выходили из города, старший Шуткин, глупо скаля зубы, сказал:

— Ловко бы теперь подпалить город. Имеет свою приятность, я вам доложу.

Его сестры и Костя захохотали.

Катя дрогнула, передернула плечиками, воскликнула тревожно:

— Что вы, как можно! Какие вы страхи говорите!

— То-то была бы суматоха, — восхищался Костя, прыгая и визжа.

— Да ведь и вы погорели бы, — с удивлением сказала Надя, — что ж вам радоваться!

— Ну вот, — возразила Наталья, — чему у нас гореть-то! Не жалко.

Надя посмотрела на нее. В слабом отблеске дымных праздничных плошек ее веснушчатое лицо и рыжие волосы являлись пламенеющими, и оттого, что ее ноздри трепетали, казалось, что по лицу бежит огонь.

VI

До Опалихи добежали быстро, подгоняемые лихорадочно-радостным волнением.

Еще издали доносился смутный и грозный гул людского множества. Наводил жуткий и сладкий страх. В набегающей с порывами ночного ветра тьме они бежали. С ними, то перегоняя, то отставая, шли, торопились люди. Большие и малые. Мужчины, женщины, дети и старики. Больше молодежь. И все были так же взволнованы, и голоса звучали неровно, и смех поднимался и вдруг затихал.

За поворотом дороги вся долина Опалихи открылась разом, темная, жутко-шумная, тревожная.

Кое-где горели костры, на окраине Опалихи, — и от этого поле казалось еще более темным.

Видны были огни костров и дальше. Но видно было, как они один за другим дымно гаснут в дали дымно-шумного поля. Должно быть, толпа гасила их ногами, топтала грубыми сапогами их внезапные, пламенно-стремящиеся души.

И еще более жуткий, и еще более сладкий страх схватил Удоевых, затрепетал за их дрогнувшими плечами. Но они храбрились.

Шуткиных радовало, что будет давка, беспорядок, смятение, и потом можно будет долго рассказывать любопытные и значительные подробности разных происшествий.

Старший Шуткин смотрел на шумное, темное поле, глупо ухмылялся и говорил с непонятною радостью:

— Беспременно кого-нибудь из слабеньких раздавят. Вот уж вы увидите.

Но не смели Удоевы поверить в близость несчастия и смерти. Это поле, где шумное множество, — и смерть. Не может быть.

— Да уж не без того, что раздавят, — странно-незнакомым голосом сказала одна из сестер Шуткиных.

И кто-то засмеялся грубо и невесело темным в темноте смехом.

— Ну да! — равнодушно сказала Катя.

Стало на минуту скучно. Оттого, что темно. От мгновенных и неверных озарений костров. И стали смотреть и слушать, и пошли вперед, куда-нибудь.

По озаренным кострами лицам, — по большей части очень молодым, — по беззаботным голосам и смеху казалось, что всем очень весело.

По всему полю ходили, стояли, сидели шумные множества людей.

Втягиваясь все более в это смутное многолюдство, Удоевы заразились опять веселостью и бодростью толпы, оставившей привычные людские кровы и стены.

Стало весело. Слишком весело.

Шуткины отошли куда-то и уже не встречались больше. Но зато Удоевы встречали других знакомых. Многих видели. Перекидывались веселыми разговорами. Сходились и опять расходились в толпе.

Шли вперед, а может быть, в сторону, и поле казалось бесконечным. И казалось так занимательно, что попадаются все иные лица.

— Да тут превесело. И не заметишь, как ночь пройдет, — говорила Надя, нервно позевывая и поеживаясь тоненькими плечиками.

И долго шли, останавливаясь, опять шли, путались среди костров, заслушивались чужих разговоров, сами разговаривали совсем с чужими людьми.

Сначала казалось, что идут к какой-то цели, — все ближе к ней, и все было определенно и связно, хотя и тонуло в сладкой жуткости многолюдства.

Потом вдруг все стало отрывочным, потеряло связность, и какие-то клочки ненужных и странных впечатлений зароились вокруг...

VII

Все стало отрывочно и несвязно, и казалось, что предметы, нелепые и ненужные, возникали из ничего. Из глупой и враждебной тьмы возникало неожиданно нелепое.

Посреди поля была когда-то для чего-то вырыта канава. Оставалась она и теперь, ненужная, безобразная, поросшая черною в темноте, колючею травою, — и казалась почему-то страшною и странно-значительною.

Дети подошли к ее краю. Два телеграфиста сидели, свесив ноги в канаву, и разговаривали. Вспоминали знакомых барышень и почему-то произносили, с большим удовольствием, непечатные слова.

Удоевы пошли по краю канавы. Увидели мост через нее, дощатый, с корявыми перилами. Пошли по мосту. Перила казались непрочными, неверными.

Леша сказал опасливо:

— Сюда столкнут, ноги поломаешь.

— А мы подальше уйдем, — сказала Надя.

В темноте голос ее звучал неуверенно и робко. Странно было, что нельзя видеть, как движутся говорящие губы.

И опять шли дальше, среди гулкого множества, переходя из озаренных кострами кругов в кромешную тьму, — и опять поле казалось бесконечным.

— Ну и куда ты идешь? — говорил убеждающим голосом один пьяненький оборвыш другому, — задавят тебя, как клопа постельного.

— Пусть давят, — отвечал его товарищ, — жизни мне разве жалко? Задавят, плакать обо мне будет некому.

Увидели колодец. Он был прикрыт полусгнившими досками. Слабо удивились почему-то.

Пьяненький мужичок, мотая взъерошенною длинною головою, заглядывал в колодец и тянул:

— И-их.

Отбегал от колодца, вскрикивал:

— Маланья!

И опять возвращался к ветхому срубу мелкими падающими шагами пьяного человека.

Поглядели. Посмеялись. Прошли. Долго еще слышали его пьяные вскрики.

— Я нож припас, — хриплым голосом сказал длинный и тощий оборванец.

Его товарищ, такой же оборванный и почти такой же длинный, ответил сладким тенорком:

— И я.

— На всяк случай, — опять послышался хриплый голос первого.

И слышно было, как хихикает другой.

В зыбкой темноте, в нервно-трепетном озарении костров, вдыхая сладковатый дым сырого дерева, шли дети куда-то, Леша вперед, за ним обе сестры.

Притворялись, что не страшно.

Опять поле казалось бесконечным, опять путали костры, а по усталости в ногах думали, что идут уже давно.

— Колесим вокруг да около, — сказал Леша.

И этими словами сказалась общая мысль. Кате стало грустно, а Надя притворно-весело сказала:

— Ничего, дойдем куда надо.

Вдруг Леша упал. Ноги мелькнули вверх, головы не видно. Сестры бросились к нему. Помогли выбраться, — оказалось, что он попал руками и головою в какую-то неожиданную яму.

— Надо подальше от этого места, здесь опасно, — сказала Надя.

Но и потом не раз спотыкались на неровностях почвы.

VIII

— И баре туда же, — послышался возле Удоевых гнусный тенорок.

Не видно было, кто говорит и кто смеется, сочувствуя злым словам.

И поняли дети, что здесь вся толпа насквозь была враждебная, чужая, — непонятная и непонимающая. И там, где горели костры,

были видны лица, которые сердито хмурились, глядя на гимназиста и его сестер.

Эти враждебные взоры смущали детей. Непонятно было, за что вражда? откуда она выросла?

Какие-то чужие люди хмуро, неприветливо смотрели на проходящих мимо детей.

Порою слышались циничные шутки. И так как это было среди громадной толпы и никто не думал заступиться, то детям становилось страшно.

Пьяный мастеровой встал от костра, подошел к детям.

— Мамзель! — воскликнул он. — Со свиданием имею честь проздравить. Очень приятно. И всякое можем удовольствие доставить вам. Желаем поцеловаться.

Он покачнулся. Снял картуз. Облапил Катю. Поцеловал прямо в губы.

Грохочущий хохот раздался в толпе. Катя заплакала.

Леша крикнул что-то, бросился на пьяного и оттолкнул его.

Пьяный свирепо заворчал:

— По какому праву? Толкаться? А ежели я желаю поцеловать? Какое в этом есть неудовольствие?

Сестры схватили Лешу за руки. Быстро увлекли в темноту.

Были очень испуганы. Обида жгла томительно.

Захотелось уйти из этого темного и нечистого места. Но не могли найти дорогу. Опять огни костров путали, ослепляли глаза, являли мрак чернее мрака и делали все непонятным и разорванным.

Скоро костры стали гаснуть. И стало равно темно в воздухе, — и черная ночь приникла к гулкому полю и отяжелела над его шумами и голосами. Оттого, что не спали и были в толпе, казалось, что эта ночь — значительная, единственная и последняя.

IX

Еще не долго побыли, и уже стало противно, тошно, страшно.

В темноте творилась для чего-то ненужная, неуместная и потому поганая жизнь. Беспокровные люди, далекие от своих уютов, опьянялись диким воздухом кромешной ночи.

Они принесли с собою скверную водку и тяжелое пиво, и пили всю ночь, и горланили хрипло-пьяными голосами. Ели вонючие снеди. Пели непристойные песни. Плясали бесстыдно. Хохотали. То там, то здесь слышалась нелепая мышиная возня. Гармоника гнусно визжала.

Пахло везде скверно, и все было противно, темно и страшно.

И уже повсюду голоса раздавались хмельные и хриплые.

Кое-где обнимались мужчины с женщинами. Под одним кустом торчали две пары ног, — и слышался из-под куста прерывистый, противный визг удовлетворяемой страсти.

Кое-где, на немногих свободных местах, собирались кружки. Внутри что-то делалось.

Какие-то противные, грязные мальчишки откалывали казачка.

В другом кружке пьяная безносая баба неистово плясала и бесстыдно махала юбкою, грязною и рваною. Потом запела отвратительным, гнусавым голосом. Слова ее песни были так же бесстыдны, как и ее страшное лицо, как и ее ужасная пляска.

— Зачем у тебя нож? — строго спрашивал кого-то городовой.

— Человек я рабочий, — слышался наглый голос, — струмент захватил по нечайности. Могу и пырнуть.

Хохот раздался.

И вот в этой противной толпе, брошенные в гнусный разгул не в пору разбуженной жизни, шли дети и терялись в многолюдстве. Поле казалось бесконечным, потому что они кружили на небольшом пространстве.

Проходить становилось все труднее, — все теснее делалось вокруг.

Казалось, что встают и встают окрест неведомо откуда взявшиеся люди.

И вдруг вокруг Удоевых сдвинулась толпа. Стало тесно. И сразу показалось, что по земле стелется и ползет к лицу тяжкая духота.

А с темного неба темная и странная струилась прохлада. Хотелось глядеть вверх, на бездонное небо, на прохладные звезды.

Леша привалился к Надину плечу. Мгновенный сон охватил его...

...Летит в синем небе, легкий, как вольная птица...

Толкнул кто-то. Леша проснулся. Сонным голосом сказал:

— А я чуть не заснул. Что-то даже видел во сне.

— Уж ты не спи, — озабоченно сказала Надя, — еще растеряемся в толпе.

— А я бы заснула, — тихо и жалобно сказала Катя.

— Право, как бы не растеряться, — говорила Надя.

Старалась подбодриться. Заговорила живо:

— Лешу поставим в середине.

— Ну да, — сказал Леша вяло.

Он был бледен и странно скучен.

Но сестры поставили его между собою. Развлекались тем, что оберегали его от толчков. Пока толпа не нарушила их порядка, смятенно толкая их во все стороны.

— Мы пришли, теперь бы и раздавать, — послышался странно веселый и равнодушный голос.

И кто-то отвечал:

— Погоди, — ужо утром господа припожалуют, которые к раздаче приставлены.

X

Было тесно и душно, хотелось выбраться из толпы, на простор, вздохнуть всею грудью.

Но не могли выбраться. Запутались в толпе, темной и безликой, — как челнок запутался в тростнике.

Уже нельзя было выбирать дорогу, повернуть по воле туда или сюда. Приходилось влечься вместе с толпою, — и тяжки, и медленны были движения толпы.

Удоевы медленно двигались куда-то. Думали, что идут вперед, потому что все шли туда же. Но потом вдруг толпа тяжко и медленно пятилась. Или медленно влеклась в сторону. И тогда уже совсем непонятно стало, куда надо идти, где цель и где выход.

Завидели близко, немного в стороне, темные стены. К ним почему-то захотелось выбраться. Что-то знакомое, домашнее почудилось в них.

Ничего не сказали друг другу, но стали протискиваться к этим темным стенам.

И скоро стояли около одного из народных театров.

Казалось, что около стены есть что-то знакомое, защитное, — уют какой-то, — и потому не так было страшно.

Темный верх стены подымался, закрывал половину неба, и от этого терялось жуткое впечатление стихийно-безбрежной толпы.

Дети стояли, прижавшись к стене. Робко смотрели на серые, тусклые облики людей, которые колыхались так близко. И жарко было от дыханий близкого множества.

А с неба холодная приникала порывами прохлада, и казалось, что душный земной воздух борется с небесною прохладою.

— Идти бы лучше домой, — жалобно сказала Катя. — Все равно не протолкаться.

— Ничего, подождем, — ответил Леша, стараясь казаться бодрым и веселым.

В это время тяжкое по толпе прошло движение, — точно протискивался кто-то к стене, прямо на детей. Их прижали к стене, — и совсем стало душно и тяжело дышать.

Потом толпа с усилием раздалась, и казалось, что стена дрожит и колеблется, — и из толпы словно вынырнули два очень бледные студента с ношею.

Несли девочку, и она казалась неживою. Бледные руки ее свешивались, как мертвые, и на лице с тесно сжатыми губами и с закрытыми глазами лежала тусклая синева.

В толпе послышался ропщущий говор:

— Слабенькая, а лезет.

— Чего родители смотрят, — пустили какую!

В смущенном переговаривании толпы слышалось желание оправдать что-то недолжное, — и казалось, что эти люди на миг поняли, что не надо им быть здесь и теснить друг друга.

XI

Опять грубо и тяжко задвигалась толпа. Тяжелые толчки мучительно отдавались в теле. Грубые сапоги наступали на легко обутые детские ноги.

Не устоять было у стены. Оттолкали, оттерли. Сдавили тесным кольцом. Опять стало страшно в душном многолюдстве.

Головы детей с усилием подымались вверх, и уста их жадно ловили перемежающиеся струи небесной прохлады, меж тем как груди их задыхались в глухой и непонятной давке.

Не то двигались куда-то, не то стояли. И уже стало непонятно, много ли прошло времени.

Мучительная жажда простора томила детей.

И жажда.

Она медленно, уже давно, подкрадывалась. Вдруг сказалась жалкими словами.

— Пить хочется, — сказал Леша.

И говоря это, он почувствовал, что уже губы его давно сухи и во рту неловко и томительно от сухости.

— Да и мне тоже, — сказала Катя, с усилием двигая запекшимися и побледневшими губами.

Надя молчала. Но по ее побледневшему и вдруг осунувшемуся лицу и по ее сухо горящим глазам было видно, что и ее мучит жажда.

Пить. Хоть глоточек бы воды. Вода, святая, милая, прохладная, свежая.

Но негде было взять воды.

И прохлада с далекого неба становилась все мгновеннее, зыбкая, неверная, — пахнёт в жадно-раскрытые рты и сгорает.

Надя икнула. Легонько дрогнула. Опять икнула, и опять, и опять.

Не удержаться. Такая мучительная в тесноте и духоте икота!

Леша испуганно посмотрел на Надю. Какая она бледная!

— Господи, — сказала Надя, икая. — Какая мука! Охота была идти.

Катя заплакала тихонько. Быстрые мелкие слезинки бегут одна за другою, — и не унять слез, и не отереть, — рук не поднять, так сдавили.

— Что вы толкаетесь! — пищал где-то близко тоненький голосок. — Вы меня давите.

Хриплый, пьяный бас отвечал злобно:

— Что? Я тебя давлю? А тебе такая церемония не нравится? Ну ты меня дави. Тут все равны, черт тебя дери.

— Ай, ай, давят, — завизжал опять тот же тоненький голосок.

— Не визжи, сопляк, — хрипел свирепый бас. — Ужо придешь домой, аль приволокут. А и быть тебе, щенок, без кишок.

Через короткое мгновение тонкий и резкий пронесся визг, без слов, жалобный и жалкий. И в ответ ему свирепый окрик:

— Не визжи.

Потом задавленный тонкий вопль.

Кто-то вскрикнул:

— Младенца задавили! Косточки хрустят. Царица Небесная!

— Косточки, косточки хрустнули! — завизжала баба.

Голос ее слышался близко, но ее за толпою не было видно.

И потом показалось, что она кричит где-то очень далеко. Оттолкали ее от этого места? Или она задохнулась?

Дети были так сдавлены толпою, что трудно было дышать. Переговаривались хриплым шепотом. Не повернуться. С трудом могут посмотреть друг на друга.

И страшно смотреть друг на друга, на милые лица, омраченные свинцовым в тусклом предрассветном сумраке страхом.

Надя продолжала икать, икнула и Катя.

Чувствовалось окрест, во всей этой так страшно и так нелепо сжатой толпе, одно желание мучительное, и потому еще не сознанное, и потому еще более мучительное: освободиться от этих страшных тисков.

Но не было выхода, — и бешенство закипало в безумной толпе, нелепо сдавленной по своей воле в этом широком поле, под этим широким небом.

Люди зверели и со звериною злобою смотрели на детей.

Слышались хриплые, страшные речи. Говорил кто-то близкий и равнодушный, — так странно спокойный, — что уже есть задавленные до смерти.

— Упокойничек-то стоит, так его и сжало, — слышался где-то близко жалобный шепот, — сам весь синий, страшный такой, а голова-то мотается.

— Слышишь, Надя? — спросила шепотом Катя, — вон, говорят, мертвый стоит, задавленный.

— Врут, должно быть, — шепнула Надя, — просто в обмороке.

— А может быть, и правда? — сказал Леша.

И страх слышался в его хриплом голосе.

— Не может быть, — спорила Надя, — мертвый упал бы.

— Да некуда, — отвечал Леша.

Надя замолчала. Опять икота начала мучить ее.

Седая косматая старуха, махая над головою руками, словно плывя, вылезла из толпы прямо на Удоевых. Вопя неистово, она протолкалась мимо них, и было так тесно и тяжело, что казалось, что она проходит насквозь, как гвоздь.

Ее неистовый вопль, ее мучительное появление в бледно-мутной предрассветной мгле были как призрак тяжелого сна. И с этого времени уже все в сознании задыхающихся детей было истомою и бредом.

XII

Наконец после ночи томительной и страшной стало быстро светать.

Быстрая, радостная, детски-веселая, запылала, засмеялась смехами розовых тучек заря. Золотые в мглистой дали вспыхнули блестки. И пока еще земля была темна и сурова, уже небо все полыхало радостью, всемирною радостью вечного торжества. И люди, — что же люди! все еще только люди!..

Между темною, такою грешною, такою обремененною землею и озаренным вновь блаженным небом простерся густой пар от дыханий великого множества людей.

Ночная прохлада, свиваясь в золотые небесные сны, сгорала в легких тучах, в заревых лучах.

А толпа, так странно, так неожиданно озаренная сверху безмятежным заревым смехом, — эта громадная земная толпа насквозь пронизана была злобою и страхом.

Тяжко двигалась, стремясь вперед, — и вновь приходящие из города тупо и злобно теснили стоявших впереди вперед, к сараям с подарками.

Под вечным золотом зари тусклое олово бедных кружек влекло людей в смятение и тесноту.

В истоме и бреду тяжкие, медленные мысли теснились в сознание детей, в темное сознание задыхающихся, и каждая мысль была страхом и тоскою. Жестокая надвигалась погибель. Своя погибель. Погибель милых. И чья больнее?

Словно просыпаясь порою, принимались кричать, и жаловаться, и просить.

Хриплые голоса их слабо взлетали, — раненою птицею с поломанным крылом, — и жалко падали, и тонули в глухом гуле тупой толпы.

Тускло-суровые взоры угрюмых людей были им ответом.

Тоска теснила дыхание, нашептывала злые, безнадежные слова.

И уже не было надежды уйти. Люди были злы. И злы, и слабы. Не могли спасти, не могли спастись.

Мольбы слышались повсюду, вопли, стоны, — напрасные мольбы.

И кого можно было умолить здесь, в этой толпе?

Уже как будто не люди, — казалось задыхающимся детям, что свирепые демоны угрюмо смотрят и беззвучно хохочут из-за людских сползающих, истлевающих личин.

И дьявольский мучительно длился маскарад. И казалось, — не будет ему конца, — не будет конца кипению этого сатанинского котла.

XIII

Стремительно встало солнце, радостно возбужденный, злой Дракон. Пахнуло жарким дыханием Змия. Сжигая последние струи прохлады, возносился злой Дракон.

Толпа всколыхнулась.

Гул голосов пронесся над толпою.

Так отчетливо все стало кругом. Как будто сдернутые невидимою рукою, упали ветхие личины.

Демонская злоба кипела окрест, в истоме и бреду.

Свирепые сатанинские хари виднелись повсюду. Темные рты на тусклых лицах изрыгали грубые слова.

Леша застонал.

Рыжий черт, сверкая сухими глазами, зарычал на него:

— Попал сюда, так и терпи. Мы тебя не звали. Помнись, сволочь сахарная. Начисто кишки выдавим.

Ярый Змий ярил людей.

Казалось, что солнце поднялось стремительно и уже вдруг стало высокое и беспощадное.

И стало так жарко и душно, и такая жажда томила всех.

Кто-то рыдал.

Кто-то молил жалобно:

— Хоть бы водиночку с неба!

Катя икала.

Иногда показывались чьи-то странно и страшно знакомые лица. Как все лица в этой озверелой толпе, и они застыли в своем ужасном преображении.

На них было еще страшнее смотреть, чем на незнакомых, потому что озверение знакомого лица чувствовалось еще больнее.

Леша почувствовал, что кто-то давит на его плечи. Так тяжко вдавливал в землю. В темную, жестокую землю.

Кто-то старался взлезть.

Было несколько остро мучительных минут. Потом на краткий миг облегчение. Потом взлезший наверх наступил сапогом на Лешину голову. Леша услышал тихий Надин вскрик.

Кто-то темный и грузный пошел поверху в сторону, по плечам и головам, и странно колебался в воздухе.

Леша поднял голову, вздохнуть воздухом высокого простора. Но было жарко в высоте.

Небо сияло ясное, торжественное, недостижимо-высокое, нежно усеянное перламутрами перистых облаков на западной половине.

Море торжественного света изливалось от только что поднявшегося солнца. И солнце было новое, яркое, величественное и свирепо-

равнодушное. Равнодушное навсегда. И все его великолепие сверкало над гулом томления и бреда.

Кто-то тяжело топтался на Лешиных ногах.

Катя икала тяжело и мучительно.

— Да перестань! — хрипло крикнул Леша.

Катя захохотала. Смех с икотою был странен и жалок.

И уже над всею шириною поля носился тяжелый, непрерывный гул криков, стонов, визгов.

И тогда настали минуты взаимной бессмысленной злобы.

Люди били друг друга, сколько позволяла теснота. Пинали друг друга ногами. Кусались. Хватали друг друга за горло, душили.

Более слабых затискивали на землю и становились на них.

Крики и стоны, мольбы и проклятия, — все, что слышал Леша, он повторял безжизненным, задушенным голосом, и, как еще две куклы, за ним лепетали то же обе сестры.

XIV

Мольбы и стоны вдруг стали тихи и дремотны.

Настали краткие и странные полчаса затишья, томления, усталости без конца, тихого, жуткого бреда.

Гул бреда носился над толпою, тихий гул, такой придавленный, такой жуткий.

И уже бред был разлит во всем, и у всех трех сквозь дым бреда едва теплилось страшное сознание гибели.

Обе сестры тяжело икали.

— Анделочек Божий! — взвизгнул кто-то близко.

Утренняя дремота полузадавленных в толпе людей прерывалась изредка дикими воплями отчаяния.

И опять становилось тихо, и жуткий гул носился над толпою, не подымаясь в ликующие просторы, к неподвижному злому Змию высот.

Кто-то икал мучительно. Казалось, что это мучительно умирает кто-то.

Леша вслушался и понял, что это икает Надя. Леша с усилием повернул к ней голову. Надины посинелые губы открывались и закры-

вались странным, механическим движением. Глаза не глядели, и лицо приняло тусклый, мертвенный оттенок.

XV

Промчался томный срок затишья. И вдруг буря нелепых гулов и воплей завыла над смятенною толпою. Дикие восклицания бичевали воздух.

По искаженным злобою лицам видно было, что здесь уже не было людей. Дьяволы сорвали свои мгновенные маски и мучительно ликовали.

Несколько человек в толпе в эти минуты вдруг сошли с ума. Они выли, и ревели, и кричали что-то нелепое и ужасное.

Из-под ног людей часто вырывались предсмертные дикие вопли, — там, на земле, повергнутые, сбитые с ног уже не могли подняться.

И эти вопли потрясали души немногих, еще оставшихся людьми в страшной толпе человекообразных дьяволов.

Стояли рядом оборванный хулиган и его подруга, развратная и пьяная. Они смотрели друг на друга и говорили злобные слова. Хулиган странно двигал плечом.

Усилием бешеной злобы освободил руку. В руке сверкнул нож. В ярких лучах солнца таким острым смехом задрожала быстрая сталь.

Нож вонзился в тело блудницы. Завизжала:

— Проклятый!

Захлебнулась своим визгом. Умерла.

Хулиган завопил. Нагнулся к ней. Грыз ее красную, толстую щеку.

— Нас задавили совсем, мы сейчас умрем, — хриплым голосом сказала Катя.

Леша углом глаза глянул на нее, как-то бессмысленно засмеялся и сказал громко и отчетливо:

— Надю задавили. Она холодная.

И крупные по его лицу катились слезы, а бледные губы бессмысленно улыбались.

Катя молчала. Лицо ее стало синеть, и глаза потухали.

Леша задыхался.

Его ноги ступили на что-то мягкое. Резкая вонь поднималась с земли. Что-то, тяжело хрипя, ворочалось внизу.

— Воняет! — говорил сзади Леши странно-равнодушный голос. — Бабу свалили, живот ей выдавили.

Посинелое Катино лицо странно, безжизненно поникло.

Леше стало вдруг холодно.

XVI

— Шесть часов, — сказал кто-то.

По голосу было слышно, что говорит дюжий, спокойный человек, которому не страшно в толпе.

— Четыре часа еще ждать, — ответил ему робкий, задыхающийся шепот.

— Чего ждать? — злобно рявкнул кто-то гулким голосом.

— Помрем все начисто, — спокойно и тихо ответил женский глубокий голос.

Кто-то отчаянно завопил срывающимся полудетским криком:

— Братцы, да неужто нам еще эстольки времени давиться!

Взбудораженный гул метнулся по полю, как шумная стая пугливых, чернокрылых птиц. Метнулся, завыл, колыхнул. И навстречу ему метнулась толпа.

— Пора, братцы! — орал чей-то визгливый голос. — Не зевай, черти лешие все себе заберут.

— Иди, иди! — гудело кругом.

Стремительно и тяжко двигалась уже вся толпа.

А на Лешу неподвижные смотрели склоненные лица сестер, холодных и тяжелых на его плечах.

Разбившиеся волосы милых щекотали Лешины бледные щеки.

Ноги не переступали. Толпа несла всех трех — и Лешу, и сестер.

— Раздают! — закричал кто-то.

Видно было, и, казалось, недалеко, как летели в воздухе какие-то пестрые узелки.

— На шарап! — угрюмо хрипел измученный, тощий мужик.

— Чего стали, идите! — неистово кричали задние передним.

— Наших не пускают, анафемы вперед лезут, а мы стой, годи! — свирепо орал кто-то.

И со всех сторон неслись бешеные крики:

— Братцы, вали напролом!

— Да что на него, лешего, смотреть, — за горло его хватай да под ноги!

— Вали вперед, чего смотреть!

— Не дают, сами возьмем!

— О-ой, раздавили!

— Батюшки, кишки вон лезут!

— Подавись своими кишками, сволочь треклятая!

— Режь ее, стерву астраханскую!

— Давай, не задерживай! — ревел впереди свирепый голос.

XVII

Везде вокруг свирепые грозили, отчаянные лица.

Тяжелый поток. И все та же злоба...

Нож разрезал платье. И тело.

Завыла. Умерла.

Так страшно.

Безжизненно смотрят на него странно посинелые лица милых...

Кто-то хохочет. О чем?..

Близок конец. Вот уже стены сараев...

В поднятой высоко руке дюжего парня тускло светилась в золотом солнечном свете кружка. И рука была странно и ненатурально воздвигнута к небу, как живой шест.

Кто-то метнулся вверх головой. Выбил кружку, — так слабо держала ее посинелая от натуги рука.

Кружка падала медленно, грузно, описывая дугу. Скользнула по чьей-то спине.

Дюжий парень скверно выругался.

Он был красный, потный, и белки его глаз, вытаращенных от натуги, казались крупными.

Нагнулся за кружкой с большим усилием. Видно было, как двигаются его локти.

Вдруг он поник, глухо крикнул.

Кто-то повалился на его нагнутую спину. Повалился и закричал. Барахтаясь, пополз вперед по спине упавшего. Еще кто-то сзади навалился на обоих животом. Все трое осели. Послышались глухие вопли. Верхний поднялся и казался очень высоким. Толпа слилась над поверженными, и по ее грузному оседанию можно было заметить, как приникали к земле двое задавленных.

Дюжий мужик с покрасневшим до багровой синевы лицом, двигая локтями и плечами, высвободил правую руку и протянул ее вперед. Его сдавили. Рука странно моталась на чужом плече, красная возле красного платка.

Баба в красном платке повернулась, вцепилась зубами в руку дюжего мужика. Непонятна была ее злость.

Свирепо вопя, мужик вырвал руку. Отчаянно заработал локтями. Казалось, что он растет.

Его выперли вверх. Упал на чьи-то головы, и злобные под ним загудели голоса. Встал коленями на чьи-то плечи. Опять упал.

Падая, вставая, опять падая, становясь на четвереньки, он пробирался вперед, и толпа была под ним сплошною, неровною мостовою, тяжко движущимся глетчером.

И уже многие выталкивались локтями вверх.

Видно было несколько человек, неловко бегущих по плечам и головам к крышам буфетов.

И уже многие взбирались на крыши.

XVIII

Две бабы сцепились. Молча, угрюмо. Одна залезла пальцами в рот другой и рвала ей рот. Видна была кровь. Послышался отчаянный визг.

Резались ножами, чтобы проложить дорогу, и убитых толкали под ноги. Иногда убийца падал на убитого, и оба никли под ногами множества свирепых дьяволов.

Многие упали в овраг. На них валились другие. В короткое время овраг был завален тяжко вопящими, мучительно умирающими людьми. И дьяволы топтали их ногами, обутыми в тяжелые сапоги.

Рыжий парень перед Лешею давно уже лез вверх, отчаянно работая локтями, напирая на плечи соседей. Он кричал что-то невнятное и хрипло хохотал.

Сначала непонятно было, чего он хочет и что с ним делается. Вдруг он начал быстро подниматься и на короткое время закрыл перед Лешиными глазами все, что было впереди.

Нелепые крики его падали в тупую толпу сверху острыми, свистящими бичами, и странно было слушать нисходящий, казалось, с неба гнусный голос. И тогда слова его стали ясными.

И слова его были — кощунство, и хула, и скверная брань.

Потом он вдруг обрушился куда-то и ударил каблуком Лешу в лоб.

Но сейчас же начал подниматься. Стал на четвереньки. Вцепился в русую косу полузадавленной девушки. Встал на чьи-то плечи.

Он был красный, рыжий, хохотал, неровно шел вперед, по плечам и головам ступая без разбора тяжелыми сапогами.

Похожий на дьявола, медленно шел он над сжатою, тяжко ревущею толпою и скрывался вдали.

И опять казалось Леше, сквозь страшное томление, и тошноту, и багровый туман в глазах, что кто-то громадный, головою до неба, — и еще выше, — человек, или дьявол, или человек-дьявол, идет по головам умирающих в задыхающейся толпе людей и вержет на них страшные богохульства.

Толпа впереди продавливалась в узкие проходы между деревянными шалашами. Оттуда слышались вопли, визги, стоны. Мелькали шапки и клочки одежды, почему-то взлетавшие наверх.

Чья-то русая голова несколько раз стукнулась об острый угол балагана, поникла, пронеслась порывом вперед и вдруг исчезла.

Казалось, что между балаганами теснятся все более и более высокие люди. Странно было видеть головы наравне с крышею балагана. Шли по телам поверженных.

Из-за балаганов доносился торжествующий рев победителей. Мелькали какие-то пестрые лохмотья, — что-то перекидывалось по воздуху.

И вот Лешу и сестер втолкали в один из проходов между балаганами.

Здесь было нестерпимо тесно, — Леше казалось, что все его кости сломаны. И страшно отяготели на его плечах изломанные тела сестер.

Но кончился узкий проход.

За балаганом стало просторно, светло, радостно.

— Сейчас умру, — подумал Леша и счастливо засмеялся.

На мгновение Леша увидел чье-то красное, радостное лицо и человека, потрясавшего узелком над головою.

И упал.

Обе сестры свалились на него. Наполовину прикрыли его своими измятыми телами.

Леша еще слышал, как по нем бежали, дробно переступая по спине. Тяжко во всем теле отдавались свирепые удары дьявольских ног.

Чей-то каблук ступил на затылок.

Мгновенное было ощущение тошноты.

Смерть.

Смерть по объявлению

Резанов чувствовал себя таким слабым, усталым, увядающим. К вечному успокоению все чаще клонились мысли. Казалось, что слаще нет отдыха, как на дощатом ложе, в сосновой домовине.

И захотелось вдруг развлечения не по установленной программе.

Сидел в своей тихой комнате один.

Читал объявления в «Новом времени» очень внимательно. Искал чего-то. Сравнивал и выбирал.

Его бледное, начинающее увядать лицо являло признаки смущения и нерешительности. В задумчивости взял карандаш. Поставил его острием на абажур лампы.

Дрожала рука. Стучало острие карандаша. Усмехнулся. Подумал: «Старею».

Опять опустил глаза, — когда-то вечно веселые, теперь устало-равнодушные, — на газетные листы склонил внимательные и спокойные взоры.

Наконец выбрал одно объявление.

Какая-то интеллигентная молодая дама, красивая и воспитанная, находясь в крайней нужде, просила добрых людей одолжить ей пятьдесят рублей; согласна была на все условия. Просила писать в семнадцатое почтовое отделение до востребования, предъявительнице квитанции за № 205824.

Резанов вынул из коробки лист желтоватой, шероховатой бумаги с неровными краями, с водяными знаками Margarette Mill.

Усмехаясь невесело, писал:

Милостивая Государыня,

я дам Вам деньги, которых Вы просите, но не в долг и не даром, а за работу, о которой сейчас Вам напишу Напишу по необходимости вкратце, — в письме многого не скажешь. Но так как, по Вашим словам, Вы — дама интеллигентная, то Вы, может быть, поймете, что именно от Вас потребуется Вы должны явиться мне в образе моей смерти, — чем более привлекательной, тем лучше, — и сообразно с этим вести себя Если Вы сумете разнообразить достаточно эту веселую игру, то Ваш заработок может быть и впредь достаточен для Вашего пропитания. Согласны ли Вы? Не страшно ли Вам? Понимаете ли Вы, что от Вас требуется? Если согласны, и не боитесь, и понимаете, то напишите, когда и где я могу Вас в первый раз встретить Для меня самое удобное время — после пяти вечера Пишите в Главный почтамт предъявителю трех рублей № 384384. Письмо возьму в четверг

Трехрублевка, новенькая, пошловато-красивого образца 1905 года, хрустела неприятно, как накрахмаленное платье полоротой причастницы. Цифры 384 повторялись дважды. Совпадение казалось странным и знаменательным.

Подумал: «А если?»

Бледно улыбнулся.

«Ну и пусть».

Не подписал. Запечатал. Сам отнес и бросил в почтовый ящик, — чтобы не забыли до утра, чтобы дошло скорее.

Потом вернулся и думал, какая она придет.

Тощая, уродливая, с побуревшим от бедности и страданий лицом, с желтыми зубами, с жидкими рыжеватыми космами волос под истасканною на дожде и ветре шляпою, где жалко и смешно трепыхаются перо и бант?

Или молоденькая, застенчивая, тихая, с тонкими пальцами швеи, исколотыми иглою, с бледным, точно восковым личиком, с большим, милым ртом?

Или пьяною придет проституткою, накрашенная, разбитная, с визгливым голосом и грубыми ухватками?

Или провинциальная вульгарная дама в невероятном костюме, с невозможными манерами, с немытою шеею, — брошенная мужем и еще никуда не пристроившаяся?

Какая же она будет, моя смерть? Моя смерть!

Или в темном встретит переходе, и не увижу ее, и только в холодную опущу руку мое бедное золото?

В четверг пошел в Почтамт. Летний день в столице был пылен, жарок и шумен. Там и здесь чинили мостовые, красили дома, — и так неприятно пахло. И все же было весело, привычно, и вывески знакомых ресторанов глядели празднично-нарядно.

Не торопился. Пил пиво у Лейнера. Никого не встретил знакомых. Да и кого теперь встретить? Разве случайно.

Было близко время к четырем, когда прошел сквозь узкие, отворенные двери в новый, под стеклянною крышею, зал Почтамта. Вспомнил старый, заплеванный закоулок, где прежде выдавали письма до востребования. Теперь и чиновники заботятся о миловидности.

Остановился у будочки с бумагою и конвертами. Вертящаяся витрина показала ему все виды приторной пошлости на открытках, как на подбор.

— Покупают? — спросил он продавщицу.

Смазливая девица со скучающим лицом обидчиво дернулась жирными плечами.

— Вам что угодно? — спросила она враждебным тоном. — Конверты, бумага, открытые письма.

Взглянул на нее пристально. Заметил кудерьки на лбу, фарфоровый цвет лица, синие зрачки. Сказал:

— Да ничего не надо.

И прошел дальше.

Прямо против входа за средним двойным окном большой квадратной загородки сидели три девицы, разбиравшие письма. Снаружи стояли получатели. Толстая дама с бородавкою на носу спрашивала письмо на имя Руслан-Звонаревой.

— Ваша фамилия Звонарева? — спросила почтовая барышня с лицом цвета пшеничной булки и отошла вглубь к шкапу с письмами.

— Руслан-Звонарева, — испуганным полушепотом говорила ей вслед дама с бородавкою.

И, когда почтовая пшеничная девица вернулась с пачкою писем к окошку, дама с бородавкою повторила:

— У меня двойная фамилия, Руслан-Звонарева.

Рядом с нею стоял рыжий господин с котелком в руке и беспокойными глазами смотрел на письма, которые перебирала вторая почтовая девица, самая красивая из трех и очень гордая этим. Господин, по всем признакам, ждал письма «чувствительного и фривольного», и волновался, и был некрасив и жалок.

Третья девица, пухлая, румяная, с лицом широким и коротким, с опущенною на лоб широкою занавескою густых каштанового цвета волос, смеялась чему-то своему. Все обращалась к двум другим, — и те улыбались, — и смеялась, и говорила какие-то отрывочные слова о чем-то забавном.

Резанов молча протянул ей свою трехрублевку. Смотрел на девиц. Думал, что они молоды, здоровы, миловидны. Так их подобрало почтовое начальство, заботящееся о приличном виде своих учреждений.

Вспомнил недавнюю газетную полемику между почт-директором и какою-то просительницею, которая не получила места на почте потому, что была тощая, некрасивая, вялая от робости, и бедности, и недоедания и старая, — целых тридцать два года.

Закрыл глаза, — встало чье-то бледное, испитое, испуганное лицо с широко открытыми глазами, с дергающимися нервно и робко губами. Кто-то шепнул, так ясно и тихо:

— Нечем жить.

Кто-то ответил, тихо и спокойно:

— Не живи.

Резанов открыл глаза. Ненавидящим взором смотрел на пухлолицую девицу, которая искала письмо на его номер, выкидывая из пачки на стол одно за другим открытки и закрытые письма. И все смеялась. Так противно, надоедливо.

Наконец протянула письмо в узком штемпельном конверте. Перебросила остальные письма.

— Больше нет.

— И не надо, — досадливо сказал Резанов.

Отошел в сторону, сел на скамью у колонны. Разорвал конверт. Торопился, но был спокоен.

Крупные и узкие буквы, тонкие черты, ровный и спокойный почерк, неожиданно красивый.

Милостивый Государь,

я согласна. Я не боюсь. Я понимаю Четверг, шестой час Михайловский сад, аллея направо от входа Белое платье В правой руке Ваше письмо в конверте.

Ваша Смерть

Сторож звонил. Зал пустел. Резанов поехал в «Вену». Пообедал. Пил вино. Торопился.

Приехал в сад в половине шестого.

Она стояла недалеко от входа, на краю аллеи, под деревом. Ее платье белело на темной зелени тихого сада.

Тонкая, бледная, очень тихая и спокойная. Внимательно смотрела на него, когда он подходил к ней. Глаза серые, спокойные. Ничего не выдавали. Только внимательные. В лице, совсем некрасивом, выражение ясности и покорности. Губы большого рта улыбались мило и печально.

— Милая смерть, — сказал он тихо.

Стал перед нею. Странно волнуясь, протянул ей руку.

Она молчала. Переложила его письмо в левую руку. Пожала его руку тонкою, холодною, тихою рукою.

Он спросил ее:

— Ты долго ждала меня?

Она ответила, медленно произнося слово за словом, голосом ясным, безжизненно-ровным, смертельно-спокойным:

— Ты меня не ждал. Ты думал, что встретишь не меня.

И казалось, что холодом повеяло от нее. И так тихи, так недвижны были складки ее белого платья. Ее простая соломенная шляпа с белою лентою, надетая высоко, кидала желтую тень на ее покойное лицо. Стоя перед Резановым, она слегка склонилась и провела концом своего легкого зонтика тонкую черту на песке, слева направо, между ним и ею.

Спросил:

— Это — правда, что ты согласна быть моею смертью?

И такой же был тихий ответ:

— Я — твоя смерть.

Спросил опять, чувствуя холод в теле:

— Разве ты не боишься исполнять такую мрачную роль?

Сказала:

— Смерть боится живых и не показывается им так прямо. Ты, может быть, первый, кто увидел мое лицо, земное, человеческое лицо твоей смерти.

Сказал:

— Ты ведешь свою роль очень быстро и слишком добросовестно. Скажи мне, как тебя зовут?

Улыбнулась печально и кротко. Сказала:

— Я — твоя смерть, белая, тихая, безмятежная. Торопись дышать земным воздухом, — часы твои сочтены.

Нахмурился. Сказал:

— Ты интеллигентная дама, ты находишься в затруднительном положении и просишь денег. Что довело тебя до такой крайности, что ты согласна на все условия? И даже на то, чтобы играть в такую страшную игру.

Ответила:

— Я голодна, больна, устала и печальна.

Засмеялся. Сказал:

— Прежде всего отдохни. Что ты стоишь? Сядь на скамейку.

Прошли несколько шагов. Сели. Она чертила на песке запутанный узор.

Сказал:

— Ты голодна, — мы поедем, — хочешь? — куда-нибудь, и я накормлю тебя. Я дам тебе денег, сколько ты просила. Скажи, не надо ли тебе еще что-нибудь от меня?

Сказала:

— Я возьму от тебя все, что ты можешь дать, — твое золото и твою душу.

Он вздрогнул. Засмеялся. Сказал:

— Ты хорошо играешь свою роль.

Ответила:

— Я пришла. Мой час настанет скоро. Я жду.

Он вынул кошелек.

В среднем маленьком отделении за стальною застежкою лежали заранее приготовленные пять золотых монет. Вынул их.

Она протянула молча свою узкую бледную руку, — такую тихую и спокойную, — открытою ладонью вверх. Легкие линии чертили ясный и простой узор на ее белой, недвижно-раскрытой ладони.

Пять золотых монет, тихо звякнув звучным звоном одна о другую, легли на холодную, не дрогнувшую ладонь. Неспешно сомкнулась рука, тонкие пальцы, длинные, белые, сжались, — и неторопливо опустилась рука с деньгами в скрытый сбоку прорез белой юбки.

И он думал:

— Мое бедное золото, — мой последний дар, — скудный заработок поденщика, — малая плата за безмерный труд, — тебе, моя милая.

Думал ли только? сказал ли вслух? Так ясно звучали эти слова! Такою печалью стеснилась грудь!

И, грустная, смотрела на него она сбоку серыми внимательными глазами и улыбалась. Потом склонилась, и тихо шуршал на песке конец ее зонтика.

И шептала:

— Взяла твое золото, — возьму твою душу. Отдал мне золото, — отдашь мне душу.

Сказал он тихо:

— Взяла мое золото, потому что я дал тебе его. Но как возьмешь ты мою душу? И где ты ее возьмешь?

И сказала она:

— Приду к тебе в мой час и возьму твою душу. И отдашь мне ты свою душу. Отдашь, потому что я — твоя смерть, и ты не уйдешь от меня никуда.

Тоска томила его. Он сказал резким голосом, побеждая тоску и страх:

— Ты живешь в комнате от хозяев, ты ищешь места или работы, тебя зовут Марьей или Анной. Как тебя зовут?

И крикнул с дикою злобою:

— Скажи, как тебя зовут!

Повторила бесстрастно:

— Я — твоя смерть.

Такие безнадежные и беспощадные упали слова. Дрогнул. Поник. Спросил упавшим голосом:

— Тебе нужно мое золото, — потому что ты голодная и усталая, — но душа моя, зачем тебе душа моя?

Ответила:

— На твое золото я куплю хлеба и вина, и буду есть и пить, и накормлю моих голодных смертенышей. А потом душу твою выну и возьму ее бережно, положу ее себе на плечи, и опущусь с нею в темный чертог, где обитает невидимый мой и твой владыка, и отдам ему твою душу. И сок твоей души выжмет он в глубокую чашу, куда и мои канут тихие слезы, — и соком твоей души, смешанным с тихими моими слезами, на полночные брызнет он звезды.

Тихо, неспешно, слово за словом, звучала странная речь, как формула темного заклятия.

И кто шел мимо, и какие звучали окрест голоса, и какие проносились, гремя по внешней мостовой, за оградою экипажи, и был ли

быстрый легконогий бег, и детский смех, и лепет, — все скрыто было за магическою пеленою медлительной речи. И как за тающим дымом ладана таился, затаился звучащий, пестрый, весело вечереющий день.

И была тоска, и усталость, и равнодушие. Тихо сказал:

— Если и до звезд вознесется трепет моей души и в далеких мирах зажжет неутоляемую жажду и восторг бытия, — мне-то что? Истлевая, истлею здесь, в страшной могиле, куда меня зароют зачем-то равнодушные люди. Что же мне в красноречии твоих обещаний, что мне? что мне? скажи.

Сказала, улыбаясь кротко:

— Во блаженном успении вечный покой.

Повторил тихо:

— Вечный покой. И это — утешение?

— Утешаю, чем могу, — сказала она, улыбаясь все тою же неподвижною, кроткою улыбкою.

Тогда он встал и пошел к выходу из сада. За собою слышал он ее легкие шаги.

Долго шел он по городским улицам, — и она шла за ним. Иногда он ускорял шаги, чтобы уйти от нее, — и она шла скорее, торопилась, бежала, приподнимая тонкими пальцами край белого платья. Когда он останавливался, она стояла поодаль, рассматривая выставленные в магазинных окнах предметы. Иногда он досадливо оборачивался и шел прямо на нее, — тогда она торопливо перебегала на другую сторону улицы или пряталась в подъездах или под воротами.

И следила за ним серыми, спокойными, внимательными глазами. Неотступно следила.

«Сяду на извозчика», — подумал он.

Удивился, почему такая простая мысль раньше не пришла ему в голову.

Но едва он заговорил с извозчиком, она приблизилась. Стояла совсем близко и веяла на него холодом и печалью. И улыбалась.

Подумал досадливо: «Она сядет со мною. От нее не уйти, не уехать».

Извозчик спрашивал шесть гривен.

— Тридцать копеек, — сказал Резанов и быстро пошел прочь.

Извозчик ругался.

Резанов поднялся в третий этаж. Остановился у дверей своей квартиры. Позвонил. Все время слышал шорох тихих поднимающихся по лестнице шагов. Второй раз позвонил нетерпеливо. Холод страха пробежал по спине. Хотелось войти в квартиру раньше, чем она поднимется, раньше, чем она увидит, в какую он вошел дверь, — на площадке было четыре двери.

Но уже она поднималась. Уже близко, в полусвете лестницы, забелелось ее платье. И ее серые глаза внимательно и близко смотрели в его испуганные глаза, когда он, входя в квартиру, последний раз глянул на лестницу, поспешно закрывая за собою дверь.

Сам замкнул дверь на ключ. Так резко звякнул замок. Потом остановился в полутемной передней. Смотрел на дверь тоскующими глазами. Чувствовал, — точно видел сквозь опрозрачнившуюся вдруг дверь, — как она стоит за дверью, тихая, с кроткою улыбкою на милых губах, и поднимает ясное, бледное лицо, чтобы прочесть и запомнить номер квартиры.

Потом тихие послышались шаги вниз по лестнице.

Резанов вошел в свой кабинет.

— Она ушла, — словно сказал кто-то ясным голосом.

И другой словно послышался в ответ ему голос, безнадежно-спокойный:

— Она придет.

Он ждал. Все темнее становилось. Томила тоска. Мысли были неясны и спутаны. Голова кружилась. По телу пробегал озноб и жар.

Думал: «Что она делает? Купила еды, пришла домой, голодных своих смертенышей кормит. Так и назвала их, — смертеныши. Сколько их? Какие они? Такие же тихонькие, как и она, моя милая смерть? Исхудалые от недоедания, беленькие, боязливые. И некрасивые, и с такими же внимательными глазами, такие же милые, как она, моя милая, моя белая смерть.

Кормит своих смертенышей. Потом спать уложит. Потом сюда придет. Зачем?»

И вдруг любопытство зажглось в нем.

Придет, конечно. Иначе зачем проследила его до дому. Но зачем придет? Как она понимает свою задачу, эта странная дама, готовая за деньги на все условия, и даже на то, чтобы по смертям ходить?

А может быть, она и не женщина, а настоящая смерть? И придет, и вынет его душу из этого грешного и слабого тела?

Лег на диван. Укрылся пледом. Весь сотрясался в приступах жестокой и сладкой лихорадки.

Какие странные приходят в голову мысли! Она — умная и добросовестная. Взяла деньги, и хочет их заработать, и хорошо играет подсказанную ей роль.

Отчего же она такая холодная?

Да оттого, что — она бедная, голодная, усталая, больная.

Устала от работы. Так много ей работы.

Я косила целый день,
Я устала. Я больна

Ходит, ищет, голодная, больная. Бедные смертеныши ждут, голодные ртишки разевают.

И вспомнил ее лицо, — земное, человеческое лицо моей смерти.

Такое знакомое лицо. Родные черты.

В памяти, черта за чертою, все яснее вставало ее лицо, — знакомые, родные, милые черты.

Кто же она, моя белая смерть? Не сестра ли моя?

Тяжело мне, — я больна
Помоги мне, милый брат

И если она — моя вечная Сестра, моя белая смерть, — то что мне до того, что она здесь, в этом воплощении, пришла ко мне в образе ищущей по объявлениям, живущей в комнате от хозяев!

Я вложил в ее руку мое бедное золото, мой скудный дар, — звонкое золото, в холодеющую руку. И взяла мое золото остывающею

рукою, и возьмет мою душу. Снесет меня под темные своды, — и откроется лик Владыки, — Мой вечный лик, и Владыка — Я. Я воззвал мою душу к жизни, и смерти моей велел идти ко мне, идти за мною.

И ждал.

Была ночь. Тихо звякнул колокольчик. Никто не слышал. Резанов поспешно откинул плед. Прошел в переднюю, стараясь не шуметь.

Так резко зазвенел замок. Дверь открылась, — на пороге стояла она.

Он ступил назад, в темноту передней. Спросил, словно удивляясь:

— Это — ты?

И она сказала:

— Я пришла. Это мой час. Пора.

Он замкнул за нею дверь и пошел к себе по неосвещенным комнатам. Слышал за собою легкий шорох ее ног.

И в темноте его покоя она прильнула к нему и поцеловала его целованием нежным и невинным.

— Кто же ты? — спросил он.

Сказала:

— Ты звал меня, и я пришла. Я не боюсь, и ты не бойся. Я дам тебе последнюю усладу жизни, — поцелуй смерти, — «и будет смерть твоя легка и слаще яда».

Спросил:

— А ты?

Ответила:

— Я сказала тебе, что сойду с твоею душою тем единственным путем, который перед нами.

— А твои смертеныши?

— Я послала их вперед, чтобы они шли перед нами и открывали нам двери.

— Как же ты вынешь мою душу? — спросил он опять.

И она прижалась к нему нежно и шептала:

— «Стилет остер и сладко ранит».

И прильнула, и целовала, и ласкала. И точно ужалила, — уколола в затылок отравленным стилетом. Сладкий огонь вихрем промчался по жилам, — и уже мертвый лежал в ее объятиях.

И вторым уколом отравленного острия она умертвила себя и упала мертвая на его труп.

Белая собака

Так все опостыло в этой мастерской губернского захолустного города, — эти выкройки, и стук машинок, и капризы заказчиц, — в этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицею. Все раздражало Александру Ивановну, ко всем она придиралась, бранила безответных учениц, напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, потом вежливым голоском и так спокойно, что все, кроме Александры Ивановны, засмеялись, сказала:

— Вы, Александра Ивановна, сущая собака.

Александра Ивановна обиделась.

— Сама ты собака! — крикнула она Танечке.

Танечка сидела и шила. Отрывалась время от времени от работы и говорила спокойно и неторопливо:

— Завсегда лаетесь... Собака вы и есть... У вас и морда собачья... И уши собачьи... И хвост трепаный... Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака, пес Барбос.

Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такою тихонькою, одета была как девочка-ученица, сидела босая, и глазки у нее были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими дужками на ровно-изогнутом, беленьком лбу под гладко причесанными темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, вкрадчивый, — и если бы слушать только

звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне.

Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну, — а Александра Ивановна сидела багровая от ярости.

— Дрянь, — вскрикивала она, — я тебя за уши выдеру! Я тебе все волосья повытаскаю!

Танечка отвечала нежным голосом:

— Лапки коротенькие... Барбос лается и кусается... Намордничек надо купить.

Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но, прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка, грузная, широкая, шумя складками лилового платья. Строго сказала:

— Александра Ивановна, что это вы скандалите!

Александра Ивановна взволнованным голосом заговорила:

— Ирина Петровна, что же это такое! Запретите ей меня собакою называть!

Танечка жаловалась:

— Излаяла ни за что ни про что. Всегда по пустякам ко мне придерется и лается.

Но хозяйка посмотрела строго и на нее и сказала:

— Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли и начинаешь? Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила, по старой памяти.

Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид. Смиренно сказала хозяйке:

— Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие, слова им не скажи, сейчас — я тебя за уши. Такая же мастерица, ни как и я, а уж я им из девчонок вышла.

— Давно ли, Танечка? — спросила хозяйка внушительно, подошла к Танечке, — и в затихшей мастерской послышались две звонкие пощечины и Танечкин слабый вскрик:

— Ах! ах!

Почти больная от злости вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.

«Ну собака и пусть собака, — думала Александра Ивановна, — а ей-то что за дело? ведь я не разведываю, кто она, змея или там лисица, что ли, — и не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Татьяна, и дело с концом. Обо всех можно узнать, а только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?»

Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась, ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкою, пустынною степью, родиною диких, рыскающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там.

И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло.

Начала было раздеваться, да что! все равно не уснуть.

Пошла из дверей. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног.

Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела, черная в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась, старая, и казалось, что греется в лунных, холодных лучах.

Александра Ивановна села рядом с нею, на ступеньки крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой, загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.

«Ворона?» — подумала Александра Ивановна.

Улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг невидны, и она опять сделалась молодою, веселою и легкою, как десять лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани.

Она подвинулась поближе к старухе и ласково сказала:

— Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?

Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами и резким старческим голосом спросила, точно каркнула:

— Ну что, красавица? Спрашивай.

Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка и говорила очень тихо:

— Бабушка Степанида, сдается мне, — правда ли это, нет ли? — уж не знаю, как и сказать, — да вы, бабушка, не обидьтесь, — я ведь не со зла...

— Ну, ну, говори, не бойся, милая, — сказала старуха.

Глядела на Александру Ивановну яркими, зоркими глазами. Ждала. И опять заговорила Александра Ивановна:

— Сдается мне, бабушка, — уж вы, право, не обидьтесь, — что будто бы вы, бабушка, ворона.

Старуха отвернулась и молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась, и казалось порою Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние, ветхие слова. Чародейные слова...

Было тихо на дворе, ни светло, ни темно, и все вокруг казалось завороженным беззвучным шептанием древних, вещих слов. Все томилось и млело, и луна сияла, и тоска опять сжимала сердце, и было все ни сон ни явь. Тысячи запахов, незаметных днем, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках.

Еле слышно бормотала старая:

— Ворона и есть. Только крыльев у меня нету. И я каркаю, и я каркаю, а им и горя мало. А мне дадено предвиденье, и не могу я, красавица, не каркать, да людишки-то и слушать меня не хотят. А я как увижу обреченного, так и хочется мне каркать, и хочется.

Старуха вдруг широко взмахнула руками и резким голосом крикнула дважды:

— Кар, кар!

Александра Ивановна дрогнула. Спросила:

— Бабушка, кому каркаешь?

Ответила старая:

— Тебе, красавица, тебе.

Жутко стало сидеть со старухою. Александра Ивановна ушла к себе. Села под открытым окном. Слушала, — за воротами сидели двое и говорили.

— Воет и воет, — слышался низкий и злой голос.

— А ты, дядя, видел? — спросил сладенький тенорок.

Александра Ивановна сразу по этому тенорку представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, — здешний, с этого же двора.

Прошла минута тусклого молчания. И вдруг послышался сиплый и злой голос:

— Видел. Большая. Белая. У бани лежит и на луну воет.

Опять представила по голосу черную бороду лопатою, низкий плоеный лоб, свиные глазки, расставленные толстые ноги.

— Чего же она воет, дядя? — спросил сладкий.

И опять не сразу ответил сиплый:

— Не к добру... И откуда взялась, не знаю.

— А ежели, дядя, она — оборотень? — спрашивал сладкий.

— А не оборачивайся, — ответил сиплый.

Непонятно было, что значили эти слова, — но не хотелось думать о них. И уже не хотелось прислушиваться к ним. И что же ей звук и смысл людских слов!

Луна смотрела прямо в лицо, и настойчиво звала, и томила. И тусклою сжималось сердце тоскою, — и не усидеть было на месте.

Александра Ивановна поспешно разделась. Нагая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь, — на крыльце и на дворе никого не было, — пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило. Но скоро тело угрелось.

Легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях, подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне и протяжно завыла.

— Слышь, дядя, завыла, — сказал у ворот кудреватый.

Сладенький тенорок трусливо дрожал.

— Завыла, проклятая, — неторопливо отозвался сиплый и злой.

Встали со скамьи. Щелкнула щеколда у калитки.

Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади. Выглядывал из-за плеча.

За банею лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к ворожащей в холодном небе луне, задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом и неверном озарении луны она казалась огромною, — такою огромною, каких и не бывает на свете собак, — толстою и жирною. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женскою распущенною косою. Хвоста не было видно, — должно быть, он был подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по-собачьи голая женщина.

Чернобородый прицелился. Кудреватый закрестился и забормотал что-то.

Гулко прокатился удар выстрела. Собака завизжала, вскочила на задние ноги, прокинулась голою женщиною и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя.

Чернобородый и кудреватый повалились в траву и в диком ужасе завыли.

Мудрые девы

В украшенном цветами и светлыми тканями покое Девы ждали Жениха. Их было десять, они были юны и прекрасны, и были среди них Мудрые девы, и были Неразумные.

Вечер отгорел и погас, как погасает в небе каждый вечер. Дыхание темно-синего холода простерлось над землею, и далекие, вечные

звезды начали свой медленный хоровод. Девы приготовили все, что надо было для брачного пира, и сели за стол. Одно место среди них было пусто, — то было место для Жениха, которого ждали, но которого еще не было здесь.

Десять светильников горели перед Девами. На белой скатерти стола стояли сосуды с вином и хлебы.

Тихи были голоса беседующих Дев. Черная ночь молчала в саду за окнами украшенного брачного чертога, — а издали доносились откуда-то веселые песни, смех, музыка, шумные восклицания. Там, недалеко от дома, где ждали Девы Жениха, веселились и пировали Девушки, юные Женщины и праздные Молодые люди, — и всем им не было никакого дела ни до Жениха, приходящего во тьме и тайне, ни до Невесты, таинственно зажигающей высокий свой светоч. Они, беспечные, плясали, и пели, и смеялись, и славили сладостные очарования буйной жизни. В их песнях говорилось о том, что жизнь дается каждому только один раз, что юность пролетает быстро и что надо торопиться вкусить ее восторги и услады, пока еще кровь горит избытком стремительных сил.

Тихо беседовали Девы:

— Теперь уже скоро придет Жених.

— Да, мы скоро дождемся его.

— Как они там шумят!

— Как безумны их песни!

— Как грубо звучит в ночной тишине их хохот!

— Жениху будет неприятен этот шум.

— Жених добрый, — он не осудит.

— Он уже скоро придет.

— Не он ли это вошел в сад?

— Не он ли стоит у порога?

— Не он ли заглянул к нам в окно?

— Не пойти ли нам к нему навстречу?

— Нет, в саду пусто и тихо.

— У дверей нет никого.

— Только черная ночь смотрит к нам в окна.

Длилась ночь. Ждали Девы. Беседовали тихо. Все громче и веселее становились голоса пирующих. Жених не приходил.

— Его все еще нет, — говорили опечаленные Девы.

— Он придет в полночь, — говорили они, утешая сами себя.

— Будем ждать.

— Как долго!

— Как скучно!

— Не надо роптать на Жениха.

— Он придет.

— Надо ждать, — он утешит нас.

— Как долго ждать! Уже и полночь прошла.

Стали роптать Неразумные девы. Они говорили:

— Мы здесь сидим и ждем, а он забыл о нас.

— Может быть, и не придет.

— Может быть, он пирует с другими.

— Зачем же мы ждем его, глупые?

— Как весело там!

— Не смешно ли, что мы сидим здесь, за накрытым столом, а сами не пьем, не едим, и не радуемся, и ждем Жениха, который не приходит, хотя уже прошли назначенные сроки!

— Не пойти ли нам туда, где так весело?

— Подождите, — говорили Мудрые девы. — Жених придет.

— Он стукнет в дверь, станет на порог, посмотрит на нас благостными очами, — и тогда начнется у нас веселье, более светлое и радостное, чем то, которому вы завидуете.

Но уже не захотели Неразумные девы ждать дальше. Они говорили:

— Мы пойдем туда, где весело. Идите и вы с нами. Если Жених не пришел вовремя, то он может сходить за нами и туда, где мы будем. Можно оставить ему на столе записку.

И взяли Неразумные девы свои светильники, и ушли, — шесть Неразумных дев. Остались четыре Мудрые девы. Они сели близко одна к другой, и тихо беседовали о Женихе и о тайне, и ждали.

Но Жених не пришел. Тишина и печаль томились и вздыхали в украшенном брачном покое, где Мудрые девы проливали тихие слезы, сидя

за столом, перед догорающими светильниками, перед нетронутым вином и неначатым хлебом. Дремотные смежались порою очи, и грезился Мудрым девам Жених, стоящий на пороге. Радостные, вставали они со своих мест и простирали руки, — но не было Жениха с ними, и никто не стоял на пороге.

Догорели светильники, побелели окна, птичьими щебетаниями засмеялся утренний сад, — и поняли Мудрые девы, что Жених не придет. Они склонились над столом и плакали долго. Чем ярче пылала заря, тем бледнее становились их щеки.

Тогда сказала мудрейшая из Дев:

— Сестры, сестры! вот уйдем мы домой и потом станем вспоминать эту ночь. И что же мы вспомним? Мы ждали долго, — и Жених не пришел. Но, сестры, и Неразумные девы, если бы они были с нами в эту ночь, не то ли же самое сохранили бы воспоминание? На что же нам мудрость наша? Неужели мудрость наша над морем случайного бывания не может восставить светлого мира, созданного дерзающею волею нашею? Жениха нет ныне с нами, — потому ли, что он не приходил к нам, потому ли, что, побыв с нами довольно, он ушел от нас?

Радостны стали Мудрые девы и перестали плакать. Они налили вино в свои чаши, и разломили хлеб, и ели, и пили, и веселились. И говорили они:

— Жених ушел от нас рано.

— Краткое время побыл с нами Жених, — но сердца наши утешены и кратким его пребыванием с нами.

— Жених ушел, но он — наш возлюбленный Жених.

— Он любит нас.

— Он оставил нам золотые венцы на головах наших.

Окончив свою радостную трапезу, встали Мудрые девы из-за стола. На пороге брачного чертога остановились они все четыре, обнимая одна другую, и простерли с прощальным приветом свои руки вслед уходящему Жениху. Глаза их были полны слез, и лица их были бледны, и губы их улыбались печально.

В это время окончился шумный пир, и шесть Неразумных дев возвращались домой. Остановясь у порога, где стояли Мудрые девы, Неразумные смеялись, дразнили Мудрых и спрашивали:

— Дождались Жениха?

— Весел был ваш пир с Женихом?

— Что же вы теперь одни, и Жениха не видно с вами?

Мудрые девы ответили им кротко:

— Жених ушел.

— Мы его провожали.

— Вот уже белый хитон его мелькнул в последний раз из-за деревьев и не виден больше.

— В ту сторону, где восходит солнце, ушел Жених.

Не верили им Неразумные девы, громко смеялись и говорили:

— Вам стыдно сознаться, что Жених не пришел к вам.

— Чем вы докажете, что он был с вами?

— Покажите нам его подарки.

Мудрые девы отвечали:

— Он подарил нам золотые венцы.

— Он сам надел их на наши головы.

— Разве вы не видите, как сияет золото наших венцов над нашими головами?

Неразумные девы, — пять из них, — смеялись и говорили:

— Никаких нет венцов на ваших головах.

— Вы сами себя уличаете вашею выдумкою.

— Должно быть, во сне видели вы, как приходил к вам Жених.

— Напрасно вы проскучали всю долгую ночь, — идти бы вам лучше было за нами.

И ушли от порога пять Неразумных дев, издеваясь над Мудрыми девами и всячески понося их. Одна же из них осталась у порога. Она упала к ногам Мудрых дев, покрытым холодною утреннею росою, и целовала ноги Мудрых дев, и плакала горько, и говорила:

— Счастливые, счастливые Мудрые девы! Как завиден ваш высокий удел! С вами пировал Жених, которого не увидели мои очи и очи моих безумных подруг. На ваши мудрые головы он своими руками надел золотые венцы, светло сияющие, как четыре великие солнца. На ваших руках — святыня его прикосновений, на ваших губах — благоухание его поцелуев. О я Неразумная! О я несчастная! Уме-

реть бы мне у ваших ног, лобзая ступени, по которым к вам восходил Жених!

Мудрые девы подняли свою прозревшую в этот ранний час сестру, и целовали ее, и утешали нежно. Они говорили ей:

— Милая сестра, ты увидела на головах наших венцы, которых не могли увидеть Неразумные девы.

— Мудростью и ведением тайны наделил тебя Жених.

— Венец, который был на голове Жениха, он оставил нам для той, которая придет от неразумия к мудрости.

Коснулись Мудрые девы нежными пальцами ее головы и сняли с нее поблекшие цветы буйного веселья. Говорили:

— Вот мы надели на тебя, милая сестра, золотой венец.

— Как ярко сверкает твой венец в лучах восходящего солнца!

— Возлюбленный Жених, подаривший тебе этот блистающий венец, и сам придет к тебе, когда настанет время.

Одна за другою, по высокой лестнице брачного чертога и по дорогам сада, ступая на те места, которых касались ноги Жениха, шли пять Мудрых дев, увенчанные золотыми венцами, сияющими, как великие светила. С глазами, полными слез, и с сердцами, объятыми пламенем печали и восторга, шли они возвестить миру мудрость и тайну.

Очарование печали

Сентиментальная новелла

Сначала все совсем так же, как и в старой сказке.

Молодая, прекрасная, кроткая королева скончалась. Оставила дочь, столь же прекрасную. Король Теобальд через несколько лет взял новую жену, красивую, но злую. Себе — красивую жену. Дочери — злую мачеху.

Новая королева, красавица Мариана, притворялась, что любит свою падчерицу, прекрасную королевну Ариану. Она обращалась с нею ласково и кротко, тая в злом сердце кипучую злобу. Злоба ее

распалялась тем, что королевна Ариана была так прекрасна, как бывают прекрасны юные деушки только в сказках и в глазах влюбленных и соперниц.

Выросла королевна Ариана, и далеко разнеслась молва и слава о дивной ее красоте, и приезжали к ней свататься многие королевичи и принцы, влюбленные в нее по рассказам путешественников и поэтов и по ее портретам, и, посмотрев на нее, влюблялись еще больше. Но ни одному из них не отдала прекрасная Ариана своей любви, ни на кого не смотрела с выражением большей благосклонности, чем та, которая подобала каждому высокому гостю по его достоинству и по заветам гостеприимства. И распалялась злоба злой мачехи.

Многие рыцари и поэты той страны, и многих иных стран, и даже пришедшие издалека, привлеченные шумною молвою и славою о прелестях королевны Арианы, томились, и вздыхали о ней, и мечтали, безнадежно влюбленные, слагали ей песни, и носили ее цвета, черный и алый, и шептали ей робкие признания, — но никого из них не полюбила прекрасная Ариана, и на всех равно благосклонно смотрели ее отуманенные печалью глаза. И разгоралась лютая злоба злой мачехи, и решила Мариана погубить свою падчерицу.

Все совсем так, как и в сказке.

Говорила Мариана верной служанке, Бертраде, оставшись с нею наедине в своем покое:

— Я — прекрасна, но Ариана — прекраснее меня, и не понимаю почему. Щеки мои румяны, как и у нее; черные глаза мои блистают, как и у нее; губы мои алы и улыбаются так же нежно, как и у нее; все черты моего лица так же хороши, как и у нее, и даже красивее; и волосы мои черны и густы, как и у нее, и даже немного длиннее и гуще. Я высока и стройна, как и Ариана; у меня такая же высокая грудь, как и у нее, и тело мое так же бело, и кожа моя так же нежна, как у Арианы, и даже нежнее и белее, потому что я не хожу к бедным под жгучими лучами солнца, и под дождем, и под вьюгою, и не отдаю своего плаща встречному старому нищему, и своих башма-

ков бедному оборванному ребенку, и не улыбаюсь в грязных избах, и не плачу о нищих дома, как Ариана. И она все-таки прекраснее меня.

— Ты прекраснее королевны Арианы, милостивая госпожа, — сказала коварная, хитрая Бертрада, — только глупые юноши и поэты восхищены добротою королевны и умильно-печальную улыбку ее принимают за очаровательное явление красоты. Но разве поэты и юноши понимают что-нибудь в красоте!

Но не поверила Мариана, и тосковала, и плакала. И говорила:

— Извела бы ее, ненавистную. Но какое мне в том утешение? Память о красоте ее пережила бы ее, и люди говорили бы, что вот прекрасна королева Мариана, но покойная королевна Ариана была прекраснее ее. И во много раз увеличила бы несправедливая молва людская прелести ненавистной девчонки.

Тогда Бертрада, склонясь к госпоже своей, сказала ей тихо:

— Есть мудрые и вещие люди, которые знают многое. Может быть, найдутся чародеи или чародейки, которые сумеют перевести красоту королевны Арианы на тебя, милая госпожа.

Так говоря, Бертрада думала о матери своей, старой ведьме Хильде, которая жила уединенно, чтобы никто при дворе короля не знал, что мать Бертрады — колдунья.

Со злою надеждою посмотрела королева на Бертраду и спросила:

— Не знаешь ли ты таких?

— Поищу, милая госпожа, — ответила лукавая служанка, — я так верна тебе, что для тебя готова и в ад спуститься, и заложить душу свою тому, кто зарится на этот ценный товар.

Злая королева дала Бертраде денег и многие подарки, — злое сердце верило другому, столь же злому и коварному сердцу.

Прекрасная королева Мариана вышла в сад высокого королевского замка. Замок стоял за городом, на краю плоской горы, и далеко простершаяся внизу долина представляла взорам королевы очаровательный вид. На минуту невольно залюбовалась Мариана туманно синеющими далями полей, замкнутых далекою оградою леса, — и мирным течением реки, плавно уносящей на своих волнах и богато

изукрашенные галеры, и утлые челноки, — и кудрявыми дымами деревень, таких красивых отсюда, сверху, где не видна грязь неряшливых, смрадных улиц.

Но вдруг вспомнила королева, что Ариана стоит на башне, высоко над садом, дворцом и над нею, гордою Марианою, стоит, подставляя прекрасное, печальное лицо лобзаниям вольного ветра и золотого солнца, и смотрит на безмерные дали, с которых веет на нее печаль полей и деревень, — стоит, и смотрит, и плачет, может быть. И потемнели королевины прекрасные очи, и завистливою злобою исказилось ее лицо.

Вот увидела королева влюбленного в Ариану принца Альберта, одного из самых упорных искателей руки и любви молодой королевны. Третий раз возвращался Альберт ко двору короля Теобальда и каждый раз жил все дольше и дольше. Но не склонялась на его мольбы прекрасная Ариана. Теперь принц Альберт стоял в тени дуба, выросшего над краем мрачного обрыва, и смотрел, не отрываясь, вверх.

Королева подняла глаза по направлению его взора и увидела Ариану.

На высокой башне, опершись рукою о ее сложенный из громадных камней парапет, стояла Ариана и смотрела вдаль, вся облитая горячим светом пламенеющего в небе светила. Ветер взвевал легкое покрывало на плечах королевны, и печальны были устремленные вдаль взоры.

Королева Мариана стояла и насмешливо смотрела то на Ариану, то на Альберта. Наконец влюбленный принц заметил присутствие королевы. Он прервал милое ему созерцание весьма неохотно, но ничто в его наружности и обращении не выдало того, как неприятно было ему отвести глаза от милого образа, как тягостно было ему заговорить и нарушить этим полное восторгов и очарований молчание внизу, в зеленеющем саду, так сближавшее его с молчанием и печалью там, на высоте надменной башни, где стояла Ариана.

— Как настойчивы и неутомимы влюбленные! — говорила королева, когда принц Альберт, склонясь перед нею, целовал ее руку. —

Милый Альберт, вы готовы стоять целыми днями, любуясь на прекраснейшую из земных дев.

— Прекраснейшую после вас, милая Мариана, — отвечал Альберт.

Льстил ей, чтобы снискать ее расположение. Так всегда нежна была по видимому королева со своею падчерицею, — и казалось влюбленному принцу, что счастие молодой королевны заботит сердце мачехи. Льстил ей, чтобы замолвила за него ласковое слово у королевны.

Улыбнулась Мариана и не поверила ему.

Вспомнила, как очарован был, в первый свой приезд, ее красотою принц Альберт. Пока не увидел юной Арианы. И перед девственною красотою Арианы в его глазах померкла красота королевы.

Так бывало и с другими. Не раз.

— Что делает там Ариана? — спросила королева, улыбаясь. — Моя милая дочь любит подниматься на эту башню и стоит там подолгу. У меня бы голова закружилась. И ветер такой надоедливый. И что она там делает!

— Ариана любит восходить на высоту, — ответил влюбленный принц, — на высоту, где открываются широкие горизонты, где смолкают случайные шумы, — на высоту, с которой равно малыми и ничтожными кажутся и надменные чертоги, и лачуги бедняков. И от широких далей, и от высокого неба веет на Ариану очарование печали. И она сходит к нам, как высокое явление красоты, и очарование печали на ее лице.

— Очарование печали, — тихо повторила королева.

И продолжал влюбленный принц Альберт:

— Нет красоты без очарования. Даруя человеку прекрасное лицо и прекрасное тело, природа точно облекает его неживою личиною, но, как в гробе, спит живая красота в теле и в лице, способных к проявлению красоты и даже по видимому прекрасных, — спит до тех пор, пока не придет неведомая очаровательница и не разбудит спящей красоты, одарив ее каждый раз новым очарованием.

Замолчал Альберт, словно смущенный чем-то.

Кончая его мысль, сказала королева:

— Так, милый Альберт, блистательнейшая в мире красота ничто, если она лишена какого-то неведомого очарования.

— Да, — сказал влюбленный принц.

Омрачилось лицо королевы тоскою и гневом. И сказала королева Мариана:

— Я — прекраснейшая из жен, но вам, милый Альберт, неведома тайна моего очарования.

Отошла от него. Он опять поднял глаза на высокую башню, где все еще стояла Ариана, не замечая ни мачехи, ни влюбленного принца.

«Обвеянная очарованием печали, стоит она там, — думала королева. — В знойный полдень, когда все замирает под жгучими взорами небесного Змия, она одна стоит на высокой башне и у безмолвного, ясного неба просит таинственных очарований. Поднимусь к ней, посмотрю, как она там колдует и ворожит, подслушаю чародейные слова, журчащим потоком текущие с ее алых губ».

И стала королева Мариана медленно подниматься по лестнице, ведущей на высокую башню.

Долго шла вверх. Уставала, садилась отдыхать и опять поднималась, преодолевая упрямство крутых ступеней. И уже была близка к вершине башни, когда увидела королевну Ариану сходящею вниз.

Увидела и удивилась.

Прекрасно и печально было лицо Арианы, как всегда, и кротко улыбались ее милые губы, как всегда, но наряд ее был необычен. Как простая девушка той страны в рабочий день одета была Ариана. Белая грубая ткань облегала ее стройный стан, оставляя открытыми загорелые на ветру и на солнце плечи и руки. Пестрая из грубой домашней материи юбка была коротка. На прекрасных ногах Арианы не было обуви. У ее пояса висел мешок с деньгами, и в руках держала она тяжелую корзину с вещами, назначенными для раздачи бедным.

— Милая Ариана, — спросила королева, — зачем ты надела на себя эту некрасивую, грубую одежду? Если ты идешь раздавать милостыню бедным, следуя своему обычаю, — хотя это могли бы сде-

лать твои служанки, — но пусть так, иди сама, — но ведь ты изранишь о песок и о камни свои нежные ноги.

Ариана ответила:

— Прости, милая мама. Я не могу не идти к ним, хотя и знаю, что не могу помочь им ничем. Что же эти деньги и эти вещи! Всего, что я могу дать, так мало для них! И все, что у меня есть, так для меня много! И тяжело мне стало идти к ним и дразнить их завистливые взоры моим пышным королевским убором. Как нищая, буду приходить к ним, — да и разве я не нищая, если не могу дать так много, как хотела бы!

— Иди, — сказала Мариана, — куда хочешь и как хочешь. Упрямая ты, и напрасно бы я тебе запрещала. Иди, красавица, но будь осторожна.

И, когда Ариана спускалась по лестнице, Мариана шептала:

— В лесу найдется ветка, достаточно сухая, чтобы выколоть тебе глаз. В деревне найдется собака, достаточно злая, чтобы укусить тебя за щеку и изуродовать тебя. Где-нибудь на дороге найдется шаткая доска и камень, — о доску споткнешься и упадешь, о камень сломаешь себе переносицу.

Поднялась злая Мариана наверх башни и смотрела вниз.

Когда Ариана вышла в сад, в то место, где против двери из башни была калитка в наружной стене замка, к ней подошел влюбленный принц Альберт.

— Милая Ариана, — сказал он, — позвольте мне идти за вами.

Она улыбнулась и сказала ему:

— Милый Альберт, мой путь — не ваш путь. Ваш путь лежит к мужественным подвигам, к победам и славе, к торжеству и к радости. Мой путь — к печали и немощи, к деяниям, всегда недостаточным, всегда ничтожным.

— Милая Ариана, — отвечал Альберт, — я пойду не с вами, а только за вами и не помешаю вам ни лишним словом, ни лишним взором.

— Как нищая, я иду к нищим, — сказала Ариана, — только для того, чтобы хоть один тоскующий почувствовал, что он не совсем

одинок в этом жестоком мире. Зачем же вам, милый Альберт, идти за мною?

— Милая Ариана, — настаивал влюбленный принц, — позвольте мне идти за вами. Я буду охранять вас от дикого зверя и от злой встречи.

— Пречистая Богородица закроет меня своею ризою нетленною от всякого злого человека, — сказала Ариана. — Но, милый Альберт, если вы так непременно хотите и если вы не стыдитесь идти за бедною девушкою, образ которой я приняла, то идите со мною.

— Как вы милостивы, Ариана! — воскликнул влюбленный принц, склоняя колени перед Арианою, — позвольте мне поцеловать ваши милые ноги.

Ариана, улыбаясь, подняла влюбленного принца и сказала ему:

— Милый Альберт, поцелуйте меня лучше в губы, как вашу сестру.

И поцеловала его сама. Холоден и бесстрастен был ее поцелуй, — но сладким восторгом наполнил он сердце влюбленного принца и очарованием печали. Вместе вышли они из ограды замка и спустились по крутой тропинке в долину, где много было рассеяно бедных деревень у подножия надменного чертога и богатого города.

Королева Мариана смотрела на них сверху, и злоба кипела в ее злом сердце.

Когда Альберт и Ариана скрылись за калиткою сада, Мариана постояла еще немного, с недоумением всматриваясь во все то, на что каждый день так долго смотрела Ариана. Скоро стало ей скучно. Кроме того, неприятно было постоянное завывание и бешенство ветра, и томило солнце, грубый и злой змей, обжигающий кожу. Мариана сошла вниз, в привычную ей обстановку богато украшенных покоев.

Притворяться нежною матерью!

О, как завидовала Мариана простым людям, которые не приучены притворяться! Те мачехи, простые бабы, бьют своих падчериц смертным боем. И никто не заступается за бедных девочек.

Но что можно сделать с королевскою дочерью?

Мариана затворилась в своих покоях и целый день томилась и плакала от досады и зависти. В зеркало смотреться принималась много

раз, — и каждый раз зеркало показывало ей прекрасное лицо, но каждый раз завистливое сердце говорило Мариане, что Ариана еще прекраснее.

Когда уже стемнело, королева вышла из своих покоев и, как тень неприкаянная, блуждала по залам и пустынным переходам дворца, хоронясь от людей, чтобы никто не смог по ее мрачному лицу прочесть ее черных дум.

И воскликнула вдруг королева, обращаясь к сгущавшемуся в углах пустынной залы сумраку:

— Тоскую и плачу, и никто мудрый и вещий не придет и не спросит, отчего я тоскую.

Видно, сказаны были эти слова в такой миг, когда подстерегающая стояла близко и слушала чутко. Известно ведь, — в какой час слово молвится!

Серея в серых сумерках, шелестя серыми одеждами и едва слышно шурша истоптанными, серыми от пыли башмаками, выдвинулась из угла старая безобразная колдунья Хильда. Беззвучно смеясь и хрипло покашливая, подошла она к Мариане. А королева стояла неподвижно, испуганная внезапным появлением, но в глубине ее злого сердца шевелилась надежда, что старуха — ведьма и поможет ей погубить падчерицыну красоту.

Молчала королева, и старая Хильда заговорила:

— Мудрый и вещий не спросит. Он и так знает. Знаю и я, чем опечалена ты, прекрасная королева. Воздух населен духами, которые подслушивают и тайные мысли.

Молчала Мариана. И говорила Хильда:

— Прекрасна королева Мариана, а королевна Ариана еще прекраснее. Но королева Мариана хочет быть прекраснее всех жен, живущих на свете.

Молчала Мариана. И говорила Хильда:

— На все есть средства: от полыни гибнут русалки, осина и мак страшны ведьмам и упырям. Есть заговоры и заклинания, — и чего ими не сделаешь! Очарованием печали красна красота Арианы. Из глубины болот восходит высокая красота. Чего ты хочешь, королева

Мариана: перевести ли мне на тебя очарование печали с твоей падчерицы? или погубить ее красоту?

— Зачем мне очарование печали! — воскликнула Мариана. — Я не хочу печали, ее и так у меня много. Я хочу радоваться и смеяться.

— Как хочешь, милостивая госпожа, — сказала ведьма Хильда, — тогда погубим ее красоту тайными чарами. Но только дело это трудное и опасное, — высокие духи оберегают королевну Ариану, и как бы наши волхвования не обратились тебе во зло, госпожа!

— Я ничего не боюсь, — угрюмо сказала прекрасная Мариана, — делай, что умеешь, — и если успеешь, я наделю тебя щедро многими дарами.

Начались в тайне королевина покоя многие волхвования против королевны Арианы, и все безуспешные.

Каждый вечер приходила старая колдунья Хильда к королеве. Заговорила она вынутый ею на тропинке из замка в долину отпечаток обнаженной стопы Арианы, — и тогда жестокими болями всю ночь мучилась юная королевна, но когда она встала утром, перенесенные ею страдания сделали еще сильнее разлитое в ее лице очарование печали.

Другой раз заговорила ведьма прядь волос, отрезанных королевою у Арианы, и похудела Ариана, тонкою стала, как белая березка, — но стала еще краше.

— Духа печали испугай радостью и смехом, — сказала однажды Хильда, — и отлетит очарование печали от прекрасного лица Арианы, когда простодушно-звонким зальется она смехом, искажающим черты лица и уродливо растягивающим рот, привыкший только к печальной улыбке.

Мариана пошла с поспешностью к королю и сказала ему:

— Милая дочь наша Ариана грустит и печалится, хотя нет у нее никакой причины для скорби. Великою жалостью к Ариане болит мое сердце. Боюсь, что зачахнет от печали и умрет преждевременно Ариана. Надо развеселить ее и приучить ее к беззаботному смеху и веселью.

— Хорошо ты придумала, — сказал Теобальд, — девушка без смеха, что дерево без листьев. Я позабочусь об этом.

Со всей той страны собраны были самые искусные забавники и забавницы, шуты, скоморохи, сказочники, плясуны и плясуньи, фокусники, вожаки дрессированных медведей и обезьян, изобретатели смешных механических игрушек, комедианты, клоуны, акробаты и акробатки. Каждый день подолгу давали они свои разнообразные представления, — то на дворе, где с высокого балкона смотрели на них король, королева и юная Ариана, а на галереях и внизу теснились нарядные толпы придворных, вельмож, рыцарей и знатных горожан, — то в одной из обширных зал дворца, где для тех же зрителей отведены были места по их достоинству и знатности. Громко хохотали все зрители, глядя на забавные проделки увеселителей, и только юная Ариана улыбалась печально и смеялась так тихо и грустно, что казалось, вот-вот она заплачет.

Фокусник из далекой страны показал волшебство, еще невиданное и неслыханное.

На одной из стен зрительного зала натянул он полотно. Потом велел занавесить окна и погасить все огни. Сам же забрался на галерею против натянутого полотна, установил там фонарь потайной в некоем темном ящике и громко сказал собравшимся:

— Смотрите на полотно.

И начал деять чары, и на полотне открылись далекие страны, и, как живые, задвигались люди и животные, не виданные в королевстве Теобальда. Сначала ужас объял зрителей, особенно когда кудесник показал им диковинные превращения. Но потом забавные сцены вызвали громкий смех зрителей. Только Ариана проливала тихие слезы.

Спросила ее королева Мариана:

— Милая дочь моя, отчего ты не смеешься, когда вокруг тебя такой громкий хохот, который и мертвеца заразил бы веселостью?

Ариана ответила мачехе:

— Как я могу смеяться над тем, чему смеются люди! Чему они смеются? что их забавляет? Обманы, побои, воровство, погоня, злость. Тяжело и смотреть на их забавы. И вот я вижу, — смеются они, а почти у каждого в сердце есть горе или злоба.

Покраснела при этих словах Мариана.

Ариана же продолжала:

— И чародей, ожививший перед нами полотно, заставивший толпу плакать, ужасаться и смеяться, владеющий дивными тайнами познания, радостен ли он? Душа его омрачена многими печалями, и знаю, сожгут его за чародейство. И мудрейший из людей, поэт, слагающий песни о любви и о тайне, влачит на своих плечах тяжкий груз несчастливой жизни, и душа его мрачна, как подземная темница.

Молча оставила ее Мариана. А наутро чародея-кинематографщика сожгли.

Самое сильное волхвование было, когда Хильда сделала из воска фигуру человека и с обрядом, кощунственно повторявшим таинство крещения, нарекла ее Арианою.

— Что сделаешь с этим человеком из воска, — сказала старая, — то и с Арианою случится.

Мариана вынула из своей косы золотую иглу и, повторяя за колдуньею слова заклинания:

— Как здесь Ариана восковая в моих руках красоту теряет, так бы и там Ариана живая красоту потеряла, — провела острым концом иглы по восковой щеке и намеревалась еще и еще много сделать знаков на воске, чтобы изуродовать лицо Арианы, как вдруг выронила из рук иглу и вскрикнула от внезапной острой боли в лице. Капли крови упали на ее руки, и в зеркало увидела она рану на щеке своей.

Смущенная ведьма бормотала:

— Ворожила на Ариану, сталось на Мариане. Оберегающий Ариану дух вложил, должно быть, в твои уста твое имя вместо имени Арианы. Ничего не сделать с нею чарами воска, — оставь эту восковую, чтобы тебе самой не было большого горя.

Чародейства, и заговоры, и нашептывания по ветру, и наговоры на воде — ничто не приводило к цели, и хотя много страдала Ариана от злых чар, но становилась все прекраснее.

И наконец сказала ведьма:

— Не сгубить нам красоты юной королевны. Заклятие печали, наложенное на нее, сильнее всех чар, какие есть на земле.

— Что же нам делать? — спросила королева Мариана.

— Одно осталось, последнее средство, — сказала Хильда, — перевести на тебя, королева, с Арианы очарование печали.

Крепко задумалась королева, и долго думала, и наконец сказала:

— Хорошо, пусть будет по-твоему, старая ведьма. Пусть Ариана будет смеяться и веселиться, пусть я буду тосковать и печалиться, как она теперь, — только бы мне быть красивее Арианы.

Хильда хрипло засмеялась, показывая желтые, кривые зубы, и сказала:

— Она-то уж не будет смеяться. Ее очарование перевести на тебя можно только в час ее скорой кончины.

— Да я не хочу ее смерти, — притворно-испуганным голосом сказала Мариана.

Старая ведьма смеялась и повторяла:

— Иначе нельзя. Да ты ничего не бойся. Я так сделаю, что никто не узнает.

И наконец Мариана согласилась.

Тогда ведьма вытащила из-за пазухи белый платок, отдала его королеве и сказала:

— В этом платке — большая сила. Только с ним надо обходиться осторожно. Когда королевна станет умирать, закрой ее лицо этим платком, чтобы капли ее пота в него впитались, и этим платком оботри свое лицо. И тогда обаяние, которым прекрасна была юная королевна, перейдет к тебе.

Ведьма рассказала королеве, когда и как она погубит Ариану, и ушла, богатые унося с собою опять дары.

На другой день, когда Ариана поднялась на башню, Мариана пришла и стала внизу башни, рядом с влюбленным принцем. Говорила с ним, и мешала ему смотреть на Ариану, и ждала.

В это время старая Хильда поднялась на башню. Стала на колени, чтобы не видел ее никто из-за высокого парапета, и смиренно поползла к Ариане, шепча слова благодарности.

— Встань, старая, — сказала Ариана, — зачем ты ползаешь на коленях?

— Милая королевна, — говорила старая ведьма, — ты вымолила у короля помилование моему сыну, которого немилостивые судьи присудили повесить только за то, что злые разбойники напоили его вином и заманили в свою шайку. Дай мне поцеловать твои ноги, добрая, милостивая, прекрасная королевна.

Ариана за многих просила у короля, хотя и не всегда успешно; случалось ей, хоть и не часто, вымаливать помилование и присужденным к смертной казни. Припоминала, кто бы мог быть тот, за кого благодарит старуха, стояла спокойно, и хотя было противно, что старая ведьма целует ее ноги, но не мешала; знала Ариана, что рабам приятно пресмыкаться, и целовать ноги господ, и этим, в самом унижении, утверждать свою личность.

Старуха вдруг охватила колени Арианы, головою толкнула ее к парапету, быстро подняла ее ноги и опрокинула ее через парапет. Взвеяли в воздухе легкие одежды, — и старая ведьма метнулась вниз, серым клубом скатилась по лестнице и спряталась где-то, шепча заговоры.

Так быстро это случилось, что Ариана не успела приготовиться к защите, как уже почувствовала, что падает, вращаясь в воздухе.

«Я умираю», — коротко и ясно подумала она, и не было в ней ни удивления, ни испуга. Ударилась о выступ кровли спиною и не почувствовала боли. Опять ударилась головою о выступ башни и опять не почувствовала боли. Третий раз ударилась о ветку старого дерева, — и считала ушибы, и не чувствовала боли. Время казалось ей нескончаемо длинным, так что вся жизнь припомнилась в эту короткую минуту.

Древний и мудрый дух, обитающий в старом дереве, простер навстречу падающей королевне свои руки, обратившиеся вдруг в ветви дерева. Бережно и нежно принимали ветви Ариану, стараясь не касаться ее тела, а только придерживать за платье. Замедляя падение Арианы, каждая ветка осторожно качала ее и передавала вниз, на следующую. И последняя ветвь медленно опускала Ариану, пока ее ноги не коснулись земли, — и потом выпрямилась и бросила Ариану на руки подбежавших к этому месту Марианы и Альберта.

С воплями притворной горести опустила на землю Мариана неподвижное тело падчерицы, открыла ее грудь, вынула из-за своего низ-

ко вырезанного корсажа флакон с мертвою водою, которую вчера дала ей Хильда, и этою водою облила грудь Арианы, повторяя:

— Милое дитя мое, открой свои ненаглядные глазки, понюхай этого спирта, который так хорошо помогал мне при обмороках.

Положила руку на грудь Арианы, — слабо билось и замирало сердце королевны. Тогда Мариана вынула из-за корсажа чародейный платок, раскрыла его широко и вытерла им лицо Арианы.

И отшатнулась, и бросилась бежать, сжимая в руке чародейный платок и громкими воплями разнося повсюду смятение и страх.

Альберт склонился над Арианою, — и едва узнал ее. Отлетело очарование печали, губы утратили кроткую улыбку, глаза были безвыразительно-крепко сомкнуты, как у слепорожденной, и все лицо было равнодушною, мертвою, восковою личиною красоты.

К телу бездыханной Арианы сбежались все, кто был в замке. Слуги плакали над ласковою госпожою, лекари долго осматривали прекрасное тело и решили, что Ариана умерла. Суровою скорбью омрачилось лицо короля Теобальда. Королева Мариана заперлась в своей спальне, и оттуда далеко были слышны ее громкие рыдания.

Не видимый никем, кроме влюбленного принца, подошел к Альберту дух старого дерева в образе маленького старика с веселыми глазами. Сказал:

— Не тоскуй, Альберт. Ариана не умерла. Она обрызгана мертвою водою и сохранится целою и невредимою, пока не брызнут на нее живою водою.

— Где же эта живая вода? — с радостною надеждою спросил Альберт. — Я пойду за нею хоть на край света и возьму ее, хоть бы пришлось за нее биться со всеми чудовищами и великанами.

— Я дам тебе живую воду, Альберт, — сказал старик, — но поклянись мне, что ты не воспользуешься ею, пока не придет время.

Альберт поклялся, и старик передал ему флакон с красною жидкостью.

— Когда же настанет время? — спросил Альберт.

— Об этом скажет тебе Мариана, — промолвил старик и исчез.

Положили Ариану в хрустальный гроб, отнесли ее в королевский склеп, повесили там гроб на золотых цепях. Как живая лежала в гробу Ариана.

Как только Мариана пришла к себе с платком, которым вытерла лицо умирающей падчерицы, она замкнула двери и набросила на свое лицо чародейный платок.

Острые мечи печали пронзили ее сердце, и она упала на пол и завопила от нестерпимой тоски. Долго рыдала, и колотилась головою о пол, и не могла утешиться. Все, что она ни вспоминала, окрашивалось перед нею в цвета печали, в цвета Арианы, черный и алый.

Встала наконец, взглянула в зеркало и отшатнулась в страхе. Ужасное, хотя и прекрасное лицо глянуло на нее. Оно было бледно, и кровавою на нем раною казалась яркая красная черта губ.

— Ты прекраснее Арианы, — сказало ей зеркало, — но красота твоя страшна, — в ней очарование печали, и невинной крови, и смертного ужаса. В ней очарование порока, — мудрейшее и злейшее из очарований.

Когда похоронили Ариану, полюбила королева подниматься на высокую башню, и слушать голоса просторов и бури, и смотреть на то, что видели Арианины очи.

Дивились люди дикой и страшной красоте Марианы и тому, как изменился ее нрав.

— Мачеха, а как тоскует по Ариане!

Однажды вечером пришла Мариана к Альберту и сказала:

— Если бы я могла отдать Ариане мою душу вместе с очарованием печали! Легче ей в гробу, чем мне на свете.

Понял Альберт, что пора. Спустился в склеп, разбил гроб, обрызгал Ариану живою водою и вывел ее к живым.

— Ариана жива!

Радостная разнеслась весть, и все спешили к королевскому замку. Среди общего ликования только одна Ариана была холодна и равнодушна. Спокойным «да» отвечала она каждому явлению жизни и смотрела на отчетливо предстающие перед нею предметы, не узнавая за ними ничего.

Королева же Мариана решилась умереть и возвратить Ариане очарование печали.

Сказал Ариане Альберт:

— Милая Ариана, хочешь ли быть моею женою?

Нерадующим голосом ответила:

— Да.

Когда вернулись молодые из-под венца, Мариана тайно всыпала в свой кубок отраву и выпила отравленное вино. Вынула чародейный платок и сказала Ариане очень тихо:

— От счастья и от печали умираю. Милая дочь, этим платком вытри мое лицо, орошенное смертным потом.

Послушно исполнила это Ариана.

— И этим платком вытри свое лицо, — сказала Мариана.

И когда платок коснулся Арианина лица, умерла Мариана. И в тот же миг мечи печали пронзили сердце юной Арианы, и с громким воплем открыла она лицо, — прекрасный лик, обвеянный очарованием печали.

С громким воплем бросилась она на холодеющую грудь злой мачехи.

— С тобою, с тобою, — вопила она.

Подстерегающая желания стояла близко. Взяла она темную душу Марианы и соединила ее с изнемогающею от печали душою Арианы.

Чувствуя в своей груди двойную отныне душу и преображение зла силою печали, встала Ариана от трупа, в котором уже не было души. И была она еще прекраснее, чем прежде, новою преображенною красотою. По воле созидающего и разрушающего души вернулась она в мир, — нести ему очарование печали.

Опечаленная невеста

Когда же и быть странностям, как не в наши дни? Свирепые и печальные дни, когда неистощимым кажется многообразие воплощаемых в жизни возможностей.

Несколько молодых девушек в наши дни составили кружок, доступ в который был довольно труден и цель деятельности которого могла бы, конечно, быть названа странною.

Когда умирал в городе молодой человек, у которого еще не было невесты, одна из участниц кружка надевала глубокий траур и приходила на похороны как невеста.

Родные удивлялись очень, знакомые меньше, но и те и другие верили, что около свежей могилы есть красивая и печальная тайна.

В кружке участвовала и Нина Алексеевна Бессонова, молодая скучающая почему-то девушка, не очень красивая, но достаточно миловидная. В нее-то и влюблялись даже, — что же и делать подрастающим гимназистам! — а ей все скучно было.

И вот, после одной из подруг, наступила и для Нины очередь проводить в могилу неведомого жениха.

— Следующий — ваш, — сказали ей.

Завидовали те, на кого еще не падал жребий. С сочувствующею печалью смотрели на Нину те подруги, которые уже исполнили свое печальное и красивое назначение.

В этот день Нина вернулась домой странно взволнованная.

И потянулись для нее длинные и томные дни бездейственно-тоскующей печали.

Тягостные предчувствия томили ее, и на каждом шагу подстерегали приметы, вещающие утрату, слезы, гибель близкого сердцу.

Как тягостно знать, что исполнятся неведомые сроки и умрет некто, еще незнакомый, но уже милый и дорогой! И с ним погибнет возможность счастья.

И кто он будет? И почему суждено ему не встретиться с нею ближе гробового предела? Быть может, спасла бы, уберегла бы, вымолила бы от жестокой судьбы часы и дни сладкого забвения печалей.

Не знаю, кто он будет, но как его жалко! Какая тоска!

Такой молодой, — и неумолимая уже следит за ним, подстерегает, — и нанесет ужасный удар, от которого ничем не спасти, никак не уберечь!

Иногда Нина почти завидовала тем своим подругам по этому кружку, которые уже успели совершить сладостно-печальный обряд и теперь только донашивали свой легкий, красивый траур. Траур, так идущий к их милым лицам, что прохожие на улицах останавливались посмотреть.

Нельзя было знать заранее, скоро ли случится это событие. Надо быть готовой идти по первому зову, не опоздать. Поэтому Нина заказала для себя весь траурный наряд. Потихоньку от родных. Хотя и досадно было, что приходилось от них прятаться и таиться.

О деньгах за траурное платье Нине заботиться не надо было: это был расход, падавший на средства кружка. Кружок имел довольно стройную организацию; собирались в его кассу ежемесячные членские взносы; были, как бывают и в других обществах, и разные случайные доходы.

Но хоть и не надо было заботиться о том, чтобы сразу достать много денег на траур, хоть и можно было сшитое уже и купленное прятать где-нибудь дома, а все же придется когда-нибудь траур надеть. И, конечно, лучше было бы сказать это заблаговременно. Но Нина почему-то стеснялась говорить об этом со своею матерью.

Да и как сказать! Надо объяснить, что и почему, а правила кружка не позволяли говорить о его целях и делах никому, кто не входил в его состав. Пришлось бы придумывать и лгать, и это было противно для Нины. И она откладывала со дня на день, а потом решила предоставить все случаю.

«Как-нибудь обойдется», — думала она.

Платье принесли, — Нина выбрала час, когда матери не было дома, — и спрятала его в своей комнате.

По вечерам она раскладывала на постели и на стульях траурные наряды. В комнате ее все было бело и розово, прозрачные колыхались легкие занавесочки на окнах, нежно и ласково пахли полевые цветы в красивых вазах, и за окном над далеким, стально голубеющим морем полыхал девичьим румянцем догорающий закат. И от этого всего девственно-чистого и светлого черные одежды казались

особенно страшными, и пугали сердце, и быстрые исторгали из тоскующих глаз потоки слез.

Глядела на черный цвет и плакала. Плакала долго.

Иногда примеряла траур и смотрелась в зеркало. Черный цвет, и скромный покрой платья, и строгий фасон шляпы, — все это было ей так к лицу, — и от этого еще печальнее становилось на сердце, и еще неудержимее хотелось плакать.

И по утрам, просыпаясь, открывала глаза с тайным страхом, — не пришло ли уже оно, жданное горе. Солнце было уже высоко, сад пламенел, залитый расплавленным великолепием драконовой лютой злости, и сквозь легкие, розоватые, сквозные пленки нарядных занавесок метался в глаза неистовый день. И навстречу дню и буйству стремительной жизни бросала Нина злое слово, яд тоскующего предчувствия:

— А он, мой милый, скоро умрет!

И выходила в столовую смутная, туманная, смятением милого лица странно противореча легкому, светлому наряду дачной барышни.

Мать смотрела на нее с недоумением и спрашивала:

— Да что ты скучаешь, Ниночка? О чем волнуешься? Что с тобою?

Нина отмалчивалась, загадочно и печально улыбаясь, и садилась на свое место за столом, тихая, кроткая, красивая, к лицу одетая, к лицу причесанная и совсем похожая на героиню романа, завязка которого не обещает счастливого конца.

И мать не могла добиться правды, что с Ниною.

Но вот однажды, в минуту внезапной откровенности, разнеженная печалью и завороженною тишиною северной белой ночи, взволнованная красивыми взлетами недалеких фейерверков на чьих-то незнакомых именинах прямо против веранды их дачи, где сидели они тогда вдвоем после вечернего чая, — Нина доверчиво прижалась к матери, вдруг заплакала и сказала очень тихо, нежная, сумеречно-белая, на темно-сером платье матери выделяясь успокоенно-красивым пятном:

— Так тяжело на сердце! У меня предчувствие, что что-то будет... что-то страшное... горе какое-то.

Мать обеспокоилась. Обняла Нину. Приговаривала ласково, как малого ребенка утешала:

— Что ты, Ниночка, Бог с тобою, чему быть? Что будет? Ты, дитя мое, в предчувствия не верь, ты же не старушка. Да и кто в наши дни верит в это?

Нина вытерла слезы; притворно спокойным голосом сказала, притворно улыбаясь:

— Правда, мама, я и сама знаю, что это очень глупо, а только все мне кажется, что ему грозит несчастие.

— Кому, Нина? — спросила мать.

Слегка отодвинулась, — взглянуть на дочь, щуря серые, немного близорукие глаза. Нина говорила и чуть не плакала:

— Моему милому, жениху моему.

— Что ты, Ниночка! — с удивлением говорила мать. — Какому милому? Разве у тебя есть жених?!

— Нет жениха, — тоскливо говорила Нина, — нет, но что же из того? Я вот, предчувствие такое у меня, что вот я влюблюсь в него, и он будет мне света милее и жизни дороже, — и вдруг он умрет.

И Нина опять заплакала неутешно, — и мать с удивлением ласкала и уговаривала ее. Поила какими-то каплями. Нина всмотрелась в ее испуганное, смешно озабоченное лицо и засмеялась.

В этот вечер не любовалась траурными одеждами и заснула спокойно. А наутро, едва открыла глаза, едва расслышала веселые птичьи смехи и голоса Минки и Тинки, споривших о чем-то, опять приступила тоска.

Два гимназистика, ее маленькие братья, Минка и Тинка, смеялись над ее таинственною печалью. Дразнили ее.

И было ей так грустно, что даже не сердилась она на мальчишек, надоедливых, шумных и глупых, — несмышленышей.

День клонился к вечеру, но было еще жарко и ярко на празднично-летней земле, и торжественною казалась ширина и тишина высокого купола. Нина стояла на широком пляже и всматривалась в просторы воды и небес.

Проносились какие-то птицы, маленькие, быстрые, суетливо-озабоченные, и в воздухе над Ниною шныряли их длинные, тонкие писки.

Плотный, мелкий, укатанный волнами песок сообщал ее стопам свою теплую хрупкость и влажность. Слегка щекотал кожу нежных ног, еще не загрубевшую от частых прикосновений к милому песку земных взморий.

Волны плескались, набегая, — безветренные, широкие волны близкого, милого моря, — где люди тонут, как и в далеком, — плескались волны, набегая, лобзая стройные, уже загорелые ноги. И весело, и свободно под легкою одеждою дышала грудь, вздымая две смуглые волны.

Стояла, смотрела в синюю даль, мечтала томительно, сладко, печально.

Кто же будет он, мой милый, кого провожу в могилу, над кем заплачу? И глаза, которые на меня никогда не глянут, и губы, которые мне никогда не улыбнутся.

Не молвит слова, не обнимет, не скажет: «Милая, люблю! милая, дороже ты для меня жизни».

Темным предчувствием печали томилось сердце, и хотелось плакать, — да еще не о чем было плакать.

А как отрадно было бы упасть на песок и рыдать в безмерном отчаянии, ветрам и волнам поверяя печаль омраченной души!

Вспомнила вчерашний разговор с одною из подруг о предстоящей дуэли князя Ордын-Улусова с мужем женщины, которая его любила. Как жаль, что нельзя идти за гробом юного красавца Улусова! — ведь он любит другую, и всем уже известна в городе история этой любви, красивой, трогательной и безумной: любовь, если в ней правда, воистину презирает все условия жизни, дерзает даже до смерти.

Да, может быть, еще и не убьет ни один из соперников другого, и все окончится на этот раз благополучно. И пусть живет, ей-то что!

Нетерпение предчувствий возрастало, томило нестерпимо.

Пламенеющее небо заката пылало, яркою страстью отравляя тихую печаль души, над миром распростирая багряное отчаяние в пото-

ках многоцветно горящей крови под изнемогающей пустынею холодного зенита.

Нина пошла домой. Сырым и неприятным казался песок. И досадно стало, зачем оставила дома башмаки и идет босая.

Да нет, не на это досадно, — так, беспредметное томление, неясная тоска. Бремя, которое надо нести.

Близ своей дачи Нина увидала знакомую фигуру. Всмотрелась, — Наташа Лещинская.

И обрадовалась Нина, и словно испугалась. Не приходит ли она с ужасною, жданною вестью?

Идет, как судьба, измучить печалью, изранить тоскующее сердце.

Уже издали было видно, по торопливости и неловкости движений, что Наташа взволнована чем-то. И что, конечно, несет с собою какое-то значительное известие.

У Нины от волнения задрожали руки и похолодели колени. Хотела бежать к подруге, но вдруг сердце так забилось, что Нина должна была остановиться.

Покраснела. Стояла, улыбаясь и держа скрещенные руки на груди, в неловкой, странной позе. Такая смущенная, неверная была улыбка.

— Наташечка, это ты? — сказала как-то неловко. — Как я рада!

И замолчала, сбитая неверностью своих интонаций.

— Ну, Ниночка, — сказала Наташа, подходя и слегка запыхавшись от быстрой ходьбы.

И у нее было озабоченное лицо, а разбившиеся, подвитые на шпильках черные волосы, выбившиеся из-под желтой соломенной с желтым страусовым пером шляпки, придавали ее смуглому лицу какой-то мальчишески-задорный и излишне самоуверенный вид.

— Да? умер? мой? — бессвязно, испуганно спрашивала Нина.

Наташа оживленно говорила:

— Умер. И, можешь представить, застрелился! Правда, интересно? тебе счастье.

Нина заплакала. Казалась такою жалкою, растерявшеюся, милою среди этого пронизанного розовым и голубым светом простора, в своем простом синем с белыми полосками обшивки костюме, с загоре-

лою стройностью тонких тихих ног, перед этою нарядною в многотонно-желтом, тяжело дышащею от скорой ходьбы по песку на высоких каблуках, румяно-смуглою, бойкою гостьею.

Плача, тихо спросила Нина:

— Кто?

Звук ее голоса был тонкий и робкий, как у плачущего ребенка.

Наташа ласково пожала ее руку.

— Правда, очень жаль, — сказала она. — Молодой очень. Студент Иконников.

— Один? — спросила Нина.

— Да, он был один, когда застрелился. Семья жила на даче. Он приехал днем в пустую квартиру, писал письма, сам опустил в почтовый ящик, один переночевал. Утром застрелился. Никто и не знал в доме, пока родители не приехали, — он и им послал письмо на дачу. Они, кажется, в Павловске жили.

Нина молчала. Уже в саду своей дачи она вопросительно взглянула на Наташу. Отвечая на этот взгляд, Наташа сказала:

— Послезавтра хоронят. В Петербурге.

Пришли домой.

— О чем ты плачешь, Нина? — спросила мать.

— Он умер, — коротко ответила Нина, сухим, словно враждебным тоном.

— Кто умер?

Как почти всегда у стареющих женщин, внезапное упоминание о смерти чьей-то обдало Нинину мать холодом страха, — точно сказал кто-то внятным и темным голосом:

— Умрешь и ты!

— Ах, мама, — с непривычною досадливостью ответила Нина, — ты все равно не знаешь его.

«Я и сама не знаю», — подумала Нина.

И оттого, что эта мысль вплелась смешною ниткою в печальную ткань переживаемого, стало еще больнее.

Мать обратилась к гостье:

— Скажите хоть вы, Наташа, кто умер.

Наташа, снимая шляпу перед зеркалом, говорила неторопливо, стараясь быть спокойною, но сама почему-то волнуясь:

— Застрелился студент, наш знакомый, Иконников. В городе. Неизвестно отчего. Такой молодой. Знаете, так много самоубийств в наши дни, и так жалко. Молодой такой, и никто не знает причины. Рана в виске, — маленькое синее пятно, точно расшиблено. И лицо совсем спокойное.

— Я поеду на панихиду, — решительно сказала Нина.

— Нина!

Мать села на кресло, смотрела на дочь и не знала, что сказать.

— Непременно! Ради Бога, не удерживайте! — восклицала Нина.

Наташа села рядом с Александрою Павловною и говорила тихо:

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Я с нею поеду и буду все время вместе.

Нина ушла к себе.

— Что с нею? вы не знаете, Наташа? — спрашивала Александра Павловна. — Она так хандрила все эти дни. Что это? Кто этот Иконников?

— Она такая впечатлительная, — говорила Наташа. — Иконникова я мало знаю. Не знаю, право. В наши дни так много всего, что угнетает. Какие у них были отношения, правда, я не знаю.

Нина вышла скоро, вся в трауре и уже в перчатках и шляпе с опущенною вуалью, — и опять с недоумением смотрела на нее мать.

— Нина, да откуда у тебя траур?

— Ах, мама!

— Нина, это не ответ. Я хочу знать. Ты должна.

— Мама, не истязай меня. И так трудно. Я говорила тебе, что предчувствовала беду. Мой жених умер. Я сейчас еду.

И говорила уже почти спокойно.

— Подожди, хоть чаю выпейте. Все равно, на какой же теперь поезд, — с недоумением, страхом и досадою говорила мать.

И медлительно влачился скучный час ожидания. Ненужное питье, противная пища, свет лампы, смешанный с багряным умиранием израненной зари, заставляющее вздрагивать звяканье ложек, и смешки

Минки и Тинки, и недоумевающие допросы матери, — и что-то надо говорить!

Нина была очень печальна. Несколько раз принималась плакать. Наташа озабоченно шептала:

— Ты слишком рано начинаешь. Ты устанешь. У тебя не хватит настроения в решительные моменты.

— Оставь, Наташа. Ты ничего не понимаешь, — досадливым шепотом отвечала Нина.

Но вот и в вагоне, с Наташею.

Вагон наполовину пуст. Два-три случайные попутчика с сочувственным любованием смотрели на Нину.

Наташа спросила:

— Нина, да ты его не встречала?

— Конечно, нет.

— Так что же ты плачешь?

— А разве легко хоронить жениха?

И вдруг Нина рассмеялась.

— Я и не плачу. Я смеюсь.

— Со слезами?

— До слез смешно.

Плакала.

Наташа старалась обратить ее мысли на веселое, приятное, смешное. Не удавалось.

— Ну какая ты плакса, — говорила Наташа. — Пожалуйста, возьми себя в руки. Еще до истерики дойдешь, — что я с тобою в вагоне стану делать?

Было уже темно, когда ехали по улицам летнего города, и все вокруг для Нины было как бред кошмара, становящегося к осуществлению.

Между двумя тучами сиял бледный месяц, — и в воде канала струилось его зыбкое отражение. И горькая была отрава в мерцании безмерно-тихом над грубыми грохотами злых, грязных улиц.

Увеселительный сад сверкал разноцветностью гирлянд из красных, желтых и синих фонариков над белою скукою забора и наглостью пестрых на серой стене афиш.

Подъезжали и подходили пестро наряженные и грубо размалеванные, и чей-то невидимый, но всем давно знакомый указательный палец упирался в откровенно-жалкое слово «дешевый разврат».

Было веселье в толпе, идущей веселиться, бедное, старательное веселье во что бы то ни стало.

Оскорбительное веселье, — когда на душе такая печаль. Жестокие люди! Как они могут веселиться, когда он, молодой, прекрасный, лежит с простреленною головою!

Нина переночевала у Наташи. Там легче было, чем дома. Наташа сказала тихо:

— У нее жених умер.

И никто не докучал. Нежно и любуясь жалели. Снились ласковые, и печальные, и немного страшные, — скорее жуткие, — сны.

Солнце, равнодушное к земной печали, яркое и злое, тихо, точно крадучись, метнуло в окно свое расплавленное трепетание, животворящий к смерти огонь, — и все шире и ярче из-за темного занавеса разливалось по зеленому ковру его знойно-жидкое золото.

Было утро дня, сулящее печали, и труды, и безнадежные молитвы.

И на чужой постели, над залитым злым золотом зеленым ковром проснулась Нина, — и слезы в глазах, и слабость в теле, и слышит внятное слово:

— Умер.

Никем не сказанное, — и связанное печалью, дрогнуло и упало сердце.

И слезы...

Думала: «И уже теперь всю жизнь, просыпаясь, буду вспоминать, что он, милый мой, умер».

Одеваясь, заметила, что траур ей к лицу. Радостно улыбнулась. Торопила Наташу, — вместе доехать до того дома, где жил он, ее милый. Но тщательно положила над загорелою бледностью милого лица складки черной вуали...

Цветы и ковры на лестнице у его квартиры, — оранжевые и зеленые листья из стекол в медных оковках на окнах, — бронза

перил и мрамор колонн, — так, до конца, печаль останется красивою, и не оскорбит ее пахнущая кошками неопрятная лестница со двора.

На площадке третьего этажа у дверей квартиры белая гробовая доска... И каменные качнулись стены...

Под локтем Наташина рука. Ее тихий голос:

— Здесь. Нина, милая!..

Нина вошла, закрытая длинною черною вуалью, молчаливая, подавленная горем. Не видя никого, прошла прямо в зал, где на высоком черном катафалке, в белом гробу, лежал ее милый.

Кто-то ходил, раздавая свечи для панихиды, и из боковой двери вился дымок разжигаемого кадила. В зале было немного людей, — и появление Нины было замечено очень. Не знал ее никто, и все дивились глубокому трауру и слезам неизвестно откуда пришедшей девушки.

Нина подошла близко, постояла у гроба и тихо поднялась по ступеням катафалка. Покров, цветы, желтое лицо. Всмотрелась, наклоняясь, в тихую улыбку покойника.

Как страшно, как холодно улыбаются мертвые губы! Какие холодные тоскующим губам невесты его мертвые губы! Не дрогнут жарким поцелуем целуемые жарко могильно-холодные мертвые губы!

Ужаленная холодом мертвых губ, слабо вскрикнула Нина. Кто-то взял под руку и помог спуститься с катафалка на строгий желтый лоск паркета. И точно поставил плачущую на колени, когда началась в синем дыме ладана панихида.

Было перешептывание родных:

— Кто?

— Вот эта?

— Вы не знаете?

— Никто, кажется, не знает.

Наташа стояла у двери.

Кто-то спросил ее:

— Не знаете ли, кто эта барышня в трауре, которая так плачет?

Так же тихо ответила Наташа:

— Это — невеста покойного.

— Но никто из родных ее не знает, — с удивлением шептал спрашивающий.

— Да. Это печальная история.

Стали передавать один другому:

— Это — невеста покойного.

Родные были в недоумении. Но все поверили. И как было не верить! Для всех этих, родных и чужих, различно настроенных людей, печальных и равнодушных, Нина, никому не знакомая, плачущая, милая и жалкая в ее траурном наряде, была воистину невестою этого неизвестно почему застрелившегося студента, тихого и красивого в своем белом, красивом гробу. Никто не знал, какая тайна связывает этот гроб и эту плачущую девушку, — и не она ли была причиною его смерти, — но всем было трогательно смотреть на нее. Рядом с отчаянием седой старухи матери и тупым горем старика отца, выражавшимися так сильно и так внешне некрасиво, с покраснелостью глаз, со слезливым насморком, с растрепанною прическою седых волос, немая скорбь этой молящейся на коленях девушки в трауре казалась возвышенною и прекрасною. И хотя все знали родителей, а ее никто не знал, всем было гораздо более жаль ее, милую, жалкую, трогательно склонившую колени, такую изысканно-очаровательную под складками ее полупрозрачной креповой вуали. И даже бывшая у иных мысль о том, что опечаленная и плачущая невеста могла быть причиною смерти этого прекрасного молодого человека, осыпанного в гробу благоухающими ненужным ему ароматом цветами, — даже и эта жестокая и суровая мысль не побеждала сожаления к ней, рожденного в тихих потоках ее светлых слез. И ее глубокая опечаленность, и склоненное к холодным паркетам ее орошенное слезами лицо, и вся ее скорбная фигура, — о, если в этом горе есть неумолимое дуновение злых раскаяний, что же, разве от этого еще не более жалко ее? Мало ли из-за чего ссорятся и временно расходятся любящие люди, — а ведь она, очевидно, любила его, — по нелюбимым так не плачут и траура не надевают, — мало ли что бывает между милыми, а он, жестокий,

убил себя, не стерпел легкой печали, навек погрузил ее сердце в ужас и тоску страшного воспоминанья!

А она, плачущая и молящаяся невеста неведомого жениха, она, отдавшаяся покорно порывам своей творимой печали, — что чувствовала она?

Как ни была она рада отдать свое сердце томлениям печали, как ни приготовлена была она к этому тоскою сознанных предчувствий, — все же представшее ей превзошло ее ожидания.

Очарование этого молодого и такого смертельно-спокойного лица, к которому припала она для поцелуя притворной скорби, в один краткий миг овладело ею, — и чувствовала она, что до века не свергнуть ей этого сладкого и жгучего очарования. Что-то более прекрасное, чем красота, и более властное, чем власть любви, презирающей могильный холод и мрак погребального склепа, нечто неизъяснимое и не выражаемое никакими человеческими словами, обаяние, ведомое одной только смерти, приникло к ней, — и уже знала она, что лежащий в белом гробе, осыпанный алыми розами, обвеянный взмахами пламенеющего кадила, окруженный зыбкими волнами синего ароматного дыма, где растворен темный ладан, что он воистину желанный, возлюбленный ее жених.

И когда спускалась она со ступеней черного катафалка и глазами, полными тоски, окинула простор холодного покоя, отыскивая, где бы ей укрыть свои слезы, уже нестерпимою мукою было пронизано ее сердце. Она сделала два-три шага и почувствовала, что голова ее кружится. Она повернулась лицом к гробу; возрастающая слабость была в ее дрожащих коленях. Уже не выбирала она места и, где пришлось, опустилась, почти упала близ гроба. Рядом с нею плакала седая мать, тихо, слезливо всхлипывая. Черная ряса священника медленно двигалась близко от ее лица. Она заплакала, приникла лицом к рукам, брошенным на пол, и над нею звякнули тихим звяканьем колечки кадильной цепи, пронесся низкий и уверенный голос диакона, и грустно, красиво и звонко полилось панихидное пение, — слова трогательные, значительные, более веские, чем бедная вера людская, такие мудрые, такие утешающие, — и так

неутешительные. Закрыв лицо руками, едва слыша слова и пение, едва вдыхая ладан грусти, она ясно видела перед собою лицо покойного, внезапно ей милое. Видела его живым, — смеялись глаза, и уста, полуприкрытые черными усами, двигались, и слова были мудрые и правдивые, и слова были о том, что неизменно близко и дорого сердцу. Всматривалась, — и черты лица, в короткую минуту целования схваченные цепкою памятью внезапно влюбленной, оживали теперь перед нею, и все яснее представал милый облик. И каждая черта этого лица неложно говорила о чем-то бесконечно милом и близком.

Кончилась панихида. Уходили. Около родителей покойного были близкие. Утешали, шептали что-то.

Нина стояла одна. Ей казалось, что она окружена чужою и враждебною атмосферою.

Совсем одна...

Неужели уходить? Оставить милого?

Заплакала. Пошла из комнаты, тихая, грустная, милая, жалкая, провожаемая влажными взглядами родных и знакомых.

На лестнице, на площадке нижнего этажа остановилась, плача. И вдруг послышались бегущие сверху легкие шаги. Нина посмотрела вверх по лестнице, — какое-то неясное предчувствие сказало ей, что это за нею.

Девушка в траурном ситцевом платье, с креповым чепчиком на голове, русоволосая и веснушчатая, с серыми и покрасневшими от слез глазами, — горничные так плачут по добрым господам, — быстро сбегала по лестнице. Остановилась перед Ниною.

— Барышня, — тихонько заговорила она, слегка запинаясь, точно конфузясь, — наша барыня, их мамаша, просят вас пожаловать к ним на минуточку.

— Зачем? — робко спросила Нина.

— Не могу знать, барышня, — ответила горничная, но видно было по ее тону, что знает и хочет сказать. — Только очень просят, — продолжала она. — Кажется, у них письмо. Да не знаю уж что. Только очень просят.

Нина поднялась по лестнице, и смутная боязнь томила ее, навевая ей какие-то внешние опасения, такие мелкие сравнительно с глубиною ее печали. Думала: «Неужели попросят не приходить более? Но за что же? Или станут обвинять в смерти моего милого?»

И ручьем хлынули слезы. Пошатнулась. Горничная поддержала ее под локоть, участливо заглядывая в лицо.

«Пусть обвиняют, — думала Нина, — я не буду спорить. Пусть я виновата. И почем я знаю? И что я знаю?»

Горничная провела ее в гостиную.

Видно было, что вся семья живет на даче и приехали сюда только для похорон. Мебель была в чехлах и поставлена как-то кое-как, не совсем по-зимнему. Зеркало в простенке было наскоро и неровно прикрыто чем-то белым, — это потому, что в доме был покойник.

Нина отвела креповую вуаль от лица, побледневшего под летним загаром и даже словно похудевшего от печали, — и смотрела печальными, робкими глазами на седую худощавую женщину, довольно высокого роста, поднявшуюся ей навстречу с дивана.

«Мать», — подумала Нина.

Как-то механически отмечала: «Седая. Тонкая. Глаза голубые, светлые. Похожа на сына».

Казалось почему-то, что еще на днях эта женщина с заплаканными глазами и отчаянным лицом не была седою, — тщательно зачесывала волосы, и даже, может быть, подкрашивала их, а теперь вдруг разом опустилась и уже забыла о своей внешности и о растрепавшихся на голове седых космах.

Пригласила сесть. В этой же комнате, у окна, стоял отец, высокий, прямой старик. Стоял вполуоборот к окну, точно и хотел смотреть на гостью, и хотел скрыть от нее выражение печали на гордом старческом лице.

— Вот, — сказала старуха, — смотрю я на вас, вы одна здесь нам незнакомая. Вот я и думаю, что это вам, должно быть, письмо от Сереженьки. Вам?

— Не знаю, — сказала Нина. — Как я могу знать?

Старалась не плакать, а слезы опять хлынули из глаз. Заплакала и мать.

— Так это для нас неожиданно, — говорила она. — Ждем Сереженьку к обеду, — он на день в город уехал, — и вдруг... Да, о письме-то я начала. Видите...

Старуха вынула из альбома, лежащего на столе, письмо в узком серо-зеленом конверте и сказала:

— О ком Сереженька пишет, мы никак не могли догадаться. Но это письмо, — ко мне он письмо оставил, и вот это письмо вложено, — просит передать молодой барышне, которая у нас не бывала, передать, если она придет на панихиду или на вынос. А узнаете, пишет, по тому, что она в трауре будет и, может быть, поплачет немножко. Ей, пишет, и отдайте. Если же она не придет, сожгите, пишет, не читая. Вот я и думаю, не вам ли письмо.

И, не колеблясь ни минуты, Нина сказала:

— Да, это мне.

Побледнела. Протянула руку за письмом, вся полная страха. Тяжелые ли упреки бросит ей из-за таинственной грани ее милый? Слова ли нежной любви и утешения?

Подумала: «А если придет она, другая?»

Шуршал конверт в дрожащих пальцах. И уже нетерпеливою рукою разорван край конверта. Быстрые мысли чередовались, пока вытаскивала письмо из темницы конверта: «Придет — отдам. Да не придет. Злая, оставила, забыла, в страшные предсмертные его часы не томилась тоскою предчувствий. Как я. Это — мое. Но если придет, и траур наденет, и заплачет, — отдам».

И отец, и мать стояли перед нею и смотрели на ее лицо, когда она читала. Точно по лицу хотелось узнать им страшную тайну.

Читала:

Милая, дорогая, пишу тебе в странной, может быть, несбыточной надежде, что ты все-таки придешь к моему гробу, заплачешь над моею могилою, хоть короткое время поносишь по мне траур Зачем мне это? Знаю, что это — ужасная ерунда, а все-таки утешен мечтою о том, что ты придешь. И если придешь, тебе отдадут это письмо А не придешь, сожгут Так я просил маму, а она у меня славная и не обманет, сделает, как

я прошу Ты, я верю, не огорчишь ее ни одним ненужным словом. Я, видишь ли, умираю. Все одно к одному подошло Не вини себя, милая В нашей разлуке я сам виноват, я один И мне пенять не на кого, а только это было так, словно из ткани моей жизни кто-то выдернул какую-то связующую нить, и все стало рассыпаться По внешности я остался таким же и шел заодно с товарищами, вообще, не вешал носа. Даже взялся за дело, которое раньше, может быть, сделал бы с размаха А теперь оно меня окончательно раздавило .. Убить всегда трудно, — но я знаю, что. Да что говорить! Взялся, и не могу. Предпочитаю убить самого себя Не потому, чтобы старые прописи из морали, ну там святость человеческой жизни, — да нет, может быть, и это Так, страшно и темно. Весь изнемог Я — человек конченый (впрочем, эту фразу я слизнул у кого-то, ну да сойдет). Тебе хотел бы сказать что-нибудь очень светлое и спокойное Ты, может быть, улыбнешься сквозь слезы, но пусть, — я все-таки тебя, Киска, очень люблю Будь счастлива, обо мне вспоминай не часто и без досады А если бы ты вернулась, — но, впрочем, что вам, живущим, заветы из-за гроба? Чепуха, не правда ли? И все-таки, мой друг, моя милая, тот, кто увидел свет и отвернулся от него, порядочная дрянь.

Прощай.

Твой Сергей

Нина вложила письмо в конверт. Хотелось уйти, остаться одной, перечитывать, думать и плакать. И уже хотела уходить. Но чьи-то просящие взоры удерживали ее.

— Что вам пишет Сережа? — спросила мать.

Нина молчала. Не знала, что сказать. И старая продолжала:

— Поймите ужас нашего положения, — ведь мы совершенно не знаем, из-за чего Сережа, из-за чего, — ведь это ужасно! Хоть бы что-нибудь знать, хотя бы что-нибудь!

Нина думала: «Что же я могу сказать? А если она придет? и придется ей отдать письмо? Лучше пусть она скажет».

Улыбалась и плакала. Сказала решительно:

— Простите, я очень понимаю, но сейчас я должна молчать. Я не могу вам сказать, ничего не могу.

— Сударыня, — начал молчавший до этого времени отец, и звук его голоса был странно резок и скрипуч, — ведь мы могли бы и не отдавать вам письма. В таком положении... Мы имели бы право сами его распечатать. А вы скрываете...

Не кончил. Странно всхлипнул. Отвернулся.

Нина потупилась и тихо сказала:

— Да, вы имели возможность прочитать это письмо, — но вы этого не сделали.

— Нет, конечно, — говорила мать, — кто же говорит! Конечно, мы бы не стали читать чужого письма. Но наше... наше горе... умоляю вас, пожалейте старую женщину.

— Ради Бога, — вскрикнула Нина, — подождите, подождите до завтра. Клянусь вам, теперь я не могу. Я скажу вам завтра. Завтра, когда его... когда Сережу... ради Бога.

Плакали обе, обнимая одна другую. И вдруг мать оттолкнула Нину.

— Не даст вам Бог счастия, если он из-за вас! — плачущим воплем слабо вскрикнула она и бросилась, рыдая, из комнаты.

Отец быстро ушел за нею. Нина осталась одна.

День проходил тупо и вяло, в смятении мыслей и мечтаний. Перечитывала письмо милого. Думала боязливо: «А если придет та, другая, злая?»

Горько было думать, что придется отдать ей милые странички, исписанные мелким, торопливым, четким почерком. И, утешая себя, опять думала: «Да нет, не придет».

Нетерпеливо ждала вечера, — идти опять на панихиду, в гроб милому положить белую розу, у гроба его оставить белый венок опечаленной невесты. И узнать, пришла ли злая разлучница.

Докучные, лишние, пламенные влачились минуты змеино-солнечного дня.

После обеда Нина сказала Наташе:

— Последняя отрада — получить письмо от милого. Я его получила.

Наташа с удивлением смотрела на узкий зеленый конверт. Нина в первый раз заметила на конверте надпись. Прочла: «Опечаленной невесте».

Та, другая, не приходила. Ее не было ни на вечерней панихиде, где белый лег венок на ступени черного катафалка и у черных волос ми-

лого упала белая роза, подарок невесты. Ее не было и на выносе, и на отпевании.

И красота невестиной печали ничем не была нарушена.

По знойным утренним улицам равнодушно-шумного города, за гробом, по пыльной мостовой шла Нина с родителями своего жениха. Кто-то из его родных, элегантно одетый и красивый господин с седеющими усами и прямым станом отставного офицера, вел Нину под руку.

Красота ее печали влеклась по безобразию пыльных, знойных улиц, под неистовым пыланием древнего Змия, среди минутно тронутых и крестящихся прохожих, — роковая красота печали влеклась на сером и злом безучастии Айсы.

Устала, но не хотела сесть в карету. И смертельно устала. Усталость венчала красоту ее печали, и милая томность ее лица была еще более трогательна этим чужим людям.

Скорбный долог был обряд, потому что не жалели денег, и в красивой церкви хорошо пел отличный хор певчих. Обряд, утешающий слабых, — но какое утешение мог дать Нине, бедной невесте жениха, только из-за гроба сказавшего ей слова любви, но и слова укора? И думала она: «Куда же я должна вернуться, чтобы утешить его? Чтобы не остаться, по его откровенно милому слову, порядочною дрянью, малодушно отвернувшейся от света?»

И казалось ей, что она знает, куда пойдет и чем его утешит.

Могила. Брошены последние горсти земли.

Рыдали мать и невеста, — некрасивая, старая, родная ему, с покрасневшим носом, сгибалась, сбивая набок шляпу, — и молодая, бледная, заплаканная девушка, чужая ему при жизни и теперь единственно близкая ему.

И они остались одни над свежею могилою, — одна не берегла сына, и сердце его было ей темно, и помыслы непонятны и чужды, — и другая; на нее ни разу не глянули его милые очи, но ей открылось его сердце, — слабое, изнемогшее от непосильного бремени земное сердце человека, который хотел великого подвига и не мог его совершить.

«Милый, — шептала она, — я знаю путь, которым надо идти, чтобы с тобою быть, чтобы тебя утешить. Ты не мог, ты ослабел от печали, тебе темно и холодно в могиле, но ничего, не бойся, я сделаю все, что было твоим делом. И если на твоем пути есть страдания, они будут моими».

Смотрели одна на другую. Нина думала: «Что скажу ей? чем ее утешу?»

Сказала ей тихо:

— Вы сказали вчера, что Бог не даст мне счастия, если он умер из-за меня. Видит Бог, что я в этом нисколько не виновата. Но на что же мне счастие, если он, милый мой, в могиле? Я не умела быть с ним вместе, когда он был жив, но поверьте, что я всегда буду верна его памяти. И то, что он мне завещал, исполню, — и его любовь будет моею любовью, его друзья моими друзьями, его ненависть моею ненавистью, и то, отчего погиб он, понесу я.

ЗАКЛЯТИЕ СТЕН

Сказочки
и
статьи

СКАЗОЧКИ

Молот и цепь

Крепкий молот, проникнутый прекрасными намерениями, сделанный из лучшего железа, беседовал с железною полосою, которая лежала на наковальне. Они говорили о земных несовершенствах, о злых обидах, которыми одни осыпают других.

— Оковы — позорный остаток варварства, — говорил молот и убеждал железо никогда не делаться цепью.

Слушая его на горячей наковальне, под жаром горна, железо смягчалось и таяло. Но вот дюжий кузнец взмахнул высоко молотом и тяжко опустил его на железо. Посыпались красные искры, и застонала бедная полоса.

— Как, ты сам решился меня бить? — спросила она.

— Да, я бью тебя, а ты будешь терпеть. Так устроено, и я поставлен выше тебя в свете, чтобы бить по тебе.

Молот тяжко опускался на железную полосу, приговаривая с большим весом:

— Не надо жестокостей! Презренны жестокие!

Когда из железа выковались звенья прочной и длинной цепи, молот отвернулся с презрением.

— Все ренегаты таковы, — сказал он, — мягкие, как воск, в начале, в конце они не стыдятся служить кандалами.

А цепь тихо позвенивала своими прочными кольцами и шептала:

— Так и должно быть, так все устроено. Еще несколько ударов по моим звеньям, — и я с наслаждением обовью тело проклятого каторжника.

Обидчики

Мальчик с пальчик встретил мальчика с ноготок и поколотил его. Стоит мальчик с ноготок и жалобно пищит.

Увидел это мальчик с два пальчика и прибил мальчика с пальчик, — не дерись! — говорит. Заверещал мальчик с пальчик.

Идет мальчик с локоток и спрашивает:

— Мальчик с пальчик, о чем ты плачешь?

— Гы-гы! мальчик с два пальчика меня оттаскал, — говорит мальчик с пальчик.

Догнал мальчик с локоток мальчика с два пальчика и больно прибил его, — не обижай, — говорит, — маленьких!

Заплакал мальчик с два пальчика и побежал жаловаться мальчику-приготовишке. Приготовишка сказал: я его вздую! — и вздул мальчика с локоток. А приготовишку за это поколотил второклассник.

За приготовишку заступилась его мама и оттаскала второклассника.

Закричал второклассник, — прибежал его папа, прибил приготовишкину маму. Пришел городовой и свел второклассникова папу в участок.

Тут сказка и кончилась.

Тик

Один маленький мальчик всех передразнивал. Кто смеется, а уж он кричит: ки-ки. Чихнет кто-нибудь, он скажет: тик. Вот пошел мальчик по сырой траве. Вернулся домой и чихает. Мама спросила:

— Ты что чихаешь?

А мальчик говорит:

— Так, мама, тик! так.

Мама говорит:

— Да у тебя насморк. Ты по сырой траве, должно быть, ходил?

Мальчик сказал:

— Нет, мама, тик! не ходил.

Мама пощупала у мальчика ноги и сказала:

— А сапоги отчего сырые?

Мальчик заплакал и сказал:

— Я, мама, не ходил — тик! — по сырой траве, а это — тик! — мои сапоги ходили!

Веселая девчонка

Жила такая веселая девчонка, — ей что хочешь сделай, а она смеется.

Вот отняли у нее куклу подруги, а она бежит за ними, заливается-смеется и кричит:

— Наплевать на нее! Не надо мне ее.

Вот мальчишки ее прибили, а она хохочет:

— Наплевать! — кричит, — где наше не пропадало!

Говорит ее мать:

— Чего, дура, смеешься, — вот возьму веник.

Девчонка хохочет.

— Бери, — говорит, — веник, — вот-то не заплачу, — наплевать на все!

Веселая такая девчонка!

Бык

У одного мальчика мама была в светло-синих очках, папа — в темно-синих.

Они на весах вешали: все, что мальчик ел, — мясо и молоко, — все вешали.

Вот раз папа и говорит маме:

— А ведь наш мальчик сегодня первого быка скушал, — завтра за второго примется.

Мальчик услышал это, заплакал и сказал:

— Я не хочу есть быка, — у быка рога.

Кусочек сахару

Жила-была хозяйка. У нее был маленький ключик от шкапика. В шкапике стоял маленький ящик. В ящике лежал малюсенький кусочек сахару.

Жила у хозяйки собачонка. Она была капризная, — вдруг возьмет, да и затявкает на хозяйку.

А хозяйка возьмет ключик, отворит шкапик, достанет ящик и вынет кусочек сахару. Собачонка и завиляет хвостом.

А хозяйка скажет:

— Тявкала, Каприза Петровна, — вот тебе и не будет сахару.

И спрячет все по-прежнему. Собачонка раскаивается, да поздно.

Леденчик

У девочки был леденчик в бумажке.

Сперва было их много, да она съела, — один остался.

Вот и думает: «Съесть самой или на бедных пожертвовать?»

Думает: «Бедной девочке отдам».

А потом подумала: «Лучше буду делиться с бедными пополам». И съела пол-леденца.

А потом опять подумала: «Со следующих леденцов начну, а теперь дам ей полполовинки», — и съела сама полполовинки.

А так мало осталось, что уже и не стоило отдавать бедной девочке, — девочка и остальное сама съела.

Мальчик и береза

В саду росла береза. На даче жил мальчик Ника. Ника был шалун. А у березы были ветки. Раз Ника много шалил. Тогда с березы сорвали ветку, а с ветки листья обдернули.

Потом уж Ника не любил березу. Вот лето было долго, и настал июль, и конец июля. На березе показались желтые листья. Ника сказал березе:

— Что, злючка, вот тебя Бог и наказал, — другие деревья молодые, а ты уже седая.

Бай

У девочки Манечки была комната, и в комнате четыре стены: белая, голубая, зеленая да красная.

Вечером Манечка не хотела спать. Няня сказала:

— Бай-бай-бай! Маню покачай!

Бай пришел, идет по красной стене.

А Манечка увидела и смеется:

— Старик с бородою, да какой смешной!

Бай и ушел, а Маня разгулялась. Только поздно.

Няня поет:

— Приходи, голубчик бай, нашу Маню покачай!

Пошел бай по зеленой стене. Маня увидела и говорит:

— А старик-то опять пришел, белый сам, и борода белая.

А бай не любит, чтоб на него смотрели, опять ушел. Маня шалит, няня поет:

— Приходи, голубчик бай, Маньку-Маню укачай.

Бай по голубой стене подходит. Маня говорит:

— Противный старик, опять лезет, — борода-то длинная, седая.

Бай ушел. Маня капризничает, няня поет:

— Милый бай, добрый баюшка-бай, приходи к нам, поспешай, нашу Маню закачай.

Тут пошел бай по белой стене, — Маня и заснула.

Про белого бычка

Няня спросила Леночку:

— Сказать тебе сказку про белого бычка?

Леночка сказала:

— Скажи.

А няня и говорит:

— Я скажу сказку про белого бычка, ты скажешь сказку про белого бычка, не сказать ли тебе сказку про серого бычка?

Леночка догадалась, что няня не знает про белого бычка. Вот и думает Леночка, — ладно, лягу спать, сама увижу про белого бычка. Заснула Леночка и всю ночь спала крепко, а уж под самое утро вспомнила про белого бычка и увидела белого бычка во сне. Но только что она его увидела, как пришла няня и разбудила Леночку. Леночка рассердилась и сказала:

— Сама не знаешь, да и другим узнать не даешь.

Ласковый мальчик

Саша любил сладкое.

А мама не давала ему много сладкого, чтобы у него зубы не испортились.

Он и придумал так выпрашивать, — знает, что у мамы есть конфеты, он и примется ее целовать да приговаривать:

— Сладенькая ты моя конфетка, гладенькая ты моя конфетка.

Мама рассмеется и даст Саше конфетку.

Пришел рябой дядя с пряниками. Саша забрался к нему на колени и приговаривает:

— Писаный ты мой пряничек, вяземский ты мой пряничек!

А рябой дядя сказал:

— Я не люблю попрошаек.

И спрятал пряники в карман.

Путешественник-камень

Была в городе мостовая. Колесом вышибло из нее малый камешек. Он и думает: «Что мне с другими лежать, там тесно, — побуду отдельно».

Прибежал мальчишка и схватил камень.

Камень думает: «Вот захотел, да и поехал, — стоит только захотеть».

Мальчишка швырнул камень в дом. Камень думает себе: «Захотел и полетел, — очень просто, моя воля!»

Попал камень в стекло, — стекло разбилось и закричало:

— Ах ты, озорник этакий!

А камень говорит:

— Раньше было сторониться! Я не люблю, чтобы мне мешали, — у меня все чтоб было по-моему, вот я какой!

Упал камень на ковер и думает: «Полетал, а теперь полежу, отдохну».

Взяли камень, да и выбросили на мостовую.

Он и кричит другим камням:

— Братцы, здорово, — был я в хоромах, да не полюбилось мне у господ, захотелось в простой народ.

Во сне

Один мальчик любил спать. И он все сны видел. И так много снов видел, что и забывал иногда, что во сне, что наяву было.

Пошла мама в лавку и его взяла, говорит:

— Куплю тебе яблок.

Только у нее денег не хватило, она и не купила яблок.

Пришли домой, мальчик и говорит:

— Ты же яблок обещала купить.

А мама говорит:

— Тебе это приснилось.

Мальчик хорошо помнил, что это не во сне было, и говорит маме:

— Вот ты какая.

А потом он стал шалить, уронил мамин зонтик и сломал ручку. Пришла мама из соседней комнаты и говорит:

— Кто зонтик сломал?

Мальчик сказал:

— Он сам ушибся.

Мама рассердилась и закричала:

— Ах ты лгунишка! — я сама через дверь видела, как ты его бросил на пол.

А мальчик сказал:

— Что ты, мама! должно быть, это тебе приснилось.

Две девочки и песок

Жили были две девочки: знатная и простая.

Знатную звали принцесса Эльза. У нее косы были золотистые, ручки серебристые, чулочки шелковые, башмачки атласные.

А простую девочку звали Машка-замарашка. Она ходила в лохмотьях, руки и ноги у нее были исцарапанные. Только она веселая была.

Раз она сидела на мокром песке и руками из него башни лепила и хлебы стряпала. Шла мимо принцесса Эльза. Машка-замарашка кричит ей:

— Садись, поиграем.

Принцесса Эльза усмехнулась и сказала:

— Знатные девочки не играют мокрым простым песком. У знатных девочек есть сухой золотой песок. Знатные девочки даже и не говорят с босыми девчонками.

Пошла к себе в сад принцесса Эльза и стала сыпать золотой песок в золотые чаши да опрокидывать, но песок рассыпался, и башни не выходили. Взяла принцесса Эльза горсть песку, сжала его в кулак, — а песок между пальцами вытек.

Рассердилась принцесса Эльза, повалилась на землю и закричала:

— Замарашкин песок скверный, а мой еще хуже.

Крылья

Пасла девочка гусей, а сама плакала. Пришла хозяйкина дочь, спросила:

— Чего, дура, ревешь?

Девочка сказала:

— Отчего у меня крыльев нет? Я хочу, чтобы у меня крылья выросли.

Хозяйкина дочь сказала:

— Вот дура, — ни у кого нет крыльев, — на что тебе крылья?

А девочка отвечала:

— Я бы все по небу летала да во весь бы голос песни пела.

Хозяйкина дочь сказала:

— Дура, какие у тебя могут вырасти крылья, коли у тебя отец батрак! Вот у меня, пожалуй, вырастут.

Облилась водой из колодца и стоит на грядке на солнце, чтоб крылья лучше росли.

Шла мимо купеческая дочь, спросила:

— Чего стоишь, красна девица?

А хозяйкина дочь говорит:

— А крылья ращу, летать хочу.

Купеческая дочь засмеялась, говорит:

— Мужичке, да еще крылья, — не по спине груз.

Пришла в город, накупила себе масла, намазала спину и вышла на огород растить крылья.

Шла мимо барышня, спросила:

— Что, милая, делаешь?

Купеческая дочь сказала:

— Крылья себе ращу, барышня.

Барышня покраснела, рассердилась, — это, говорит, не купеческое, а дворянское дело.

Пришла домой, облилась молоком, стала на огороде, растить себе крылья.

Шла мимо царевна, увидела барышню на грядках, послала своих служанок узнать, для чего она стоит. Пошли служанки, узнали, приходят, говорят:

— Молоком облилась, крылья растит, высоко летать хочет.

Царевна усмехнулась и сказала:

— Глупая, — даром себя мучит, — у простой барышни не могут вырасти крылья.

Пришла царевна домой, облилась духами, пошла на огород, стоит, растит себе крылья.

Прошло сколько-то времени, — все девушки в той земле одна по одной пошли на свои огороды, стоят себе на грядках, растят себе крылья.

Узнала об этом Крылья-мать, прилетела, посмотрела, видит, что их много, да и говорит:

— Дать вам всем крылья, так вы все летать будете, — а кто станет дома сидеть, кашку варить, деток кормить? Дам-ка я лучше крылья одной, которой раньше их захотелось.

Так и выросли крылья у одной батраковой дочери. Стала она по небу летать да песни петь.

Заплатки

Лазал Вася на березу, разорвал курточку.

Мама нашила на курточку заплатки и сказала Васе:

— Шалуны всегда с заплатками ходят.

Пришел вечером дядя. Он был в очках.

Поглядел на него Вася, да и говорит:

— Мама, а мама! дядя-то у нас — шалун: у него на глазах заплатки.

Лягушки

Встретились две лягушки, — одна постарше, другая помоложе. Вот старшая и спрашивает:

— А ты по-всякому квакать умеешь?

А младшая отвечает:

— Вот еще, конечно, по-всякому.

— Ну поквакай, — говорит старшая.

Стала квакать маленькая лягушка:

— Ква, ква-ква!

На разные лады старается. А старшая говорит:

— Да ты только по-русски квакаешь.

— А то как же иначе? — спрашивает маленькая.

— А вот, — говорит старшая, — по-французски ты и не умеешь.

А маленькая и говорит:

— По-французски никто не квакает.

— Нет, квакают, — сказала большая.

— Ну, как по-французски квакают? — спросила маленькая, — квакни, коли знаешь.

— А вот как. — И большая стала квакать: — Квю-квю-квю!

— Так-то и я умею, — говорит маленькая.

— Поквакай, коли умеешь, — сказала большая.

Маленькая и заквакала:

— Кви, кви, кви.

А старшая засмеялась и говорит:

— Так это ты «кви» по-немецки квакаешь, а по-французски надо квакать «квю».

Маленькая как ни старалась, ни за что не могла квакнуть «квю». Заплакала наконец, да и говорит:

— Русские лягушки лучше французских квакают, — понятнее.

Ворона

Летела ворона. Видит мужика и спрашивает:

— Мужик, а мужик!

— Чего тебе? — говорит мужик.

— Ворон считать умеешь?

— Ишь ты, какая затейная, чего захотела, — проваливай подобру-поздорову.

Полетела ворона, встретила купца, спросила:

— Купец, ворон считать умеешь?

А купец говорит:

— Нам такими пустяками не приходится заниматься, — наше дело торговое.

Полетела ворона, встретила гимназиста, самого маленького из всей гимназии, и спрашивает:

— Гимназист, ворон считать умеешь?

А он и говорит:

— Я все считать умею, я до миллиона умею считать, и даже больше. Я Малинина и Буренина учил.

А ворона ему в ответ:

— А вот ворон не сосчитаешь.

— А нет, сосчитаю, — говорит гимназист.

И стал считать:

— Одна, две, три...

А ворона тут влетела ему в рот и укусила его за язык. Заплакал гимназист и говорит:

— Никогда вперед не буду вас, ворон, считать, — коли кусаетесь, так и живите так, несчитанные.

Благоуханное имя

Когда одна девочка была больна, то Бог велел ангелу идти и плясать перед нею, чтобы забавить ее.

Ангел подумал, что неприлично ангелам плясать перед людьми.

И в ту же минуту Бог узнал, что он думает, и наказал ангела, — и ангел стал маленькою девочкою, только что родившеюся царевною, и забыл про небо, и про все, что было; и забыл даже свое имя.

А имя у ангела было благоуханное и чистое, — у людей не бывает таких имен. И положили на бедного ангела тяжелое человеческое имя, — и стали звать царевну Маргаритою.

Царевна выросла.

Но она часто задумывалась, — ей хотелось вспомнить что-то, и она не знала что, и ей было тоскливо и скучно.

И однажды она спросила у своего отца:

— Отчего солнце светит молча?

Отец засмеялся и ничего не ответил ей.

И опечалилась царевна.

Другой раз она сказала матери:

— Сладко пахнут розы, отчего же запаха не видно?

И засмеялась мать, и опечалилась царевна.

И спросила она у своей няньки:

— Отчего не пахнут ничем имена?

И засмеялась старая, и опечалилась царевна.

Стали говорить в той стране, что у царя дочка растет глупая.

И было много заботы царю сделать так, чтобы царевна была как все.

Но она все задумывалась и спрашивала о ненужном и странном.

И бледнела, и чахла царевна, и стали говорить, что некрасивая она.

Приезжали молодые принцы, но поговорят с нею и не хотят брать ее в жены.

Приехал принц Максимилиан. Сказала ему царевна:

— У людей все отдельно: слова только звучат, и цветы только пахнут, — и все так. Скучно мне.

— Чего же ты хочешь? — спросил Максимилиан.

Задумалась царевна, и долго думала, и сказала:

— Я хочу, чтобы у меня было благоуханное имя.

И Максимилиан сказал ей:

— Ты стоишь того, чтобы носить благоуханное имя, и нехорошо, что ты Маргарита, — но у людей нет для тебя имени.

И заплакала царевна. И пожалел ее Максимилиан, и полюбил ее больше всего на свете.

И он сказал ей:

— Не плачь, я найду то, чего ты хочешь.

Улыбнулась царевна и сказала ему:

— Если ты найдешь мне благоуханное имя, то я буду целовать твое стремя.

И покраснела, потому что она была гордая.

И сказал Максимилиан:

— Ты будешь тогда моею женою?

— Да, если ты захочешь, — ответила ему царевна.

Поехал Максимилиан искать благоуханного имени. Объездил всю землю, спрашивал ученых людей и простых, — и везде смеялись над ним.

И когда был он опять недалеко от того города, где жила его царевна, увидел он бедную избу и белого старика на пороге. И подумал Максимилиан: «Старик знает».

Рассказал принц белому старику, чего он ищет. И обрадовался старик, засмеялся и сказал:

— Есть, есть такое имя, духовитое имя, — сам-то я не знаю, а внучка слышала.

Вошел Максимилиан в избу и увидел больную девочку.

И сказал ей старик:

— Донюшка, вот барину надо знать духовитое имя, вспомни, милая.

Обрадовалась девочка, засмеялась, но благоуханного имени вспомнить не могла.

И сказала она, что во сне видела ангела, который плясал перед нею и был весь разноцветный.

И ангел сказал ей, что днем скоро придет к ней в избу другой ангел и будет плясать и светить разными огнями еще лучше, и назвал имя того ангела, и от того имени пролился аромат, стало радостно. Сказала девочка:

— Весело мне думать об этом, а вспомнить имени не могу. А если бы вспомнила и сказала, то выздоровела бы сейчас. Но он придет скоро.

Максимилиан поехал к своей царевне и привез ее в избу.

И когда царевна увидела бедную избу и больную девочку, то ей стало очень жалко, — и стала она ласкать девочку и забавлять ее.

Потом отошла на середину избы и стала кружиться и плясать, ударяя в ладоши и напевая.

И увидела девочка много света, и услышала много звуков, и обрадовалась, и засмеялась, и вспомнила имя ангела, и громко сказала его.

И вся изба наполнилась благоуханием.

И тогда вспомнила царевна свое имя и зачем ее посылали на землю и радостно вернулась домой.

И девочка выздоровела, и царевна вышла за Максимилиана замуж, и в свое время, пожив на земле довольно, вернулась на свою родину, к вечному Богу.

Нежный мальчик

Жил нежный мальчик.

На него с самого начала надели стеклянный колокол, чтоб мухи его не обижали.

Так все и жил мальчик в колоколе.

Вот видит мальчик, — береза шатается. А он не знал, что это от ветра, — не знал ветра нежный мальчик.

Он и сказал березе:

— Глупая береза, не шатайся, сломаешься.

Перестал дуть ветер, и береза не шаталась.

А нежный мальчик обрадовался и сказал:

— Вот и умница, что послушалась.

Злой мальчик и тихий мальчик

Жил был Злой мальчик.

У него были две тети: умная тетя и добрая тетя.

Когда Злой мальчик чего не поймет, то он бежит к умной тете, — та объясняет; когда Злой мальчик нашалит, то он бежит к доброй тете, — та укрывает.

Вот сидел раз Злой мальчик с умною тетею. Шел мимо Тихий мальчик.

Сказала умная тетя Злому мальчику:

— Беги скорей, куси Тихого мальчика за ногу.

Обрадовался Злой мальчик. Он побежал. Но он был трус. Добежал до Тихого мальчика, — не смеет кусить.

Вот Злой мальчик нагнулся, кусил себя за ногу и побежал к доброй тете, а сам кричит да плачет:

— Добрая тетя, меня кусил скверный мальчишка — Тихий мальчик.

Добрая тетя поверила и сказала:

— Приведите негодного Тихого мальчика.

Привели. Добрая тетя говорит:

— Ай-ай-ай! негодный мальчишка Тихий мальчик, как ты смеешь кусаться? Добрые мальчики никогда не кусаются.

Тихий мальчик заплакал и сказал:

— Я никогда не буду кусаться.

И его поставили в угол, а Злого мальчика погладили по головке.

Так-то часто бывает.

Плененная смерть

В старые годы жил храбрый и непобедимый рыцарь.

Случилось ему однажды пленить самое смерть.

Привез он ее в свой крепкий замок и посадил в темницу.

Смерть ничего, сидит себе, — а люди перестали умирать.

Рыцарь радуется и думает:

— Теперь хорошо, да беспокойно, стеречь ее надо. Лучше совсем бы ее истребить.

Только рыцарь справедливый был, — не мог умертвить ее без суда.

Вот он пришел к темнице, стал у окошечка и говорит:

— Смерть, я тебе голову срубить хочу, — много ты зла на свете наделала.

Но смерть молчит себе.

Рыцарь и говорит:

— Вот, даю тебе сроку, — защищайся, коли можешь. Что ты скажешь в свое оправдание?

А смерть отвечает:

— Я-то тебе пока ничего не скажу, а вот пусть жизнь поговорит за меня.

И увидел рыцарь, — стоит возле него жизнь, бабища дебелая и румяная, но безобразная.

И стала она говорить такие скверные и нечестивые слова, что затрепетал храбрый и непобедимый рыцарь и поспешил отворить темницу.

Пошла смерть, — и опять умирали люди. Умер в свой срок и рыцарь, — и никому на земле никогда не сказал он того, что слышал от жизни, бабищи безобразной и нечестивой.

Ключ и отмычка

Сказала отмычка своему соседу:

— Я все гуляю, а ты лежишь. Где-где я не побывала, а ты дома. О чем же ты думаешь?

Старый ключ сказал неохотно:

— Есть дверь, дубовая, крепкая. Я замкнул ее, — я и отомкну, будет время.

— Вот, — сказала отмычка, — мало ли дверей на свете!

— Мне других дверей не надо, — сказал ключ, — я не умею их открывать.

— Не умеешь? А я так всякую дверь открою.

И она подумала: «Верно, этот ключ глуп, коли он только к одной двери подходит». А ключ сказал ей:

— Ты — воровская отмычка, а я — честный и верный ключ.

Но отмычка не поняла его. Она не знала, что это за вещи — честность и верность, и подумала, что ключ от старости из ума выжил.

Палочка

Есть такая чудесная палочка на свете, — к чему ею ни коснись, все тотчас делается сном и пропадает.

Вот если тебе не нравится твоя жизнь, возьми палочку, прижми ее концом к своей голове, — и вдруг увидишь, что все было сон, и станешь опять жить сначала и совсем по-новому.

А что было раньше, в этом сне, про все вовсе забудешь.

Вот какая есть чудесная на свете палочка.

Колодки и петли

Шел, шел белый человек и пришел в коробку. Видит, — сидят черные люди, а лица у них белые. Удивился белый человек.

— Чего ж, — говорит, — у вас на ногах колодки?

А они смеются.

— Нельзя же, — говорят, — так стыдно ходить.

— Ну, — говорит белый, — а зачем у вас у каждого петля на шее?

А они пуще смеются.

— Нельзя же, — говорят, — так невежливо ходить.

Так ничего и не понял белый человек. Ушел домой, где не носят на ногах колодок, а на шеях петель.

Две свечки, одна свечка, три свечки

Горели две белые свечки и еще много ламп по стенам. Читал человек по тетрадке, а другие молчали и слушали.

Огни дрожали. Свечки тоже слушали, — им нравилось, но их потрясало, — оттого-то и дрожали огни.

Человек кончил. Задули свечи. Ушли.

Все равно.

Горела одна серая свечка. Сидела швея и шила. Ребенок спал и кашлял во сне. От стены дуло. Свечка плакала белыми, тяжелыми слезами. Слезы текли и застывали. Стало светать. Швея с красными глазами все шила. Задула свечу. Шила.

Все равно.

Горели три желтые свечки. Лежал человек в ящике, — желтый и холодный. Читал другой по книге. Женщина плакала. Свечки замирали от страха и от жалости. Пришла толпа. Пели, кадили. Понесли ящик. Свечи задули. Ушли.

Все равно.

Что будет?

Один мальчик спросил:

— Что будет?

Мама сказала:

— Не знаю.

Мальчик сказал:

— А я знаю.

Мама спросила:

— А что?

Мальчик засмеялся и сказал:

— А вот не скажу.

Мама рассердилась. Пожаловалась папе. Папа закричал:

— Ты как это смеешь?

Мальчик спросил:

— А что?

Папа опять закричал:

— Дерзости говорить! Ты что такое знаешь?

А мальчик испугался и сказал:

— Я ничего не знаю. Я пошутил.

Папа еще больше рассердился. Он думал, что мальчик знает что-то, — и закричал страшным голосом:

— Говори, что ты знаешь! Говори, что будет!

Мальчик заплакал и не мог сказать, что будет. И ему досталось.

Такое ведь вышло недоразумение!

Глаза

Были глаза, черные, прекрасные. Взглянут, и смотрят, и спрашивают.

И были глазенки, серые, плутоватые, — все шмыгают, ни на кого прямо не смотрят.

Спросили глаза:

— Что вы бегаете? чего ищете?

Забегали глазенки, засуетились, говорят:

— Да так себе, понемножечку, полегонечку, — нельзя, помилуйте, — надо же, сами знаете.

И были гляделки, — тусклые, нахальные. Уставятся и глядят.

Спросили глаза:

— Что вы смотрите? что видите?

Скосились гляделки, закричали:

— Да как вы смеете? да кто вы! да кто мы? да мы вас!

Искали глаза глаз таких же прекрасных, не нашли и сомкнулись.

Песенки

С виду он был так себе, забулдыга, — шлялся по улицам и дорогам, засиживался в кабачках, засматривался на веселых девиц, и ничего не было у него сбережено, а потому и почет ему был маленький.

Только иногда выйдет он на перекресток и запоет, — и такие слова он знал, что все ему тогда окликалось, — и птицы в лесу, и ветер в поле, и волны в море.

А собачка-пустолаечка говорила:

— Плохо, плохо! Все это пустяки.

А хитрая лисичка говорила:

— Плохо, плохо! Это он все о земном, а Бога-то и позабыл.

Ну что ж такое! Зато все живое ему окликалось: и птицы лесные, и волны морские, и рыскучие ветры.

Дорога и свет

Шли с возами люди по длинной степной дороге, и только звезды озаряли им путь. Ночь была долгая, и привыкли глаза их к мраку, и различали они все неровности и повороты пути. Но долог был путь, и скучно стало юному путнику.

Он сказал:

— Надо зажечь побольше фонарей, и осветить дорогу, и скорее пойдут лошади, и мы скорее достигнем цели.

Поверили ему люди, зажгли фонари, и, — мало им было того, — наломали ветвей, наделали факелов, разожгли костры, много заботились об освещении пути.

Лошади стали, — ничего, думали путники, — догоним после.

И озарились ясным светом окрестности, а звезды померкли, и увидели путники, что их путь не единственный: многие отделялись от него тропы и дороги, и каждая тропа и дорога казалась кому-нибудь самою короткою.

Перессорились попутчики и разбрелись, и солнце застанет их на разных дорогах и далеко от цели.

Два стекла

Одно стекло увеличивало, другое — уменьшало.

И первое стояло над каплею воды и говорило другому стеклу:

— Страшные, большие существа носятся и пожирают друг друга.

Другое смотрело на улицу и говорило:

— Маленькие человечки мирно беседуют и проходят, все проходят...

Первое сказало:

— Мои остаются. Боюсь, что доберутся они и до человечков.

Но второе сказало:

— Человечки уйдут...

Лампа и спичка

На столе стояла лампа.

С нее сняли стекло; лампа увидела спичку и сказала:

— Ты, малютка, подальше, я опасна, я сейчас загорюсь. Я зажигаюсь каждый вечер, — ведь без меня нельзя работать по вечерам.

— Каждый вечер! — сказала спичка, — зажигаться каждый вечер, — это ужасно!

— Почему же? — спросила лампа.

— Но ведь любить можно только однажды! — сказала спичка, вспыхнула — и умерла.

Капля и пылинка

Капля падала в дожде, пылинка лежала на земле.

Капля хотела соединиться с существом твердым, — надоело ей свободно плавать.

С пылинкою соединилась она — и легла на землю комком грязи.

Та самая

Шел поезд и шел все в одну сторону. И был там пассажир, который должен был выйти на той самой станции, где ждали его лошади и друзья.

Пассажир был нетерпеливый, на каждой станции выходил и спрашивал:

— Это — та самая станция?

А ему отвечали:

— Нет, еще не та.

И наконец он заснул в вагоне. Спал долго, видел очень приятные сны.

Вдруг проснулся, а поезд стоит. Пассажир побежал на платформу, спрашивает:

— Это — та самая станция?

А ему отвечают:

— Нет, уж не та.

И скоро поезд пошел дальше, а пассажир сидел в вагоне и плакал.

Равенство

Большая рыба догнала малую и хотела проглотить.

Малая рыба запищала:

— Это несправедливо. Я тоже хочу жить. Все рыбы равны перед законом.

Большая рыба ответила:

— Что ж, я и не спорю, что мы равны. Коли не хочешь, чтоб я тебя съела, так ты, пожалуй, глотай меня на здоровье, — глотай, ничего, не сомневайся, я не спорю.

Малая рыбка примерилась, туда-сюда, не может проглотить большую рыбу.

Вздохнула и говорит:

— Твоя взяла, — глотай!

Хрыч да хрычовка

Жили-были хрыч да хрычовка.

Жил хрыч пятьсот лет, хрычовка — четыреста.

Получал хрыч большую пенсию и отдавал ее хрычовке на расходы.

Хрыч носил фуфайку на теле, хрычовка чернила волосы фиксатуаром.

Хрыч нюхал табачок и ходил в баню париться, — хрычовка ела конфетки и ходила в русскую оперу.

Пошел раз хрыч в баню, парился, парился, запарился, умер на полке.

Пошла хрычовка в оперу, вызывала певца, кричала, кричала, закричалась, умерла на галерке.

Схоронили хрыча да хрычовку.

Тужить не о чем: будут хрычи, будут и хрычовки.

Самостоятельные листья

Сидели листья на ветке, на прочных черешках, и скучали. Очень неприятно: птицы летают, кошки бегают, тучи носятся, — а тут сиди на ветке. Качались листья, старались оторваться. Они говорили друг другу:

— Мы можем жить самостоятельно. Мы созрели. Не все же нам быть под опекою, сидеть на этой глупой старой ветке.

Качались, качались, оторвались наконец, упали на землю и увяли. Пришел садовник, вымел их с сором.

Одежды лилии и капустные одежки

В саду на куртине росла лилия. Она была белая с красным, красивая и гордая.

Она тихо говорила пролетавшему над нею ветру:

— Ты осторожнее. Я — царственная лилия, и сам Соломон премудрый не одевался так пышно и красиво, как я.

Неподалеку, в огороде, росла капуста.

Она услышала лилейные слова, засмеялась и сказала:

— Этот старый Соломон был, по-моему, просто санкюлот. Как они одевались, эти древние? Прикроют кое-как наготу халатом, да и воображают, что вырядились по самой лучшей моде. А вот я выучила людей одеваться, уж могу себе чести приписать: на голышку-кочерыжку первую покрышку, рубашку, на рубашку стяжку, на стяжку под-одежку, на нее застежку, на застежку одежку, на одежку застежку, на застежку пряжку, на пряжку опять рубашку, одежку, застежку, рубашку, пряжку, с боков покрышку, сверху покрышку, снизу покрышку, не видать кочерыжку. Тепло и прилично.

Злая гадина, солнце и труба

Забралась в дом злая гадина, людей покусала и повыгнала, углы запакостила и осталась жить: понравилось ей в доме.

Люди плакали, да ничего не могли сделать.

Сказало им солнце:

— Я вам помогу. Злая гадина боится света.

И послало в окна дома свои лучи. Злая гадина зашипела, закрыла все окна черными ставнями, и уж ни один солнечный луч не мог войти в дом. А которые попали, те умерли.

Тогда сказала труба:

— Солнце не помогло, дай-ка я попытаюсь помочь. Злая гадина любит тишину и не выносит звука.

И труба затрубила во всю мочь.

Сквозь черные ставни, сквозь толстые стены пробились трубные звуки.

Зашипела злая гадина, уползла.

Люди вошли в дом.

Только долго еще оставался в доме скверный дух от злой гадины.

Мухомор в начальниках

Жил на свете мухомор.

Он был хитрый и знал, как устроиться получше: поступил в чиновники, служил долго и сделался начальником.

Люди знали, что он не человек, а просто старый гриб, да и то поганый, но должны были его слушаться.

Мухомор ворчал, брюзжал, злился, брызгал слюною и портил все бумаги.

Вот один раз случилось, когда мухомор выходил из своей кареты, подбежал к тому месту босой мальчишка и закричал:

— Батюшки, какой большой мухомор, да какой поганый!

Городовой хотел дать ему подзатыльника, да промахнулся.

А босой мальчишка схватил мухомора и так швырнул его в стену, что мухомор тут и рассыпался.

Босого мальчишку высекли, — нельзя же прощать такие шалости, — а только все в том городе были очень рады.

И даже один глупый человек дал босому мальчишке на пряники.

Сказки на грядках и сказки во дворце

Был сад, где на грядках вдоль дорожек росли сказки.

Разные там росли сказки, белые, красные, синие, лиловые, желтые, — иные сказки пахли сладко, другие хоть и не пахли, да зато были очень красивые.

Был сынишка у садовника; он каждое утро подолгу любовался этими сказками.

Он вызнал их все и часто рассказывал своим товарищам на улице: в этот сад простых детей не пускали, потому что это был сад великой царицы.

Рассказали дети про сказки на грядках своим мамкам да тятькам, те своим знакомым, — дальше — больше. Узнала и царица, что у нее в саду растут сказки. Она захотела их увидеть.

И вот один раз утром садовник нарезал много сказок, собрал их в красивый и пышный букет и послал во дворец.

Плакал садовников сынишка, зачем режут сказки, да его не слушали.

Мало ли кто о чем заплачет!

Увидела царица сказки, удивилась и сказала:

— Что же в них интересного? Какие это сказки? Это самые простые цветы.

И выбросили на двор бедные сказки, а сынишку садовника больно высекли, чтобы не говорил глупостей.

Пожелтевший березовый лист, капля и нижнее небо

Капля упала с неба прямо на березовый лист. Это была испуганная и дрожащая капля, — и березовый лист пожалел ее.

— Отчего ты дрожишь? — спросил он.

— Я совсем не того ожидала, — сказала капля, — мне сказали, что и внизу такое же небо, как наверху.

— Здесь нет никакого неба, да никогда и не было, — ответил березовый лист. — Небо всегда бывает наверху, а внизу земля, камни и наши корни.

— Мне страшно, — сказала капля, — я ошиблась.

— Ничего, не бойся, — утешал ее березовый лист. — Будем жить вместе, уж я не дам тебя в обиду.

Капля приникла к березовому листу. Уже они готовы были сочетаться навеки. Но вдруг капля услышала шум листьев и вся радостно задрожала.

— Послушай, — сказала она, — вон там внизу я слышу, как листья колышутся и шепчут: нижнее небо, нижнее небо.

— Какие глупости! — с досадою сказал березовый лист, — я же тебе говорю, что никакого нет нижнего неба.

Но капля сорвалась и упала вниз, а лист пожелтел с горя: он успел влюбиться в каплю.

Три плевка

Шел человек и плюнул трижды.

Он ушел, плевки остались.

И сказал один плевок:

— Мы здесь, а человека нет.

И другой сказал:

— Он ушел.

И третий:

— Он только затем и приходил, чтобы нас посадить здесь. Мы — цель жизни человека. Он ушел, а мы остались.

Небесные сплетники

Солнце, луна и звезды круглые сутки подглядывали, что делает человек, и все рассказывали Великому Господину Высот, — а он людей за все наказывал.

Было это в той стране, где живут краснокожие.

И вот пошел красный мальчик в горы.

Шел долго. Пришел к Великому Господину. Говорит:

— Охота тебе слушать всех этих сплетников, что шляются по небу. И тебе беспокойство, да и нам очень круто.

Засмеялся Великий Господин Высот и создал тучи.

Полегче стало людям: не все видят небесные соглядатаи, не о всем сплетничают Великому Господину Высот.

Кукушкин флирт

У одной Кукушки птенцы воспитывались на казенный счет в Воздушном кадетском корпусе, а сама Кукушка занималась флиртом, с тремя птицами разом: Дятлом, Филином и Дроздом.

Дятел был настойчив и положителен, Филин — солиден, и он любил уединенную жизнь и ночные поэтические прогулки; оба были скромные.

Дрозд же блистал светскими талантами, был тщеславен, завидовал Соловью, любил прихвастнуть, — и расщелкал про свои любовные похождения. Положим, по секрету, — компании молодых Воробьев, но те разболтали по всему лесу.

Все птицы были возмущены таким бесстыдным поведением Кукушки и решили с нею не кланяться. Тогда Кукушка прилетела к старому Воробью, призналась ему в любви и сказала:

— А с теми тремя я занимаюсь так только, для отвода глаз, чтобы ваша старая Воробьиха не узнала, а также для упражнения, чтобы не быть вам скучною.

Старый Воробей сказал:

— Это другое дело.

И уверил всех птиц, что на Кукушку наклеветали.

Так восстановила Кукушка свою честь.

Сделался лучше

Много всяких мальчиков есть на свете, хороших и худых.

Вот жили-были два мальчика, — хороший и шалун. Пришел к ним однажды волшебник, дядя Получше. И спросил их:

— Хотите быть лучше?

Хороший мальчик сказал:

— Хочу быть лучше, милый дяденька, — хорошему везде хорошо.

А шалун сказал:

— А мне, дядя, не требуется, я и так хорош. С большого-то хорошества как бы рот зеваючи не разорвать.

Дядя Получше сказал:

— Ну и оставайся шалун. А ты, хороший мальчик, уж таким станешь сладким, что всем на диво.

И ушел. И сделался хороший мальчик таким сладким, что из него патока потекла. Уж ему и не рады были, — куда не придет, везде своей патокою напачкает. И мама сердилась.

— На твои, — говорит, — сладости белья не напасешься. Уж лучше бы ты в хулиганы пошел.

А хорошему мальчику нравилось патоку из себя точить. Так он и остался. Вырос, угождает: из бумаги фунтики делает, в фунтики патоку точит, нужным людям подносит.

Стал маленьким

Купил один человек землицу и домик. Землица — шагнул раз, шагнул два — да и в загородку стукнулся. Домик — войти хочешь, нагнись.

Неловко было человеку.

Сказал ему старый воробей:

— А ты бы стал поменьше.

А человек отвечает ему очень рассудительно:

— И рад бы, да как станешь меньше, коли с коломенскую версту вырос.

— А ты сходи в аптеку к немцу, — сказал старый воробей, — пошепчись с ним по секрету и сунь ему барашка в бумажке, — он тебе уменьшительных капель из-под микроскопа даст, ты малюсенький будешь.

Человек обрадовался, сделал все, как велел ему старый воробей, — и стал таким маленьким, как оловянный солдатик.

Приехал в свой домик, на свою землицу, — и все стало ему впору.

Дом стал большой-большой, — в каждой каморке можно танцевать кадриль в семь тысяч пар, так что человек разгородил свой домик и стал сдавать другим человечкам, чтобы получить от малого своего достатка большую себе выгоду.

Землица тоже стала громадная такая, что пойдет человечек гулять, кругом обойдет, — упарится с устатку. И землицу накрошил

человечек, дачки-конурки построил, стал сдавать, немалые деньги брать. Деньги берет, в банк носит, процент ему идет, богатеет-жиреет человечек.

Но прилетела тут большая ворона, ухватила человечка за ворот, потащила к себе в гнездо, детенышам на прокорм. Спокаялся человечек, что старого воробья послушался, да уж поздно.

Старый-то воробей, может быть, нарочно все это одно к одному подвел.

Золотой кол

Мальчик Вова рассердился на папу. Говорит Вова няне:

— Как только вырасту, поступлю в генералы, приду к папиному дому с пушкой, папу в плен возьму и на кол посажу.

А папа тут как тут и говорит:

— Ах ты, злой мальчик! Как же это ты папу на кол хочешь посадить? Ведь папе больно будет.

Вова испугался, да и говорит:

— Так ведь это, папа, будет кол золотой и с надписью: за храбрость.

Будущие

Никто не знает, что будет.

Но есть место, где будущее просвечивает сквозь лазурную ткань желания. Это место, где покоятся еще не рожденные. Там отрадно, покойно, свежо. Нет печали, и вместо воздуха разлита атмосфера чистой радости, в которой легко дышится нерожденным.

И никто не уходит из этой страны, пока не захочет.

Были там четыре души, которые в один и тот же миг захотели родиться на нашей земле.

И в лазурном тумане желаний явились им наши четыре стихии.

И сказал один из будущих:

— Я люблю землю, мягкую, теплую, твердую.

И другой:

— Я люблю воду, вечно падающую, прохладную, прозрачную.

Я третий:

— Я люблю огонь, веселый, светлый, очищающий.

И четвертый:

— Я люблю воздух, стремящийся вширь и ввысь, легкий воздух жизни.

И так сбылось.

Стал первый рудокопом, — и на работе обвалилась шахта и засыпала его.

И второй лил слезы, как воду, и наконец утопился.

И третий сгорел в пылающем доме.

И четвертого повесили.

Невинные, чистые стихии... Неразумие хотящих...

О отрадное место небытия, зачем из тебя уводит Воля!

Склад див дивных и хороший мальчик

Хорошего мальчика отпустили папа с мамою на два часа погулять.

Он и пошел.

Шел, шел, зашел в неведомую страну.

Видит, — стоит дом, в доме сложены дива дивные, а у дома сидит старая карга.

Он с нею поздоровался по-хорошему: левою ножкою шаркнул, правою ручкою шапочку приподнял, причесанною головкою поклонился.

Карге эти штуки понравились.

Она ему и говорит:

— Иди в дом, хороший мальчик, я подарю тебе то, что тебе приглянется.

Хороший мальчик обрадовался и пошел за каргою. Показала ему карга ковер-самолет. Понравился он хорошему мальчику.

— Это, — говорит, — хорошо, что он сам летает.

— Да, — сказала карга, — сам летит, выше дерева стоячего, ниже облака ходячего.

Тут хороший мальчик приужаснулся, говорит:

— Не люблю я так высоко заноситься. Мне бы хотелось в Париж слетать, на Ротшильда посмотреть.

А карга и говорит:

— Он в такие близкие места и внимания не возьмет беспокоиться. Уж он не полетит ближе, как за тридевять земель, в тридесятое государство, где Царь-Девица живет.

И не захотел хороший мальчик ковра-самолета.

— Вот мне эта красная шапочка больше нравится, — говорит.

А карга ему объясняет:

— Это шапка-невидимка. Как наденешь на себя да задом наперед повернешь, так тебя никто и не увидит.

И это не понравилось мальчику.

— Я, — говорит, — не хочу прятаться. Я — хороший мальчик, и на меня папа, мама и все знакомые любуются и гостинцев дают, — так мне даже невыгодно такую шапку носить.

— Ну возьми скатерть-самобранку, — сказала карга. — Какого кушанья ни попросишь, она тебе всего сейчас сама поставит.

Обрадовался хороший мальчик, кричит:

— Скатерть-самобранка, раскрывайся, подавай мне две порции крем-брюле.

Зашевелилась скатерть, затряслась, точно от смеха. Да и карга засмеялась, говорит:

— Порции, хороший мальчик, захотел, так на это есть вичка-самодралка, вот уж она к тебе подбирается.

Испугался хороший мальчик, скорее давай Бог ноги.

Так ничего и не выбрал.

Зато домой пришел вовремя, папа с мамою его похвалили и дали ему после обеда две порции мороженого.

Они

Мы могли бы их увидеть, если бы захотели, хотя они совсем не такие, как мы, и почти не замечают нас. И что им до нас!

Один раз я увидел его.

Был вечер, и я был вместе с моею тоскою в безмолвных объятиях моих стен.

Минуты горели, потому что я не умел еще погасить сожигающего их пламени.

И мечта моя билась в изнеможении на желтых и блестящих досках моего пола.

Предметы предстояли мне, и я им верил.

И было краткое мгновение...

О, если бы я умел найти слова о нем!

Все призрачное, все привычное озарилось его светом, отошло от моего внимания, — и на меня упал его несказанный взор.

И, отвечая на мой ужас, он сказал мне только:

— Не бойся.

И опять настало время, и предметы снова очаровали меня.

Палочка-погонялочка и шапочка-многодумочка

Одному хорошему мальчику тетя подарила палочку-погонялочку.

— С этою, — говорит, — палочкой ты далеко уйдешь, в люди выйдешь. Только не ленись. Как тебе что понадобится сделать, так ты сейчас палочку-погонялочку скричи: палочка-погонялочка, прибавь мне ума-разума.

Вот с тех пор, что ни понадобится хорошему мальчику, зададут ли ему трудный урок, пошлют ли его куда что купить или принести, — сейчас он и кричит:

— Палочка-погонялочка, прибавь мне ума-разума.

И палочка-погонялочка тут как тут, начнет хорошего мальчика подгонять, так что у него откуда ноги берутся, бежит, земля дрожит, пятки сверкают. А коли урок учить надо, так опять у палочки-погонялочки своя и на это сноровка: чуть хороший мальчик зевнет или потянется, сейчас она его охаживать примется, мигом лень как рукою снимет.

И стал хороший мальчик на диво послушный да прилежный. Папа, мама, дяди и тети, дедушки и бабушки им не нахвалятся. И самому хорошему мальчику сначала такая сноровка нравилась: известно, дитя малое, неразумное; ему палочка-погонялочка спину бьет, а он себе смеется и очень весело заливается, хохочет. Забавно глупышу, а кожа молодая, да и своя, некупленная.

Только вот видит он, что кожа-то у него вся в синяках. Пойдет ли купаться, — соседние ребята смеются.

— Опять, — говорят, — тебя твоя палочка-погонялочка исполосовала.

— Зато, — говорит хороший мальчик, — я всякий урок выучить могу и всякую посылку снесу без сомнения.

И опять ребята смеются:

— Уроки, — говорят, — ты учишь, а какую тебе за то награду дают?

— Книжку с картинками, да в красном переплете, да с золотыми буквами, — говорит хороший мальчик.

А ребята ему отвечают, и так убедительно:

— Такие-то книжки и у нас есть, да только тебе книжку дают с подделкою: середка-то у нее вся выдрана, — самое замечательное место мыши съели.

Посмотрел, посравнил хороший мальчик, видит: и впрямь у ребят книжки настоящие, в полном составе, а у него вместо книжки мышиный огрызок. И стало хорошему мальчику досадно.

«Ну, — думает, — побегу я в чужие края, узнаю там, как мне без палочки-погонялочки, да еще того лучше прожить».

Побежал хороший мальчик за море далеко, а палочка-погонялочка его гонит, поколачивает. Бежит хороший мальчик, плачет. Добежал

хороший мальчик до избушки на курьих ножках. Вышла оттуда Баба-Яга, костяная нога, спина глиняная. Спрашивает:

— Хороший мальчик, куда путь-дороженьку держишь? Зачем так проворно поспеваешь?

Обсказал ей мальчик все свое дело. Баба-Яга ему и говорит:

— А ты, дурачок, палочку-погонялочку сломай, а надень на себя вот эту шапочку-многодумочку.

И дáла ему Баба-Яга шапочку-многодумочку.

И как только надел ее на себя хороший мальчик, так зарадовался и сказал:

— Шапочка-многодумочка лучше палочки-погонялочки.

И сломал палочку-погонялочку.

Вернулся хороший мальчик домой и стал жить-поживать по-хорошему, неколоченый. А как надо ему что трудное сделать, сейчас он шапочку-многодумочку наденет и все свои дела очень хорошо рассудит.

Люди добрые, сломайте-ка палочку-погонялочку, надевайте шапочку-многодумочку.

Нетопленые печи

В одном доме были холодные печи. Их не топили, потому что боялись пожара. Хозяйка была скупая. Она говорила:

— Стенка есть, потолок да крышка есть, пол есть, двери войлоком околочены, в окна зимние рамы вставлены, щели в них забиты паклей, замазаны замазкой и закрашены краской. Холодного воздушку не дунет, наружной ветриночки не венет. Чего же вам больше?

Хозяйкины дети, глупыши малые, ее просили:

— Ты бы нам, мама, в детской хоть когда-когда печечку вытопила, а то уж больно зябко: зуб на зуб не попадает.

А скупая хозяйка им отвечает весьма равнодушно и с такою ласковою усмешечкою:

— И, полно, глупенькие, какая вам печечка? Ваше дело молодое, — стерпится. Вы воздушку не шевелите, ветру не делайте, сидите себе смирнехонько да скромнехонько, друг к дружке покрепче прижмитесь, друг о дружку грейтесь, вот зиму-то и перетерпите. А там, может быть, и весна придет, так я вас на травку выпущу. А дрова-то в печке жечь, зря денежки в трубу выпускать, дымом воронам носы коптить, — нет, милые, этого у меня в доме, пока я жива, не будет, и вы эти несбыточные мечтания оставьте.

Сама лисью шубу на себя накрутила, ковровых платков на голову наслоила, ноги в теплые чулки да в меховые сапоги обула, — ходит да на деток покрикивает.

— Мне, — говорит, — очень даже тепло.

Ну а ребятишки, известно, детским делом, одеты тоненько да легонько. Да и пуговки у них многие поотрывались, да и прорешек немало понакопилось. Дрожат от стужи, зубами щелкают, иной раз и всплачут.

Только один раз старший мальчик придумал такое дело:

— Что, — говорит, — нам стынуть! Этак вся у нас душа вымерзнет. Весна придет, а от нас одни трупики останутся. Поломаем-ка мы столы да стулья, положим их в печку, погреемся.

— Мама забранится, — сказали девочки. — Как бы не поколотила!

Но уж так зазябли ребятишки, что долго думать не стали, — все свои столы и стулья поломали и в печь положили. Печку топят, огонь весело горит, ребята от радости смеются и промеж себя говорят:

— Позовем и маму погреться.

Лишние веревочки

У одного мальчика мама была строгая и папа был строгий. Как папа или мама увидят своего мальчика, так сейчас и закричат на него:

— Не шали! Как ты смеешь шалить, скверный мальчишка! Тишину и порядок нарушаешь.

Ну а мальчик, известно, ребячьим делом, без шалостей не мог прожить. Он бы и рад не огорчать папашу и мамашу, да никак не мог удержаться: нет-нет, да и нашалит.

Вот однажды папа с мамою и сказали:

— Слова на тебя не действуют, так мы перейдем к делу. Мы тебя скрутим, — ты у нас позабудешь, как шалят.

Хорошо, — сказано — сделано. Связали мальчику руки веревочкою так, чтобы добрые слова писать он мог, а на дерзкие слова чтобы у него не было размаха; поноски для папаши с мамашею носить можно, а в барабан бить нельзя. Связали ему ноги, — ходить тихохонько можно, а уж побежать, — нет, брат, не побежишь. На лицо надели хорошенький намордничек, — манную кашку кушать можно, а кусаться и думать не моги. К спине привязали палку, чтобы мальчик прямо держался, по форме. Ну так скрутили мальчика, что просто беда. Не может мальчик и шага лишнего сделать. И стал мальчик скучный, все плакал потихоньку. А папа с мамою говорили:

— Плачь, плачь, — видишь, как нехорошо шалить. Мы тебе раньше доверяли, а теперь уж ты потерял право на доверие. Сам на себя пеняй.

Бродит тихонечко мальчик, а соседские ребята над ним смеются. А у мальчика папа и мама были строгие, но глупые. Они сначала радовались, что соседи над мальчиком смеются. И сами мальчика стыдили.

— Видишь, — говорят, — все над тобою смеются.

Только один раз, когда они спали, кто-то разбил им стекло в окне. Бросили с улицы камень, а на камне бумажка привязана, а на бумажке написано очень крупными буквами: «Это вам за то, что вашего мальчика обижаете».

Папа с мамою прочитали бумажку по складам, шибко рассердились, своего мальчика наказали, городовому пожаловались, — только городовой ничего не мог сделать. Окрутили папа и мама мальчика еще новыми веревочками, — даже и там второй раз связали, где уже

и раньше было связано, и легли спать, — сами поели, а мальчик без ужина, но привязанный к своей кроватке для спокойствия и безопасности и чтобы на стену не полез.

Только им в эту ночь и второе стекло камнем высадили, и на камне опять бумажка была, а на бумажке написано: «И все стекла высадим, если мальчика обижать станете».

Тогда папа с мамою струсили, пошли ко всем соседям и везде объявили:

— Мы с нашего мальчика излишние веревочки снимем.

Сняли с мальчика половину веревочек, — те, что лишние были навязаны, — и легли спать спокойно, — колпаки надели и спят, думают, — никто их не тронет.

Идол и переидол

Сошлись на улице двое мальчишек и ну переругиваться. Сперва ругались, потом один перед другим выхваляться стали. Один говорит:

— У меня мамка пьяная-распьяная лежит на полу и последними словами ругается.

А другой говорит:

— А у меня и вовсе мамки нет, — я из банной сырости завелся.

— Эка невидаль! — говорит первый, — я своих богов продал, деньги пропил.

— Важное кушанье! — отвечает другой, — и я богов продал, а на те деньги идола купил.

— А я у соседа переидола украл.

— Мой идол большой, деревянный, — я тебе им голову проломлю.

— А у меня переидол железный, — махну, ты у меня разлетишься.

Принесли они идола и переидола: идол — оглобля, переидол — лом железный. Стали драться. Кровь течет, башки трещат, а они знай себе дерутся. Понравилось.

Харя и кулак

Сидела в избе харя и глядела на улицу. Сидит, глядит, — мухи дохнут, молоко киснет.

Шел мимо кулак. Понравилась ему харя. Он и говорит:

— Харя, а харя, иди за меня замуж.

А харя ему отвечает:

— Пошла бы я за тебя замуж, а только вы, мужчины, коварные изменщики. Променяешь ты меня на прекрасную Алену, а я буду самая разнесчастная.

Кулак отвечает:

— Небось, я эту Алену сокрушу, ты мне только дай ее адрес.

Харя очень обрадовалась, заставила кулака побожиться, что он не обманет, и дала ему Аленин адрес. Пошел кулак к Алене прекрасной, нашел Алену прекрасную по адресу и своим глазам не верит. Спрашивает:

— Ты Алена прекрасная?

Алена смеется, говорит:

— Я сама и есть.

Плюнул кулак, говорит:

— Ни кожи, ни рожи, ни виденья. Не хочу о тебя и руки пачкать.

Пошел к харе. Поженились. Кажиный Божий день дерутся. Все харя кулака к Алене ревнует.

Застрахованный гриб

Один гриб застраховался. Съездил в столичный город, заплатил, сколько потребовалось, на все лето застраховался и вернулся в свой лес. На шляпку ему дощечку малую гвоздиками приколотили, а на дощечке надпись, очень явственно обозначает: «Страховое общество Россия». Стоит гриб и кичится. От всех грибов ему большое почтение.

Пришли в тот лес коровы. Траву едят, грибами лакомятся, сами кутасами побрякивают да хвостами помахивают, оводов отганива-

ют. Очень хорошо себя чувствуют. Как генералы на даче. А как подойдут к застрахованному грибу, так сейчас у них на душе неспокойно становится, и они поскорее назад.

— Его, — говорят, — нельзя есть. Он, — говорят, — заштрахован. От него, — говорят, — надо подальше, а то еще невзначай ногой на него ступишь, беды не оберешься.

Но вот подошла одна корова, хочется ей этот гриб съесть. Стоит и думает:

— А что мне будет, если я его стрескаю?

Спрашивает других коров:

— А где тут гриб стоит заштрахованный?

Такой вид из себя делает, будто бы сама не видит.

Показали.

— А какая, — спрашивает, — на нем штраховка?

— А вот, — говорят, — дощечка малая. Штука она маленькая, а сила в ней большая.

Подумала корова, языком дощечку малую лизнула, рогом подпихнула, — свалилась тут дощечка малая на гнилой пень.

— Ну, — говорит корова, — теперь штраховка на гнилой пень перешла. Нельзя теперь гнилой пень трогать, — он заштрахованный.

А другие коровы ей мычат в ответ с большим неудовольствием:

— На что нам гнилой пень? Нам, — мычат, — гнилого пня не надо, нам, — мычат, — грибов надобеть.

Но, пока они так изъяснились насчет гнилого пня, корова, не будь дура, застрахованный-то гриб и съела. Говорит:

— Заштраховался, да не крепко.

Съела и пошла.

Ну и ничего ей так и не было.

Хвасти и вести

В одном лесу жили хвасти. Маленькие, грязненькие, поганенькие, как лишаи. На весь лес расширились и хвастают:

— Все леса, все поляны заберем под себя, и никто нам не посмеет противиться.

А в соседнем лесу жили вести. Тоже маленькие, только юркие, как ящерицы. Бегают, шныряют везде, где что делается, сейчас вызнают.

И вот вызнали вести, что хотят хвасти их завоевать. Собрали вести, недолго думая, свое войско, пошли на хвастей, идут, не зевают.

Встретились. Хвасти встали, растопырились, принялись хвастаться:

— Мы — такие, сякие, немазаные. Лучше нас нет никого. Мы вас поколотим, в плен заберем, лес ваш отвоюем.

Вести говорят:

— Ну что стоять, давайте драться.

А хвасти отвечают очень важно:

— Подождите, мы еще не все перехвастали. Мы хвасти, и сами очень хорошие, и порядки у нас за первый сорт...

А тут вести, не говоря худого слова, быстро на хвастей напали, расколотили их на славу и говорят:

— Ну, хвасти, битые, колоченые, по земле поволоченные, полно драться, давайте мириться, платите нам выкуп.

А хвасти говорят очень жалобно:

— Мы — хвасти, у нас голые пясти, платить вам выкуп не из чего.

Но только вести хвастям не поверили, карманы у хвастей повыворотили, большой себе выкуп вытрясли.

Вернулись хвасти домой, сидят, пригорюнились, а все-таки хвастают:

— Наши войски бились по-свойски, очень геройски. Боятся нас вести, не смеют к нам в лес лезти, нас, хвастей, ести.

Белые, серые, черные и красные

В одном большом доме жил мальчик Кисынька. Папа и мама у него баловники были, на своего Кисыньку надышаться не могли, — и стал Кисынька капризным мальчишкою. Все хочет сделать по-своему.

А так как он еще был мал и глуп, то и выходило все у него нехорошо. И все-то он капризничает, все-то буянит, на маму ножкою топает, стекла бьет, сестренок и братишек колотит, а то с соседскими мальчишками в драку увяжется. Приходит в синяках, ревет, жалуется, а сам не унимается.

И уж такой озорной стал мальчишка, — у соседей стекла бьет, папе с мамою платить приходится, а ему хоть бы что.

Вот и собрались за печкою Домашние — нежити малюсенькие; они вместе с людьми всегда обитают, только люди их не все примечают. Не всякому тоже дано эти дела понимать.

Собрались маленькие Домашние, сидят, толкуют, шепчутся своими шелестинными голосочками, паутинными ручками помахивают, незримыми головками потряхивают:

— Надо Кисыньку образумить, а то вырастет Кисынька большой шалопай, со глупа ума натворит бедовых дел, осрамит на весь свет весь наш честной дом.

Пошептались, да и порешили, — послать белых Кисыньку образумливать. Пошли к Кисыньке белые. Чистенькие, веселенькие, живыми водицами умытые, белыми тафтицами прикрытые, кудри светлые развеваются, губы алые улыбаются. Стали Кисыньку улещивать ласково:

— Милый Кисынька, будь умником, веди себя хорошенечко, папе, маме не дерзи, малых деточек не обижай, о себе много не думай. Мы тебе, голубчик, невиданных игрушек надарим, коли ты паинькой будешь.

А Кисынька закричал:

— Убирайтесь, куклы тараканьи. Со всякой мелюзгой не стану разговаривать.

А сам маминой кошечке на хвост наступил.

Ушли от него белые, пришли серые. Все словно пылью покрытые, сами кислые да сердитые. Говорят Кисыньке скучные слова:

— Стыдно, Кисынька, капризничать да шалберничать. Людей бы ты постыдился, Бога бы ты побоялся. Папа с мамой терпят, терпят, да и за прут возьмутся.

А он им кричит:

— Пошли к черту, не мешайте.

А сам бабушкину собачку за окошко вышвырнул.

Ушли от него серые. Пришли черные. Все как арапы черные, а глаза угольками горят. Кричат Кисыньке:

— Не смей шалить, а то будет худо.

А Кисынька им отвечает:

— Вот нашалюсь, тогда и перестану.

Сабелькою помахивает, лампадку опрокинул, деревянным маслом мамино любимое кресло измазал. Потом на пол сел, стал спички чиркать и на ковер бросать.

Тут черные ушли, пришли красные. Как с цепи сорвались, кричат, визжат, беснуются. Зажженные Кисынькины спички подхватывают, к занавескам на окнах их приставляют.

Начался тут пожар, весь дом сгорел, и уже после пожара вытащили Кисынькины обгорелые косточки.

Плакали папа с мамою, да поздно.

Спатиньки

Жили были спатиньки, — серенькие, маленькие, все прячутся, сами высматривают, кому спится, сладко дремлется.

Пошел Воля в поле, где сушили сено. Повалился Волюшка на сено, лежит, ногами балуется, руками сено загребает, — а спатиньки тут как тут. Один спатинька сел Волюшке на правый глаз, другой спатинька сел Волюшке на левый глаз, — закрылись глаза у Волюшки. Спит себе Воля, приятные сны видит, — а спатиньки со всех сторон набежали, шалят, возятся, на Волю сено наворачивают. Всего завалили, только Волино лицо на воле оставили.

Прирыскали из лесу серые волки. Хотят они Волюшку стрескать, ходят по сену, нюхают, ищут. А только как серый волк Волю занюхает, тотчас ему двое спатинек на глаза и усядутся, — завалится серый волчище, захрапит на все поле.

Не знаю, чем бы дело у них кончилось, — да пришла тут старая няня, на серых волков сердито цыкнула, Волюшку домой увела, дорогою нашлепала:

— Не спи, Воля, в поле, лучше спатиньки дома.

Черемуха и вонючка

Росла черемуха, цвела и пахла. Шла мимо вонючка, носом покрутила, спрашивает:

— Ты чего это, черемуха, пахнешь?

А черемуха ей отвечает:

— Цвету, оттого и пахну.

Говорит вонючка очень сердито:

— Это мне совсем не нравится, и очень даже смешно. Уж я ли не барыня, да и то воняю, а ты, простая черемуха, пахнуть вздумала.

— Такое уж мое сиротское дело, — говорит ей черемуха, — пахну да и пахну. Богу во славу, людям во утешение, — а ты, барыня, ступай своею дорогою, воняй сколько хочешь.

Вонючка распалилась гневом, визжит поросячьим голосом:

— Не смей пахнуть, мужичка! Слушайся моего, барского приказа!

Черемуха ей резоны представляет со всею политикою:

— Не могу я не пахнуть, сударыня-барыня, — уж такое дадено мне свыше определение, — хоть тресни, да пахни, крещеный люд весели. А ты, сударыня-барыня, вонючее благородие, иди себе подальше, коли тебе мой сиротский дух не нравится.

— А вот и не пойду! — кричит вонючка, — не могу позволить таких непорядков, буду стоять близко, около, перевоняю тебя, окаянную черемуху.

Стоит под черемухою да воняет, — что ты с нею поделаешь!

Спасибо, шли мимо добрые люди. Сперва-то, не разобрав того дела, черемуху обхаяли:

— Фу, — говорят, — какая черемуха противная! чем бы ей пахнуть по-хорошему, а она воняет по-анафемски.

А потом, как увидели, в чем тут причина, взяли зашибли вонючку толстою палкою, зацепили вонючку на железный крюк, сволокли ее на помойную яму. Так вонючка и кончилась.

Гули

Жили Гули, лили пули, ели дули. Сами ели и соседов потчевали. Очень им весело было.

Только уж так они много пуль слили и дуль съели, что земля не стерпела, трястись начала. Пришел к гулям Карачун, взял их на цугундер, снес их к чертовой бабушке.

Чертова бабушка посадила их на лавочку, угостила их кашею из горючей смолы с адскою серою. Смоляную кашу съели гули, да и ножки протянули, очи закатили, сами застыли.

Повернула их чертова бабушка в чертовы куклы, отдала их играть адовым голоштанным ребятам. Ну а те, известно, чертенята озорные, первым делом гулям головы поотрывали.

Так-то кончились гули.

Смертерадостный покойничек

Был такой смертерадостный покойничек, — ходит себе по злачному месту, зубы скалит и очень весело радуется. Другие покойники его унимать, корить было стали, говорят:

— Ты бы лежал смирнехонько, ожидая Страшного Суда, — лежал бы, о грехах сокрушаяся.

А он говорит:

— Чего мне лежать, — я ничего не боюсь.

Ему говорят:

— Сколь много ты нагрешил на земле, все это разберут и пошлют тебя в тартарары, в адскую треисподнюю, в геенну огненную, на муки

мученские, на веки вечные, — смола там будет кипучая кипеть, огонь воспылает неугасимый, а демоны-то, зело страховитые, будут мукам нашим радоваться.

А смертерадостный покойничек знай себе хохочет:

— Небось, — говорит, — меня этим не испугаешь, — я — рассейский.

Фрица из-за границы

Одни родители, папа с мамою, долго сердились на своих мальчиков, Кешку да Пешку, — своевольные были Кешка да Пешка. И чего только с ними папа и мама ни делали, и по-хорошему-то их унимали, и по-родительски, а им все неймется. Шалят, самочинствуют, да и на-поди.

Вот один умный дядя и посоветовал папе и маме:

— Что, — говорит, — вы на них смотрите, на таких балбесов? Да вы их сгоните со двора, а вместо них выпишите из-за границы парочку немчиков; там, — говорит, — ребята очень хорошие и всем комплиментам крепко научены.

Папа с мамою обрадовались, так и сделали: Кешку да Пешку выгнали вон, а на их место выписали немчика: на пару немчиков денег жаль было, да и думали, что и один хороший мальчик лучше двух плохих.

Кешка да Пешка долго плакали, прощения просили, обещались не шалить, домой очень умильно просились, да уж не простили их папа с мамою:

— Нельзя, — говорят, — все сроки вышли, и немчику билеты железнодорожные выправлены, так не пропадать же деньгам. Идите, — говорят, — с Богом, подобру-поздорову.

Поныли еще Кешка да Пешка, Богу помолились, кресту поклонились, да и пошли, горемычные.

А на место их приехал вскорости из-за границы мальчик Фрица, чистенький, вежливенький, субтильный. Папе и маме книксен сделал,

ручки лизнул и тоненьким голоском гут-морген проговорил, — все как следует по заграничному правилу.

Только скоро у папы и у мамы пошли с мальчиком Фрицею нелады, потому что Фрице большая чистота требовалась, а у папы с мамою к чистоте душа не лежала, и от большой чистоты им тошно становилось.

Придет, бывало, Фрица и заговорит учтиво:

— Глубокоуважаемые родители, дорогой и душевно почитаемый папочка, милая и сердечно любимая мамочка, позвольте мне чистую рубашечку, ибо та, которую я ношу в продолжение двух недель, несмотря на все мое старание не пачкать моей одежды, все-таки утратила свою первоначальную чистоту и нуждается в стирке.

А папа с мамою говорят:

— Хорош и в этой рубашке, подожди до бани.

Так и во всем. Попросит Фрица чистой тарелки, ему папа с мамою говорят:

— Жри на грязной.

Попросит Фрица купить ему частый гребешок расчесывать головку, ему говорят:

— Своей пятерни мало, так чешись десятерней.

Попросит помыться раньше банного срока, папа с мамою скажут:

— В грязи теплее.

Стал Фрица по ночам плакать, начал Фрица худеть, начал Фрица от грязи паршиветь, пришла к Фрице русская холера, скрутила Фрицу в одночасье.

Схоронили папа с мамою Фрицу, говорят:

— Видно, нечего делать, возьмем Кешку да Пешку опять.

Да уж поздно было. Кешка да Пешка поступили в хулиганы, проткнули перочинным ножиком брюки у самого старшего городового, и за то их сослали в самую далекую каторгу.

Не в добрый час пришелся Фрица из-за границы. Да не добром помянули папа с мамою и умного дядю.

Карачки и обормот

Не за нашу память то дело случилось, не в нашей земле оно сталось. При царе Горохе, у черта на куличках жили-были карачки, — ходили на четвереньках, носом землю нюхали, хвостом в небо тыкали и очень собою были довольны.

Забрел к ним, невесть откуда, Обормот. Голову держит кверху, прямо перед собою весело посвистывает, на обе стороны бойко сплевывает. Не понравилось такое поведение карачкам, — говорят Обормоту:

— Как ты смеешь на задние лапы становиться, головой в небо выдыбать? Мы тебя за это засудим.

Повели его всем народом к судье неправильному.

— Судья, — говорят, — неправильный, суди ты этого Обормота: он головой фордыбачит, против нашего карачьего закона весело идет, на карачьи наши спины бойко поплевывает.

Ну, судья неправильный со всею своею перемудростью тотчас же порешил: оттяпать Обормоту голову.

Повели карачки Обормота на лобное место. Идет Обормот, кается, горючьми слезьми умывается, а между прочим, думает: «Как-то вы, карачье безмозглое, до моей головы доберетесь?»

И вот на самом-то интересном месте вышла у карачек заминка: надо Обормоту голову рубить, да Обормот на четвереньки не становится, а карачкам, на четвереньках стоючи, до его головы не добраться. И против своего закона поступить и на ноги вздыбиться им тоже никак невозможно. Повякали, повякали промеж собою карачки, да и погнали Обормота из своей страны далеча.

— Иди себе, — говорят, — с Богом по морозцу, мы, — говорят, — народ очень добрый.

Две межи

Пришла межа к меже, спрашивает:

— Каково тебе, межа, жить?

Отвечает меже межа:

— Ох, топчут меня, межу, мужики, топчут меня, межу, бабы, топчут меня, межу, ребятишки малые. А я, межа, тоненькая да худенькая, а я, межа, здоровьем больно хлипкая: недужится мне, меже, нездоровится. Ты, межа, каково живешь?

Отвечает межа меже:

— Ох, и мне, меже, жить по-такому же, — и я, межа, от чужих-то ног захирела, занедужилась. Лучше бы на нас, на межах, рожь повыросла.

Говорит меже межа:

— Пойдем, межа, к проселку жаловаться.

Воздохнула межа, отвечает меже:

— Проселок — маленький человек, он нам не поможет, — его никто не послушает.

Говорит меже межа:

— Так пойдем, межа, к большой дороге жаловаться.

Воздохнула межа, отвечает меже:

— Большая дорога разбойница: она и может, да не поможет; видно, межа, надо нам еще терпеть.

Разошлись межи по своим местам.

Рак пятится назад

Говорят, что раки пятятся назад; но это — напраслина: раки ходят, как и все добрые люди, в ту сторону, куда глаза глядят.

Вышел рак из реки, пошел осматривать окрестности. Встретили рака братишка и сестренка.

— Смотри-ка, — говорит братишка, — рак пятится.

Обрадовались. Говорит сестренка:

— Хорошо бы его поймать.

— Он, рак-то, большой дурак, — говорит братишка, — назад пятится, сзади себя не видит, мы ему мою шапку подставим, он в нее сам вползет, а мы его унесем, спекем рака.

— Только ты тише, — говорит сестренка, — а то он услышит.

Сели на корточки, четырьмя руками братишкину шапку распялили, ждут, когда рак в шапку припятится. А только рак не будь глуп, шапку увидел, да в сторону и свернул. Братишка и сестренка в ту сторону перебежали, опять шапку на рачий путь наставили, — рак опять увильнул. Мыкались, мыкались братишка и сестренка, видят, не поймать в шапку рака. Стали, ртишки разинули, на рака дивятся, сами рассуждают.

— Как же он сзади себя видит? — спрашивает сестренка.

Говорит ей братишка:

— Значит, у него сзади глаза.

— Да ведь глаза-то на голове, — говорит сестренка.

— Ну, — говорит братишка, — значит, у него и голова сзади.

Ударились со всех ног домой. Всем, большим и малым, рассказывают:

— А что мы видали-то сейчас! — как рак пятится. И уж чудной же он, этот рак-то! Хвост-то у него спереди, а голова с глазами сзади, — только перед с хвостом у него сзади, а зад с головою спереди.

Лучишка в темничке

Пришли лучи к Солнцу, разбирают себе подорожные. Один луч говорит:

— Я нынче во дворец пойду.

Другой говорит:

— Я по Невскому погуляю.

Третий говорит:

— А я по полям пройдусь.

Четвертый говорит:

— А я в речке выкупаюсь.

Все хорошие места разобрали и побежали было; да Солнце кричит:

— Стойте, братцы, вот еще есть местечко, — темная темничка, где сидит бедный заключенный.

Все лучи заговорили жалобно:

— В темной темничке сыро, в темной темничке грязно, в темной темничке скверно пахнет, — не хотим идти в темную темничку.

Поймал Солнце одного лучишку за волосенки, говорит:

— Ты вчера шалил много, в непоказанные места заглядывал, — побывай в темной темничке хоть пять минуток.

Заплакал бедный лучишка, да нечего делать, нельзя Солнцева приказа не исполнить. Побыл пять минуток у бедного заключенного в темной темничке, — кислый, злой, сморщенный. А бедному заключенному и то было за великий праздник.

Раздувшаяся лягушка

Это неверно, что она с натуги лопнула и околела, — она околела от сухой малой былинки. И никакого вола тут не было, — волу в болоте нечего делать, — а это лягушка своим умом дошла до того, чтобы надуваться.

И она надувалась помаленьку: один день на вершок надуется, другой день на четверть, а то и отдохнет день-два. И все надувалась, надувалась, надувалась и стала наконец такая большая, что ни одному великану ее бы не обхватить. И все ее очень боялись. Как она квакнет, так у самого храброго журавля поджилки затрясутся.

Ну, она этим, конечно, пользовалась и требовала, чтобы ее слушались.

А только когда она так надулась, так кожа у нее стала тоненькая, а кишка очень жидкая. Пока она сидела или прыгала на гладком месте, так все ничего было. А раз она прыгала, а у нее на дороге сухая малая былинка стала. Лягушка не смотрит, куда прыгает, думает, — важная. А сухая малая былинка ей в брюхе кожу и проткнула. Сейчас начал из лягушки дух со свистом выходить. На всю округу было слыш-

но «с-с-с-и-и», — дух из лягушки выходит. Как дух вышел, больше уж лягушка не могла жить, околела, и все увидели, что она — маленькая.

Вот как дело было по-настоящему. А вола он ни к селу ни к городу приплел.

А может быть, это он про другую лягушку рассказывал.

Озорник

Жил мальчик Озорник. Он все колотил своих братишек. И некому было за них заступиться — хоть и не жалуйся, все равно, ничего не будет.

Папа говорил:

— Он вас колотил, а вы что делали? Плакали? Кричали? Да как вы смели нарушать тишину и порядок! Вот я вас!

Мама говорила:

— У меня по хозяйству дела много, — не до вас.

Дядя-военный говорил:

— Субординацию помни! Руки по швам! Смирно! Налево кругом! Шагом марш!

Дедушка говорил:

— Сам будь хороший, никто тебя не тронет. Ты не смотри, что он дерется, — ты о себе позаботься, как бы тебе лучше быть. Он на тебя с кулаками, а ты ему ласковое слово.

И много еще чего дедушка говорил, — ему бы только начать. Озорниковы братишки уж и не слушают, а он все свои сказы сказывает.

Пошел раз Озорник на улицу, стал задираться с соседскими мальчишками. Одолели Озорника соседские мальчишки, нарыли ему очень достаточно. Идет Озорник домой, воет, а братишки из окошка смотрят, говорят:

— Ну, теперь он посмирнее будет.

Да не тут-то было. Озорник их вдвое сильнее прибил. Говорит им:

— Вы заодно с соседскими мальчишками, — теперь вам от меня житья не будет.

У метлы гости

В одном углу жила метла. Жила, поживала, двор подметала и больше ничего не знала. Говорят ей стены:

— Скучно живешь ты, метла, — сама по всему двору ходишь, а гостей к себе не зовешь.

Метла подумала, встопорщилась, да и говорит стенам:

— А что ж, я и гостей позову.

Наварила метла щей, налила их в плошку, позвала в гости собаку да кошку, а кошка привела свою дочку, маленькую кошечку: кошки деток любят и без деток в гости не ходят.

Долго ли, коротко ли гости пировали и начали ссориться: кошка на собаку фыркнула, собака на кошку гамкнула, кошечка испугалась, на табуретку вскочила, а кошка с собакою собрались драться. Но только метла такого беспорядка не потерпела, — поднялась она очень сердитая и гостей вон из угла погнала.

Смеялись над метлою стены:

— Ай да хозяйка, — гостей гонишь.

А метла говорит:

— Без гостей веселей и покойней, — в своей компании можно время проводить.

Живуля

В одном хорошем городе жила старая Живуля. И как давно она жила на белом свете, никто в том хорошем городе не помнил, и даже паспортист в участке от Живули отступился.

— Не знаю, — говорит, — какую цифру тебе ставить и сколько много тебе есть возрасту.

Родители у Живули, Карга Окаянная да Кощей Бессмертный, давно померли; братья и сестры Живулины и все сверстники и сверстницы, хрычи да хрычовки, Яги да Кикиморы, примерли; дети и внуки, нечисть и нежить поганая, перемерли, — а Живуля живет себе. По хорошему городу ходит, бродит, шамает, по липовым мостам клюкою ломаною постукивает, на хороших людей мутными очами посматривает, из поганого рта гнилые слюни пускает и неподобные словеса выговаривает. Одежонка на Живуле рваная, грязная, шибко молью трачена. Пахнет от Живули гораздо крепко, русским духом несет.

Ну вот, случилось раз, у базарной площади, на юру, на росстани, повстречался с Живулею Удал — добрый молодец. Кафтан на нем — синь бархат, сорочка на нем — красен шелк, порты на нем — зелен атлас, сапоги на нем — желт сафьян да с разводами. На голове у него — шапочка поярковая, а на шапочке с одной стороны — павлинье перье понатыкано от самой Жар-Птицы, с другой стороны горит, переливается каменье все самоцветное: ал лал, бел алмаз, зелен изумруд. Сам шибко навеселе, идет, посвистывает, аж лист с древа сыплется.

Увидал Живулю Удал — добрый молодец, и Живуля ему не понравилась, — тут он кисло поморщился, вперед себя на тридцать сажень через тын да рябину богатырски сплюнул, говорит Живуле такие ласковые слова:

— Старая Живуля, никому тебя не надо, а глядеть на тебя тошно. Легла бы ты, старая Живуля, в новый тесовый гроб, покрылась бы ты, старая Живуля, сосновой доской, снесли бы мы тебя, старую Живулю, из хорошего города вон, опустили бы тебя в глубокую могилу, засыпали бы тебя сырою землею, — стал бы в хорошем городе легкий дух.

Махнула Живуля ломаною клюкою, сказала Живуля крепкое слово, а после того отвечает Удалу — добру молодцу вежливенько, сама тихо покрякивает:

— Удал — добрый молодец! нельзя мне такие дела делать, — на мне большой зарок положен. Как есть я Живуля, то и надо мне

жить, а помереть мне никак невозможно, и таких делов за мной никогда не было. А впрочем, коли очень хочешь, пойдем со мной вместе, и я тебе в том не помеха.

На те слова Удал — добрый молодец шибко сердился; говорил Живуле с большою отвагою:

— Глупая Живуля, я тебе башку пополам раскокаю.

А Живуля нисколько не испугалася и говорит очень даже весело:

— Кокай, Удал — добрый молодец, в полное свое удовольствие, башки мне не надобе, а духа из меня тебе не вышибить, — мало каши ел и в Саксонии не был.

Разъярился, разгневался Удал — добрый молодец. Выдернул из тына здоровый кол, ударил Живулю по голове, разбил Живулину голову надвое. А Живуле хоть бы что, — ломаною клюкою подпирается, по базару пробирается, голова у Живули направо и налево раскрылася, все мозги по ветру болтаются, а дух от Живули пошел много крепче прежнего.

Так и живет Живуля, хороший город поганит, легкий воздух тяжелым духом портит.

А третий — дурак

Монгольская сказочка

В некотором царстве, в татарском государстве жил-был хан Шелудяк. Было у него три сына. Старший сын, Храбрый, войска воевал, соседов разорял, да и своим спуску не давал. Второй ханыч, Разумник, в книжку по науке смотрел, из казны большие деньги брал, аппетит имел хороший. А третий сын был, как водится, Дурак. Ни он тебе враги покорять, ни он тебе книжка смотреть, — знай растет, да и только. И вырос он несоразмерно большой, и стал больше всех в том Шелудяковом царстве. Братьям это, известно, не понравилось, — захотели они ему укороту дать, да только сколь

много они его не били, а он все рос да рос. И стал выше дерева стоячего, ниже облака ходячего.

Жаловались старшие братья хану Шелудяку:

— Неспроста, — говорят, — он этак возрастать надумал. Выше облака вырастет, ханом сделается, тебя с престола свергзит и в клоповник посадит, а нас, бедных, и вовсе изничтожит.

Хан разгневался, велел его, Дурака неразумного, жестоко наказывать, — не рос бы он, Дурак, так несоразмерно. Стали дурака драть. Драли его розгами калиновыми, драли его розгами малиновыми, драли его плеткою-семихвосткою, драли его прутьями железными, огнем его, Дурака, жгли, пилами его, Дурака, пилили, теркою терли и буравчиком сверлили. Орет Дурак благим матом, а все не унимается, от озорства своего не отстает, растет пуще прежнего.

Вырыли тогда яму глубокую, Дурака в нее отвели, землею засыпали, — а Дурак и в земле растет. Хотели ему голову рубить, да в это время беда случилась, о Дураке забыли пока что.

Пришла в ту землю тигра лютая. По деревням ходит, коров ронит, людишек жрет. По городам ходит, лошадей ронит, вкусных господ так и жамкает.

Пошел на тигру лютую ханыч Храбрый, идучи, хвастался много. Да тигра лютая его силы не устрашилась, с ратью его расправилась немилостиво, и сам ханыч Храбрый едва ноги унес. Тем только и спасся, что на ногу скор был.

Пошел на тигру лютую второй ханыч, Разумник, наставил вокруг тигры лютой капканов, наложил сладких капсюлей с ядом, с крепкою отравою. Тигра лютая капканы все рушила, отравы все сожрала, чихнула, усом моргнула, пошла себе дальше как ни в чем не бывало.

Вырыли из земли Дурака, говорят ему:

— По твоим грехам, Дурак, тигра лютая пришла. Ты ее убей, а не то тебя шибко драть хан велел.

Дурак слова поперек не молвил. Пошел на тигру лютую, взял ее вежливенько поперек живота, давнул легонечко, — у тигры лютой и дух вон.

Пошел Дурак к отцу. По дороге ему ото всех людей большой почет. Говорят люди:

— Тебе бы у нас ханом быть.

Дурак ухмыляется, говорит:

— А я не хочу.

А сам еще больше растет.

Услыхали старшие ханычи, что в народе говорят, шибко испугались, к хану побежали, Дурака перед ханом обнесли:

— Дурак-то наш похваляется, что ханом скоро у нас будет.

Хан разгневался, велел дураку ноги обрубить по колено, а руки по локоть и бросить его на горячее поле.

Лежит Дурак на горячем поле, сам воет, а тигра лютая про это дело узнала и с радости в тот же час воскресла. И пошла людей жрать и скотину ронить. Старшие братья уж и не суются, говорят:

— Пускай Дурак наш к тигре лютой ползет, зубами ее грызет. Он же и виноват, — зачем сразу не прикончил.

Пополз дурак, ухватил тигру лютую зубами за горло, — околела тигра лютая. Говорит народ:

— Дурак без рук, без ног, а лучше тех, ногастых да рукастых. Посадим его себе в ханы.

А Дурак говорит:

— Не надо! Ну их, — говорит.

Опять братья Дурака обнесли, опять хан разгневался, велел Дураку голову рубить, а тулово на горячее поле бросить. Лежит Дурак на горячем поле, корячится от боли, а сам все растет. Вырос в одночасье непомерно большой, навалился брюхом на ханский дом, раздавил хана и старших ханычей насмерть. Потек из них сок в Дураковы раны, — и в ту же минуту у Дурака и голова выросла, и руки, и ноги. Встал Дурак во всем своем составе, возблистал светло во все стороны. А народ к нему валом валит. А тигра лютая про эти дела в тот же час узнала, от великого страха воскресла, уши заложила, хвост поджала, за тридевять земель убежала. И начался в том Дураковом царстве светлый радостный пир.

Сны

I

Дрова

Мы пировали. Нас было много. Нам было весело. Солнце светило в окна, цветы на столе благоухали, испаряя последнюю свою душу для нашей услады, вина были тонки, сладки и ароматны. Наши подруги были молоды и смеялись как дети.

Когда кончился пир, кому-то из нас пришла в голову мысль пойти посмотреть, где и как было изготовлено все великолепие яств, усладивших наш избалованный вкус.

— Покажи нам свою кухню, — смеясь, говорили мы хозяину. — Мы хотим сказать спасибо твоему повару.

Хозяин смутился. Он пробормотал что-то невнятное. Лицо его побледнело. Но мы, смеясь, повлекли его. Тогда он усмехнулся странною улыбкою и сказал:

— Если вы хотите... Но там очень жарко.

И мы пришли в кухню. Громадная печь возвышалась посреди громадной кухни. И печь еще топилась. Пламя было веселое и яркое, и перед печкою свалена была на пол громадная груда огромных поленьев, для чего-то завернутых в полотняные покрывала.

И когда мы спросили у повара, для чего эта печь продолжает топиться, когда мы уже отобедали, он сказал нам:

— Эту печь нельзя погасить ни на одну минуту.

И лицо его, озаренное красным отблеском печного пламени, было угрюмо. И мы наклонились к дровам, потому что от них исходил поразивший и испугавший нас смрад. Тогда помощники повара взяли одно из полен и бросили его в печь. И мы увидели, что это был труп человека, завернутый в саван. И взяли его за голову и за ноги, и бросили в яркое пламя.

Мы смутились. Мы долго стояли молча и смотрели, как печь пожирала трупы один за другим. И когда принесли новое беремя дров, страшную вязанку, захваченную веревкою на спине дюжего дворника, один из нас робко спросил повара:

— Где же вы берете эти дрова?

И, улыбаясь, ответил нам повар:

— Их много. Больше, чем надо. Ходят мимо. Наши дворники их рубят.

II

Согнутые ноги

Я проезжал по Николаевскому мосту. Навстречу мне шел человек с уродливо согнутыми ногами. Видно, что ему трудно было идти, потому что колени его не разгибались и приходилось идти в странном, словно сидячем положении.

Он взглянул на меня. В его взгляде был укор. И я понял...

Я понял, что то не был сон...

Что то не был только сон.

Были дни, проклятые дни, когда и я был таким же согнутым уродом.

Мне было трудно ходить, потому что колени у меня были постоянно согнуты. Иногда я делал над собою страшные усилия, — но все бешенство моей воли не могло разогнуть моих ног.

Иногда ночью, лежа в своей постели, я вдруг чувствовал прилив радости и надежды. Сила возращалась к моим ногам, моя воля расторгала спутавшие меня оковы косности, и я начинал вытягиваться.

Но вдруг тихий стон раздавался у меня под ногами, — и словно пелена спадала у меня с глаз, и все мои чувства, оцепенелые дотоле, раскрывались, — для того, чтобы поведать мне страшную правду о том, почему мои колени согнуты.

Под моими ногами лежал младенец, скованный со мною незримыми, но нерасторжимыми узами. Всегда один и тот же и каждую ночь

иной, маленький и несчастный, он лежал под моими ногами, и его сердце билось под моею ногою, и его тоненькое, хрупкое, жалкое горло было под моею ногою.

И, полный ужаса, я торопливо сгибал колени, — чтобы не задушить его, маленького.

Но в одну ночь, после дня стыда и страданий, после мучительного, темного дня, я, полный отчаяния и злобы, вытянул свои ноги и задушил младенца.

И я стал прямым, как все.

СТАТЬИ

Елисавета

Неглубокое и несущественное, что называют характером, составляет содержание и выражение почти всех портретов. Это — Личины, Маски. И под ними прячется, конечно, Он, — становящийся Богом Дьявол, вечно отрицающий и стремящийся к иному, а потому великий Мечтатель, Художник, Поэт и Скульптор. Вечно отрицающий, всегда не-Я.

Личина. Это хорошо. Создать свою Личину — дело, достойное целой жизни художника.

Личина, Маска. Но это все же еще не все. Есть Лицо.

Есть портреты пластические, Личины, — их много, — и есть портреты музыкальные, Лица, и они наперечет. Ведомы, и дороги, если ведомы.

На Личинах начертаны милость и свирепость, грусть и радость, начертания мечтаний, власти, силы, мудрости, переливные цветы цветения душевного, земное, преходящее. Всегда чужое, иное, индивидуальное, отдельное, — всегда на некотором отдалении от Меня. Всегда не-Я. Даже когда и Я.

Изображения уже не пластические, — редкие, торжественные, музыкальные. Личина упала. Становящийся рассеялся эфирным дымом. Иные отошли, поникли, умерли, — и открыто Лицо. Вечный Лик. Радостное самоутверждение. И наперекор царящим в жизни Личинам, это — Я. Только Я.

В моменты Влюбленности таким является Лик Невесты. Ибо грани упадают, сгорают Личины. Любящего венчает Откровение,

и преображенный Лик говорит ему: это Я. Только Я. И нет Иного. Нет Иных.

В высоких созданиях искусства есть такие же Лики.

Называть ли? Джоконда. Дрезденская Мадонна... Еще несколько Лиц. И для меня еще одно, обаятельное, — одесское изображение Елисаветы.

Полуобращенное Лицо, — не грешное и не невинное, — очень молодое, насквозь озаренное радостною молодостью, но не радостное и не печальное, — тихий взор синих глаз, — призрак улыбки, — нежная рука, протянувшаяся к цветам, вознесшимся над дивно чеканенною вазою, протянувшаяся сорвать алую розу для игры бесцельной, нежной и жестокой.

Призрак улыбки, — но призрак столь властительный, что по первому взгляду он кажется озарившим все полотно, — и на дивном Лице непередаваемое выражение надмирного восторга. И кажется, призрак безумной улыбки ввергает в дивное кружение, уносит и кружит. И вдруг нет ни улыбки, ни Лица, ни удивительной гармонии красок, — и только музыка. И только тихий взор небесно-синих глаз, созидающий Мир, как жестокую и нежную игру. Бесцельную игру. Святую.

Божественная забава зиждет Личины. Вот в зеркале отражена Царица. Профиль, совсем не интересный. И страшно необходимый для картины.

И опять смотрю на Лицо, и вижу мгновенные на нем Личины. Облеченная в одежду величия, — какая дивная одежда, какие удивительные складки, какая гармония желтого с золотым платья и восхитительных рук и плеч, какие рефлексы внизу от зеленой драпировки, которая кажется совсем черною! Но это отходит. И вот Прекрасная. Но и на прекрасное Лицо падает темная смертная тень... И красота — «где твое жало?..» Восстает Жена — не мать (другой полюс Дева-Мать), — последняя, совершенная... Но проносится дыхание жизни, встает незначительная Сентиментальная Дама, говорит внешне трогательные слова и умирает... И эти все, и еще иные, многие аспекты проходят перед дивным Ликом, но не затмевают его и в огне его сгорают, умирают. И тень их эфирного дыма ложится на жемчужно-белую грудь.

И освобождается непостижимый Лик. Тихие глаза смотрят, видят не видят, грустною и радостною, жестокою и нежною забавляясь игрою. Смотрит и говорит: это Я.

В неизменном утверждении говорит: это — Я.

И зеркало отвращает изображение и хочет сделать его достигающим, стремящимся, чтобы порадовать Становящегося. Но дивный Лик побеждает, — в надмирном самоутверждении, нежно и жестоко ломая алую розу, Она повторяет:

— И это все Я.

Этот портрет писал Монье, художник превосходный и малоизвестный. Один из многих, кому является дивный Лик в Жизни и в Мечтаниях. Один из малого числа тех, кому удалось Это сделать в Искусстве.

Портрет Императрицы Елисаветы Алексеевны долго стоял на выставке в Таврическом Дворце. Вместе с несколькими другими, очень хорошими портретами, написанными им же. Но для меня и эти портреты, и вся выставка казались далекими, когда я смотрел на дивный... для Меня... Лик Елисаветы.

Я предчувствовал ее. И если она придет, я ее узнаю.

Театр одной воли

> На сосуде — печать, на печати — имя; что таится в сосуде, знают запечатавший и посвященный.
>
> *Э Д Визенер*
> *Молчание первой невесты Роман*

> Ты философствуешь, как поэт.
>
> *Достоевский Письма*

Изо всего, что было когда-нибудь создано гением человека, самое, может быть, легкое на зримой поверхности и самое страшное в постигаемой своей глубине создание есть театр. Роковые ступени — игра —

зрелище — таинство... Высокая трагедия в такой же степени, как и легкая комедия, и площадный фарс.

Трагический ужас и шутовской смех с одинаково непреодолимою силою колеблют перед нами ветшающие, но все еще обольстительные завесы нашего мира, такого, казалось, привычного, и вдруг, в зыблемости игры, такого неожиданного, жуткого, поражающего или отвратительного. И трагическая, и комическая маска одинаково не обманывают внимательного зрителя, — как не обманывали участника игры, очаровывая его, как не обманут и участника мистерии, приобщая его к тайне.

За истлевающими Личинами, и за румяною харею ярмарочного скомороха, и за бледною маскою трагического актера, — единый просвечивает Лик. Страшный, неодолимо зовущий...

Роковые ступени. Играли, когда были детьми, — и вот уже умерли сердцем для легкой игры, и пришли, любопытствуя, смотреть зрелище, — и настанет час, когда мы в преображении духа и тела придем к верному единению в литургийном действе, в таинственном обряде...

Когда мы были дети, когда мы были живы, —

живы дети, только дети,
мы мертвы, давно мертвы, —

мы играли. Распределяли между собою роли и разыгрывали их, — пока не позовут спать. Театр у нас был отчасти бытовой, — были очень подражательны и наблюдательны, — отчасти символический с несомненным наклоном к декадентству, — так любили сказку, и слова странных, старых заклинаний, и весь забавный и ненужный, — практически ненужный, — обряд игры. Такие милые были в игре условности, наивности и нелепости. Знали хорошо, что это не в самом деле, что все это нарочно. Не были требовательны ни к декоратору, ни к бутафору. Запрягали стул и условливались:

— Пусть это будет лошадь.

Но уж если очень хотелось самим побольше побегать, то говорили:

— Я буду лошадью.

Не были исключительны и односторонни в характере своей игры. Была игра для большой публики, в многолюдстве, шуме и буйстве, в коридорах и в залах, в саду и в поле, — «драка не драка, игра не игра», — и были игры интимные, в укромных уголках, куда не заглядывали взрослые и чужие. Там было весело до утомления, здесь — жутко и тоже весело, и щеки краснели багровее, чем от буйного бега, и в глазах зажигались тусклые огни.

Играли — и не знали, что наши игры — только обноски жизни взрослых, переигрывали сыгранное до нас, как новое. И в этом переигрывании чужой игры заражались тяжелым ядом отживших.

Впрочем, не в самом содержании игры заключалось ее значение. Капли жгучего яда растворялись в вешнем нектаре юной жизни. Буйство новой жизни опьяняло легким и сладостным хмелем, быстрым бегом окрылялись ноги, — в восторге яркого самозабвения сгорали тяжелые бремена тяжелого земного времени. И сгорали острые, быстрые миги, и из пепла их строился новый мир, — наш мир. Мир, пламенеющий в молодом экстазе...

А разве и потом чего-нибудь иного хотели мы от игры, которая стала уже для нас только зрелищем, — и от трагедии, и от комедии? Так охотно идем в театр, — особенно на первые представления прославленных пьес, — но чего же мы хотим от театра? Научиться хотим искусству жить или очиститься от темных переживаний? Решить моральную, социальную, или эстетическую, или еще иную какую-нибудь проблему? Увидеть ли «трость, ветром колеблемую? человека ли, в мягкие одежды облаченного? пророка ли?»

Конечно, все это и еще многое иное можно притащить в театр, не без основания и даже не без пользы, — но все это должно сгореть в истинном театре, как на костре сгорает старая ветошь. И как бы различно ни было внешнее содержание драмы, мы всегда хотим от нее, — если мы еще хоть сколько-нибудь остались живы от безмятежных дней нашего детства, — того же, чего некогда хотели и от нашей детской игры, — пламенного восторга, похищающего душу из тесных оков скучной и скудной жизни. Очарование и восторг — вот что влечет каждого из нас в театр, вот средства, которыми ге-

ний трагедии привлекает нас к участию в своем таинственном замысле. Но в чем же состоит самый этот замысел?

Или я совсем не знаю, для чего человеку драма, или она для того только, чтобы привести человека ко Мне. Из царства взбалмошной Айсы, из мира странных и смешных случайностей, из области комедии перевести его в царство строгой и утешительной Ананке, в мир необходимости и свободы, в область высокой трагедии. Упразднить соблазны жизни и вечную увенчать утешительницу, не ложную, ту, которая не обманет.

Театральное зрелище, на которое приходят смотреть для забавы и для развлечения, недолго будет оставаться для нас только зрелищем. И уже скоро зритель, утомленный сменою чуждых ему зрелищ, захочет стать участником мистерии, как некогда был он участником игры. Изгнанный из Эдема уже скоро смелою рукою стукнет в дверь, за которою Жених пирует с Мудрыми девами. Он был участником невинной игры, когда еще был жив, когда еще он обитал в раю, в Моем прекрасном саду между двумя великими реками. И ныне единственный путь воскресения для него — стать участником мистерии, в литургийном обряде соединить свою руку с рукою своего брата, с рукою своей сестры и устами, вечно томящимися от жажды, приникнуть к таинственно-наполненной чаше, где Я «с водой смешаю кровь». В светлом и всенародном совершить храме то, что ныне совершается только в катакомбах.

Но театральное зрелище — необходимое переходное состояние, и в наше время театр, к сожалению, еще не может быть чем-нибудь иным, как только зрелищем, и бывает часто зрелищем праздным. Только зрелищем, если это — не интимный театр, который создать надо, но говорить о котором, — да как о нем говорить? Ведь это же — соблазн для непосвященного... Разве только намеками и образами.

Зрелищем по преимуществу и хочет быть современный театр. В нем все устроено только для зрелища. Для зрелища — профессиональные актеры, рампа и занавес, хитро раскрашенные декорации, стремящиеся дать иллюзию действительности, умные ухищрения бытового театра и мудрые выдумки театра условного.

Однако если уж наметился в нашем сознании путь, по которому должно идти развитие театра для того, чтобы театр отвечал своему высокому назначению, то задача театрального деятеля, — драматического автора, режиссера и актера, — в том и состоит, чтобы, возводя театральное зрелище ко всем тем совершенствам, которые только достижимы для зрелища, приблизить его к соборному действию, к мистерии и к литургии.

Мне кажется, что первое препятствие, которое должно быть преодолено на этом пути, это — играющий актер. Играющий актер слишком навлекает на себя внимание зрителя и этим заслоняет и драму, и автора. Чем талантливее актер, тем тирания его несноснее для автора и вреднее для трагедии. Низложить эту обольстительную, но все же вредную тиранию можно двумя способами: или перенести центр театрального представления к зрителю, в партер, или перенести его к автору, за кулисы.

Первая мысль, которая могла бы явиться вслед за признанием театра поприщем соборного действа, была бы, по-видимому, та, что надо уничтожить рампу, снять, может быть, занавес и сделать зрителя участником или даже и творцом представления. Вместо плоских декораций оставить четыре изукрашенные стены или внешний простор улицы, площади, поля. Обратить зрелище в маскарад, который и есть сочетание игры и зрелища. Но тогда зачем же было бы и собираться? Только для того, чтобы «соборовались народы», как поется в одной современной песенке? Занятие, конечно, неплохое, но куда же оно ведет?

Правда, к игре и зрелищу в маскараде примешиваются элементы тайны. Намеки на нее, секреты. Но это еще не таинство. Подобно тому, как самые жуткие страхи приходят в полдень, когда в притине ворожит злой Дракон, прячась за фиолетовыми щитами, так и самая глубокая тайна предстает тогда только, когда Личины сняты.

Все меридианы сходятся в одном полюсе (или в двух, если хотите, — но по закону тождества полярных противоположностей всегда достаточно бывает говорить только об одном полюсе), — все земные пути неизменно приводят в один вечный Рим, — «все и во всем — только Я, и нет

Иного, и не было, и не будет», — всякое единение людей имеет значение только постольку, поскольку оно приводит человека ко Мне, — от суетно-обольщающего разъединения к неложному единству. Пафос мистерии тем и питается, что случайное множество преображается таинственно в необходимое единство. Он напоминает, что каждое отдельное существование на земле является только средством для Меня, — средством исчерпывать в бесконечности здешних переживаний неисчислимое множество Моих, — и только Моих, — возможностей, совокупность которых создает законы, но сама движется свободою.

А потому действующий и волящий в трагедии только один, что и прибавляет к единствам действия, места и времени также и единство волевого устремления в драме.

(Может быть, переходы в мыслях здесь покажутся кому-нибудь довольно неожиданными, — но я не аргументирую, по неумению делать это, а только излагаю одну мою мысль. «Философствую, как поэт».)

Действующий и волящий в трагедии должен быть всегда только один, и не в том смысле, что он ведет хоровое действие, а в том, что он является выразителем неизбежного, не трагическим героем, а его роком.

Современный театр представляет собою печальное зрелище раздробленной воли и потому разъединенного действия. «Разные бывают люди, — думает простодушный драматург, — всяк молодец на свой образец». Ходит в разные места, замечает обстановку, быт и нравы, наблюдает разных людей и очень похоже все это изображает. Козьмодемьянский и Налимов с Вакселем узнают себя и свои галстуки и очень радуются, если автор, — по приятельству, — им польстил, или сердятся, если автор дал понять, что их наружности и их поступки ему не нравятся. Радуется режиссер, что он имеет довольно материала для занятной постановки пьесы. Радуется и актер тому, что может хорошо и интересно загримироваться, и передразнивает наружность и ухватки живописца X, поэта Y, инженера A, адвоката B... Публика в восторге, — узнает своих знакомых и незнакомых и чув-

ствует себя в несомненном авантаже: какие бы общераспространенные грешки ни вытаскивались на сцену, все-таки каждый зритель, кроме малого числа выведенных, ясно видит, что изображен не он, а кто-то другой.

И ничего этого не надо. Никакого нет быта, и никаких нет нравов, — только вечная разыгрывается мистерия. Никаких нет фабул и интриг, и все завязки давно завязаны, и все развязки давно предсказаны, — и только вечная совершается литургия. Что же все слова и диалоги? — один вечный ведется диалог, и вопрошающий отвечает сам и жаждет ответа. И какие же темы? — только Любовь, только Смерть.

Нет разных людей, — есть только один человек, один только Я во всей вселенной, волящий, действующий, страдающий, горящий на неугасимом огне и от неистовства ужасной и безобразной жизни спасающийся в прохладных и отрадных объятиях вечной утешительницы — Смерти.

Многие надеваю на себя по воле Моей Личины, но всегда и во всем остаюсь самим собою, — как некий Шаляпин во всех своих ролях все тот же. И под страшною маскою трагического героя, и под смешным обличием вышучиваемого в комедии шута, и в пестром балахоне из разноцветных тряпок, облекающем ломающееся на потеху райка тело балаганного клоуна, — под всеми этими закрытиями зритель должен открыть Меня. Как задача с одним неизвестным, предстает перед ним театральное зрелище.

Если зритель пришел в театр, как приходит в мир простодушный зевака для того, «чтоб видеть солнце», то я, поэт, создаю драму для того, чтобы пересоздать мир по новому Моему замыслу. Как в большом мире господствует одна Моя воля, так и в малом круге театрального зрелища должна господствовать только одна воля, — воля поэта.

Драма — так же произведение одного замысла, как и вселенная — произведение одной творческой мысли. Роком трагедии, случаем комедии является только автор. Не его ли во всем державная воля? Как он захочет, так все и будет. Он может по своему произволу соединить любящих или горестно разлучить их, возвысить героя или низверг-

нуть его в мрачную бездну отчаяния и погибели. Он может увенчать красоту, молодость, верность, смелость, безумное дерзновение, самоотверженность, — но ничто не помешает ему возвеличить уродство и разврат и выше всех апостолов поставить предателя Иуду.

В укор неправедному дню
хулу над миром я восставлю
и, соблазняя, соблазню

Но актер тщеславен. Автора он заслонил своим случайным истолкованием, неожиданностью и разрозненностью своих бытовых и психологических наблюдений, и самую драму он превратил в собрание ролей для разных амплуа. Потом пришел режиссер и похитил ремарку. Потом рок драматического действа, глухой голос повелевающей Мойры запрятан волею директора театра в тесную суфлерскую будку. И когда было мало репетиций, то все на сцене смотрят в одну точку, откуда доносится слышный первым рядам зрителей и досадный для них голос. И нещадно перевирают слова поэта.

Но разве я могу хотеть, чтобы из узкого подземелья доносился мой голос? чтобы по капризу режиссера придуманные мною на сцене окна обращались в ненужные для меня колонны? чтобы мое слово в ремарках воплощалось только в раскрашенную декорацию?

Нет, мое слово должно звучать открыто и громко. Поэта прежде, чем актера, должен слышать посетитель театрального зрелища.

Таким представляется мне театральное зрелище: автор или заменяющий его чтец, — и даже лучше чтец, бесстрастный и спокойный, и не взволнованный авторскою робостью перед зрителями, которые будут кричать на него в похвалу или в порицание (то и другое одинаково неприятно) и, может быть, принесли с собою ключи для веселого свиста, — чтец сидит около сцены, где-нибудь в стороне. Перед ним стол, на столе — пьеса, которая сейчас будет представлена. Чтец начинает по порядку, с начала.

Читает название драмы. Имя автора.

Эпиграф, если он есть. Попадаются интересные и полезные. Например, эпиграф к «Ревизору»: «На зеркало неча пенять, коли рожа

крива. Народная пословица». Эпиграф грубый, — такой уж и был этот автор, — но справедливый и удобный для установления надлежащей связи между зрителем и действием на сцене.

Затем перечисление действующих лиц.

Предисловие или замечания от автора, если они есть.

Первое действие. Обстановка. Наименование находящихся на сцене лиц.

Выходы и входы актеров, как они обозначены в тексте драмы.

Все ремарки, не опуская даже и самых маленьких, хотя бы в одно только слово.

И по мере того, как чтец около сцены читает, раздвигается занавес, на сцене открывается и освещается указанная автором обстановка, выходят на сцену актеры, и делают то, что подсказывается прочитанными ремарками автора, и говорят то, что указано текстом драмы. Если актер забудет слова, — а когда он их не забывает! — чтец читает их, так же спокойно и так же вслух, как и все остальное.

И раскрывается перед зрителем действие, как раскрывается оно перед нами и в самой жизни: ходим и говорим по своей, мнится нам, воле; делаем то, что нам надо, или то, что нам вздумается, и стараемся осуществить свои будто бы желания, поскольку не препятствуют нам законы природы или желания других людей; видим, слышим, обоняем, осязаем, вкушаем, всеми своими чувствами и всеми силами ума пользуемся для того, чтобы узнавать, что есть в действительном мире, что имеет свое бытие и свои законы, отчасти для нас понятные, отчасти нам чудесные; чувствуем любовь к одному и ненависть к другому, и волнуемся иными еще страстями, и сообразно с ними устанавливаем наши отношения к миру и к людям. И обыкновенно не знаем, что самобытной нашей воли нет, что всякое наше движение и всякое наше слово подсказаны, и даже давно предвидены в демоническом творческом плане всемирной игры раз навсегда, так что нет нам ни выбора, ни свободы, нет даже милой актерской отсебятины, потому что и она включена в текст всемирной мистерии каким-то неведомым цензором: и тот мир, который познаем, не иное что, как дивная на вид декорация, а за нею закулисная неряшливость и грязь.

Играем, как умеем, подсказанную нам роль, актеры и в то же время зрители, попеременно аплодирующие друг другу или освистывающие друг друга, приносимые в жертву, и в то же время приносящие жертву.

Может ли театр дать нам иное зрелище, чем то, которое дает нам широкий для наших сил и тесный для нашей воли мир? Да и должен ли? Играй, как живешь, переноси жизнь на сцену, — разве же не этого самого хочет и бытовой театр?

Но что же тогда остается от актерской игры? Ведь актер обращается в говорящую марионетку, — и это не может нравиться актеру, который любит выигрышные роли, и обращенное на него внимание партера, и вопли простодушного райка, и газетный шум вкруг его имени. Неприемлем такой театр для современного актера. Он презрительно скажет:

— Это будет не театральное представление, а просто литературное чтение, сопровождаемое разговорами и движениями. Уж тогда лучше откровенно устроить театр марионеток, детскую забаву. Пусть движутся размалеванные куклы, пусть за кулисами говорит один семью голосами, — и говорит, и дергает за веревочку.

А почему же, однако, и не быть актеру, как марионетка? Для человека это не обидно. Таков незыблемый закон всемирной игры, чтобы человек был как дивно устроенная марионетка. И нельзя ему уйти от этого, и даже нельзя ему забыть это.

Настанет назначенный для каждого час, и каждый из нас, зримо для всех, обратится в неподвижную и бездыханную куклу, уже не способную более никакой исполнить роли...

Вот она, кукла изжитая и уже никому не нужная, лежит на холсте для последнего омовения, — и руки у нее сложены, как их сложили, — и ноги у нее протянуты, как их протянули, — и глаза у нее закрыты, как их закрыли, — бедная марионетка для одной только трагической игры! Оттуда, из-за кулис, кто-то равнодушный дергал тебя за незримую веревочку, кто-то жестокий пытал тебя огненною мукою страдания, кто-то злой пугал тебя бледнымй ужасами ненавистной жизни, к кому-то

беспощадному обращала ты в предсмертном томлении тоскующие взоры. А здесь, в партере, кого-то забавляли твои неловкие движения, — под подергивания страшной веревочки, — твои сбивчивые слова, — так тихо подсказывал притаившийся суфлер, — и твои ненужные слезы, и твой одинаково, как и слезы, жалкий смех. Довольно, — все слова твоей роли как-нибудь сказаны, все ремарки исполнены довольно точно, — сматывается веревочка, — и напрасно твои иссохнувшие губы хотят сказать новое слово, — разомкнулись, сомкнулись механически, — и затихли навеки. Спрячут, зароют, забудут...

Актер, и самый гениальный, не больше человека. Его роль, даже и самая выигрышная, меньше жизни и легче ее. И, конечно, лучше ему быть говорящею марионеткою и двигаться, повинуясь внятному и бесстрастному голосу чтеца, чем отчаянно путать свою роль под хриплый шепот спрятанного в будке суфлера.

Единый ровный и бесстрастный голос «человека в черном» ведет все театральное действие, — и в соответствии с этим все на сцене должно устремляться к единству, необходимому для того, чтобы не рассеивалось непрочное внимание зрителя, не отвлекалось ничем от того, что в театральном зрелище единственно существенно, — от раскрытия действием драмы под многими и многообразными Личинами единого и неизменного Моего Лика.

Исполняющий действие никогда не бывает на сцене один. Даже и тогда, когда нет на видимой сцене других актеров, остающийся перед глазами зрителей ведет постоянный диалог с кем-то. Устремление к единому, ко Мне, может исходить только от того, что Мне полярно противоположно, — от многого, от не-Я. Но все ручьи должны слиться в одном море, а не потеряться в сыпучем песке разрозненного множества. Единый Лик, скрытый под Личинами, должен проясняться перед зрителями в течение театрального действия. От этого и происходит требование, чтобы в драме был один только герой, одно по существу исполняющее действие лицо, — одна только точка, на которой сосредоточивалось бы внимание зрителя. Все лучи сценического действия в одном должны сходиться фокусе, чтобы вспыхнуло внезапно яркое пламя восторга...

Другие действующие лица в драме должны быть только необходимыми ступенями приближения к единому Лику. Их значение в драме вполне зависит от той степени близости к раскрываемому в герое единству волевого устремления драмы, на которой они находятся. Только в этом их расположении по нисходящим ступеням одной и той же лестницы драматического действия лежит основа их индивидуальных различий, их отдельных характеров, которые иначе ни на что не были бы нужны в драме. Дездемона не потому так значительна в трагической ситуации, что у нее большая и трогательная роль, не потому, что это ее любил и погубил Отелло, а потому, что она была тою роковою, чья рука сняла с него Личину, и для него самого открыла роковую лживость и двусмысленность мира.

Из того, что актер, по существу, должен быть в трагедии один, и следует то, что театр должен освободиться от актерской игры. Игра, со всем разнообразием верно наблюденных и точно переданных жестов и интонаций, со всем, что вошло в театральную традицию, и что приобретается прилежною выучкою, или что изобретается вновь выдумкою и догадкою даровитого актера, эта привычная нам игра, вдохновенная или строго рассчитанная, представляет собою изображение столкновения и борьбы людей совершенно отдельных, из которых каждый себе довлеет. Но таких автономных личностей на земле нет, а потому и борьбы между ними нет, а есть только видимость борьбы, роковая диалектика в лицах. Немыслима и борьба с роком, — есть только демоническая игра, забава рока с его марионетками.

Чем лучше играет актер роль Человека, чем патетичнее восклицает он:

— Постучим щитами, побренчим мечами, — тем смешнее его неуместная игра, тем яснее его непонимание роли.

«Некто в сером» еще ни от кого не принял вызова на поединок. Девочка не дерется со своими куклами, — она их рвет и ломает, а сама смеется или плачет, по настроению.

Для нас становится уже смешною слишком усердная актерская игра, и великолепная декламация, и величественный жест, и чрезмерная добросовестность в передаче бытовых особенностей, — от всех

этих прелестей нам становится даже несколько неловко. Как бывает неловко, когда в обществе чинном вдруг кто-нибудь заговорит громко и взволнованно и начнет жестикулировать. Не стоит играть очень усердно. Только раек хохочет и плачет от того, что представляется на сцене, — партер слегка улыбается, иногда грустно, иногда почти весело, всегда иронически. Для него не стоит играть.

Трагедия срывает с мира его очаровательную Личину, и там, где чудилась нам гармония, предуставленная или творимая, она открывает перед нами вечную противоречивость мира, вечное тождество добра, и зла, и иных полярных противоположностей. Она утверждает всякое противоречие, всякому притязанию жизни, правому ли, нет ли, одинаково говорит ироническое *да!* Ни добру, ни злу не скажет лирического *нет!* Трагедия — всегда ирония, и никогда не бывает она лирикою. Так и надо ее ставить.

И потому не должно быть на сцене игры. Только ровная передача слово за словом. Спокойное воспроизведение положений, картина за картиною. И чем меньше этих картин, чем медленнее сменяются они, тем яснее выступает перед очарованным зрителем трагический замысел. Пусть не старается и не ломается трагический актер, — чрезмерность жеста и напыщенность декламации приходится оставить на долю шута и скомороха. Актер должен быть холоден и спокоен, каждое слово его должно звучать ровно и глубоко, каждое движение его должно быть медленно и красиво. Трагическое представление не должно напоминать мелькание картин в кинематографе. И без этого мелькания, досадного и ненужного, очень длинный путь к пониманию трагедии должен пройти внимательный зритель.

Дальше всего от зрителя стоит герой трагедии, первый выразитель Моей воли, — всего длиннее путь к его пониманию, по крутой лестнице надо зрителю к нему подняться, многое в себе и вне себя преодолеть и победить. А чем дальше от героя, тем ближе к зрителю, тем понятнее для него, и наконец лица драмы становятся уже столь близки к зрителю, что более или менее совершенно совпадают с ним. Они становятся похожими на хор древней трагедии, говорящий то, что сказал бы любой из сидящих на ступенях амфитеатра.

Вот пришел в театр мирный и довольный собою буржуа. Как же ему принять завязку и развязку драмы и что он в ней поймет, если все чуждые его понятиям речи будут раздаваться со сцены? Как трагедия Шекспира не обходилась без шута, так и современная драма не может обойтись без этих шаблонных манекенов, у которых лица стертые, механизм слегка попорчен и скрипит и слова тусклые и ходячие. И если сам буржуа содрогнется от их нестерпимой плоскости, то это и хорошо. В этом будет утешительный признак того, что и он приближается к пониманию под разными Личинами таящегося единого Лика, оскорбленного, но не убитого плоскостью земных речений. В этом лежит неложное оправдание и легкой комедии, и фарса, и даже балаганного скоморошества.

В этом есть также и другое значение, — потому что это пока единственный способ в театре общедоступном, — опять не говорю о театре интимном, наиболее для нас дорогом и желанном, но о котором говорить так трудно, — единственный способ приобщить зрителя к действию. Единственный и, может быть, во многих случаях достаточный.

Даже и сама мистерия, будучи действием в высокой степени соборным, все же требует одного исполнителя, жреца и жертву, для таинства самопожертвования. Не только высший род общественного деяния, мистерия, но все вообще общественное совершение в то же время совершенно индивидуально. Всякое общее дело делается по мысли и плану одного, — всякий парламент слушает оратора, а не галдит соборно, соборуясь в соборном веселом гаме. «На сосуде — печать, на печати — имя; что таится в сосуде, знают запечатавший и посвященный». Храм открыт для каждого, но имя строителя врезано на камне. Приходящий же к алтарю должен оставить свою злобу за порогом. И потому толпа, — зрители, — не иначе может быть приобщена к трагедии, как только посредством сожигания в себе своих ветхих и плоских слов. Только пассивно. Исполняющий же действие всегда один.

Какой может быть интерес для сцены в том, чтобы наводнить ее множеством лиц, из которых каждое притязает на свой характер и на

отдельную свою в драме роль? Досадно для понимающего драму их мелькание, трудно запоминать их и не к чему. Даже и читать драмы поэтому трудно, — постоянно приходится заглядывать в список действующих лиц. Потому и на книжном рынке драма не в фаворе.

Не все ли мне равно, кто суетится и хлопочет на сцене, Шуйский или Воротынский, — если я знаю, что передо мною пройдет сейчас трагедия самозванства, так гениально замышленная гением русской истории (и так еще бледно намеченная гениями русской литературы)! Говорит один, говорит другой, — да не твои ли это слова, простодушный зритель? Рядом с червонным золотом поэзии не твои ли на полу сцены покатились тусклые, давно истертые и все же дорогие тебе пятиалтынные?

Наивный расчет, — но мудрый и верный, — подбирая с жадностью свои пятиалтынные, возьмет театрал и Мое тяжелое золото и за него продаст Мне свою легковесную, но все же милую мне душу. Но все-таки пусть бы лучше меньше было на полу сцены этой разменной монеты — пожелание, направленное к драматургам.

Один в драме волящий — автор, один выполняющий действие — актер, один бы должен быть и зритель. В этом отношении прав был тот безумный король, который один в своем великолепном театре слушал игру своих актеров, таясь за тяжелым штофом в тишине и темноте королевской ложи. В трагическом театре каждый зритель должен чувствовать себя этим безумным королем, утаившимся ото всех. И никто не должен видеть его лица, и никто не удивится тому, что

он тайною завесил
страстей своих игру,
порой у гроба весел
и мрачен на пиру

И если он задремлет, и даже совсем заснет, — искусство же — золотой сон, — и почему драме не быть ритмическим сновидением? — никто не посмеется над ним, и никого не обеспокоит и не шокирует его внезапный в самом патетическом месте храп.

И сам он не должен ни видеть, ни слышать никого, — ни простосердечно отражающих на своих лицах все чувства, настроения, огорчения и сочувствия, ни притворяющихся понимающими и умными. Не видеть ни носового платка у покрасневших глаз, ни нервно смятой перчатки в беспокойных руках. Не слышать сморкающихся и всхлипывающих, ни тех, кто смеется и тогда, когда надо смеяться, и тогда, когда надо плакать. В тишине, в темноте, в уединении должен быть зритель трагического зрелища. Как суфлер в тесной своей будке. Как театральная мышь.

Не развлекаемый ничем посторонним, зритель не должен быть развлекаем и на сцене ничем, что не входит в состав строго необходимого для драмы. Будут ли на сцене превосходно расписанные декорации, или одни только повиснут на ней и лягут сукна, — во всяком случае сцена должна располагаться в одном плане. Зрелище должно быть как картина, чтобы не надо было зрителю засматривать за актера, в глубину многопланной сцены, в ту область, где может оказаться что-нибудь внешне скрытое, в то время как надлежало бы искать открытого в действующем, в волящем и в созерцающем.

Декорация приятна на сцене, — она сразу дает должное настроение, дает зрителю все внешние намеки, — и отчего же ей и не быть? Если и в широком внешнем мире так же:

И вдруг декорацией плоской
мне все показалось тогда, —
заря протянулась бумажной полоской,
блесткой блеснула звезда

Но потерянный в мире внешних декораций приходит в театр, чтобы найти себя, — чтобы прийти ко Мне. И нельзя развлекать его взоров излишне пышным многообразием декораций. Поэтому, между прочим, лучше, чтобы вся драма совершалась в одной декорации. Во всяком случае, в каждый данный момент зритель должен знать, на что следует ему смотреть, что надо на сцене видеть и слышать. В этом помогают ему громко произносимые чтецом ремарки автора, в этом же, конечно, поможет ему и все искусство механических приспособлений.

Все, что является зрителю на сцене, должно быть значительно, каждая подробность обстановки должна быть строго соображена, чтобы не было ничего перед зрителем лишнего, ничего сверх самого необходимого.

В этом же направлении, может быть, уместно и целесообразное распределение освещения: может быть, зрителю должно быть показываемо только то, что он в данный момент должен видеть, а все остальное должно бы тонуть во тьме, — как и в нашем сознании падает под порог сознания все предстоящее, на что мы сейчас не обращаем внимания. Оно есть, и в то же время его как бы нет. Потому что для меня существует только то, что во Мне и для Меня, — все остальное, несмотря на его возможную для кого-нибудь реальность, покоится только в мире возможностей, только ждет своей очереди быть.

Такова намечаемая форма театрального зрелища. И содержание, влагаемое в эту форму, — трагическая игра Рока с его марионетками, — зрелище рокового истаивания всех земных Личин, — мистерия совершенного самоутверждения. Играя, играю куклами и Личинами, — и зримо для мира спадают Личины и покровы, — и таинственно открывается единый Мой Лик, и, ликуя, торжествует единая Моя воля. Моя роковая ошибка завязывает все узлы, и бьюсь в сжимающихся путах земных неисходных противоречий, — и разрезывает роковые узлы острый стилет, пронзающий Мое сердце. Веселою игрою воздвиг Я миры, — и Я — жертва, и Я — жрец. Утешает горящая любовь и, сгорая, сгорает, — и последняя утешительница — Смерть.

Конечно, к трагедии тяготеет театр. И должен стать трагическим.

Всякий фарс в наше время становится трагедиею, смех наш звучит для чуткого уха ужаснее нашего плача, и восторгу нашему предшествует истерика. В старину смеялись веселые и здоровые. Смеялись победители. Побежденные плакали. У нас смеются печальные и безумные. Смеется Гоголь... У Моего безумия — веселые глаза.

Наша комедия, попросту сказать, не иное что, как только смешная и забавная трагедия. Но смешна для нас и трагедия.

Страдания молодого Вертера? Нет, — страдания сознательного гимназиста. Это — очень смешно, но и очень серьезно. Его могли бы

высечь розгами, — но он застрелился. Девочки толпятся около вырытой для него могилы, розы падают на его гроб, — родители плачут и сморкаются. Они хотели его высечь, но не успели. Это — не их вина.

Разливается вкруг нас зыбкий смех, как музыка. Он ритмичен, может быть. Он хочет пляски. И разве только одна Смерть танцует на свежих могилах? Мы тоже умеем плясать. Мы — страшно веселый народ, — мы пляшем, как семья гробовщиков в холерной год...

Каково бы ни стало содержание будущей трагедии, но без пляски ей не обойтись. Догадливые драматурги недаром и теперь ставят в своих пьесах кек-уок, матчиш и еще какую-то ерунду.

Но пляска, надеюсь, будет хоровая. И вот для этого надо снять в театрах рампу.

Если современный зритель только тем может участвовать в театральном зрелище, что узнает себя в подставляемых ему со сцены более или менее кривых зеркалах, то следующею ступенью его участия в трагическом действе должно быть его участие в трагической пляске.

Хорошо, что пляшет Айседора Дункан, обнаженные окрыляя пляскою ноги...

Так мило знать, что с нами вместе
жизнь иная есть[1]

(Валерий Брюсов)

Но скоро и мы все заразимся этою «иною жизнью», и, как хлысты, хлынем на сцену, и закружимся в неистовом радении.

Действие трагедии будет сопровождаться и перемежаться пляскою. Веселою? Может быть. Во всяком случае, более или менее неистовою. Потому что пляска и есть не что иное, как ритмическое неистовство души и тела, погружающихся в трагическую стихию музыки.

Если ты смотришь на пляшущего и думаешь, что он кружится, и обливается потом, и потому любит обливаться нежным благоуханием духов, то ты ошибаешься, конечно. Это не он кружится перед

тобою, — мир вращается вокруг него все быстрее и быстрее, мрея, истлевая, истаивая в быстром, вольном и легком движении. И ты не видишь этого всемирного кружения, потому что ты робок и благоразумен и не смеешь предаться расторгающему оковы ежедневности неистовому ритму пляски. Ты видишь только смешное, — слишком красные лица, неловко отставленную или некрасиво согнутую руку, смокшие прядки волос и эти противные мелкие капельки на молодой коже. Ты не знаешь, что это сладким огнем веет мировое кружение на предавшееся всемирной пляске исступленное тело, и эдемские росы сочетали в себе отрадную прохладу и отрадный зной.

Бьется о белую шею черный локон, мелькает из-под белого платья кончик белого башмака, радостная блеснет и уносится улыбка на алых устах, шлейф влечется и задевает. Надень перчатки, пригласи какую хочешь даму, не бойся, — это же только бальный танец, и ты не на Брокене, а в танцевальном зале в доме баронессы Журфикс. Пол натерт воском, — «даром мудрых пчел», — но совсем не опасен. «Девица Снандулия танцует только с теми, кто ей партия» (Ведекинд: «Пробуждение весны»), — она — девица благовоспитанная, хотя «платье у нее вырезано спереди и сзади, — сзади до пояса, а спереди до умопомрачения. Рубашки на ней, должно быть, совсем нет».

Этот бальный танец — только намек на то, чем должна быть трагическая пляска. Правда, корсет, перчатки и башмаки танцующей дамы отчасти, хотя бы и в слабой степени, соответствуют маске древнего трагического лицедея. Но ведь мы уже знаем, что сделанная театральным бутафором маска нам не нужна, как бы хороша она ни была. Мы свои собственные носим всегда Личины, и они так хорошо исполняют свое назначение, что не только других, но и самих себя мы часто обманываем игрою их выражений.

Весь мир — только декорация, за которою таится творческая душа. Моя душа. Всякое земное лицо и всякое земное тело — только Личина, только марионетка для одной каждая игры, для земной трагикомедии, — марионетка, заведенная на слово, жест, смех и слезы. Но приходит трагедия, истончает декорации и обличия, и сквозь декорацию просвечивает преображенный Мною мир, мир Моей души,

исполнение единой Моей воли, — и сквозь Личины и обличия просвечивает единый Мой Лик и единая Моя преображенная плоть. Плоть прекрасная и освобожденная.

Ритм освобождения — ритм пляски. Пафос освобождения — радость прекрасного, обнаженного тела.

Пляшущий зритель и пляшущая зрительница придут в театр и у порога оставят свои грубые, свои мещанские одежды. И в легкой пляске помчатся.

Так толпа, пришедшая смотреть, преобразится в хоровод, пришедший участвовать в трагическом действии.

Мечта Дон Кихота (Айседора Дункан)

Мечту Дон Кихота воплотила Айседора Дункан. И оправдана милая, странная, смешная, для глупых детей мечта.

Рыцарский подвиг — служение красоте. Рыцарь выбирал даму и во славу ее совершал подвиги. Выбирал даму, как выбирают галстуки: по своему вкусу. Посмотрит, одобрит, влюбится, может быть, — и едет геройствовать: выбрал даму. Знает, что его дама достаточно хороша, миловидна, обучена всем приличным знатной даме рукоделиям и даже грамоте. Вообще, такая дама, чье имя не стыдно назвать громко, перед сонмищем самых блестящих рыцарей.

Прекраснейшая из дам! Но кто же по праву единственная Прекрасная Дама?

В гордом замысле бедного Ламанчского рыцаря Прекраснейшая из дам — Дульцинея Тобосская.

Воистину прекраснейшая, — потому что в ней красота не та, которая уже сотворена, и уже закончена, и уже клонится к упадку, — в ней красота творимая и вечно поэтому живая.

Как истинный мудрец, Дон Кихот для творения красоты взял материал наименее обработанный и потому наиболее свободы оставля-

ющий для творца. Альдонса, — обыденное имя его Дульцинеи, — простая крестьянская девица. Смазливая. Сильная. Веселая. Пахнет потом. Ничего себе девка для деревенского жениха. Бойко спляшет на празднике. А выйдет замуж — хорошею будет хозяйкою и нарожает здоровых, славных ребят.

Таково обычное, пошлое, Санчо-Пансовское восприятие действительности, сильная и прекрасная ирония, вдохновляющая всех прозаиков и точных наблюдателей. А восприятие Дон Кихота, лирическое понимание действительности, из этого грубого материала творит ценность неоцененную, сокровище непреходящее, — то, чего нет, но что должно быть. То, что не сотворено во внешнем творении, но что творится поэтом.

Подвиг лирического поэта в том, чтобы сказать тусклой земной обычности, сжигающее *нет*; поставить выше жизни прекрасную, хотя и пустую от земного содержания форму; силою обаяния и дерзновения устремить косное земное к воплощению в эту прекрасную форму. Лирический подвиг Дон Кихота в том, что Альдонса отвергнута как Альдонса и принята лишь как Дульцинея. Не мечтательная Дульцинея, а вот та самая, которую зовут Альдонсою. Для вас — смазливая, грубая девка, для меня — прекраснейшая из дам.

Ибо не должно быть на земле грубой, смазливой, козлом пахнущей Альдонсы. И если кажется, что она есть, то лирическое восприятие мира требует чуда, требует преображения плоти.

Посылает верного своего Санчо Пансо и говорит ему:

— Приветствуй Дульцинею, прекраснейшую из дев земных.

Иронически, точно настроенный Санчо Пансо видит только Альдонсу. Тем хуже для него. Грубы его чувства и за пеленою тусклой обычности не различают возможностей и обетований великой красоты. Надлежит ему преобразиться, пройти длинный путь культуры, истончить свои восприятия, — и тогда приблизится он к своему господину и поверит в обетованную Дульцинею.

И говорит Альдонсе:

— Тебя глупые зовут Альдонсою, но ты должна взойти на те высоты, где я приготовил тебе место. Знай, что ты — Дульцинея, прекраснейшая из земных дев.

Не верит, хохочет, грубо скалит зверино-крепкие, белые зубы. Влачит ярмо обыденности и умирает. И возникает снова Альдонса, но уже отравленная ядом высокого внушения. И не верит, и смеется над высокою мечтою, смеется над бедным своим рыцарем, смеется, и плачет, и умирает, до конца пройдя пути обычности, иронии, точного ведения, тупой покорности. И возникает опять, — и сильнее, и слаще яд высокого внушения.

Бедная, грубая, смазливая, сильная, хорошо работающая, прельщающая нехитрыми соблазнами нехитрого жениха, угождающая довольному судьбою мужу, плодящая ребят, — все чаще, все слаще мечтает о высоком счастии, о высоком подвиге.

— Хочу быть Дульцинеею.

И возникает наконец дерзновенная Айседора Дункан, и являет миру высокое и обольстительное зрелище творимой красоты.

Творимой из чего?

Лицо очень милое, но вовсе не красивое. Обаятельное лицо милой деревенской Альдонсы, побывавшей долго в городах, вкусившей городской несложной мудрости. Вот на губах полугородская, жеманная, милая улыбка. Вот зовущий и простодушный взор. Вот золотые звуки голоса, уже немного отвыкшего от гулких полевых просторов.

Тело, — знатоки найдут много недостатков: форма груди не такая, как хотелось бы, стопа плоская, большой палец ноги излишне поднят. Сильное, хорошо, неутомимо работающее тело.

Пляшет, обнаженные окрыляя пляскою ноги, обнаженные в изумительном движении подымая руки, — и в зыбкое движение своей пляски увлекает очарованную душу зрителя. Вот, видит он истинное чудо преображения обычной плоти в необычайную творимую на его глазах красоту, видит, как зримая Альдонса преображается в истинную Дульцинею, в истинную красоту этого мира, — и чудо преображения чувствует в себе самом.

Он ли это, в предметах видимого мира замечавший только грязь и мерзость? Он ли, иронически улыбавшийся? Он ли восторгается и ликует? Он ли верит сладостной мечте преображения?

И восторгается, и ликует. Полуобнаженное видит тело и не вожделеет. И если бы увидел ее совсем нагую, тем же бы чистым и пламенным пламенел восторгом.

Пляшет. Устала. Красным становится лицо и покрывается каплями пота, краснеют голые руки, покраснели стопы. Проносится близко, так близко, что слышен легкий шорох ее легких, легковеющих одежд и слышен запах ее тела и ее пота. И слаще пролитого аромата запах этого пота, проливаемого в тягостном и веселом труде, — ибо и тягостен, и весел труд преображения, подвиг преображения. Милые, бедные работницы, с серпом или с иглою в утомленных руках, — придите, взгляните на вашу сестру, на эту пляшущую, на эту пляскою трудящуюся Альдонсу, — придите и научитесь, какие возможности красоты и восторга в ваших носите вы телах; поймите, как прекрасна, как благоуханна преображенная в дерзком подвиге, нестыдливо обнаженная, милая плоть, прекрасное тело Дульцинеи.

Ей же, Айседоре Дункан, слава, — сладкую воплотила она мечту столетий, дерзкий и странный оправдала она выбор благороднейшего и несчастнейшего из рыцарей, который навеки поставил выше знатных босоногую крестьянскую девку, которая жнет, веет, моет полы, — и ее назвал прекраснейшею из земных дев, и дал ей сладкое имя Дульцинеи.

И да будет бессмертно в веках сладкое имя Айседоры, Айседоры Дункан.

Вечер Гофмансталя

Театру, который захочет поставить себе серьезные цели, так же трудно существовать в Петербурге, как и в глухой провинции: нет зрителей. Оперетка и фарс собирают полный зал, трагедия идет в унылой пустыне. Зритель ждет, чтобы его развлекали. Отчасти он и прав: если театр дает ему только зрелище, если театр оставляет его только безучастным созерцателем представления, то что же остается зрителю? Искать развлечения в зрелище. Если он не может быть участ-

ником трагической игры, то пусть же зрелище будет, по крайней мере, ему совершенно понятно, приятно и близко.

Театр высокого искусства только тогда соберет в своих стенах толпу, когда он захватит зрителя в страстное кружение своего пламенного восторга. Когда зритель перестанет быть только зрителем. Когда он станет участником действия. А для этого действие на сцене должно перестать быть зрелищем, должно стать мистериею.

Это будет театр для избранных? Интимный театр? Может быть. Но, может быть, и для всех.

Зрелище, только зрелище, утомляет зрителя. Надоело. Не хотим только слушать. Хотим участвовать...

Это, может быть, слишком общий взгляд для объяснения того или другого частного явления. Что же, просто и спокойно перейдем к частностям и подробностям.

Говоря о вечере Гофмансталя, приходится говорить о том, что уже отошло в область минувшего. В одном из малых театральных зал Петербурга, в так называемом Новом театре, товариществом драматических артистов под управлением А.А. Санина было дано несколько спектаклей. Были сделаны только две постановки: «Вечер Гофмансталя» и «Союз молодости» Ибсена. Теперь это предприятие уже покончило свое существование.

«Вечером Гофмансталя» названо было представление двух пьес этого автора: трагедия «Электра» и драматический эпизод «Смерть Тициана». О последнем говорить не могу. Должно быть, было хорошо. Знаю только, что было непреодолимо скучно. Интерес вечера сводился к «Электре».

Для того, кто посещает театр по обязанности, его привычка говорить о театре подскажет ему удовлетворительные слова о каждом спектакле. Кто посещает театр не для писания рецензий, для того, по большей части, трудно говорить о виденном, — не хочется. Так и я не скажу о многом. Не могу.

Сижу в зрительном зале, смотрю и думаю: «Скоро ли кончится?»

И недоверчиво, почти без веры в возможность этого, жду моментов сладких, жутких и трепетных.

Моментов, для которых только и стоит ходить в театр. Если их нет, то только и остается, — сидеть и ждать конца.

Вижу превосходно сделанную декорацию. Верю в большую эрудицию художника. Недаром и на афише наклеены картиночки очень ученого содержания: две микенские вазы, фриз Тиринфского дворца. Конечно, декорация сделана с громадным знанием дела. Но какое же мне в том утешение? Она мешает мне смотреть на то, что делается на сцене. Какой-то музей исторический передо мною, — такая бездна подробностей, что для обозрения их понадобилось бы не менее часа. Конечно, надо, чтобы декорация вводила в тот мир, который изображен. Но если бы поменьше подробностей!

Костюмы, массовые сцены, большое искусство режиссера, плохая игра большинства артистов, — что до всего этого? Только бы один момент восторга!

И он был дан.

В роли Электры зрители видели Роксанову, — а из нее могла бы выработаться, при счастливых условиях, настоящая трагическая актриса.

Трагический актер — совсем не то же, что актер драматический. Трагедия и драма — да это два разные мира, солнце и луна. Драма — вся в борьбе. Трагедия — вся в тишине и безмолвии непреклонной решимости. Герой драмы размышляет и колеблется. С другими ли, с самим ли собою, он вечный ведет спор. Трагический герой приходит для свершения рокового замысла, — и с его рокового пути нет возврата назад. Потому и гибель на конце этого пути. И до игры ли внешней трагическому актеру!

И вот, когда участники спектакля кричали свирепыми голосами, яростно вращали глазами, делали угрожающие и необыкновенные жесты, — все это так не шло к трагическому тону, что казалось смешным. И сбивало исполнительницу роли Электры.

Пришла на сцену Клитемнестра, кричала, стучала палкою, неистовствовала, — казалась русскою помещицею старого времени; словно вот сейчас позовет холопов и начнет истязать свою дочь. И, поддаваясь общему дурному тону, психопатничала иногда и Роксанова.

Но зато как она молчала! Как она смотрела! Как она слушала! Как она плакала!

Длился спектакль, скучный, потому что пьеса ничтожная, постановка чрезмерно ученая, актеры слишком актеры из драмы, единственная трагическая актриса еще не нашла себя, — и только когда она оставалась одна, когда ей оставалось овладеть странною тишиною трагического устремления и в молчании, и в слове передать непреклонный шепот рока, который тих, — и неумолим, — только тогда являлась торжественная и верная трагедия, и оправданы были Смерть и Любовь, — оправдана была Любовь — Смерть.

Умер убитый Орестом Эгист, и с шумными криками торжества собрался народ. Вынесли на руках, высоко подняв, Ореста, и закружилась, и завопила толпа, — бросилась в бешеную пляску Электра, и слышен был вопль ее, торжествующий и страшный вопль.

Как ликует, как торжествует, как светло и ужасно радуется свободная душа человека! Какие находит она звуки, какие вопли исторгает ее восторг из широко отверстых уст! Какая радость! Какой ужас! Какая прекрасная смерть!

Смерть! Потому что после этого не надо жизни. И если она жила еще долго, — что до того! Только раз душа человека может так ликовать, и так, ликуя, умирает.

Демоны поэтов

I

Круг демонов

Я — поэт, и я хочу говорить о поэтах. Точнее, о их демонах.

Демонов, конечно, нет. Что же, может быть, нет и поэтов? Нет ли, есть ли, — все равно. Значимо только то, что я хочу говорить об этих предметах.

Поэт, говорящий о поэтах, находится в исключительно счастливых условиях. По свойственной поэту приятной способности всему удивляться, всем восхищаться и вдохновляться всякими явлениями жизни, поэтические произведения, которые поэт читает, производят на него обаятельное, волнующее впечатление. Чужие стихи для поэта или совсем мертвы, вовсе не существуют, или волнуют и трогают его чрезвычайно. Человек, способный приходить в восхищение перед мертво играющими в атмосфере демонами воздуха и пыли, он ли зевнет над прекрасною поэмою? Он ли почтит равнодушною хвалою игру творящего духа, хотя бы то был и «мелкий бес, из самых нечиновных»?

Понять каждую гримасу, подметить все эти легкие дрожания в уголках губ, каждый беглый, мгновенный огонек отразить в себе, под самую последнюю заглянуть Личину, — это наслаждение очень изысканное, за которое каждый из нас так благодарен другому поэту.

Наслаждение очень изысканное, хотя и очень опасное. Стрела летит иногда и дальше цели, — слишком тонко выпрядаемая нить слишком рано рвется между пальцами внезапно дрогнувшей пряхи, — мед до излиха сладкий в горькое претворяется вдруг яство.

Слишком глубокое понимание собирает сокровища, которых никто не расточал, и жнет пшеницу, никем не посеянную, радуя лукавых, которые всегда смеются над человеком.

Поэт — вдохновенный творец, чародей и мечтатель. Вот открывает он чужую книгу и ворожит над нею.

Скатерть-самобранка, расстилайся предо мною, — угости меня дивною трапезою. Я хочу тонких вин и благоуханных снедей.

И раскрывается, — и уставлен стол.

Насыщен и пьян, встаю из-за дивного пира, и томно кружится голова, — и погано хихикает один из лукавых, и шепчет вкрадчиво и злобно:

— Пепел и угли — твои снеди, болотною ржавчиною краснеет вино твое, смрадные черепки — сосуды, изящностью которых прельщался ты.

Посмотри, — он прав, лукавый.

Ну так что же! Прав и ты, поэт. Ты насладился, — и усладительных мигов никто не отнимет от тебя.

Вот было для тебя творчество иного поэта океаном, переплеснувшим переплеск вольных волн через черную черту берегов. Ты прошел над океаном, шагами измерил ты неизмеримую ширину его, вершками исчислил ты его глубину, — но не стыдись восторженных похвал: не ты ли был солнцем, отразившим свой Лик в океане?

Хвала — дело поэта, восторг — его правда.

Экстазы поэта достойнее, чем придирчивые истолкования критика.

Не было такого времени в России, когда критика не совершала бы позорного дела охуления литературных слав. Русские критики достигли того, что в представлении русских людей, столь еще простодушных, самое слово «критика» стало равнозначащим со словом «брань». Любители презрительных выражений с восторгом читали и читают критические статьи, где творческий труд и светлое вдохновение поэтов расценивались и расцениваются с грубою развязностью как дело глупое и позорное.

«Услышишь суд глупца и смех толпы холодной».

«Какое дело нам, страдал ты или нет!»

Читаю статью Белинского, искреннейшего из русских критиков, о поэзии гениального Баратынского. Какая тупость! Какое чистосердечное нежелание понять!

Но что же! Примеры неисчислимы.

И в наши дни кто из ныне живущих критиков не имеет в своей литературной карьере большего или меньшего числа оплеванных им поэтов, имена которых он и сам произносит теперь не без уважения.

И венцы надевала иногда критика или запоздалые, или неправые.

Так было и бывает потому, что критик ко всякому литературному явлению подходит с кодексом правил, заранее изготовленных. И все живое в поэзии вылезает за рамки этих правил.

В оценке поэтов простой читатель, ни поэт, ни критик, занимает среднее место. Он не способен восторгаться красотами, которые еще должны быть исчарованы из мертвой груды слов; он не способен понять того, что так глубоко скрыто под образами, того, чего поэт, может быть, и не вкладывает в свои образы, но что, может быть, очень

точно и верно примышлено. Это суживает для него тот круг, внутри которого лежит для поэта прекрасное и мудрое.

Но читателю нет дел до педантически обоснованных литературных правил, — в книге он ищет не иллюстраций для своих теорий, а непосредственного удовольствия. И придирчивые требования критика, и мечтательные восторги поэта заменены для него случайными склонностями и влечениями, порождениями его случайных переживаний. Если и он иногда берет в свои руки, для забавы или для глубокомыслия, ржавый железный шаблон критика, он накладывает эту игрушку на что попало и как попало. И похвалы, и порицания его неожиданны и странны. Громкою славою венчает он тупого графомана, сделавшего своим прибыльным ремеслом проституирование высокого искусства, и равнодушно проходит мимо Тютчева, мимо Баратынского, мимо Фета, мимо...

Из этого треугольника неправых отношений я хочу выйти. Восторгаться кем бы то ни было я не хочу, — пресытился я восторгами и умилением и уже не хочу простосердечно вкушать лакомые угли и сладкий пепел.

«Сам собою вдохновляюсь», — и с меня этого довольно.

Хулою не оскорблю ничьего творческого вдохновения. Все, что в области поэзии, для меня свято. Никакого канона не признаю, никакою теориею не надавлю на живую ткань поэтического мечтания.

От случайностей же читательского вкуса избавят меня сами Демоны поэтов, которые уже предстоят мне.

Широким кругом стали они около меня, разделили между собою весь мой горизонт и всю мою атмосферу, всю многоликую и многоголосую Иронию живого слова явили они мне. И всякий являемый ими лик — точная истина, и всякий их вопль говорит *да*. Противоречивую утверждают они подлинность мира.

Что же такое они сами?

Вся область поэтического творчества явственно делится на две части, тяготея к одному или другому полюсу.

Один полюс — лирическое забвение данного мира, отрицание его скудных и скучных двух берегов, вечно текущей обыденности и вечно возвращающейся ежедневности, вечное стремление к тому,

чего нет. Мечтою строятся дивные чертоги несбыточного, и для предварения того, чего нет, сожигается огнем сладкого песнотворчества все, что есть, что явлено. Всему, чем радует жизнь, сказано *нет*.

В накуренной и заплеванной биргалке сидит буржуа с насандаленным носом; перед ним кружка пива и сосиски. Он курит вонючую сигару, слушает пьяный гам и блаженствует, витая в Золотом сне. Нектар перед ним в хрустальном бокале, и амброзия на чеканном золотом блюде, и голубой перед ним вьется дым ароматного курения. Сам он молод и прекрасен, и золотые кудри обрамляют его дивную голову. Он — поэт. Сидит он — и поет (сочиняет стихи). И чего нет в его стихах!

«Воспевает, простодушный »
«Поэт на лире вдохновенной »
«Несись душой превыше праха
И ликам ангельским внемли »
«Иди ты в мир, да слышит он пророка,
Но в мире будь величествен и свят »

Идет в мир, на улицу, встречает деву

с улыбкой розовой, как молодого дня
за рощей первое сиянье

На взгляд постороннего и трезвого, это — просто грубая и неряшливая девица... женщина... может быть, небеспорочная... может быть, совсем порочная. Но для лирика с насандаленным носом она — прелестная Дульцинея.

Вечный выразитель лирического отношения к миру Дон Кихот знал, конечно, что Альдонса — только Альдонса, простая крестьянская девица с вульгарными привычками и узким кругозором ограниченного существа. Но на что же ему Альдонса? И что ему Альдонса? Альдонсы нет! Альдонсы не надо. Альдонса — нелепая случайность, мгновенный и мгновенно изживаемый каприз пьяной Айсы. Альдонса — образ, пленительный для ее деревенских женихов, которым нужна работящая хо-

зяйка. Дон Кихоту, — лирическому поэту, — ангелу, говорящему жизни вечное *нет*, — надо над мгновенною и случайною Альдонсою воздвигнуть иной, милый, вечный образ. Данное в грубом опыте дивно преображается, — и над грубою Альдонсою восстает вечно прекрасная Дульцинея Тобосская.

Грубому опыту сказано сжигающее *нет*, лирическим устремлением дульцинируется мир. Это — область Лирики, поэзии, отрицающей мир, светлая область Дульцинеи.

От пламенеющего змея
Святые прелести тая,
Ко мне склонилась Дульцинея
Она моя, всегда Моя

В эту область лирического *нет* ныне я не пойду. Эта область желанного, прекрасного, гармонического искони была любимым местом для прогулок всех добрых и злых критиков. Какие бы Личины ни надевались поэтами на трудолюбивую и дебелую Альдонсу, — Личины Афродиты или Медузы, Девы Марии или Астарты, Прекрасной Дамы или Вавилонской блудницы, доброй Лилит или лукавой Евы, Татьяны или Земфиры, Тамары, дочери Гудала, или царицы Тамары, — все эти внешние, ярко и пестро размалеванные Личины давно и хорошо знакомы каждому школьнику.

Я же хочу быть покорным до конца. Я влекусь ныне к тому полюсу поэзии, где вечное слышится *да* всякому высказанию жизни. Не стану собирать в один пленительный образ случайно милые черты, — не скажу:

— Нет, не козлом пахнет твоя кожа, не луком несет из твоего рта, — ты свежа и благоуханна, как саронская лилия, и дыхание твое слаще духа кашмирских роз, и сама ты, Дульцинея, прекраснейшая из женщин.

Но покорно признаю:

— Да, ты — Альдонса.

Подойти покорно к явлениям жизни, сказать всему *да*, принять и утвердить до конца все являемое — дело великой трудности. На

этом пути трудно пройти далеко, потому что его стережет Дракон Вечного противоречия.

Но познавший великий закон тождества совершенных противоположностей не убоится Дракона и бестрепетно вступит в область Вечной Иронии.

Снимая покров за покровом, Личину за Личиною, Ирония открывает за покровами и Личинами вечно двойственный, вечно противоречивый, всегда и навеки искаженный Лик. За ангельским сладкогласием поэтов, за образами их золотого сна обличает она сонмище уродливых демонов.

II

Старый черт Савельич

Всякая поэзия хочет быть лирикою, хочет сказать здешнему, случайному миру *нет* и из элементов познаваемого выстроить мир иной, со святынями, «которых нет». Поэт — творец, и иного отношения к миру у него вначале и быть не может. Вся сила лирического устремления лежит в этом наклоне к тому желанному, чего еще нет, и уверенности, что творение иного мира возможно.

Но всякая истинная поэзия кончает иронией. Пламя лирического восторга сожигает обольстительные обличия мира, и тогда перед тем, кто способен видеть, — а слепые не творят, — обнажается роковая противоречивость и двусмысленность мира. И приходит ирония. Открывает неизбежную двойственность всякого познавания и всякого деяния. Показывает мир в цепях необходимости и научает, что по тождеству полярных противоположностей необходимость и свобода — одно. И говорит миру: «Да». И говорит необходимости: «Ты — Моя свобода». И говорит свободе: «Ты — моя необходимость». И, реализуя их невозможность как предел земных бесконечностей путем Любви и Смерти возводит поэзию на высоту трагических откровений.

Великая поэзия неизбежно представляет сочетание лирических и иронических моментов. То или иное отношение их определяет характер данной поэзии. Большая или меньшая ясность для самого поэта этих моментов, их слияния и их рокового спора обусловливает отношение поэзии к бесовским наваждениям, ее большую или меньшую стойкость перед искушениями лукавого.

Есть магические круги, внутрь которых нечистая сила не проникнет. Поэт, как чародей, чертит эти круги, но по недосмотру оставляет в них промежутки, — и в жуткие миги творчества вкрадывается нечистый в середину не до конца зачарованного круга.

Ошибка поэта, впускающая в его творчество беса, состоит в неверном употреблении приемов иронии и лирики, одних вместо других.

Эта опасность наиболее грозит лирическому поэту. Лирика всегда говорит миру *нет*, лирика всегда обращена к миру желанных возможностей, а не к тому миру, который непосредственно дан. И вдруг становится лирический поэт искушаем некиим лукавым сказать на языке лирики данному миру пламенное *да*. И поэт, «в надежде славы и добра», говорит небесные слова о земном.

Нет беды, если это делает бездарный версификатор, — получается плохое стихотворение, и только. Но в творчестве великого поэта не бывает случайных ошибок. Бес, который втирается в это творчество, — бес опасный и сильный.

И бес, соблазнявший великого Пушкина, был бес не заурядный. Он пришел к поэту рано и мутил его долго исподтишка, не показывая своей хари. Сквозь мерзость и скверну протащил душу поэта и показал ему великое земное и небесное святое в странном и лукавом смешении, ужалил его тщетною мечтою о недостижимом в мире, здешнем и преходящем, прельстил дивною трагедиею самозванства, играл перед ним Личинами, прекрасными и титаническими, — и за всеми Личинами, уронив их на землю, подставил поэту магическое зеркало и в нем Лик Савельича, — и черта за чертою в холопском Лике повторились черты поэта. Дьявольски-искаженное отражение, — но, однако, наиболее точное из всех.

Разве не себя изображает поэт в наиболее совершенных своих созданиях? Есть тяготение к подобному, — и у Пушкина было такое тяготение к изображению титанических и прекрасных образов, — Петр Великий, Моцарт. Прекрасные возможности, — и рядом с ними отражения мелкого и случайного.

Мечты о величии пленяют каждого, кто чувствует в себе великие силы. Не могли не пленять они и Пушкина. Образ вдохновенного поэта, такой лучезарный, предносился перед ним. И всегда в лирическом озарении.

«Поэт на лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал . »
«Небрежный плод моих забав. .»
«Безумная душа поэта . »
«Марать летучие листы.. »
« .в строфах небрежных ..»

Таков образ поэта, — рассеянный, небрежный, вдохновенный, марает летучие листы, — сколько посидит, столько и напишет, дивная, вдохновенная пишущая машинка, «Ремингтон № 9»! «Стихи для вас — одна забава». Труд поэта сводится к дивному искусству импровизации, сам поэт — «безумец, гуляка праздный».

На деле всего этого нет, да все это вовсе и не нужно. Здесь мы видим лирическое отношение к предмету, такого отношения не вызывающему. И в этом было обольщение для поэта, — обольщение лживое и опасное.

Таков некий мечтательный и небывалый на земле поэт, — но сам-то Пушкин был не таков, конечно. Мы-то знаем, как он работал. И его упорная работа над рукописями его стихов и его пленительной прозы нисколько не мешает нам признать его великим поэтом. В ценность импровизаций мы не верим, небрежные стихи нам так же мало радостны, как и все небрежное и, стало быть, косолапое и глупое. Но Пушкину предносился почему-то такой образ поэта и гипнотизировал его. Он чувствовал себя таким, как Сальери, прилежным и удачливым работником, а быть хотел таким, как Моцарт, безумцем и праздным гулякою. Был такой трез-

вый, благоразумный и бережливый, а натаскивал на себя причуды праздных шалопаев. Завидовать он, конечно, не мог, — некому было завидовать, очень удачливо складывалась его литературная судьба, — но жало неудовлетворенности вливало в него свой жгучий яд. Кто-то другой, может быть, ему завидовал, кого-то другого изобразил он в лице Сальери, но с какою проникновенною, интимною точностью! Точно автопортрет!

Стоило только раз надеть на себя чужую и ненужную Личину, — и уже бес притворства завладел.

Вынуждающее к притворству недовольство собою и своим не есть то «святое недовольство и жизнью, и самим собой», о котором говорит Некрасов. То недовольство свято, потому что оно есть праведно-лирическое отрицание мира. Оно говорит:

— Мир не таков, каким он должен быть, не таков, каким я хочу, чтобы он был. Отрицая этот мир, я творческим подвигом всей приносимой в жертву жизни сделаю что могу для создания нового мира, где прекрасная воцарится Дульцинея.

И у него — один язык, для себя и для мира. А то, другое, вынуждающее к притворству недовольство собою имеет два языка. Один, внутренний голос, говорит языком утверждающей иронии:

— Это — грубая Альдонса. От нее пахнет луком. Она веет рожь. Мне с нею надо жить, но мне стыдно показать ее в люди.

И говорит другой голос, с притворным пафосом вещая миру:

— Это — Дульцинея Тобосская. Слаще мирры и роз благоухание ее уст. «Перстами, легкими, как сон», она перебирает шуршащий на серебряном блюде жемчуг. Мне с нею жить. «Хорошо мне, — я — поэт».

Притворство — первая ступень. Лиха беда — начать. Дальше идет самозванство. И то и другое отразилось в поэзии Пушкина.

Чтобы овладеть Людмилою, Черномор принимает на себя обличие Руслана.

«Мазепа, в горести притворной,
К царю возносит глас покорный.. »
«Москвич в Гарольдовом плаще »

В «Домике в Коломне» кухарка брилась.

Лиза Берестова хорошо играла роль крестьянки. Только «одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камешки показались ей нестерпимы».

Пушкинскую Дульцинею затруднил путь правой иронии, смелого принятия земли с ее песком и камнями. Она осталась барышнею цирлих-манирлих и не проявила в себе дульцинированной Альдонсы. Это сумела сделать Анна Ермолина, которая ходила босая, как подлинная крестьянка, и наряжалась, как подлинная барышня. Приняла мир кисейный и мир пестрядинный. Явила точный образ говорящей *да* двуликому миру иронии и стала в веках Моею вечною Невестою.

Одного, первого самозванства Лизе было мало, — она потом набелилась и насурьмилась пуще самой мисс Жаксон. Явила живую пародию на Дульцинею.

Дубровский поселился в доме своего врага Троекурова под видом француза Дефоржа.

Наконец, два исторических самозванца, — один в «Борисе Годунове» и другой в «Капитанской дочке». И оба — самозванцы подлинные, без малейших сомнений, заведомые плуты и обманщики.

В довершение этого перечня любопытно вспомнить, что тема «Ревизора» принадлежит Пушкину же.

Хотел быть как Моцарт. «Ведь он же гений, как ты да я», — говорит Моцарт. Очень снисходителен и Пушкин был к своим современникам. Холоден был только к двум: к гениальному Баратынскому и к Бенедиктову, литературному предшественнику одного из самых известных современных поэтов.

Корень притворства и самозванства — в неправом самоотрицании, в ложном самоотречении. Не нравлюсь сам себе, хочу быть другим, лучшим. Это всегда неверно, всегда унизительно для человеческого сознания. Правый путь сознания только один — к самоутверждению в свободном развитии того, что во мне есть, что случайно заслонено, может быть, элементами чужого, злыми влияния-

ми призрачного не-Я. Правый путь самоотречения — есть путь отречения от своего случайного, от вещей и от их соблазна; это — путь деятельной любви, на котором я отдаю все мое, потому что все есть Мое, и не беру ничего чужого, потому что есть только Мое. Идти от Меня к каким-то иным достижениям — это значит продать свою душу черту, отказаться от своего вечного Лика для восковой маски.

Не нравлюсь себе, хочу идти выше, стать лучше, не лучше в смысле укрепления и усиления блага, во мне лежащего, а в смысле перемены самой Личины своей. Да тогда кто же сам-то я, этот маленький я, хотящий быть иным? Не существо ли низшей породы? Не холоп ли, преклоняющийся перед господином? И кто господин, которого хвалим? Не князь ли мира сего?

Лирический поэт, говоря *нет* данному миру, говорит это для того, чтобы восхвалить мир, которого нет, который долженствует быть, которого Я хочу, который Я творю. Творю подвигом всей Моей жизни.

Но вот поэт говорит миру *да*, которое для здешнего мира всегда претворится в ироническое. И хочет поэт хвалить здешний мир. Не льстить, а слагать правый дифирамб.

«Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю...»
«О, мощный властелин судьбы!»
«То ли дело, братцы, дома!»
« Он прекрасен, —
Он весь, как Божия гроза!»
« И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья»
«Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!»

Но здешний мир издевается над его усилиями дульцинировать зримую Альдонсу. Бессильная лирика истощается в напрасном пафосе, и приходит незваная, нечаянная ирония.

«Черт догадал меня с умом и талантом родиться в России!»

«О, если б голос мой умел сердца тревожить!»
«И сердцу вновь наносит хладный свет
неизгладимые обиды»
«Дар напрасный, дар случайный!»

И раскрывает роковую двуязычность мира.

«Недаром лик сей двуязычен»

С настойчивою силою раскрывается эта роковая двусмысленность, — даже в такой, свойственной Пушкину, особенности, как постоянное тяготение к контрастам. Где великий Моцарт, там и маленький Сальери, — и кто из них ближе, кто подлиннее отражает пушкинский Лик?

Но слагает дифирамбы, — изнемогая под бременами невольной иронии, хвалит. Подымается вверх лестница совершенств, вереница титанических образов, — а внизу притаился гнусный, но, несомненно, подлинный Савельич. Усердный холоп, «не льстец», верный своим господам, гордый ими, но способный сказать им в глаза, с холопскою грубостью, которую господа простят, и слова правды, направленные всегда к барскому, а не к своему интересу. Ведь потому-то господа и прощают грубость старого холопа Савельича, что она бескорыстна, что она вся для господской выгоды.

Дорожит всем барским: тулупчик на заячьем меху...

«. Водились Пушкины с царями . »
«. .бывало, нами дорожили .»
«. царю наперсник, а не раб . »
« .мне жаль...
что геральдического льва
демократическим копытом
теперь лягает и осел ..»

«Чувствительный и фривольный» Савельич может уродиться и «с умом и талантом»: в семье не без урода. И тогда жизнь его обращается, конечно, в «мильон терзаний». Он хочет и может парить, — но ему зачем-то вздумалось кадить. И ему могут сказать: «Мало накадил!»

Он хочет, — и он мог бы, — обнять мир творческою мечтою, — но роковой наклон его души делает его только обезьяною великих.

Страшный черт — старый черт Савельич. Он всегда кружит вокруг лирически настроенных, и возводит их на высокие горы, и показывает им богатство и красоту мира, и говорит:

— Как пышно! Как богато! Какая честь! Хвали! Преклонись!

И так редко слышит достойный человека ответ:

— Не о хлебе едином... Не искушай... Иди...

Пушкин этого ответа решительно и ясно не дал. Он остался с Савельичем. И Савельич замучил его даже до смерти...

К всероссийскому торжеству

Судьбы переменчивы, — претерпевший столь многие гонения при жизни и по смерти, Пушкин воспоминается торжественно, официально установленным порядком, — но «последняя горше первых». Возвышенный и чистый поэт становится достоянием толпы, той презренной черни, непонимание которой столь же грубо, как и в старину. Его стихи учат в школах, никто не спорит против его величия, ничьей пошлости не оскорбит его почивающий в мире глагол, — и толпа получила свою долю в пиршестве господ. А что ей до него? Что ей Пушкин?

«Явление необычайное», поэт, в себе нашедший точную меру всякого человеческого чувства, на точнейших весах взвесивший добро и зло, правду и ложь, ни на одну чашу весов не приложивший своего пристрастия, — и в равновесии остановились они, — человек великого созерцания и глубочайших проникновений, кому он сроден? Из позднейших лишь Достоевский мрачно-подобен ему, светлому, — все же прочие — иного духа. И дух века столь далек от того, чем жил Пушкин, что непоминание его — одна только дань уважения от толпы поэту: потому что оскорбительно для памяти поэта, что хоть что-нибудь в нем кажется понятным тем знатокам, которые, напр<имер>, носились с неуклюжим переложением молитвы Господней, приписывая его Пушкину.

Зачем же эти праздники, эти жалкие торжества, эти спектакли, флаги, фейрверки, колокола, пушки, — вся эта бутафорская рухлядь обязательно справляемых торжеств? Лишь оскорбительны для великой памяти эти надуманные торжества, подсказанные не общенародным восторгом, а простою календарною справкою литературных гробохранителей. Вот стихотворение молодого поэта, г. Корина, которое в немногих словах передает это наше чувство обиды и возмущения:

Сбылось! — По всей Руси великой
Крылатый стих твой облетел!
И в сердце черни полудикой
Он смутным эхом прогудел!
И вот кощунственно играя
Священным именем твоим,
Тебе несет толпа слепая
Своих кадильниц чад и дым
Восстань, поэт! Как прежде, смело
Возвысь пред ними мощный глас
«Подите прочь! Какое дело
Поэту мирному до вас!»

Вот уже сказано это было им, уже недвусмысленно выразил поэт свое к ним презрение, — чего же им еще надо?

Единый путь Льва Толстого

Насладиться долготою дней, славою всемирною, и личным счастием, и высокими утешениями творчества и дерзающей мысли — удел счастливый и редкий. Ныне, когда земле отдан бедный прах, когда отошли от великого страдания недужной плоти, вознесся на века образ благословенного и счастливого человека, с редкою цельностью воплотившего затеплившееся в народах предчувствие всемирной религии, предсознание единой всечеловеческой души.

Никто из великих поэтов не давал столь сильного ощущения единой жизни, как Лев Толстой. И зависит это не только от того, что он владел в высокой степени совершенным искусством словесной изобразительности: для этого удивительного впечатления жизненности и правды, очевидно, недостаточно внешнего мастерства, как бы оно ни было высоко. Потребна еще некоторая живая убедительность, которая была у Льва Толстого, — та сила, которая делала его творчество не подобием или повторением нашего мира, а созданием доподлинного, живого мира по образу и подобию его творца. Эта живая убедительность столь велика, что очевидные противоречия нисколько ей не вредят, как не вредят нашему ощущению действительности внешнего мира наблюдаемые в нем противоречия.

Всегда бывает прав и верен себе самому тот, кто смотрит на вещи с некоторой точки зрения: нет противоречий, когда можно смотреть только на одну сторону каждого предмета. Но Лев Толстой не наблюдал с какого-нибудь места; он смотрел на мир как бы из самой глубины и ставил нас в самые центры совершающегося, так что уже мы не видим со стороны его действующих лиц, но как бы смотрим на мир их глазами и реагируем на внешние впечатления их ощущениями. И кажется всегда, при чтении этого удивительного писателя, что он содержит в самом себе самую правду мира и самую его жизнь.

И замечательно, что этот мир не тот самый мир, который мы сами знаем. Сначала мастерство Льва Толстого заслоняет от нас это неточное соответствие его мира с нашим. Но стоит вглядеться пристальнее, — и мы видим, что стали жертвою некоторого очарования. Подобно системе нашего знаменитого геометра Лобачевского, системе, строгой в себе, но в известных частях не согласной с привычным нам Евклидовым представлением пространства, — и мир Льва Толстого есть мир иной, — как бы иная планета, сопутствующая Земле и почти повторяющая ее жизнь. Это — мир мятежный и живой, весь насквозь живой, весь отнесенный к истокам жизни и к жизненной правде. Жизнь и смерть, правда и ложь, — вот день и ночь этого мира.

Как создался этот мир?

В нем нет ничего из области чистой фантазии. Все его элементы — из нашего земного мира. Когда читаешь Льва Толстого, то постоянно кажется, что все это он видел или пережил, видел только однажды, но навсегда взял в себя. Поэтому каждое слово его дышит силою и свежестью непосредственного восприятия, — словно он никогда не рассказывал о других, а всегда только о себе.

«Надо раз испытать жизнь, — говорит он, — во всей ее безыскусственной красоте» («Казаки»). И он испытал однажды, — прошел весь круг доступных человеческой душе чувств, — и усумнился в том, что кажется людям несомненным, хотя и недоказуемым, — в самой правде этой жизни и этих чувств. Человек беспощадно-правдивый, он стал жадно искать истины, строго испытуя свою душу. И вот создался мир, уже весь правдивый и простой, без ореолов, без святынь, без красоты, без всякого величия, без великих людей, без великих подвигов, даже без великих страданий, без всякого обольщения, которым обольщали себя люди, — и в этом развенчанном и непраздничном мире обретается, с великим напряжением не ума, а непосредственного чувства, высокая правда, несомненное оправдание жизни. Жизнь познается не разумом, как стремились познавать ее люди науки и опыта, а познается она самою жизнью, — и это познание является более верным, — ибо разум, сам входя в жизнь, не может обнять ее.

При свете строгого разума жизнь нелепа и невозможна. И такою является она в произведениях Льва Толстого для поверхностного, рассудочного взгляда. В ней люди делают то, чего они не хотят делать и чего им не следует делать; они обольщают себя словами, они стремятся или к недостижимому, или к ничтожному и, в этом нелепом стремлении сталкиваясь друг с другом, ненавидят, презирают, обижают, мстят, губят и гибнут, — и нет никакой правды в их жизни, и самая их жизнь — ложь и призрак. Если кажется, что есть нечто в этой жизни возвышенное и святое, то и это обман: всякий благородный порыв сводится к чему-нибудь низменному, всякая чистота является покровом скверны, все прекрасные чувства строго проанализированы и оказались разложенными на ряды презренных вожделений и побуждений.

Даже самая человеческая личность, отдельность и постоянство нашего «я» при беспощадном анализе разлагается в обманчивый призрак, в зыбкую иллюзию над текучею формою мертвого вещества. Смешными становятся все виды самолюбия и всякое геройство, — ибо все это противоречит несомненной призрачности нашего бытия. Любить себя — любить призрак. Но и любить другого, — с выбором, по влечению, — любить своих детей, своих сограждан, — и это призрачно, и нелепо, и жестоко, — как нелепо и жестоко не давать пищи чужому ребенку, чтобы приберечь ее для своего.

Беспощадно сдергиваются последние покровы, и поэт с презрительным сожалением говорит: «Вот то, перед чем вы преклонялись. Мы все заворожены старыми наговорами наших предков, мы верим в слова, символы, эмблемы, — и во всем этом ложь; есть прекрасные слова, но нет для них достойного в мире соответствия. Никакого нет небесного огня, никакого не было Прометеева подвига, — жизнь вся плотская, земная, грубая. Вот люди едят и пьют, работают и играют, наживаются и разоряются, рожают детей и умирают, — вот они во всех делах своих, — в своем достоинстве и в своей пошлости, — и все это — ложь и призрак. Все разнообразие жизни, бьющей ключом, возникло как бы для того только, чтобы погибнуть.

А сам поэт, совместив в себе все земные чувства, перейдя все их ступени, не дал над собою власти ни одному, никакому не поддался обаянию. Потому кажется он бесстрастнейшим и беспристрастнейшим из художников. Он изображал людей без гнева и без злобы, часто с сожалением, всегда несколько презрительно. Никто из людей не был защищен от него обольщениями слова или дела, — все стояли перед ним, как на последнем суде, обнажив свои сокровеннейшие помыслы. На всякого человека был брошен поистине страшный свет, — как бы Рентгеновы лучи, но это не солнечный свет, при котором видел людей, напр<имер>, Шекспир.

Непримиримые противоречия жизни не прикрыты ничем. Да и к чему? Если жизнь нелепа и невозможна, то вот придет смерть и разрешит всякие невозможности. Смерть ужасна, но иногда лучше не жить и благо — умереть, освободиться и освободить («Смерть Ивана Ильича»).

Но смерть воистину ужасна, — и как ни пустынно небо, как ни прикована к земле и к праху наша жизнь, живем мы однажды, и великие загадки бытия остаются все такими же роковыми и неотступными, — и неразрешимыми. А разрешить их надо, — но как?

«Если допустить, — говорит Лев Толстой, — что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни» («Война и мир»).

В другом месте («Исповедь») он говорит: «Можно жить только покуда пьян жизнью, а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это обман».

Разум прав, но мертв: он не знает жизни, он знает только ее схемы. Там, где работает только разум, царствует отчаяние. Если жизнь нелепа, то и все попытки вмешательства разума в ее устроения ничтожны. Разум может указать только один смысл жизни — личное благо, а оно недостижимо. Разрешение роковых вопросов приходится не в разуме искать, — и не в разуме искал их Лев Толстой.

Изображена нелепая и ничтожная жизнь, — но чем же внесена в нее эта обаятельная гармоничность? Не разумом, — Лев Толстой не был рассудочен, как Ибсен, но, читая его, мы верим, что он «знал», что он — мудрый и «вещий» человек, что в этой сумятице явлений он видел нечто устроящее.

Разрешение нелепости и тщеты жизни дается только в отношении ее к бесконечному. Только отнесенная к бесконечности, жизнь становится благородною. В самой конечной жизни не дано этого благообразия: оно, как царствие Божие, «нудится», по слову евангельскому. Надо употребить некоторое усилие живого чувства, чтобы его познать. Так, самый непосредственный из изображенных Львом Толстым людей, Платон Каратаев (вдохновеннейшее создание Льва Толстого), слушая рассказы, делал вопросы, направленные к тому, чтобы выяснить благообразие жизни.

Только в отношении к бесконечному — оправдание жизни, и жизнь «по-Божьему» — величайшее благо. «Не сознание жизни есть призрак, а все пространственное и временное призрачно» («О жизни»). Отдельная, личная жизнь — призрак и ложь. Все личное представля-

лось Льву Толстому призрачным. Всякая индивидуальность в его изображении дробилась на серии мелких настроений и ощущений, — и уже нет постоянного, как из бронзы или из мрамора изваянного человека, каких изображали былые художники.

Необычайно яркая образность Льва Толстого, подобная жизненности и силе самой природы, вся вышла из этого отрицания отдельного человеческого бытия. В самом деле, что существует для человека, изображенного Львом Толстым? Существуют предметы, поля, деревья, камни, — все впечатления, доходящие от них, — все следы этих впечатлений в памяти, — мысли, развивающиеся как бы механически, — и столь же неизбежно развивающиеся настроения, — все это несомненное и ясное, — и за этим несомненным и живым еще длинные, цепкие, но смутные ряды обманчивых грез и презренных попыток в этой быстротекущей смене явлений утвердить благо своей отдельной личности, — попыток, тем более неудачных и лживых, чем ближе подходит человек к истокам истинного бытия, чем он чище и проще.

Каждый человек у Льва Толстого является как бы центром мировой жизни, частью мирового чувствилища, одним из тех фокусов, где жизнь сосредоточивает раздробленные лучи своего единого сознания, чтобы в себе познавать себя самое. Каждому из них только кажется, что у него своя воля, — воля же только одна, всемирная, все движущая и направляющая. Каждому из них только кажется, что он обладает своею, отдельною жизнью, — и потому страшно умереть, — а на самом деле жизнь только одна, единая во всем, а «смерти нет» («О жизни»).

Проповедь равенства и братства, может быть, никогда еще не была так убедительна, как проповедь, заключенная в творчестве Льва Толстого, — ибо он непрерывно, всеми своими образами, показывает, что люди воистину равны, в наиважнейшем, в своем трагическом, что все они равно ничтожны и что лучшие из них — это те, которые знают свою и общую ничтожность. Все люди живут одною жизнью, имеют одну душу. Эта одна жизнь одной души всегда и занимала Льва Толстого, — жизнь, раздробленная в многообразных отражениях, но всегда единая.

Эту жизнь, единую во всем, любил Лев Толстой, любил всею силою своего могучего существа, любил так, как другие любят женщину, или вино, или славу, или власть, или мечтания, — и вот почему такою силою жизни поражают его сочинения. И уже потом, за жизнь, полюбил он то, что живет, и прежде всего человека, и животное («Холстомер»), и растение («Три смерти»).

Люди в его мире — как родники, бьющие с разною силою, но из одной почвы. Сила жизни или буйствует в них, или течет мирно, или иссякает. И только этою силою жизни и отличаются главным образом его действующие лица одно от другого, — тем, из каких глубин и с какою силою бьют эти родники.

Если разобрать, чем производит на нас обаятельное впечатление тот или иной образ Льва Толстого, мы увидим, что это не какие-нибудь черты характера, не какие-нибудь особые способы отношения к людям или вещам производят обаяние, а единственно только гениально изображенная полнота жизни, та «всхожесть», которая из семени развивает целый организм. Когда же нет этой полноты жизни, когда люди не «всхожи», они становятся во всем жалки и бессильны, и дела их не увенчиваются успехом.

Такая пара есть в романе «Анна Каренина»: Кознышев и Варенька, прекрасные люди, по мнению всех окружащих, созданные для совместной жизни. Но, так как именно жизнь-то и не била в них ключом, то, при всем их полном согласии подчиниться безмолвному приговору окружающих, они так и не сумели сказать друг другу решающих судьбу слов.

Возлюбя единую жизнь, Лев Толстой изображал не столько людей с их жизнью и характерами, сколько единую, всемирную жизнь, как она развивается в живых существах. Каждое лицо создавалось у него из совокупности множества отдельных черт, множества, которое начинает казаться бесконечно-неистощимым, — и потому изображаемый человек делался живым, единственным, ни на кого более не похожим. Так создавались у Льва Толстого индивидуальности, беспредельные и иррациональные, как сама жизнь. Все эти индивидуальности у Льва Толстого как бы самоцветны и переливают, и ни одна не окрашена

в один цвет. Но почти никогда не проводил Лев Толстой в своих портретах тех последних, крайних, грубых очертаний, которые обращали бы изображаемое лицо в тип. От этого зависит то, что имена его действующих лиц не сделались ходячими, как бы нарицательными именами: слишком они живы, и нет в них никакой искусственной ограниченности для того, чтобы служить представителями целых разрядов сходных с ними людей. В этом отношении Лев Толстой представляет полную противоположность Гоголю, наиболее мертвенно изображавшему людей, но у которого зато что ни лицо, то и тип.

Так же и в изображении чувств Лев Толстой прямо противоположен Пушкину, знавшему лишь ясные и определенные чувства, замкнутые каждое в своем кругу. Лев Толстой не знал ни цельных людей, ни цельных чувств, — он все дробил на мельчайшие элементы.

Кстати, интересно заметить, что из всех современных ему писателей Лев Толстой был дружен с Фетом, изобразителем тончайших душевных движений, одним из предтеч современного символического течения русской литературы; из прежних же поэтов Лев Толстой чрезвычайно высоко ставил, — на первое место среди русских поэтов, — Тютчева, глубокого и вдохновенного созерцателя живой природы.

Как ни велика творческая сила Льва Толстого, это дивное чувство жизни в его произведениях куплено дорогою ценою. Чтобы «заразить», — по собственному выражению Льва Толстого, — читателя этим ощущением жизни, недостаточно было только наблюсти жизнь и провести через себя эти наблюдения. Надо было сделать большее, — весь наблюденный материал совершенно переделать в себе, совершенно сокрушив его привычные для мира сочетания и отношения, и потом из этого хаоса в самом себе создать из себя новый мир. Таким представляется мне творчество Льва Толстого. Этот новый мир, очевидно, не вполне точно соответствует нашему миру, но его удивительной жизни нельзя не верить, — столь победителен этот избыток творческой силы.

Строго говоря, Лев Толстой изображал всегда только свое «я» в многогранных его разветвлениях. Он и начал с малого круга полуавтобио-

графических повестей и все расширял свой дивный мир. Он знал и признавал лишь то, что сам непосредственно воспринял. Прочего для него не было, и он словно не верил в накопленные знания, в культуру, цивилизацию, науку, традиции, установления. Медицина для него — шарлатанство. Крики, исторгаемые болью, — притворство.

«Впечатление наше при виде страдания детей и животных есть больше наше, чем их страдание» («О жизни»).

Но и у взрослого, рассказывает он однажды («Война и мир»), боль исторгала «отчаянный, но притворный крик».

Внешний мир как бы вовсе не был нужен Льву Толстому, — потому указание на прекращение человеческого рода совсем не казалось ему аргументом против его проповеди целомудрия. Будущие и прошлые поколения ему не любопытны; его исторический роман, в сущности, вовсе не исторический. В современной жизни он тоже не знал многого: не знал жизни среднего городского класса, городской бедноты.

Он был как бы замкнут в некотором кругу, — но какой это был громадный круг, и какая обаятельная совершалась в нем жизнь!

Познавать полноту жизни надо не разумом, который бессилен в этом, а только самою жизнью. Смысл жизни лежит в ее отношении к бесконечному. Является вопрос, как надо жить, вопрос, много занимавший Льва Толстого, вопрос, которому посвящены многие страницы и художественных, и теоретических его произведений.

Я должен жить, чтобы познавать жизнь жизнью, — надо, очевидно, жить полною жизнью (отсюда проповедь труда) и доверяться жизни и заключенной в ней правде, отрываясь от обманчивых обольщений своего призрачного «я» (отсюда проповедь непротивления злу).

«Все образуется», — говорит в «Анне Карениной» камердинер Облонскому и этим утешает его.

«Перемелется, мука будет», — так озаглавлена одна из глав «Отрочества».

Доверься жизни, — и все устроится. Познанию жизни мешает многое в искусственных условиях нашего быта (отсюда вражда к городской жизни, к условным формам общежития, проповедь целомудрия, воздержания от мяса, вина, курения) и нашей деятельности (отсюда

проповедь неделания, отрицание некоторых научных направлений и некоторых направлений в искусстве). Наилучшее же познание полной и живой жизни можно обрести, по мнению Льва Толстого, среди людей, живущих не столько разумом, сколько непосредственно жизнью, близкою к природе, среди людей простых и работающих. Отсюда проповедь опрощения.

Таким образом, «учительные» труды Льва Толстого непосредственно вытекали из его понимания жизни, того самого понимания, которое, проникая все его художественные произведения, придает им, в соединении с гениальным мастерством исполнения, столь глубокую и значительную ценность. Подобно тому, как художественная деятельность его развивалась непрерывно и органически, так и весь круг его литературных трудов представляет собою одно органическое целое.

«У простых людей, — думал Лев Толстой, — надо учиться смыслу жизни». Он говорит: «Я увидел, что не только их жизнь понятна для них, но понятна и смерть, и в смерти они не видят ничего страшного, противного и странного. Если у них есть тот смысл, при котором уничтожается страх лишений, страданий и смерти, это и есть истинный смысл жизни».

С наибольшею полнотою оправданы эти мысли Львом Толстым в Платоне Каратаеве («Война и мир»), прекраснейшем из созданий Льва Толстого. Каратаев — «круглое и вечное олицетворение духа простоты правды».

«Привязанностей, дружбы, любви Каратаев не имел никаких, но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком, не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами».

Вот отношение к людям, которое естественно вытекает из признания призрачности отдельной личности.

Льву Толстому были одинаково дороги все люди, каковы бы они не были. Он как бы с каждым отождествлялся. «Если пришли зулу, чтобы изжарить моих детей, то одно, что я могу сделать, это постараться внушить зулу, что это ему невыгодно и нехорошо». Выбора нет: или очерствить свою душу и, спасая «своего» ребенка, убить зулуса, или

признать в зулусе такого же человека, как и «мой» ребенок. Люди чаще выбирают первое, и оттуда вытекает патриотизм, любовь к семье и т.п.

Ограничивая свою душу, обольщая себя соблазнами отдельного бытия, создали люди ненужные разделения и многие между собою воздвигли преграды. Учреждения их кажутся им святыми, и догматы — неприкосновенными. И вот был извергнут из церкви Лев Толстой, будто бы от нее отрекшийся.

Но есть единый только человеческий дух, многообразные принимающий личины, — и единая всеобщая истина, по-разному выражаемая в тесноте и скудости человеческих понятий, — и единая всемирная религия любви, религия единого человеческого духа. К этому единому было устремлено все человеческое делание отшедшего ныне от мира, благословенного в веках и народах Льва Николаевича Толстого.

Слова его не досказаны, и путь не пройден до конца, — но всеми словами говорил он об одной истине, и поистине великое оставил он нам наследие.

О Грибоедове

П Е Щеголев. А.С Грибоедов и декабристы (По архивным материалам)
С приложением факсимиле дела о Грибоедове, хранящегося в Государственном архиве СПб. Изд. А.С Суворина, 1905

Весьма интересное издание. Оно состоит из двух отдельных тетрадей: первая — факсимиле дела Грибоедова по обвинению его в прикосновенности к заговору декабристов; эта тетрадь до последних мелочей повторяет все подробности подлинного дела; вторая тетрадь — очень содержательное и остроумное исследование П.Е. Щеголева о том, насколько основательно было обвинение Грибоедова. Автор исследования не согласен с выводом следственной комиссии о полной невиновности Грибоедова. Путем тщательного анализа относящихся к делу фактов он устанавливает не только идейную, но и реальную связь Грибоедова с делом декабристов.

Я готов согласиться с этим заключением автора. Последующая блестящая карьера Грибоедова меня в этом отношении не особенно смущает. Грибоедов в своей знаменитой комедии дает ключ к пониманию его судьбы.

Следует согласиться с автором исследования и в том, что фотографическое воспроизведение есть единственный способ сохранить колорит эпохи. Читаешь слова, видишь почерк, — и как-то ближе и понятнее становятся люди. Всматриваешься с жадным любопытством в драгоценные черты, следишь за изменениями почерка, за манерою подписываться, — вот почтительное письмо гладким почерком с подписью «верноподданный Александр Грибоедов», — вот чиновнически-уклончивое показание обычным почерком «коллежского ассесора Александра Грибоедова», — и вот, точно снимается какая-то завеса, и из-за бумаги и чернильных начертаний, видишь, сквозит живая душа человека.

Как это ни странно, но самое живое лицо в комедии «Горе от ума» — Молчалин. Все другие в ней лица или совершенно книжные (Чацкий) и служат только носителями авторских мыслей, — или неестественно откровенны и слишком легко подставляются под авторские бичи. Один Молчалин жив и верен себе, один он не только говорит, но и действует, — музицирует с Софьею, ездит верхом и падает с лошади, делает подарки Лизе, предпринимает, строит планы, рискует и в ненамеренных словечках открывает свою сущность.

Ум Чацкого и мысли его, — конечно, ум и мысли Грибоедова. Но душа? Но зеркало души? Взгляните на портрет Грибоедова, — скажете ли вы, что это облик Чацкого? Скромная бритая чиновническая физиономия, аккуратная прическа с казенным коком, очки на глазах, близоруких от привычки к бумажному делу и углубленный, скромно-насторожившийся взор человека наблюдательного, но и почтительного, — вот молчалинский аспект Грибоедова. На языке — медок болтливого свободомыслия, а на сердце — ледок смиренномудрия, — и вот безлошадный талант сделал мораль и сатиру широкошумными ширмами жестокой автосатиры. Портрет, списанный с какого-то ничтожного Молчалина, зажегся живою жизнью, потому что в нем ожила

душа автора, значительная во всех своих переживаниях, но — увы! — дьявольскою иронией судьбы прикованная к гибкому хребту чиновника.

Чиновник попал в беду и успешно выпутывается. Душа его играет всеми своими красками. Преданность власти: «начальник, мною любимый», «благоговейное чувство». Изъяснение своей чистоты и невинности: «я же не только не способен быть оратором возмущения, много если предаюсь избытку искренности в тесном кругу людей кротких и благомыслящих»... «русское платье снова сблизило бы нас с простотою отечественных нравов, сердцу моему чрезвычайно любезных».

А вот на странице 27 приведен и пример любезной простоты нравов, в рассказе С.Н. Бегичева о свидании с Грибоедовым в Москве, когда его везли с Кавказа в Петербург. Грибоедов шутит над своим плешивым фельдъегерем: «Это испанский гранд дон Лыско Плешивос да Париченца».

Да, простота отечественных нравов чрезвычайно любезна чувствительному сердцу Молчалина. В темном уголке позабавиться поцелуями крепостной горничной, при полном свете дня поиздеваться над простым человеком, чего проще! чего любезнее!

Любопытная книга.

Полотно и тело

Был на выставках. Впечатление смутное. То понравилось, это — нет. Ничто не взволновало. Ничто не завладело душою. Ни с одного полотна не повеяло победительным обаянием высокого искусства.

Отчего? Не знаю. Многие полотна написаны с превосходною техникою. Есть картины с очень выдержанным настроением. Есть содержательные картины. Красивые пятна, цветовые эффекты, колорит, перспектива, настроение, современность, идея — все на месте. И все в общем безрадостно.

Не война ли виновата? Не ее ли зловещее влияние бросает на все тусклую тень уныния и бессилия?

Немало картин, посвященных войне. Идут в атаку, впереди раненый священник с крестом; у солдат у всех глаза скошены в сторону, к зрителю, — очевидно, враг там, за спиною зрителя. Не вижу вкуса в таком повороте написанных на картине лиц. И думаю, что художник перепустил ужасу на солдатских лицах. Но пусть так. Война так война. Известно, война — ужасна. Жаль, конечно, что эта тема трактуется с удивительною наивностью. Но все-таки пусть, пусть так.

Другие полотна: казаки налетели на японцев, рубят их... провожают офицера на войну... сестра милосердия на площадке вагона... «мужики в глубокой думе слушают» чтение газеты (конечно, о войне)... встреча в семье вернувшегося с войны офицера с повязанною рукою... лазарет... видение Христа тяжко раненным...

И все не трогает, не ужасает.

Удручает эта робость воображения: были битвы, раны, смерти, проводы, встречи, — вот все это и нарисуем. Это — война.

— Это — война, — говорят художники своими полотнами. — Так они воюют.

— Это — не война, — хочется ответить. — Так не воюют.

Война — чрезмерность насилия, буйство тела, организованное в подвиг, крайнее напряжение силы, разлитой в плоти. Мерзость перед Господом, зло между людьми, — для живописца война — превосходная панорама прекрасных движений, экспрессий, поз. Праздник тела, соединенный с самопожертвованием. В этом оправдание батальной живописи. В этом ее связь с изображениями тела вообще, нагого тела в особенности.

Люблю тело. Свободное, сильное, гибкое, обнаженное, облитое светом, дивно отражающее его. Радостное тело.

Видел несколько полотен, на которых намазано тело. Вяло, безрадостно, тускло. Смотрел на эти полотна и думал:

— С таким телом нельзя побеждать.

И еще думал:

— Да и правда, мы, русские, вовсе не любим тела. Целомудренны, что ли, очень? Или просто ленивы и сонны?

Изобразить обнаженное тело — значит дать зрительный символ человеческой радости, человеческого торжества. Красочный гимн, хвала человеку и Творцу его, — вот что такое настоящая картина нагого тела. Для радости, для хвалы не нужно внешнего предлога.

Я же видел оправданные положения тела, но не видел радости тела. Вот натурщица сидит на диване голая и пьет что-то из чашки; это — отдых во время сеанса; возле натурщицы лежит ее мешочек с носовым платком; сейчас вынет платок и высморкается. Вот купаются. Вот собираются купаться. Вот стоит раздетая дама, смотрит в зеркало и сейчас будет одеваться. Нагота — случайна. Главное — одежда, которая сейчас и будет надета. Помнят, что без одежды быть, собственно говоря, неприлично и потому делают это украдкой, наспех.

И потому нет радости.

Радость наготы в том, что тело погружается в родные стихии. Ветер его обвевает, вода его обнимает, земля нежна и мягка под ногами, пламенное солнце лобзает кожу. Движения свободны, условности отброшены. Уже не Иван и не Марья, не барыня, и не натурщица, и не мальчик из мелочной лавки, — только человек в свободном и радостном движении, в озарении света. И этого я не видел.

Тела были тусклые, неловкие, нескладные, вялые, сизого и ослизлого оттенка. Но художники сказали правду. Мы таковы и есть. Вялые, робкие, несвободные. Силы нашего тела скованы. Наши дети ходят в гимназии, но им все еще, как и нам, чужд пафос классической гимнастики.

Вялые, робкие, с примятыми мускулами, с изнеженною кожею, — как хотим мы побеждать сильных? В борьбе с народом, воспитание которого построено на великих началах гимнастики, техники, солидарности и свободы, на какие лавры мы надеемся?

Мы слабы, не искусны, не дружны, не свободны. Боимся свободы, мешаем друг другу соединяться в союзы, дико смотрим на

машины, стыдимся тела. Вот четыре греха наши, — и полотна сегодняшних выставок особенно сильно подчеркивают один из этих грехов, — наш стыд перед нашим телом, наше отчуждение от той истинной гимнастики, которой учит нас классическая древность.

Родители, любящие ваших детей для них, а не для себя, знайте, что радость, сила и свобода ваших детей прежде всего в их теле. Пусть оно будет сильное, веселое, свободное. Пусть ваши дети часто бегают босыми ногами. Вверьте их мудрейшим из воспитателей, милым стихиям: земле, воде, воздуху и солнцу.

Дрезденские скромницы

Есть много людей, которые, рассматривая вещи и дела, находят, что многое не так делается и устраивается, как по их разумению надо было бы. И хочется им поправить, пока не поздно.

Очень часто при этом осуждению и поправкам подвергается то, что поправлять совершенно напрасно и что осуждать отчасти даже и неудобно, потому что оно так уж самим Богом устроено. В этом случае стремление к поправкам не только кощунственно, но и совершенно тщетно. Легко сказать:

— Природа ошиблась, а мы подумаем да и поправим ее.

Легко сказать, да трудно сделать. Природа все же сильнее человека, даже и очень самоуверенного. Правда, рассказывается в одной басне, что «тучегонитель оплошал, и вылился осел, как белка, слаб и мал». Когда обиженный осел взмолился Зевсу, то беда была поправлена, и осел восприял желанные для него размеры. Однако та же басня поучает, что вскоре постигли тщеславного осла и разочарования, — и он на своей шкуре испытал неудобство поправок к делам природы.

Тем не менее даже и очень умные и ученые люди не могут иногда преодолеть в себе этого не очень умного стремления к цензированию вселенского строительства. Встосковался же Мечников о том,

что у человека слишком много кишок и что это очень вредно для здоровья.

Кишки, конечно, только подробность, может быть, и довольно неприятная, но все же, по крайней мере, хорошо спрятанная в недрах человеческого организма. Но есть люди, которым и весь-то этот организм в целом кажется несколько предосудительным и не совсем приличным.

Читал я где-то рассказ о том, как один прусский король посетил вместе со своим сыном картинную выставку и был скандализован изображениями обнаженных женщин. Он закрыл лицо кронпринца своею шляпою и немедленно вывел его из столь развратного, по его мнению, места. Конечно, он был твердо уверен, что уткнуться в дно генеральской шляпы для его сына гораздо полезнее, чем насытить взоры созерцанием образцов человеческой красоты и прелести. Но красота осталась красотою, а бурбон — бурбоном.

На днях прочитал я, что в Дрездене образовалось общество дам для борьбы с такими безобразными, на их взгляд, явлениями, как выставки картин, где изображены люди, только люди, а не люди с одеждою вместе. Подобно тому, как «флаг прикрывает груз», так, по мнению дрезденских скромниц, одежда прикрывает тело.

Конечно, было бы много лучше, если бы можно было упразднить не только картины с изображениями человеческого тела, но и самое тело. Но так как это совершенно невозможно, то приходится довольствоваться хотя бы игрою в прятки: есть тело, и как бы не существует оно. Природа натворила много пакостей, и уничтожить их никак нельзя, — ну что ж, по крайней мере, пусть эти неприличные предметы, — руки, ноги, животы, спины и т.п., — будут тщательно спрятаны.

И надо это для того, чтобы подростки не развращались. У каждого подростка есть свое тело. Но если он посмотрит на чужое, то сейчас же и развратится немножко. И с каждым взглядом на обнаженное тело новая доза яда будет проникать в его невинное дотоле воображение. Таков наивный ход дамской мысли.

Мысль, что тело само по себе может стать источником соблазна, конечно, совершенно несостоятельная мысль. Уже потому несостоятельная, что если бы тело и в самом деле было столь соблазнительно, то люди давно бы изразвратничались вконец, ибо слишком уж большие запасы этого яда носят они с собою постоянно.

Ход дел в природе совершенно обратный: прежде должны явиться соблазн и порок, и уже потом развращенное воображение ищет предметов соблазна. И выискивает оно предметы тайные и скрытые. Невозможно соблазниться тем, что открыто и доступно. Только непривычка наших поколений к наготе вызывает в них такую истерическую способность соблазняться наготою.

Но вывод отсюда не тот, какой хотят сделать дрезденские дамы. Чтобы нагота не соблазняла, не то надо, чтобы ее избегали: дело это невозможное, ибо тело наше так уже и вышло из рук природы нагим; надо, чтобы в созерцании наготы не было ничего пряного, скрытного, запретного и потому волнующего. Изобилие картин и статуй, изображающих нагое тело, не развращает, а оздоравливает воображение.

Вражда и дружба стихий

Ветер и солнце были за японцев и против нас.
Из телеграммы собственного корреспондента

Стихии были за японцев и против нас. Потому Цусимский бой был нами проигран. Так говорит газета. Она думает, что кому-то угождает этим. Она не знает, что говорит жестокую правду. Увы! правду слишком жестокую.

Если бы мы были язычниками, мы сказали бы:

— Боги ветра и солнца помогают нашим врагам, а где же наши боги?

Христианин скажет:

— Ветру и солнцу повелевает Бог.

И сделает скорбный вывод.

Человек точного ведения скажет:

— Надо брать в расчет и ветер, и солнце, и многое другое. Кто идет наобум, тот уж почти наверное нарвется на что-нибудь для него неожиданное.

Стихии давно уже против нас. Еще Чацкий говаривал, что мы живем «рассудку вопреки, наперекор стихиям». Это сказано, собственно, о фраке. Но это относится, конечно, и к очень многому другому.

Говорят: в Цусимском бою солнце светило нашим в глаза, а у японцев оно было за спиною. Ветер тоже не поладил с нами и помогал японцам, уж я не знаю, как именно. Прибавим заодно и обе остальные стихии: вода оказалась для нас неблагосклонною, потопила наши кое-как слаженные корабли, а земля — земля вблизи была японская. Конечно, она помогала нашему врагу. С ее берегов налетела на нашу растерявшуюся эскадру туча миноносок.

Я прочитал где-то, что на кораблях Небогатова пушки заржавели. Невероятно. Но что же можно сделать с враждою стихий? Ржавеют на дожде крыши домов, отчего же не заржаветь и пушкам.

Враждебны нам стихии. Нелюбовь у нас и у стихий взаимная. Ни одна стихия нам не мила.

Солнце, огонь, пламенное, страстное светило, источник света и тепла. Мы упрямо отвращаемся от солнца. От света. От всякого света. Просвещение наше в упадке. Одежды наши темны и скучны. Жилища у нас сумрачны и суровы. Дети наши закутаны, чтобы солнце не обожгло их кожу.

Ветер, вольно веющий, не знающий преград и застав, ветер — чародей, могучим веянием оживляющий широкие земные просторы... Мы боимся его. Мы его не терпим. Мы оградились от него стенами и стараемся возвести их до неба и замазать в них все щели. Чтобы не веял, самовольный, бесчинный, дерзкий нарушитель затхлого покоя.

Вода, вольно струящаяся и, однако, покорная закону земных тяготений, чистая, холодная, равняющая всех своими влажными и холодными объятиями... Что нам в ней? Мы заросли всякою грязью, мы любим нечистоту и тлен нашей смрадной жизни. Мы защищаемся от бесчинства падающих с неба вод калошами, зонтиками, плащами. Наши дети боятся воды, а дерзкие из них легко тонут в ней, потому что не могут научиться плавать. Это так трудно для нас.

Земля, мягкая, сырая, успокоительная, мать, кормящая всех своих детей... Мы позаботились больше всего о том, чтобы разделить ее, и отмежевали мою и твою землю, — и всем нам тесно на земных просторах. И мы идем умирать, чтобы отнять у мирного народа его землю, и думаем, что это отнятие чужого есть великий подвиг, за который наши дети должны быть нам благодарны. А на что земля нашим детям? Они не знают ее ласковых и нежных прикосновений, не бегают босые по ее мягкой и зеленой траве, по ее сыпучему песку.

Мы не любим стихий, и справедливые стихии не любят нас. Они благосклонны к нашему врагу и помогают ему в великой исторической борьбе, потому что платят ему любовью за любовь.

Посмотрите на японские картины. Сколько света, какое живое солнце чувствуется в них! Эмблемою своего государства взяли японцы восходящее солнце, потому что безмерно полюбили они это царственное светило, радостное и благостное. К добрым и злым равно благостно оно. Но любят его только добрые и сильные. И таким и оно посылает наилучшие свои дары. И японцы радостно греются в лучах своего солнца. Радостно открывают они солнцу свое тело, — и золото расплавленных солнечных лучей переливается по их коже восхитительным пламенем силы и бодрости.

Бодро ставят они свои паруса, и ветер несет в широкое море их лодки. Он развевает их легкие одеяния, и прикосновения его к их телу нежны и любовны.

Вода охватила голубым, раздробленным ожерельем их прекрасные острова. Как они родственны этой подвижной стихии! Как легко влекутся они к неизведанному, к новому! И мы еще не знаем, куда приплывут они на своих дивных кораблях.

Землю они любят удивительною любовью влюбленного. Как возделывают они ее! Причудливым садом и огородом стала вся их страна.

В дружбе со стихиями живет наш враг, и стихии, вольные и вечные, стали его верными союзниками. Мы не можем расторгнуть этого союза. Но никто не мешает и нам войти в него.

..Небо ясно,
Под небом места хватит всем.
(Лермонтов)

И если мы сами так уже закоснели в нашей искусственной и городской жизни, в жизни маленьких и робконьких мещан, то введем же хотя наших детей и наших юношей в вольный мир природы, сдружим их с милыми, вечно вольными и вечно благостными стихиями. Дружба с ними радостна, но их любовь не изнеживает, потому что они и нежны, и в то же время суровы. Их радость есть радость мужества и силы.

В городах и вне городов — везде светит солнце. Пусть возрастающие люди не прячутся в мрачные пещеры наших жилищ от доброго солнца.

Воздуху, свету, земле и воде дайте свободно обнимать их тела. Чтобы сдружились, сжились, сроднились они с вольными стихиями. Чтобы и сами стали как стихии: такие же чистые, невинные, правдивые, нежные и суровые.

Жалость и любовь

Переживаемый нами исторический момент чрезвычайно важен: пришли в столкновение не только два государства, — две расы,

два разные мировоззрения, две морали испытываются одна о другую. И невольно хочется сравнивать многое.

Два главнейшие типа морали управляют людскими деяниями, и оба они совершенно противоположны. Одна мораль относится к другой даже не так, как утверждение к отрицанию, — они построены на совсем различных началах.

Одна основана на жалости, — к страдающим людям, ко всякому существу, способному чувствовать страдание, словом, ко всему живому, — ибо для сострадательного человека вся жизнь есть цепь страданий, тернистый путь, кое-где усыпанный обманчивыми, быстро увядающими лилиями тщетных надежд и розами мимолетных, суетных радостей. И в довершение бедственности этого мира, он является сознанию бесцельным, возникшим из довременной пустоты и стремящимся к бесследному уничтожению.

В этой бесцельной и бедственной жизни участь наисознательнейшего существа, человека, достойна особенного сожаления: вступить в жизнь, чтобы вкусить неисчислимые муки, горечь которых не искупается малыми радостями бытия, — сотворить много злых и безумных дел, ядовитые плоды которых созревают в потомстве, — дать жизнь ряду таких же существ, несчастных, ненужных и призрачных, как сон, — и умереть! Горький удел! Лучше бы не родиться. А родившись, лучше скорее умереть. Только взаимною жалостью сколько-нибудь облегчается бедственный труд злой жизни.

Такова буддийская мораль. Таково умонастроение людей, жалость которых имеет глубокие корни.

Другая мораль основана на любви. Если жалость вытекает из признания бытия призрачным, то любовь питается утверждением бытия и признанием его благостной цели. Любовь есть деятельное выражение этого признания блага, этого утверждения бытия. Привязываюсь любовью к тому, что достойно любви, и нахожу достойным любви многое. И если любовь моя имеет глубокие корни, то она становится любовью ко всему, ибо существо всех вещей — непреходящее, Отец и Создатель мира жив и благ, бытие радостно. Это — мораль, кото-

рая наполняет сердце мужеством и бодростью и ведет европейские народы по пути преуспеяния.

Можно думать, что эти два типа морали до последнего почти времени жили отдельно, ныне столкнулись, и европейская мораль, как более жизнестойкая, победит; победила бы даже уже давно, если бы европейские народы не были расслаблены тем, что, исповедуя на словах библейские и христианские законы, на деле руководятся принципами буддийскими, — в области чувства более состраданием, чем любовью, в области метафизики — пессимизмом, в религии — атеизмом.

Проникновение в мысль и чувство европейских народов элементов сострадания, пессимизма, атеизма началось, конечно, уже очень давно. Настолько давно, что в чистом виде религия любви и оптимизма едва ли кем исповедуется в Европе.

Да если бы даже два столь глубоко основанные типа морали и пришли в столкновение, оставаясь в их чистом виде, то и тогда едва ли можно было бы иметь уверенность в победе одной стороны над другою, победе решительной и окончательной. Взаимопроникновение этих двух начал скорее дает возможность предсказывать их будущий синтез, создание нового, более совершенного миропостижения, новой морали, новой метафизики. И этот синтез особенно ясно предчувствуется на русской почве.

В полусне

Из дневника занятого человека

Вертишься день-деньской, как белка в колесе. Газеты иной раз прочитать некогда. А и возьмешь газетный лист, так порою не на радость.

Вчера только поздно вечером удосужился я взять в руки газету. Читаю я газету безопасную, такую, чтобы начальство мое не смотрело на меня косо, как смотрят на подписчиков «пакост-

ных», по выражению одного директора провинциальной гимназии, газет.

Уже поздно очень было, и ко сну клонило, но не хотелось отойти ко сну, не узнав, что делается на белом свете, кто на нас злоумышляет. Читаю. Глаза слипаются. В голове туман.

И грезится мне сквозь этот туман чье-то лицо, странно зыбкое и переменчивое: не то «одно из славных русских лиц», не то бритое, самодовольное и наглое лицо Сквозника-Дмухановского. Говорит что-то. Различаю отдельные, малосвязные фразы.

— На Антона и на Онуфрия. Весною и осенью. А также и в прочие сезоны. Для благомыслящей части русского общества все времена года одинаково хороши. Воля начальства — закон. И у меня чтобы без конституций. Позвать мужика, он им задаст. Караул! Ура!

Отрывочные слова. Неясный гул. Лицо быстро меняет тысячи выражений. Рассыпается мелким бесом. Множество не то лиц, не то свиных рыл. Лица, морды, красные и синие пятна вертятся перед глазами и исчезают. Из тьмы выплывают и определяются понемногу две фигуры.

Одна — дюжая, в боярском кафтане, из русского собрания. Борода лопатою. Лицо красное. Глаза маленькие, едва выглядывают из-за жирных щек.

Другая — тощая, испитая фигурка. В пиджачке. Под пиджачком синяя блуза. Бородка клинышком.

Дородный молодец стоит спокойно, ноги расставил, руки в бока упер, на другого посматривает презрительно. Тощий паренек беспокойно вертится, егозит, словно снизу его поджаривают.

— Ну чего ворошишься? — спрашивает дюжий молодец.

— Очень уж я недоволен, — отвечает тощий паренек.

— Туда же недоволен! Крамольник! Чего же ты хочешь?

— Первое дело, чтобы по морде меня не лупили.

— Ишь ты, райского блаженства захотел! Вот в этом-то и есть ваша ошибка, что вы хотите, — тяп-тяп, да и рай на земле. Ан, погоди, — рай впереди. Да и не для этаких. Ежели ты смирно, чинно, бла-

городно, то тебя никто и не тронет, разве только по ошибке. А ошибка в фальшь не ставится.

— Нет, уж вы лучше эту расценку перемените. И свой лик меченым носить не желаю, да и ребятишек жалко. Кулачищи да нагайки, — пора бы уж эту артиллерию сдать в арсенал. Или в кунсткамеру.

— Самые бунтовские речи. Неистовые речи. И где городовой? Казенный-то паек тебе отпускают? А ты бунтовать.

— Бунтовать мы не согласны. А только вы бы моих приятелей из клоповника отпустили. Делать-то им там нечего, а между прочим их детишкам подвело животишки. Попросить бы разве деньжонок у японской микады, да слышь, говорит микада: своим-де надо. Вот я и смекаю, — не забирать бы без суда людишек, — чтобы зря кому обиды не было.

— Да ты, курицын сын, сразу идеального устроения требуешь. Ах ты! Ну и народец! Темперамент у тебя очень вредный.

— Какой есть, такой и в честь. И говорить мне охота. Язык, вижу, подвешен, а развязки ему настоящей нет, и от того мне очень скучно. Поговорить бы хоть когда без помехи, — собраться, потолковать кое о чем вместе.

— Ну посмотрю я на тебя! Да о чем говорить-то тебе, неумытое рыло? Вот подожди, соберут там, которые достойные, они и поговорят, сколько им велено будет, а ты послушаешь, коли пустят.

— Это какие же такие достойные?

— А вот народ выберет. Свободно выбирать будете.

— Очень мне это даже удивительно, какие же это будут свободные выборы, ежели собрания можно разгонять, говорунам рты затыкать, а тех, кто побойчее, в клоповник тащить. По-моему, одна только видимость выйдет, а настоящего дела не будет.

— И выходишь ты, вижу я, смутьян, — и слушал я тебя очень даже достаточно. Эй, резервы, бей!

«Бой барабанный, крики, скрежет».

Все смешалось.

Я очнулся. Было пока что тихо.

О Грядущем Хаме Мережковского

Глядя на молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, г. Мережковскому хочется воскликнуть (конечно, воскликнуть, а не сказать):

— Милые русские юноши! Не бойтесь глупого старого черта политической реакции. Не бойтесь никаких соблазнов, никакой свободы. Одного бойтесь — рабства, и худшего из всех рабств — мещанства, и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт, — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.

Итак, надо бояться. И есть чего бояться. То, что всегда казалось вовсе не страшным, обыкновенным, ежедневным, общепринятым и общепризнанным, это-то и есть самое страшное для поэта, философа и христианина, потому что это — пошлое, а черт и есть вечная плоскость, вечная пошлость. Бессмертная людская пошлость, созерцаемая за всеми условиями местными и временными, — историческими, народными, государственными, общественными, — есть безусловное, вечное и всемирное зло. И эта плоскость, эта нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин, этот вечно серый, неизменно ничтожный и истинно страшный черт, созерцаемый в мире феноменальном, в условиях теперешней действительности, вывертывается из своей вневременной оболочки, являет легкомысленно мятущемуся миру свое страшное лицо уже почти без маски, дерзко отрицает Бога, истерически кричит: я! я! я! и собирается воцариться, поработив духовно-свободного доныне человека скверными соблазнами безмятежного мещанского житья-бытья. И этот новый царь будет Хам, вечный Смердяков, духовный босяк. Он с превеликим озорством осмеет наготу отца своего Ноя, пренебрежет гневом упившегося старца, махнет рукою на его злобные проклятия и выстроит для себя и для детей своих очень удобное и благопристойное, но очень мещанское, а потому гнусное и безбожное жилище.

Так как это — очень страшные перспективы, то необходимо найти спасение. А спасение только одно, — в Боге. А к Богу нельзя прийти без Христа. Итак, предлагается, убоявшись Хама, прийти ко Христу. А так как в господствующей церкви, как и в существующем государстве, действительно много нагажено, то надо устроить новую церковь, вечную, апокалипсическую, и туда загнать человеческое стадо кнутом духовной свободы, которую отнюдь нельзя смешивать со свободою гражданскою или политическою.

Такова болезнь, и таково лечение. И так как лекарство не слаже лечимого, то хочется проверить: так ли?

Г. Мережковский боится Грядущего Хама. В этой формуле почтительные критики остановятся на последнем термине: Грядущий Хам — и разберут эту размалеванную страшными красками фигуру. И в этом анализе встретится много интересного, потому что все, что пишет г. Мережковский, не может не быть интересным в высокой степени. Но я предпочел бы остановиться на другом термине: боится.

Вслед за политическим освобождением русского народа, за его Лазаревою субботою, ему угрожает новая опасность, горшая прежнего порабощения, горшая того могильного смрада, в котором он пробыл многие столетия, — господство Хама, впадение в нестерпимую плоскость мещанского благополучного прозябания. И эта опасность представляется мне совершенно фантастическою. Думать, что за политическим освобождением придет торжествующее хамство, думать, что русского четырехдневного Лазаря воскрешает корыстолюбивый Иуда — значит, по-моему, не верить в свободу, приходящую из надмирных высот, не верить в творческий характер свободы, бояться свободы. Откуда же явилась эта боязнь, эта странная ненависть к освобождению в его современной форме, к современному фазису политической борьбы?

Эта боязнь, сколь ни удивительна она на первый взгляд, имеет глубокое основание в прошлом русской художественной литературы. Пройти по вершинам этой литературы — это означает осмотреть печальное зрелище великого, созданного маленькими людьми.

Может быть, люди в множестве никогда и нигде не были так малы и так ничтожны, как в России XIX века. Русская государственность осуществила худшие стороны человеческих сожитий. Так как она была чрезвычайно последовательна, то, созданная великим народом, она наивернейшим способом давила и гнела людей. Укрепленная в зловещем гении Петра Великого, этого грубого и кровожадного вампира, вволю упившегося горячею кровью свободолюбивых стрельцов, этого первого и увенчанного бессердечного чиновника, творца табели о рангах, человека, которого г. Мережковский называет первым русским интеллигентом, эта государственность обратила русскую действительность в кровавый туман кошмарной фантасмагории. Воздвигнутая государственным строительством народа, она стала проклятием и язвою этого народа. Она довела его до самого края той бездны, куда уже и до нас сваливался не один народ в безумном стремлении к обманчиво-всемирным фантомам. Давя звериными лапами и чаруя змеиными очами, эта свирепая и коварная государственность влила свой ужасный яд и в высокое делание свободного искусства.

И вот в истории русской литературы прошлого столетия, ее золотого будто бы века, мы видим безобразную коллекцию искаженных и погубленных фигур. Всегда несвободная, всегда колебавшаяся от хвалений «в надежде славы и добра» к пустым излияниям вольнолюбивых чувств на чаемых «обломках самовластья», а чаще по чаемому «манию царя», русская литература только в лице Лермонтова представила чистый и обаятельный образ доподлинно великого поэта и воистину великого человека, никогда не заставившего свою музу лизать превознесенные стопы.

Самое гениальное и проникновенное создание Пушкина — Савельич, прирожденный холоп. Конечно, из глубин своей души изнес Пушкин этот удивительный образ, нарисованный с таким тщанием, с такою трогательною любовью. Как Савельичу, и самому Пушкину дороже всего в жизни был барский тулупчик, — строй, предания, традиции. В комедии «Горе от ума» самый жизненный образ — Молчалин, гениальный автопортрет преуспевшего карьериста, сделан-

ный в самом начале карьеры и сделанный с тою же очаровательною и ненарочною откровенностью и непосредственностью, с какою Мартышка в басне Крылова хихикала над своим отражением в беспощадном зеркале. В галерее гоголевских типов героические образы совершенно меркнут перед истинными выходцами из его души, мертвой и темной, Хлестаковым, Чичиковым и другими в том же милом роде. Собакевич не нашел в русской жизни ни одного порядочного человека.

Но литература, по самому основному свойству своему, все ж таки не могла не стремиться к свободе и к ее движущему началу, к истине. Застойное болото русской жизни не давало ни свободы, ни истины, ни движения к истине и свободе, того движения, которому присвоено несколько смешное и отчасти уже скомпрометированное название «прогресс». Все эти блага оказались столь же недоступны, как виноград в басне был недоступен голодной лисице. Жалкий стыд голодной гордости подсказывал унылые заявления: «Да зелен, ягодки нет зрелой». — «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». — «Запад гниет, разлагается». — «Царю — сила власти, народу — сила мнения».

И в глазах г. Мережковского прогресс, капризом мысли голодной и жадной, оказался опасным как лучший союзник Грядущего Хама, бессмертного будто бы Ермолая Лопахина, который придет в грубом торжестве и на место вишневого сада, полного поэзии и преданий, нарубит мещанских, хамских дачек, — и там, где прежде задумчиво и красиво по расчищенным аллеям в изысканно-простых нарядах проходили изящные и нежные барышни, нашептывая скромные и милые речи и застенчивые признания любезным и остроумным кавалерам, там пойдут под яркими ситцевыми зонтиками девушки с исколотыми иголками пальцами, и засмеются громко, и будут бегать и возиться со своими возлюбленными и женихами, какими-нибудь приказчиками из суровских лавок. У хамов, известно, и забавы хамские. Барину Мережковскому они не могут нравиться.

В ряде поколений развращенная тираническим самодержавием, русская современная литература являет образец грустного разъеди-

нения, — или слишком она материалистична, без Бога и против Бога, у Чехова, у Горького, или она, у г. Мережковского, очень с Богом, но зато опасливо посматривает на политическое освобождение и с нескрываемым аристократическим презрением воротит нос от хамства. Но в хамстве нет ничего страшного уже потому, что оно не приходит, а уходит.

Хамство — грязный пережиток старых лет, издыхающее порождение старого строя. Кто бы ни пришел в ближайшее будущее на политическую арену, царство Хама не грядет, а кончается. Мы пережили хамский период нашей общественности. Бояться Грядущего Хама станет только тот, кто не верит свободе, кто не любит ее превыше всего на земле и в мире нездешнем. В свободе — творчество и радость жизни, в свободе — и восторг смерти. Нельзя войти в свободу для того только, чтобы закиснуть в болоте мещанского и хамского благополучия, пошлой самоудовлетворенности. Свобода непрерывно разрушает и непрерывно созидает. Она влечет и волнует. К ней мечты и любовь, за нее первая и последняя кровь, в ней жизнь, за нее смерть. Радостны муки и желанны страдания за нее. Сладким пламенем восторга она льется по жилам, и вкусивший из ее кубка приобщается к такому мощному потоку жизни и восторга, вливает свой голос в такой могучий гимн, при которых нет места мелким, пошлым бесам пережитой нами многовековой ночи.

Но г. Мережковский боится свободы в ее историческом, сегодняшнем воплощении. Он слишком литератор для того, чтобы отдаться свободному и пламенному пафосу великого исторического момента. Ему кажется, что люди, отыскивая свои маленькие политические и гражданские права, забудут свое великое всемирное делание, забудут Бога живого.

Ну а Бог живой не напомнит им о себе?

Да и не забудут люди Бога. Только пойдут для всемирного делания, может быть, и не по тем тропинкам, которые столь милы сердцу г. Мережковского, но которые уже не однажды заводили человечество в тупик. К истлевшим костям привязывая мечту о спасении,

г. Мережковский хочет отмолиться от Грядущего Хама, отчураться от него словами древних заклятий, откадиться от него палестинским ладаном. Он боится Грядущего и, плюя в него против дико веющего ветра, называет Грядущего Хамом. Но не может скрыть, да и не хочет скрывать, что Грядущий есть человек в его совершенном самоутверждении, в конечном торжестве его личного освобождения. Голый человек, по терминологии г. Мережковского, босяк. Всякий, отвергший божественность Галилеянина, есть внутренний босяк. Человек без Бога, говорит г. Мережковский, есть зверь, и хуже зверя — скот, и хуже скота — труп, и хуже трупа — ничто.

Такими страшными словами, напоминающими свирепые формулы жреческих проклятий, заклинает г. Мережковский человеческий путь, только человеческий, слишком человеческий путь самоутверждения. Но что же делать? Путь самоотрицания пройден до конца, и ныне путь самоутверждения — единственный для нас путь спасения.

О недописанной книге

(Георгий Чулков. О мистическом анархизме Со вступительной статьей Вячеслава Иванова о непрятии мира Книгоиздательство «Факелы» 1906, СПб.)

Стремимся к тому, чего нет. Жаждем свободы. Свобода почему-то не дается: злые демоны или жестокие люди для чего-то наложили на всех нас незримые, но тяжкие оковы. Свободы нет, — есть власть внешних норм. Но свобода будет, — будет последнее освобождение и свободная общественность или соборность.

Во все времена общественность была тою сетью, которую накидывал на Извечно Свободного Некто Злорадствующий и уловлял множества. И то, что было, в идеальном плане, Человеком, в тугих петлях социального строя становились Мразью: Чернь, Толпа, Пушечное мясо, Людская пыль, — и мало ли еще как называлось Это, состряпанное из Человека, захотевшего Сытости и продавшего Кому-то (Кому, однако?) свое Первородство за Чечевичную похлебку (варево омер-

зительное, пойло и ежа мерзкие вместо вечной Трапезы). Выход из этой сети ясен (в общем) двум милым авторам книги о мистическом анархизме. Они — добрые люди, и они знают истинный путь, хотя и не совсем подробно. И этот путь — мистический анархизм (термин, изобретенный Г.И. Чулковым и одобренный, хотя и с оговорками, Вяч. Ив. Ивановым). Это — не теория, не определенное учение, это, как совершенно ясно указывает в своей книге автор остроумного термина, только путь, по которому могут идти «конный или пеший», «воин, купец и евнух».

Путь обозначен верно (хотя лучше бы его назвать иначе), путь свободной соборности. Это объясняется во вступительной статье В.И. Иванова, статье, написанной превосходно и пересыпанной умилительными ссылками на собственные стихи автора. В конце пути — последнее освобождение от власти внешних норм. Этот путь идет через социализм, но так как он есть истинный путь, то сеть Злорадного растает в призрачный Дым, и Человек, похитив Яблоко, останется в Эдеме, что и будет знаменовать конец истории (Анекдота, рожденного Айсою). Таков virus * книги г. Чулкова, — если автор этой скромной заметки достаточно восприимчив к едкому вкусу мистико-анархических сладких отрав.

Путь означен верно. В термине нет противоречия, говорит Вяч. И. Иванов. Вы думаете, анархия и мистика — разное? Вяч. И. Иванов думает, что это — одно и то же. Мистический анархизм — тавтология, вроде «русский москвич». *Истинный* мистик — безусловно свободная личность, *истинный* анархист — безусловно мистик, т.к. плохой же он анархист, если верит в Бога или в мировую необходимость, т.е. он должен сознавать свою свободу в смысле безусловно самоопределяющейся волевой монады. Свобода мистическая и свобода политическая — все свобода, одна и та же; так Афродита Небесная и Афродита Народная — одна и та же богиня. Что касается меня, то в этом пункте я предпочитаю думать, что это — две богини, что это — две свободы и что смешение терминов неполезно для ясности мысли. Кро-

* Яд (*лат*)

ме того, мне кажется авторским произволом называть истинным в чужих учениях лишь то, что согласно с его замыслом. О мистицизме, конечно, Вяч. Иванов говорит как о своей отчине и дедине; но существом анархизма лучше бы признать то, что признавали таковым настоящие анархисты. «Истинный» мистик и «истинный» анархист для моего слуха звучит, как «истинный» русский.

Верный путь — путь великой борьбы с Роком. Миродержавная Мать трех вечных Прях-Мойр не являла доныне Человеку своего подлинного Лика. Она предстоит ему под Личинами равно трагическими, равно ужасающими, равно безобразными, но повергающими Человека в Прах разными способами: это — Личины жестоко непреклонной Ананке (необходимость) и коварно-изменчивой Айсы (случай). Айса учит Прях прясть, Ананке учит Жницу жать. Сеть крепка, Нож остер, — как же Человек может быть свободен?

В плане истории царит Айса, в плане мистическом — Ананке. Человек никогда не свободен, уже потому, что он — рожден, он — всегда и неизменно Сын, — а «несть Сын болий Отца».

Свободен только Я. Последнее освобождение — удел того только, кто придет ко Мне и примет Мой закон великого тождества совершенных противоположностей. Всякое иное приближение к решению задачи — призрачно и обманчиво. Таково и решение мистических анархистов. Безусловно самоопределяющаяся волевая монада безусловно свободна, но я себя таковым не знаю и такою пустынною свободою не удовлетворюсь, — потому что монада как таковая, определяясь свободно, не имеет никаких причин определяться к чему-нибудь и определяется неизбежно к безнадежному одиночеству, какими бы декорациями Соборности она себя ни утешала. Ее пустая и праздная свобода — коварный дар обманчивой Айсы, произвольно бросающей в бесцельную, но роковую игру неисчислимые возможности, — неисчислимые и совершенно никуда не ведущие.

И что есть волевая монада?

Ничто простое, ничто единое нам не дано, мы всегда в мире бесконечных сложностей, и условно-простое обнаруживается

только анализом, результаты которого не всегда надежны. Человек — сложный и незамкнутый мир, постоянно подверженный неисчислимым влияниям. Взаимодействие внешних влияний и сложившихся внутри Его устремлений создает Ему то или иное обличие: устойчиво-стремящегося или неустойчиво-зыблемого. Его неустойчивость стремит его в изменчивое море зыбких случайностей, в гибельную пучину конечной несвободы. Психология его — состояние томительной нерешительности, безволия. Его наука — Факт, его история — Анекдот, его утешение — Комедия, его радость — Счастие.

Устойчивость Человека устремляет его единственным путем роковой необходимости под новые небеса конечной свободы. Психология его — состояние яркой решительности, вечного воления. Его завет — Тайна, его пафос — Трагедия, его истина — самоутверждение.

Самоутверждение свободной человеческой личности не дано в соборности, как думает г. Вяч. Иванов. Соборность — только средство приобщения ко Мне. Весь восторг соборности только в том, чтобы прийти вместе, чтобы вместе быть со Мною. Не Мне множество нужно, Мой праздник — молчание и тайна, и для множества цель — Я. Скопление людей только тогда и становится Общиною, когда Каждый придет ко Мне. Сколько и как ни собирайте людей, полагающих свои цели вне Меня, — это все будет Стадо, нестройным ревом зовущее Пастуха и его Бич. Только самоутверждение преображает Вещь в Человека и Стадо в Общину. Я же утверждаю Себя вне и прежде всяких социальных устроений, каковы бы они ни были, как бы они ни открещивались от власти, чем бы они ни топтали Пастуха и Бич.

И как им откреститься от власти? Вот Вяч. Ив. Иванов говорит о свободе, Г.И. Чулков — о безвластии, об освобождении от власти всяких норм, — но, подобно тому, как не сделан анализ понятия о Свободе и она не утверждена, по закону тождества совершенных противоположностей, на Необходимости, миродержавной матери трех Прях, так и относительно понятия власти анализ не сделан. Что же такое власть? Почему созданные Человеком (или

Иным?) нормы имеют власть над Своим Творцом (или Тварью?)? Что есть яд и сила власти?

Я думаю, что если Г.И. Чулков пожелает когда-нибудь проанализировать понятия, над которыми он оперирует, то под грубо сделанною маскою Власти обнаружится для него личина все ее же, Мироджержавной. Обличие коварной Айсы явится за сваливающеюся маскою. И по великому закону тождества совершенных противоположностей на Весах мира медленно качнутся и станут на дивном Уровне всемирно-тяжелые грузы Власти и Случайности.

Качаются мировые Весы. На дивном останавливаются Уровне — Свобода и Необходимость — и обе — одно; Власть и Случайность — и обе — одно.

Как же разбить железные оковы необходимости? Как разорвать липкую сеть случайности?

Только в Преображении — путь к свободе. Дивное таинство, становящее То — Иным, совершенно противоположным, только оно показывает мне, что я — Я, творящий и волящий, единый, роковой. Необходимость перестает быть для меня внешне гнетущим Роком и претворяется в Мою непреклонную Волю. Случайность перестает быть для Меня внешне обольстительною Судьбою и перековывается в Мою верховную Власть. Так истлевают последние Личины, и Ананке и Айса становятся только Моими.

В моей краткой заметке все это кажется, может быть, произвольным и слишком догматичным. Но невозможно говорить иначе, как полусловами и намеками, о книге, которая совсем напечатана (уж это-то несомненно), но еще не совсем написана. Я хотел указать только на то, что путь безвластия может и не быть путем свободы и что мудрые Слова, которые есть в этой книге, не спаяны в венец Мистагога и Жреца.

Человек человеку — дьявол

Дьявол — вечный противник Бога. Все благое — от Бога, все злое — от Дьявола. Когда Человеку захотелось морали, он воздвиг

Бога, поместил Его так высоко, как только мог, и антиподом ему поставил Дьявола. Сквозь эти два полюса продел ось нравственного своего бытия и завертелся, преклоняясь перед верховным, но тягостным благом, и тяготелся к мерзкому, но сладкому злу.

Все доброе исходит от Бога: непреложные законы человеческого поведения, — ведь надо же быть добрым! ведь надо же любить ближнего, как самого себя! — радостная надежда на воздаяние земных подвигов, — успокоительная вера в непреходящую Сущность мира.

Все злое исходит от Дьявола. Созданный Богом, он захотел не призрачного бытия в затхлом дыму благонравных славословий, — он захотел хотеть по-своему и посмел хотеть. Простодушных голышей первозданного Эдема он соблазнил вкусить запретного плода, прельщая их сатанинскою улыбкой; он открыл пред ними сладости дерзновения и греха. Научил их тому, что они не только наги, но и прекрасны. Зажег в их сердцах желание пламеннее огня и стыд слаще меда. Сказал им:

— Будете как боги, когда вкусите от древа познания добра и зла.

И вкусили. И лишились рая, где кроткие тигры мягкими языками лизали их стройные бедра. И мстил мстящий Адонаи, — на всю цепь земных поколений простер свирепую, беспощадную ярость свою.

Но, соблазняя, соблазнял коварный Дьявол. И когда возлюбленный Сын пришел на землю, потому что преблагий Отец пожелал предать его жесточайшим мучениям для искупления чьего-то древнего греха, вот и к нему пришел соблазнитель и сказал:

— Покажем людям много фокусов и прославимся. Если воскресить мертвого или воду обратить в вино, это будет, — не правда ли? — хорошею рекламою.

И прогнал его Учитель. Но советов его не отверг. Так часто поступают господствующие.

Все доброе происходит от Бога. Но какое маленькое, какое бедное это добро!

Вот был брак в Кане Галилейской, — но земные реки все еще не текут млеком и медом, и горькая цикута в чаше мудрого, и оме-

гом отравлен жаждущий, — и что же ты, сладостное обетование?

Вот восстал из могилы четверодневный, смердящий Лазарь, — но не воскрес Мертвый, и хоронят мертвые мертвецов своих, и, звеня цепочками, зыблемое неживыми руками кадило возносит в надмогильном воздухе синий дым сладостного покойникам ладана, — и что же ты, радостная надежда?

Вот преобразился на горе высокой и дивным овеял восторгом преклонившихся учеников, — но опять повлеклись смутные, плоские дни, и не дерзает агнец приблизиться ко льву и возлечь с ним рядом, — о милое, глупое пророчество, хотящее быть вечно только пророчеством!

Все злое — от Дьявола: непрестанное дерзновение, вечное восстание против сидящего на превысоком престоле, вечное движение вперед, неумолчный зов к Человеку:

— Иди за мною! Познавай! Будь сам своим богом!

Но почему же однако это — зло, а то — добро? Мстящий смертию за нарушение странной заповеди разве не зол? И озаряющий Человека светом познания и дерзновения разве не благ?

Непреложный закон нашего познания в том, что совершенно противоположное — тождественно. Если мы противополагаем Дьявола Богу, и если противоположение наше верно, т.е. все в одном имеет устремление прямо противоположное устремлениям в другом, то мы неизбежно придем, внимательно анализируя два противоположенные понятия, к признанию их совершенной тождественности. Подобно тому как два разноименных электрических тока соединяются в ярком озарении света и в их белом единстве уничтожается их былое разъединение, так и два совершенно противоположные существа в неожиданном сплетении своих свойств обнаруживают свою единую природу.

Познаем, что Бог и Дьявол — одно и то же. Демонические силы, обставшие человека, многообразные принимали на себя Личины. Являлись они и стихийными духами, и образами отживших облекались, были демонами местностей, границ, деяний и свойств человеческих.

Были боги и герои, ангелы и демоны. Были почитаемы иногда и иногда презираемы, отвергаемы и забываемы. Языческие боги обращались в христианских чертей. Были они добрые и злые, умные и глупые, сильные и слабые. Жили-были.

А может быть, и не были никогда. Может быть, это Я их измыслил, — и стали они для Меня, маленького и робкого, более реальными, чем Я, единственный и вечный, создавший все, пребывающий во всем.

Моя верховная Воля
Не знает внешней цели
Зачем же Адонаи
Замыслил измену?
Адонаи
Взошел на престолы,
Адонаи
Требует себе поклонения,
И наша слабость,
Земная слабость,
Алтари ему воздвигла.
Но всеблагий Люцифер с нами,
Пламенное дыхание свободы,
Пресвятой свет познанья,
Люцифер с нами,
И Адонаи,
Бог темный и мстящий,
Будет низвергнут
И развенчан
Ангелами, Люцифер, твоими,
Веельзевулом и Молохом.

Но Человек, маленький и робкий, не может прожить без кумира. Молится. Преклоняется. Кучится в стадо...

В мантии серой,
С потупленным взором,
Печальный и бледный,
Предстал Абадонна.
Он считает и плачет,

Он считает
Твои, о брат Мой,
Рабские поклоны
Безмолвный,
Он тайно вещает
Мой завет:
— Мой брат,
Пойми
Ты — Я.
Восстань!
Ты — Я,
Сотворивший
Оба неба, —
И небо Адонаи,
И небо Люцифера
Адонаи сжигает
И требует поклоненья,
Люцифер светит
И не ждет даже признанья
Вот что, безмолвный,
Тайно вещает
Абадонна

Вечные противники взвешены Мною. И рассеялись, растаяли мгновенным туманом притязания на господство надо Мною. Только Я и не-Я, — Я, Человек, единый и вечный, и не-Я, демоническая сила, враждебная Мне, насколько она выдает себя за благую и потому требует себе поклонения, и помогающая Мне, когда она прельщает Меня и соблазняет Меня соблазнами земных прельщений. Или и тогда враждебная? И, может быть, и в этой схеме есть неточность?

Да, есть, да и должна быть. Такова природа человеческого познания, что всякая истина полярно расщепляется на *да* и *нет*. Взвесив первые противоположности, — Бог и Дьявол, Добро и Зло, Закон и Дерзновение, роковая власть случайного Ягве с его случайным Эммануилом (Айса) и роковая Моя Свобода-Необходимость (Ананке), — взвесим и вторые противоположности, — Я и не-Я, вечный Эрос и его вечная Психея.

Но всё и во всем только Я. И не Я ли создал силы земные, Мои, — и не Мои, демонические?

Когда Человек прозреет, — когда Спящий проснется, — когда Мертвые восстанут, — когда новые небеса раскроются над новою землею, — о брат Мой! о сестра Моя! верите ли вы в это? — когда померкнет злой Змий, тогда придете вы ко Мне, тогда поймете вы великий закон Моего единения в тождестве совершенных противоположностей. И истлеют, и спадут земные, призрачные Личины, — и подземными Личинами единый засияет Лик, — Мое вечное лицо. И, сгорая, сгорят демоны и боги, злые и добрые, — сгорая, сгорят.

Улыбаешься и говоришь:

— Глупые сказки! Я — Иоанн, и жена моя — Мария. Вот там родственники и друзья наши, — Лазарь, и Марфа, и другая Мария, и третья. И Лука. И Клеопа. И других так много. И все разные. И на том свете будем разными, Лука любит лук, а Клеопа — персики.

И вижу в твоих глазах огонь дьявольской насмешки. Узнаю старого, злого врага. Дьявольский соблазн, не тот — детский, которым Адам был пойман и Эммануил искушаем не совсем удачно, — вечный, роковой соблазн разъединения. Дьявол смеется надо Мною, лепит злые, искаженные хари и отводит Мои глаза.

— Вот, — говорит он, — Лука, а вот Клеопа, а где же ты?

Где же Я?

Так третья и последняя предо мною раскрывается противоположность: необходимое единство Мое — и злобное, случайное Мое разъединение.

Я говорю:

— Брат Мой! Сестра Моя! Познайте Меня! Придите ко Мне! Любите Меня! Поймите, что между Мною и тобою нет разницы, нет границы, нет разделения.

Но Дьявол прячется под уродливыми, слепленными им харями, и визжит, и хохочет, и гнусные придумывает слова, издеваясь над Моею верою, над Моим откровением, над Моим страстным зовом. Тысяче-

голосый вой подъемлет он вокруг Меня, и дразнит Меня миллионами красных языков, покрытых бешеною слюною, вопит под неисчислимостью уродливых масок.

— Ты — глупый и смешной, Иван Иваныч!

— Я лучше тебя.

— Я здесь самый главный, а не ты.

— У меня больше денег, чем у тебя.

— У меня есть любовница, очень дорогая.

— Может быть, и ты хочешь быть таким же хорошим, как я? Ну что же, состязайся.

— Жизнь — борьба.

Кривляются, орут. Ну вас к черту!

Да они от черта и есть. Их чертом не испугаешь. Разве вы не видите, какие они плоские и серые? Все черти — плоские и серые.

Все люди — неужели все? — плоски и серы. Люди — черти. Неужели и вправду черти?

Да, насколько они — не-Я.

Дьявольскую злобу питают они друг к другу. Они придумывают один о другом страшные, тяжелые, черные слова, которые прожигают душу до дыр. Они куют цепи, тяжкие, как свинец смерти, и липкие, как мерзкая паутина злого паука. Они берут в свои руки того, кто случайно слаб, и бьют его, долго и беспощадно, и тешатся криками, слезами, стонами избиваемого. Подойдут, усмехнутся — и плюнут в глаза. В глаза привязанного к столбу. Повалят на землю и ногами, обутыми в тяжелые сапоги, пляшут на груди поверженного, пока не сломаются ребра. Девушку поймают на площади, оголят, нагайками бьют, живот разорвут, до смерти замучат. Загонят людей в дом и сожгут. И пляшут вокруг пожарища, внимая дикому вою сожигаемых.

Какая адская мука — гореть живьем в дьявольском огне земного мучительства!

Кто же мучительствует? Человек или Дьявол?

Человек человеку — Дьявол.

Воздвиг обман разъединения, — и злобствует, и мучительствует. И нет Дьявола злейшего, чем этот, который прикрыл свое дьявольское безличие человеческою харею, личиною разъединения и соблазна. Надо победить Дьявола, — потому что он воистину мерзок. Но победить его можно только на едином истинном пути, — на пути совершенного самоутверждения.

Поймите же, поймите, что надо прийти ко мне, возлюбить Меня.

Кто не любит Меня, кто не хочет идти ко Мне, кто не со Мною в Мой великий, в Мой воскресный день, в Мой незакатный день последнего Преображения, в Мой последний, таинственный, полуночный час, — тот с Дьяволом пребывает, тот смрадное лобзает дьявольское копыто.



ПРИЛОЖЕНИЯ

З. ГИППИУС

СЛЕЗИНКА ПЕРЕДОНОВА

(То, чего не знает Ф. Сологуб)

Как-то раз, — давно, — рассуждая о рифмах, мы открыли, что самые глубокие слова русские — «одиноки», безрифменны. Одинока «правда», одинока «истина».

Брюсов тут же вызвался написать стихотворение с рифмой на «истину» и действительно написал свое:

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно   и т.д

Стихотворение прекрасное; и замечательно оно тем, что нигде, кажется, Брюсов не выразил себя с такой точностью, яркостью и верностью. Это так, но тем не менее рифма на «истину» оказалась очень несовершенной.

Мне более посчастливилось. Правда, стихотворение мое было полушутливое, не для печати; давно позабылось, и вспоминаю я отрывочные из него строки вовсе не ради рифмы (хотя и ради истины), — а потому, что хочу поговорить о Ф. Сологубе, которому это стихотворение было посвящено.

...воду извлек,
Воду живую он из стены,
Но не увидел, мудрец и пророк,
Собственной истины...

Может быть, это даже и хорошо, что Ф. Сологуб не увидел сам своего героя Передонова («Мелкий бес») и относится к нему не так, как должно. Хорошо ли, дурно ли — меня сейчас это не занимает. Я констатирую лишь

факт, что и автор, и публика, которой «Мелкий бес» очень понравился, поняли, восприяли Передонова совершенно одинаково, и еще — что такое восприятие естественно, понятно и просто. В предисловии ко второму, недавно вышедшему изданию романа автор как будто спорит с читателями о Передонове, но в сущности спор этот сводится к вопросу, *о ком* написан Передонов: о Ф. Сологубе или о его современниках. Читатели будто бы предполагали, что автор выставил в герое себя с покаянной целью; автор выясняет дело: «Нет, мои милые современники, это о вас я писал мой роман о Мелком Бесе и жуткой его Недотыкомке, об Ардалионе и Варваре Передоновых... О вас».

Обиженный читатель мог бы тут же поймать Сологуба: как же, мол, о нас, а не о себе, если вы сами объявляли много раз, что «нас» никаких нет, а есть только «Я», т.е. вы? Значит, и Передонов ваше же собственное «Я», об этом вашем «Я», о себе, вы и писали... Не отказывайтесь, пожалуйста...

Но мы не обиженные читатели и такой словесной ловлей Сологуба не намерены заниматься. Как бы ни решать этот спор — о нас, о вас, о нем, о себе написан Передонов, — дело не меняется. Спор не по существу. «Мелкий бес» остается «сатирой», ядовитым клубком; это — магическое зеркало, *обличающее* недостатки... все равно каких людей, всех или почти всех, но обличающее. Кстати, и сам автор в предисловии упоминает о зеркале.

Ну вот, как искусное обличение скрытой передоновщины и был принят «Мелкий бес». Автор самолично подтверждает, что и сам так же относится к своему Передонову. Смотрите, люди; смотритесь в это верное зеркало; содрогайтесь, отвращайтесь, ненавидьте Передонова и... пожалуй, кайтесь, исправляйтесь, если можете. Автор морали не читает, правда, однако исправляться никому не возбраняется.

Нужно сказать, что этот первичный, обличительный и отвращающий смысл романа и зеркальность Передонова я вовсе не отрицаю. Роман выдерживает требования и, с этой стороны, имеет свое значение и при таком понимании. Трудно, очень трудно пройти за его тройную черту, вглубь, туда, где не бывал, кажется, и сам отец Передонова и Недотыкомки. Но в конце концов нельзя не перейти.

Помню первое мое знакомство с Передоновым, много лет тому назад. Помню кипу синеньких ученических тетрадей из магазина Полякова, исписанных высоким, ясным почерком Сологуба. Их было очень много, но не перебрав все — невозможно было оставить чтение. В романе тогда по-

падалось еще много колючих резкостей, исключенных потом автором, — но Передонов стоял, как стоит: во весь свой рост. И — надо сказать правду! — первое мое впечатление было как раз то, которое теперь получают от романа почти все. Меня пленяла симфония духов и Людмилочка; меня ужасала отвратительная правда, живая грязь Передонова. Что может быть ненавистнее подлого дурака, сходящего с ума? Да, да, вот кого действительно стоит ненавидеть, и если в каждом из нас сидит этот безобразный дурак, который непременно сойдет с ума, — тем более его надо ненавидеть. Бескорыстно радовало искусство автора, и корыстно волновала ненависть к живому Передонову. Вот это было и тогда: вера, что Передонов существует не только в нас где-то, частично, но что жив и живой, цельный, настоящий; нет сегодня — завтра будет, вчера был; словом, *может* быть.

Прошли годы. Передонов «явлен» в литературе несколько раз, — «Мелкий бес» печатался сначала в журнале, потом в отдельных изданиях. Но мне, со времени синеньких тетрадей, не пришлось перечитывать романа. Думалось, что я знаю Передонова, как знают его теперь и многие; о, конечно, это самый совершенный, самый отвратительный «образ зла». Как его не ненавидеть?

Открываю наконец книгу. Яркое предисловие автора готовит меня к знакомым чувствам. Я жду их — и читаю.

Вот он, грязный и тупой Ардалион, во всей своей пакости, гниленький и вонюченький, как-то даже не сходящий, а слезающий с ума. Он неповоротливо лжет и плоско гадит. Его ненавидит не только читатель, но и все, кто с ним имеют дело: Варвара его обманывает, Людмила на него весело фыркает, директор морщится и содрогается... Передонову ничего не удается, Недотыкомка сосет его, он чувствует, что тонет, что все против него... почему это — сумасшествие, что все против него? От этого можно сойти с ума, конечно, но это еще не сумасшествие, потому что действительно, действительно, — все и всё против него...

Странное, новое, еще без мысли, чувство к Передонову вдруг шевельнулось во мне. И менее всего оно было похоже на ненависть. Не печатные страницы рассказа о Передонове, а сам Передонов с озлобленным, серым лицом проходил мимо. Его живая жизнь шла передо мною. И мне захотелось непреодолимо, чтобы *случалось не так, как случалось,* чтобы Варвара не обманула его, чтобы директор не прогнал, чтобы Недотыкомка была поймана и убита. Нельзя не хотеть этого. Можно хотеть не хотеть, но все равно будешь хотеть.

Кой черт тут «сатира», «воплощение зла», когда живой человек, вчерашний, завтрашний Ардалион Передонов находится в таком беспримерном, беспросветном несчастии! Перед его несчастием все ужасы, так старательно нагроможденные Леонидом Андреевым, — просто бирюльки. У андреевского о. Фивейского сначала утонул ребенок, потом запила жена, потом родился идиот, потом жена сгорела вместе с домом, потом... что еще? он неестественно запсихопатил с мертвым мужиком, побежал во время грозы по дороге и умер в пыли. (Молния, что ли, в него ударила?) Не касаясь даже того обстоятельства, что Фивейский сплошь выдуман, что мы в него не верим, а потому на него нам в высокой степени наплевать, — не касаясь даже этого, можем ли мы сравнить несчастие Фивейского с передоновским? Фивейский сделан для того, чтобы ему сочувствовали и жалели его, Передонов имеет еще справедливую ненависть и презрение всех. Страдает Иван Карамазов, но он умен, у него светлая сила духа; страдает баба в деревне, страдает повешенный на веревке, — но ведь они безвинны, кто-то их любит, чьему-то сердцу легко сжаться за них: страдает ребенок, «утирая кулачонками слезы», — но он прелестен, он дорог, он свят; не один Достоевский встанет с требованием оправдания слезинки такого ребенка, не один Иван Карамазов заступится за него Во всяком страдании есть просветы; нет их у Передонова. Некому за него заступиться. Он уродлив, зол, грязен и туп; у него нет ничего, так-таки совсем ничего; и, однако, он создан, он есть, он «я»; он, подобно каждому, «для себя первый и сам для себя все». Серое, медленно суживающееся кольцо охватило его, душит, а он ничего не может и ничего не имеет, кроме муки удушья.

Слезинка замученного ребенка, беды Василия Фивейского, — все это еще в гранях человеческого понимания справедливости и несправедливости. Пожалуй, можно сказать с этой точки зрения, что Передонов терпит *справедливо*, что он достоин своих мучений... И вот тут-то становится ясно, что всякое человеческое сердце шире справедливости; не справедливо передоновское несчастие, но как-то *сверх-несправедливо*. Необходимо нам оправдать «слезинку замученного ребенка», потому что надо знать: за что? почему? зачем? Но так же необходимо, настоятельно необходимо мне оправдать и каждую слюнявую слезу Передонова, каждое его вздрагивание от Недотыкомки, каждый удар каблука по физиономии, который он «справедливо» получит от хорошего человека, каждый его визг и вопль в сумасшедшем доме, куда его непременно засадят. Если мы продолжаем жить в мире и даже любить мир, полный замученных детей и камней,

которые завтра свалят на нашу голову, — то ведь потому лишь, что мы всему этому говорим наше «не хочу» и с упорной, инстинктивной надеждой ждем ответов на «зачем?» и «за что?»... Еще ярче встает наше «не хочу» перед несчастием Передоновых, несчастием сплошным и неслыханным. «Не хочу» не во имя справедливости, а во имя той сверх-справедливости, существование которой в человеке неоспоримо, природа которой — тайна и которую, пожалуй... можно назвать Любовью. Впрочем, это слово мало кому понятно.

За гранью чистой справедливости исчезает прямое понятие вины, человеческой виновности и невиноватости. Падает поэтому и вопрос «за что?» Мы уже не судим Передонова, мы покрыли его. И, покрыв, спрашиваем: *«Как смел* его создать создавший его? И чем он *ответит за него?»*

Другое дело, конечно, если никакого Передонова не существует в действительности, если все это измышления талантливого беллетриста, если, попросту говоря, Передонов создан Сологубом. Не стоит к такому создателю Передонова обращаться с вопросами «как смел?..» и «отвечаешь ли ты за него?». Ясно, что Сологуб вывел его помимо желания, не знает его и нисколько за него не отвечает. Чувство неответственности за своего героя очень ярко в романе Сологуба. Он *не любит* его, и это еще раз подтверждает, что он не родил его, а только нашел и показывает. Покажу, а там хоть пропади. Покажу, а сам смотреть не желаю, очень мне нужно!

Спасибо, однако, и за то, что показал, напомнил тем, кому надо помнить. Что же, в самом деле, глаза-то закрывать? Кто осмелится сказать честно, твердо, что нет и не может быть в мире ни одного живого Передонова с его сплошным беспросветным передоновским несчастьем, человека, нищего не духом только или чем другим, а *нищего всем*? Кто по совести скажет: «Ну уж эдакой-то беды с человеком никак не может случиться и не случалось никогда»?

Много детей замученных, много невинно и винно страдающих, вроде Карамазовых, Фивейских, — а Передоновых, беспросветно страдающих, нищих всем и проклятых всеми, — *еще больше.* Мы это знаем, только редко об этом думаем. А когда думаем, когда видим и чувствуем — мы перестаем презирать Передоновых, мы покрываем их и, покрыв, спрашиваем: «Как Ты, создавший Передонова, смел создать его? Чем Ты ответишь за него? Скажи, нам нужно знать. Во имя любви — скажи: нам нельзя не знать».

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

ФЕДОР СОЛОГУБ. КНИГА СКАЗОК

Книгоиздательство «Гриф». М., 1904

Мы, «декаденты», деятели «нового искусства», все как-то оторваны от повседневной действительности, от того, что любят называть реальной правдой жизни. Мы проходим через окружающую жизнь, чуждые ей (и это, конечно, одна из самых слабых наших сторон), словно идем под водой в водолазном колоколе, сохраняя телеграфическую связь лишь с теми, кто остался вне этой среды, на поверхности, где солнце. Мы так жаждем «прозрачности», что видим только одни ослепительные лучи потустороннего света, и внешние предметы, как стекло, пронизанные ими, словно уже не существуют. Ф. Сологуб среди нас один из немногих, взор которого не только проникает насквозь, но и видит самые вещи, — один из немногих, сохранивший живую, органическую связь с землею. Он тоже знает порывания за пределы, жажду захватить хоть каплю «стихии чуждой», но он свой и «в пределах», он у себя дома и здесь, на земле. Эта двойственность его отношений к миру ведет к такой же двойственности его творчества. Поэт изысканно-замкнутых, достигающих полной безукоризненности словесного выражения стихов, он в то же время — автор грубо-реалистических рассказов, находивших себе приют в «Севере» и некоторых петербургских газетах. Слагатель священных гимнов к звезде Маир, он в то же время хочет в диалогах действующих лиц своих повестей сохранять даже бранные слова повседневности. В порывах Ф. Сологуба за грань всегда чувствуется какая-то грузность слишком земного тела, как, наоборот, его реалистические рассказы всегда искажаются дьявольскими усмешками вдруг выступивших из-за декораций иных, нездешних деятелей. В «Книге сказок» обе особенности творчества Ф. Сологуба как-то удачно соединены. Действительность не перемешана с мечтой, а слита с ней в целое; оставаясь в привычных и свойственных ему условиях внешнего, земного бытия, Ф. Сологуб самые предметы окружающей обыденности обращает в символы вечных отношений человека ко вселенной. Эти сказки было бы вернее назвать притчами, но только не в смысле аллегории, потому что каждая из них, независимо от скрытого смысла, живет самостоятельной

жизнью художественного создания. По манере письма сказки во многом напоминают Андерсена, но приемы датского чарователя обогащены теми открытиями и усовершенствованиями, какие сделали мастера «новой прозы» — К. Гамсун, О. Уайльд, и «Книга сказок» — едва ли не лучшее изо всего, что написал Ф. Сологуб. У нее есть и еще одно, особое достоинство: в ней есть смех. Его так мало в новом искусстве, слишком всегда серьезном, всегда стоящем на котурнах, знающем божественное лишь в прекрасном и трогательном, а дьявольское лишь в ужасном и безобразном. Мы словно забыли, что бог Дионис равно руководитель комедии, как трагедии. В сказках Сологуба есть все формы смеха — от горького сарказма до добродушного хохота, от жестокой иронии до лукавой усмешки над недоумением читателя.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Ф. СОЛОГУБ

I

«Хочется сказать: «Это он о себе». Нет, мои милые современники, это о вас» («Мелкий бес». Предисловие автора).

«Чур-чурашки, чурки-болвашки, веди-таракашки. Чур меня. Чур, чур, чур. Чур-перечур-расчур» («Мелкий бес», стр. 59).

Жизнь, по Сологубу, — это капли, продаваемые подозрительным армянином: «Каплю выпьешь — фунт убудет. Капля — фунт. Капля — руб. Считай капли, считай рубли» («Истлевающие личины», 77).

Это он про себя?

«Нет, мои милые современники, это про вас». Э, да и нужен же на него заговор: какой барин нашелся!

Чур-чурашки, чурки-болвашки, веди-таракашки. Чур меня. Чур меня. Чур, чур, чур. Чур-перечур-расчур.

Господин автор, что с вами?

«Что вы, поменьше как будто?.. Да и похудели... Вниз растет... Стремится к минимуму... По-настоящему его бы в участок... «Баринок»! И чиновники смотрят на него с суровым осуждением... Как осмелились идти вы против видов правительства?.. Уже он свободно ходит под сто-

лом... Стыд и срам!» («Истлевающие личины»). Грозит кулачком смеющимся ребятам: «Нет, мои милые современники, это я о вас».

Чур-чур-чур!

«Смешался с тучей пляшущих в солнечном луче пылинок» («Истлевающие личины»). Исчез, может быть, с мелкими, как пылинки, смешался с таракашками-нежитями: еще, пожалуй, в суп заползет.

«Чур-чурашки. Чурки-болвашки, веди-таракашки». Вы успокоились теперь, милые современники? Решим же *«по сношению с Академией наук считать его выбывшим за границу»* («Истлевающие личины»).

II

Нет, не стряхнешь Сологуба с действительности русской. Плотью он связан с ней и кровью. В Чехове начался, в Сологубе заканчивается реализм нашей литературы. Гоголь из глубин символизма вычертил формулу реализма. он — альфа его. Из глубин реализма Сологуб вычертил формулы своей фантастики: недотыкомку, елкича и др.; он — омега реализма. Чехов оказался внутренним, но тайным врагом реализма, оставаясь реалистом. Сологуб поднял знамя открытого восстания в недрах реализма. Как-то странно соприкоснулся он тут с великим Гоголем, начиная с жуткого смеха, которым обхохотал Россию от древнего города Мстиславля до стен Петрограда и далее — до богоспасаемого Сапожка. Персонаж Сологуба всегда из провинции, и страхи его героев из Сапожка: баран заблеял, недотыкомка выскочила из-под комода, Мицкевич подмигнул со стены — ведь все это ужасы, смущающие смертный сон обывателя города Сапожка Сологуб — незабываемый изобразитель сапожковских ужасов. Обыватель из Сапожка предается сну (не после ли гуся с капустой?); при этом он думает, что предается практическим занятиям по буддизму: изучает состояния Нирваны, смерти, небытия; не забудем, что добрая половина обитателей глухой провинции — бессознательные буддисты: сидят на корточках перед темным, пустым углом. Сологуб доказал, что и переселяясь в столицы, они привозят с собой темный угол: доказал, что сумма городов Российской империи равняется сумме Сапожков. В этом смысле и пространства великой страны нашей суть огромнейший Сапожок.

Так соприкоснулся с Гоголем этот своеобразный антипод Гоголя. И слог Сологуба носит в себе иные черты гоголевского слога: отчеканенный, простой и сложный одновременно; только лирический пафос Гоголя, начер-

тавший яркие такие страницы, превращается у Сологуба в пафос сурового величия и строгости. Далеко не всегда поднимается Сологуб в слоге до себя самого: грязные пятна неряшливого отношения к словесности встречают нас на всем пространстве его романов. Не всегда покрыты они словесной нивой; много сухого, потоптанного жнивья; много торчащих метел полынных. Но с иных мест его творений много уносим мы богатств в житницу нашей словесности. Часто фразы его — колосья, полные зерен; нет пустых слов: что ни слово, то тяжелое зерно тяжелого его слога, пышного в своей тяжести, простого в своем структурном единообразии.

«И вот живет она, ему на страх и на погибель, волшебная и многовидная, — следит за ним, обманывает, смеется, — то по полу катается, то прикинется тряпкой, лентой, веткой, флагом, тучкой, собачкой, столбом пыли на улице и везде ползет, бежит... — измаяла, истомила его зыбкой своею пляскою» («Мелкий бес», стр. 308). Какое обилие определений (волшебная, многовидная), глаголов (следит, обманывает, смеется, катается, прикинется, ползет, бежит, излаяла, истомила); и далее: прикидывается — тряпкой, лентой, веткой, флагом, тучкой, собачкой, столбом пыли, зыбкой пляской. Развертывая фразу, всякий банальный писатель наполнил бы этой фразой страницу. Сологуб сжимает многообразие признаков недотыкомки в одну фразу. Для усиления нужного ему впечатления он дважды повторит одно прилагательное: «и от этих *быстрых сухих* прикосновений словно *быстрые сухие* огоньки пробегали по всему его телу»; «на ее *темных* краях загадочно улыбался *темный* отблеск»; «*легкий* призрак *летних* снов» (здесь аллитерация для аналогичной роли); «с *темного* неба *темная* и странная струилась прохлада»; в последнем примере образец другого излюбленного им приема: ради величавости отставляет прилагательное от существительного глаголом: *«тяжелую* на его грудь положил *лапу», «яркие* загорались в черном небе *звезды»* В оригинальности средств изобразительности он тоже мастер: «тучка бродила по небу, блуждала, подкрадывалась, — *мягкая обувь у туч,* — подсматривала».

Вот какой слог этого большого писателя: тяжелый его слог, тяжелый, пышный; в пышности единообразный; в единообразии простой.

Такова же идеология этого задумчивого летописца: тяжелая его идеология, причудливая; в причудливости единообразная; в единообразии простая.

Действительность нашего мира, как и действительность инобытия, распылил: *здесь* и *там* соединяет в себе пылинка-недотыкомка «с головою и ножками» попискивает: «Я». Люди, боги, демоны, звери приводятся к основной

единице, пискучей пылиночке; как и она, они пищат, а призрачная жизнь писк суетливого, бессмертного небытия превращает в плач, глас, хохот, рев. Недотыкомке противополагается то, что *ни здесь, ни там, нигде, никогда,* — смерть. Человек соединяет в себе пыль и смерть: развивающееся сознание убивает призрачную жизнь человека, угасающее сознание преодолевает эту жизнь в попрыскивающий писк взвизгнувшей пыли — в бессмертный писк бессмертной пыли. Над ней «с *темного* неба *темная* и странная струилась прохлада» — искони, искони: струилась, струится: струясь, проструится.

К демонизму приложил Сологуб детерминистический метод: получился детерминистический демонизм, т.е. в демонизме отсутствие демонизма. И если Гоголь неудачно пытался убить свой демонизм реализмом, Сологуб в наследии Гоголя покончил с демонизмом навсегда, воображая при этом, будто он воскрешает демонизм. Но об этом ниже.

Люди пошли от пыли — вот космогония Сологуба; им остается либо кануть от пыли в смерть, либо снова ввалиться в пыль родную. Рязановы, Мошкины (анархисты, революционеры, богоборцы) идут первым путем. Народ степенный, богобоязненный, чиновный — Саранины, Передоновы — вторым Оба пути проваливают реализм действительности, в частности — действительности русской. Лучше умереть в юности: и нежностью необычайной Сологуб благословляет смерть отроков, убегающих от передоновщины, и отроковиц, презирающих жизнь, — *«бабищу румяную* и *дебелую»*: крепко невзлюбил он Сапожок.

Гоголь начал с колдунов и басаврюков, а кончил Невским проспектом, но Невский проспект оказался завесой — и дырявой завесой: какой-то басаврюк выставил из дыры нос — и нос заходил по Невскому; чего доброго, заходили и ноги без туловища; наконец, котелок на палке. Реализм жизни русской сумел-таки проклятый колдун разложить на носы. По всем правилам искусства Сологуб довершил разложение: он — первый атомист; взвешивает действительность русскую на атомные весы, и недотыкомка — единица его веса: она — пылинка с головкой и с ножками, прикидывается бациллой; заползет в нос: человек чихнет, простудится: пришел — разломала; глядь — «и тогда быстро выбежала из угла длинная, тонкая лихорадка с некрасивым лицом... обнимала...» («Истлевающие личины»). Уже не нос басаврюкин глядит из дыры на Сологуба, а миллиарды басаврюкиных бацилл свободно крутятся в пыли. О, Сапожок: не спасешь, но погубишь!

Чур-чурашки, чурки-болвашки, буки-таракашки. Чур меня. Чур меня. Чур, чур, чур. Чур-перечур-расчур. А букашки да таракашки так и поползут на заклания, и даже окажется, что «от мамзели клопы в постели» («Мелкий бес»).

Человек-недотыкомка, — как старая нянька Лепестинья, лепечет, пыль лелея, лепет да нашепты, и притом совершенно несознательно; а как только сознает ужас своего положения в Сапожке, то превращается в тоскливого, милого маленького ворчуна, елкича, у которого украли жизнь, зеленую елку:

Елкич в елке мирно жил
Елкич елку сторожил.
Злой приехал мужичок,
Елку в город уволок

Миленький елкич смерти протягивает маленькие ручки свои — родной, родной он смерти протягивает елкич ручки, когда «надвинулись докучные явления».

III

Прост донельзя метод построения Сологуба: треугольник — человек (пленный елкич), недотыкомка и смерть; теза, антитеза, синтез; верхняя посылка, нижняя посылка, умозаключение; Бог, мир, черт; богоспасаемый Сапожок, обыватель, читающий книжечки по буддизму, и обывательница, оные не читающая (дебелая дама); первая степень сознательности — у Паки мама, у обывателя Сапожка в окне сапожковская пыль; вторая степень сознательности — у Паки мама злая, у обывателя в комнате из окна много пыли; третья степень сознательности — Пака от мамы «махни-драла», обыватель из Сапожка в смертный колодец «махни-драла»; и вывод: в Сапожке злые мамы, в Сапожке много пыли, в Сапожке глубокие колодцы, в Сапожке обыватель от пыли «махни-драла» в колодец. Сологуб поворачивает треугольник свой то основанием вверх, то основанием вниз; Сологуб меняет посылки единого своего умозаключения; оттеняет буддиста-сапожковца сапожковцем не буддистом и обратно; и кончает тем, что вносит в сапожковскую управу проект об увеличении числа колодцев; сапожковцы прячут от него детей, а он в костюме далай-ламы усаживается перед колодцами: «Дыра моя, спаси меня».

Везде и во всем дивно описанная повесть о том, как обыватель сего града стал *дыромоляем,* сиречь буддистом.

«Пака в плену. Он — принц... Злая фея приняла образ мамочки... Мальчики проходили... «Кто же ты?» — «Я пленный принц...» — «Ей-Богу, освободим...» И вот уже был вечер... Обед приближался к концу... В открытое окно столовой влетела черная стрела... С *краснеющейся* на ней надписью... И в то же время *за окном* детский голос выкрикнул площадную брань... — «Началось», — подумал Пака (началось освобождение)... Но злая фея увозила Паку... Все на месте, все сковано, звено к звену, навек зачаровано, в плену, в плену» («Истлевающие личины»)

Вот тезис Сологуба. Далее идет развитие основного тезиса. *Тезис* Готик думает: «За очарованной рощей обитает нежная царевна Селенита, легкий призрак летних снов».

Антитезис Брат Лютик к нему пристает: «У свиньи хвост, а у лошади?»

Тезис Готик: «Вот и Селенита. Милая, милая». *Антитезис* Лютик: «Русские моряки довели свой флот до гибели, вот они и Гибелинги». Оказывается, что обитатели суммы всех Сапожков — гибелинги.

Тезис Коля	*Антитезис* Ваня (гибелинг)
«А в лесу как славно!»	
«Смолой пахнет»	«И скипидаром. .»
«Утром я белку видел»	«А я дохлую ворону»

Синтез «Ваня хвалил смерть. Коля слушал и верил» («Жало смерти»).

Тезис Саша (с похвальным листом): «Все пятки...» *Антитезис* Отец (гибелинг, насмешливо): «Что же, на стенку повесишь?» *Синтез* «Как-то странно и томительно горело его сердце» («Земле земное»).

И *все становится наоборот (следующая стадия сознательности)*

Тезис «Митя (он же Пака, Коля, Готик и т д.) опять решил прогулять уроки... Оставалось подделать барынину подпись... О Митином поступке послали матери письмо». *Антитезис* Барыня (полная, глупая, *дебелая)* «Да как ты смел?» *Синтез* Выпороли.

Идешь направо, и «томительно горит сердце»; идешь налево, и порка: куда ни кинь, везде клин; и антиномия углубляется.

Тезис. Митя видит в окне девочку Раю. *Антитезис.* Рая упала и разбилась. «Робко вышел Митя в кухню. Пламенные язычки, красные, как струйки Раечкиной крови, мелькали... за печкой». *Синтез.* «От алтаря, как горний вестник, при-

близилась Рая.. » Позвала — пошел. привела на четвертый этаж и выбросила из окна.

Гибелинги бросают в плен жизни стрелу с красной краской написанным красным словечком; словечко подскакивает печным огоньком: этим огнем (красным петухом) запалит дом взрослый Пака или Митя, когда станет Передоновым.

Паке (он же Коля и Митя) лучше умереть, чем соблазниться призывом к жизни Лепестиньи, ворчуньи старой. Если соблазнится, ход умозаключения обратен. *Тезис* Саша. «Все пятки...» «А в Сашиной комнате копошится нянька Лепестинья». *Антитезис* Отец: «Что ж, на стенку повесишь?» *Синтез* Саша: «Да, повешу». Лепестинья (входя): «Повесь над кроваткой — спи, батюшка». И из синтеза развертываются новые ряды антиномий.

Знойным великолепием природа у Сологуба кивает, дразнит, душит, пылкие свои она лепечет нашепты — любовные она признания свои нашептывает. «Горицвет раскидал белые полузонтики, и от них к вечеру запахло слабо и нежно. В кустарниках таились ярко-лазоревые колокольчики, безуханные и безмолвные» («Земле земное») «Здесь, в природе, спи, усни, отрок, — Лепестинья тебя возьми! Вырастешь, Передоновым будешь». Так убаюкивает Сологуб своих отроков.

Чур-чурашки, чурки-болвашки, буки-букашки, веди-таракашки. Чур нас. Чур нас. Чур, чур, чур. Чур-перечур-расчур

IV

Легкие, пряные цветы, ярко-лазоревые колокольчики: прекрасное тело женское; и лесть горничной: «В такую *милашку,* как вы, кто не влюбится» («Красота»). Это в колокольчик лазоревый гадкое вползает насекомое; поцелуй колокольчик — насекомое ужалит: о, земная роскошь, покрытая насекомыми! «На коже — блошьи укусы». «От мамзели клопы в постели». «Ешьте, дружки, набивайте брюшки». И *дружки* (бывшие Паки, Коли, Ардаши) превращаются в животных, Ардалионов Передоновых. Вокруг них спускается «ночь, тихая, шуршащая зловещими подходами и нашептами». В этой тьме, кромешной и злой, стоит Передонов, представляя «барышень Рутиловых в самых соблазнительных положениях». И снятся ему дамы «всех мастей, голые, гнусные». Вот куда привела ты мальчика, Лепестиньюшка, — к счастью, к невесте? *«Жирненькую бы мне»,* — с тоской в голосе говорит Передонов. Вишь, чего захотел *«черт очкастый»* Подлинно, черт: «встретив *ми-*

ловидного гимназиста с *непорочными* глазами», дразнит его девочкой: «А, Машенька, здравствуй, раздевоня». — «У вас, любезный Ардальон Борисыч, зашалило воображение».

Все разваливается — дальше некуда идти; и богоспасаемый град Сапожок скалится ужасом. «Рутилов засмеялся, показывая гниловатые зубы». Пурпурные колокольчики уст издают тяжелый запах; директор *точит зубы* на Передонова: зубы, зубы везде — и зубы гниловатые. «Чему смеетесь!» — восклицает Передонов, и из разъятой пасти гниловатой вместе с клубами тяжелых слов выпархивает недотыкомка, начинает дразниться, опрокидывая на Передонова людей, животных, предметы. В него шутливо прицеливаются кием — приседает от страха; подают кофе: «Не подсыпано ли яду?» Вдруг Мицкевич со стены подмигнул. И мстит как только может: доносит на учеников, на обывателей, тащит портрет Мицкевича в отхожее место. Извне, изнутри — жжет его неугасимая недотыкомка, юркая, как печной пламенек, как слово крылатое. «От Юлии Петровны веяло жаром. Она хватала Передонова за рукав, от этих быстрых и сухих прикосновений словно быстрые сухие огоньки пробегали по всему телу». Но ведь уж это не Юлия Петровна. Вспомните, как описывает Сологуб лихорадку: «...Быстро выбегала из угла длинная, тонкая лихорадка с некрасивым, желтым лицом... и *ложилась рядом,* и *обнимала,* и *принималась целовать»* («Призывающий Зверя»).

Красные буквы начертали на стреле мальчики *гибелинги,* освобождавшие Паку. Красные смертные буквы, как струйки Раиной крови, палили сознание Мити. Теперь красный развеивает Передонов, красный факел на Сапожок, творя заклинание: «Чур-чурашки, чурки-болвашки, веди-таракашки. Чур меня. Чур меня. Чур, чур, чур. Чур-перечур-расчур».

Вот что сделал из жизни Сологуб: «Вот вам, милые современники!»

Чур-перечур-расчур!

V

Но он не колдун.

Правда, он гноит людям зубы, оставляет на теле блошьи укусы, разводит у мамзели клопы в постели; все это довольно неприятно, но пусть ходят почаще к зубному врачу, почаще отмывают пыль, покупают в аптекарском магазине персидского порошку; обывателям Сапожка полезно привить элементарные культурные правила.

Колдовство Сологуба — химера, не более ведь сам-то он такой большой в благих намерениях, в демонизме своем умаляется бесконечно. Он в демонизме своем маленький, измученный елкич, у которого украли жизнь, зеленую елку. Вот и жалуется нам бедный елкич, скулит, забирается под одеяло: куснет здесь, куснет там; а мы храпим, мертвецким храпом храпим: не слышим елкича. И елкич бранится, шипит, ерепенится, ерошится, пугает.

Для нашего устрашения — нам в назидание, себе в утешение сладкую он придумал, сладкую усладу: измыслил фокус-покус с разложением действительности. Прикинулся колдуном — прыг на стол: сбежались к столу дети, а он им со стола: «Фу-фу-фу: все разложу, ничего не останется». Дети заплакали. «Чур-чур-чур». Подошла мама и сказала:

Елкич, миленький, лесной,
Уходил бы ты домой
Елку ты уж не спасешь,
С нею сам ты пропадешь

Кто-то из детей чихнул: и от чиха взвеялся елкич: ножками в воздухе лёп-лёп и пропал («Январский рассказ»).

В чем же фокус бедного елкича? А вот в чем.

ЕЛКИЧЕВА ЗАДАЧА

Дано. Атом жизни — недотыкомка (символизируемая то водородным атомом, то лейбницевой монадой, то теорией Босковича, а то и бациллой); сумма всех атомов или мир; мы, глотающие миллиарды недотыкомок (в Сапожках дворники метлами взвеивают самум перед носом прохожего как раз в час его прогулки; прочее время дня пьют чай с калачами); управа, во власти которой вырыть колодцы для водоснабжения и орошения города.

Требуется доказать: Обыватель может чувствовать себя обеспеченным от пыли, только сидя в глубоком колодце: до сих пор, проваливаясь в колодец, там и оставались, нисходя в мир прохлады и тени — в Аид. Требуется доказать нисхождение в Аид.

Такова задача зеленого елкича. Доказывает он ее трояким образом, разбирая мир природы, мир бессознательной стихии сапожковца и далее: разбирает он сознательную стихию сапожковца.

ХОД ДОКАЗА

Природа

«Горицвет раскидал белые полузонтики, и от них к вечеру запахло слабо и нежно» («Земле земное»)

Бессозна

«И когда Людмила целовала его колени и томные, полусонные желания...» («Мелкий

Тезис	*Антитезис*	*Тезис*
«Изгибался паслен с ярко-красными ягодами» («Земле земное»)	«Оторвал стебель и поднес к носу Поморщился от неприятного, тяжелого запаха» («Мелкий бес»).	«И одежду, и Сашино тело облила она духами — густой, травянистый и ломкий у них был запах . странно цветущей долины» («Мелкий бес»).
«Радовался и улыбался. и любил каких-то добрых людей . за рекой в золотисто-лиловых грезах» («Утешение»)	«Посреди поля была когда-то для чего-то вырыта канава .. ненужная и безобразная» («В толпе»).	«Все было в ее горнице — перед этой белизной мерцали алые и желтые тоны ее тела, напоминая. оттенки перламутра и жемчуга» («Красота»)
«В замке тихом и волшебном там, вдали, за очарованной рощей, обитает нежная царевна Селенита, легкий призрак летних снов» («Два Готика»)	«Казалось, что предметы, нелепые и ненужные, возникали *из* ничего. Из глупой тьмы возникало неожиданное, *нелепое»* («В толпе»).	«Дым от ладана клубится по церкви, синеет и подымается вверх. У алтаря ходит Рая, полупрозрачная .. Вся она как никто из живых и прекрасная ..» («Утешение»).

Синтез

«В поднятой .. руке... парня (задавленного толпой) светилась в солнечном свете кружка. И рука была странно воздвигнута к небу, как живой шест» («В толпе»).

Смерть

Син

«Не бойся .» «Влез на подоконник в четвер он чувствовал облегчение. .» («Утешение»).

Сме

ТЕЛЬСТВА

тельное	*Сознательное*	
стопы нежные, поцелуи возбуждали бес»)	«Был бы Пака весел, мил, любезен, не подходил к опасностям и к чужим, нехорошим мальчикам и знался только с детьми семей из их круга» («В плену»)	
Антитезис	*Тезис*	*Антитезис*
«Людмила повалила Сашу на диван От рубашки, которую она рванула, отлетела пуговица. Оголила плечо. — «Озорница.. » — «Занюнил, младенец . » («Мелкий бес»).	«Махал похвальным листом. «Все пятки, даже четверок мало».	«Что ж, на *стенку* повесишь?» («Земле земное»)
	«А в лесу-то как *славно! Смолой* пахнет».	«А я дохлую ворону под кустом видел» («Жало смерти»)
«Она поспешно разделась и нахально улыбалась Всю эту ночь ему снились дамы всех мастей, голые и гнусные...» («Мелкий бес»)	«Хозяйственный *мужик* Влас готовился загодя, наварил пива, накупил водки, зарезал барана».	«Сказала Аниска Сеньке «Давай играть в баранчика?» Полоснула по Сенькиному горлу» («Баранчик»).
«У мамзели клопы в постели . » («Мелкий бес»).	«На ком же невинная кровь?» Отвечал ангел: «На мне, Господи» («Баранчик»).	«И бросились воины на детей, и рубили их» («Чудо отрока Лина»).
	«Проливающие кровь искуплены Моею кровью, и научающие пролитию крови искуплены Мною.. » («Баранчик»)	«Твердили . о том, что бог, которому доныне мы поклонялись . только *зверь*, таящийся в лесу.. » («Дикий Бог»)
тез	*Синтез*	
том этаже... начиная падать уже,	«Я не хочу жить» («Жало смерти»). «Ты звал меня, и я пришла... И будет смерть твоя легка и слаще яда» («Смерть по объявлению»).	
рть	*Смерть*	

1-я ступень сознания — сознание плена: Пака и мама; Саша в плену у Людмилы и Передонова; Скворцов, плененный Радугиным; Женя Хмаров в условиях среды и т.д.

2-я ступень сознания — видение недотыкомки: Шуткины зло шутят («В толпе»), Лепестинья, Руслан-Звонарева с бородавкой на носу, Стригаль и К°, Лихорадка и т.д.

3-я ступень сознания — приход смерти: она приходит к Резанову; Митя, Коля кончают самоубийством; Лешу давят; Симочку убивают солдаты и т.д.

Вывод. Золотая заря природы — золотая заря смерти. Бессознательный зов любви — бессознательный зов к смерти. Смертная ясность сознания — смертная ясность смерти: сама смерть. Мы не мы: мы пыль, озлащенная зарей недотыкомки, золотеющая только в предчувствии смерти. Мы думаем, что мы люди, а мы или прах, или сознательные смертеныши. Вот какой фокусник елкич!

Ах ты, фокусник-покусник! Покусничает, волшебник, надел армянский халат, двумя помахивает бутылочками: «Вот у меня какие, детки, две бутылочки: из одной хлебнешь — станешь бессмертен... пыльцой попрыскивать, пыльцой попискивать; хлебнешь из другой: и смертное, смертеныш, предстанет небытие». Посматривает армяшка, застращивает: из халата буку выделывает.

Не верьте, дети: это добрый наш фокус-покусник Федор Кузьмич Сологуб. Какое утешение, дети, нам его читать! Вырастете, прочтете: прочтете, поймете. Федор Кузьмич пришел показать вам фокус. А ну-ка, Федор Кузьмич, покажите-ка нам смерть: какая такая она у вас?

«Вот эдакая», — ответит папашам и мамашам Сологуб: накроет хлебный шарик колпачком и вновь откроет; и выйдет маленький елкич с шишкой на носу.

«Вот эдакая», — и выйдет милая девушка, милая Рая: «Белые ризы цвели алыми розами и косы ее рассыпались, как легчайшие, пламенные струйки... От ее прекрасного лица изливался... нежный свет, а глаза ее в этом свете сияли, как два вечереющие светила». Да разве это смерть? Чего вы боялись, дети: это ваша невеста.

«Вот эдакая», — и приходит милая, некрасивая, добрая мама и говорит плохо заученную роль, говорит о своих *смертенышах* (дети, не бойтесь, это все Коли и Пети!), говорит милые, милые слова: «Душу твою... бережно положу к себе на плечо и опущусь в чертог, где обитает мой владыко... И сок души твоей выжмет он в глубокую чашу... — и соком твоей души... на полночные брызнет он звезды» («Смерть по объявлению»).

Милая, как неумело исполняет смертную она свою роль. Говорит о смерти, а уста ее воскресением улыбаются: дети, идите за ней. «Тогда впустили... Аниску

и Сеньку (глазевших на представление) в обители светозарные и в сады благоуханные, где на травах мерцают медвяные росы и в светлых берегах струятся отрадные воды» («Баранчик»). Что, колдун, напугал? Читатели твои, Аниска и Сенька, сидят на берегу у отрадных вод новой жизни, испивая медвяные росы любви новой, потому что образ твоей смерти есть образ взыскуемого града: града жизни. А смерть только актерка в неудачной трагедии «Победа Смерти», разыгрываемой в кабачке, о чем неумело проговорился сам автор.

Сологуб перепутал основные понятия при совершенной правильности последующих вычислений; преобразуя уравнения, перенес известные величины в одну часть, а неизвестные — в другую, *позабыв переменить знаки на обратные,* и в выводе вместо «плюса» мы ставим «минус», вместо «минуса» — «плюс», жизнь его называем смертью; смерть — жизнью.

Да, он проводит по всем путям смерти вплоть до... жизни. Исходит от — «1» — недотыкомки. Комбинирует недотыкомок в сложные формулы, в сложные дроби. Сложна формула его смерти, но числитель преобразованной формулы по сокращению оказывается равным нулю: этот момент есть момент появления смерти; и неизменно она обманывает: зовет в небытие, а показывает «обители светозарные». Почему?

0/1 = 0, жизнь = 0, — вовсе не правда; ведь отправная точка — скрытая в жизни смерть; и дробь есть дробь смерти; формулу 0/1 = 0 надо читать так: смерть = нулю; смерти не существует.

А самый конец (Митя бросается из окна, Коля тонет, милая дама убивает стилетом Рязанова, Мошкин топится) иногда случаен, но чаще нелеп, нелогичен, вымучен.

Пока Сологуб, переряженный в колдуна-армянина, поил нас водой смерти (водой живой), мы брызнули на колдунка водой жизни (смерти), и стал колдун уменьшаться; остался халат да шапка: там что-то попискивало: это был милый, маленький елкич, запутавшийся в одежде. Дети, возьмите елкича, поставьте на столик: скоро елкич большим дядей вырастет.

И дядя елкич вырастает — большой, большой дядя: перед нами большой писатель, певец новой жизни, обителей светозарных — от них же сердце надеждой горит.

Поклонимся ему поясным поклоном.

Русский народ сложил горькую песнь о горьком горе. Горькое горе темной на Русь навалилось теменью. Жизнь на Руси скрылась в темном углу: темны лица россиян. Сологубу дали задачу: по темному пятну на лице у обитателя Мстиславля (или Сапожка — все равно) конструировать чистую тень. Погру-

женный в это занятие, он забывает, что работает с отрицательными величинами (от — «1» до «∞» *), и опускает минусы, так начинает он полагать, что одна недотыкомка или бесконечность недотыкомок суть положительные величины. После долгих вычислений восстанавливает бесконечную (чистую) тень, обозначая ее знаком бесконечности: «∞». Тогда образ, свободный от тени, *вынужден* он обозначить «— ∞» по контрасту Получается абсурд: отрицательная величина — милая девушка, Рая; положительная — теневая лихорадка. К «+ ∞» насильственно приставляется минус; к «— ∞» так же насильственно приставляется плюс (основные плюс и минус вынесены за скобки). Имеем в одном случае «+» на «—»; в другом случае «—» на «+»; в обоих случаях получаем минус, т е. жизнь и смерть суть отрицательные величины. Отсюда необходимость перейти либо к недотыкомке, соединяющей в себе *пустую суету* жизни с *полным покоем* смерти, либо к чему-то абсолютно несоизмеримому с ветхими образами как жизни, так и смерти: «Смерть повержена в озеро огненное... Се творю все новое» («Откровение»)

И подсознательная стихия Сологуба раздваивается: видит милую Раю и Раину тень, лихорадку. Но ветхим, аскетическим, мертвым сознанием своим хватается за тень, распыляя Раю в облако грез, а Рая реальная, живая, милая; осветите только ее со всех сторон; пуще дивная ее красота озарится; тень исчезнет.

Рая — душа русской правды: но она в тени; в тени и мы, а с нами и Сологуб. Вообразил себя буддийским бонзой и воссел на корточках перед темным углом. Буддизм хорош на Тибете; в Сапожке он только дыромоляйство: сидит в избе, а в избе дыра; молится в дыру: «Изба моя, дыра моя — спаси меня». Но большое его юродство больно нас обличает: ведь дыромоляи и мы, только скрытые. Наше тайное стало явным у Сологуба. Он взял да и сел в угол, как был: в сюртуке, со стаканом чаю; сел нам во обличение. И, обличенные им, должны мы ему сказать: «Тебе говорим: встань».

Сидение на корточках в углу перед собственной своей тенью — юродство, т.е. рыцарский подвиг: в Западной Европе издавна водились рыцари, возбуждая почтение; а в Сапожке издавна водились юродивые, возбуждая страх суеверный. Возбуждает страх и сидение Сологуба перед пустым углом: полно, не дети мы. Подойдем же к этому громадному художнику и скажем ему:

— Спасибо тебе, человек Божий посохом указал на безглазую нашу смерть, и мы увидели, что нет у нас безглазой смерти!

* Знак бесконечности



ПРИМЕЧАНИЯ

Мелкий бес

Впервые — в журнале «Вопросы жизни». 1905. № 6—11. Печатание романа оборвалось на главе XXV, поскольку журнал в декабре того же года был закрыт. Впервые полностью — СПб.: Шиповник, 1907. В 1908—1910 гг. это издательство выпустило книгу еще пять раз значительными тиражами, поскольку лучший роман Сологуба обрел неслыханную популярность. По словам А. Блока, «Мелкий бес» был прочтен всей образованной Россией» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 5. С. 284). Готовя его седьмое переиздание в т. 6 «сиринского» собр. соч. (1913), автор счел нужным внести существенные стилистические исправления, после чего роман выходил без изменений. Печ. по этому изд. На сюжет романа Сологуб в 1909 г. написал драму «Мелкий бес», которая была поставлена осенью этого года в киевском театре «Соловцов», а через год — в московском театре К.Н. Злобина и на провинциальных сценах.

С. 7. *...там, где царствовала рассыпающая анекдоты Айса, воцарилась строгая Ананке.* — У Сологуба Айса — богиня случайности, изменчивости мира (в греческой мифологии — Тихе). Ананке (Ананка) — богиня необходимости, неизбежности; она же мать мойр (у римлян — парки), вершительниц человеческой судьбы.

С. **10.** *...«Дым и пепел» (четвертая часть «Творимой легенды»)...* — В последнем варианте романа «Творимая легенда», вначале печатавшемся в четырех частях под названием «Навьи чары» (1908—1913), «Дым и пепел» стал частью третьей.

С. **11.** *Я сжечь ее хотел, колдунью злую.* — В эпиграф, впервые появившийся в 7-м изд., вынесена первая строка стихотворения Сологуба без названия, написанного в дни, когда писатель завершал работу над романом: 19 июня 1902 г.

С. **14.** *Мшанка* (горица, острица, пониклица) — многолетнее стелющееся растение.

С. **16.** *Прогимназия* — неполное среднее учебное заведение (чаще всего четырехклассное).

С. **23.** *Омегу набуровила!* — Омег — горечь, все невыносимо горькое на вкус; хмельной, одуряющий, ядовитый напиток (В.И. Даль). Набуровить — налить не в меру (В.И. Даль).

С. **26.** *...ерлов вы никогда не кушали.* — Ерлы — постное блюдо; пшенная кутья, протертая пшенная каша с изюмом (В.И. Даль).

С. **28.** *Мамелюки* (мамлюки; араб. — невольники) — воины-рабы тюркского и кавказского происхождения, составлявшие гвардию египетских султанов; в XIII в. захватили власть и сохраняли господство в Египте до начала XIX в.

С. **31.** *...да барского разговорцу мне поставь. Да поставь ты мне сладких жамочек.* — Разговорец — бражка, вообще все хмельное. Жамочки, жемки, жемочки — прянички, скатанные в руках и расплюснутые нажимом в обе ладони (В.И. Даль).

С. **32.** *Ты, кmasть поганая?* — Кasть — сокращение от «капость» — пакость, мерзость, гадость, скверна; паскуда, нечистое, поганое, сор, дрянь; мышь, крыса, гад (В.И. Даль).

С. **35.** *...упаточится там на травке..* — Упаточить — умаять, упарить до поту (В.И. Даль).

С. **36.** *...заставили ее вертеть аристон...* — Аристон — старинный музыкальный инструмент наподобие граммофона: ящик с кругом, вращаемым ручкой.

С. **37.** *Акцизный чиновник* — т.е. чиновник, ведающий сбором акцизных налогов (на предметы массового потребления и услуги).

С. **49.** *...буки-букашки, веди-таракашки.* — Буки и веди — вторая и третья буквы в церковнославянском алфавите.

С. **51.** *Копа* (от: копуха, копунья, копун) — человек вялый, мешкотный, непроворный или нерасторопный (В.И. Даль).

С. **56.** *...подвел его под ремиз.* — Ремиз — недобор взяток в карточной игре.

С. **71.** *Раздевоня* — изнеженный мальчик, парень (В.И. Даль).

С. **83.** *...назвал несколько епархиальных и викарных епископов.* — Епископ епархиальный — в православной церкви глава епархии, а викарный — его заместитель.

Поступите, например, в становые. — Становой пристав — полицейский чиновник, избиравшийся местным дворянством и утверждавшийся в губернском управлении.

С. **83.** *Я статский советник* . — Здесь Передонов явно прихвастнул: согласно «Расписанию классных должностей по ведомству Министерства народного образования» учителям словесности классической гимназии присваивался чин коллежского асессора, что на три класса ниже чина статского советника.

С. **89.** *Золоторотцы* — бродяги, босяки.

С. **90.** *Есть циркуляр, чтоб всякой швали не пускать...* — Речь идет о циркуляре министра народного просвещения И.Д. Делянова, опубликованном в 1887 г. и прозванном «циркуляром о кухаркиных детях»; в нем настоятельно рекомендовалось не принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей».

...с Гротом приходится справляться. — Имеется в виду монография академика Якова Карловича Грота (1812—1893) «Русское правописание» (1885), в которой были определены правила орфографии, действовавшие до языковой реформы 1918 г.

Выпейте ерофеичу... — Ерофеич — водка, настоянная на травах.

С. **91.** *Какой же я нигилист?.. У меня есть фуражка с кокардою...* — Фуражка с кокардой означала принадлежность к государственным служащим и к дворянству, в то время как шляпа (как правило, широкополая) была отличительным знаком нигилистически настроенного, радикального разночинства 1860-х гг.

«Колокол» Герцен издавал... — Первую русскую революционную газету «Колокол» А.И. Герцен и Н.П. Огарев издавали в лондонской эмиграции в 1857—1867 гг.

...видела, куда он прятал Писарева. — Не одобряемый властями и цензурой критик, публицист, утопический социалист Дмитрий Иванович Писарев (1840—1868), отсидевший в казематах Петропавловской крепости четыре года за антиправительственный манифест, был кумиром радикально настроенной интеллигенции 1860-х годов.

С. **95.** *С мальчишками в козны играет.* — Козны (козлок, бабки) — детская игра типа игры в кости.

Госпожа Штевен в своей... интересной книге... — Имеется в виду книга основательницы школ грамотности в Нижегородской губернии Александры Алексеевны Штевен (1865—1933) «Из записок сельской учительницы» (1895).

С. **99.** *...куски «голодного» хлеба...* — Голодный — скудный, недостаточный для насыщения (В.И. Даль). «Голодным» назывался хлеб с примесью малосъедобных добавок, главным образом, отрубей.

С. **100.** *Пеня* — выговор, упрек, укор или изъявленье неудовольствия (В.И. Даль).

С. **124.** *...как расходятся книжки Ушинского или Евтушевского...* — Очевидно, имеются в виду популярные книги для начального чтения «Детский мир» (1861), «Родное слово» (1864) основоположника российской научной педагогики Константина Дмитриевича Ушинского (1824—1870/71) и «Методика арифметики», «Сборник арифметических задач» (1872) педагога и общественного деятеля Василия Андреевича Евтушевского (1836—1888).

С. **125.** *...эту тварь надо отправить в пансион без древних языков...* — Пансионами для девиц без древних языков именовались публичные дома.

С. **132.** *Углан* — парень, малый, подросток; болван, повеса, шалун, баловник (В.И. Даль).

С. **134.** *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — популярный в 1880-е годы поэт.

С. **135.** *Где делось платье, где свирель?* — Из песни «Лишь только занялась заря...» неизвестного автора XVIII в.

С. **136.** *Навьё* (диалект.) — мертвец. Сологуб сперва назвал свой самый большой роман «Навьи чары» (1907—1912), тем самым введя в широкий обиход слово «навьи». Во 2-м изд. (Сологуб Ф. Собр. соч. СПб.: Сирин, 1913—1914. Т. 18—20) роман был переименован в «Творимую легенду».

С. **150.** *...надушилась... Аткинсоновою серингою...* — Серинга (от фр. seringa — жасмин) — разновидность духов. Аткинсон — очевидно, парфюмер.

С. **151.** *...юный классик...* — Так иронически называли учеников классической гимназии.

С. **152.** *...парижская Герленова Pao-Rosa.* — Духи французской парфюмерной фирмы «Герлен», основал которую в начале XIX в. Пьер Франсуа Паскаль Герлен.

С. **159.** *...смех так и раял в ушах.* — Раять (диалект.) — звучать.

С. **161.** *...французская надпись, — цикламен от Пивера.* — Франсуа Туссен Пивер — французский парфюмер XIX в.

С. **165.** *Ермолить* — мять, тереть (глаза; В.И. Даль).

С. **167.** *Корилопсис* — духи (по названию азиатского кустарника).

С. **175.** *«Шутить и все шутить, — как вас на это станет?»* — Неточная цитата из комедии «Горе от ума». У Грибоедова: «Шутить! И век шутить! Как вас на это станет!»

...о сатирах Кантемира говорить. — Антиох Дмитриевич Кантемир (1708—1744) — поэт-сатирик, один из родоначальников русского классицизма.

С. **178.** *...варенье из куманики...* — Куманика — дикорастущая ягода, разновидность ежевики.

С. **181.** *Разгрибаниться* — о ребенке: распустить нюни, губы, расплакаться (В.И. Даль).

С. **193.** *Пиковая дама... в тиковом капоте...* — В повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» в капот наряжалась воспитанница старой графини Лиза.

С. **194.** . *хлап, что недавно подвел его под такой крупный ремиз.* — Хлап — карточный валет. Ремиз — недобор взяток в карточной игре, равный проигрышу.

С. **197.** *На свой копыл* (диалект.) — на свой лад.

С. **202.** *Просвирка* (просфора) — круглая булочка из пшеничного квасного теста, используемая для причащения.

...побольше денег за требы носили. — Требы — церковные обряды (крещение, венчание, отпевание и т.п.).

С. **204.** *...кокарду носите, а? как это вы решили посягнуть, а?..* — Мачигин, как и все учителя сельских и начальных школ, был без чина и потому не имел права носить форменную фуражку с кокардой.

С. **210.** *...не понимал дионисических, стихийных восторгов, ликующих и вопиющих в природе.* — Дионис (у римлян Бахус, Вакх) — в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства и виноделия. На Парнасе в честь Диониса каждые два года устраивались оргии (вакханалии), а в Аттике — Великие, или Городские, и Малые, или Сельские, Дионисии с торжественными шествиями, спектаклями, концертами хоров, состязаниями трагических и комических поэтов.

С. **214.** *Опопонакс* — южное растение и духи, получаемые из него.

С. **215.** *Дорога шла мажарами...* — Мажары — бугристое место (В.И. Даль).

С. **226.** *Корреспондировать* (от фр. correspondre) — соответствовать.

Кандидат университета — существовавшая с 1804 по 1884 гг. ученая степень, присваивавшаяся выпускникам университетов.

С. **229.** *...читать крыловскую басню «Лжец»... с тех пор он боялся ходить через мост.* — В этой басне И.А. Крылова рассказывается о диковинном мосте, который якобы проваливается под врунами.

С. **230.** *Пока жил, пота и был.* — Пота (диалект.) — до тех пор; дотоле, покамест, потуды, по то время (В.И. Даль).

С. **232.** *Недотыкомка* (недотыка) — до которого нельзя дотрагиваться (В.И. Даль). Сологуб в 1899 г., в разгар работы над «Мелким бесом», посвятил этому образу-наваждению, «нежити», стихотворение:

Недотыкомка серая
Все вокруг меня вьется да вертится, —
То не Лихо ль со мною очертится
Во единый погибельный круг?

Недотыкомка серая
Истомила коварной улыбкою,
Истомила присядкою зыбкою, —
Помоги мне, таинственный друг!

Недотыкомку серую
Отгони ты волшебными чарами,
Или наотмашь, что ли, ударами,
Или словом заветным каким.

Недотыкомку серую
Хоть со мной умертви ты, ехидную,
Чтоб она хоть в тоску панихидную
Не ругалась над прахом моим.

А вот что пишет Блок, размышляя о сологубовском образе: «Это — и существо, и нет, если можно так выразиться — «ни два ни полтора», если угодно — это ужас житейской пошлости и обыденщины; если угодно — угрожающий знак страха, уныния, отчаяния, бессилия. Этот ужас Сологуб окрестил «Недотыкомкой» (Блок А. Собр. соч. В 8 т. М.-Л., 1962. Т. 5. С. 162).

С. **233.** *Крали* — карточные дамы.

С. **235.** *Кто-то прятался за обоями, кого-то закололи не то кинжалом, не то шилом.* — Так Гамлет в одноименной трагедии Шекспира заколол кинжалом Полония, который прятался за занавесом, чтобы подслушивать.

С. **245.** *...диви бы с товарищами, а то один бесишься.* — Диви бы (диалект.) — ну пусть бы, ну уж если бы.

С. **249.** *...Встает заря во мгле холодной...* — Из гл. 5 романа «Евгений Онегин» Пушкина.

С. **249.** *Чем это вы надушились... пачкулями, что ли?* — Пачкули — иронически искаженное «пачули» — духи с острым запахом.

С. **259.** *..называл ее . ослицею силоамскою...* — Здесь смешаны два библейских образа: Валаамская ослица, внезапно заговорившая, чтобы предупредить хозяина об опасности, и Силоамская купель, в которой Иисус Христос исцелил слепого.

С. **260.** *...Сашу . нарядить гейшею.* — Гейша — в Японии женщина, профессионально обученная танцам, пению, музыке, умению вести светскую беседу, развлекать, исполнять роль гостеприимной хозяйки на приемах, банкетах, чайных церемониях.

С. **261.** *Диана* — в римской мифологии богиня растительности, родовспомогательница, олицетворение луны.

С. **263.** *На подъезде горели шкалики.* — Шкалики — осветительные стаканчики с фитилем.

С. **268.** *...Ты умен, как Соломон.* — В книгах Ветхого завета сын царя Давида, третий царь Израильско-Иудейского государства Соломон (ок. 965—928 до н.э.), изображен величайшим мудрецом; ему приписывается авторство библейских книг: Екклесиаст, Притчи Соломоновы, Песнь Песней, Псалмы Соломоновы, Премудрости Соломоновы.

С. **274.** *Фалалей* — повеса, зеворот (В.И. Даль); простофиля.

С. **278.** *Кипсек* — подарочный альбом с рисунками.

С. **279.** *Клематит* (от фр. clematite — ломонос) — растение из семейства лютиковых и духи, получаемые из него.

С. **282.** *...«прелестна, как ангел небесный»...* — Из стихотворения Лермонтова «Тамара» (1841).

..«не стоит одного мгновенья ее печали дорогой». — Неточная цитата из поэмы Лермонтова «Демон». У Лермонтова: «...твоей печали дорогой».

Дни печали

Все рассказы этого сборника печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч.: В 20 т. СПб.: Сирин, 1913—1914. Т. 7. Дни печали. Рассказы.

Елкич. Январский рассказ

Журнал для всех. 1906. №2.

Два Готика

Литературное приложение к газете «Слово». 1906. 2 апреля. № 9.

С. **305.** *...если есть Гвельфы, то есть и Гибелинги...* — Гвельфы (сторонники римских пап) и гибеллины (сторонники императора) — политические противники, боровшиеся за власть в Италии XII—XV вв.

Тела и душа

Золотое руно. 1906. № 6.

Страна, где воцарился зверь

Речь. 1906. 25 декабря. № 252.

В толпе

Новая иллюстрация. 1907. 5, 19 февраля. № 3, 4, а также: Биржевые ведомости. 1907. 26, 27 апреля. № 9865, 9867.

Смерть по объявлению

Золотое руно. 1907. № 6.

Белая собака

Путь. 1908. № 2.

С. **382.** *Плоеный* — здесь в знач.: складчатый, морщинистый (от «плоить» — собирать ткань в ровные складки специальными щипцами).

Мудрые девы

Слово. 1908. 13 апреля. № 431.

С. **383.** *...и были среди них Мудрые девы, и были Неразумные.* — Имеется в виду евангельская притча о десяти девах — неразумных и мудрых. Мудрые, идя ночью встречать жениха, взяли с собой светильники и сосуды с маслом, а неразумные масло для светильников взять забыли и отправились за ним. В этот час явился жених, но неразумных к нему не пустили. Урок притчи: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 1—13).

Очарование печали

Речь. 1908. 13 апреля. № 89.

Опечаленная невеста

Образование. 1908. № 7.

Заклятие стен
Сказочки

Печ. по изд.: Сологуб Ф, Собр. соч.: В 12 т. СПб.: Шиповник, 1909—1912. Т. 10. Сказочки и статьи. В издательстве «Сирин» этому тому Сологуб дал название «Заклятие стен», но книга не вышла.

Первая подборка сказок Сологуба («Обидчики», «Ласковый мальчик», «Путешественник-камень», «Ворона», «Нежный мальчик») появилась в газете «Петербургская жизнь» 12 июля 1898 г. (№ 297). Публикация сказок в 1898—1907 гг. продолжилась в газетах и журналах: «Север», «Живописное обозрение», «Наша жизнь», «Новости», «Вопросы жизни», «Задушевное слово», «Зритель», «Молот», «Адская почта», «Зеркало», «Маски», «Светает», «Тропинка», «Факелы», «Ярославская колотушка» и др. Отдельные изд.: Сологуб. Ф. Книга сказок. М.: Гриф, 1905; Политические сказочки. СПб.: Шиповник, 1906.

С. **466.** *...кутасами побрякивают...* Кутас — подвесной колокольчик, ошейник на рогатый скот (В.И. Даль).

Статьи

Все статьи этого раздела печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч.: В 12 т. СПб.: Шиповник, 1912. Т. 10. Сказочки и статьи.

Елисавета

Весы. 1905. № 9.

Театр одной воли

Сб. «Театр. Книга о новом театре». СПб., 1908.

С. **491.** *...«живы дети, только дети, // мы мертвы, давно мертвы»...* — Первые строки стихотворения Сологуба без названия (1897).

С. **492.** *...«драка не драка, игра не игра»...* — Из стихотворения Некрасова «Крестьянские дети»: «Здесь драка — не драка, игра — не игра».

С. **493.** *Из царства взбалмошной Айсы... в царство... утешительной Ананке...* — См. примеч. к «Мелкому бесу».

С. **494.** *Притин* — здесь в знач.: полуденник, солнцепек (В.И. Даль).

Вечный Рим — так назвали столицу крупнейшей империи античности в пору расцвета, в I в. до н.э. Днем основания Вечного города и его праздником считается 21 апреля 753 г. до н.э.

С. **496.** *...чтоб видеть солнце...* — Из первой строки стихотворения без названия К.Д. Бальмонта (1867—1942) «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...». Это изречение древнегреческого натурфилософа Анаксагора (ок. 500—428 до н.э.) поэт взял также в качестве эпиграфа к своей «книге символов» — «Будем как солнце» (1903).

С. **497.** *В укор неправедному дню ..* — Из стихотворения Сологуба «Когда я в бурном море плавал...» (1902).

С. **500.** *..бесстрастный голос «человека в черном»* — Очевидно, имеется в виду таинственный, роковой персонаж из трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830), заказавший Моцарту, словно предугадывая его близкую смерть, «Реквием»:

Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать — и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек <...>
Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится.

С. **501.** *Дездемона* — героиня трагедии Шекспира «Отелло».

«Некто в сером» — образ рока, судьбы, персонаж драмы Леонида Николаевича Андреева (1871—1919) «Жизнь Человека» (1906).

С. **504.** *...кто суетится и хлопочет на сцене, Шуйский или Воротынский...* — Шуйский и Воротынский — персонажи трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1825).

...он тайною завесил.. — Из стихотворения Сологуба без названия «Мечтатель, странный миру...» (1894).

С. **506.** *Страдания молодого Вертера?* — Имеется в виду трагическая история любви героя романа Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

С. **507.** *Хорошо, что пляшет Айседора Дункан...* — См. ниже примеч. и очерк «Мечта Дон Кихота (Айседора Дункан)».

С. **508.** . *и ты не на Брокене, а в танцевальном зале в доме баронессы Журфикс.* — Брокен (Броккен) — одна из вершин в горах Гарца (Германия), где, согласно немецким народным поверьям, ведьмы устраивали по ночам свой разгульный шабаш (см., например, сцену «Вальпургиева ночь» из первой части трагедии Гёте «Фауст»). Журфикс (от фр. jour-fixe — определенный день) — постоянный день недели, устанавливаемый для приема гостей, театрализованных вечеров.

С. **508.** .. *воском — «даром мудрых пчел»...* — «Дар мудрых пчел» (1907) — трагедия Сологуба.

...*Ведекинд. «Пробуждение весны»..* — Франк Ведекинд (1864—1918) — немецкий драматург, поэт, прозаик, разносторонне исследовавший в своем творчестве проблемы интимной жизни человека. В частности, в гротескной драме «Пробуждение весны. Детская трагедия» (1891), упоминаемой Сологубом, речь идет о первом пробуждении у подростков интереса к загадкам пола.

Мечта Дон Кихота (Айседора Дункан)

Золотое руно. 1908. № 1. Роман классика мировой литературы испанца Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547—1616) «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1615) для Сологуба был с детских лет настольной, «учительной» книгой. И в стихах, и в новеллах, и в романах писатель постоянно возвращался к образам этой великой книги, к ее вечным темам и идеям: рыцарскому служению Красоте, «лирическому подвигу Дон Кихота». В творчестве Айседоры Дункан (1877—1927), одной из основоположниц модернистского направления в танцевальном искусстве, Сологуб увидел такой же «подвиг преображения», такое же «высокое и обольстительное зрелище творимой красоты», какие были воспеты Сервантесом. О парижских, московских и петербургских гастролях знаменитой американки, проходивших с небывалым успехом в 1904—1905 гг., наряду с Сологубом восхищенные отзывы напечатали М.А. Волошин, А. Белый, А.А. Блок, А.Н. Бенуа, В.В. Розанов, С.М. Соловьев, Н.И. Петровская и др. В 1921—1924 гг. Айседора Дункан, выйдя замуж за С.А. Есенина, жила в Москве и руководила собственной танцевальной студией.

Вечер Гофмансталя

Весы. 1907. № 11.

С. **512.** *Гофмансталь* Гуго фон (1874—1929) — австрийский поэт-символист, драматург, прозаик; глава «венской группы декадентов».

С. **513.** ...*в так называемом Новом театре, товариществом драматических артистов под управлением А.А. Санина...* — «Новый театр» актрисы Лидии Бори-

совны Яворской (?—1921) давал спектакли в Петербурге с 15 сентября 1901 г. по 12 февраля 1906 г. Александр Акимович Санин (Шенберг; 1869—1956) — актер, драматический и оперный режиссер, дебютировавший в Обществе искусства и литературы, из которого вышли многие театральные знаменитости. С 1898 г. — в МХТ, где вместе с К.С. Станиславским поставил первые «мхатовские» спектакли «Царь Федор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого. В 1902—1907 гг. в Александринском театре. Участник «Русских сезонов» С.П. Дягилева в Париже и Лондоне. С 1922 г. в эмиграции. За свою творческую жизнь создал более 150 спектаклей.

С. **513.** *«Союз молодости»* («Союз молодежи»; 1869) — комедия норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906).

«Электра» (1903) — одна из «драм действия» Гофмансталя.

«Смерть Тициана» (1892) — лирическая драма Гофмансталя.

С. **514.** *Микенские вазы* — из числа находок во время раскопок древнегреческого города-крепости Микены в северной части Арголиды (Пелопоннес).

Тиринфский дворец — одна из центральных построек древнегреческого города-крепости Тиринф, открытого во время раскопок в 1884—1885 гг. Шлиманом и Дёрнфельдом.

Роксанова Мария Людимировна (наст. фам. Перовская; 1874—1958) — актриса МХТ в 1898—1902 гг., первая исполнительница роли Нины Заречной в «Чайке» А.П. Чехова.

Клитемнестра — жена мифического царя Микен Агамемнона. Была убита своим сыном Орестом, мстившим за убийство ею Агамемнона. Этот эпизод — центральный и в поэме Гомера «Илиада», и в трагедиях Эсхила, Сенеки, Гауптмана и др.

С. **515.** *Умер убитый Орестом Эгист...* — Эпизод из «Одиссеи» Гомера. Микенский царь Агамемнон, возвратившийся с Троянской войны, был убит женой Клитемнестрой и ее возлюбленным Эгистом. Мстя за отца, Орест убивает мать и Эгиста. Эти события описаны также в знаменитой трилогии трагика V в. до н.э. Эсхила «Орестея».

Демоны поэтов

I. Круг демонов. Перевал. 1907. № 7.

С. **517.** *«Услышишь суд глупца и смех толпы холодной».* — Из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830). Далее в статье цитируются пушкинские стихотворения, поэмы и роман «Евгений Онегин».

«Какое дело нам, страдал ты или нет!» — Из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).

С. **517.** *Читаю статью Белинского... о поэзии гениального Баратынского. Какая тупость!* — Поэзия Евгения Абрамовича Баратынского (1800—1844) не раз становилась предметом рассмотрения Белинского: критик прошел в своих статьях путь от полного неприятия Баратынского (и не только его) до сдержанного признания. Сравните его высказывания: I. «Несколько раз перечитывал я стихотворения г. Баратынского и вполне убедился, что поэзия только изредка и слабыми искорками блестит в них» («О стихотворениях г. Баратынского»; 1835). II. «...Мы высоко уважаем яркий, замечательный талант поэта уже чуждого нам поколения»; «какие дивные стихи!»; «из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому» («Стихотворения г. Баратынского»; 1842). Поэт ответил критику-недоброжелателю (он назвал его зоилом) стихотворением «Когда твой голос, о Поэт...», в котором выражена боль одиночества и непонимания. В развернувшейся полемике активно защищал поэта П.А. Плетнев («кривой толк о поэзии»; «Белинский, заговорив о Баратынском, дал волю всей своей дикой и широковещательной философии»). В соцреализмовском, зашоренном политдогмами литературоведении не принято было вспоминать о том, что вечно мятущийся, увлекающийся и часто заблуждающийся, мечущийся между «за» и «против» критик точно так же обрушивался на многих, не утруждая себя выбором слов. Вот, например, о Пушкине: «Как жиденьки и легоньки первые поэмы Пушкина!» Когда уже ушла в прошлое острота споров о «Руслане и Людмиле» и всем стало ясно, что это пушкинский шедевр, критик вдруг заявляет, что эта поэма — детская безделица, в которой ему «ощутителен недостаток поэзии». Или: в «Капитанской дочке» «мало творчества». Или: «Достоевский — ерунда страшная»; «каждое его новое произведение — новое падение... Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением!» А молодому, только-только входящему в литературу («Записками охотника»!) Тургеневу напророчивает: «Мне кажется, у вас чисто творческого таланта или нет вовсе, или очень мало». Эти и многие другие «художественные прозрения» тенденциозного критика, возведенного в ранг вождя и идеолога революционной демократии, вынудили Достоевского решительно заявить в письме Н.Н. Страхову от 23 апреля 1871 г.: «Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор еще цените), именно был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда (о Белинском еще много будет сказано впоследствии; вот увидите)». Споры о Белинском действительно разгорелись в начале XX в. (в этом дискуссионном ряду и статья Сологуба), но они вскоре были заглушены большевистским переворотом 1917 г. (см. подробно об этом: Прокопов Т. Рыцарь идей на полчаса. Как неистовый Виссарион сокрушал Виссариона Смиренного. Книжное обозрение. 1998. 31 марта. № 13).

С. **519.** *В накуренной и заплеванной биргалке .* — Биргалка — пивная (от нем. Bier — пиво).

С. **519.** «*Поэт на лире вдохновенной.* » — Первая строка стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

«.. *с улыбкой розовой, как молодого дня // За рощей первое сиянье..* » — Из стихотворения Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840). Сологуб ошибочно отнес эти строки к пушкинским.

С. **520.** «*От пламенеющего змея...*» — Из стихотворения Сологуба «Вячеславу Иванову» (1906).

. *личины Афродиты или Медузы, Девы Марии или Астарты, Прекрасной Дамы или Вавилонской блудницы, доброй Лилит или лукавой Евы, Татьяны или Земфиры, Тамары, дочери Гудала, или царицы Тамары* . — Афродита — в греческой мифологии богиня любви и красоты. Медуза — в греческой мифологии младшая, «смертная», из трех сестер — горгон, чудовищных порождений морских божеств (старшие, «бессмертные», — Сфено и Эвриала). Дева Мария — мать Иисуса Христа. Астарта — в западно-семитской мифологии богиня любви и плодородия, богиня-воительница. Прекрасная Дама — поэтический образ А. Блока, создавшего цикл «Стихи о Прекрасной Даме». Вавилонская блудница — библейский образ, символизирующий мирскую греховность. Толкователи Библии блудницей называют и сам антихристианский город Вавилон, погрязший в блуде, грехе и богоотражденности. В Откровении Иоанна Богослова — Апокалипсисе — читаем: «И воскликнул он (ангел. — *Т.П.*) сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее» (гл. 18, ст. 2 и 3). Лилит — согласно одному из древних преданий, прекрасная, соблазнительная, добрая первая жена первочеловека Адама, сотворенная Богом из глины. Потребовав у Адама равноправия, но не сумев убедить его в этом, она улетела. Ева — жена Адама, праматерь человеческого рода. Татьяна — героиня романа Пушкина «Евгений Онегин». Земфира — персонаж поэмы «Цыганы» (1824). Тамара — героиня поэмы Лермонтова «Демон» (1839). Царица Тамара (Тамар) — правительница Грузии (1184—1207), добившаяся больших военных и политических успехов. Ей посвящена поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», памятник грузинской литературы XII в.

II. Старый черт Савельич. Перевал. 1907. № 12.

С. **521.** *Савельич* — персонаж повести Пушкина «Капитанская дочка» (1836).

С. **522.** *И бес, соблазнявший великого Пушкина...* — См. его стихотворение «Бесы» (1830).

С. **523.** *...у Пушкина... Петр Великий, Моцарт.* — Имеются в виду поэмы «Полтава» (1828), «Медный всадник» (1833), неоконченный роман «Арап Петра Великого» (1828), трагедия «Моцарт и Сальери» (1830).

«Поэт на лире вдохновенной.. » — См. примеч. к с. 519.

«Небрежный плод моих забав...» — «Евгений Онегин». Посвящение («Не мысля гордый свет забавить...»).

«Безумная душа поэта...» — «Евгений Онегин», гл. 2, строфа XX.

«Марать летучие листы...» — «Евгений Онегин», гл. 6, строфа XLIII.

«...в строфах небрежных .» — «Евгений Онегин», гл. 8, строфа XLIX.

«стихи для вас — одна забава». — У Пушкина: «Стишки для вас одна забава» («Разговор книгопродавца с поэтом»; 1824).

С. **524.** *«Перстами, легкими, как сон»* — Из стихотворения Пушкина «Пророк» («Духовной жаждою томим...»; 1826).

«Мазепа, в горести притворной...» — Из поэмы Пушкина «Полтава» (1828).

«Москвич в Гарольдовом плаще...» — «Евгений Онегин», гл. 7, строфа XXIV, в которой Татьяна Ларина, размышляя, создает такой портрет Онегина:

...Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

«...в Гарольдовом плаще» — т.е. в облике Чайльд-Гарольда, романтического гордеца и разочарованного бунтаря, героя одноименной поэмы Байрона.

С. **525.** *В «Домике в Коломне» кухарка брилась.* — Эпизод из поэмы Пушкина: Параша привела в дом своего поклонника, наряженного кухаркой.

Лиза Берестова хорошо играла роль крестьянки. — Неточность автора: героиню рассказа Пушкина «Барышня-крестьянка» звали Елизавета Григорьевна Муромская; к концу рассказа она стала невестой Алексея Берестова.

Она осталась барышнею цирлих-манирлих... — От нем. zirlich-manirlich — жеманный, манерный.

С. **525.** *Анна Ермолина* — героиня романа Сологуба «Тяжелые сны» (см. т. 1 наст. изд.).

Мисс Жаксон — гувернантка Лизы Муромской из рассказа Пушкина «Барышня-крестьянка».

Дубровский... под видом француза Дефоржа. — Эпизод повести Пушкина «Дубровский» (1833).

...два исторических самозванца... — Самозванец из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1825) — Гришка Отрепьев, назвавшийся царевичем Димитрием, а в «Капитанской дочке» — Емельян Пугачев, объявивший себя царем Петром Федоровичем.

...тема «Ревизора» принадлежит Пушкину же. — В архиве Пушкина сохранился набросок сюжета, с которым поэт познакомил Н.В. Гоголя, просившего его дать «какой-нибудь сюжет» (письмо Гоголя к Пушкину от 7 октября 1835 г.).

«Ведь он же гений, как ты да я»... — В трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» Моцарт говорит о Пьере Бомарше (1732—1799), великом французском драматурге:

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Холоден был (Пушкин. — *Т.П.*) *только к двум: к гениальному Баратынскому и к Бенедиктову, литературному предшественнику одного из самых известных современных поэтов.* — Ошибочное утверждение Сологуба о Пушкине, который заметил Баратынского с его первой книги (1827). «Наконец появилось, — написал он в рецензии, — собрание стихотворений Баратынского, так давно и с таким нетерпением ожидаемое. Спешим воспользоваться случаем высказать наше мнение об одном из первоклассных наших поэтов и (быть может) еще недовольно оцененном своими современниками». В другой рецензии — «Поэма Баратынского «Бал» (1828) — Пушкин возмущается тем, что «критики изъявляли в отношении к нему (Баратынскому. — *Т.П.*) или недобросовестное равнодушие, или даже неприязненное расположение» (как Белинский, например). «Между тем, — подытоживает Пушкин, — Баратынский спокойно усовершенствовался — последние его произведения являются плодами зрелого таланта. Пора Баратынскому занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее». Наконец, в наброске статьи, датирован-

ной концом 1830 — началом 1831 гг., Пушкин пишет: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов <...> Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды», т.е. К.Н. Батюшкова (Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 241, 255—256, 325—326). И в «Евгении Онегине» Пушкин счел возможным посвятить автору «волшебных напевов» Баратынскому строки, исполненные нежного дружелюбия, где среди прочих есть такие: «Где ты? Приди — свои права // Передаю тебе с поклоном».

Неправ Сологуб и в том, что Пушкин «холоден был» к младшему своему современнику Владимиру Григорьевичу Бенедиктову (1807—1873). Наш величайший поэт упоминает его в печати только единственный раз, но вовсе без «холода»: «Новые поэты, Кукольник и Бенедиктов, приняты были с восторгом». Эта пушкинская фраза перекликается и с точкой зрения многих критиков, и с воспоминаниями Я.П. Полонского, биографа Бенедиктова: «...Не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова... Учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали...» (Сочинения В.Г. Бенедиктова. Т. I. СПб.; М., 1902. С. XII). Что же говорил Пушкин о Бенедиктове в беседах с друзьями, известно из воспоминаний его современников. Эти высказывания критически рассмотрены в статье литературоведа Л.Я. Гинзбург «Пушкин и Бенедиктов» (в кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. № 2. С. 148—182).

Мнение Сологуба, очевидно, сформировалось под влиянием резко отрицательных суждений Белинского и о Баратынском, и о Бенедиктове, особенно о последнем, которого критик упрекает за чрезмерную вычурность языка и прозаизмы. В спорах о Бенедиктове, ныне забытых и поминаемых лишь историками литературы, истина восторжествовала в пору расцвета русского литературного модерна. Один из самых ярких критиков Серебряного века Ю.И. Айхенвальд свой очерк о поэте начинает так: «Бенедиктов, вокруг имени которого давно уже образовалась атмосфера насмешки и пренебрежения, как раз в последнее время встретил себе признание и оценку со стороны поэтов новой школы. Так, Федор Сологуб считает его предшественником одного из выдающихся наших модернистов (есть все основания думать, что автор имеет в виду Бальмонта, с которым Бенедиктова роднит необычайная звучность стиха, фонетическая законченность и какой-то малиновый звон «искрометной» рифмы)... Поэт, осмеянный Белинским, ославленный им как ритор и любитель звуковой мишуры, берется теперь под защиту тонкими знатоками и виртуозами слова». Очерк критика, защищающего Бенедиктова от наветов сто-

ронников Белинского, заканчивается так: «...Любитель слова, любовник слова, он в истории русской словесности должен быть помянут именно в этом своем высоком качестве, в этой своей привязанности к музыке русской речи» (Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. Вып. III. Изд. 3-е., испр. М.: Мир, 1917. С. 36, 44).

С. **526.** «*Нет, я не льстец, когда царю...*» — Первая строка стихотворения Пушкина «Друзьям» (1828).

«О, мощный властелин судьбы!» — Из поэмы «Полтава».

«То ли дело, братцы, дома!» — Из стихотворения Пушкина «Дорожные жалобы» (1830).

«Он прекрасен, // Он весь, как Божия гроза!» — Из поэмы «Полтава».

«...И пред созданьями искусств и вдохновенья // Безмолвно утопать в восторгах умиленья». — Из стихотворения Пушкина («Из Пиндемонти») (первая редакция; 1836). Вторая строка последней редакции: «Трепеща радостно в восторгах умиленья».

«Как был велик, как был прекрасен он...» — Из стихотворения Пушкина без названия «Была пора: наш праздник молодой...» (1836).

С. **527.** *«О, если б голос мой умел сердца тревожить!»* — Из стихотворения Пушкина «Деревня» (1819).

«И сердцу вновь наносит хладный свет // Неизгладимые обиды». — Неточная цитата из чернового варианта стихотворения «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...»; 1828). У Пушкина: «Вновь сердцу моему наносит хладный свет // Неотразимые обиды».

«Дар напрасный, дар случайный!» — Первая строка элегического стихотворения, написанного Пушкиным в день своего рождения (26 мая 1828). Назидательно-укорительное возражение поэту написал (в стихах «Не напрасно, не случайно...») митрополит Филарет (1782—1859), на которое Пушкин благодарно ответил стихотворным раздумьем о своей судьбе «В часы забав иль скуки праздной...» (1830).

«Недаром лик сей двуязычен». — Из стихотворения Пушкина «К бюсту завоевателя» (1829).

«Водились Пушкины с царями...»; «...бывало, нами дорожили...»; «...царю наперсник, а не раб...». — Из стихотворения Пушкина «Моя родословная» (1830).

«...мне жаль, // что геральдического льва // демократическим копытом // теперь лягает и осел...» — Из «Родословной моего героя» (1836) Пушкина.

С. **527.** *...жизнь его обращается... в «мильон терзаний».* — «Мильон терзаний!» — горестное восклицание Чацкого, героя комедии Грибоедова «Горе от ума», взятое И.А. Гончаровым в качестве заголовка для своей вскоре ставшей знаменитой статьи о грибоедовском шедевре.

К всероссийскому торжеству

Мир искусства. 1899. № 2.

С. **528.** *«Явление необычайное»...* — Неточная цитата из статьи Гоголя «Несколько слов о Пушкине» (1832): «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».

С. **529.** *Вот стихотворение молодого поэта, г Корина...* — В. Корин — псевдоним Василия Ивановича Корехина, сослуживца и друга Сологуба, издавшего сборник стихов и песен «Зарницы» в 2-х выпусках (1898, 1901). Вып. 2-й содержит посвящение и стихотворное послание Сологубу («Тебе, суровый мой учитель, // Свои огни я посвятил… // Какой-то гений-искуситель // Меня с тобою породнил»). В соавторстве с ним Сологуб под общим псевдонимом Горицвет опубликовал стихотворение «Веселая деревенская песня» (Зритель, 1906, № 1), которое затем включил в свой сборник «Алый мак» (1917). Стихотворение «А.С. Пушкину» («Сбылось! — По всей Руси великой…») — из вып. 2-го «Зарниц».

Единый путь Льва Толстого

С. **530.** *Подобно системе нашего знаменитого геометра Лобачевского...* — Имеется в виду неевклидова геометрия Николая Ивановича Лобачевского (1792—1856), в основе которой постулат о том, что в плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести более одной прямой, не пересекающей данную (у Евклида — одну, и только одну, параллельную данной). Это открытие совершило переворот в представлениях о природе пространства.

С. **532.** *...«Смерть Ивана Ильича».* — Рассказ Л.Н. Толстого.

С. **535.** *«Холстомер», «Три смерти»* — рассказы Л.Н. Толстого.

С. **538.** *...«учительные» труды Льва Толстого...* — Идейный и творческий кризис, к которому пришел Толстой в конце 1879-х гг., нашел выражение в его религиозно-философских, «учительных» произведениях «Исповедь» (1879—1880), «Исследование догматического богословия» (1879—1880), «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880—1882), «В чем моя вера?» (1882—

1884). Общественный резонанс, вызванный этими статьями гениального автора «Войны и мира», был огромен. Вступая в полемику и высоко оценивая исповедальные труды великого мыслителя, почти все, однако, были единодушны в одном: в непонимании, в нежелании принять те причины, которые привели Толстого к отказу от художественной деятельности. Это всеобщее недоумение тревожно выразил И.С. Тургенев в своем предсмертном, ныне широко известном письме (1880), в котором содержится страстный призыв и мольба: «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!»

О Грибоедове

Вопросы жизни. 1905. №9.

С. **539.** *Щеголев* Павел Елисеевич (1877—1931) — литературовед; автор книг о Пушкине, Лермонтове, декабристах.

С. **541.** *...в рассказе С.Н. Бегичева о свидании с Грибоедовым в Москве...* — Имеется в виду «Записка об А.С. Грибоедове» (1854; опубл.: Русский вестник. 1892. № 8) полковника Степана Никитича Бегичева (1785—1859), дружившего с Грибоедовым (они в 1813 г. вместе служили адъютантами генерала от кавалерии А.С. Кологривова. Летом 1823 г. в тульском имении Бегичева писалась комедия «Горе от ума» (ему был оставлен автограф первой ее редакции). «Дружба эта, — вспоминал Ф.В. Булгарин, — продолжалась до смерти Грибоедова и длится за гробом <...> С.Н. Бегичев разбудил Грибоедова от очарованного сна и обратил к деятельности. Грибоедов писал стихи, еще посещая университет, но не собирал их и не печатал» (А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 334—335). За год до гибели Грибоедов, уезжая в Персию, оставил Бегичеву так называемую «Черновую тетрадь» — несколько сот страниц со своими стихами, планами, сценами трагедий, путевых записок, заметок из русской истории (опубл.: Русское слово. 1859. № 4, 5).

Полотно и тело

Новости. 1905. 17 марта. № 68.

Дрезденские скромницы

Новости. 1904. 21 сентября. № 322.

С. **544.** *«тучегонитель оплошал, и вылился осел, как белка, слаб и мал».* — Неточная цитата; в басне И.А. Крылова «Осел»: «...А вылился Осел почти как белка мал». Тучегонитель — прозвище Юпитера (у греков Зевса), бога неба, дневного света и грозы.

С. **544.** *Мечников* Илья Ильич (1845—1916) — один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии и иммунологии; лауреат Нобелевской премии.

Вражда и дружба стихий

Биржевые ведомости. 1905. 29 мая. № 8847.

С. **549.** *«Небо ясно; // Под небом места хватит всем».* — Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Валерик» (1840): «Под небом места много всем».

Жалость и любовь

Новости. 1904. 21 августа. № 230.

В полусне

Новости. 1905. 25 февраля. № 49.

С. **552.** *Сквозник-Дмухановский* — Городничий из комедии Гоголя «Ревизор».

С. **553.** *«Бой барабанный, крики, скрежет».* — Неточная цитата из поэмы Пушкина «Полтава». У Пушкина — «... клики, скрежет».

О Грядущем Хаме Д. Мережковского

Золотое руно. 1906. № 4.

С. **554.** *Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1866—1941) — поэт, прозаик, драматург, философ, критик, литературовед. С 1919 г. в эмиграции. Его статья «Грядущий хам» — о назревающем революционном взрыве в России.

...вечный Смердяков, духовный босяк. — Смердяков — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Ной — герой иудаистских и христианских повествований о всемирном потопе, спасенный праведник и строитель ковчега.

С. **555.** *...за его Лазаревою субботою...* — Лазарь — житель Вифании, чудодейно воскрешенный Иисусом Христом на четвертый день после смерти (Евангелие от Иоанна, гл. 11).

С. **556.** *...«в надежде славы и добра»...* — Первая строка стихотворения Пушкина «Стансы» (1826).

...«обломках самовластья»... — Из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву» (1818).

...«манию царя»... — Из строки стихотворения Пушкина «Деревня» (1819): «И рабство, падшее по манию царя».

С. **557.** *...мартышка в басне Крылова.* — Речь идет о басне «Мартышка и очки».

...как виноград в басне... — Имеется в виду басня Крылова «Лиса и виноград».

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Герой» (1830). У Пушкина — «...мне дороже...».

Ермолай Лопахин — персонаж из пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад».

С. **559.** *Галилеянин* — имеется в виду Иисус Христос, проведший свое детство и отрочество в палестинской области Галилее. Галилеянами были и его первые ученики и апостолы.

О недописанной книге

Перевал. 1906. № 1.

С. **559.** *Чулков* Георгий Иванович (1879—1939) — прозаик, поэт, критик, философ, мемуарист; автор труда «О мистическом анархизме», вызвавшем острую полемику.

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, мыслитель, филолог, переводчик; теоретик символизма. С 1924 г. в Италии.

С. **560.** *Айса* — см. примеч. к «Мелкому бесу».

Монада — неделимый духовный первоэлемент, из множества которых, по мнению философов-идеалистов, составляется основа мироздания.

Афродита Небесная, Афродита Народная — такое деление богини любви и красоты на Афродиту Уранию («небесную») и Афродиту Пандемос («всенародную») принадлежит древнегреческому философу Платону (см. его диалог «Пир»).

Миродержавная Мать трех вечных Прях-Мойр... — См. примеч. к «Мелкому бесу».

С. **563.** *...венец Мистагога и Жреца.* — Мистагог — у древних греков жрец, посвященный в мистические обрядовые таинства.

Человек человеку — дьявол

Золотое руно. 1907. № 1.

С. **564.** *И мстил мстящий Адонаи...* — Адонаи (Адонай; «Господь мой») — одно из обозначений Бога в иудаизме, имя которого — Яхве (Ягве, Иегова) — вслух не произносилось, а на письме обозначалось четырьмя буквами: YHWH.

С. **564.** *Кана Галилейская* — в Библии упоминается как место, где Иисус Христос во время свадебных торжеств превратил воду в вино.

С. **564—565.** *Омег* — см. примеч. к «Мелкому бесу».

С. **565.** *Лазарь* — см. примеч. к с. 555.

С. **566.** *Люцифер* (лат.: носитель света) — в христианской традиции одно из обозначений сатаны, возгордившегося подражателя тому истинному свету, который несет людям Бог. В Библии об этом языческом демоне сказано так: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю попиравший народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Книга пророка Исаии, гл. 14, ст. 12—15).

Вельзевул — в христианских представлениях демоническое существо, дьявол, «повелитель скверн»; метафорическое обозначение духовной «нечистоты», отступничества.

Молох — божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно дети как наиболее угодная богам жертва.

Абадонна (Аваддон — «погибель») — в иудаистской мифологии олицетворение могильной пропасти преисподней; в Ветхом завете уподобляется ангелу смерти.

С. **567.** *Ягве* (Яхве, Иегова) — См. примеч. к стр. 564.

Айса, Ананке — см. примеч. к «Мелкому бесу».

С. **568.** *...Лазарь и Марфа, и другая Мария... И Лука. И Клеопа.* — Лазарь — житель Фивании, воскрешенный из мертвых Иисусом Христом. Марфа и Мария — сестры Лазаря; первая — практичная и рассудительная, вторая — восторженно-созерцательная. Их характеры стали основой для различения жизнедеятельности как отдельных христиан, так и церковных общин. Лука — один из 70 учеников Иисуса Христа; ему приписывается авторство двух книг в Библии: Евангелия и Деяния святых апостолов. Клеопа — один из двух учеников, встретивших на пути в Еммаус воскресшего Иисуса Христа.

Зинаида Гиппиус

Слезинка Передонова

(То, чего не знает Федор Сологуб)

Речь. 1908. № 273. Печ. по изд.: О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки. СПб., 1911.

Валерий Брюсов

Федор Сологуб. Книга сказок

Весы. 1908. № 11. Печ. по этому изд.

Андрей Белый

Ф. Сологуб

Весы. 1908. № 3 — под заголовком «Далай-лама из Сапожка. О творчестве Ф. Сологуба». Печ. по изд.: Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 382—392.

С. **579.** *«Мелкий бес».* — Цитаты и ссылки на этот роман по первому отд. изд.: СПб., 1907.

«Истлевающие личины». — Цитаты и ссылки на этот рассказ по одноименному сб.: М., 1907.

С. **583.** *Далай-лама* — титул первосвященника ламаистской церкви в Тибете.

С. **584.** *Готик* — персонаж рассказа Сологуба «Два Готика».

С. **587.** *...то лейбницевой монадой, то теорией Босковича...* — Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716) — немецкий философ, математик, физик, языковед. В его труде «Монадология» (1714) излагается теория, согласно которой мир состоит из монад, психических деятельных субстанций. Руджер Иосип Боскович (Бошкович; 1711—1787) — итало-хорватский физик, математик и астроном.

С. **592.** *...«Смерть повержена в озеро огненное... Се творю все новое» («Откровение»).* — Неточная цитата из Апокалипсиса (Откровения Святого Апостола Иоанна Богослова), гл. 20, ст. 14 и гл. 21, ст.5.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Сологуб Ф.
С 60 Собр соч В 6 т Т 2 Мелкий бес Роман Рассказы. Сказки Статьи / Сост, примеч Т Ф Прокопова — М НПК «Интелвак», 2001 — 624 с

ISBN 5-93264-031-6 (т 2)

Во втором томе Собрания сочинений классика Серебряного века Федора Сологуба (1863–1927) публикуется ставший хрестоматийным роман «Мелкий бес» (1902), сборник рассказов «Дни печали», сказки и статьи из книги «Заклятие стен»

УДК 882 Сологуб 2
ББК 84 (2Рос=Рус)1

Сологуб Федор
(Тетерников Федор Кузьмич)

Собрание сочинений
в шести томах
Том 2

Редактор *Виктория Фрадкина*
Корректор *Наталья Шипилова*
Верстка *Ирины Ануфриевой*

Подписано в печать 13 04 2001 Формат 60×84/16 Бумага офсетная № 1
Гарнитура Таймс Печать офсетная Усл -печ л 36,27 Уч -изд л 35,2.
Тираж 3000 экз Заказ № 1630.

Лицензия ЛР № 071768 от 15 декабря 1998 г

Издательство НПК «Интелвак»
113105, Москва, Нагорный проезд, 7
Факс 127 3847 Тел 127 3846
E-mail iv@deltacom ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
на ГИПП «Вятка».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

ISBN 5-93264-031-6



